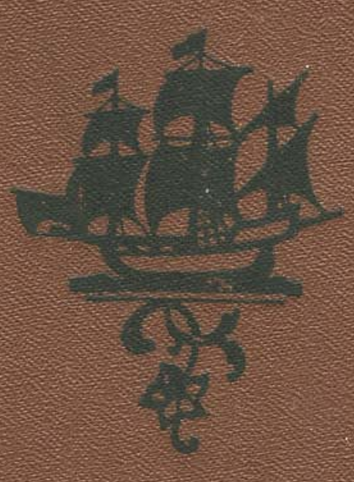
Р. Л. Стивенсон



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Роберт Луис

СТИВЕНСОН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ
3

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1981

Составление
и общая редакция
М. Урнова

Иллюстрации художника
С. Бродского

Владетель Баллантрэ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ «ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ»

Будучи давним, закоренелым странником, издатель дальнейших страниц все же кое-когда наезжает в город, уроженцем которого он счастлив себя назвать, и мало у него бывает ощущений более странных, более горестных или же более целительных, чем во время таких вот наездов. В чужих краях он появляется нежданно-негаданно и привлекает к себе внимание, совсем не рассчитывая на это; в своем же городе все выходит наоборот, и ему остается только дивиться, как плохо его здесь помнят. В других местах на него благотворно действует каждое приятное лицо: вот этот человек, может быть, станет ему другом; здесь он с болью в сердце бродит по длинным улицам в поисках лиц и друзей, которых уже не встретит. В других местах его восторгает все новое; здесь терзает исчезновение старого. В других местах ему довольно быть теперешним самим собой; здесь его равно гнетут сожаления о том, каким он был когда-то, и о том, каким надеялся стать.

Вот что он смутно чувствовал по дороге с вокзала в последний свой приезд на родину; чувствовал и в ту минуту, когда вышел из кэба у дома своего друга, присяжного стряпчего мистера Джонстоуна Томсона, у которого должен был погостить это время. Сердечный прием, лицо, не так уж изменившееся, несколько слов, напомнивших былые дни, шутка, вызвавшая смех у обоих, увиденное мельком, на ходу: белоснежная скатерть, отсвечивающие боками графины и офорты Пиранези на стенах столовой — все это препроводило его в отведенную ему спальню в более легком расположении духа, и когда, несколько минут спустя, они с мистером Томсоном сели рядышком за стол и отдали дань былому предварительным бокалом, у него отлегло от сердца, он уже почти отпустил себе две непростительные погрешности: то, что покинул когда-то свой родной город, и то, что вернулся сюда.

— Я приберег кое-что подходящее для вас,— сказал мистер Томсон.— Мне хотелось отпраздновать ваш приезд, дорогой мой друг, потому что вместе с вами меня снова посетила моя молодость, правда, в сильно потрепанном и увядшем обличье, но... ничего иного от нее не осталось.

— И на том спасибо,— сказал издатель.— Но что вы считаете так уж подходящим для меня?

— Сейчас мы к этому приступим,— сказал мистер Томсон.— Судьба дала мне возможность отпраздновать ваш приезд и подать вам на десерт нечто весьма своеобычное. Тайну!

— Тайну? — повторил я.

— Да,— ответил друг издателя.— Тайну. Она может оказаться пустяком, но может дать и очень многое. Впрочем, пока что перед вами нечто действительно таинственное, ибо вот уже почти сотню лет этого никто не видел; перед вами нечто весьма высокого порядка, ибо дело касается одного титулованного семейства, и, по-видимому, вы столкнетесь с мелодрамой, ибо, судя по сопроводительной записке, речь тут идет о смерти.

— Я, кажется, никогда не слышал более туманного или более многообещающего вступления,— проговорил его собеседник.— Но что же это такое?

— Вы помните контору моего предшественника, старого Питера Мак-Брайера?

— Прекрасно помню. При встречах со мной он всегда бросал на меня горько-укоризненные взгляды и скрыть чувство горечи ему не удавалось. Я питал к этому человеку интерес как к личности исторической, но взаимностью у него не пользовался.

— Нет, нет, мы на нем не задержимся,— сказал мистер Томсон.— Смею думать, что старик Питер знал обо всем этом не больше, чем знаю я. Дело обстоит следующим образом: после него осталась целая кипа старинных документов и железные шкатулки с бумагами. Часть их была из архива самого Питера, часть перешла к нему от его отца, Джона,— основателя их юридической династии, человека в свое время примечательного. И среди прочих бумаг в этом архиве хранятся документы семейства Дэррисдиров.

— Дэррисдиры! — воскликнул я.— Друг мой, это же крайне интересно! Один из них уезжал на север в 45-м году, у другого были какие-то странные дела с дьяволом — об этом, кажется, есть в «Хрониках» Лоу,— а затем в их семье произошла загадочная трагедия. Что там случилось, не знаю, но было это много позднее, лет сто назад.

— Больше, чем сто,— сказал мистер Томсон.— В 1783 году.

— Откуда вы это знаете? Я говорю о чьей-то смерти.

— Да, о прискорбной кончине милорда Дэррисдира и его брата, владетеля Баллантрэ, постигшей их обоих в жестоком междоусобии,— сказал мистер Томсон таким тоном, будто цитируя по памяти.— Не так ли?

— Я, признаться, встречал всего лишь невнятные ссылки на это в разных хрониках,— сказал я,— и слышал еще более невнятные предания от своего дядюшки (вы его, кажется, знали). Мой дядюшка жил в детстве неподалеку от Сент-Брайда; в его рассказах было и про тамошнюю аллею, перегороженную и всю заросшую травой, и про большие ворота, всегда на запоре, и про последнего хозяина поместья, который жил в задних покоях замка со своей старенькой незамужней сестрой. Люди они были тишайшие, бедные, но вместе с тем чувствовалось в этой скромной, ничем не примечательной чете что-то возвышенное: ведь все же они были последними потомками людей отважных, неуемных. А местные сельские жители даже питали страх перед ними, издавна наслушавшись разных кривотолков про этот род.

— Да,— сказал мистер Томсон.— Последний хозяин поместья, Генри Грэем Дьюри, умер в 1820 году. Его сестра, достопочтенная мисс Кэтрин Дьюри,— в 1827-м. Это я давно знаю, а просмотренное мною за последние несколько дней подтверждает, что были они, как вы говорите, люди порядочные, тихие и небогатые. Сказать правду, на поиски пакета, который мы с вами сегодня вскроем, меня навело письмо милорда. У него затерялись какие-то документы, и он написал Джеку Мак-Брайеру, спрашивая, не обнаружатся ли они среди тех, что опечатал некий мистер Маккеллар. Мак-Брайер ответил, что все опечатанное Маккелларом написано его собственной рукой и носит, насколько ему известно, чисто повествовательный характер, а дальше следовало: «Я не вправе вскрывать пакет до 1889 года». Можете себе представить, как эти слова взбудоражили меня. Я занялся разбором всего архива Мак-Брайера и наконец наткнулся на этот пакет, который (если вы не хотите больше вина) я не замедлю вам показать.

В курительной, куда мой хозяин привел меня, лежал пакет, скрепленный печатями и обернутый листом толстой бумаги со следующей надписью:

«Документы касательно жизни и прискорбной кончины ныне покойных лорда Дэррисдира и его старшего брата, Джемса, именуемого владетелем Баллантрэ, постигшей их обоих в жестоком междоусобии. Документы сии переданы в руки присяжного стряпчего Джона Мак-Брайера по улице Лонмаркет в городе Эдинбурге сентября 20 в лето от Рождества Христова 1789, с тем чтобы он держал их в тайне впредь до истечения ста лет, а именно до сентября 20 1889 года.

Составил и записал
я, Эфраим Маккеллар,
без малого сорок лет бывший управителем
поместья Его Светлости».

Так как мистер Томсон человек женатый, я не стану говорить, сколько пробило на часах, когда мы с ним перевернули последнюю из следующих далее страниц. Добавлю лишь, какими словами мы обменялись.

— Вот вам готовый роман,— сказал мистер Томсон.— Все, что от вас тут потребуется,— это добавить пейзаж, развить характеры и подправить слог.

— Любезный друг мой,— сказал я.— Вашим трем советам я как раз и не последую даже под страхом смерти. Это надо выпустить в свет так, как оно есть.

— Да эти записки голые, будто лысина! — воскликнул мистер Томсон.

— По-моему, нет ничего интереснее, чем такой вот голый слог,— отвечал я.— Что же касается лысин, то, по мне, пусть вся литература облысеет (если вам угодно) да, пожалуй, и все авторы, кроме одного.

— Ну что ж,— сказал мистер Томсон.— Поживем, почитаем.

ГЛАВА I

ОБЗОР СОБЫТИЙ ЗА ВРЕМЯ СТРАНСТВОВАНИЙ БАЛЛАНТРЭ

Полная правда об этих странных делах — вот чего давно ожидало от меня всеобщее любопытство, и она, несомненно, будет встречена всеми с одобрением. Случилось так, что последние годы я был накрепко связан с этой семьей, и едва ли найдется в живых хоть один человек, который лучше меня мог бы разъяснить все происшедшее и который сильнее меня стремился бы рассказать обо всем полную правду. Я знал Баллантрэ; о многих потаенных ступенях его жизненного пути у меня есть достоверные письменные свидетельства; я был почти единственным, кто сопровождал его в последнем плавании; я был одним из участников того зимнего путешествия, о котором ходило так много рассказов, и я присутствовал при его смерти. Что же касается моего покойного господина, лорда Дэррисдира,— я служил ему и почитал его почти двадцать лет, и чем ближе его узнавал, тем больше было это почтение. Вообще говоря, я считаю, что такого рода свидетельства не должны пропадать без следа; правдой я могу оплатить свой долг памяти покойного лорда; и мне кажется, что мои последние годы протекут глаже и седины мои спокойнее будут покоиться на подушке, когда долг этот мною будет оплачен.

Дьюри из Дэррисдира и Баллантрэ были со времен Давида Первого [1] одной из самых крепких семей юго-запада. Песня, которую и до сих пор поют в округе:

Страшен врагам наш лорд Дэррисдир,
Выводит он в поле сотни секир,—

[1] Давид Первый — король, правивший Шотландией в начале XII века.

говорит о древности их рода; имя Дэррисдиров упоминается и в другой песне, которую приписывают самому Томасу из Эрсельдуна[1], насколько основательно, сказать не могу, и которую иногда приурочивают — не знаю, справедливо ли — к событиям, о которых я поведу рассказ:

Двое Дьюри у нас в Дэррисдире,—
Не ужиться им в замке вместе;
Жениху день свадьбы горек,
Но горше был день тот невесте.

Что достоверно и закреплено историей — это их деяния, не всегда (по теперешним понятиям) похвальные. Семья испытала на себе в полной мере все взлеты и падения, которые так обычны были для знатных шотландских фамилий. Но все это я миную для того, чтобы сразу перейти к достопамятному 1745 году, когда завязаны были узлы разыгравшейся позднее трагедии.

В то время неподалеку от Сент-Брайда, на берегу залива Солуэй, в старом замке — родовом поместье Дэррисдиров со времен Реформации[2], жила семья, состоявшая из четырех человек. Старый лорд, восьмой в своем роду, был не стар годами, но преждевременно одряхлел; постоянное место его было у камина — там он сидел в подбитом мехом плаще, читая свою книгу. Мало для кого находилось у него хоть слово, а худого слова от него не слыхал никто.

Так он и жил — образец старого, удалившегося от дел домоседа, но разум милорда был изощрен чтением, и он слыл гораздо умнее, чем мог показаться с первого взгляда.

Старший его сын, носивший титул владетеля Баллантрэ, получил при крещении имя Джемса и перенял от отца любовь к серьезному чтению, а отчасти и его манеры; но то, что было сдержанностью в отце, стало в сыне злостным притворством. Он был общителен, вел разгульный образ жизни: допоздна засиживался за вином, еще дольше — за картами; его считали в округе опасным волокитой, и всегда он был зачинщиком всех ссор.

[1] Томас из Эрсельдуна — шотландский поэт XIII века.

[2] Времена Реформации — время широкого социально-политического движения, принявшего форму борьбы против католической церкви и носившего в целом антифеодальный характер. В Англии Реформация захватывает XIV—XVI века.

Он первым ввязывался в дело, но замечено было, что он неизменно выходил сухим из воды, а расплачиваться за все приходилось его сообщникам. Были у него, конечно, и недоброжелатели, но для большинства эта удача или увертливость лишь упрочила его славу, и от него ждали многого в будущем, когда он остепенится.

На его репутации было одно действительно черное пятно; но дело было в то время замято и так обросло всякими кривотолками еще до моего появления в тех местах, что я не решаюсь излагать его здесь. Будь это правда — это было бы непростительным укором для такого юноши, будь это выдумка — это была бы непростительная клевета. Я считаю необходимым отметить, что он всегда хвалился своей неумолимостью и, возможно, убедил в этом многих, недаром слыл он среди соседей человеком, которому опасно перечить. Словом, этот молодой дворянин (в 45-м году ему не было еще и двадцати четырех лет) не по летам прославился в своих краях.

Не мудрено поэтому, что мало кто слышал о втором сыне, мистере Генри (моем покойном лорде Дэррисдире). Не было в нем крайностей ни в дурную, ни в хорошую сторону, а был он простой, честный человек, как многие из его соседей.

О нем мало кто слышал, сказал я; вернее будет — о нем мало кто говорил. Слышали о нем рыбаки залива, потому что он был завзятый рыболов, но знал он толк и в лечении лошадей и с юношеских лет вплотную занимался ведением дел по усадьбе. Никто лучше меня не видел, насколько это было неблагодарное занятие и как легко было при том положении, в котором оказалась семья, без всякого основания прослыть тираном и скрягой.

Четвертой в доме была мисс Алисон Грэм, близкая родственница семьи, сирота и наследница значительного состояния, нажитого ее отцом на торговле. Эти деньги могли вывести моего господина из больших затруднений (ведь поместье было многократно перезаложено), и мисс Алисон предназначалась в жены Баллантрэ, на что она шла вполне охотно. Другое дело — насколько охотно подчинялся этому решению сам Баллантрэ. Она была миловидная девушка и в те дни очень живая и своенравная — ведь дочерей у милорда не бы-

ло, а миледи давно скончалась, так что мисс Алисон росла без присмотра, как ей вздумается.

Известие о высадке принца Чарли[1] перессорило всю семью. Милорд, как и подобает домоседу, предлагал выжидать событий. Мисс Алисон высказывалась за обратное, потому что это казалось ей романтичным, и Баллантрэ (хотя, как я слышал, они редко сходились во мнениях) на этот раз был на ее стороне. Насколько я понимаю, его привлекала эта авантюра, соблазняла и возможность поправить дела дома и, не менее того, надежда заплатить личные долги, которые размером своим превосходили все предположения. Что касается мистера Генри, то поначалу он, видимо, говорил мало, его черед наступил позже. А те трое, проспорив весь день, пришли наконец к решению держаться среднего курса: один сын поедет сражаться за «короля Джемса», а другой останется с милордом дома, чтобы не потерять расположения «короля Джорджа»[2].

Несомненно, это решение было подсказано милордом, и хорошо известно, что так поступили многие влиятельные семьи Шотландии.

Но лишь только окончился один спор, как разгорелся другой. Потому что милорд, мисс Алисон и мистер Генри — все трое придерживались того мнения, что ехать надлежит младшему; а Баллантрэ с присущей ему непоседливостью и тщеславием ни за что не соглашался остаться дома.

Милорд увещевал, мисс Алисон плакала, мистер Генри настаивал — ничто не помогало.

— У королевского стремени должен ехать прямой наследник Дэррисдиров,— твердил Баллантрэ.

---

[1] Принц Чарли — сын Джемса, или (по латинской форме) Якова Стюарта, претендента на английскую корону, который, как и все потомки изгнанной в 1688 году старшей ветви династии Стюартов, жил за границей. Оттуда, пользуясь денежной и военной поддержкой французского короля и римского папы, Стюарты не раз предпринимали попытки реставрации. Будучи шотландского происхождения и надеясь на рознь между шотландцами и англичанами, Стюарты рассчитывали найти себе опору в Шотландии. Принц Чарли в 1745 году высадился на шотландском побережье и сразу стал собирать по стране войско для похода на Лондон.

[2] За «короля Джемса» — за Якова Стюарта; за «короля Джорджа» — за короля Георга Ганноверского, царствовавшего тогда в Англии.

— Да, если бы мы вели игру всерьез,— возражал мистер Генри,— тогда это было бы резонно. Но что мы делаем? Мы играем краплеными картами.

— Мы спасем дом Дэррисдиров, Генри,— говорил ему отец.

— Ты сам посуди, Джемс,— сказал мистер Генри,— если поеду я и принц возьмет верх, тебе будет легко договориться с королем Джемсом. Но если ты поедешь и попытка его провалится, то ведь законное право и титул будут разъединены. И кем тогда буду я?

— Ты будешь лордом Дэррисдиром,— ответил Баллантрэ.— Я ставлю ва-банк.

— А я не хочу вести такую игру! — закричал мистер Генри.— Ты меня оставишь в положении, которого не может потерпеть ни один человек, обладающий рассудком и честью. Я ведь буду ни рыба ни мясо! — воскликнул он.

С минуту помолчав, он высказался еще резче и, может быть, даже откровеннее, чем хотел бы.

— Ты обязан остаться здесь с отцом,— сказал он.— Ты ведь прекрасно знаешь, что ты любимец.

— Вот как? — процедил Баллантрэ.— «И взяла слово Зависть»! Ты что же, хочешь подставить мне ножку, Иаков?[1] — и он с умыслом подчеркнул это имя.

Мистер Генри отошел и, не отвечая, несколько раз прошелся по дальнему концу залы; он умел молчать. Потом он вернулся.

— Я младший, и ехать должен я,— сказал он.— Приказывает здесь глава семьи, а он говорит, что я должен ехать. Что вы на это скажете, братец?

— А вот что, Генри,— ответил Баллантрэ.— Когда поспорят два очень упрямых человека, выходов только два: драться — а я надеюсь, ни один из нас к этому не прибегнет,— или положиться на судьбу. Вот гинея; подчинишься ты ее решению?

— Будь что будет,— сказал мистер Генри.— Корона — я еду, герб — остаюсь!

Метнули жребий, и монета легла гербом.

---

[1] Иаков и Исав — сыновья библейского патриарха. Младший из братьев, Иаков, за чечевичную похлебку купил у Исава право наследства и занял место, надлежащее Исаву, как старшему. На эту притчу в романе не раз ссылаются действующие лица.

— Вот и урок Иакову! — воскликнул Баллантрэ.

— Мы еще раскаемся в этом,— сказал мистер Генри и с этими словами выбежал из комнаты.

А что до мисс Алисон, то она схватила золотую монету, которая только что обрекла ее жениха превратностям войны, и, швырнув ее, пробила фамильный герб в одном из стекол большого витража.

— Если бы вы любили меня, как я вас люблю, вы бы остались! — вскричала она.

— «Как смел бы я любить тебя, коль не хранил бы чести я?» — пропел Баллантрэ.

— О! — зарыдала она.— Вы бессердечны, пусть же вас там убьют! — И она в слезах выбежала и заперлась у себя в комнате.

Говорят, что Баллантрэ обернулся к милорду с самой веселой ужимкой и сказал:

— Дьявол, а не женщина!

— Это мне дан дьявол в сыновья,— закричал отец,— ты, которого, к стыду своему, я любил больше всех! Ничего доброго не видел я от тебя с самого часа твоего рождения, нет, ничего доброго! — и повторил это еще и в третий раз.

Что́ так взволновало милорда — то ли легкомыслие Баллантрэ, то ли его строптивость, то ли словечко мистера Генри про любимца,— не знаю, но думаю, что, пожалуй, последнее вернее всего, потому что с этого дня милорд стал ласковее к мистеру Генри.

Во всяком случае, весьма холодно было прощанье, когда явно наперекор всей семье Баллантрэ уезжал на север; и это еще больше омрачало запоздалые, как всем казалось, сожаления об этих часах.

Плетью и пряником он сколотил себе свиту в десяток верховых, все больше из фермерских сынков. Все они были изрядно навеселе, когда, нацепив по белой кокарде на шляпу, с криками и песнями поднимались вверх по холму мимо старого аббатства. Для такого маленького отряда было чистым безрассудством пробираться через всю Шотландию без всякой поддержки; тем более (как все и отметили), что о ту пору, когда эта горстка въезжала на холм, в заливе, широко распустив по ветру королевский флаг, красовалось военное судно, которое на одной шлюпке могло бы всех их доставить в корабельную тюрьму.

На следующий день, дав брату отъехать подальше, собрался в свой черед и мистер Генри. Он уехал без провожатых — предлагать свой меч и доставить письма отца правительству короля Георга. Мисс Алисон до самого их отъезда не выходила из своей комнаты и не переставая плакала; но все же она сама пришила белую кокарду на шляпу Баллантрэ, и, как рассказал мне Джон Поль, шляпа была вся мокрая от слез, когда он понес ее в комнату Баллантрэ.

Во все время последующих событий мистер Генри и мой старый господин были верны своему уговору. Я не знаю, много ли им удалось сделать, и не думаю, чтобы они особенно старались для короля. Но как бы то ни было, они придерживались буквы лояльности, переписывались с лордом-наместником, смирно сидели дома и совсем, или почти совсем, не поддерживали связи с Баллантрэ, покуда длилась вся эта история. Он тоже, со своей стороны, не давал о себе знать. Правда, мисс Алисон все время слала ему весточки, но часто ли она получала от него ответы, мне неизвестно. Одно из ее писем возил Макконнэхи. Он нашел горцев под Карлайлем [1], и среди них Баллантрэ, разъезжавшего в свите принца с великим почетом. Баллантрэ взял письмо, распечатал его, взглянул на него мельком (как рассказывал Макконнэхи), сложив губы так, словно собирался свистнуть, и засунул его за пояс, откуда оно при очередном курбете коня вывалилось в грязь, чего он и не заметил. Макконнэхи подобрал письмо и доселе его хранит, как я сам в этом потом убедился.

Конечно, в Дэррисдир доходили слухи, вечно ползущие по всей стране неведомыми путями, что не перестает поражать меня и поныне. Этим способом семья узнала и о милостях, расточаемых принцем нашему Баллантрэ, и о способах, которыми он снискал эти милости. С неразборчивостью, весьма странной при его гордости (разве что честолюбие в нем пересилило даже гордость), он, как говорили, втирался в высший круг, подлаживаясь к ирландцам [2]. Он завел дружбу с сэром Томасом Сэлливаном, полковником Бэрком и прочими и мало-помалу совсем отошел от своих земляков.

---

[1] Карлайль — город в Северной Англии.

[2] Стюарты вербовали себе сторонников также и среди католиков-ирландцев.

Он прикладывал руку ко всем мелким интригам и прилежно раздувал их. Он на каждом шагу перечил и лорду Джорджу; всегда давал совет, который мог быть угоден принцу, не думая о том, приведет ли это к добру, и, вообще говоря, казался (как и подобает игроку, каким он был всю жизнь) человеком, помышляющим не столько об успехе всей затеи, сколько о своем личном возвышении, если прихотью судьбы затея эта увенчается успехом. А впрочем, он очень хорошо держал себя на поле боя; этого никто не оспаривал,— он ведь не был трусом.

А затем пришла весть о Куллодене[1], которая была принесена в Дэррисдир единственным (по его словам) уцелевшим из всех тех, кто с песнями въезжал тогда на холм. К несчастью, случилось так, что Джон Поль и Макконнэхи в то самое утро нашли под кустом остролиста гинею — ту самую, которая принесла несчастье. Они сейчас же, как говорят у нас слуги, «отпросились со двора» к меняле, и если у них мало что осталось от гинеи, то еще меньше осталось от рассудка. Надо же было Джону Полю ворваться в залу, где вся семья сидела за обеденным столом, и громогласно сообщить, что, мол, «Тэм Макморленд воротился из похода, и — горе мне, горе! — он пришел один-одинешенек».

Они выслушали эту новость молча, как приговоренные; мистер Генри только закрыл лицо ладонью, мисс Алисон опустила голову на руки, а милорд посерел, как пепел.

— У меня еще остался сын,— сказал он.— И, надо отдать тебе справедливость, Генри, сын более преданный.

Как-то странно было это слышать в такую минуту, но милорд никогда не забывал упрека мистера Генри, да и на совести его были годы несправедливого предпочтения. Но все же это было странно, и мисс Алисон не смогла этого вынести. Она вспыхнула и стала укорять милорда за его бесчувственные слова, и мистера Генри за то, что он сидел тут в безопасности, когда брат его сложил голову, и себя, что проводила любимого злым словом. Она кричала, что Джемс лучше их всех, ломала руки, признавалась в своей любви к нему и звала его

[1] На Куллоденских болотах в Северной Шотландии в 1746 году было разбито наголову войско принца Чарли.

ласкательными именами, так что изумленные слуги не узнавали ее.

Мистер Генри вскочил и стоял, ухватившись за стул. Теперь он тоже посерел, как пепел.

— О, я знал, что вы его любите! — вырвалось у него.

— Бог мой, да весь свет знал об этом! — закричала она и, обращаясь к нему, добавила: — Вот только никто, кроме меня, не знает, что вы в сердце своем предали его.

— Свидетель бог! — простонал он.— Мы оба любили напрасно.

Время шло, и в доме как будто бы ничего не изменилось, только было их теперь трое, а не четверо, и это постоянно напоминало им об их утрате. Не забудьте, что без денег мисс Алисон поместье не могло обойтись, и вот теперь, когда один брат был мертв, старый лорд скоро пришел к мысли о необходимости женить на ней второго.

День за днем он подготовлял ее к этому, сидя у камина, заложив пальцем свою латинскую книгу и поглядывая на мисс Алисон с благожелательной внимательностью, которая была ему очень к лицу. Если она плакала, он соболезновал ей, как очень старый человек, который много пережил на своем веку и привык даже к печали относиться легко; если она бушевала, он снова погружался в свою латинскую книгу, всегда предварив это учтивым извинением; если она предлагала, как это теперь часто случалось, принять ее деньги в подарок, он разъяснял ей, как мало это соответствовало его понятиям о чести, и напоминал, что если бы даже он и пошел на это, то мистер Генри наверняка отклонил бы такой подарок. Non vi sed saepe cadendo[1] — таково было его любимое присловье; и, без сомнения, его спокойная настойчивость поколебала ее непреклонность; нет сомнения, к тому же, что он имел на нее большое влияние,— ведь он заменил ей и отца и мать; и, наконец, она сама была проникнута духом Дьюри и болела душой о славе Дэррисдира, но не настолько, по-моему, чтобы выйти за моего бедного господина, если бы, как это ни странно, не крайняя неприязнь к нему всех окружающих.

[1] Не силой, а повторением *(лат.)*.

Этим он был обязан Тэму Макморленду. Тэм был в общем безобидный малый, но с одной прискорбной слабостью: у него был длинный язык; и как единственному человеку в округе, который выезжал в свет, или, вернее, оттуда воротился, слушателей ему не приходилось искать.

Я давно заметил, что те, кто в любой борьбе потерпел поражение, всегда стараются убедить себя, что их предали. По рассказам Тэма, все военачальники только и делали, что предавали мятежников: их предали при Дарби и предали при Фолкирке; ночной марш был проявлением измены милорда Джорджа, а Куллоден был проигран из-за предательства Макдональдов. Привычка приписывать измену всем и каждому так одолела глупца, что в конце концов он и мистера Генри приплел сюда же. Мистер Генри, по его словам, предал добровольцев Дэррисдира; он будто бы обещал прийти на подмогу с новым отрядом, а вместо этого поехал на поклон к королю Джорджу.

— Да, и это на другой же день! — кричал Тэм.— Бедный наш храбрый Баллантрэ! И бедные славные ребята, которые не оставили его одного! Едва они перевалили через гребень холма, тот уже собрался в путь, Иуда! Ну, оно конечно, ему-то это на пользу: он будет моим лордом; а нашим мертвым — им тлеть там, в горных вересках! — И при этом, если Тэм бывал уже достаточно пьян, он принимался всхлипывать.

Только начни повторять без конца одно и то же — люди чему угодно поверят. Мало-помалу такое истолкование поступков мистера Генри укоренялось в нашей округе; об этом говорили те, кто знал правду, но кому говорить было не о чем; это слушали и повторяли как достоверное люди неосведомленные и недоброжелательные. Мистера Генри начинали сторониться; еще немного — и деревенские стали перешептываться, когда он проходил мимо, а женщины (они всегда смелее, потому что им нечего бояться) кричали ему в лицо свои упреки. Баллантрэ возвеличивали, как святого. Припомнили, что он никогда не притеснял арендаторов, чего он действительно не делал,— только прибирал к рукам и тратил собранные деньги. Правда, иной раз он бывал буен, но насколько же лучше откровенно буйный барич, который скоро угомонится, чем скряга и выжига, который сидит, уткнув нос в приходные книги, и выколачивает последний грош из бедного фермера.

Одна потаскушка, у которой от Баллантрэ был ребенок и с которой он, как все знали, обошелся очень дурно, стала ни с того ни с сего ярой ревнительницей его памяти. Однажды она швырнула в мистера Генри камнем.

— А где добрый молодец, что доверился тебе? — крикнула она.

Мистер Генри придержал коня и всмотрелся в нее. С губы у него стекала кровь.

— Это ты, Джесс? — сказал он.— И ты тоже? А ты бы должна была знать меня лучше.

Ведь он все время помогал ей деньгами.

Женщина схватила еще один камень и замахнулась им, а мистер Генри, чтобы заслониться, поднял руку, державшую хлыст.

— Как! Ты хочешь ударить женщину? Ах ты пащенок! — закричала она и убежала, причитая, словно он в самом деле ее ударил.

На другой же день по всей округе, словно пожар, разнесся слух, что мистер Генри избил Джесс Браун, да так, что она едва не умерла. Я привожу это в пример того, как нарастал снежный ком и как одна клевета порождала другую, и мой бедный господин был наконец настолько опорочен, что стал домоседом не хуже милорда. Дома он ни разу, в этом вы можете быть уверены, не промолвил ни слова жалобы; самый повод для клеветы был слишком больным вопросом, чтобы его затрагивать, а мистер Генри был очень самолюбив и упорен в своем молчании. Старый лорд, должно быть, слышал об этом кое-что от Джона Поля, а то еще от когонибудь; во всяком случае, он должен был заметить изменившееся поведение сына. Но даже и он, вероятно, не представлял, насколько далеко зашло дело. А что до мисс Алисон, то она всегда последней узнавала новости, да и тогда они ее интересовали меньше всех.

В самый разгар этого брожения (которое, по необъяснимым причинам, утихло так же быстро, как и возникло) в ближайшем к Дэррисдиру городке Сент-Брайде, что на Свифте, происходили выборы; ожидались волнения,— какого рода, я позабыл, если когда-нибудь об этом и слышал. Поговаривали, что еще до наступления ночи не обойдется без проломленных черепов и что шериф послал за солдатами чуть ли не в Дэмфрис. Милорд считал, что мистер Генри должен непре-

менно присутствовать, и доказывал, что ему надо появиться ради репутации семьи.

— Не то пойдут разговоры,— сказал он,— что мы не верховодим у себя же в окру́ге.

— Ну, не мне верховодить в нашей округе,— сказал мистер Генри, а когда милорд продолжал настаивать, добавил: — Уж если говорить чистую правду, я боюсь показаться при народе.

— Вы первый из Дэррисдиров говорите такие слова! — крикнула мисс Алисон.

— Мы поедем все трое,— сказал милорд и действительно влез в свои сапоги (впервые за четыре года; и покряхтел же Джон Поль, натягивая их на милорда!).

Мисс Алисон облачилась в амазонку, и все втроем они поехали в Сент-Брайд.

Улицы были полны всякого сброда со всей округи, и едва мистера Генри приметили, как начался свист, и улюлюканье, и крики: «Иуда!», «А где брат твой Джемс?», «Где его молодцы, которых ты продал?». В него даже кинули камень; но большинство не поддержало этого из уважения к старому лорду и мисс Алисон. Десять минут было достаточно, чтобы милорд убедился, что мистер Генри был прав. Он не сказал ни слова, но повернул коня и поехал домой, понуря голову.

Ни слова не сказала и мисс Алисон, но тем больше мыслей промелькнуло, должно быть, в ее голове; и, должно быть, гордость ее была уязвлена, потому что она была Дьюри до мозга костей; и, должно быть, сердце ее смягчилось при виде того унижения, которому безвинно подвергся ее родич. В эту ночь она не сомкнула глаз. Я часто порицал миледи, но когда я представляю эту ночь, я готов простить ей все. Наутро она первым долгом спустилась вниз и подошла к старому лорду.

— Если Генри по-прежнему домогается меня,— сказала она,— он может получить меня.

А ему самому она сказала по-другому:

— Я не приношу вам любви, Генри, но, видит бог, всю жалость, на которую я способна!

Первого июня 1748 года их обвенчали. А в декабре этого же года я слез с лошади у дверей большого дома Дэррисдиров, и с тех дней я поведу рассказ о событиях, которые развернулись у меня на глазах, с точностью свидетеля, дающего показания в суде.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОБЗОР СОБЫТИЙ (продолжение)

За этот сухой морозный декабрьский день я проделал последнюю часть своего пути, и надо же было, чтобы проводником моим оказался Пэти Макморленд, брат Тэма! Ни от кого еще в жизни не слыхивал я столько грязных сплетен, как от этого белобрысого, кудлатого, босоногого оборвыша лет десяти. Он их, должно быть, вволю набрался от своего братца. Я и сам был тогда не так уж стар, гордость еще не взяла верх над любопытством, да и кого угодно в то холодное утро захватил бы рассказ о старых распрях, услышанных в тех самых местах, где происходили все эти события.

Проходя по трясине, мальчик без умолку болтал о Клэвергаузе[1], а когда мы перевалили через гребень, пришел черед рассказам о черте. Когда мы проходили мимо аббатства, я узнал старые истории о монахах и о контрабандистах, которые приспособили развалины монастыря под свои склады и высаживаются на берег всего на расстоянии пушечного выстрела от Дэррисдира. Но всю дорогу каждый из Дьюри и особенно бедный мистер Генри подвергались особому поношению. Эти рассказы так меня настроили против моих будущих хозяев, что я был даже как будто удивлен, когда передо мной открылся Дэррисдир, укрывшийся на берегу живописной бухты у подножия Монастырского Холма. Дом был удобный, построенный во французском, а может быть, и в итальянском стиле — я плохо разбираюсь в этих вещах,— и вся усадьба богато разукрашена цветниками, газонами, подстриженным кустарником, купами деревьев. Те деньги, которые тут без толку тратились, могли бы полностью восстановить благосостояние семьи; но на поддержание поместья в том виде, в каком оно было, не хватило бы никакого дохода.

Сам мистер Генри вышел встретить меня у дверей. Это был высокий черноволосый молодой джентльмен (все Дьюри — брюнеты), лицо у него было открытое,

---

[1] Клэвергауз, или Джон Грэм, маркиз Данди — генерал Якова II, усмиритель шотландского восстания в 1679 году, жестокий гонитель пуритан.

но невеселое, он был очень крепкого телосложения, но, кажется, далеко не крепкого здоровья. Без всякой чопорности он взял меня под руку и сразу расположил к себе простым и приветливым разговором. Не дав мне сменить дорожное платье, он сейчас же повел меня знакомиться с милордом. Было еще светло, и первое, что я заметил, это ромб простого стекла посредине гербового оконного витража, что, как вспоминаю теперь, показалось мне тогда упущением в такой великолепной комнате, украшенной фамильными портретами, подвесками на лепных потолках и резным камином, возле которого сидел старый лорд, погруженный в своего Тита Ливия [1].

Открытым выражением лица он очень напоминал мистера Генри, но казался человеком более тонким и приятным, да и разговор его был в тысячу раз занимательней. У милорда нашлось ко мне много вопросов об Эдинбургском университете, где я только что получил свою степень магистра искусств, и о профессорах, имена и таланты которых были ему, казалось, хорошо известны. Так, беседуя о вещах, мне хорошо знакомых, я скоро освоился на новом месте и говорил легко и свободно.

В разгар беседы в комнату вошла миссис Генри; она была в тяжести — до рождения мисс Кэтрин оставалось всего недель шесть,— и это, конечно, при первой встрече помешало мне достойно оценить ее красоту. Она обошлась со мной гораздо надменнее, чем остальные, так что по всем этим причинам она заняла лишь третье место в моей привязанности к их семье.

Немного потребовалось времени, чтобы я окончательно разуверился во всех россказнях Пэти Макморленда; и я навсегда стал и посейчас остаюсь верным слугой дома Дэррисдиров. Наибольшую привязанность питал я к мистеру Генри. С ним я работал и в нем нашел требовательного хозяина, приберегавшего всю свою мягкость для часов, не занятых работой, а в рабочее время не только нагружавшего меня заботами о поместье, но и не спускавшего с меня недреманного ока. Так было до того дня, когда он, с какой-то застенчивостью подняв глаза от бумаг, сказал мне:

[1] Тит Ливий — римский историк, живший в I веке до н. э. Его исторические сочинения были излюбленным чтением в XVII—XVIII веках.

— Мистер Маккеллар, мне приятно отметить, что с работой вы справляетесь отлично.

Это было первое слово одобрения, и с этого дня ослабел его постоянный надзор за мною; а вскоре от всех членов семьи только и слышно стало: «Мистер Маккеллар» то́, и «мистер Маккеллар» другое,— и теперь я уже все делал по своему усмотрению, и все расходы мои принимались беспрекословно до последнего фартинга. Еще когда мистер Генри меня школил, я уже стал привязываться к нему — отчасти из чувства жалости к этому явно и глубоко несчастливому человеку. Нередко, сидя за счетными книгами, он впадал в глубокое раздумье, уставясь в пустую страницу или глядя мимо меня в окно. В эти минуты выражение его лица или невольный вздох вызывали во мне сильнейшее чувство любопытства и сочувствия. Помню, однажды мы поздно засиделись за каким-то делом в конторе. Помещалась она в верхнем этаже за́мка, из окон открывался вид на залив, на небольшой лесистый мыс и длинную полосу песчаных отмелей. И там, на фоне закатного солнца, чернели и копошились фигуры контрабандистов, грузивших товар на лошадей. Мистер Генри глядел прямо на запад, так что я даже поразился, как его не ослепляет солнце, и вдруг он хмурится, проводит рукой по лбу и с улыбкой повертывается ко мне.

— Вам никак не догадаться, о чем я сейчас думал,— говорит он.— Я думал, что был бы много счастливее, если бы мог делить опасность и риск с этими нарушителями закона.

Я ответил ему, что давно замечаю, как он подавлен, и что всем нам присуще завидовать ближним и думать, что все улучшится от какой-то перемены. (При этом я, как и подобало питомцу университета, процитировал Горация [1].)

— Да, да. Именно так,— сказал он.— А впрочем, вернемся к нашим отчетам.

Прошло немного времени, и мне стало понятно, что́ так угнетает его. В самом деле, даже слепец скоро почувствовал бы, что над домом нависла тень, тень владетеля Баллантрэ. Живой или мертвый (а мы считали его тогда мертвым), этот человек продолжал быть соперником брата: соперником вне дома — там не нахо-

[1] Гораций — знаменитый римский поэт, живший в I веке до н. э.

дилось доброго слова для мистера Генри, а Баллантрэ жалели и превозносили, соперником и в своем доме, не только в сердцах отца и жены, но даже и во мнении слуг.

Во главе челяди было двое старых слуг. Джон Поль — низенький, лысый, торжественный и желчный старик, большой святоша и (в этом надо отдать ему справедливость) по-своему преданный слуга — был главарем сторонников Баллантрэ. Никто не осмеливался заходить так далеко. Он находил особое удовольствие в том, чтобы публично оскорблять мистера Генри, чаще всего невыгодным для него сравнением. Конечно, милорд и миссис Генри останавливали Джона, но недостаточно твердо. Стоило ему скорчить плаксивую мину и начать свои причитания о «бедном барчуке», как он называл Баллантрэ,— и все ему прощалось. Генри сносил все это в молчании, с печальным, а иногда и с угрюмым выражением лица. Не приходилось соперничать с мертвым — он знал это, и ка́к было осуждать старого слугу за его слепую преданность. У него язык не повернулся бы сделать это.

Макконнэхи, возглавлявший другую часть слуг, был старый забулдыга, ругатель и пьяница. Я часто думал, как странно получается, что каждый из этих слуг представляет полную противоположность своему обожаемому господину и, превознося его, тем самым признает собственные пороки и готов отречься от собственных добродетелей. Макконнэхи скоро пронюхал о моей тайной привязанности и сделал меня своим доверенным. Бывало, он, отрывая меня от работы, часами поносил Баллантрэ.

— Да они здесь все сплошь олухи и остолопы,— кричал он,— черт бы их всех побрал! Подумаешь, владетель,— да с какой это стати, дьявол им в глотку, вздумали они так его величать! Это мистера Генри надо теперь называть владетелем и считать законным наследником. Небось, они вовсе не так цацкались со своим Баллантрэ, когда он у них сидел на шее. Уж я-то это знаю. А, будь он неладен! Ни словечка доброго не слышал я от него, да и кто слышал? Одна брань, и насмешки, и божба — подавись он ею на том свете! Я-то знал, каков он, этот джентльмен! Вы когда-нибудь слышали, мистер Маккеллар, о Вулли Уайте, ткаче? Нет? Ну так этот Вулли был страшный ханжа и эта-

кий сухарь, совсем не по мне. Мне и глядеть-то на него было противно. Но только по своей части он был рьяный человек, и случалось ему обличать Баллантрэ за его безобразия. Ну, пристало ли владетелю Баллантрэ воевать с ткачом, а? — Макконнэхи сморщил нос. Он никогда не мог произнести ненавистного имени без гримасы отвращения.— А он как раз это и затеял. Да еще что выделывал! Стучал ночью в дверь Вулли, кричал «Бу-у!», сыпал в печную трубу порох, взрывавшийся в очаге, и пускал шутихи ему в окна. Словом, довел до того, что старик вообразил, что это сам Вельзевул пришел по его душу. Ну, короче говоря, кончилось дело тем, что Вулли совсем спятил. Его не могли поднять с колен, он все время вопил, и молился, и плакал, пока господь не успокоил его. Это было прямое убийство, все так и говорили. Спросите Джона Поля, Он сам крепко стыдился всей этой истории, ведь он такой истинно верующий христианин. Что и говорить, самое подходящее было дело для владетеля Баллантрэ!

Я спросил его, что́ думал обо всем этом сам Баллантрэ.

— А почем я знаю? — ответил Макконнэхи.— Он никогда об этом не говорил.— Последовали обычная его ругань и божба, и через каждые два-три слова он с ухмылкой гнусил: «Владетель Баллантрэ!»

Однажды во время таких излияний он показал мне то письмо из-под Карлайля, хранившее и посейчас отпечаток конского копыта. Впрочем, это была последняя из наших бесед, потому что он в этот раз так грубо отозвался о миссис Генри, что мне пришлось резко одернуть его и с тех пор держать на почтительном расстоянии.

Старый лорд был неизменно ласков с мистером Генри, изъявлял ему благодарность и, случалось, кладя ему руку на плечо, говорил, как будто обращался ко всем: «Вот какой у меня хороший сын!» И он был действительно благодарен мистеру Генри, как человек справедливый и рассудительный. Но мне кажется, что этим все и ограничивалось, и я уверен, что мистер Генри был того же мнения. Любовь вся ушла на умершего сына. Не то чтобы милорд при мне часто высказывался об этом. Только однажды он спросил, какие у меня отношения с мистером Генри, и я выложил ему всю правду.

— Да,— сказал он, глядя в сторону, на огонь в камине,— Генри — добрый малый, очень, очень добрый малый. Вы слышали, мистер Маккеллар, что у меня был еще один сын? Не скажу, чтобы он был таким примерным, как мистер Генри, но, увы, он умер, мистер Маккеллар! Когда он был жив, мы все гордились им, очень гордились. Если он и не во всем оправдывал наши ожидания, ну что ж, мы за это любили его еще больше.

Последние слова он произнес задумчиво, глядя в огонь, а затем добавил с внезапной живостью:

— Но меня радует, что вы поладили с мистером Генри. Он вам будет хорошим господином.

И вслед за этим он раскрыл книгу, что обычно означало, что разговор окончен. Но едва ли он читал внимательно и едва ли понимал хоть немного из прочитанного; поле Куллоденского боя и старший сын — вот что владело его мыслями, а мною уже тогда, из сочувствия к мистеру Генри, овладевало ощущение какой-то неестественной ревности к мертвому.

Скажу напоследок и о миссис Генри, и если мое суждение о ней покажется чрезмерно строгим, пусть читатель решает сам, когда я закончу свой рассказ.

Но прежде я должен упомянуть о случае, который еще больше ввел меня в семейные дела Дэррисдиров. Не истекло и полугода моего пребывания в замке, как случилось, что Джон Поль заболел и слег. По моему крайнему разумению, причиной было пьянство, но с ним нянчились, и сам он держал себя как великомученик. Даже пастор, навестивший его, ушел как бы сподобившись благодати. На третий день его болезни мистер Генри пришел ко мне с виноватым видом.

— Маккеллар,— сказал он,— я хотел бы попросить вас об одной маленькой услуге. Мы, знаете, выплачиваем пенсию... доставлять ее лежало на обязанности Джона, а теперь, когда он болен, мне некого попросить об этом, кроме вас. Дело это деликатное, по веским причинам я не могу вручить ее сам. Макконнэхи я не решаюсь послать из-за его языка, а я... а мне... Я не хотел бы, чтобы это дошло до миссис Генри,— сказал он и покраснел до корней волос.

По правде говоря, когда я узнал, что должен отвезти деньги некоей Джесси Браун, которая вполне заслуживала свою репутацию, я подумал, что это мистер

Генри откупается от собственной интрижки. И тем более я был поражен, когда обнаружилась правда.

Жила Джесси в тупике, отходившем от глухого проулка в Сент-Брайде. Соседство было очень подозрительное — все больше контрабандисты. У входа в проулок мне встретился человек с прошибленной головой; дальше пьяная орава горланила и распевала в харчевне, хотя было всего девять часов утра. Словом, ничего хуже этой трущобы я не видел даже в таком большом городе, как Эдинбург, и я уже подумывал, не поворотить ли мне обратно. Обиталище Джесси было под стать улице, а сама она и того хуже. Расписку (которую с обычной своей пунктуальностью мистер Генри велел мне с нее взять) я получил не раньше, чем она послала кого-то за спиртным и я выпил с ней по стакану. Все время она держала себя взбалмошно, легкомысленно — то подражала манерам леди, то впадала в разгульное веселье, то кокетливо заигрывала со мной, что мне было особенно противно. О деньгах она говорила в трагическом тоне.

— Проклятые деньги! — восклицала она.— Цена крови — вот что это такое! Видите, до чего я дошла! Ах, если бы вернулся мой милый, все бы изменилось! Но он мертв — лежит мертвый в горах,— мой милый, мой милый!

У нее была исступленная манера оплакивать своего милого, с заламыванием рук и закатыванием глаз, чему она, должно быть, научилась у бродячих актеров, и горе ее показалось мне напускным. Она словно щеголяла своим позором. Не скажу, чтобы я не жалел ее, но в лучшем случае это была жалость пополам с отвращением, а напоследок сама Джесси рассеяла и последние ее остатки. Натешившись моим обществом и нацарапав свое имя под распиской, она сказала: «Ну, вот!» — и, отбросив всякий женский стыд, с чудовищной руганью стала гнать меня, чтобы я поскорее отнес расписку Иуде, пославшему меня к ней... Так впервые я услышал это имя в применении к мистеру Генри. Меня поразила эта внезапная перемена в словах и обращении, и я удалился из ее комнаты, как побитая собака, напутствуемый градом ужаснейших проклятий. Но и этого было мало: ведьма распахнула окно и, высунувшись, продолжала поносить меня на всю улицу; контрабандисты, выглянувшие из дверей харчевни, подхватили ее

ругань, и один из них был настолько бесчеловечен, что науськал на меня презлую собачонку, которая прокусила мне лодыжку. Нуждайся я в уроке, ничто не могло бы лучше предостеречь меня от дурного общества. Домой я приехал, сильно страдая от укуса и возмущенный до глубины души.

Мистер Генри был в конторе под предлогом работы, но я понял, что ему не терпится поскорее услышать, как прошла моя поездка.

— Ну? — спросил он, как только я вошел, а когда я сообщил ему вкратце о происшедшем и о том, что Джесси, по-видимому, недостойная и неблагодарная женщина, он сказал: — Она не друг мне, Маккеллар. Но много ли у меня друзей? К тому же у Джесси есть причины быть несправедливой. Что толку мне скрывать то, что знает вся округа: с нею очень плохо обошелся один из членов нашей семьи.— Так он в первый раз при мне, хотя и отдаленно, упомянул о Баллантрэ, и мне кажется, что он с трудом выговорил даже это, потому что сейчас же продолжал: — Вот почему я не хотел бы разглашать этого дела. Оно огорчило бы миссис Генри... и моего отца,— добавил он, снова весь вспыхнув.

— Мистер Генри,— сказал я,— простите мне мою смелость, но, по-моему, женщину эту надо предоставить ее судьбе. Ваши деньги не могут помочь такой, как она. Ей неизвестно ни воздержание, ни бережливость, а что до признательности, так скорее жди от козла молока, и если вы перестанете оказывать ей помощь, это ничего не изменит, разве только спасет от укусов нóги ваших посланцев.

Мистер Генри улыбнулся.

— Я очень огорчен, что пострадала ваша нога,— тут же добавил он уже серьезно

— И примите во внимание,— продолжал я,— что этот совет я даю вам по зрелом размышлении, а сначала меня все же растрогало несчастье этой женщины.

— Вот в том-то и дело! — сказал мистер Генри.— И не забывайте, что я еще помню ее как порядочную девушку. А кроме того, пусть я и мало говорю о чести моей семьи, это не значит, что я не дорожу ее репутацией.

И на этом он прервал разговор, в котором впервые так доверился мне. Но в тот же день я убедился, что

его отец был посвящен в эту историю и что только от своей жены мистер Генри держал ее в секрете.

— Боюсь, что сегодняшнее поручение было вам не особенно приятно,— сказал милорд.— Оно ни в коем случае не входит в круг ваших обязанностей. Именно поэтому мне хочется особо поблагодарить вас и при этом напомнить (если этого не сделал уже мистер Генри), насколько желательно, чтобы ни слова об этом не дошло до моей дочери. Чернить умерших вдвойне тягостно, мистер Маккеллар!

Сердце у меня распалилось гневом, и я едва удержался, чтобы не сказать милорду в лицо, какое вредное дело он делает, возвеличивая образ мертвого в сердце миссис Генри, и насколько лучше было бы ниспровергнуть ложный кумир. К этому времени я уже отлично разглядел, что́ отчуждало миссис Генри от ее мужа.

Мое перо достаточно умело, чтобы рассказать простую историю, но выразить на бумаге воздействие множества мелочей, по отдельности незначительных, передать повесть взглядов и откровение голосов, произносящих не бог весть какие слова, вложить в полстраницы суть событий почти восемнадцати месяцев — это едва ли посильная для меня задача.

Говоря начистоту, виновата во всем была миссис Генри. Она ставила себе в заслугу, что согласилась выйти за мистера Генри, и считала это мученическим подвигом, в чем старый лорд, вольно или невольно, поощрял ее. Она так же ставила себе в заслугу верность покойному, и хотя непредубежденный человек назвал бы это скорее неверностью живому, милорд и в этом оказывал ей поддержку. Вероятно, ему доставляло утешение поговорить о своей потере, а с мистером Генри говорить об этом он не решался. И вот со временем в этой семье из трех человек произошел раскол и отверженным оказался супруг.

В их семействе вошло в обыкновение, что, когда милорд после обеда садился к камину со стаканом вина, мисс Алисон не уходила, но, подставив к огню скамеечку, болтала со стариком о всякой всячине. Став женой мистера Генри, она не отказалась от этой привычки. Всякого бы порадовало зрелище того, как дружил старый лорд со своей дочерью, но я слишком уважал мистера Генри, чтобы не печалиться его унижению. Много раз я видел, как он, переломив себя, вставал из-за стола и под-

саживался к жене и старому лорду; они же, со своей стороны, так подчеркнуто приветствовали его, обращались к нему, как к чужому, с такой натянутой вежливостью и принимали его в свой разговор с такой явной неохотой, что он скоро возвращался ко мне за стол, куда — так обширна зала Дэррисдира — до нас доносилось только неясное бормотанье голосов у камина. Тут он и сидел вместе со мной, прислушиваясь и приглядываясь, и часто по скорбному кивку старого лорда и по тому, как он клал руку на голову миссис Генри или как она поглаживала рукой его колени, словно утешая его, или по тому, как глаза их, встречаясь, наполнялись слезами, мы могли заключить, что разговор перешел все к той же теме и что тень покойного была в комнате с нами.

Я и сейчас иной раз порицаю мистера Генри за то, что он переносил все так терпеливо, но не надо забывать, что жена вышла за него из жалости и что он пошел на это. Да и как ему было проявлять решительность, когда он ни в ком не встречал поддержки. Помню, как однажды он объявил, что нашел стекольщика, чтобы сменить злополучное стекло витража. Он вел все дела по дому, и это входило в его компетенцию. Однако для почитателей Баллантрэ это стекло было своего рода реликвией, и при одном упоминании о замене кровь бросилась в лицо миссис Генри.

— Как вам не стыдно! — закричала она.

— Да, мне действительно стыдно за себя,— сказал мистер Генри с такой горечью, какой я еще никогда не слыхал в его голосе.

Тут в разговор вмешался старый лорд и отвлек внимание своими мягкими речами. Еще не кончился обед, а все уже, казалось, было забыто, но после обеда, когда они, как водится, уединились у камина, мы видели, как она рыдала, уткнувшись головой в его колени. Мистер Генри завел со мной разговор о каких-то делах по имению — он был неразговорчив и редко говорил о чем-нибудь, кроме хозяйства; но в этот день, то и дело поглядывая в сторону камина, он говорил не переставая, хотя голос его то и дело срывался со спокойного тона. Во всяком случае, стекло не было заменено, и мне кажется, что он считал это большим своим поражением.

Как бы ни судить о его характере, видит бог, добр он к ней был несомненно. В обращении с ним у нее была какая-то снисходительная манера, которая (будь она у моей жены) довела бы меня до бешенства, но он принимал это как милость. Она держала его в отдалении от себя, как ребенка в детской, то забывая о нем, то вспоминая и даря своей приветливостью; она угнетала его своим холодным вниманием, укоряла его, меняясь в лице и закусив губы, как бы стыдясь его позора, повелевала ему взглядом, когда давала себе волю, а когда надевала маску, то молила его о самых обычных вещах, как будто это были невесть какие одолжения. И на все это он отвечал неутомимой заботой, обожая, как говорится, самую землю, по которой она ступала, и неся эту любовь в самых глазах своих, как неугасимый светильник.

Когда ожидали появления на свет мисс Кэтрин, ничто не могло заставить его уйти из комнаты жены, и он так и пробыл там до конца. Он сидел (как мне рассказывали) у изголовья кровати, белый как полотно, и пот стекал у него по лбу, а платок в его руках был смят в комочек не больше мушкетной пули. Недаром он долго после этого не мог выносить самого вида мисс Кэтрин; сомневаюсь, чтобы он вообще питал к ней должное чувство, за что и подвергался всеобщему осуждению.

Так обстояли дела в этой семье до седьмого апреля 1749 года, когда случилось первое в ряду тех событий, которые должны были разбить столько сердец и унести столько жизней.

В этот день, незадолго до ужина, я сидел у себя в комнате, когда ко мне, даже не постучавшись, ворвался Джон Поль и заявил, что внизу кто-то желает говорить с управляющим; при этом слове он ухмыльнулся.

Я спросил, чтó это за человек и как его зовут, и тут обнаружилась причина неудовольствия Джона: оказалось, что посетитель пожелал назвать себя только мне, что было оскорбительным нарушением прерогатив мажордома.

— Хорошо,— сказал я с легкой улыбкой.— Посмотрим, что ему надо.

Внизу я нашел крупного, просто одетого мужчину, закутанного в морской плащ, обличавший его недавнее прибытие на корабле; а неподалеку от него стоял Макконнэхи, разинув рот от изумления и взявшись рукой за подбородок, как тупица перед трудной задачей. Незнакомец закрывал лицо воротником и казался озабоченным. Завидев меня, он бросился ко мне навстречу и засыпал словами.

— Мой почтеннейший,— сказал он.— Тысячу извинений, что я тревожу вас, но я здесь в крайне щекотливом положении. А тут еще этот дубина, которого я где-то встречал и, что гораздо хуже, который как будто тоже меня приметил. Раз вы живете в этом доме, сэр, и занимаете в нем такую должность (это и послужило причиной моего обращения к вам), вы, конечно, сторонник правого дела?

— Во всяком случае,—сказал я,— вы можете быть уверены, что в Дэррисдире вы в полной безопасности.

— В чем я и не сомневался, почтеннейший,— сказал он.— Понимаете, меня только что высадил на берег один честнейший человек... совсем позабыл, как его зовут. Так вот, он будет ждать меня до рассвета, с немалым риском для себя, да, от вас скрывать нечего, и для меня тоже. Мне столько раз удавалось уносить ноги, мистер... э...— представьте, совсем позабыл ваше звучное имя,— что, право же, очень досадно было бы попасться на этот раз. А этот ротозей, которого, помнится, я встречал под Карлайлем...

— Ну, сэр,— сказал я,— до завтра Макконнэхи вам не опасен.

— Вы очень любезны, мистер, мистер—как бишь?— незнакомец. Имя мое, видите ли, не очень популярно у вас в Шотландии. Конечно, от такого джентльмена, как вы, мой почтеннейший, я не буду скрывать свое имя и, с вашего разрешения, шепну его вам на ухо. Зовут меня Фрэнсис Бэрк, полковник Фрэнсис Бэрк. Рискуя своей головой, прибыл я сюда, чтобы повидать ваших господ. Поверьте, почтеннейший, что по вашей наружности я никогда бы не определил вашего положения в доме. Так вот, если будет на то ваша милость, сообщите им мое имя и скажите, что я привез письма, которые, я уверен, их очень порадуют.

Полковник Бэрк был сторонником принца из числа тех ирландцев его свиты, которые так вредили его делу и так ненавистны были шотландцам в дни восстания. Мне припомнилось, как изумил всех Баллантрэ, присоединившись к этой шайке. И тут же у меня мелькнула догадка о действительном положении вещей.

— Войдите сюда,— сказал я, отворяя дверь,— я доложу о вас милорду.

— Вы очень любезны, мистер, мистер... как бишь вас! — сказал полковник.

Медленно поднялся я наверх, в залу, где были все трое — милорд в своем кресле, миссис Генри за вышиваньем у окна, а мистер Генри расхаживал в дальнем конце залы (как это вошло у него в привычку); посредине был стол, накрытый для ужина. Я вкратце сообщил им то, что мне было поручено. Милорд откинулся на спинку кресла. Миссис Генри вскочила с места да так и застыла. Они с мужем переглянулись через всю комнату, и что это был у нее за странный, вызывающий взгляд, и как они оба при этом побледнели! Потом мистер Генри обернулся ко мне, ничего не сказал, а только сделал знак рукою. Но этого было достаточно, и я спустился вниз к полковнику.

Когда мы с ним поднялись, я увидел, что те трое не сдвинулись с места. Я уверен, что они не обменялись ни словом.

— Милорд Дэррисдир, не так ли? — сказал полковник с поклоном, и милорд поклонился ему в ответ.

— А это, по всей вероятности, наследник титула, владетель Баллантрэ? — продолжал полковник.

— Я никогда не принимал этого имени,— сказал мистер Генри.— Генри Дьюри к вашим услугам.

Потом полковник обратился к миссис Генри, приложив шляпу к сердцу и кланяясь с изысканнейшей вежливостью:

— Не может быть сомнения, что в вашем лице я приветствую обворожительную мисс Алисон, о которой я столько наслышан

Супруги снова обменялись взглядом.

— Я миссис Генри Дьюри,— сказала она,— но до замужества меня звали Алисон Грэм.

Тогда заговорил милорд.

— Я старый человек, полковник,— сказал он,— и притом слаб здоровьем. Не томите нас. Вы к нам с вестями о...— Он запнулся, но потом произнес сорвавшимся голосом: — О моем сыне?

— Мой дорогой сэр, я отвечу вам прямо, как подобает солдату,— сказал полковник.— Да, о нем.

Милорд протянул дрожащую руку; он как бы давал знак, но поторопиться или обождать — этого мы понять не могли. Наконец он едва выговорил:

— И с добрыми?

— С наилучшими, какие только могут быть!—вскричал полковник.— Потому что мой добрый друг и пре-

восходный товарищ в настоящее время обретается в прекрасном городе Париже и, насколько я могу судить о его привычках, едет сейчас в своем портшезе[1] на какой-нибудь званый обед... Клянусь богом, леди дурно!

Миссис Генри в самом деле смертельно побледнела и опустилась на подоконник. Но когда мистер Генри сделал движение, чтобы поспешить к ней на помощь, она выпрямилась, вся задрожав.

— Ничего! — сказала она побелевшими губами.

Мистер Генри остановился, и лицо его передернулось гримасой гнева. Мгновение спустя он обернулся к полковнику:

— Не вините себя за то, что ваши новости так поразили миссис Дьюри. Это вполне естественно: все трое мы росли, как родные.

Миссис Генри посмотрела на мужа с некоторым облегчением и даже как бы с признательностью. Насколько я могу судить, это был его первый шаг к завоеванию ее благосклонности.

— Ради бога, простите меня, миссис Дьюри, я ведь не более как неотесаный ирландец,— сказал полковник,— и заслуживаю расстрела за то, что не сумел как следует преподнести свои новости. Но вот собственноручные письма Баллантрэ — по письму каждому из вас, и, уж конечно (если я хоть что-либо смыслю в его талантах), он сумел должным образом рассказать свою историю.

Говоря так, он вынул три письма и в соответствии с адресом подал первое из них милорду, который жадно схватил его. Затем он направился к миссис Генри.

Но леди отстранила его.

— Моему мужу,— сказала она сдавленным голосом.

Полковник был человек находчивый, но это и его ошеломило.

— Да, конечно! — сказал он.— Как же это я? Конечно! — но он все еще держал перед ней письмо.

Тогда мистер Генри протянул руку, и ничего не оставалось, кроме как отдать письмо ему. Мистер Генри взял письма (и свое и женино) и посмотрел на них, хмуря

[1] Портшез — закрытые носилки, своего рода переносное кресло, которым пользовались в городах средневековья вплоть до XVIII века.

брови и что-то обдумывая. Он все время изумлял меня своим поведением, но тут он превзошел себя.

— Позвольте мне проводить вас в ваши покои,— сказал он жене.— Все это так неожиданно, и вам лучше бы прочесть письмо наедине, когда вы немного придете в себя.

Опять она взглянула на него с каким-то оттенком изумления, но он не дал ей опомниться и, подойдя к ней, сказал:

— Так будет лучше, поверьте мне, а полковник Бэрк слишком воспитанный человек, чтобы не извинить вас за это.— И с этими словами он взял ее за кончики пальцев и повел прочь из залы.

В этот вечер миссис Генри больше не выходила, и когда мистер Генри поднялся к ней, то, как я слышал много позже, она вернула ему письмо так и нераспечатанным.

— Прочтите его, и покончим с этим! — вскричал он.

— Избавьте меня от этого,— сказала она.

И с этими словами они оба, на мой взгляд, в значительной степени испортили то хорошее, чего только что добились. А письмо попало в мои руки и было сожжено нераспечатанным.

Чтобы точнее изложить похождения владетеля Баллантрэ после Куллодена, я недавно написал полковнику Бэрку, ныне кавалеру ордена святого Людовика, с просьбой прислать мне письменное их изложение, потому что по прошествии такого большого промежутка времени я не мог полагаться только на свою память. По правде сказать, я был несколько озадачен его ответом, потому что он прислал мне подробные воспоминания о собственной жизни, только местами имевшие отношение к Баллантрэ. Они были много пространнее, чем вся моя рукопись, и не всегда (как мне кажется) назидательны. В письме, помеченном Эттенгеймом[1], он просил, чтобы, воспользовавшись его рукописью для своих целей, я нашел для нее издателя. Мне кажется, что я лучше всего выполню свою задачу и одновременно его просьбу, если приведу здесь полностью некоторые части его воспоми-

[1] Эттенгейм — город в Юго-Западной Германии.

наний. Таким образом, читатель получит полный и, как мне кажется, достоверный отчет о весьма важных событиях, а если кого-нибудь из издателей заинтересует повествование кавалера, он знает, куда обратиться за остальной и весьма объемистой частью, которую я охотно предоставлю в его распоряжение. А теперь вместо изложения того, что рассказал нам кавалер за стаканом вина в обеденной зале Дэррисдира, я приведу первый отрывок из его рукописи. Не следует только забывать, что он поведал нам не эти голые факты, а весьма изукрашенную их версию.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СКИТАНИЯ БАЛЛАНТРЭ

(Из мемуаров кавалера Бэрка)

Надо ли говорить, что я покинул Рэзвен с гораздо бóльшим удовольствием, чем прибыл в него; но то ли сам я потерял дорогу среди пустошей, то ли спутники мои отбились, только вскоре я оказался совсем один. Это не сулило мне ничего хорошего: я никогда не мог освоиться с этой ужасной страной и ее полудикими обитателями, которые теперь, после бегства принца, особенно недружелюбно относились к нам, ирландцам. Я раздумывал над своей горестной судьбой, когда увидел на холме одинокого всадника и принял его сначала за призрак того, чью смерть под Куллоденом вся армия считала вполне достоверной. Это был владетель Баллантрэ, сын лорда Дэррисдира, молодой человек редких способностей и отваги, равно достойный украшать собою двор и срывать лавры на полях сражений. Встреча наша была весьма радушна, потому что он был одним из немногих шотландцев, которые хорошо относились к ирландским сторонникам принца, и сейчас, в дни поражения и бегства, мог быть мне крайне полезен. Но окончательно скрепило нашу дружбу одно обстоятельство, само по себе не менее романтичное, чем легенда о короле Артуре.

Это было на второй день нашего бегства, после того как мы провели ночь под дождем в каком-то овраге. Тут случился один человек из Аппина, по имени Алан Блэк

Стюарт (или что-то вроде этого)[1] — потом я встречал его во Франции. Они в чем-то не сошлись с моим спутником и обменялись весьма невежливыми словами. Стюарт потребовал, чтобы Баллантрэ спешился и обнажил шпагу.

— Ну, мистер Стюарт,— ответил Баллантрэ,— при теперешних обстоятельствах я, пожалуй, предпочту состязаться с вами в беге.— И с этими словами он пришпорил своего коня.

И таков был ребячливый задор Стюарта, что он бежал за нами больше мили, и я не мог удержаться от смеха, когда, обернувшись, увидел его на вершине холма. Он держался рукой за левый бок, сердце у него чуть было не лопнуло от быстрого бега.

— Как хотите,— не удержался я от замечания своему спутнику,— но я бы никому не позволил бежать за собой с такой благородной целью, не удовлетворив его желания. Шутка была хороша, но она смахивает на трусость.

Он нахмурился.

— Хватит с меня и того,— сказал он,— что я связался с самым ненавистным для шотландцев человеком; можете судить по этому о моей храбрости.

— Клянусь честью,— сказал я,— будь у меня зеркало, я мог бы показать вам человека, еще менее любезного для своих соотечественников. И если вам так не нравится мое общество, сделайте одолжение, отвяжитесь от меня.

— Полковник Бэрк,— сказал он.— Не будем ссориться; и при этом помните, что терпение не из моих добродетелей!

— Ну, я нисколько не терпеливее вас,— сказал я.— И не считаю нужным скрывать это.

— Так мы с вами далеко не уедем,— сказал он, натянув поводья.— Я предлагаю вот что: либо сейчас же подеремся и расстанемся, либо накрепко договоримся переносить друг от друга все, что бы ни случилось.

— Как родные братья? — спросил я.

— Такой глупости я не говорил,— ответил он.— У меня есть брат, но для меня его все равно что и нет. Но уж если довелось нам обоим подвергнуться травле, так

[1] Примечания мистера Маккеллара. Не Алан ли это *Брэк* Стюарт, известный потом по Аппинскому убийству? Кавалер, вообще говоря, очень нетверд в именах.

поклянемся же клятвой гонимых, что не будет между нами ни обиды, ни мести. Я по натуре человек не добрый, и мне докучают все эти напускные добродетели.

— И я не лучше вас,— сказал я.— И у меня в жилах не парное молоко. Но как же нам быть? Дружить или биться?

— Знаете,— сказал он,— я думаю, лучше всего решить это жребием.

Такое предложение было слишком рыцарственно, чтобы не прельстить меня, и, как это ни покажется странным, мы, два знатных дворянина наших дней, словно двое паладинов[1] древности, доверили полукроне решить вопрос, биться нам насмерть или стать друзьями и побратимами. Едва ли можно представить себе обстоятельства более романтичные, и это одно из тех моих воспоминаний, которые свидетельствуют, что былые подвиги, воспетые Гомером и другими поэтами, живы и посейчас — по крайней мере в среде благородных и воспитанных людей. Жребий указал мириться, и мы рукопожатием скрепили наш уговор. Только тогда мой спутник объяснил мне, что́ побудило его ускакать от мистера Стюарта, и только тут я оценил этот ход, достойный государственного человека.

Разнесшийся слух о его смерти, сказал он, был ему надежной защитой; то, что мистер Стюарт узнал его, представляло опасность, и он избрал самый верный способ, чтобы заставить этого джентльмена молчать.

— Потому что,— сказал он,— Алан Блэк слишком тщеславный человек, чтобы рассказывать о себе такую историю.

Скоро после полудня мы добрались до берегов того залива, к которому направлялись, и нашли там корабль, только что бросивший якорь. Это была шхуна «Sainte-Marie des Anges»[2] из Гавр-де-Граса. После того как мы знаками вызвали шлюпку, Баллантрэ спросил, не знаю ли я капитана шхуны. Я сказал, что он мой соотечественник, человек безупречной репутации, но, по моим наблюдениям, довольно робок.

— Ничего не поделаешь,— сказал он.— Придется нам сказать ему всю правду.

---

[1] Паладин — рыцарь.
[2] «Дева Мария с ангелами» *(франц.)*.

Я спросил, неужели он расскажет и о поражении, потому что, если капитан услышит, что флаг спущен, он, конечно, сейчас же уйдет в море.

— А хоть бы и так! — сказал он.— Оружие, которое он привез, теперь ни к чему.

— Дорогой мой, кто сейчас думает об оружии? Нам нужно подумать о наших друзьях. Они явятся за нами по пятам, среди них может быть сам принц, и если корабль отплывет, не дождавшись их, много достойных жизней подвергнется опасности.

— Уж если на то пошло, капитан и его команда тоже живые люди,— сказал Баллантрэ.

Я назвал это софистикой, заявил, что слышать не хочу о подобных разговорах с капитаном, на что Баллантрэ нашел остроумный ответ, ради которого, а также и потому, что меня обвиняли позднее в этой истории с «Sainte-Marie des Anges», я и рассказываю все подробности нашего разговора.

— Фрэнк,— сказал он,— припомните, о чем мы условились. Я не должен возражать против вашего молчания, я даже одобряю его; но, по смыслу нашего договора, вы тоже не должны препятствовать мне говорить.

Я не мог не рассмеяться, но тут же предостерег его от возможных последствий.

— Плевал я на последствия,— сказал этот беспечный человек.— Я всегда поступаю так, как мне вздумается.

Известно, что мои опасения оправдались. Не успел капитан услышать наши новости, как сейчас же перерубил канат и вышел в море. Еще до рассвета мы были в проливе Грейт-Минч.

Корабль был очень стар, а шкипер-ирландец, пускай и честнейший из людей, был бездарнейшим из капитанов. Поднялся сильный ветер, и море бушевало. В тот день нам не хотелось ни есть, ни пить; мы рано улеглись, чтобы хоть как-нибудь забыться; а ночью, как будто для того, чтобы преподать нам урок, ветер внезапно переменился на северо-восточный и разразился штормом. Нас разбудило оглушительное грохотание бури и топот матросов на палубе. Я уже думал, что пришел наш последний час, и мое духовное смятение было еще усугублено насмешками Баллантрэ, который издевался над моими молитвами. Именно в такие часы обнаруживается в человеке настоящая набожность, и он начинает понимать

(чему учили его с детских лет), сколь безрассудно уповать на земных друзей и заступников. Я был бы недостоин своей религии, если б особо не отметил этого в своем рассказе.

Три дня пролежали мы в темной каюте, питаясь одними сухарями. На четвертый день ветер стих, оставив судно, лишенное мачт, игрушкой огромных волн. Капитан понятия не имел, куда нас занесло бурей, в своем деле он был полным невеждой и мог только молить о помощи Пресвятую Деву,— занятие похвальное, но не исчерпывающее собой науки кораблевождения. Оставалась единственная надежда, что нас подберет другой корабль; но, окажись он кораблем английским, нам с Баллантрэ это не сулило ничего хорошего.

Пятый и шестой день нас носило по волнам, как щепку. На седьмой мы кое-как подняли парус на обломках мачт, но управлять им было трудно, и мы в лучшем случае держали судно по ветру. Нас все время сносило на юго-запад, а во время бури гнало в том же направлении с неслыханной быстротой. Девятое утро было холодное и хмурое, море волновалось, и все предвещало непогоду. Надо ли говорить, как мы обрадовались, когда на горизонте появилось небольшое судно и стало приближаться к «Sainte-Marie». Но наша радость была кратковременна, потому что, когда оно подошло ближе и спустило шлюпку, в нее тотчас же насели какие-то головорезы, которые по дороге к нам ревели песни, а причалив, заполонили всю палубу, грозя обнаженными тесаками и осыпая нас бранью и проклятиями. Вожаком у них был неслыханный негодяй и знаменитый пират по имени Тийч. Лицо он мазал чем-то черным, а бакенбарды закручивал колечками. Он бегал по палубе, бесновался и орал, что сам он сатана, а корабль его — ад. В нем было что-то, напоминавшее взбалмошного ребенка или полоумного, и это пугало меня невыразимо. Я шепнул на ухо Баллантрэ, что, если, на наше счастье, они нуждаются в людях, я пиратство предпочту смерти. Он кивком выразил свое одобрение.

— Клянусь честью,— сказал я мистеру Тийчу.— Если вы сатана, то вот я, черт, к вашим услугам.

Ему это понравилось, и (скажу кратко, чтобы не задерживаться на этих постыдных событиях) Баллантрэ, я и еще двое из команды были завербованы пиратами, тогда как капитана и остальную команду они спровадили

по доске в море. Я впервые видел, как это делается, сердце мое замирало, и мистер Тийч или кто-то из его подручных (я был слишком подавлен, чтобы разобраться в этом точнее) весьма недвусмысленно прошелся относительно моей бледности. У меня хватило духу выкинуть два-три коленца какой-то фантастической джиги и выкрикнуть при этом какую-то пакость. На этот раз я спасся, но, спускаясь в шлюпку к этим мерзавцам, я чувствовал, что еле держусь на ногах.

Мое отвращение к ним и мой страх перед огромными волнами я пересиливал тем, что отшучивался, коверкая язык на ирландский манер. Милостью божьей, на пиратском корабле оказалась скрипка, которой я тотчас же и завладел, и этим мне посчастливилось добиться их расположения. Они окрестили меня Пэтом Пиликалой, но на прозвище обижаться не приходилось, была бы шкура цела.

Я не в силах описать сумбур, царивший на этом корабле, которым командовал сущий полоумный и который можно было назвать плавучим бедламом. Кутеж, пляски, песни, брань, пьянство и драки — никогда на судне не были трезвы все зараз, и бывали дни, когда нас мог потопить первый налетевший шквал. А если бы шхуну настиг в такой день королевский фрегат, он мог бы захватить нас голыми руками. Несколько раз мы примечали парус и если были потрезвей, то — да простит нам это бог! — подвергали корабль своему досмотру, ну а если бывали чересчур во хмелю, то корабль уходил, и я про себя благословлял за это небо.

Тийч управлял своей оравой (если можно управлять, внося беспорядок), держа ее в постоянном страхе, и сколько я мог судить, весьма кичился своим положением. Я знавал маршалов Франции и даже вождей шотландских кланов, и все они были далеко не так чванливы. Вот она, эта постоянная погоня за славой и почестями. В самом деле, чем дольше живешь, тем лучше видишь прозорливость Аристотеля и других философов древности. Хотя сам я всю жизнь жаждал законных отличий, но могу положа руку на сердце сказать теперь, на закате дней, что ничто на свете, даже сама жизнь, не сто́ит того, чтобы ее сберегать и украшать почестями ценою малейшего ущерба для своего достоинства.

Мне долго не удавалось поговорить с Баллантрэ, но вот однажды ночью, когда все были заняты своими де-

лами, мы забрались тайком на бушприт[1] и стали плакаться на свою судьбу.

— Нас может спасти только милость божья,— сказал я.

— А я на этот счет держусь другого мнения,— возразил Баллантрэ,— потому что спасаться я думаю собственными силами. Этот Тийч — полнейшее ничтожество, от него нет никакой пользы, а между тем под его началом мы все время рискуем быть захваченными. Я вовсе не намерен зря валандаться с этими разбойниками или колодником повиснуть на рее.— И он рассказал мне, как, по его мнению, следовало укрепить дисциплину на корабле, что обеспечило бы нам безопасность в настоящем, а в будущем дало бы надежду на освобождение, когда они наберут вволю добычи и разбредутся с ней по домам.

Я чистосердечно признался ему, что слишком потрясен всеми окружающими ужасами и он не должен рассчитывать на меня.

— Ну, а меня не легко запугать,— сказал он.— Да и одолеть меня трудно!

Через несколько дней нелепый случай снова чуть не привел всех нас на виселицу, и по нему можно представить себе царившие на корабле сумбур и сумасбродство. Все мы были пьяны, и когда один из полоумных заметил парус, Тийч велел догонять его, даже не взглянув на корабль, а мы все принялись потрясать оружием и похваляться, какую резню мы устроим. Я заметил, что Баллантрэ спокойно стоял на носу, вглядываясь вдаль из-под ладони. Я, верный своей тактике по отношению к этим дикарям, не уступал в ретивости самым рьяным из них и развлекал их своими ирландскими прибаутками.

— Поднять флаг! — кричал Тийч.— Покажите этим стервецам, кто мы такие!

Это была попросту пьяная бравада, и она могла лишить нас ценной добычи, но я считал, что не мне рассуждать, и собственноручно поднял черный флаг.

Тут пришел на корму улыбающийся Баллантрэ.

— Может быть, вам, пьянчуге, интересно будет узнать,— сказал он,— что мы преследуем королевский фрегат.

[1] Бушприт — толстый брус, наклонно или горизонтально укрепленный на носу судна, служит для выноса вперед носовых парусов.

Тийч заревел, что он лжет, но все же побежал к фальшборту[1], и вслед за ним ринулись все прочие. Никогда я не видел, чтобы столько пьяных разом протрезвело. В ответ на наш дерзкий вызов фрегат круто повернул и лег на новый курс — наперерез нам; флаг его теперь был явственно виден. Мы еще, не отрываясь, глядели на него, как вдруг на борту корабля вспух дымок, послышался звук выстрела, и ядро скользнуло по волнам с небольшим недолетом. Тут несколько человек схватились за канаты и с непостижимой быстротой повернули нашу «Сару». Кто-то опрокинул бочонок рома, который стоял на палубе, и скатил его поскорее за борт. Я, со своей стороны, поспешил спустить пиратский флаг, сорвал его и швырнул в море. Я сам готов был спрыгнуть вслед за ним, так меня испугали наша оплошность и безначалие. А Тийч побледнел как смерть и тотчас же сошел к себе в каюту. Только два раза он показывался оттуда в этот день: он шел на корму и долго глядел на королевское судно, которое все еще виднелось на горизонте, неотступно преследуя нас, а потом безмолвно спускался к себе в каюту. Можно сказать, что он дезертировал, и если бы не то обстоятельство, что у нас на корабле был один очень хороший моряк, и если бы не ветер, благоприятствовавший нам весь день, мы все, конечно, повисли бы на реях.

Тийч, должно быть, чувствовал себя униженным в глазах команды, и способ, которым он попытался поднять свой пошатнувшийся авторитет, отлично показывает, что́ он был за человек. На следующее утро из его каюты распространился запах жженой серы и послышались его выкрики: «Ад! Ад!» На корабле, по-видимому, знали, что это значит, и повсюду воцарилось унылое ожидание. Вскоре он появился на палубе, и в каком виде! Это было сущее чучело: лицо вымазано чем-то черным, волосы и бакенбарды завиты в колечки, за поясом полно пистолетов. Он жевал стекло, так что кровь стекала у него по подбородку, и потрясал кортиком. Не знаю, может быть, он перенял эти штуки у индейцев Америки, откуда был родом, но только таков был его обычай и таким образом он объявлял, что намерен совершить самые страшные злодейства. Первым ему попался тот самый пират, который накануне спихнул за борт бочонок рома.

[1] Фальшборт — продолжение наружной обшивки судна выше палубы, для безопасности людей и грузов.

Он заколол его ударом в сердце, кляня как мятежника; потом заплясал вокруг трупа, беснуясь и божась и вызывая нас выходить на расправу. Словом, разыграл свой балаган, нелепый, да к тому же и опасный, потому что эта трусливая тварь явно разжигала себя на новое убийство.

И вдруг вперед выступил Баллантрэ.

— А ну, брось дурака валять! — сказал он.— Ты что, думаешь испугать нас, строя рожи? Где ты был вчера, когда ты был нужен? Но ничего, обошлись и без тебя.

Среди команды началось движение и перешептывание, в равной степени и боязливое и радостное. А Тийч испустил дикий вопль и взмахнул кортиком, чтобы метнуть его,— искусство, в котором он (как и многие моряки) был большим мастером.

— Выбейте у него нож! — сказал Баллантрэ так внезапно и резко, что рука моя повиновалась ему еще прежде, чем разум мой понял приказание.

Тийч стоял ошеломленный, он даже не вспомнил о своих пистолетах.

— Ступай в каюту! — закричал Баллантрэ.— И можешь не показываться на палубе, пока не протрезвишься. Мы не собираемся из-за тебя висеть на рее, черномазый, полоумный, пьяница и дубина! А ну, вниз! — И он так топнул на Тийча ногою, что тот рысцой побежал в каюту.

— Теперь,— обратился Баллантрэ к команде,— выслушайте и вы несколько слов. Не знаю, может быть, вы пиратствуете из любви к искусству, а я нет. Я хочу разбогатеть и вернуться на сушу и тратить свои деньги, как подобает джентльмену... И уж по одному пункту решение мое твердо: я не хочу повиснуть на рее,— во всяком случае, поскольку это от меня зависит. Дайте мне совет, ведь в вашем деле я новичок. Неужели нельзя наладить хоть какую-нибудь дисциплину и порядок?

Тут заговорил один из команды; он сказал, что по морскому обычаю на корабле должен быть квартирмистр, и как только было произнесено это слово, все его подхватили. Единодушно Баллантрэ был объявлен квартирмистром, его попечению был вверен ром, принят был пиратский устав, введенный еще Робертсом, и, наконец, предложено было покончить с Тийчем. Но Баллантрэ боялся более энергичного капитана, который мог бы ограничить его собственное влияние, и он решительно воспротивился расправе. Тийч вполне пригоден, говорил он,

чтобы брать корабли на абордаж и пугать ошалелую команду своей черной рожей и неистовой божбой, в этом среди нас не нашлось бы соперника Тийчу, и, кроме того, раз он развенчан и, в сущности, смещен, мы можем уменьшить его долю в добыче. Последнее обстоятельство и решило дело. Доля Тийча была урезана до смехотворных размеров, она стала меньше моей. Оставалось только два затруднения: согласится ли он на отведенную ему роль и кто осмелится объявить ему наше решение.

— Не тревожьтесь,— сказал Баллантрэ,— я беру это на себя.

И он шагнул к капитанскому трапу и один спустился в каюту Тийча, чтобы обуздать этого пьяного дикаря.

— Вот этот человек нам подходит! — закричал один из пиратов.— Ура квартирмистру! — и все с охотой трижды прокричали «ура» в его честь, причем мой голос был не последним в хоре. И надо полагать, что эти «ура» должным образом воздействовали на мистера Тийча в его каюте, как и в наши дни воздействуют даже на законодателей голоса шумящей на улицах толпы.

Что́ между ними произошло, в точности неизвестно (хотя кое-что впоследствии и выяснилось), но все мы были как обрадованы, так и поражены, когда Баллантрэ появился на палубе, ведя под руку Тийча, и объявил, что все улажено.

Я не буду подробно рассказывать о двенадцати или пятнадцати месяцах, в течение которых мы продолжали наше плавание по Северной Атлантике, добывая пищу и воду с тех кораблей, которые мы обирали, и вели наше дело весьма успешно. Кому охота читать такие неподобающие вещи, как воспоминания пирата, пусть даже невольного, каким был я?

Баллантрэ, к моему восхищению, продолжал управлять нами, и дела наши теперь шли гораздо лучше. Как бы мне ни хотелось утверждать, что дворянин всюду займет первое место, даже на пиратском корабле, но сам я, по рождению не уступавший любому из лордов Шотландии, без стыда сознаюсь, что до самого конца оставался Пэтом Пиликалой и был на положении корабельного шута. Для проявления моих способностей не представлялось подходящей обстановки. Здоровье мое страдало от ряда причин; в седле я чувствовал себя много лучше, чем на палубе, и, по правде говоря, боязнь моря

неотступно угнетала меня, уступая только страху перед моими спутниками. Мне не приходится восхвалять собственную храбрость: я достойно сражался во многих битвах на глазах у знаменитых полководцев и последний свой чин получил за выдающийся подвиг, совершенный при многих свидетелях. Но когда мы собирались на очередной абордаж, сердце Фрэнсиса Бэрка уходило в пятки. Утлая скорлупка, на которую мы грузились, устрашающие гряды огромных валов, высота судна, на борт которого нам предстояло взобраться, неизвестная численность и вооружение команды, встающей на защиту своих законных прав и самой жизни, хмурые небеса, которые в этих широтах так часто угрюмо взирали на наши подвиги, самое завывание ветра в ушах — все это не возбуждало во мне отваги. А к тому же я всегда был человеком жалостливым, и последствия наших побед страшили меня не меньше, чем поражение. Дважды на борту мы находили женщин; и хотя мне доводилось видеть города, преданные грабежу, а недавно во Франции и страшные картины народных волнений, но самая ограниченность этих зверств пределами корабля и немногочисленностью жертв, а также холодная пучина моря, служившая им могилой,— все это усугубляло мое отвращение к творимым злодеяниям. Скажу по чести, я никогда не мог грабить, не напившись почти до полной потери сознания. Так же обстояло дело и с остальной командой. Сам Тийч был способен на разбой, только накачавшись рому; и одной из труднейших обязанностей Баллантрэ было не давать нам напиваться до бесчувствия.

Он и с этим справлялся на славу, как человек несравненных способностей и исключительной находчивости. Он не пытался снискать расположение команды, как это делал я, заставляя себя паясничать, когда на сердце было вот как неспокойно. Он при всех обстоятельствах сохранял достоинство и серьезность, держался, как отец среди капризных ребят или учитель среди озорных школьников. Эта задача была тем труднее, что по натуре наши головорезы были закоренелые ворчуны. Как ни слаба была дисциплина, установленная Баллантрэ, она все же казалась тягостной этим распущенным людям. И что хуже всего — теперь, когда они меньше пили, они успевали думать. Как следствие этого, некоторые из них начинали раскаиваться в своих ужасающих преступлениях, особенно один — добрый католик, с которым мы иногда уединялись для молитвы, чаще всего в плохую погоду, когда ливень или туман скрывали нас от прочей команды. Я уверен, что смертники по дороге на плаху не молились искреннее и горячее нас. Но остальные, лишенные и этого источника надежды, предавшись разного рода выкладкам и вычислениям, по целым дням подсчитывали свою долю и плакались, что она мала. Как я уже говорил, удача нам сопутствовала. Но нельзя не упомянуть при этом, что ни в одном известном мне деле (так уж ведется на этом свете!) доходы не соответствуют людским чаяниям. Мы встречали много кораблей и многие настигали, но на немногих находили деньги, а товары их обычно были нам ни к чему,— что нам было делать с грузом плугов или даже табака? — и тягостно вспоминать, сколько команд мы отправили на дно ради каких-нибудь сухарей или бочонка-другого спирту!

Между тем корабль наш весь зарос илом и ракушками, и пора было нам отправляться в место нашей постоянной стоянки, расположенное в устье одной реки посреди болот. Предполагалось, что там мы разойдемся, чтобы порознь промотать добычу, и, так как каждому хотелось увеличить свою долю, это заставляло нас со дня на день откладывать конец плавания. Решил дело один ничтожный случай, который стороннему человеку мог показаться обыденным при нашем образе жизни. Но я должен тут же объяснить: только на одном из абордированных нами судов,— на первом из двух, где мы нашли женщин,— мы встретили настоящее сопротивление. В этот раз у нас было двое убитых и несколько человек раненых. Если бы не отвага Баллантрэ, атака наша была бы, конечно, отбита. Во всех прочих случаях защита была (если только вообще это можно назвать защитой!) такого рода, что над ней посмеялись бы самые никудышные солдаты Европы. Самым опасным во всем нашем деле было карабкаться на борт судна, и случалось, что эти простофили сами спускали нам канат, так спешили они изъявить свое желание завербоваться к нам вместо того, чтобы по доске отправиться в море. Эта постоянная безнаказанность очень изнежила нашу команду, и я теперь понимал, как мог Тийч подчинить ее себе,— ибо поистине этот полоумный и был для нас главной опасностью.

Случай, о котором я упомянул, был вот какой. Сквозь туман мы разглядели совсем близко от нас маленький трехмачтовый корабль, который шел почти так же быстро,— вернее сказать, так же медленно, как и наш. Мы изготовили носовую пушку, чтобы попытаться достать его с ходу. Но море было неспокойное, корабль сильно швыряло, и немудрено, что наши пушкари, выпалив трижды, так и не попали в цель. А тем временем преследуемые выпалили из кормовой пушки, и, видно, наводчики у них были опытнее наших, потому что первое же их ядро ударило по носовой части, разнесло двух наших пушкарей в клочья, так что всех нас обрызгало кровью, и, пробив палубу, разорвалось в кубрике, где мы спали. Баллантрэ даже не обратил бы на все это внимания,— действительно, в этой неприятности не было ничего, что могло бы удручить душу солдата,— но он быстро улавливал желания команды, и было ясно, что этот шальной выстрел был каплей, переполнившей чашу. Мгновение спустя все они заговорили об одном: корабль от нас уходит, преследовать его бессмысленно, наша «Сара» чересчур отяжелела, чтобы нагнать даже бочку, продолжать на ней плавание невозможно, и в силу всех этих мнимых доводов руль был переложен и мы легли курсом на наш потаенный порт. Надо было видеть, какое веселье овладело всей командой, как они плясали на палубе и высчитывали, насколько увеличилась их собственная доля после смерти двух пушкарей.

Девять суток мы шли к порту, так слаб и изменчив был ветер и так отяжелела наша «Сара». На рассвете десятого дня, пробираясь сквозь легкий волнистый туман, мы вошли в устье. Но вскоре туман рассеялся, и, прежде чем он снова упал, мы увидели совсем близко какой-то фрегат. Его присутствие тут, рядом с нашим убежищем, было для нас тяжелым ударом. Начались оживленные споры о том, заметил ли он нас и если заметил, то узнал ли «Сару». Из предосторожности мы уничтожали на захваченных кораблях всех пленников до одного, чтобы не оставлять свидетелей наших злодейств; но скрыть нашу «Сару» было не так легко. В последнее время, когда она отяжелела и многие из преследуемых судов уходили от нас, были основания ожидать, что описания ее внешнего вида широко известны. Я думал, что, застигнутые фрегатом, мы сейчас же разойдемся в разные стороны. Но тут хитроумный Баллантрэ приготовил для меня новый

сюрприз. С самого первого дня своего избрания квартирмистром он и Тийч (и это было самым замечательным достижением Баллантрэ) действовали рука об руку. Я часто расспрашивал его, как это случилось, и не получал ответа; только раз он намекнул мне, что у них с Тийчем заключено соглашение, «которое весьма удивило бы команду, узнай она его суть, удивило бы и его самого, будь оно до конца выполнено». Так вот и тут — они с Тийчем были единодушны, и, с их общего соизволения, не успели мы бросить якорь, как вся команда предалась неописуемому пьянству. К полудню корабль стал поистине сумасшедшим домом, все летело за борт, одна пьяная песня перекрывала другую, люди ссорились и сцеплялись в лютой свалке, а потом забывали о ссоре и обнимались в пьяном умилении. Мне Баллантрэ велел, если жизнь мне дорога, не пить ни капли, но прикидываться пьяным. Никогда еще не было у меня такого томительного дня; бóльшую часть его я провел, валяясь на баке и разглядывая болота и заросли, простиравшиеся вокруг нашей маленькой бухты насколько хватал глаз.

Когда стало смеркаться, Баллантрэ сделал вид, что споткнулся и с пьяным смехом повалился рядом со мной. Прежде чем встать, он успел шепнуть мне, чтобы я сошел в каюту и для отвода глаз лег спать на лавку; я, мол, скоро ему понадоблюсь. Я выполнил его приказание, спустившись в каюту, где было совсем темно, и залег на первую же лавку. Там уже был кто-то. По тому, как он завозился и спихнул меня на пол, я понял, что он вовсе не так уж пьян, но когда я устроился на другой лавке, он сделал вид, будто снова заснул. Сердце у меня бешено билось, я понимал, что готовится отчаянное дело. Скоро в каюту сошел Баллантрэ, зажег лампу, осмотрелся, удовлетворенно кивнул головой и, не сказав ни слова, опять поднялся на палубу. Прикрывая рукой глаза, я украдкой огляделся и увидел, что в каюте на лавках спят или прикидываются спящими трое: сам я и двое матросов — Даттон и Грэди, оба люди смелые и решительные. На палубе беснование перепившихся достигло пределов, и я не подберу слов, которыми можно было бы определить звуки, ими издаваемые. На своем веку я был свидетелем многих кутежей и попоек, много раз на палубе той же «Сары», но никогда еще не видел ничего подобного, и это заставило меня тогда же предположить, что в ром было что-то подмешано. Очень не-

скоро крики и рев постепенно перешли в мучительные стоны, а потом сменились молчанием, и еще очень нескоро к нам спустился Баллантрэ, на этот раз сопровождаемый Тийчем, который крепко выбранился, увидев нас троих на лавках.

— Зря,— сказал Баллантрэ,— можете хоть из пистолета палить у них над ухом. Вы же знаете, чего они наглотались.

В каюте был люк, а под ним в тайнике сложена бо́льшая часть нашей добычи, еще не поделенная. Люк был заперт тремя замками, и ключи от них (для большей верности) хранились один у Тийча, другой у Баллантрэ, а третий у помощника, которого звали Хаммонд. Каково же было мое изумление, когда я увидел все ключи в одних руках, и еще больше я изумился, обнаружив, что Баллантрэ и Тийч вытащили из люка несколько тюков — всего их было четыре,— тщательно упакованных и снабженных лямками.

— Ну, а теперь,— сказал Тийч,— пора в путь.

— Одно только слово,— сказал Баллантрэ.— Мне стало известно, что есть еще один человек, кроме вас, который знает тайную тропку через болото, и, как мне кажется, его дорога короче вашей.

Тийч завопил, что их предали и, значит, все пропало.

— Нет, почему же,— сказал Баллантрэ.— Есть еще кое-какие обстоятельства, с которыми я должен вас ознакомить. Во-первых, обратите внимание на то, что в ваших пистолетах, которые (как вы помните) я позаботился зарядить для вас сегодня утром, нет ни одной пули. Во-вторых, раз есть другой человек, знакомый с тропинкой, вы не станете требовать, чтобы я связался в этом деле с таким полоумным, как вы. Ну и, в-третьих, эти джентльмены (которым нет больше надобности прикидываться спящими) держат мою сторону и сейчас заткнут вам рот и привяжут вас к мачте. И когда ваши люди проснутся (если только вообще они проснутся после того, чем мы с вами их угостили), я уверен, что они будут настолько любезны, что освободят вас, и вам, я полагаю, нетрудно будет объяснить им всю историю с ключами.

Тийч не промолвил ни слова и, выпучив глаза, глядел на нас, пока мы засовывали ему в рот кляп и привязывали к мачте.

— Ну, а теперь, дурачина,— сказал Баллантрэ,— вы понимаете, почему мы увязали все в четыре тюка. Вы любили называть себя сатаной, вот и оставайтесь в пекле.

Это были его последние слова на борту «Сары». Нагрузившись тюками, мы четверо потихоньку спустились в шлюпку и отчалили от судна, молчаливого, как могила, из которой, словно голос заживо погребенных, раздавались временами только стоны одурманенных пьяниц.

Туман стлался над водой ниже человеческого роста, так что Даттон, знавший дорогу, стоя указывал, куда нам плыть. Это вынуждало грести очень осторожно, что и спасло нас. Только что мы отошли от корабля, как стало светать, туман сгустился, и над нами с криками потянулись птицы. Вдруг Даттон быстро присел на дно лодки и шепнул нам, чтобы мы молчали, если жизнь нам дорога, и слушали. И в самом деле, с одной стороны послышался слабый скрип уключин, он повторился, а затем такой же скрип послышался и с другой стороны. Ясно было, что вчера утром фрегат нас выследил и теперь направил шлюпки, чтобы захватить корабль. Беззащитные, мы были в самой середине их флотилии. Трудно представить себе положение более гибельное, и мы сидели, склонившись над веслами, моля бога, чтобы туман продержался подольше. Пот крупными каплями стекал у меня со лба. Вдруг с одной из шлюпок, куда можно было бы перекинуть сухарь, послышался осторожный шепот офицера:

— Тише, ребята!

И я подивился тому, что они не слышат, как колотится сердце у меня в груди.

— Черт с ней, с тропинкой,— сказал Баллантрэ,— надо поскорее где-нибудь укрыться. Давайте причалим к берегу.

Так мы и сделали, подгребая с величайшей осторожностью и правя наугад прямо через туман, который был для нас единственным спасением. Но небо сжалилось над нами, мы пристали к самой заросли, выбрались на берег с нашим драгоценным грузом и, не зная другого способа скрыть свои следы (туман уже начинал рассеиваться), затопили шлюпку. Едва успели мы скрыться в зарослях, как взошло солнце и в то же самое время с середины бухты раздалось громкое «ура» моряков, и мы поняли, что «Сара» взята на абордаж. Позднее я слышал, что

захвативший ее офицер был щедро награжден, но, хотя выслежен был наш корабль действительно мастерски, я полагаю, что самый захват его не потребовал особых трудов [1].

Я еще возносил хвалы всем святым за свое спасение, когда понял, что из огня мы попали в полымя. Мы высадились наугад в огромном непролазном болоте, и найти тропу представлялось теперь делом неверным, утомительным и опасным. Даттон считал, что нам надо дождаться отплытия судна и выловить со дна шлюпку. Любое промедление, говорил он, разумнее, чем попытка пробиваться вслепую по этой трясине. Итак, мы вернулись к берегу бухты и, вглядываясь сквозь частые заросли, увидели, что туман окончательно рассеялся, что на «Саре» поднят королевский флаг, но незаметно никаких приготовлений к отплытию. Положение наше было крайне рискованным. Задержка на болоте грозила болезнью: мы так стремились унести возможно больше добычи, что почти не захватили с собой провизии; к тому же, весьма желательно было как можно скорее уйти от опасного соседства и добраться до поселений раньше, чем туда дойдет известие о захвате нашего корабля. А против всех этих доводов можно было выставить только рискованность путешествия по болоту. Вполне естественно, что мы решили пробиваться.

Наступила уже нестерпимая жара, когда мы пустились в путь через болото, или, вернее, когда стали нащупывать этот путь по компасу. Даттон шел впереди с компасом, а кто-нибудь из нас троих нес его часть сокровищ. Надо ли говорить, как зорко он следил за своим тылом,— ведь ему пришлось доверить нам все свое достояние. Заросли были непролазные, почва топкая, так что мы то и дело увязали в ней и должны были обходить гиблое место, к тому же жара стояла нестерпимая, нечем было дышать, и тучи москитов окружали каждого из нас. Часто отмечалось, насколько лучше родовитые джентльмены выносят усталость, чем выходцы из черни.

[1] Примечание Маккеллара. Этого Тийча с «Сары» не надо смешивать со знаменитым Чернобородым Даты и факты ни в коем случае не совпадают. Возможно, что второй Тийч заимствовал одновременно и имя и внешние повадки первого. Ведь нашел же своих почитателей и владетель Баллантрэ.

Известно, например, что офицеры, принужденные месить грязь наравне со своими солдатами, посрамляют их своей выдержкой. Так было и в этом случае: с одной стороны были Баллантрэ и я — джентльмены родовитейших семей, а с другой — простой моряк Грэди, человек богатырского телосложения. О Даттоне говорить не приходится этот, нужно признать, держался не хуже нас [1]. Что касается Грэди, то он вскоре принялся оплакивать свою судьбу, плелся все время в хвосте, отказался в свой черед нести добавочный тюк, все время клянчил рома (которого у нас оставалось слишком мало) и, наконец, даже стал грозить пистолетом, требуя, чтобы мы дали ему отдохнуть. Конечно, Баллантрэ справился бы с ним, но я убедил его дать поблажку; мы сделали привал и подкрепились едой. Но и это не помогло. Опять Грэди сразу же оказался в хвосте, стеная и оплакивая свой жребий... Наконец, по собственной небрежности, он, должно быть, уклонился от проложенных нами следов и попал в окно, затянутое травою. Прежде чем мы успели прийти к нему на помощь, он со страшным воплем погрузился в хлябь, и тут же она засосала его со всей его добычей. Его судьба и прежде всего этот вопль потрясли нас до глубины души, но, вообще говоря, это было к лучшему и способствовало нашему спасению, потому что Даттон после этого решил взобраться на дерево, чтобы осмотреть местность. Его радостный возглас заставил и меня подняться к нему, и он показал мне возвышенность, по которой, как он знал, проходила тропа. Теперь Даттон шел, отбросив всякую осторожность, и вскоре мы увидели, как у него увязла одна нога; он вытащил ее и снова увяз, уже обеими. Он повернул к нам побледневшее лицо.

— Дайте руку,— закричал он,— я попал в трясину!

— С чего это вы взяли,— сказал Баллантрэ, не двигаясь с места

Даттон разразился страшными проклятиями. Погрузившись уже почти до пояса и выхватив пистолет, он крикнул:

— Помогите мне! Или умрите, как собаки!

— Ну, что вы,— сказал Баллантрэ,— я просто по-

[1] Примечание Маккеллара. Не в этом ли надо искать объяснения? Даттона, как и тех офицеров, поддерживало сознание лежавшей на нем ответственности.

шутил. Иду. Иду! — И он скинул свой тюк и тюк Даттона, который нес в свой черед.— Не подходите, если мы не позовем вас,— сказал он мне и пошел один к увязнувшему Даттону. Тот стоял, не двигаясь и все еще сжимая пистолет. Страшно было смотреть на его искаженное ужасом лицо.

— Ради бога! — взмолился он.— Будьте осторожны!

Баллантрэ подошел к нему вплотную.

— Не двигайтесь,— сказал он и потом, подумав: — Протяните обе руки.

Даттон отложил пистолет; вокруг него было так топко, что пистолет сейчас же погрузился и исчез. С проклятиями Даттон потянулся к нему, чтобы подхватить, и, воспользовавшись тем, что он нагнулся, Баллантрэ вонзил ему кинжал между лопаток. Даттон взмахнул руками, то ли от боли, то ли защищаясь, и через мгновение, согнувшись, ткнулся лицом в тину.

Баллантрэ тоже увяз уже почти по колено, но ему удалось выбраться, и он вернулся ко мне. Видя, как я дрожу, он сказал:

— Однако, черт вас подери, Фрэнсис, вы, как я вижу, попросту малодушны. Ведь это лишь законное воздаяние пирату. Вот мы и стряхнули последние отрепья «Сары». Кто теперь может обличить нас в соучастии?

Я уверял его, что он неправильно судит обо мне, но мое чувство гуманности было настолько потрясено бесчеловечностью его поступка, что у меня дух перехватывало и я едва мог говорить.

— Право, надо быть решительнее,— сказал он.— Даттон показал, где проходит тропа, на что́ он нам больше нужен? Вы должны признать, что непростительно было бы упустить такой случай.

Я не мог отрицать, что в принципе он прав, однако не мог удержать слез, которых, по-моему, не должен стыдиться и самый храбрый человек. Только подкрепившись ромом, я смог двинуться дальше. Повторяю, что я не стыжусь этого благородного волнения: милосердие украшает воина. Все же я не могу безоговорочно порицать Баллантрэ: ведь он действительно спас нас обоих. Мы без дальнейших превратностей вышли на тропу и в тот же вечер еще до заката добрались до конца болота.

Мы были чересчур измучены, чтобы долго искать места для ночлега: на опушке соснового леса мы свалились на сухой песок, еще нагретый солнцем, и тотчас же уснули.

Наутро мы проснулись очень рано и в таком дурном расположении духа, что от разговоров чуть было не перешли к драке. Мы были теперь затеряны на побережье южных провинций, в тысячах миль от французских поселений, нам предстояло трудное путешествие и неисчислимые опасности, и как раз в такое время человек особенно нуждается в друге. А Баллантрэ как будто вовсе утерял даже вежливость обхождения. Правда, изумляться тут нечему, принимая во внимание долгий срок, проведенный нами среди морских разбойников. Но как бы то ни было, говорил он со мной очень резко, и ни один джентльмен не стерпел бы подобного обращения. Я высказал ему свое недовольство, но он молча отошел в сторону, а когда я последовал за ним, продолжая усовещивать его, он остановил меня движением руки.

— Фрэнсис,— сказал он,— вы помните, в чем мы поклялись друг другу, но никакие клятвы в мире не заставили бы меня выслушивать подобные речи, если бы не искреннее мое расположение к вам. Вы не должны в нем сомневаться. В самом деле, Даттона я должен был взять с собой, потому что он знал, как найти тропу, а Грэди — потому, что Даттон не желал идти без него. Но что мне за смысл было брать с собой вас? Уже один ваш проклятый ирландский говор для меня постоянная опасность. В сущности, вам следовало бы сидеть в кандалах, а вы еще вздумали ссориться со мной, как малое дитя из-за игрушки.

Мне никогда еще не приходилось слышать такой напраслины; все это у меня и до сих пор как-то не вяжется с джентльменским обликом моего друга. Я поставил ему на вид его собственный шотландский акцент, не такой резкий, как приходится иногда слышать, но все же в достаточной мере варварский и неприятный для слуха, как я ему напрямик и сказал. Не знаю, чем кончилось бы дело, если бы не внезапная угроза, которая всполошила нас.

Разговаривая, мы несколько отошли в сторону от леса, и место нашего ночлега с распакованными тюками и раскиданными монетами осталось между нами и опушкой, откуда и появился нежданный гость. По крайней мере сейчас он стоял там — рослый парень с топором на плече — и, широко разинув рот, глазел то на наши со-

кровища у своих ног, то на нас, в разгаре спора схватившихся за оружие. Но как только мы заметили его, он сейчас же пустился бежать и скрылся между сосен.

Все это не могло не обеспокоить нас: весть о встрече с двумя вооруженными моряками, ссорящимися над грудой денег неподалеку от того места, где был захвачен пиратский корабль,— такая весть могла поднять против нас всю округу. Ссора наша не то что прекратилась — мы попросту о ней забыли. В мгновение ока мы собрали свои тюки и пустились бежать, сколько хватало духу. Но беда была в том, что мы не знали, куда нам спасаться, и каждый раз возвращались к тем же местам. Правда, Баллантрэ выведал, что мог, у Даттона, но трудно находить путь с чужих слов, и куда бы мы ни поворачивали, в конце концов перед нами, пускай под новым углом, расстилалась все та же гладь широкого устья.

Мы выбились из сил и совсем было отчаялись, когда с вершины очередной дюны увидели, что снова отрезаны от суши еще одним ответвлением залива. Но на этот раз перед нами открылась бухточка, не похожая на прочие; она глубоко вдавалась в скалы, и берега ее были так круты, что маленькое судно пришлось накрепко пришвартовать к скале, а сходни перекинуть с борта прямо на берег. Тут команда развела костер и сидела у огня за едой. Корабль по виду напоминал торговые суда, которые строят на Бермудских островах.

Страсть к золоту и всеобщая ненависть к пиратам были, конечно, достаточным поводом для того, чтобы вся округа бросилась за нами в погоню. Кроме того, становилось очевидно, что мы находимся на каком-то полуострове со многими пальцеобразными выступами; а перемычка возле запястья, по которой нам сразу же следовало перебраться на материк, теперь, наверное, уже была под охраной. Все это побудило нас действовать смелее. Мы отлежались среди кустов на вершине дюны, беспрестанно озираясь, не появилась ли уже погоня, а немного отдышавшись и приведя в порядок платье, спустились вниз к костру, стараясь держаться как можно непринужденнее.

Оказалось, что здесь расположился купец из Олбени в провинции Нью-Йорк,— имени его я теперь не могу припомнить. Со своей командой из негров он вел корабль с ценным грузом домой из Вест-Индии. Мы были

очень изумлены, узнав, что он укрылся здесь из страха перед «Сарой». Мы никак не ожидали, что так широко разнеслась молва о наших подвигах. Как только купец услышал, что «Сара» наша захвачена, он сейчас же вскочил, угостил нас ромом за хорошую весть и послал своих негров поднимать паруса. Со своей стороны, мы воспользовались удобным случаем, чтобы завести дружескую беседу, и в конце концов спросили, не возьмет ли он нас на корабль пассажирами. Он искоса поглядел на нашу запачканную дегтем одежду, на пистолеты и ответил все же довольно вежливо, что он и сам с командой едва размещается на корабле; ни просьбы наши, ни денежные посулы, на которые мы не скупились, не могли поколебать его упорства.

— Я вижу, вы о нас дурного мнения,— сказал Баллантрэ,— но я докажу, насколько мы вам доверяем, раскрыв всю правду. Оба мы изгнанники, якобиты[1], и за нашу голову объявлена награда.

Это сообщение явно заинтересовало купца. Он стал расспрашивать нас о войне, и Баллантрэ терпеливо отвечал на все его вопросы. В конце концов купец подмигнул нам и заметил с грубоватой шутливостью:

— Да, видно, вы с вашим принцем Чарли получили свою порцию, да еще с добавкой.

— Вот именно,— сказал я.— Заплачено сполна и авансом. Точно так же, как и мы с вами хотели расплатиться.

Сказал я это ломаным ирландским говором, который почему-то всех так забавляет и трогает. Удивительное дело, как безошибочно действует это повсюду на любого доброго парня,— верное свидетельство в пользу того, какой повсеместной любовью пользуется наш народ. Сколько я знаю случаев, когда провинившийся солдат избегал плетей или нищий выпрашивал щедрое подаяние какой-нибудь ирландской шуточкой. И в самом деле, как только купец рассмеялся, услышав мои слова, я мигом успокоился. Но все же он выставил свои условия, и, прежде чем пустить нас на борт, отобрал у нас пистолеты. Это было сигналом к отплытию, и спустя несколько минут мы, пользуясь попутным бризом, уже скользили по водам бухты, прославляя бога за свое спасение.

[1] Якобиты (по имени изгнанного в 1688 году короля Якова II, последнего из династии Стюартов) — в XVII и XVIII веках сторонники Стюартов.

У выхода из устья реки мы миновали фрегат, а немного дальше виднелась бедная «Сара», на которой хозяйничала призовая команда. При виде их нас бросило в дрожь. Это напоминание о судьбе наших спутников заставляло еще больше ценить наше надежное убежище и благословлять удавшийся нам смелый маневр. А между тем мы только попали из огня да в полымя, сменили петлю на плаху, избежали открытого нападения военного корабля, чтобы сдаться на милость хитрому купцу и довериться его сомнительной порядочности.

И все же оказалось, что положение наше безопаснее, чем мы даже могли рассчитывать. Город Олбени в то время вел оживленную торговлю контрабандой с индейцами и французами. Занятие этим противозаконным делом объясняло сговорчивость обитателей Олбени, а постоянное общение с учтивейшим народом мира склоняло их к терпимости. Короче говоря, как и все контрабандисты, они были шпионы и агенты, готовые служить любой стороне. Наш купец был к тому же человек почтенный, но очень жадный и, к довершению удачи, находил большое удовольствие в нашем обществе. Еще до прибытия нашего в Нью-Йорк мы пришли с ним к соглашению, что он довезет нас до Олбени на своем корабле, а оттуда устроит нам переход французской границы. За все это ему следовало высокое вознаграждение; но нищим не приходится выбирать, а изгнанникам — торговаться.

Итак, мы поднялись по Гудзону, который мне показался прекрасной рекой, и остановились в Олбени в гостинице «Королевский герб». Город был битком набит собравшимися сюда отрядами народной милиции, жаждавшей крови французов. Губернатор Клинтон, человек страшно занятой и, насколько я мог судить, весьма озабоченный разногласиями среди членов законодательного собрания, был тут же. Индейцы с обеих сторон вышли на военную тропу; мы видели, как они пригоняли в город пленных и (что было много хуже) приносили скальпы как мужчин, так и женщин, за которые получали установленную правительством плату. Уверяю вас, зрелище это было не успокоительное.

Вообще говоря, попали мы сюда совсем в неподходящее время: наше пребывание в главной гостинице привлекло внимание, наш купец тянул, придумывая всякие отговорки, и, казалось, готов был отказаться от своих

обязательств. Бедным изгнанникам со всех сторон грозила гибель, и мы некоторое время разгоняли заботы весьма беспорядочным образом жизни.

Но это оказалось к лучшему; и вообще вся история нашего бегства изобилует примерами того, как провидение вело нас к предназначенной цели. Моя философия, необычайные способности Баллантрэ, наша храбрость, в которой я признаю нас равными,— все это было бы напрасно без божественного провидения, управляющего нами, и как справедливо учит нас церковь, что в конце концов истины нашей религии вполне приложимы и к повседневным делам! Так вот, в самый разгар нашего кутежа мы познакомились с одним разбитным молодым человеком по имени Чью.

Это был самый отважный из всех купцов, торговавших с индейцами; он прекрасно знал все потайные тропы через леса, был большой гуляка, всегда нуждался в деньгах и, к довершению удачи, заслужил немилость своих родителей. Его-то мы и убедили прийти к нам на помощь; он тайно заготовил все нужное для нашего побега, и в один прекрасный день, не сказав ни слова нашему бывшему другу, мы выбрались из Олбени и немного выше по течению погрузились в челнок.

Чтобы должным образом описать все трудности и напасти этого пути, потребовалось бы перо искуснее моего. Читатель должен сам представить себе ужасную глушь, через которую нам пришлось пробираться; непроходимые чащи, болота, крутые скалы, бурные реки и удивительные водопады. Среди всех этих диковинок нам весь день не было покоя: то мы гребли, то перетаскивали челнок на плечах, а ночь проводили у костра, слушая вой волков и прочего лесного зверья.

Мы намеревались подняться к верховьям Гудзона, где неподалеку от Краун-Пойнта у французов был лесной блокгауз на озере Шамплэн. Но идти напрямик было слишком опасно, и поэтому мы пробирались таким лабиринтом всяких рек, озер и волоков, что у меня голова идет кругом при одной попытке припомнить их названия. В обычное время места эти были совершенно безлюдны, но теперь вся страна поднялась на ноги, племена вышли на тропу войны, леса кишели индейскими разведчиками. Мы снова и снова натыкались на их отряды там, где меньше всего этого ожидали. Особенно мне запомнился один день, когда на рассвете нас окружили пять

или шесть этих размалеванных дьяволов, издававших весьма мрачные вопли и потрясавших своими топориками.

Дело обошлось благополучно, как, впрочем, и все подобные встречи, потому что Чью был известен и весьма ценим всеми племенами. В самом деле, он был отважный и надежный человек, но даже и в его обществе встречи эти были далеко не безопасны. Чтобы доказать туземцам нашу дружбу, нам приходилось прибегать к запасам рома, потому что, чем бы это ни прикрывалось, истинная торговля с индейцами — это походный кабак в лесу А как только эти герои получали свою бутылку «скаура» (так они называли этот горлодер), нам надлежало грести во всю мочь ради спасения своих скальпов. Чуть охмелев, они теряли всякое представление о порядочности и думали только об одном: как бы добыть еще «скаура». Им легко могло взбрести на ум поохотиться за нами, и, настигни они нас, эти строки никогда не были бы написаны.

Мы достигли самого опасного участка пути, где нам угрожала опасность как от французов, так и от англичан,— и тут с нами приключилась ужасная беда. Чью внезапно заболел — у него появились признаки отравления,— и спустя несколько часов он лежал мертвый на дне челнока. Мы лишились в нем одновременно проводника, переводчика, лодочника и поручителя — все эти качества он объединял в своем лице — и внезапно оказались в отчаянном и непоправимом положении. Правда, Чью, который гордился своими познаниями, часто читал нам настоящие лекции по географии, и Баллантрэ, как мне казалось, слушал очень внимательно. Я же всегда считал подобные сведения невыносимо скучными. Мне достаточно было знать, что мы находимся на земле адирондакских индейцев и недалеко от цели нашего путешествия, если только нам удастся найти к ней путь,— до остального мне не было дела. Правильность моего отношения вскоре подтвердилась: стало ясно, что, несмотря на все свои старания, Баллантрэ знает немногим больше меня. Он знал, что нам надо подняться вверх по одной реке, затем после волока спуститься по другой и снова подняться по третьей. Но вспомните, сколько потоков и рек течет со всех сторон в гористой местности. Ну как было джентльмену, никогда не бывавшему в этих местах, отличить одну реку от другой! И это было не единственное затруднение· мы не умели управляться с челноком, перетаскивать его волоком было сверх наших сил, так что, случалось, мы сидели в полном отчаянии по получасу, не произнося ни слова. Появление хотя бы одного индейца теперь, когда мы не могли объясниться с ним, привело бы, по всей вероятности, к нашей гибели. Таким образом, у Баллантрэ были оправдания для его мрачного настроения. Однако его привычка винить во всем других была менее извинительна, язык его и вовсе невыносим. В самом деле, на борту пиратского судна он усвоил манеру обращения, нетерпимую среди джентльменов, а теперь это еще усугублялось постоянной раздражительностью, доходившей до исступления.

На третий день наших скитаний, перетаскивая челнок по скалам очередного волока, мы уронили его и проломили днище. Мы находились на перемычке меж двух больших озер, тропа с обеих сторон упиралась в водные преграды, а по бокам был сплошной лес, обойти же озера по берегу мешали болота. Таким образом, мы вынуждены были не только обходиться без челнока и бросить бо́льшую часть провианта, но и пуститься наугад в непроходимые дебри, покинув единственную нашу путеводную нить — русло реки.

Мы засунули за пояс пистолеты, вскинули на плечи по топору, взвалили на спину наши сокровища и сколько можно провизии и, бросив все прочее наше имущество и снаряжение, вплоть до шпаг, которые только мешали бы в лесу, пустились в дальнейший путь. Перед тем, что мы перенесли, бледнеют подвиги Геракла, так прекрасно описанные Гомером. Местами мы пробирались сплошной чащей, прогрызая себе дорогу, как мыши в сыре. Местами мы увязали в топях, заваленных гниющими стволами. Прыгнув на большой поваленный ствол, я провалился в труху; выбираясь, я оперся на крепкий с виду пень, но и он рассыпался при одном прикосновении. Спотыкаясь, падая, увязая по колено в тине, прорубая себе путь, с трудом уберегая глаза от сучьев и колючек, которые раздирали в клочья последние остатки одежды, мы брели весь день и прошли едва две мили И, что хуже всего, почти не встречая прогалин, где можно было бы осмотреться, поглощенные преодолением преград, мы не могли отдать себе отчет, куда же мы идем.

Незадолго до заката, остановившись на поляне у ручья, окруженной со всех сторон крутыми скалами, Баллантрэ скинул на землю свой тюк.

— Дальше я не пойду,— сказал он и велел мне развести костер, кляня меня при этом в выражениях, не поддающихся передаче.

Я сказал, что ему пора бы забыть, что он был пиратом, и вспомнить, что когда-то он был джентльменом.

— Вы что, в уме? — закричал он.— Не бесите меня! — И, потрясая кулаком, продолжал: — Подумать только, что мне придется подохнуть в этой проклятой дыре! Да лучше бы умереть на плахе, как дворянину!

После этой актерской тирады он сел, кусая себе ногти и уставившись в землю.

Мне он внушал ужас, потому что я полагал, что солдату и дворянину надлежит встречать смерть с бо́льшим мужеством и христианским смирением. Поэтому я ничего не ответил ему, а вечер был такой пронизывающе холодный, что я и сам рад был разжечь огонь, хотя, видит бог, поступок этот на таком открытом месте, в стране, кишевшей дикарями, был поистине безумием. Баллантрэ, казалось, меня не замечал. Наконец, когда я принялся подсушивать на огне горсть кукурузных зерен, он посмотрел на меня.

— Есть у вас брат? — спросил он.

— По милости божьей, не один, а целых пять,— ответил я.

— А у меня один,— сказал он каким-то странным тоном.— И брат мне за все это заплатит,— прибавил он.

Я спросил, какое отношение имеет его брат к нашим несчастьям.

— А такое,— закричал Баллантрэ,— что он сидит на моем месте, носит мое имя, волочится за моей невестой, а я пропадаю тут один с полоумным ирландцем! О, и какой же я был дурак!

Эта вспышка была так необычна для моего спутника, что даже погасила мое справедливое негодование. Правда, в таких обстоятельствах не приходилось обращать внимания на его слова, как бы они ни были обидны. Но вот что поразительно. До той минуты он только раз упомянул мне о леди, с которой был обручен. Случилось это, когда мы достигли окрестностей Нью-

Йорка, где он сказал мне, что, если бы существовала на свете справедливость, он ступил бы сейчас на собственную землю, потому что у мисс Грэм были в этой провинции обширные владения. Естественно, что тогда это пришло ему в голову; но во второй раз, и это следует особо отметить, он вспомнил ее в ноябре 47 года, *чуть ли не в тот самый день*, когда брат его шел под венец с мисс Грэм. Я вовсе не суеверен, но рука провидения проявилась в этом особенно явно [1].

Следующий день и еще один прошли без изменений. Несколько раз Баллантрэ выбирал направление, бросая монету, и однажды, когда я стал укорять его за такое ребячество, он ответил мне замечанием, которое запомнилось мне навсегда: «Я не знаю лучшего способа выразить свое презрение к человеческому разуму».

Помнится, на третий день мы натолкнулись на труп белого; он лежал в луже крови, оскальпированный, и был страшно изуродован; над ним с карканьем и криком кружились птицы. Не могу передать, какое удручающее впечатление произвело на нас это страшное зрелище; оно лишило меня последних сил и всякой надежды на спасение. В тот же день мы пробирались по участку горелого леса, как вдруг Баллантрэ, который шел впереди, нырнул за поваленный ствол. Я последовал его примеру, и из нашего убежища мы незаметно следили за тем, как, пересекая наш путь, проходил большой отряд краснокожих. Числом их было — что солдат в поредевшем батальоне. Обнаженные до пояса, намазанные салом и сажей и раскрашенные, по своим варварским обычаям, белыми и красными узорами, они, растянувшись цепочкой, как стадо гусей, быстро скользили мимо нас и исчезали в лесу. Все это заняло несколько минут, но за это время мы пережили столько, что хватило бы на всю жизнь.

Чьи они союзники — французов или англичан? За чем они охотятся — за скальпами или за пленными; следует ли нам рискнуть и объявиться или дать им пройти и самим продолжать наше безнадежное путешествие,— эти вопросы нелегко было бы разрешить самому Аристотелю. Когда Баллантрэ обернулся ко мне, ли-

[1] Примечание мистера Маккеллара. Сущий вздор: в это время и речи не было об их свадьбе, смотри об этом выше в моем рассказе.

цо у него было все в морщинах, кожа обтягивала челюсти, как у человека, близкого к голодной смерти. Он не говорил ни слова, но все в нем выражало один вопрос.

— Они могут быть на стороне англичан,— прошептал я,— а тогда, подумайте, ведь лучшее, что нас может ожидать,— это начать все сначала.

— Знаю, знаю,— сказал он.— Но в конце концов нужно же на что-нибудь решиться! — Внезапно он вытащил из кармана монету, потряс ее в ладонях, взглянул и повалился лицом в землю...

Добавление мистера Маккеллара. Здесь я прерываю рассказ кавалера, потому что в тот же день оба спутника поссорились и разошлись. То, как изображает эту ссору кавалер, кажется мне (скажу по совести) совершенно не соответствующим характеру обоих. С этих пор они скитались порознь, вынося невероятные мучения, пока сначала одного, а потом и другого не подобрали охотники с форта св. Фредерика. Следует отметить только два обстоятельства. Во-первых (и это важнее всего для дальнейшего), что Баллантрэ во время скитаний закопал свою часть сокровищ в месте, так и оставшемся неизвестным, но отмеченном им собственной кровью на подкладке его шляпы. И второе, что, попав без гроша в форт, он был по-братски встречен кавалером, который оплатил его переезд во Францию.

Простодушие кавалера заставляет его в этом месте неумеренно прославлять Баллантрэ, хотя для всякого разумного человека ясно, что похвалы здесь заслуживает только сам кавалер. Я с тем большим удовлетворением отмечаю эту поистине благородную черту характера моего уважаемого корреспондента, что опасаюсь, как бы его не обидели некоторые мои предыдущие суждения. Я воздержался от оценки многих его неподобающих и (на мой взгляд) безнравственных высказываний, так как знаю, что он очень чувствителен и обидчив. Но все-таки его толкование ссоры поистине превосходит все вероятия. Я лично знал Баллантрэ, и нельзя представить себе человека, менее подверженного чувству страха. Меня очень огорчает эта оплошность в рассказе кавалера, тем более что в целом его повествование (если не считать некоторых прикрас) кажется мне вполне правдивым.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИСПЫТАНИЯ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ МИСТЕРОМ ГЕНРИ

Вы можете сами догадаться, на каких из своих приключений по преимуществу останавливался полковник. В самом деле, если бы мы услышали от него все, дело, вероятно, приняло бы совсем другой оборот, но о пиратском судне он упомянул лишь вскользь. Да и то, что соизволил нам открыть полковник, я так и не дослушал до конца, потому что мистер Генри, погрузившийся в мрачную задумчивость, скоро встал и (напомнив полковнику, что его ожидают неотложные дела) велел мне следовать за собой в контору.

Там он не стал больше скрывать свою озабоченность, с искаженным лицом он расхаживал взад и вперед по комнате, потирая рукой лоб.

— Вы мне нужны, Маккеллар,— начал он наконец, но тут же прервал себя, заявив, что нам надо выпить, и приказал подать бутылку лучшего вина. Это было совсем не в его обычае, и меня еще более изумило, когда он залпом выпил несколько стаканов один за другим. Вино его подкрепило.

— Вас едва ли удивит, Маккеллар,— сказал он,— если я сообщу вам, что брат мой, о спасении которого мы все с радостью услышали, сильно нуждается в деньгах.

Я сказал, что не сомневаюсь в этом, но что сейчас это нам весьма некстати, потому что ресурсы у нас невелики.

— Это я знаю,— возразил он.— Но ведь есть деньги на уплату закладной.

Я напомнил ему, что принадлежат они миссис Генри.

— Я отвечаю за имущество своей жены,— резко сказал он.

— Да,— возразил я.— Но как же быть с закладной?

— Вот в том-то и дело,— сказал он.— Об этом я и хотел с вами посоветоваться.

Я указал ему, как несвоевременно было бы сейчас тратить эти суммы не по прямому их назначению, как это свело бы на нет плоды нашей многолетней бережливости и снова завело бы наше хозяйство в тупик. Я да-

же позволил себе спорить с ним, и, когда он ответил на мои доводы отрицательным жестом и упрямой горькой усмешкой, я дошел до того, что совсем забыл свое положение.

— Это — сущее безумие! — закричал я.— И я, со своей стороны, не намерен участвовать в нем!

— Вы говорите так, как будто я делаю это ради своего удовольствия,— сказал он.— У меня ребенок, я люблю порядок в делах, и сказать вам по правде, Маккеллар, я уже начинал гордиться достигнутыми успехами в хозяйстве.— Он с минуту помолчал, о чем-то мрачно раздумывая.— Но что же мне делать? — продолжал он.— Здесь ничего не принадлежит мне, ровно ничего. Сегодняшние вести разбили всю мою жизнь. У меня осталось только имя, все остальное призрак, только призрак. Прав у меня нет никаких.

— Ну, положим, они совершенно достаточны для суда,— сказал я.

Он яростно поглядел на меня и, казалось, едва удержал то, что хотел мне сказать. Я раскаивался в своих словах, потому что видел, что, хотя он и говорил о поместье, думал он о жене. Вдруг он выхватил из кармана письмо, скомканное и измятое, порывисто расправил его на столе и дрожащим голосом прочитал мне следующие слова:

— «Дорогой мой Иаков»,— вот как оно начинается! — воскликнул он.— «Дорогой мой Иаков! Помнишь, я однажды назвал тебя так, и ты теперь оправдал это имя и вышвырнул меня за дверь». Подумайте, Маккеллар: слышать это от родного, единственного брата! Скажу как перед богом, я искренне любил его; я всегда был верен ему, и вот как он обо мне пишет! Но я не стерплю этого поклепа,— говорил мистер Генри, расхаживая взад и вперед.— Чем я хуже его? Свидетель бог, я лучше его! Я не могу сейчас же выслать ему ту чудовищную сумму, которую он требует. Он знает, что для нашего состояния это непосильно, но я ему отдам все, что имею, и даже больше, чем он может ожидать. Я слишком долго терпел все это. Смотрите, что он дальше пишет: «Я знаю, что ты скаредный пес». Скаредный пес! Скаредный! Неужели это правда, Маккеллар? Неужели и вы так думаете? — Мне показалось, что мистер Генри собирается меня ударить.— О, вы все так обо мне думаете! Ну, так вот вы все увидите, и он

увидит, и праведный бог увидит. Даже если бы пришлось разорить поместье и пойти по миру, я насыщу этого кровопийцу! Пусть требует все, все, он все получит! Все здесь принадлежит ему по праву! Ох! — закричал мистер Генри.— Я предвидел все это и еще худшее, когда он не позволил мне уехать! — Он налил себе еще стакан вина и поднес его к губам, но я осмелился удержать его руку. Он приостановился.— Вы правы.— Он швырнул стакан в камин.— Давайте лучше считать деньги.

Я не решился противиться ему дольше: меня очень расстроило такое смятение в человеке, обычно так хорошо владевшем собою. Мы уселись за стол, пересчитали наличные деньги и упаковали их в свертки, чтобы полковнику Бэрку легче было захватить их с собой. Покончив с этим делом, мистер Генри вернулся в залу, где они с милордом просидели всю ночь, разговаривая со своим гостем.

Перед самым рассветом меня вызвали проводить полковника. Ему не по душе пришелся бы менее значительный провожатый, но он не мог претендовать на более достойного, потому что мистеру Генри не приличествовало иметь дело с контрабандистами. Утро было очень холодное и ветреное, и, спускаясь к берегу через кустарник, полковник кутался в свой плащ.

— Сэр,— сказал я.— Ваш друг нуждается в очень значительной сумме денег. Надо полагать, что у него большие расходы?

— Надо полагать, что так,— сказал он, как мне показалось, очень сухо, но, возможно, это было вызвано тем, что он прикрывал рот плащом.

— Я лишь слуга этой семьи,— сказал я.— Со мной вы можете быть откровенны. Я думаю, что он, вероятно, не принесет нам добра.

— Почтеннейший,— сказал полковник.— Баллантрэ — джентльмен, наделенный исключительными природными достоинствами, и я им восхищаюсь и почитаю самую землю, по которой он ступает.— А затем он запнулся, как человек, не знающий, что сказать.

— Все это так,— сказал я,— но нам-то от этого будет мало доброго.

— Само собой, у вас на этот счет может быть свое мнение, почтеннейший.

К этому времени мы уже дошли до бухточки, где его ожидала шлюпка.

— Так вот,— сказал он.— Конечно, я перед вами в долгу за всю вашу любезность, мистер, как бишь вас там, и просто на прощание и потому, что вы проявляете в этом деле такую проницательность и заинтересованность, я укажу вам на одно обстоятельство, которое небезынтересно будет знать вашим господам. Мне сдается, что друг мой упустил из виду сообщить им, что из всех изгнанников в Париже он пользуется самым большим пособием из Шотландского фонда [1], и это тем большее безобразие, сэр,— выкрикнул разгорячившийся полковник,— что для меня у них не нашлось ни одного пенни!

При этом он вызывающе сдвинул шляпу набекрень, как будто я был в ответе за эту несправедливость; затем снова напустил на себя надменную любезность, пожал мне руку и пошел к шлюпке, неся под мышкой сверток с деньгами и насвистывая чувствительную песню «Shule Aroon» [2].

Тогда-то я в первый раз услышал эту песню; мне еще суждено было услышать и слова и напев, но уже тогда запомнился куплет из нее, который звучал у меня в голове и после того, как контрабандисты зашипели на полковника: «Тише вы, черт вас подери!» — и все заглушил скрип уключин, а я стоял, смотря, как занималась заря над морем и шлюпка приближалась к люггеру, поставившему паруса в ожидании отплытия.

Брешь, пробитая в наших финансах, принесла нам много затруднений и, между прочим, заставила меня отправиться в Эдинбург. Здесь, для того чтобы как-нибудь покрыть прежний заем, я должен был на очень невыгодных условиях переписать векселя и для этого на три недели отлучился из Дэррисдира.

Некому было рассказать мне, что происходило там в мое отсутствие, но по приезде я нашел, что поведение миссис Генри сильно изменилось. Описанные мною беседы с милордом прекратились, к мужу она относилась мягче и подолгу нянчилась с мисс Кэтрин. Вы можете

[1] Якобиты пользовались за границей денежной поддержкой французского короля и римского папы.
[2] «Милый путник» *(ирл.)*.

предположить, что перемена эта была приятна мистеру Генри. Ничуть не бывало! Наоборот, каждый знак ее внимания только уязвлял его и служил новым доказательством ее затаенных мечтаний. До тех пор, пока Баллантрэ считался умершим, она гордилась верностью его памяти, теперь, когда стало известно, что он жив, она должна была стыдиться этого, что и вызвало перемену в ее поведении. Мне незачем скрывать правду, и я скажу начистоту, что, может быть, никогда мистер Генри не показывал себя с такой плохой стороны, как в эти дни. На людях он сдерживался, но видно было, что внутри у него все кипит. Со мной, от которого ему не для чего было скрываться, он бывал часто несправедлив и резок и даже по отношению к жене позволял себе иногда колкое замечание: то, когда она задевала его какой-нибудь непрошеной нежностью, то без всякого видимого повода, просто давая выход скрытому и подавленному раздражению. Когда он так забывался (что совсем не было в его привычках), это сразу отражалось на всех нас, а оба они глядели друг на друга с каким-то сокрушенным изумлением.

Вредя себе этими вспышками, он еще больше вредил себе молчаливостью, которую с одинаковым основанием можно было приписать как великодушию, так и гордости. Контрабандисты приводили все новых гонцов от Баллантрэ, и ни один из них не уходил с пустыми руками. Я не осмеливался спорить с мистером Генри: он давал все требуемое в припадке благородной ярости. Может быть, сознавая за собой природную склонность к бережливости, он находил особое наслаждение в безоглядной щедрости, с которой выполнял требования своего брата. Положение было настолько ложное, что, пожалуй, заставило бы действовать так и более скромного человека. Но хозяйство наше стонало (если можно так выразиться) под этим непосильным бременем, мы без конца урезывали наши текущие расходы, конюшни наши пустели, в них оставались только четыре верховые лошади; слуги были почти все рассчитаны, что вызвало сильное недовольство во всей округе и только подогревало старую неприязнь к мистеру Генри. Наконец была отменена и традиционная ежегодная поездка в Эдинбург.

Случилось это в 1756 году. Вы не должны забывать, что целых семь лет этот кровопийца тянул все соки из

Дэррисдира и что все это время патрон мой хранил молчание. Баллантрэ с дьявольской хитростью все свои требования направлял к мистеру Генри и никогда не писал ни слова об этом милорду. Семья, ничего не понимая, дивилась нашей экономии. Без сомнения, они сетовали на то, что патрон мой стал таким скупцом — порок, во всяком достойный сожаления, но особенно отвратительный в молодом человеке, а ведь мистеру Генри не было еще и тридцати лет. Но он смолоду вел дела Дэррисдира, и домашние переносили непонятные перемены все с тем же горделивым и горьким молчанием, вплоть до случая с поездкой в Эдинбург.

К этому времени, как мне казалось, патрон мой и его жена вовсе перестали видеться, кроме как за столом. Непосредственно после извещения, привезенного полковником Бэрком, миссис Генри сильно изменилась к лучшему: можно сказать, что она пробовала робко ухаживать за своим супругом, отказавшись от прежнего равнодушия и невнимания. Я не мог порицать мистера Генри за его отпор всем этим авансам, не мог ставить супруге в вину то, что она была уязвлена замкнутостью мужа. Но в результате последовало полное отчуждение, так что (как я уже говорил) они редко разговаривали, кроме как за столом. Даже вопрос о поездке в Эдинбург впервые был поднят за обедом, и случилось, что в этот день миссис Генри была нездорова и раздражительна. Едва она поняла намерения супруга, как румянец залил ее щеки.

— Ну, нет! — закричала она.— Это уж слишком! Видит бог, не много радости приносит мне жизнь, а теперь я должна еще лишать себя моего единственного утешения! Пора покончить с этой позорной скупостью, мы и так уже стали притчей во языцех и позорищем в глазах соседей. От этого впору с ума сойти, и я этого не потерплю!

— Это нам не по средствам,— сказал мистер Генри.

— Не по средствам! — закричала она.— Стыдитесь! И потом у меня ведь есть свои средства!

— По брачному контракту они принадлежат мне, сударыня,— огрызнулся он и тотчас вышел из комнаты.

Старый лорд воздел руки к небу, и оба они с дочкой, уединившись у камина, ясно намекали мне, что я лишний. Я нашел мистера Генри в его обычном убежище — в конторе. Он сидел на краю стола и угрюмо тыкал в него перочинным ножом.

— Мистер Генри,— сказал я.— Вы слишком несправедливы по отношению к себе, и пора это кончить.

— А! — закричал он.— Кому я здесь нужен? Для них это в порядке вещей. У меня позорные наклонности. Я скаредный пес! — И он воткнул нож в дерево по самую рукоятку.— Но я покажу этому негодяю,— закричал он с проклятием,— я покажу ему, кто из нас великодушнее!

— Да это не великодушие,— сказал я.— Это просто гордыня.

— В поучениях ваших я не нуждаюсь! — отрезал он.

Я полагал, что он нуждается в помощи и что я должен оказать ее, хочет он того или не хочет, поэтому как только миссис Генри удалилась к себе в комнату, я постучался к ней и попросил принять меня.

Она не скрыла своего удивления.

— Что вам от меня нужно, мистер Маккеллар? — спросила она.

— Бог свидетель, сударыня,— сказал я,— что я никогда не докучал вам своими вольностями, но сейчас слишком велик груз на моей совести, чтобы я мог промолчать. Можно ли быть такими слепцами, какими показали себя вы с милордом? Жить все эти годы с таким благородным джентльменом, как мистер Генри, и так плохо разбираться в его характере!

— Что это значит? — вскричала она.

— Да знаете ли вы, куда идут все его деньги? Его, и ваши, и все те деньги, которые скоплены на вине, в котором он себе отказывает за столом? — продолжал я.— В Париж! Этому человеку! Восемь тысяч фунтов получил он от нас за эти семь лет, и мой патрон имеет глупость хранить это в тайне!

— Восемь тысяч фунтов! — повторила она.— Это невозможно! Наше поместье не может дать столько...

— Один бог знает, как выжимали мы каждый фартинг, чтобы сколотить эти деньги,— сказал я.— Но как бы то ни было, нами послано восемь тысяч шестьдесят фунтов и сколько-то шиллингов. И если после этого вы станете считать моего хозяина скупцом, я не скажу больше ни слова.

— Вам и не надо больше ничего говорить, мистер Маккеллар,— сказала она.— Вы поступили вполне пра-

вильно в том, что с присущей вам выдержкой вы назвали вольностью. Я достойна порицания, вы, должно быть, считаете меня весьма невнимательной супругой (она поглядела на меня со странной усмешкой), но я все это сейчас же исправлю. Баллантрэ всегда был очень беззаботного нрава, но сердце у него превосходное, он воплощенное великодушие. Я сама напишу ему. Вы представить себе не можете, как огорчили меня своим сообщением!

— А я надеялся угодить вам, сударыня,— сказал я, внутренне негодуя, что она не перестает думать о Баллантрэ.

— И угодили,— сказала она.— Конечно, вы угодили мне.

В тот же день (не буду скрывать, что я за ними следил) я с удовлетворением увидел, как мистер Генри выходит из комнаты своей жены на себя не похожий. Лицо его было заплакано, и все же он словно не шел, а летел по воздуху. По этому я заключил, что жена с ним объяснилась. «Ну,— думал я,— сегодня я сделал доброе дело!»

На другое утро, когда я сидел за конторскими книгами, мистер Генри, неслышно войдя в комнату, взял меня за плечи и потряс с шутливой лаской.

— Да вам, я вижу, нельзя доверять, Маккеллар,— сказал он и больше не прибавил ни слова, но в тоне его было заключено как раз обратное.

И я добился большего. Когда от Баллантрэ явился следующий гонец (чего не пришлось долго ожидать), он увез с собой только письмо. С некоторых пор все эти сношения были возложены на меня. Мистер Генри не писал ни слова, а я ограничивался самыми сухими и формальными выражениями. Но этого письма я даже не видел. Едва ли оно доставило владетелю Баллантрэ удовольствие, потому что теперь мистер Генри сознавал поддержку жены и в день отправки письма был в очень хорошем расположении духа.

Семейные дела шли лучше, хотя нельзя было сказать, что они идут хорошо. Теперь по крайней мере не было непонимания, и со всех сторон восстановилось доброжелательство. Я думаю, что мой патрон и его жена могли бы вполне примириться, если бы он мог спрятать в карман свою гордыню, а она могла бы забыть (в этом было основное) свои мечты о другом. Удивительное дело, как сказываются во всем самые затаенные мысли; для меня и посейчас удивительно, как покорно мы следовали за изменениями ее чувств. Хотя теперь она была спокойна и обращалась со всеми ровно, мы всегда чувствовали, когда мыслью она была в Париже. Как будто разоблачения мои не должны были опрокинуть этого идола! Но что поделаешь! Каждой женщиной владеет дьявол: столько прошло лет, ни одной встречи, ни даже воспоминаний о его чувстве, которого не было, уверенность, что он умер, а потом раскрывшаяся ей бессердечная его алчность,— все это не помогало, и то, что она лелеяла в своем сердце именно этого негодяя, способно было взбесить всякого порядочного человека. Я никогда не питал особой склонности к любовным чувствам, а эта безрассудная страсть жены моего хозяина вконец отвратила меня от подобных дел. Помнится, я разбранил служанку за то, что она распевала, когда я был погружен в свои размышления. Моя суровость восстановила против меня всех вертихвосток в доме, что меня мало трогало, но весьма забавляло мистера Генри, который потешался над тем, что мы товарищи по несчастью.

Странное дело (ведь моя мать была тем, что называют солью земли, а тетка моя Диксон, платившая за мое обучение в университете,— достойнейшая женщина), но я никогда не питал склонности к особам женского пола, да и понимал их, должно быть, плохо. А будучи далеко не развязным мужчиной, я к тому же и сторонился их общества. У меня тем менее оснований раскаиваться в этом, что я неоднократно замечал, к каким гибельным последствиям приводила неосмотрительность других людей. Все это я счел нужным изложить для того, чтобы не казаться несправедливым по отношению к одной миссис Генри. И, кроме того, замечание это само собой пришло мне в голову при перечитывании письма, которое было следующим звеном этого запутанного дела и, к моему искреннему удивлению, было доставлено мне частным образом через неделю или две после отбытия последнего гонца.

Письмо полковника Бэрка (позднее кавалера) мистеру Маккеллару:

Труа в Шампани 12 июля 1756 года

Дорогой сэр, вы, без сомнения, будете изумлены, получив это письмо от человека, столь мало вам известно-

го. Но в тот день, когда я имел счастье повстречать вас в Дэррисдире, я отметил в вас, несмотря на вашу молодость, надежную твердость характера — качество, которым я восхищаюсь почти так же, как природной одаренностью и рыцарским духом смелого солдата. К тому же я принял живейшее участие в судьбе благородной семьи, которой вы имеете честь служить с такой преданностью, или, вернее, быть ее скромным, но уважаемым другом, разговор с которым в утро моего отъезда доставил мне искреннее удовольствие и произвел на меня глубокое впечатление. На днях, отлучившись на побывку в Париж из этого достославного города, где я несу гарнизонную службу, я осведомился о вашем имени (которое, сознаюсь, позабыл) у моего друга Б. и, пользуясь благоприятной оказией, пишу вам, чтобы сообщить новости.

Когда мы последний раз беседовали с вами о моем друге, он, как я, кажется, говорил вам, пользовался весьма щедрым пособием из Шотландского фонда. Вскоре он получил роту, а затем не замедлил стать полковником. Мой дорогой сэр, не стану объяснять вам обстоятельств этого дела, ни того, почему я сам, бывший правой рукой принца, был отослан в провинцию гнить в этой дыре. Как ни привычен я ко двору, но не могу не признать, что не место там простому солдату, и сам я никогда не надеялся возвыситься подобным путем, если бы даже сделал эту попытку. Но наш друг обладает особой способностью преуспевать, пользуясь покровительством женщин, и если правда то, что я слышал, на этот раз у него была весьма высокая покровительница. Именно это и обернулось против него, потому что, когда я имел честь в последний раз пожимать его руку, он только что был выпущен из Бастилии, куда был заточен по секретному приказу; и сейчас, хотя и освобожденный, лишился и своего полка и пенсии. Мой дорогой сэр, верность честного ирландца в конце концов восторжествует над всеми уловками и хитростями, в чем джентльмен вашего образа мыслей, вероятно, со мной согласится.

Так вот, сэр Баллантрэ — человек, талантами которого я восторгаюсь, и к тому же он мой друг, и я считаю нелишним сообщить вам о постигших его превратностях судьбы, так как, на мой взгляд, он сейчас в полном отчаянии. Когда я его видел, он говорил

о поездке в Индию (куда и сам я надеюсь сопровождать своего знаменитого соотечественника мистера Лалли[1]); но для этого, насколько я понимаю, он нуждается в сумме, намного превышающей ту, которая находится в его распоряжении. Вы, должно быть, слышали военную поговорку: полезно мостить золотом путь отступающему врагу? Так вот, уверенный в том, что вы поймете смысл этого напоминания, остаюсь с должным почтением к лорду Дэррисдиру, его сыну и прелестнейшей миссис Дьюри, мой дорогой сэр,

ваш покорный слуга
Фрэнсис Бэрк.

Письмо это я тотчас отнес мистеру Генри; и я думаю, что обоими нами в эту минуту владела одна мысль: что письмо запоздало на неделю. Я поспешил послать полковнику Бэрку ответ, в котором просил его уведомить Баллантрэ при первой же возможности, что следующий его гонец будет снабжен всем необходимым. Но, как я ни спешил, я не мог предотвратить неизбежное; лук был натянут, стрела уже вылетела. В пору было усомниться в способности провидения (и его желании) остановить ход событий; и странно сейчас вспоминать, как усердно, как долго и слепо подготовляли все мы надвигавшуюся катастрофу.

С этого дня я держал у себя в комнате подзорную трубу и стал при случае расспрашивать арендаторов, и так как контрабанда в нашей округе велась почти что в открытую, вскоре я уже знал все их сигналы и мог с точностью до одного часа определить возможное появление очередного гонца. Повторяю, расспрашивал я арендаторов потому, что сами контрабандисты были отчаянные головорезы, всегда вооруженные, и я с большой неохотой вступал с ними в какие-либо сношения. Более того (и это впоследствии повредило делу), я вызывал особую неприязнь кое у кого из этих разбойников. Они не только окрестили меня недостойной кличкой, но, поймав как-то ночью в глухом закоулке и будучи (как сами сказали бы) навеселе, они потехи ради заставили

[1] Граф Лалли, Томас Артур,— сын знатного ирландского якобита, участник якобитской интервенции 1745 года; подвизался в Индии как колонизатор и командующий французскими войсками; был разбит англичанами и захвачен в плен.

меня плясать. Они тыкали мне в ноги тесаками, распевая при этом на все лады: «Квакер, квакер[1], попляши». Хотя они и не причинили мне телесных повреждений, я был до того потрясен, что на несколько дней слег в постель от этого поношения, настолько позорного для Шотландии, что оно не нуждается в комментариях.

К вечеру седьмого ноября того же злосчастного года, прогуливаясь по берегу, я заметил дымок маячного костра на Мэккроссе. Пора было возвращаться, но в тот день мною владело такое беспокойство, что я пробрался сквозь за́росли к мысу Крэг. Солнце уже село, но на западе небо еще было светлое, и я мог разглядеть контрабандистов, затаптывающих свой сигнальный костер на Россе, а в бухте — люггер с убранными парусами. Он явно только что бросил якорь, но уже спущена была шлюпка, которая приближалась к причалу возле густого кустарника. Все это, как я знал, могло означать только одно—прибытие гонца в Дэррисдир.

Я отбросил все свои страхи, спустился по крутому обрыву, на что раньше никогда не отваживался, и спрятался в кустарнике, как раз в ту минуту, когда шлюпка причалила к берегу. За рулем сидел сам капитан Крэйл — вещь необычная; рядом с ним сидел пассажир; а гребцам приходилось трудно: так завалена была шлюпка саквояжами и сумками, большими и малыми. Но выгрузку провели быстро и умело, багаж сложили на берегу, шлюпка повернула к люггеру, а пассажир остался один на прибрежной скале. Это был высокий стройный мужчина, одетый во все черное, при шпаге и с тростью в руке. Ею он помахал капитану Крэйлу жестом грациозным, но и насмешливым, который запомнился мне навсегда.

Лишь только отчалила шлюпка с моими заклятыми врагами, я, собравшись с духом, выбрался из кустарника и тут вновь остановился, разрываясь между естественным недоверием и смутным предчувствием истины. Так я, должно быть, и простоял бы в нерешимости всю ночь, если бы, обернувшись, приезжий не разглядел меня в дымке сгущавшегося тумана. Он помахал мне рукой и крикнул, чтобы я приблизился. Я повиновался ему с тяжелым сердцем.

---

[1] Квакер — распространенная религиозная секта протестантского толка в Англии.

— Послушайте, милейший,— сказал он чистым английским говором,— вот тут кое-какая кладь для Дэррисдира.

Я приблизился настолько, что мог теперь рассмотреть его: хорошо сложен и красив, смугл, худощав и высок, с быстрым, живым взглядом черных глаз, с осанкой человека, привыкшего сражаться и командовать; на щеке у него была родинка, нисколько его не безобразившая, на пальце сверкал перстень с крупным бриллиантом. Черное его платье было модного французского покроя; кружева у запястья несколько длиннее обычного и превосходной работы, и тем удивительнее было видеть такой наряд у человека, только что высадившегося с грязного люггера контрабандистов. К этому времени и он пригляделся ко мне, пронизывая меня своим острым взглядом, потом улыбнулся.

— Бьюсь об заклад, мой друг,— сказал он,— что я знаю и ваше имя и даже прозвище. По вашему почерку, мистер Маккеллар, я предвидел именно такое платье.

Услышав это, я весь задрожал.

— О,— сказал он,— вам нечего меня бояться. Я не в претензии за ваши скучные письма и намереваюсь нагрузить вас рядом поручений. Называйте меня мистером Балли, я принял это имя, или, вернее (поскольку я имею дело с таким педантом, как вы), сократил мое собственное. Теперь возьмите это и вот это,— он указал на два саквояжа,— их-то вы, я надеюсь, донесете, а остальное может подождать. Ну же, не теряйте времени даром!

Тон его был так резок и повелителен, что я инстинктивно повиновался, не в силах собраться с мыслями. Не успел я поднять его саквояжей, как он повернулся ко мне спиной и зашагал по дорожке, уже погруженной в полутьму густой тени вечнозеленого кустарника. Я следовал за ним, сгибаясь под тяжестью своей ноши и почти не сознавая ее,— так ужасала меня чудовищность этого возвращения и так беспорядочно неслись мои мысли.

Внезапно я остановился и опустил на землю саквояжи. Он обернулся и посмотрел на меня.

— Ну? — спросил он.

— Вы владетель Баллантрэ?

— Вы должны по чести признать,— сказал он,— что я не играл в прятки с проницательным мистером Маккелларом.

— Во имя бога! — закричал я.— Что привело вас сюда? Уходите, пока еще не поздно.

— Благодарю вас,— отозвался он.— Выбор сделан вашим хозяином, а не мной, ну, а коли так, то, значит, он (и вы тоже) должны отвечать за последствия. А теперь поднимите-ка мои вещи, которые вы опустили в самую лужу, и впредь занимайтесь тем делом, на которое я вас поставил.

Но теперь я уже не думал о послушании, я подошел к нему вплотную.

— Если ничто не может побудить вас повернуть назад,— сказал я,— хотя, принимая во внимание все обстоятельства, каждый христианин или хотя бы джентльмен не решился бы идти вперед...

— Какие восхитительные обороты! — прервал он меня.

— Если ничто не может побудить вас повернуть назад,— продолжал я,— то все же дóлжно соблюдать приличия. Подождите здесь с вашим багажом, а я пойду вперед и подготовлю вашу семью. Отец ваш в преклонных летах, и...— тут я запнулся — ...дóлжно же соблюдать приличия.

— Ого,— сказал он.— Ай да Маккеллар! Он выигрывает при ближайшем знакомстве. Но только имейте в виду, милейший, раз навсегда зарубите себе на носу: не тратьте на меня своего красноречия, меня вы с дороги не своротите!

— Вот как? — сказал я.— Ну, это мы посмотрим!

И, круто повернувшись, я направился по дороге в Дэррисдир. Он пытался меня задержать и что-то сердито кричал, а потом, как мне показалось, засмеялся. Он даже пробовал догнать меня, но, должно быть, сейчас же отказался от этого намерения. Во всяком случае, через несколько минут я добежал до дверей дома, полузадохшийся, но без спутника. Я взбежал прямо по лестнице в залу и, очутившись перед всей семьей, не мог произнести ни слова. Но, должно быть, вид мой сказал им достаточно, потому что все они поднялись с мест и уставились на меня, как на привидение.

— Он приехал,— выговорил я наконец.

— Он? — спросил мистер Генри.

— Он самый,— сказал я.

— Мой сын? — воскликнул милорд.— Безрассудный! Безрассудный мальчик! Как мог он покинуть места, где был в безопасности?!

Ни слова не сказала мисс Генри, и я не взглянул на нее, сам не знаю почему.

— Так,— произнес мистер Генри, едва переводя дыхание.— И где же он?

— Я оставил его на дорожке в кустах.

— Проведите меня к нему,— сказал он.

Мы пошли, он и я, не говоря ни слова, и на мощеной дорожке повстречали Баллантрэ. Он шел, насвистывая и помахивая тростью. Было еще достаточно светло, чтобы узнать его, хотя и трудно разглядеть выражение его лица.

— Ба! Да это Иаков! — воскликнул Баллантрэ.— А Исав-то вернулся.

— Джемс,— сказал мистер Генри,— ради бога, называй меня по имени. Я не буду прикидываться, что рад тебе, но по мере сил постараюсь обеспечить тебе гостеприимство в доме отцов.

— Почему не в *моем* доме? Или, может быть, в *твоем?* — сказал Баллантрэ.— Ты как предпочел бы выразиться? Но это старая рана, и лучше ее не касаться. Раз ты не пожелал содержать меня в Париже, то, надеюсь, не лишишь своего старшего брата его места у родимого очага в Дэррисдире?

— К чему все это? — ответил мистер Генри.— Ты прекрасно понимаешь все выгоды твоего положения.

— Что ж, не буду этого отрицать,— сказал тот с легким смешком.

И этим (они так и не протянули друг другу руки), можно сказать, и кончилась встреча братьев, потому что вслед за тем Баллантрэ обернулся ко мне и приказал принести его вещи.

Я, со своей стороны,— возможно, несколько вызывающе — обернулся к мистеру Генри, ожидая подтверждения этого приказа.

— На время пребывания у нас моего брата, мистер Маккеллар, вы меня очень обяжете, выполняя его желания, как мои собственные,— сказал мистер Генри.— Мы все время обременяем вас поручениями; но не будете ли вы добры послать за вещами кого-нибудь из слуг? — Он подчеркнул последнее слово.

Смысл этого обращения явно заключал заслуженный упрек пришельцу, но таково было его дьявольское бесстыдство, что он обернул его по-своему.

— А выражаясь без прикрас, проваливайте! — сказал он елейным тоном и поглядывая на меня искоса.

Никакие блага в мире не принудили бы меня заговорить, даже позвать слугу было свыше моих сил. Я предпочитал сам служить этому человеку, лишь бы только не открывать рта. Поэтому я молча повернулся и пошел по дорожке к кустарнику с сердцем, исполненным гнева и отчаяния. Под деревьями было уже темно, и я шел, совсем позабыв зачем, пока чуть было не сломал себе шею, споткнувшись о саквояжи. И странное дело. До того я, не замечая тяжести, тащил оба саквояжа, теперь же едва мог управиться с одним. И это обстоятельство, заставив меня сделать два конца, отсрочило мое возвращение в залу.

Когда я вошел туда, с приветствиями было уже покончено, семья сидела за ужином и по недосмотру, уязвившему меня до глубины души, мне на столе не было поставлено прибора. До сих пор я видел одну сторону характера Баллантрэ, теперь мне предстояло увидеть и другую. Именно Баллантрэ первым заметил мое появление и некоторое замешательство. Он вскочил со стула.

— Так это я занял место добрейшего Маккеллара! — вскричал он.— Джон, поставь прибор мистеру Балли! Клянусь, я никого не потревожу, а стол достаточно велик для всех нас.

Я не верил ушам,— до того дружелюбно звучал его голос,— и счел обманом чувств, когда он взял меня за плечи и, смеясь, усадил на мое место. И пока Джон ставил ему новый прибор, он подошел к креслу отца и наклонился над стариком, а тот поднял взор на сына, и они поглядели друг на друга с такой спокойной нежностью, что я невольно протер глаза вне себя от изумления.

Но и дальше все шло в том же духе. Ни одного резкого слова, ни одной кривой усмешки. Он отбросил даже свой резкий английский говор и стал говорить на родном шотландском наречии, что придавало особую прелесть его почтительным речам; и хотя манеры его отличались изысканностью, чуждой простым нравам Дэррисдира, все же это была не навязчивая учтивость,

которая унижала бы нас,— напротив, она была нам приятна. В продолжение всего ужина он с большим почтением чокался со мною, оборачивался, чтобы сказать милостивое слово Джону, нежно поглаживая руку отца, рассказывал забавные случаи из своих приключений, с умилением вспоминал старые дни в Дэррисдире — словом, поведение его было так чарующе, а сам он так обаятелен и красив, что я не удивлялся тому, что милорд и миссис Генри сидели за столом с сияющими лицами, а Джон прислуживал нам, роняя слезы из глаз.

Как только ужин окончился, миссис Генри поднялась, чтобы уйти.

— Это не было у вас в обычае, Алисон,—сказал он.

— Теперь я всегда так делаю,— ответила она, что было неправдой,— и я желаю вам доброй ночи, Джемс, и приветствую вас — воскресшего...— сказала она, и голос ее пресекся и задрожал.

Бедный мистер Генри, которому и так несладко пришлось за столом, был теперь в полном смятении: его радовало, что жена уходит, огорчала сама причина этого, наконец, ошеломила горячность ее слов.

Со своей стороны, я подумал, что я здесь лишний, и собирался последовать за миссис Генри, но Баллантрэ заметил мое намерение.

— Что вы, мистер Маккеллар,— сказал он.— Я сочту это за прямую неприязнь. Я не могу допустить, чтобы вы ушли, это значило бы, что вы считаете меня не просто блудным сыном, но и чужаком, и позвольте напомнить вам, где — в собственном отчем доме! Нет, садитесь и выпейте еще стаканчик с мистером Балли.

— Да! Да, мистер Маккеллар,— сказал милорд,— не надо считать чужим ни его, ни вас. Я уже говорил моему сыну,— прибавил он, и лицо его просветлело, что бывало каждый раз при этом слове,— как высоко ценим мы ваши дружеские услуги.

Я уселся на свое место и просидел молча до своего обычного часа. Возможно, меня обмануло бы поведение этого человека, если бы не одно обстоятельство, обнаружившее коварство его натуры. Вот это обстоятельство, на основании которого каждый прочитавший вышеизложенное может делать собственные заключения. Мистер Генри сидел угрюмый, несмотря на все свои старания не выдавать себя в присутствии милорда, как вдруг

Баллантрэ вскочил с места, обошел вокруг стола и хлопнул брата по плечу.

— Ну, полно, Гарри, Малыш,— сказал он, должно быть, применяя прозвище их детских лет,— тебя не должно печалить то, что брат твой воротился домой. Здесь все твое, и безо всякого спору, так что я вовсе на тебя не в обиде. Но и ты не должен сердиться на то, что я занял свое место у отцовского очага.

— Он правду говорит, Генри,— сказал старый лорд, слегка нахмурившись, что с ним редко бывало.— Ты оказался в положении старшего брата из притчи, и будь великодушен, не таи зла на брата своего.

— Мне так легко приписать все худое,— сказал мистер Генри.

— Да кто собирается приписывать тебе худое? — закричал милорд довольно резко для такого обходительного человека.— Ты тысячу раз заслужил мою благодарность и благодарность брата и можешь полагаться на нее крепко. И довольно об этом!

— Да, Гарри, на постоянство моих чувств к тебе ты вполне можешь положиться,— сказал Баллантрэ, и мне показалось, что в глазах мистера Генри сверкнула ярость, когда он взглянул на брата.

Вспоминая о прискорбных событиях, которые за этим последовали, я до сих пор повторяю четыре вопроса, волновавшие меня тогда: была ли у этого человека сознательная вражда к мистеру Генри? Или, может быть, им руководил корыстный расчет? Или просто наслаждение собственной жестокостью, которое мы наблюдаем в кошке и которое богословы приписывают дьяволу? Или, может быть, то, что он назвал бы любовью? По моему крайнему разумению, дело было в трех первых причинах, но может быть, в его поведении сказывались и все четыре. Тогда враждебностью к мистеру Генри можно было бы объяснить ту ненависть, которая проявлялась в нем, когда они были одни; расчет объяснял бы совершенно иное поведение в присутствии милорда; надежда на взаимность побуждала его оказывать внимание миссис Генри; а наслаждение, доставляемое коварством,— тратить столько усилий на эту сложную и своенравную игру.

Отчасти потому, что я открыто держал сторону моего патрона, отчасти же и потому, что в своих письмах

в Париж часто допускал упреки, я также был включен в число жертв его дьявольской забавы. Когда мы оставались наедине, он осыпал меня насмешками; при хозяевах он обращался со мной с дружелюбной снисходительностью. Это было не только само по себе тягостно, не только ставило меня постоянно в ложное положение, но заключало в себе неописуемую обиду. То, что он так пренебрегал мной в этой игре, как бы считая меня недостойным иметь о ней собственное мнение, бесило меня чрезвычайно. Но дело тут вовсе не во мне. Я упоминаю об этом только потому, что это принесло свою пользу, дав мне представление о муках, переживаемых мистером Генри.

Именно на него легло основное бремя. Как было ему любезничать на людях с тем, кто наедине не пропускал случая уязвить его? Как мог он отвечать улыбкой обманщику и обидчику? Он был обречен на роль неблагодарного. Он был обречен на молчание. Даже будь он не так горд, не храни он молчание, кто поверил бы правде? Расчетливое коварство принесло свои плоды: милорд и миссис Генри были ежедневно свидетелями происходящего; они и на суде могли бы поклясться, что Баллантрэ был образцом терпения и благожелательности, а мистер Генри — ходячей завистью и неблагодарностью. И как ни отвратительно было бы это в каждом, в мистере Генри это было вдесятеро отвратительнее: кто мог забыть, что Баллантрэ рискует на родине жизнью и что он уже потерял и невесту, и титул, и состояние.

— Генри, не прокатиться ли нам верхом? — спросит, например, Баллантрэ.

И мистер Генри, которого тот, не переставая, бесил все утро, буркнет:

— Нет, не хочу.

— Мне кажется, ты мог бы говорить со мной поласковей,— грустно заметит лукавец.

Я привожу это лишь к примеру, такие сцены разыгрывались непрестанно. Неудивительно, что мистера Генри осуждали, неудивительно и то, что я был близок к разлитию желчи. Да при одном воспоминании об этом у меня становится горько во рту!

Никогда еще на свете не было подобного дьявольского измышления; такого коварного, такого простого, такого неуязвимого. Но все же я думаю сейчас, как ду-

мал и всегда, что миссис Генри могла бы читать между строк, могла бы лучше разбираться в характере своего мужа; после стольких лет замужества могла бы завоевать или вынудить его доверие. Да и милорд тоже — такой наблюдательный джентльмен,— где была вся его проницательность? Но, во-первых, обман осуществлялся мастерски и мог усыпить самого ангела-хранителя. Во-вторых (и это касается миссис Генри), я давно замечал, что нет людей более далеких, чем те, кто охладел в супружестве,— они словно глухи друг к другу, и нет у них общего языка. В-третьих (и это касается обоих наблюдателей), оба они — и отец и жена — были слишком ослеплены своей давнишней, неискоренимой привязанностью к Баллантрэ. И, в-четвертых, опасность, которой, как полагали, подвергался Баллантрэ (как полагали, говорю я, и вы скоро узнаете, почему), заставляла их считать тем более невеликодушной всякую критику его поступков и, поддерживая в них постоянную нежную заботу о его жизни, делала слепыми к его порокам.

Именно тогда я до конца понял все значение хороших манер и горько оплакивал собственную неотесанность. Мистер Генри был истый джентльмен; в минуты подъема и когда этого требовали обстоятельства, он мог держать себя с достоинством и воодушевлением, но в каждодневном обиходе (напрасно было бы отрицать это) он пренебрегал светскими приличиями. Баллантрэ (с другой стороны) не делал ни одного необдуманного движения. И вот каждый шаг и каждый жест обоих как бы подтверждали мнение об утонченности одного и грубости другого. И более того: чем крепче мистер Генри запутывался в сетях брата, тем связаннее становилось его поведение, и чем больше Баллантрэ наслаждался злобной забавой, тем обаятельней, тем радушней он выглядел! Так замысел его укреплялся самым ходом своего развития.

Человек этот с большим искусством использовал тот риск, которому (как я уже говорил) он якобы подвергался. Он говорил о нем тем, кто его любил, с веселой небрежностью, которая делала положение его еще трогательней. А по отношению к мистеру Генри он применял то же как оружие жестоких оскорблений. Помню, как однажды, когда мы втроем были одни в зале, он указал пальцем на простое стекло в цветном витраже.

— Его вышибла твоя счастливая гинея, Иаков,— сказал он. И когда мистер Генри только угрюмо взглянул на него в ответ, прибавил: — О, не гляди на меня с такой бессильной злобой, милая мушка! Ты можешь в любой момент избавиться от своего паука. Доколе, о господи? Когда же наконец ты скатишься до предательства, мой совестливый братец? Уже это одно удерживает меня в нашей дыре. Я всегда любил эксперименты.

И так как мистер Генри, нахмурившись и весь побледнев, продолжал глядеть на него, Баллантрэ в конце концов захохотал и хлопнул его по плечу, обозвав цепным псом. Мой патрон отскочил с жестом, который мне показался угрожающим, и, по-видимому, Баллантрэ был того же мнения, потому что он как-то смутился, и я уж не помню, чтобы он еще когда-либо прикасался к мистеру Генри.

Но хотя грозившая ему опасность не сходила у него с уст, поведение его казалось мне до странности неосторожным, и я начал думать, что правительство, назначившее награду за его голову, крепко уснуло. Не стану отрицать, что не раз меня подмывало донести на него, но два соображения меня удерживали: первое, что, если он окончит свою жизнь, как подобает дворянину — на почетном эшафоте, он в памяти отца и жены моего патрона навсегда останется в ореоле мученика; и второе, что если я хотя бы стороною буду замешан в этом деле, то не избежать подозрений и мистеру Генри.

А тем временем наш враг появлялся всюду с непостижимой для меня беззаботностью. То, что он возвратился домой, было известно по всей округе, и тем не менее его никто не беспокоил. Из столь многочисленных и столь разных свидетелей его возвращения не находилось ни одного, достаточно верного престолу или хотя бы достаточно алчного, как твердил я в своей бессильной злобе; и Баллантрэ свободно разъезжал повсюду, встречаемый в силу давнишней нелюбви к мистеру Генри гораздо радушнее своего брата и пользуясь гораздо большей безопасностью, чем даже я, вечно дрожавший перед контрабандистами.

Не то чтобы и у него не было своих забот; о них я теперь и поведу речь, так как это имело свои серьезные последствия. Надеюсь, читатель не забыл Джесси Браун. Она якшалась с контрабандистами, среди ее приятелей был сам капитан Крэйл, и она одна из пер-

вых узнала о пребывании в Дэррисдире мистера Балли. По-моему, она давно уже была совершенно безразлична к Баллантрэ, но у нее вошло в привычку постоянно связывать свои горести с его именем. На этом было основано все ее ломанье, и вот теперь, когда он вернулся, она сочла за долг околачиваться по соседству с Дэррисдиром. Не успевал Баллантрэ выехать за ворота, как она уж тут как тут: в растерзанном виде, чаще всего нетрезвая, она исступленно приветствовала своего «милого дружка», выкрикивала чувствительные стишки и, как мне передавали, даже пыталась поплакать на его груди. Признаюсь, что я умыл руки и даже был рад этим домогательствам, но Баллантрэ, который других подвергал таким испытаниям, сам менее кого-либо был способен их выносить. И вокруг замка разыгрывались престранные сцены. Говорили, что он прибегал к трости, а Джесси обращалась к своему излюбленному оружию — камням. Вполне достоверно, что он предложил капитану Крэйлу избавить его от этой женщины — предложение, которое капитан Крэйл отверг с несвойственной ему горячностью. И в конце концов победа осталась за Джесси. Собраны были деньги, состоялось свидание, при котором мой гордый джентльмен вынужден был подвергнуться лобызаниям и оплакиванию, после чего женщина эта открыла собственный кабак где-то близ Солуэя (точно не помню, где) и, по тем сведениям, которые однажды дошли до меня, обзавелась самой низкопробной клиентурой.

Но это значит забегать много вперед. А тогда, когда Джесси только начала преследовать Баллантрэ, он однажды явился в контору и сказал тоном гораздо более вежливым, чем обычно:

— Маккеллар, одна полоумная девка не дает мне проходу. Самому мне ввязываться в это дело неудобно, поэтому я обращаюсь к вам. Будьте добры, займитесь этим: слуги должны получить строгое приказание гнать ее прочь.

— Сэр,— сказал я не без внутренней дрожи,— ваши грязные делишки вы можете распутывать сами.

Не говоря ни слова, он покинул комнату.

Вскоре появился мистер Генри.

— Вот еще новости! — закричал он.— Мало мне унижений, так вы еще подбавляете? Вы что же это — оскорбили мистера Балли?

— С вашего соизволения, мистер Генри, осмелюсь возразить, что это он оскорбил меня, и притом весьма грубо,— сказал я.— Но возможно, что, отвечая, я упустил из виду ваше положение. И когда вы узнаете обстоятельства дела, дорогой патрон, вам достаточно сказать лишь слово. Ради вас я готов повиноваться ему во всем и даже, да простит мне бог, взять грех на душу,— и затем я рассказал ему, как было дело.

Мистер Генри усмехнулся, и более сумрачной усмешки я еще не видывал.

— Вы поступили правильно,— сказал он.— Пусть пьет свою Джесси Браун до дна.— И, заметив брата на дворе, он открыл окно и, окликнув его, пригласил зайти в комнату переговорить.

— Джемс,— сказал он, когда наш мучитель вошел и затворил за собой дверь, глядя на меня с торжествующей улыбкой в ожидании, что я буду унижен.— Джемс, ты пришел ко мне с жалобой на мистера Маккеллара, которую я расследовал. Надо ли говорить, что его словам я всегда поверю больше, чем твоим; мы тут одни, и я могу брать пример с твоей собственной откровенности. Мистер Маккеллар — джентльмен, которым я дорожу; и потрудись, пока живешь под этой кровлей, не вступать более в ссору с тем, кого я буду поддерживать, чего бы это ни стоило мне и моей семье. А что касается поручения, с которым ты к нему обратился, ты сам должен разделываться с последствиями своей жестокости, и ни один из моих слуг ни в коем случае не должен быть помощником в этом деле.

— Слуг моего отца, не так ли? — сказал Баллантрэ,

— Иди к нему с этим сам,— сказал мистер Генри.

Баллантрэ весь побелел. Он указал на меня пальцем.

— Я требую, чтобы этот человек был уволен.

— Этого не будет! — сказал мистер Генри.

— Ты за это дорого заплатишь! — прошипел Баллантрэ.

— Я уже так много заплатил за преступления брата,— сказал мистер Генри,— что я полный банкрот, даже по части страха. Да на мне живого места нет, по которому ты мог бы ударить!

— Ну, об этом ты скоро узнаешь,— сказал Баллантрэ и выскользнул из комнаты.

— Что он теперь затеет, Маккеллар! — воскликнул мистер Генри.

— Отпустите меня,— сказал я.— Дорогой мой патрон, отпустите меня; я послужу причиной новых несчастий.

— Вы хотите оставить меня совсем одного? — сказал он.

Нам скоро стало ясно, какой новый подкоп готовит Баллантрэ. Вплоть до этого дня он вел по отношению к миссис Генри очень сдержанную игру. Он явно избегал оставаться с ней наедине, что в то время казалось мне соблюдением приличий, а теперь представляется коварным маневром; он встречался с ней, по-видимому, только за столом и вел себя при встречах, как подобает любящему брату. Вплоть до этого дня он, можно сказать, не становился открыто между мистером Генри и его женой, если не считать того, что выставлял перед ней мужа в самом неприглядном свете. Теперь все изменилось; но потому ли, что он действительно мстил, или же, скучая в Дэррисдире, просто искал развлечения, про то один дьявол ведает.

Во всяком случае, с этого дня началась осада миссис Генри, и притом столь искусная, что едва ли она сама что-либо замечала, а супруг ее принужден был оставаться молчаливым свидетелем. Первая линия апрошей [1] была заложена как бы невзначай. Однажды разговор, как это часто бывало, зашел об изгнанниках во Франции, а затем коснулся их песен.

— Если вас это интересует,— сказал Баллантрэ,— я расскажу вам про одну песню, которая меня всегда трогала. Слова ее грубоваты, но меня, может быть, именно в моем положении, она задевала за самое сердце. Должен вам сказать, что поется она от лица возлюбленной изгнанника, и выражена в ней, может быть, не столько правда о том, что она думает, сколько надежда и вера бедняги там, в далеком изгнании.

Тут Баллантрэ вздохнул:

— И какое же это трогательное зрелище, когда десяток грубых ирландцев в караульной затянут ее и по слезам, катящимся из их глаз, видно, как она их пробирает! А поется она вот как, милорд,—сказал он, весьма искусно втягивая в разговор отца.— Но если я не смогу допеть ее, то знайте, что это часто бывает у нас, изгнанников.— И он запел на тот же мотив, который насвистывал в свое время полковник.

[1] Апроши — траншеи, ходы сообщения, которые помогали осаждающим приблизиться к укреплениям врага.

Слова песни, действительно непритязательные, очень трогательно передавали тоску бедной девушки по своему далекому возлюбленному; один куплет до сих пор звучит у меня в ушах:

На красную юбку сменю я тартан [1]
И с малюткой моим по дорогам цыган
Буду бродить,пока из тех стран
Не воротится Вилли мой!

Он пел искусно, но еще искуснее играл. Я видел знаменитых актеров, которые заставляли плакать весь Эдинбургский театр,— на это стоило поглядеть; но надо было видеть Баллантрэ, когда, исполняя эту неприхотливую балладу, он как бы играл душами своих слушателей, то делая вид, что близок к обмороку, то как бы подавляя свои чувства. Слова и музыка будто сами лились из его сердца, порожденные его собственным прошлым, и обращены они были прямо к миссис Генри. Искусство его этим не ограничивалось: намек был так тонок, что никто не смог бы упрекнуть его в предумышленности,— он не только не выставлял напоказ своих чувств, но можно было поклясться, что он всеми силами их сдерживает.

Когда он кончил, все мы с минуту сидели в молчании; время он выбрал вечернее, так что в сумерках никто из нас не видел лица даже своего соседа, но казалось, что все затаили дыхание, только старый милорд откашлялся. Первым пошевелился сам певец: он внезапно, но мягко поднялся с места и, отойдя в дальний конец залы, стал неслышно расхаживать там взад и вперед, как это, бывало, делал мистер Генри. Нам предоставлялось предполагать, что он успокаивает последний порыв чувства, потому что вскоре он присоединился к нам и своим обычным тоном начал обсуждать характер ирландцев (о которых так часто неверно судят и которых он защищал); так что когда внесли свечи, мы уже заняты были обычным разговором. Но даже и тогда, как мне показалось, лицо миссис Генри было бледно, и к тому же она почти тотчас покинула нас.

[1] Тартан — домотканая клетчатая шерстяная материя, из которой в XV—XVIII веках шотландские горцы шили свою одежду.

Другим маневром была дружба, которую этот злой дух завел с невинным младенцем, мисс Кэтрин. Они теперь всегда были вместе, гуляли рука об руку, как двое ребят, или же она взбиралась к нему на колени. Как и все его дьявольские затеи, это преследовало сразу несколько целей. Это был последний удар для мистера Генри, сознававшего, что его единственное дитя восстанавливают против него; это заставляло его быть резким с ребенком и еще пуще роняло в глазах жены; это, наконец, служило каким-то связующим звеном между миледи и Баллантрэ. Былая сдержанность их с каждым днем таяла. Вскоре последовали долгие прогулки по аллеям, беседы на балконе и бог весть какие еще нежности. Несомненно, миссис Генри была, как и многие другие, порядочной женщиной, она знала свой долг, но позволяла себе кое-какие поблажки. И даже такому недогадливому наблюдателю, как я, было ясно, что нежность ее не просто родственное чувство. Интонации ее голоса сделались богаче и гибче, глаза светились ярче и нежнее; она стала мягче в обращении со всеми, даже с мистером Генри, даже со мной; казалось, что она упивается тихим, меланхолическим счастьем.

И какое, должно быть, мучение было мистеру Генри смотреть на все это! А между тем, как я сейчас расскажу, именно это и принесло нам избавление.

Баллантрэ жил у нас с единственной целью (как бы он ее ни прикрашивал) выкачать побольше денег. Он задумал искать счастья во Французской Ост-Индии, как об этом писал мне кавалер; и он явился к нам для того, чтобы получить потребные для путешествия средства. Для остальных членов семьи это означало полное разорение, но милорд в своем невероятном ослеплении шел на все. Семья теперь так поредела (в самом деле, она ведь состояла всего из отца и двух сыновей), что представлялось возможным нарушить майорат [1] и выделить часть поместья для продажи. Сначала намеками, а потом и прямым давлением у мистера Генри вынудили согласие на это. Я уверен, что он никогда бы не дал его, если бы не постоянная подавленность, в которой он находился. Если бы не страстное желание избавиться от присутствия брата, он никогда бы не поступился собственными убеждениями и фамильными традициями. И все-таки он продал им свое согласие за дорогую цену: поставил вопрос в открытую и назвал вещи своими позорными именами.

— Имейте в виду,— сказал он,— что это нарушает интересы моего сына, если он у меня будет.

— Ну, едва ли будет,— сказал милорд.

— На то божья воля! — сказал мистер Генри.— Но, принимая во внимание невыносимое и ложное положение, в котором я нахожусь по отношению к брату, и то, что вы, милорд, мой отец и имеете право приказывать мне, я подпишу эту бумагу, но прежде скажу вот что: я действую по бессердечному принуждению, и если когда-нибудь, милорд, вам захочется сравнить ваших сыновей, тогда вспомните, что сделал я и что сделал он. Судите нас по нашим делам.

Милорду было очень не по себе, даже его бескровное лицо окрасилось румянцем.

— А не думаешь ли ты, Генри, что сейчас совсем не время для упреков? — сказал он.— Ведь это обесценивает самое твое великодушие.

— Не обманывайтесь, милорд,— сказал мистер Генри.— Я иду на эту несправедливость не из великодушного чувства к нему, а из послушания к вам.

— Хоть перед посторонними...— начал было милорд, еще более уязвленный.

— Здесь нет никого, кроме Маккеллара,— сказал мистер Генри,— а он мой друг. И поскольку, милорд, вы не считали его посторонним, когда унижали меня, было бы несправедливо устранять его от столь редкой для меня попытки защититься.

Мне показалось, что милорд готов изменить свое решение, но Баллантрэ был начеку.

— Ах, Генри, Генри,— сказал он.— Ты лучше всех нас. Суров и прямодушен! Да, мой милый, хотел бы я быть похожим на тебя!

И при этом проявлении великодушия его любимца все колебания милорда рассеялись, и документ был подписан.

При первой же возможности земли Охтерхолла были проданы много дешевле их настоящей цены, деньги вручены нашему вымогателю и переправлены им во Францию. По крайней мере, так он говорил; хотя позднее я стал подозревать, что они были помещены гораз-

[1] Майорат — земельное владение, не подлежащее разделу и целиком переходящее к старшему из наследников.

до ближе. Теперь все его предприятие было успешно завершено и карманы его вновь наполнились нашим золотом, но условие, при котором мы согласились на эту жертву, было все еще не выполнено, и он по-прежнему сидел в Дэррисдире. Проистекало ли это из его коварства, или же не наступил еще срок для его отбытия в Индию, или он рассчитывал добиться успеха у миссис Генри, или таковы были указания правительства — кто знает? — но только он задерживался, и так проходили недели.

Вы, должно быть, заметили, что я сказал: указания правительства; и действительно, примерно в то же время раскрылся позорный секрет этого человека.

Первым намеком послужили для меня слова одного арендатора, обсуждавшего со мной пребывание у нас Баллантрэ и его безопасность. Арендатор этот был ярым якобитом и потерял сына под Куллоденом, что делало его особенно придирчивым и непримиримым.

— Не могу я одного понять,— говорил он,— как он мог попасть в Коккермаус?

— В Коккермаус? — переспросил я и тут же вспомнил, как поразил меня щегольской вид этого человека при высадке после столь длительного плавания.

— Ну да,— сказал арендатор.— Ведь это там его подобрал капитан Крэйл. А вы думали, что он морем приплыл из Франции? Сперва мы и сами так думали.

Поразмыслив об этих новостях, я сообщил их мистеру Генри.

— Странную я узнал подробность.— И я передал ему то, что слышал.

— Не все ли равно, как он приехал, Маккеллар,— простонал мистер Генри, важно то, что он еще здесь.

— Все это так, сэр,— сказал я,— но обратите внимание вот на что: все это очень похоже на потворство со стороны правительства. Вспомните, как мы удивлялись тому, что его оставляют в покое.

— Так! — сказал мистер Генри.— Об этом сто́ит подумать.— И по мере того как он размышлял, на лице его появилась мрачная усмешка, напомнившая мне Баллантрэ.— Дайте мне бумаги,— попросил он, тут же сел за стол и, не говоря ни слова, написал письмо одному своему знакомому (я не стану называть здесь ненужных имен, скажу только, что тот занимал высокое положение). Письмо это я переслал с единственным человеком,

на которого мог положиться в таком деле, и старик Макконнэхи, как видно, спешил изо всех сил, потому что вернулся с ответом много раньше того, на что могло рассчитывать даже мое нетерпение. Прочитав ответ, мистер Генри усмехнулся той же мрачной усмешкой.

— Лучшей услуги вы мне еще не оказывали, Маккеллар,— сказал он.— С этим оружием в руках я могу нанести ему удар. Следите за нами во время обеда.

И вот за обедом мистер Генри предложил Баллантрэ прогулку в город, а милорд, как он и надеялся, указал на рискованность этого.

— О! — небрежно заметил мистер Генри.— Зачем вам скрываться от меня? Я так же, как и вы, посвящен в этот секрет.

— Секрет? — сказал милорд.— О чем ты говоришь, Генри? Даю тебе слово, что у меня нет от тебя секретов.

Баллантрэ изменился в лице, и я понял, что удар попал в незащищенное место.

— Как же так? — спросил мистер Генри, поворачиваясь к нему с видом крайнего изумления.— Я вижу, ты верно служишь своим господам, но я думал, что у тебя хватит сердца не мучить так родного отца.

— О чем ты толкуешь? Я протестую против публичного обсуждения моих дел. Я требую, чтобы ты замолчал! — с жаром воскликнул Баллантрэ, и эта глупая ребяческая вспышка была совсем на него не похожа.

— От тебя вовсе не требовали такой скрытности,— продолжал мистер Генри,— слушайте, что пишет мне об этом мой знакомый,— и он развернул письмо — «Конечно, хранить этот уговор в тайне в интересах как правительства, так и джентльмена, которого, быть может, нам следует по-прежнему именовать мистером Балли, но никому не нужно томительное ожидание, в котором, как вы пишете, пребывает его семья, и я рад, что своим письмом могу рассеять их беспочвенные страхи. Мистер Балли находится в Великобритании не в большей опасности, чем вы сами».

— Возможно ли это?! — вскричал милорд, глядя на старшего сына: и на лице его было столько же удивления, сколько и подозрений.

— Дорогой отец,— сказал Баллантрэ, уже в значительной мере обретший присутствие духа.— Я очень рад, что все объяснилось. В полученных мною из Лондо-

на указаниях говорилось совсем обратное, и мне вменялось в обязанность хранить тайну помилования от всех, и от вас в том числе. Вы даже были особо оговорены; это было написано черным по белому, и я мог бы доказать это неопровержимо, да жаль, что уничтожил письмо. Они, должно быть, пересмотрели свое решение, и совсем на днях, потому что это дело недавнее, или же корреспондент Генри что-нибудь напутал, как исказил он и все остальное. Сказать по правде, сэр,— продолжал он, видимо, овладевая собою,— я предполагал, что эта необъяснимая милость по отношению к мятежнику объясняется вашей просьбой и что предписанная мне скрытность в моей семье вызвана была вашим желанием молчать о своем добром деле. Тем неуклоннее я повиновался приказам. Теперь остается только гадать, какими путями излилась милость на такого важного преступника, как я. А защищаться от намеков, содержащихся в письме к Генри, вашему сыну, я полагаю, не приходится. Я еще не слыхал, чтобы кто-нибудь из Дэррисдиров становился отступником или шпионом! — гордо закончил он.

Казалось, что Баллантрэ без ущерба для себя избежал опасности, но он допустил промах, которым сейчас же воспользовался мистер Генри, обнаруживший при этом, что и он кое в чем не уступает брату.

— Ты говоришь, что это дело недавнее? — спросил мистер Генри.

— Совсем недавнее,— с притворной твердостью сказал Баллантрэ, но голос у него срывался.

— Такое ли недавнее? — заметил мистер Генри и, словно это его озадачило, стал снова разворачивать письмо.

В письме об этом не было ни слова, но Баллантрэ ведь этого не знал.

— Я так долго ждал, что для меня все недавно,— сказал он смеясь. Смех его прозвучал так фальшиво, словно надтреснутый колокол, что милорд опять взглянул на него и крепко сжал бледные губы.

— Ах, так,— сказал мистер Генри, все еще глядя в свое письмо.— Но я точно помню твои слова. Ты говорил, что это дело недавнее.

Мы одержали победу, но убедились и в невероятном потворстве милорда,— он и тут вмешался, чтобы спасти своего любимца от разоблачения и позора.

— Я думаю, Генри,— сказал он с какой-то жалкой поспешностью,— я думаю, что нам нечего сейчас спорить. Все мы рады, что наконец-то брат твой находится в безопасности, в этом мы все единодушны и, как благодарные подданные короля, должны выпить за его здоровье.

Так Баллантрэ избегнул беды; но, по крайней мере, он был вынужден перейти к обороне и сделал это не без ущерба для себя, а кроме того, лишился ореола преследуемого изгнанника. Сам милорд в тайниках души сознавал теперь, что его любимец — правительственный шпион, а миссис Генри (как бы она ни толковала происшедшее) стала заметно холоднее в своем обращении с развенчанным героем. Таким образом, в самой тонкой паутине коварства всегда найдется слабое место, и стóит его задеть, как рушится все хитросплетение. Если бы этим счастливым ударом мы не опрокинули идола, кто знает, каково было бы наше положение в разразившейся катастрофе?

Но в то время нам казалось, что мы не добились ничего. Не прошло и двух-трех дней, как он совершенно загладил неприятное впечатление от своего конфуза и, по всей видимости, вполне восстановил свое положение. А милорд Дэррисдир в своей родительской любви ничего не хотел видеть. Это была даже не столько любовь — чувство деятельное, сколько апатия и отмирание всех прочих чувств; и всепрощение (если применимо тут это благородное слово) изливалось у него подобно непроизвольным старческим слезам.

С миссис Генри дело обстояло совсем иначе, и один бог знает, какие у него нашлись перед нею оправдания и как он рассеял в ней чувство презрения. В подобном чувстве плохо то, что голос становится важнее слов, а говорящий заслоняет то, что он говорит. Но, должно быть, какие-то оправдания Баллантрэ нашел, а может быть, даже своей изворотливостью обратил все это в свою пользу, потому что после недолгого охлаждения дела его с миссис Генри пошли в дальнейшем как нельзя хуже. Теперь они вечно были вместе. Не подумайте, что я хочу чем-нибудь сгустить тень, которую навлекла на себя эта несчастная леди, упорствуя в своем ослеплении; но я думаю, что в те решающие дни она играла с огнем. Ошибаюсь я или нет, но ясно одно (и этого вполне достаточно): мистер Генри опасался того же.

Несчастный целыми днями сидел в конторе с таким видом крайнего отчаяния, что я не осмеливался обратиться к нему. Хочу надеяться, что самое мое присутствие и молчаливое участие доставляли ему некоторое облегчение. Бывало так, что мы говорили, и странная это была беседа: мы никогда не называли никого по имени и не упоминали определенных фактов или событий, но каждый из нас думал о том же, и мы прекрасно это знали. Странное это искусство — часами говорить о каком-нибудь предмете, не только не называя, но даже не намекая на него. Помнится, я даже подумал тогда, что, может быть, именно таким образом Баллантрэ целыми днями ухаживал за миссис Генри, делая это совершенно открыто и вместе с тем ни разу не спугнув ее. Чтобы дать представление, как обстояли дела у мистера Генри, я приведу здесь несколько слов, произнесенных им (я имел основания запомнить дату) двадцать шестого февраля 1757 года. Погода стояла не по времени резкая, казалось, что это возврат зимы: безветренный жгучий холод, все бело от инея, небо низкое и серое, море черное и мрачное, как пещера.

Мистер Генри сидел у самого камина и размышлял вслух (как это у него теперь вошло в привычку) о том, «должен ли мужчина принимать решения» и «разумно ли вмешательство». Эти и тому подобные отвлеченные рассуждения каждый из нас понимал с полуслова. Я глядел в окно, как вдруг внизу прошли Баллантрэ, миссис Генри и мисс Кэтрин — неразлучное трио. Девочка прыгала, радуясь инею, Баллантрэ что-то шептал на ухо леди с улыбкой, которая (даже на таком расстоянии) казалась дьявольской усмешкой искусителя, а она шла, опустив глаза, всецело поглощенная услышанным. Я не вытерпел.

— На вашем месте, мистер Генри, я поговорил бы с милордом начистоту,— сказал я.

— Маккеллар, Маккеллар,— отозвался он,— вы не сознаете шаткости моего положения. Ни к кому я не могу пойти со своими подозрениями, меньше всего к отцу. Это вызвало бы у него только гнев. Беда моя,— продолжал он,— во мне самом, в том, что я не из тех, кто способен вызывать к себе любовь. Они все мне признательны, они все твердят мне об этом; с меня этой признательности хватит до смерти. Но не мной заняты их мысли, они и не потрудятся подумать вместе со мной,

подумать за меня. Вот в чем горе! — Он вскочил и затоптал огонь в очаге.— Но что-то надо придумать, Маккеллар,— сказал он и поглядел на меня через плечо,— что-то надо придумать. Я человек терпеливый... даже чересчур... даже чересчур! Я начинаю презирать себя. И все же нес ли когда-нибудь человек такое бремя?!

Он снова погрузился в размышления.

— Мужайтесь,— сказал я.— Все это разрешится само собой.

— Даже злоба у меня отболела,— сказал он, и в этом было так мало связи с моим замечанием, что я не продолжил разговора.

ГЛАВА ПЯТАЯ

РАССКАЗ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В НОЧЬ НА 28 ФЕВРАЛЯ 1757 ГОДА

Вечером того дня, когда имел место этот разговор, Баллантрэ куда-то уехал, не было его и бóльшую часть следующего дня, злополучного 27-го; но о том, куда он ездил и что делал, мы задумались только позднее. А спохватись мы раньше, мы, может быть, разгадали бы его планы и все обернулось бы иначе. Но так как мы действовали в полном неведении, то и поступки наши надо оценивать соответственно, и поэтому я буду рассказывать обо всем так, как это представлялось нам в то время, и приберегу все наши открытия до того момента, когда они были сделаны. Это особенно важно потому, что я дошел до самой мрачной страницы моего рассказа и должен просить у читателя снисхождения для своего патрона.

Весь день двадцать седьмого февраля было по-прежнему морозно; дух захватывало от холода. У прохожих пар валил изо рта, большой камин в зале был доверху загружен дровами, ранние птицы, которые уже добрались и до наших суровых краев, теперь жались к окнам или прыгали, как потерянные, по замерзшей земле. К полудню проглянуло солнце и осветило по-зимнему красивые, покрытые снегом холмы и леса, люггер Крэйла, ожидавший ветра за мысом Крэг, и столбы дыма, поднимавшиеся прямо к небу из каждой трубы. К ночи

сгустился туман, стало темно и тихо и неимоверно холодно: ночь не по-февральски беззвездная, ночь для невероятных событий.

Миссис Генри покинула нас, как это теперь вошло у нее в обыкновение, очень рано. С некоторых пор мы проводили вечера за картами,— еще одно свидетельство того, как скучал в Дэррисдире наш приезжий. Вскоре милорд оставил свое место у камина и, не сказав ни слова, пошел согреваться в постели. Прочих оставшихся не связывали ни любовь, ни учтивость, и ни один из нас минуты не просидел бы ради другого, но в силу привычки и так как карты были только что сданы, мы от нечего делать стали доигрывать партию. Нужно отметить, что засиделись мы допоздна и хотя милорд ушел к себе раньше обычного, но уже пробило полночь и слуги давно спали. И скажу еще, что хотя я никогда не замечал в Баллантрэ приверженности к вину, на этот раз он пил неумеренно и был, вероятно (хотя и не показывал этого), немного пьян.

Во всяком случае, он разыграл одну из своих метаморфоз: не успела дверь затвориться за милордом, как он без малейшего изменения голоса перешел от обычного вежливого разговора к потоку оскорблений.

— Мой дорогой Генри, тебе играть,— только что говорил он, а теперь продолжал: — Удивительное дело, как даже в такой мелочи, как карты, ты обнаруживаешь свою неотесанность. Ты играешь, Иаков, как какая-нибудь деревенщина или матрос в таверне. Та же тупость, та же мелкая жадность, cette lenteur d'hébété qui me fait rager![1] — привел меня бог иметь такого брата! Даже почтенный квакер и тот слегка оживляется, когда опасность угрожает его ставке, но играть с тобой — это невыразимая скука.

Мистер Генри продолжал смотреть в карты, как бы обдумывая ход, но на самом деле мысли его были далеко.

— Боже правый, да когда же этому придет конец? — закричал Баллантрэ.— Quel lourdeau! Но к чему я расточаю перед тобой французские выражения, которые все равно непонятны такому невежде. Un lourdeau, мой дорогой братец, означает увалень, олух, деревенщина,

[1] Та же тупая медлительность, которая меня выводит из себя! *(франц.)*.

человек, лишенный грации, легкости, живости, умения нравиться, природного блеска,— словом, именно такой, какого ты при желании увидишь, поглядевшись в зеркало. Я говорю тебе все это ради твоей же пользы, ну, а кроме того, милейший квакер (при этом он поглядел на меня, подавляя зевок), одно из моих развлечений в этой скучной дыре — поджаривать вас с вашим хозяином на медленном огне. Вы, например, неизменно доставляете мне удовольствие, потому что всякий раз корчитесь, когда слышите свое прозвище (как оно ни безобидно). Иное дело — мой бесценный братец, который вот-вот заснет над своими картами. А эпитет, который я тебе только что объяснил, дорогой Генри, может быть применен гораздо шире. Я это тебе сейчас растолкую. Вот, например, при всех твоих великих достоинствах,— их я рад в тебе признать,— я все же не знал женщины, которая не предпочла бы меня и, как я полагаю,— закончил он вкрадчиво и словно обдумывая свои слова,— как я полагаю, не продолжала бы оказывать мне предпочтение.

Мистер Генри отложил карты. Он медленно поднялся на ноги, и все время казалось, что он погружен в раздумье.

— Трус! — сказал он негромко, как будто самому себе. И потом не спеша и без особого ожесточения ударил Баллантрэ по лицу.

Баллантрэ вскочил, весь преобразившись, я никогда не видел его красивее.

— Пощечина! — закричал он.— Я не снес бы пощечины от самого господа бога!

— Потише,— сказал мистер Генри.— Ты что же, хочешь, чтобы отец снова за тебя вступился?

— Господа, господа! — кричал я, стараясь их разнять.

Баллантрэ схватил меня за плечо и, не отпуская, снова обратился к брату:

— Ты знаешь, что это значит?

— Это был самый обдуманный поступок в моей жизни,— отвечал мистер Генри.

— Ты кровью, кровью смоешь это! — сказал Баллантрэ.

— Дай бог, чтобы твоей,— сказал мистер Генри.

Он подошел к стене и снял две обнаженные рапиры, которые висели там среди прочего оружия. Держа за концы, он протянул их Баллантрэ.

— Маккеллар, присмотрите, чтобы все было по правилам,— обратился ко мне мистер Генри.— Я считаю, что это необходимо.

— Тебе незачем продолжать оскорбления.— Баллантрэ, не глядя, взял одну из рапир.— Я ненавидел тебя всю жизнь!

— Отец только что лег,— напомнил мистер Генри.— Нам надо уйти куда-нибудь подальше от дома.

— В длинной аллее, чего же лучше,— сказал Баллантрэ.

— Господа! — сказал я.— Постыдитесь! Вы сыновья одной матери. Неужели вы станете отнимать друг у друга жизнь, которую она вам дала?

— Вот именно, Маккеллар,— сказал мистер Генри с тем же невозмутимым спокойствием, которое он все время обнаруживал.

— Я этого не допущу,— сказал я.

И тут пятно легло на всю мою жизнь. Не успел я сказать этих слов, как Баллантрэ приставил острие своей рапиры к моей груди. Я видел, как свет струился по лезвию, и, всплеснув руками, повалился перед ним на колени.

— Нет, нет! — закричал я, словно малое дитя.

— Ну, он нам теперь не помеха,— сказал Баллантрэ.— Хорошо иметь в доме труса!

— Нам нужен будет свет,— сказал мистер Генри, как будто ничто не прерывало их разговора.

— Вот этот храбрец и принесет нам парочку свечей,— сказал Баллантрэ.

К стыду своему должен признаться, что я был еще так ослеплен этим блеском обнаженного клинка, что предложил принести фонарь.

— Нам нужен не ф-ф-оонарь,— передразнивая меня, сказал Баллантрэ.— Сейчас в воздухе ни дуновения. Поднимайтесь и берите две свечи. Идите вперед, а это вас подгонит,— и он помахал рапирой.

Я взял подсвечники и пошел впереди. Я отдал бы руку, лишь бы только всего этого не было, но трус — в лучшем случае невольник, и, идя с ними, я чувствовал, как зубы стучат у меня во рту. Все было как он сказал:

в воздухе ни дуновения, оковы безветренного мороза сковали воздух, и при свете свечей чернота неба казалась крышей над нашими головами. Не было сказано ни слова; не слышно было ни звука, кроме поскрипывания наших шагов по замерзшей дорожке. Холод этой ночи охватил меня, словно ледяная вода; и чем дальше, тем сильнее я дрожал не от одного лишь страха. Но спутники мои — хотя и шли, как я, с непокрытой головой и прямо из теплой комнаты,— казалось, не замечали перемены.

— Вот здесь,— сказал Баллантрэ.— Ставьте подсвечники на землю.

Я выполнил приказание, и пламя свечей поднялось ровно, как будто это было не среди заиндевевших деревьев, а в комнате. Я увидел, как братья заняли свои места.

— Свечи слепят меня,— сказал Баллантрэ.

— Я предоставляю тебе любое преимущество,— ответил мистер Генри, меняясь местами,— потому что я думаю, что ты скоро умрешь.— Он говорил скорее всего с грустью, но голос его был тверд и звенел.

— Генри Дьюри,— сказал Баллантрэ.— Два слова, прежде чем я начну. Ты фехтовальщик и умеешь управляться со шпагой. Но ты не представляешь себе, что значит держать боевую рапиру. И поэтому я уверен, что ты должен пасть. Взвесь, как выгодно мое положение. Если ты будешь убит, я уезжаю из этой страны туда, где ждут меня твои же деньги. Если убит буду я, каково будет твое положение? Мой отец, твоя жена, которая меня любит, ты это хорошо знаешь, даже твой ребенок, который привязан ко мне больше, чем к тебе,— все они будут мстить за меня! Подумал ты об этом, мой дорогой Генри? — Он с улыбкой посмотрел на брата и стал в позицию.

Мистер Генри не сказал ни слова, но тоже сделал приветственный выпад, и рапиры скрестились.

Я не судья в таком деле, да к тому же голова у меня шла кругом от холода, страха и ужаса, но кажется мне, что мистер Генри сразу же взял верх, тесня своего врага со сдержанной, но неукротимой яростью. Все ближе и ближе наступал он, пока Баллантрэ не отпрыгнул с проклятием, похожим на всхлип, и кажется, что это снова поставило его лицом к свету. В этом новом положении они опять схватились, на этот раз в ближнем бою. Ми-

стер Генри наседал все упорнее, Баллантрэ защищался с поколебленной уверенностью. Он, без сомнения, понял, что погиб, и поддался леденящему сердце страху, иначе он никогда не пошел бы на недозволенный прием. Не могу утверждать, что я уследил за ним (мой неопытный глаз не мог уловить всех подробностей), но, по-видимому, он схватил клинок брата левой рукой, что запрещено правилами поединка. Мистер Генри спасся, конечно, только потому, что успел отскочить в сторону, а Баллантрэ, нанеся удар в воздух, упал на колено, и, прежде чем он поднялся, клинок брата пронзил его.

С подавленным воплем я бросился к нему, но он уже повалился на землю, где еще с минуту корчился, как раздавленный червяк, а потом замер.

— Посмотрите его левую руку,— сказал мистер Генри.

— Она вся в крови,— сказал я.

— А ладонь?

— Ладонь порезана.

— Я так и знал,— сказал он и повернулся спиной.

Я разорвал рубашку мистера Джемса. Сердце не билось.

— Да простит нас бог, мистер Генри! — сказал я.— Он мертв.

— Мертв? — повторил он как-то бессмысленно, потом все громче: — Мертв? Мертв? — и вдруг отшвырнул окровавленный клинок.

— Что нам делать? Возьмите себя в руки, сэр. Теперь уже поздно: надо взять себя в руки.

Он повернулся и взглянул на меня.

— О Маккеллар! — сказал он и закрыл лицо ладонями.

Я тряхнул его за полу:

— Ради бога, ради всех нас, мужайтесь! Что нам делать?

Он посмотрел на меня все с тем же бессмысленным видом.

— Делать? — сказал он. Взгляд его при этом упал на тело; как будто что-то вспомнив, он вскрикнул и схватился за голову. Потом, повернувшись ко мне спиной, быстро пошел к дому — странным, спотыкающимся шагом.

С минуту я стоял в раздумье, потом, решив, что долг мой — подумать о живом, побежал за ним, оставив

свечи на мерзлой земле и освещенное ими тело под деревьями. Но, как я ни бежал, он намного опередил меня, вошел в дом и поднялся в залу, где я и нашел его у камина. Он стоял, закрыв лицо руками, и плечи его вздрагивали.

— Мистер Генри, мистер Генри! — сказал я.— Это погубит всех нас!

— Что́ я сделал! — воскликнул он и потом, с выражением, которого я никогда не забуду, спросил меня: — Кто скажет об этом старику?

Слова эти поразили меня до глубины души, но теперь было не до сантиментов. Я налил ему стакан бренди.

— Выпейте,— сказал я,— выпейте все до дна.

Я заставил его, словно ребенка, проглотить бренди и, все еще пронизанный холодом этой ночи, сам выпил вслед за ним.

— Надо ему сказать, Маккеллар,— простонал он.— Надо! — И вдруг, опустившись в кресло (кресло милорда у камина), весь затрясся от беззвучных рыданий.

Уныние ухватило мою душу,— ясно было, что нечего ждать помощи от мистера Генри.

— Хорошо,— сказал я,— сидите здесь и предоставьте все мне! — И, взяв в руки свечу, я пошел по темному дому.

Кругом было тихо, я мог предположить, что все прошло незамеченным, и надо было сразу позаботиться, чтобы и остальное совершилось так же в тайне. Теперь неуместны были колебания, и я, даже не постучавшись, открыл дверь к миледи и смело вошел в комнату.

— Стряслась какая-нибудь беда! — воскликнула она, привставая с постели.

— Сударыня,— сказал я.— Я выйду в коридор, а вы оденьтесь как можно скорее. Нам надо действовать.

Она не задавала вопросов и не заставила себя ждать. Не успел я еще обдумать того, что я ей скажу, как она уже была на пороге и сделала мне знак войти.

— Сударыня,— сказал я,— если вы не поможете мне, я должен буду обратиться еще к кому-нибудь, а если никто не поможет мне, то придет конец всему дому Дэррисдиров.

— Я не боюсь,— сказала она с улыбкой, на которую больно было глядеть, но не теряя самообладания.

— Дело дошло до дуэли!

— Дуэль? — повторила она.— Дуэль! Генри...

— С владетелем Баллантрэ,— сказал я.— К этому шло давно, очень давно, и привели к этому обстоятельства, о которых вы ничего не знаете, да и не поверили бы, если б я вам о них рассказал. Но сегодня дело зашло слишком далеко, и когда он оскорбил вас...

— Постойте,— сказала она.— *Он*? Кто он?

— Сударыня,— воскликнул я с прорвавшейся горечью.— И это вы спрашиваете меня? Ну, тогда и в самом деле мне надо искать помощи у других; у вас я ее не найду.

— Не понимаю, чем я так обидела вас? — сказала она.— Простите меня и не длите этой муки.

Но я все не решался сказать ей, я не был в ней уверен, и это сознание беспомощности заставило меня обратиться к ней с досадой и гневом.

— Сударыня, мы говорим об известных вам людях: один из них оскорбил вас, и вы еще спрашиваете — который! Я помогу вам ответить. С одним из них вы просиживали часами, разве другой упрекал вас в этом? С одним вы всегда были ласковы; с другим — да рассудит нас в этом всевышний,— как мне кажется, далеко не всегда; и разве уменьшилась от этого его любовь к вам? Сегодня один из них сказал другому в моем присутствии (в присутствии наемного слуги), что вы влюблены в него. И прежде чем я скажу хоть одно слово, ответьте на свой собственный вопрос: который из них? Да, сударыня, и вы ответите мне и на другой: кто виноват, что дело дошло до ужасного конца?

Она смотрела на меня в оцепенении.

— Боже правый! — вдруг вырвалось у нее, и потом еще раз, полушепотом, как будто самой себе: — Боже милостивый! Не томите вы меня, Маккеллар, что́ случилось? — крикнула она.— Говорите! Я готова ко всему!

— Вы не заслуживаете этого,— сказал я.— Вы должны сначала признать, что это вы были причиной всего.

— О! — закричала она, ломая руки.— Этот человек сведет меня с ума! Неужели вы и сейчас не можете позабыть обо мне?

— Я не о вас сейчас думаю. Я думаю о моем дорогом, несчастном хозяине.

— Что? — воскликнула она, прижав руку к сердцу.— Что? Разве Генри убит?

— Тише. Убит другой.

Я увидел, как она пошатнулась, словно ветер согнул ее, и то ли от малодушия, то ли из жалости я отвел глаза и смотрел в землю.

— Это ужасные вести,— сказал я наконец, когда ее молчание уже стало пугать меня,— но вам и мне надлежит собраться с силами, чтобы спасти дом Дэррисдиров.— Она молчала.— К тому же, не забудьте мисс Кэтрин,— добавил я.— Если нам не удастся замять это дело, она унаследует опозоренное имя.

Не знаю, мысль о ребенке или мои слова о позоре вывели ее из оцепенения, но не успел я договорить, как не то вздох, не то стон сорвался с ее губ, словно заживо погребенный старался стряхнуть с себя тяжесть могильного холма. А уже в следующую минуту к ней вернулся голос.

— Это была дуэль? — прошептала она.— Это не было...— Она запнулась.

— Они дрались на дуэли, и хозяин мой бился честно,— сказал я.— А тот, другой, был убит как раз, когда он наносил предательский удар.

— Не надо! — воскликнула она.

— Сударыня,— сказал я.— Ненависть к этому человеку жжет мое сердце даже и сейчас, когда он мертв. Видит бог, я остановил бы дуэль, если бы осмелился. Я буду вечно стыдиться того, что не решился на это. Но когда этот человек упал, я, если бы мог думать о чем-нибудь, кроме жалости к моему хозяину, порадовался бы нашему избавлению.

Не знаю, слышала ли она меня, и следующие ее слова были:

— А милорд?

— Это я беру на себя,— сказал я.

— Вы не будете говорить с ним так же, как со мной? — спросила она.

— Сударыня! Неужели вам не о ком больше думать? О милорде позабочусь я.

— Не о ком думать? — повторила она.

— Ну да, о вашем супруге,— сказал я. Она посмотрела на меня с непроницаемым выражением.— Вы что же, отвернетесь от него? — спросил я.

Она все еще глядела на меня, потом снова схватилась за сердце.

— Нет! — сказала она.

— Да благословит вас бог за это слово! Идите к нему, он сидит в зале, поговорите с ним, все равно о чем, протяните ему руку, скажите: «Я все знаю», и если бог сподобит вас, скажите: «Прости меня».

— Да укрепит вас бог и да смягчит ваше сердце,— сказала она.— Я пойду к мужу.

— Позвольте я посвечу вам.— И я взялся за подсвечник.

— Не надо, я найду дорогу и в темноте.— Она вся передернулась, и я понял, что я ей сейчас страшнее темноты.

Так мы расстались. Она пошла вниз, где тусклый свет мерцал в зале, а я по коридору — к комнате милорда. Не знаю почему, но я не мог ворваться к старику, так же как к миссис Генри; с большой неохотой, но я постучал. Старый сон чуток, а может, милорд вовсе не спал, и при первом же стуке он крикнул: «Войдите!»

Он тоже привстал с подушек мне навстречу, такой старый и бескровный. Сохраняя известную представительность в дневном наряде, сейчас он выглядел хрупким и маленьким, а лицо его теперь, когда парик был снят, казалось совсем крошечным. Это смутило меня; а еще больше — растерянная догадка о несчастье, мелькнувшая в его глазах. Я поставил свечу на стол, оперся на кровать в ногах у милорда и посмотрел на него.

— Лорд Дэррисдир,— сказал я.— Вам хорошо известно, что в вашей семье я не ваш сторонник.

— Ну, какие же тут могут быть стороны,— сказал он.— А то, что вы искренне любите моего сына, это я всегда рад был признать.

— Милорд, сейчас не время для учтивостей,— ответил я.— Если мы хотим что-то спасти, вы должны глядеть фактам в лицо. Я сторонник вашего сына, но в семье были враждующие стороны, и представителем одной из сторон я явился к вам среди ночи. Выслушайте меня, и, прежде чем я уйду, вы поймете, почему я прошу вас об этом.

— Да я всегда готов вас слушать, мистер Маккеллар,— сказал он,— в любое время дня и ночи, потому что я всегда уверен в разумности ваших суждений. Однажды вы очень здраво дали совет, и по важному делу; я не забыл этого.

— Я здесь, чтобы выступить в защиту моего хозяина,— сказал я.— Надо ли говорить вам о том, как он обычно держит себя? Вы знаете, в какое положение он поставлен. Вы знаете, с каким великодушием он всегда относился к вашему другому... к вашим желаниям,— поправился я, запнувшись и не в силах выговорить слово «сын».— Вы знаете... вы должны знать... сколько он вынес... сколько он вытерпел из-за своей жены.

— Мистер Маккеллар! — закричал милорд, грозный, словно лев в своем логове.

— Вы обещали выслушать меня,— продолжал я.— Чего вы не знаете, что вы должны знать и о чем я вам сейчас расскажу,— это те испытания, которые он должен был переносить втайне. Не успевали вы отвернуться: как тот, чье имя я не смею произнести, сейчас же принимался издеваться, колоть его вашим — да простит меня милорд — вашим предпочтением, называть его Иаковом, деревенщиной, преследовать недостойными насмешками, нестерпимыми для мужчины. А стоило кому-нибудь из вас появиться, как он тот же час менялся; и моему хозяину приходилось улыбаться и угождать человеку, который только что осыпал его оскорблениями. Я знаю все это потому, что кое-что испытал и на себе, и говорю вам: жизнь наша стала невыносимой. И это продолжалось все время с самого прибытия этого человека,— он в первый же вечер окрестил моего хозяина Иаковом.

Милорд сделал движение, как бы собираясь откинуть одеяло и встать.

— Если во всем этом есть хоть крупица правды...— начал он.

— А разве я похож на лжеца? — прервал его я.

— Вы должны были сказать мне раньше,— проговорил он.

— Да, милорд! Должен был, и вы вправе корить нерадивого слугу.

— Но я приму меры, и сейчас же,— и он снова сделал движение, чтобы подняться.

Опять я удержал его.

— Это не все,— сказал я.— О, если бы это было все! Моему несчастному хозяину пришлось нести это бремя без чьей-либо помощи или хотя бы сочувствия. Даже вы, милорд, не находили для него ничего, кроме благодарности. А ведь он тоже ваш сын! Другого отца

у него не было. Соседи все его ненавидели, и, видит бог, несправедливо. Он не нашел любви и в супружестве. И ни от кого он не видел искреннего чувства и поддержки—великодушное, многострадальное, благородное сердце!

— Ваши слезы делают вам честь, а мне служат укором,— сказал милорд, трясясь, как паралитик.— Но все же вы не совсем справедливы. Генри всегда был мне дорог, очень дорог. Джемс (я не стану этого отрицать, мистер Маккеллар), Джемс мне, может быть, еще дороже, вы всегда были предубеждены против моего Джемса; ведь он перенес столько злоключений; и нам не следует забывать, как они были жестоки и незаслуженны. И даже сейчас из них двоих он проявляет больше чувства. Но не будем говорить о нем. Все то, что вы сказали о Генри, вполне справедливо, я этому не удивляюсь, я знаю его благородство. Вы скажете, что я им злоупотребляю? Может быть; есть опасные добродетели, добродетели, которыми так и тянет злоупотребить. Мистер Маккеллар, я искуплю свою вину, я все это улажу. Я был слаб, и, что хуже, я был туп.

— Я не смею слушать, как вы обвиняете себя, милорд, пока вы не узнали всего,— сказал я.— Не слабы вы были, а обмануты, введены в заблуждение дьявольскими кознями обманщика. Вы сами видели, как он обманывал вас, говоря о риске, которому якобы подвергается; он обманывал вас все время, на каждом шагу своего пути. Я хотел бы вырвать его из вашего сердца; я хотел бы, чтобы вы пригляделись к другому вашему сыну,— а у вас есть сын.

— Нет, нет,—сказал он.—У меня два, у меня два сына!

Мой жест отчаяния поразил его; он поглядел на меня, изменившись в лице.

— Есть и еще дурные вести? — спросил он, и голос его, едва окрепнув, снова сорвался.

— Очень дурные,— ответил я.— Вот что он сказал сегодня вечером мистеру Генри: «Я не знал женщины, которая не предпочла бы меня тебе и которая не продолжала бы оказывать мне предпочтение».

— Я не хочу слышать ничего плохого о моей дочери! — закричал он, и по той поспешности, с которой он прервал меня, я понял, что глаза его были далеко не так слепы, как я предполагал, и что он не без тревоги взирал на осаду, которой подвергалась миссис Генри.

— Я и не думаю оскорблять ее! — воскликнул я.— Не в этом дело. Эти слова были обращены в моем присутствии к мистеру Генри; и если вам этого недостаточно,— вскоре были сказаны и другие: «Ваша жена, которая в меня влюблена».

— Они поссорились? — спросил он.

Я кивнул.

— Надо скорей пойти к ним,— сказал он, снова приподнимаясь в постели.

— Нет, нет! — вскричал я, простирая руки.

— Мне лучше знать,— сказал он.— Это опасные слова.

— Неужели вы и теперь не понимаете, милорд? — спросил я.

Он взглядом вопрошал меня о правде.

Я бросился на колени перед его кроватью.

— О милорд! Подумайте о том, кто у вас остался; подумайте о бедном грешнике, которого вы зачали и которого жена ваша родила вам, которого ни один из нас не поддержал в трудную минуту; подумайте о нем, а не о себе; он ведь выносит все один — подумайте о нем! Это врата печали, Христовы врата, господни врата, и они отверсты. Подумайте о нем, как он о вас подумал: «Кто скажет об этом старику?» — вот его слова. Вот для чего я пришел, вот почему я здесь и на коленях вас умоляю!

— Пустите, дайте мне встать! — крикнул он, оттолкнув меня, и раньше моего уже был на ногах. Его голос дрожал, как полощущийся парус, но говорил он внятно, лицо его было бело как снег, но взгляд тверд и глаза сухи.

— Слишком много слов! — сказал он.— Где это произошло?

— В аллее.

— И мистер Генри?..— спросил он.

Когда я ответил, старое лицо его покрылось морщинами раздумья.

— А мистер Джемс?

— Я оставил его тело на поляне со свечами.

— Со свечами? — закричал он, быстро подбежал к окну, распахнул его и стал вглядываться в темноту.— Их могут увидеть с дороги.

— Но кто же ходит там в такой час? — возразил я.

— Все равно,— сказал он.— Чего не бывает! Слушайте! — воскликнул он.— Что это?

С бухты слышны были осторожные всплески весел, и я сказал ему об этом.

— Контрабандисты,— сказал милорд.— Бегите сейчас же, Маккеллар, и потушите эти свечи. Тем временем я оденусь, и когда вы вернетесь, мы обсудим, что делать дальше.

Ощупью я спустился вниз и вышел. Свет в аллее виден был издалека, в такую темную ночь его можно было заметить за много миль, и я горько сетовал на себя за такую неосторожность, особенно когда достиг цели. Один из подсвечников был опрокинут, и свечка погасла. Но другая горела ярко, освещая широкий круг мерзлой земли. Среди окружающей черноты все в освещенном кругу выделялось резче, чем даже днем. Посредине было кровавое пятно; немного дальше — рапира мистера Генри с серебряной рукояткой, но нигде никаких следов тела. Я стоял как вкопанный, и сердце у меня колотилось, а волосы встали на голове,— так необычно было то, что я видел, так грозны были страхи и предчувствия. Напрасно я озирался: почва так заледенела, что на ней не осталось следов. Я стоял и смотрел, пока в ушах у меня не зашумело, а ночь вокруг меня была безмолвна, как пустая церковь,— ни одного всплеска на берегу; казалось, что упади сейчас лист, это слышно было бы во всем графстве.

Я задул свечу, и вокруг сгустилась тьма; словно толпы врагов обступили меня, и я пошел обратно к дому, то и дело оглядываясь и дрожа от мнимых страхов. В дверях навстречу мне двинулась какая-то тень, и я чуть не вскрикнул от ужаса, не узнав миссис Генри.

— Вы сказали ему? — спросила она.

— Он и послал меня,— ответил я.— Но его нет. Почему вы здесь?

— Кого нет? Кого это нет?

— Тела,— сказал я.— Почему вы не с вашим супругом?

— Нет? — повторила она.— Да вы не нашли его! Пойдемте туда.

— Там теперь темно. Я боюсь.

— Я хорошо вижу в темноте. Я стояла тут долго, очень долго. Дайте мне руку.

Рука об руку мы вернулись по аллее к роковому месту.

— Берегитесь! Здесь кровь! — предупредил я.

— Кровь! — воскликнула она и отпрянула от меня.

— По крайней мере, должна быть,— сказал я.— Но я ничего не вижу.

— Нет,— сказала она.— Ничего нет. А вам все это не приснилось?

— О, если бы это было так! — воскликнул я.

Она заметила рапиру, подняла ее, потом, почувствовав кровь, выпустила из рук.

— Ах! — воскликнула она.— Но потом, с новым приливом мужества, во второй раз подняла ее и по самую рукоять воткнула в землю.— Я возьму ее и очищу,— сказала она и снова стала озираться по сторонам.— Но, может быть, он не мертв? — спросила она.

— Сердце не билось,— сказал я и, вспомнив, добавил: — Но почему вы не с вашим супругом?

— Это бесполезно. Он не хочет говорить со мной.

— Не хочет? Вы просто не пробовали!

— Вы имеете право не доверять мне,— сказала она мягко, но с достоинством.

Тут в первый раз я почувствовал к ней жалость.

— Свидетель бог, сударыня,— воскликнул я,— свидетель бог, что я вовсе не так несправедлив, как вам кажется! Но в эту ужасную ночь кто может выбирать свои слова? Поверьте, я друг всякому, кто не враг хозяину моему.

— Но разве справедливо, что вы сомневаетесь в его жене? — сказала она.

Тут словно занавес разорвался, и я вдруг понял, как благородно переносила она это неслыханное несчастье и как терпеливо выслушивала мои упреки.

— Надо вернуться и сказать об этом милорду,— напомнил я.

— Его я не могу видеть! — воскликнула она.

— Он больше всех нас сохранил самообладание.

— Все равно, я не могу его видеть.

— Хорошо,— сказал я.— Тогда возвращайтесь к мистеру Генри, а я пойду к милорду.

Мы повернули к дому, я нес подсвечник, она — рапиру (странная ноша для женщины). Вдруг она спросила:

— А говорить ли нам об этом Генри?

— Пусть это решает милорд,— сказал я.

Милорд был уже одет, когда я вошел в его комнату. Он выслушал меня нахмурившись.

— Контрабандисты,— сказал он.— Но живого или мертвого, вот в чем дело.

— Я считал его за...— начал я и запнулся, не решаясь произнести это слово.

— Я знаю, но вы могли и ошибиться. К чему бы им увозить его мертвым? — спросил он.— О, в этом единственная надежда. Пусть считают, что он уехал без предупреждения, как и приехал. Это поможет нам избежать огласки.

Я видел, что, как и все мы, он больше всего думал о чести дома. Теперь, когда все члены семьи были погружены в неизбывную печаль, особенно странно было, что мы обратились к этой абстракции — фамильной чести — и старались всячески ее оградить; и не только сами Дьюри, но даже их наемный слуга.

— Надо ли говорить об этом мистеру Генри? — спросил я.

— Я посмотрю,— сказал он.— Сначала я должен его видеть, потом я сойду к вам, чтобы осмотреть аллею и принять решение.

Он сошел вниз в залу. Мистер Генри сидел за столом, словно каменное изваяние, опустив голову на руки. Жена стояла за его спиной, прижав руку ко рту,— ясно было, что ей не удалось привести его в себя. Старый лорд твердым шагом двинулся к сыну, держась спокойно, но по-моему, несколько холодновато. Подойдя к столу, он протянул обе руки и сказал:

— Сын мой!

С прерывистым, сдавленным воплем мистер Генри вскочил и бросился на шею отцу, рыдая и всхлипывая.

— Отец! — твердил он.— Вы знаете, я любил его, вы знаете, я сначала любил его, я готов был умереть за него, вы знаете это. Я отдал бы свою жизнь за него и за вас. Скажите, что вы знаете это. Скажите, что вы можете простить меня. Отец, отец, что я сделал? А мы ведь росли вместе! — И он плакал, и рыдал, и обнимал старика, прижимаясь к нему, как дитя, объятое страхом.

Потом он увидел жену (можно было подумать, что он только что заметил ее), со слезами смотревшую на него, и в то же мгновение упал перед ней на колени.

— Любимая моя! — воскликнул он.— Ты тоже должна простить меня! Не муж я тебе, а бремя всей

твоей жизни. Но ведь ты знала меня юношей, разве желал тебе зла Генри Дьюри? Он хотел только быть тебе другом. Его, его — прежнего товарища твоих игр,— его, неужели и его ты не можешь простить?

Все это время милорд оставался хладнокровным, но благожелательным наблюдателем, не терявшим присутствия духа. При первом же возгласе, который действительно способен был пробудить всех в доме, он сказал мне через плечо:

— Затворите дверь.— А потом слушал, покачивая головой.— Теперь мы можем оставить его с женой,— сказал он.— Посветите мне, Маккеллар.

Когда я снова пошел, сопровождая милорда, я заметил странное явление: хотя было еще совсем темно и ночь далеко не кончилась, мне почудилось, что уже наступает утро. По ветвям прошел ветерок, и они зашелестели, как тихо набегающие волны, временами лицо нам обдувало свежестью, и пламя свечи колебалось. И под этот шелест и шорох мы еще прибавили шагу, осмотрели место дуэли, причем милорд с величайшим самообладанием глядел на лужу крови; потом прошли дальше к причалу и здесь обнаружили наконец некоторые следы. Во-первых, лед на замерзшей луже был продавлен, и, очевидно, не одним человеком; во-вторых, немного дальше сломано было молодое деревце, а внизу на отмели, где обыкновенно причаливали контрабандисты, еще одно пятно крови указывало на то место, где, отдыхая, они, очевидно, положили тело на землю.

Мы принялись смывать это пятно морской водой, зачерпывая ее шляпой милорда, но вдруг с каким-то стонущим звуком налетел новый порыв ветра и задул свечу.

— Пойдет снег,— сказал милорд,— и это лучшее, чего можно пожелать. Идем обратно; в темноте ничего нельзя сделать.

Идя к дому в снова наступившем затишье, мы услышали нараставший шум и, выйдя из-под густой сени деревьев, поняли, что пошел проливной дождь.

Все это время я не переставал удивляться ясности мысли милорда и его неутомимости. Но это чувство еще усилилось во время совета, который мы держали по возвращении. Ясно было, говорил он, что контрабандисты подобрали Баллантрэ, но живого или мертвого, об этом мы могли только гадать. Дождь еще до рассвета смоет

все следы, и этим мы должны воспользоваться. Баллантрэ неожиданно появился под покровом ночи; теперь надо было представить дело так, что он столь же внезапно уехал до наступления дня. Чтобы придать всему этому больше вероятия, мне следовало подняться к нему в комнату, собрать и спрятать его вещи. Правда, мы всецело зависели от молчания контрабандистов, и в этом была неизбежная уязвимость нашего обмана.

Я выслушал милорда, как уже сказал, удивляясь его спокойствию, и поспешил исполнить его приказание. Мистер и миссис Генри ушли из залы, милорд поспешил в постель, чтобы согреться; слуги все еще не подавали признаков жизни, и, когда я поднялся по лестнице в башню и вошел в комнату умершего, мною овладел трепет. К величайшему моему изумлению, в комнате все говорило о спешных сборах. Из трех его саквояжей два были уже увязаны, а третий раскрыт и почти полон. И сразу у меня промелькнула догадка. Так, значит, он готовился к отъезду, он только ждал Крэйла, а Крэйл ждал ветра. Ночью капитан заметил, что погода меняется, и послал шлюпку предупредить, а то и взять пассажира, которого команда шлюпки нашла по дороге в луже крови. Да, но за этим крылось и другое. Эти приготовления к отъезду бросали свет и на страшное оскорбление, брошенное им брату накануне вечером; это был прощальный удар, взрыв ненависти, уже не подавляемый расчетом. И, с другой стороны, характер его выходки, как и поведение миссис Генри, наводили на догадку, которую я не проверил и теперь уж никогда не проверю до страшного суда,— догадку, что он все-таки забылся, зашел слишком далеко в своих домогательствах и получил отпор. Это, как я сказал, не может быть проверено; но, когда я в то утро стоял среди его вещей, мысль эта была мне слаще меда.

Прежде чем запереть раскрытый саквояж, я заглянул в него. Там были превосходные кружева и белье, несколько смен изысканного платья, в котором Баллантрэ так любил появляться; десяток книг, притом отборных: «Комментарии» Цезаря, том Гоббса, «Генриада» Вольтера, работа об Индии, какой-то математический труд, недоступный для моего понимания,— вот что увидел я с весьма смешанным чувством. Но в открытом саквояже не было ни следа каких-либо бумаг. Это заставило меня призадуматься. Возможно, что он мертв, но, судя по тому, что контрабандисты подобрали его, это не очень вероятно. Возможно, что он умрет от раны, но и это вовсе не обязательно. А в таком случае приходилось заручиться средствами защиты.

Один за другим я перетащил все саквояжи на чердак, который всегда был на запоре; потом сходил к себе за связкой ключей и, к радости своей, обнаружил, что два из них подошли к замкам саквояжей. В одном я нашел шагреневый бювар, который и вскрыл ножом, и отныне (поскольку дело касалось доброго имени) человек этот был в моей власти. Там оказалась обширная коллекция любовных писем, по преимуществу парижского периода его жизни, и, что более меня интересовало, там были черновики его собственных донесений английскому министру по делам Шотландии и оригиналы ответных писем министра; убийственные документы, опубликование которых опозорило бы Баллантрэ и действительно подвергло бы опасности самую его жизнь. Читая эти бумаги, я смеялся от радости, я потирал руки и напевал себе под нос. Рассвет застал меня за этим приятным занятием, но я не оторвался от бумаг; подойдя к окну, я только удостоверился, что снег весь сошел, все кругом черно, а дождь и ветер свирепствуют в заливе, где и следа не было люггера, на котором Баллантрэ (живой или мертвый) мотался теперь по Ирландскому морю.

Быть может, уместнее всего именно здесь рассказать то немногое, что я позднее узнал о событиях этой ночи. На это потребовалось немало времени, потому что мы не осмеливались расспрашивать прямо, а контрабандисты питали ко мне неприязнь, если не вражду. Только через полгода мы вообще узнали о том, что Баллантрэ выжил, и только много лет спустя я узнал от одного из команды Крэйла, который на свои неправедно нажитые деньги открыл трактир, о некоторых подробностях, показавшихся мне достоверными. Оказывается, что, когда контрабандисты нашли Баллантрэ, он полулежал, опершись на локоть, и то озирался по сторонам, то ошалело глядел на свечу и на свою окровавленную руку. При их появлении он будто бы пришел в себя, попросил отнести его на корабль и держать все дело в тайне, а на вопрос капитана, как это он оказался в таком положении, ответил потоком отчаянной брани и тут же потерял сознание. Они было заспорили, но, боясь пропустить попут-

ный ветер и в ожидании большого куша за переправу его во Францию, не стали медлить. К тому же он пользовался любовью этих презренных негодяев; они считали его приговоренным к смерти, не знали, какое коварство навлекло на него беду, и, по-своему великодушные, сочли своей обязанностью укрыть его от новых напастей. Они погрузили его на корабль, по пути он оправился и уже выздоравливающим был спущен на берег в Гавр-де-Грасе. И что действительно знаменательно: он никому ни словом не обмолвился о дуэли, и до сего дня ни один контрабандист не знает, в какой ссоре и от чьей руки он получил свою рану. У всякого другого я приписал бы это естественной порядочности, у него же — только гордыне. Он не мог признаться, быть может, даже себе самому, что был побежден тем, кому нанес столько оскорблений и кого так жестоко презирал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОБЗОР СОБЫТИЙ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ ОТЛУЧКИ БАЛЛАНТРЭ

О тяжкой болезни, которая на другое же утро открылась у мистера Генри, я могу вспоминать спокойно, уже как о последней напасти, постигшей моего хозяина; она, собственно, была для него скрытым благом, потому что какой телесный недуг может сравняться с терзаниями ума? Ухаживали за ним миссис Генри и я. Милорд время от времени наведывался узнать о состоянии больного, но обычно не переступал порога. Только однажды, когда почти не оставалось надежды, он подошел к кровати, вгляделся в лицо сына и пошел прочь, вскинув голову и простирая вверх руку — жест, который навсегда запомнился мне своей трагичностью: такую печаль и горечь он выражал. Но бо́льшую часть времени больной был на попечении миссис Генри и моем; ночью мы сменялись, а днем обычно составляли друг другу компанию, потому что дежурства наши были тоскливы. Мистер Генри, с выбритой головой, обвязанной платком, не переставая, метался, колотя руками о кровать. Он говорил без умолку, и голос его журчал, как речная вода, так что сердце мое устало от этого звука. Интересно отметить (и для меня это было особенно тягостно), что он все

время говорил о всяких незначащих вещах: о каких-то приездах и отъездах, о лошадях,— их он приказывал седлать, должно быть, думая (бедняга!), что сможет уехать от своих напастей; или распоряжался по саду, приказывал готовить сети и (что меня особенно бесило) все время распространялся о хозяйственных делах, подсчитывая какие-то суммы и препираясь с арендаторами. Никогда ни слова об отце, жене или о Баллантрэ,— только два-три дня ум его был всецело поглощен воспоминаниями прошлого. Он воображал себя мальчиком и вспоминал, как играл в детстве с братом. И что было особенно трогательно: оказывается, Баллантрэ в детстве едва избежал гибели, и, вспоминая об этом, мистер Генри снова и снова тревожно кричал: «Джемми тонет! Спасите Джемми!»

Это, как я говорил, очень трогало и миссис Генри и меня, но в остальном бред этот был не в пользу моего хозяина. Он, казалось, взялся подкрепить все наветы брата, словно стараясь представить себя человеком черствым, всецело поглощенным стяжанием. Будь я один, я бы и ухом не повел, но, слушая его, я все время прикидывал, какое впечатление это должно производить на его жену, и говорил себе, что он все ниже падает в ее глазах. На всем земном шаре один я по-настоящему понимал его, и я считал своим долгом раскрыть это хотя бы еще одному человеку. Суждено ли ему было умереть и унести с собой свои добродетели, или он должен был выжить и принять на свои плечи печальный груз воспоминаний, я считал своим долгом сделать так, чтобы он был должным образом оплакан в первом случае, а во втором — от всего сердца обласкан человеком, которого он больше всего любил,— женою.

Не находя возможности объясниться на словах, я остановился наконец на, так сказать, документальном разоблачении и в течение ряда ночей, свободных от дежурства, за счет сна подготовил то, что можно было назвать нашим бюджетом. Но это оказалось самой легкой частью дела, а то, что оставалось,— то есть вручение всего подготовленного миледи,— было мне почти что не по силам. Несколько дней я носил под мышкой целую связку документов и все выжидал удобного стечения обстоятельств, которое помогло бы мне начать разговор. Не стану отрицать, что удобные случаи были, но каждый раз язык у меня прилипал к гортани; и,

мне кажется, я и по сей день носил бы с собой сверток, если бы счастливый случай не избавил меня от всех колебаний. Это случилось ночью, когда я покидал комнату, так и не выполнив задуманного и кляня себя за трусость.

— Что это вы носите с собою? — спросила она.— Все эти дни я вижу вас все с тем же свертком.

Не говоря ни слова, я вернулся в комнату, положил сверток на стол перед нею и оставил ее одну с моими документами. Теперь я должен дать вам представление о том, что в них заключалось. А для этого, может быть, лучше всего воспроизвести письмо, которое было предпослано моему отчету и черновик которого, следуя своей привычке, я сохранил. Это покажет также, какую скромную роль играл я во всем этом деле, как бы ни старались некоторые люди представить все по-другому.

Дэррисдир, 1757 г.

Милостивая государыня!

Смею вас уверить, что без уважительной причины я бы никогда не осмелился выйти из рамок своего положения; но я был свидетелем того, сколь много зла проистекло в прошлом для всего вашего благородного дома из-за злополучной скрытности, и бумаги, которые я осмеливаюсь предложить вашему вниманию, являются фамильными документами, с коими вам следует непременно ознакомиться.

При сем прилагаю опись с необходимыми пояснениями и остаюсь, милостивая государыня, готовый к услугам, покорный слуга вашей милости

Эфраим Маккеллар.

Опись документов

А. Черновики десяти писем Эфраима Маккеллара к достопочтенному Джемсу Дьюри, эсквайру, именуемому также владетелем Баллантрэ, за время пребывания последнего в Париже от... (следуют даты).

Примечание. Читать, сопоставляя с В. и С.

В. Три подлинных письма вышеупомянутого Баллантрэ к вышеупомянутому Э. Маккеллару от ... (следуют даты).

С. Три подлинных письма вышеупомянутого Баллантрэ к достопочтенному Генри Дьюри, эсквайру от... (следуют даты).

Примечание. Письма были вручены мне мистером Генри для ответа. Копии с моих ответов А 4, А 5 и А 9 прилагаются. Смысл ответов мистера Генри, черновика которых у меня не сохранилось, ясен из последующих писем его бессердечного брата.

D. Переписка (в подлинниках и копиях) за последние три года, кончая текущим январем, между вышеупомянутым Баллантрэ и мистером... помощником министра.., всего 37.

Примечание. Найдены среди бумаг Баллантрэ.

Как ни был я измучен бессонницей и унынием, я все же не мог сомкнуть глаз. Всю ночь напролет я ходил взад и вперед по комнате, раздумывая, какой будет результат моей затеи, и временами раскаиваясь, что так безрассудно вмешался в столь интимное дело, и как только начало светать, я уже был у дверей комнаты больного.

Миссис Генри распахнула ставни и даже окна, потому что было тепло. Она сидела, глядя прямо перед собой, туда, где не было ничего, кроме рассветного неба над лесами. Она даже не обернулась на звук моих шагов, и это мне показалось плохим предзнаменованием.

— Сударыня,— начал я,— сударыня! — Но дальше продолжать не смог.

А миссис Генри не пришла мне на помощь ни словом. Тем временем я стал собирать бумаги, раскиданные по столу, и с первого взгляда меня поразило, что их стало меньше. Я просмотрел их раз и другой; переписки с министром, на которую я возлагал такие надежды, нигде не было. Я посмотрел на камин: между тлеющим жаром еще извивались клочки обуглившейся бумаги. И тут всю мою робость как рукой сняло.

— Боже правый! — вскричал я голосом, совсем не уместным в комнате больного.— Боже правый, что сделали вы, сударыня, с моими бумагами?!

— Я сожгла их,— сказала, оборачиваясь, миссис Генри.— Достаточно, даже слишком достаточно и того, что их видели мы с вами.

— Хорошо же вы потрудились сегодня ночью! — кричал я.— И все это, чтобы спасти репутацию человека, который ел хлеб измены, проливая кровь товарищей с той же легкостью, с какой я извожу чернила!

— Чтобы спасти репутацию семьи, которой вы служите, мистер Маккеллар,— возразила она,— и для которой вы уже сделали так много.

— Семьи, которой я не хочу больше служить,— кричал я,— потому что сил моих нет! Вы сами вышибли меч из моих рук и оставили нас беззащитными. Имея эти письма, я мог бы поразить его, а теперь что делать? Мы в таком ложном положении, что не можем даже показать этому человеку на дверь: вся округа поднимется против нас. У меня была единственная острастка — и теперь нет ее; теперь он завтра же может вернуться, и мы все должны будем сидеть с ним за одним столом, гулять с ним по террасе, играть с ним в карты и всячески развлекать его. Нет, сударыня! Пусть господь прощает вас по своему великому милосердию, но нет для вас прощения в моем сердце.

— Удивляюсь, как вы простодушны, мистер Маккеллар! — сказала миссис Генри.— Что значит репутация для этого человека? Зато он знает, как дорога она для нас; он знает, что мы скорей умрем, чем предадим эти письма гласности; и вы думаете, что он этим не воспользуется? То, что вы назвали своим мечом, мистер Маккеллар, и что действительно было бы верным оружием против человека, сохранившего хоть крупицу порядочности, лишь картонный меч в борьбе с ним Да пригрози вы ему этим, он только рассмеется вам в лицо! Он утвердился в своем позоре, он обратил его в свою силу, бороться с такими людьми бесполезно! — Последние слова она почти выкрикнула и потом продолжала уже спокойнее: — Нет, мистер Маккеллар, я всю ночь обдумывала это и не вижу никакого выхода. Есть бумаги, нет их — все равно дверь этого дома открыта для него, здесь он бесспорный, законный наследник! Попробуй мы только устранить его, и все обратится против бедного Генри, и, я уверена, его побьют камнями на улицах. Конечно, если Генри умрет, тогда другое дело! Они очень кстати отменили майорат, поместье перейдет к моей дочери, и тогда посмотрим, кто осмелится отнять его. Но, мой бедный мистер Маккеллар, если Генри выживет и этот человек вернется, тогда нам придется терпеть... только на этот раз всем вместе.

В общем, я был скорее доволен рассуждениями миссис Генри и даже не мог отрицать резонности ее доводов против использования бумаг.

— Не будем больше говорить об этом,— сказал я.— Могу лишь сожалеть, что доверил женщине подлинники; это было по меньшей мере опрометчиво для делового человека. А то, что я оставлю службу вашей семье, это, конечно, только слова, и вы можете на этот счет не тревожиться. Я принадлежу Дэррисдиру, миссис Генри, как если бы я в нем родился.

Должен отдать ей справедливость, она отнеслась к моим словам разумно и благожелательно, и это утро началось в духе взаимного уважения и уступок, который с тех пор много лет господствовал в наших отношениях.

В тот же день, как видно, предопределенный для радости, мы отметили первые признаки выздоровления мистера Генри, а еще через три дня он пришел в сознание и, узнав меня, назвал по имени и оказал другие знаки своего ко мне расположения. Миссис Генри была при этом. Она стояла в ногах кровати, но он, казалось, не заметил ее. В самом деле, теперь, когда горячка прошла, он был так слаб, что, сделав одно усилие, сейчас же вновь погрузился в забытье. Но после этого он стал неуклонно (хоть и медленно) поправляться, с каждым днем аппетит его улучшался, с каждой неделей мы отмечали, как он крепнет и прибывает в теле, а еще до окончания месяца он уже поднимался с кровати, и мы даже начали выносить его в кресле на террасу.

Может быть, именно в это время мы с миссис Генри пребывали в наибольшей тревоге. Теперь, когда рассеялись опасения за его жизнь, их сменили еще горшие опасения. С каждым днем мы приближались к решающему разговору, но время шло, а все оставалось по-прежнему. Здоровье мистера Генри крепло, он вел с нами беседы на разные темы, отец приходил к нему, сидел и уходил; и ни разу не была упомянута происшедшая трагедия и все, что привело к ней. Помнил он и лелеял эти ужасные переживания? Или они целиком изгладились из его памяти? Этот вопрос заставлял нас, трепеща, наблюдать за мистером Генри, когда мы целыми днями находились с ним, этот вопрос преследовал каждого из нас и в часы бессонницы. Мы не знали даже, чего нам желать,— так противоестественны были оба допущения, так ясно они указывали на повредившийся рассудок. Как только возникли наши страхи, я стал прилежно наблюдать за его поведением. В нем

появилось что-то детское: веселость, ранее ему несвойственная, а также быстро возникавший и надолго сохранявшийся интерес ко всяким мелочам, которыми он раньше пренебрегал. В годы унижения я был его единственным наперсником, могу сказать, единственным другом, а между ним и его женой было известное отчуждение; после болезни все изменилось, прошлое было забыто, и жена безраздельно завладела его мыслями. Он тянулся к ней всем своим существом, как дитя к матери, и, казалось, не сомневался в ответном чувстве. Он по всякому поводу обращался к ней с той капризной ворчливостью, которая означает полную уверенность в снисхождении, и я могу отдать должное этой женщине: он не обманывался в своих надеждах. Ее эта перемена как-то особенно трогала; я думаю, что она ощущала ее втайне как упрек; и я не раз видел, как первое время она ускользала из комнаты, чтобы выплакаться вволю. Но мне эта перемена не представлялась естественной, и, сопоставляя ее со всем прочим, я только покачивал головой и начинал уже подумывать, не поколебался ли его рассудок.

Так как эти сомнения продолжались много лет, до самой смерти моего хозяина, и омрачали наши отношения, я считаю себя вправе остановиться на этом вопросе подробнее. Когда он, окрепнув, вернулся до известной степени к своим хозяйственным делам, я имел много случаев испытать его. Я не замечал в нем ослабления остроты мысли или воли, но былая сосредоточенность и упорство совершенно исчезли, он скоро уставал и принимался зевать, и теперь вносил в денежные дела ту легкость, которая граничила с легкомыслием и была совершенно неуместна. Правда, что с тех пор, как отпала необходимость удовлетворять домогательства Баллантрэ, у нас было меньше оснований возводить в принцип строжайшую точность и бороться за каждый фартинг. Правда и то, что во всех этих послаблениях не было ничего чрезмерного, иначе я никогда не принял бы в них участия. Однако все это означало перемену, небольшую, но заметную; и хотя никто не сказал бы, что хозяин мой сошел с ума, однако никто не мог бы отрицать, что характер у него изменился. Такая же перемена сохранилась до конца в его наружности и манерах. Казалось, что в жилах его все еще оставались следы горячки, движения стали порывистей, речь заметно более многословной, хоть и не бессвязной. Его разум теперь охотнее принимал светлые впечатления, он радостно отзывался на них и очень ими дорожил, но при малейшем намеке на заботу или осложнение выказывал явную раздражительность и с облегчением отстранял их от себя. Именно этому он и обязан был безмятежностью своих последних лет, но в этом-то и таилась его ненормальность. Значительная часть нашей жизни проходит в созерцании неизбежного и непоправимого, но мистер Генри в тех случаях, когда не мог усилием мысли отогнать заботу, стремился сейчас же и любой ценой устранить ее причину, разыгрывая попеременно то страуса, то быка. Этому неотвязному страху перед болью я приписываю все необдуманные и злополучные поступки следующих лет. Именно этим и объясняется то, что он избил конюха Макмануса — поступок, столь не вязавшийся с прежним поведением мистера Генри и вызвавший так много толков. Именно этому обязаны были мы потерей свыше двухсот фунтов: половину этих денег я мог бы спасти, если бы он в своем нетерпении не помешал мне. Но он предпочитал потерю или какую-нибудь крайнюю меру всякому длительному напряжению мысли.

Однако все это увело меня от непосредственной нашей заботы тех дней: вопроса — помнит он, что сделал, или забыл, и если помнит, как к этому относится. Обнаружилось это внезапно, и так, что я был поражен до глубины души. Он уже несколько раз выходил на воздух и прогуливался по террасе, опираясь на мою руку. И вот однажды он обернулся ко мне и, словно провинившийся школьник, со странной, беглой улыбкой спросил меня таинственным шепотом и без всякого предупреждения:

— Где вы его похоронили?

Я не мог выговорить ни слова.

— Где вы его похоронили? — повторил он.— Я хочу видеть его могилу.

Я понял, что лучше всего рубить сплеча.

— Мистер Генри,— сказал я.— У меня для вас есть новости, которые вас порадуют. Судя по всему, руки ваши не обагрены его кровью. Я сужу по ряду указаний, и все они говорят о том, что брат ваш не умер, но был перенесен в обмороке на борт люггера. И теперь он, должно быть, вполне здоров.

Я не мог разобраться в выражении его лица.

— Джемс? — спросил он.

— Да, ваш брат Джемс,— ответил я.— Я не стал бы высказывать необоснованной надежды, но я считаю весьма вероятным, что он жив.

— Ах! — сказал мистер Генри и, внезапно поднявшись с еще непривычной для меня порывистостью, приложил палец к моей груди и прокричал мне каким-то визгливым шепотом: — Маккеллар,— вот его собственные слова,— Маккеллар, ничто не может убить этого человека. Он не подвержен смерти. Он прикован ко мне навеки, до скончания веков! — И, опустившись в кресло, мистер Генри погрузился в угрюмое молчание.

Через два-три дня он сказал мне, все с той же виноватой улыбкой и озираясь по сторонам, чтобы увериться, что мы одни:

— Маккеллар, если будут у вас сведения о нем, непременно скажите мне. Не надо упускать его из виду, а не то он застигнет нас врасплох.

— Он сюда больше не покажется,— сказал я.

— Нет, покажется. Где буду я, там будет и он.— И мистер Генри снова оглянулся.

— Не надо внушать себе эти мысли, мистер Генри,— сказал я.

— Да,— отозвался он.— Это хороший совет. Не будем думать об этом, по крайней мере до новых вестей. Да мы и не знаем,— добавил он,— все-таки, быть может, он умер.

То, как он это сказал, окончательно подтвердило догадку, на которую я до сих пор едва отваживался. Он не только не терзался содеянным, но сожалел о неудаче. Это открытие я держал про себя, боясь, что оно восстановит против него жену. Но я мог бы не беспокоиться: она и сама догадалась о том же и сочла это чувство вполне естественным. И я могу смело утверждать, что теперь мы трое были одного мнения, и не было бы в Дэррисдире вести желаннее, чем весть о смерти Баллантрэ.

Однако не все так думали, исключением был милорд. Едва моя тревога за хозяина начала ослабевать, как я заметил перемены в старом лорде — его отце, перемены, которые грозили смертельным исходом. Лицо у него было бледное и оплывшее; сидя у камина со

своей латинской книгой, он, случалось, засыпал и ронял книгу в золу; бывали дни, когда он волочил ногу, в другие — запинался в разговоре. Мягкость его обхождения дошла до крайности; он беспрестанно извинялся по всякому поводу, все время заботился, как бы кого не потревожить, даже со мной обращался с вкрадчивой учтивостью. Однажды, после того как он вызвал к себе своего поверенного и долго просидел с ним наедине, он повстречал меня в зале, которую пересекал неуверенным, заплетающимся шагом, и ласково взял за руку.

— Мистер Маккеллар,— сказал он,— я имел много случаев высоко оценить ваши заслуги; а сегодня, переделывая свое завещание, я взял на себя смелость назначить вас одним из своих душеприказчиков. Я надеюсь, что из любви к нашему дому вы не откажетесь оказать мне и эту услугу.

Бóльшую часть дня он теперь проводил в полудремоте, из которой его подчас было трудно вывести. Он, казалось, потерял всякий счет годам и несколько раз (особенно при пробуждении) принимался звать жену и старого слугу, самый памятник которого давно уже порос мхом. Под присягой я показал бы тогда, что он невменяем; и тем не менее я еще не видывал завещания, настолько продуманного во всех мелочах и обнаруживающего такое превосходное знание людей и дел.

Угасание его, хотя и заняло немного времени, совершалось постепенно и почти неуловимо. Все его способности как бы отмирали; он уже почти не владел конечностями и был почти совершенно глух, речь его перешла в бормотание, и, однако, до самого конца он проявлял крайнюю учтивость и мягкость, пожимал руку каждого, кто помогал ему, подарил мне одну из своих латинских книг, на которой с трудом нацарапал мое имя,— словом, тысячью способов напоминал нам об огромности потери, которую мы, собственно говоря, уже понесли. В самом конце к нему временами возвращался дар речи,— казалось, что он просто забыл все слова, как ребенок забывает свой урок и время от времени частями вспоминает его. В последний вечер он вдруг прервал молчание цитатой из Вергилия: «Gnatique pa-

trisque, alma, precor, miserere»[1],— произнесенной ясно и с выражением. При неожиданном звуке его голоса мы бросили свои занятия, но напрасно собрались мы вокруг него: он сидел молча и, судя по всему, уже ничего не сознавал. Вскоре после этого его уложили в постель, хотя и с бóльшим трудом, чем обычно; и в ту же ночь он тихо скончался.

Гораздо позже мне довелось говорить об этом с одним врачом, человеком настолько известным, что я не решаюсь приводить его имя по такому мелкому поводу. Он считал, что и отец и сын оба были поражены одинаковым недугом: отец под бременем неслыханных огорчений, сын, вероятно, после перенесенной горячки. У обоих произошел разрыв сосудов мозга, к чему (по мнению доктора) у них, очевидно, было наследственное предрасположение. Отец скончался, сын, судя по внешним признакам, выздоровел, но, по-видимому, произошло разрушение в тех тончайших тканях, в которых пребывает душа, выполняя через них свое земное предназначение (а духовное ее существование, хочу надеяться, не зависит от столь материальных причин). Но, по зрелому обсуждению, и это не было бы противоречиво, ибо тот, кто рассудит нас на последнем суде, в то же время и создатель нашей бренной плоти.

Поведение его наследника дало нам, наблюдавшим за ним, новый повод к изумлению. Для всякого здравомыслящего человека было ясно: братоубийственная распря насмерть поразила отца, и тот, кто поднял меч, можно сказать, своей рукой убил его. Но, казалось, мысли этого рода не тревожили нового лорда. Он стал степенней, не скажу чтобы печальней, разве что благодушной печалью. Он говорил о покойном с улыбкой сожаления, вспоминая привычки отца и всякие случаи из его жизни. Все погребальные церемонии он выполнял с требуемой торжественностью. Кроме того, я заметил, что он весьма дорожил своим новым титулом и неукоснительно требовал соответствующего обращения.

И вот наступило время, когда на сцене появилось новое лицо, которому также предстояло сыграть свою

[1] «Над отцом и сыном сжалься, благая, молю» — цитата из поэмы «Энеида» римского поэта I в. до н. э. Вергилия (перевод В. Брюсова).

роль в этой истории: я разумею нынешнего лорда Александера, чье рождение (17 июля 1757 года) до краев наполнило чашу благополучия бедного моего хозяина. Ему больше ничего не оставалось желать, не оставалось даже времени для этого. В самом деле, не было на свете более любящего и заботливого отца. В отсутствие сына он не находил себе места. Когда он гулял, отец беспокоился, не собираются ли тучи. Ночью он не один раз вставал, чтобы убедиться, что сон ребенка безмятежен. Для посторонних разговор его стал утомителен, потому что он не говорил ни о чем, кроме сына. В делах поместья все рассматривалось им под тем же углом: «Займемся этим сейчас же, чтобы к совершеннолетию Санди роща подросла» или: «Вот это как раз подоспеет ко времени женитьбы Санди». С каждым днем эта полная поглощенность сыном сказывалась все резче, когда трогательно, а когда и прискорбно. Скоро сын уже мог гулять с ним — сначала за руку по террасе, а потом и по всему поместью. И это стало основным занятием милорда. Их голоса (слышные издалека, потому что говорили они громко) скоро стали так же привычны, как голоса птиц (только много приятнее). Отрадно было видеть, как они возвращались все в шипах, и отец такой же раскрасневшийся и, случалось, такой же перепачканный, как и сын. Они наперебой предавались всяким детским забавам, копаясь на берегу, запруживая всякие ручейки. И не раз я видел, как оба они смотрели через забор на стадо с одинаковым ребяческим увлечением.

Упоминание об этих прогулках приводит мне на память странную сцену, свидетелем которой я оказался. Была одна дорога, на которую я всякий раз вступал с неизменным трепетом, так часто шел я по ней с плачевными поручениями, так много случилось на ней пагубного для дома Дэррисдиров. Но это была кратчайшая дорога через Мэккросс, и скрепя сердце я вынужден был пользоваться ею хоть раз в два месяца. Случилось это, когда мистеру Александеру было лет семь или восемь. Ясным солнечным утром я возвращался домой около девяти часов и вошел в аллею сквозь зáросли. Было то время года, когда леса и рощи одеты в яркие весенние краски, терновник в цвету, а птицы в самом разгаре певчей поры. Среди всего этого веселья чаща кустарников была мрачнее обычного и вызывала во мне

гнетущие воспоминания. В таком состоянии духа мне особенно неприятно было услышать впереди себя голоса, по которым я узнал милорда и мистера Александера. Я прибавил шагу и скоро увидел их. Они стояли на лужайке, где произошла дуэль; милорд, положив руку на плечо сына, о чем-то серьезно ему рассказывал. При моем приближении он поднял голову, и мне показалось, что лицо его прояснилось.

— А,— сказал он,— вот и добрейший Маккеллар. Я только что рассказывал Санди историю этого места и о том, как дьявол чуть было не убил здесь человека, но как вместо этого человек чуть было не убил дьявола.

Мне показалось странным, что он привел сюда ребенка, но то, что он распространялся о своем поступке, было уже чересчур. Однако худшее было впереди, потому что, обратясь к сыну, он сказал:

— Вот можешь спросить Маккеллара, он был тут и все видел.

— Это правда, мистер Маккеллар? — спросил ребенок.— Вы правда видели дьявола?

— Я не слышал рассказа и очень тороплюсь по делам.

Я сказал это довольно угрюмо, преодолевая чувство неловкости, и внезапно вся горечь прошлого и весь ужас этой сцены при зажженных свечах нахлынули на меня. Мне представилось, что мгновенное промедление в выпаде — и ребенок этот не увидел бы отца. Волнение, которое всегда овладевало мною в этих мрачных зарослях, прорвалось неудержимо.

— Правда одно,— воскликнул я,— что я действительно встретил дьявола в этих местах и видел его тут побежденным! Благодарение богу, что мы сохранили жизнь, благодарение богу, что до сих пор не поколеблены стены Дэррисдира! И заклинаю вас, мистер Александер: если придется вам быть на этом месте, хоть через сотню лет и в самом веселом, самом знатном обществе,— все равно отойдите в сторонку и сотворите молитву.

Милорд важно кивнул головой.

— Да,— сказал он,— Маккеллар, как всегда, прав. Ну-ка, сын мой, обнажи голову! — И с этими словами он снял шляпу и простер вперед руку.

— Господи! — сказал он.— Благодарю тебя, и сын мой благодарит тебя за твои великие, неизреченные милости. Ниспошли нам мир, огради нас от злого человека. Порази его, господи, в его лживые уста! — Последние слова вырвались у него криком, и то ли пробудившийся гнев перехватил ему глотку, то ли он понял, насколько неуместна такая молитва, но только он вдруг замолчал и минуту спустя надел шляпу.

— Мне кажется, вы не кончили, милорд,— сказал я.— И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. Яко твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь!

— Ах! Легко это сказать,— отозвался милорд.— Это очень легко сказать, Маккеллар. Но мне простить! Хорош бы я был, если бы прикидывался всепрощающим!

— Ребенок, милорд! — заметил я с некоторой суровостью, потому что считал слова его вовсе не подходящими для детского слуха.

— Да, да, верно,— сказал он.— Скучная это материя для ребят. А ну-ка, пойдем искать птичьи гнезда.

Не помню уже, в тот ли день или несколько позже, но только милорд, застав меня одного, высказался по этому поводу еще определеннее.

— Маккеллар,— сказал он.— Я теперь очень счастливый человек.

— Я тоже так полагаю, милорд, и меня это очень радует.

— У счастья есть свои обязательства, вы не считаете? — сказал он в раздумье.

— Бесспорно,— ответил я,— как и у горя есть свои. И если мы живем не для того, чтобы делать лучшее, на что способны, то, по моему крайнему разумению, чем скорее мы уйдем, тем лучше будет для всех.

— Да, но будь вы на моем месте, неужели вы простили бы его? — спросил милорд.

Внезапность атаки несколько ошеломила меня.

— Это долг, который надо беспрекословно исполнять,— сказал я.

— Бросьте! Без уверток! Скажите, сами вы простили бы этого человека?

— Нет! Да простит мне бог, нет!

— Вашу руку, мой друг! — воскликнул милорд с явной радостью.

— Не подобает христианам радоваться подобным

чувствам,— сказал я.— Надеюсь, мы порадуемся по другому, более приличному поводу.

Говоря это, я улыбнулся, а милорд, громко смеясь, вышел из комнаты.

Нет у меня слов, чтобы рассказать о том рабском обожании, которое питал милорд к ребенку. Это было поистине наваждение: дела, друзья и жена были равно позабыты или вспоминались только с трудом, как у человека, борющегося с опьянением. Всего яснее было это по отношению к жене. С тех пор как я знал Дэррисдиров, она всецело занимала его мысли и приковывала его глаза; теперь же ее словно не существовало. Я был свидетелем того, как, войдя в комнату, он окидывал ее взором и потом проходил мимо, словно она была собакой у камина. Он хотел видеть только мальчика, и миледи прекрасно это сознавала. Случалось, милорд говорил с ней так грубо, что меня тянуло вмешаться; и всегда причина этому была одна: ему казалось, что она так или иначе обижает сына. Без сомнения, это было для нее своего рода возмездием. Без сомнения, роли теперь переменились, как это может случиться лишь по воле провидения. Столько лет она пренебрегала любыми проявлениями нежности и внимания, теперь пришел ее черед испытать пренебрежение; тем похвальнее то, что она выносила его с достоинством.

Все это привело к странным последствиям: снова дом разделился на две партии, и на этот раз я был на стороне миледи. Не то чтобы любовь моя к милорду ослабела. Но, с одной стороны, теперь он меньше нуждался в моем обществе; с другой стороны, я не мог не сравнивать его отношения к мистеру Александеру и к мисс Кэтрин, к которой милорд был совершенно равнодушен. Наконец, я был уязвлен его переменой по отношению к жене, что, казалось мне, граничило с неверностью. К тому же я не мог не восхищаться выдержкой и мягкостью, которые она проявляла. Может быть, чувство ее к милорду, коренившееся с самого начала в жалости, было скорее материнским, чем супружеским; может быть, ей нравилось, что двое ее детей (если можно так выразиться) столь нежны друг к другу, тем более, что один из них так много и незаслуженно претерпел в прошлом. И, не выказывая признаков ревности, она много внимания уделяла бедняжке мисс Кэтрин. Что

касается меня, то я свои свободные часы все чаще проводил в обществе матери и дочери. Не следует преувеличивать этой розни, ведь в общем это была далеко не самая недружная семья; но закрывать глаза на положение не приходилось, независимо от того, сознавал это милорд или нет. Полагаю, что нет,— он был слишком поглощен мыслями о сыне, но все остальные прекрасно сознавали и мучились от этого.

Больше всего, однако, нас тревожила серьезная и все возрастающая угроза для самого ребенка. Милорд повторял ошибки своего отца, и можно было опасаться, что из его сына выйдет второй Баллантрэ. Время показало, что страхи эти были излишни. В самом деле, мало найдется в теперешней Шотландии джентльменов достойнее десятого лорда Дэррисдира. Не мне говорить о том, как кончилась моя служба у него, тем более в записке, цель которой лишь в том, чтобы отдать должное его отцу...

П р и м е ч а н и е и з д а т е л я. Здесь опущено пять страниц из рукописи мистера Маккеллара По ним у меня создалось впечатление, что в старости мистер Маккеллар был довольно-таки требовательным слугою Однако ничего существенного он не ставит в вину десятому лорду Дэррисдиру (который к тому же нас сейчас мало интересует) — Р. Л. С.

...Но в то время нас обуревал страх, что он сделает из сына копию своего брата. Миледи пыталась было установить разумную строгость, но из этого ничего не вышло; и, отказавшись от своих попыток, она теперь наблюдала за всем со скрытым беспокойством. Иногда она даже пыталась высказывать его, а изредка, когда до нее доходило какое-нибудь чудовищное попустительство милорда, позволяла себе неодобрительный жест или восклицание. Что касается меня, то я думал об этом неотступно и днем и ночью, причем не столько о ребенке, сколько об отце. Видно было, что человек уснул, что ему грезятся сны, что всякое резкое пробуждение неминуемо окажется роковым. Я был убежден, что такой удар убьет его, а страх нового бесчестья заставлял меня содрогаться.

Эта постоянная озабоченность довела меня наконец до попытки вмешаться — случай, о котором стоит рассказать подробнее. Как-то раз мы с милордом сидели за столом, обсуждая какие-то скучные хозяйственные

дела. Я уже говорил, что он потерял всякий интерес к подобным занятиям. Он явно стремился поскорее уйти, вид у него был недовольный, усталый, и я вдруг заметил, как он за это время постарел. Мне кажется, что именно его расстроенное лицо заставило меня заговорить.

— Милорд,— начал я, не поднимая головы от бумаг, которыми для виду не переставал заниматься,— или, если позволите, мистер Генри, потому что я боюсь прогневить вас и хотел бы, чтобы вы вспомнили о старом...

— Мой добрый Маккеллар,— сказал он, и так мягко, что я чуть было не отказался от своей затеи.

Но я подумал, что говорю ради его же пользы, и продолжал:

— Вам никогда не приходилось задумываться над тем, что вы делаете?

— Над тем, что я делаю? — спросил он.— Я не мастер разгадывать загадки.

— Что вы делаете со своим сыном?

— Ах, вот что,— сказал он с оттенком вызова.— Так что же я делаю со своим сыном?

— Ваш батюшка был превосходный человек,— уклонился я от прямого ответа,— но считаете ли вы его разумным отцом?

Он помолчал немного, а потом ответил:

— Я его не порицаю. Я мог бы по этому поводу сказать больше, чем кто бы то ни было, но я его не порицаю.

— Вот именно,— сказал я.— Вы-то можете об этом судить. Конечно, ваш батюшка был превосходный человек, я не знавал другого такого, и умнейший во всем, кроме одного. И там, где он спотыкался, там другому впору упасть. У него было два сына...

Тут милорд с размаху хлопнул рукой по столу.

— В чем дело?! — крикнул он.— Да говорите вы!

— Ну и скажу,— продолжал я, хотя мне казалось, что стук сердца заглушает самые мои слова.— Если вы не перестанете потакать мистеру Александеру, вы пойдете по стопам вашего отца. Только берегитесь, милорд, чтобы сын ваш, когда подрастет, не пошел по стопам Баллантрэ...

Я никак не думал ставить вопрос так круто, но в состоянии крайнего страха человека охватывает самая

грубая отвага. И я сжег свои корабли, произнеся это резкое слово. Ответа я так и не получил. Подняв голову, я увидел, что милорд вскочил на ноги и сейчас же тяжело рухнул на пол. Припадок, или обморок, скоро прошел, он вяло провел рукой по голове, которую я поддерживал, и сказал тусклым голосом:

— Мне было нехорошо...— И немного погодя: — Помогите мне.

Я поставил его на ноги, и он стоял, опираясь на стол.

— Мне было нехорошо, Маккеллар,— опять сказал он.— Что-то оборвалось, Маккеллар, или только хотело оборваться, а потом все от меня поплыло. Я, должно быть, очень рассердился. Но не бойтесь, Маккеллар, не бойтесь, мой милый. Я и волоса не тронул бы на вашей голове. Слишком много мы с вами пережили вместе; и этого теперь ничем не зачеркнешь. Но знаете что, Маккеллар, я сейчас пойду к миссис Генри, лучше я пойду к миссис Генри...— повторил он и довольно твердыми шагами вышел из комнаты, оставив меня горько раскаиваться в содеянном.

Вскоре дверь распахнулась, и вбежала миледи; глаза ее сверкали от гнева.

— Что это значит? — воскликнула она.— Что вы сделали с моим мужем? Неужели вы никогда не научитесь знать свое место? Неужели вы никогда не перестанете вмешиваться в дела, которые вас не касаются?

— Миледи,— сказал я.— С тех пор, как я живу в этом доме, я слышал много упреков. Было время, когда они были моей каждодневной пищей, и я привык глотать их. Но сегодня обзывайте меня как хотите, вы никак не подберете достойного слова для моей глупости. Однако поверьте, что я сделал это с наилучшими намерениями!

Я чистосердечно рассказал ей обо всем так, как это здесь записано. Выслушав меня, она задумалась, и мне ясно стало, что ее раздражение прошло.

— Да,— сказала она,— вы сделали это с наилучшими намерениями. Я и сама намеревалась или, вернее, хотела это сделать, и я не могу сердиться на вас. Но, боже мой, неужели вы не понимаете, что он больше не может, не может больше терпеть? Струна натянута до отказа. Что думать о будущем, если он может урвать у судьбы два-три счастливых дня?

— Аминь! — сказал я.— Больше я не буду вмешиваться. Я удовлетворен тем, что вы признали чистоту моих намерений.

— Да, конечно,— отозвалась миледи,— но когда дошло до дела, мужество вам, должно быть, изменило, потому что сказанное вами было сказано жестоко.— Она помолчала, вглядываясь в меня, потом слегка улыбнулась и произнесла странную фразу: — Знаете, кто вы такой, мистер Маккеллар? Вы старая дева.

С тех пор и до самого возвращения нашего злого гения в семействе Дьюри не произошло ничего достойного упоминания. Но тут я должен привести второй отрывок из записок кавалера Бэрка, сам по себе интересный и необходимый мне для дальнейшего изложения. Это единственное свидетельство о скитаниях Баллантрэ в Индии и первое на этих страницах упоминание о Секундре Дассе. Оно обнаруживает, как увидим, одно обстоятельство, которое, знай мы его лет двадцать назад, устранило бы столько бед и несчастий, а именно то, что Секундра Дасс говорил по-английски.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАВАЛЕРА БЭРКА В ИНДИИ

(Выдержки из его записок)

И вот я был на улицах этого города, название которого не могу припомнить и расположение которого так плохо тогда представлял, что не мог сообразить, куда мне бежать — на север или на юг. Тревога была так внезапна, что я выскочил без чулок и туфель; треуголку мою сшибли с головы в давке; все мои пожитки достались англичанам. Единственным моим товарищем был мой сипай [1], единственным оружием — моя шпага, а достоянием — завалявшаяся в карманах монетка. Словом, я был очень похож на тех дервишей [2], о которых пишет в своих изящных рассказах мистер

[1] Сипай — воин *(перс.)*. Сипаями назывались в XVIII веке в Индии наемные войска из местного населения.

[2] Дервиш — монах-мусульманин.

Галланд [1]. Как помнится, эти джентльмены становились героями одного необычайного приключения за другим, а сам я был на пороге такого поразительного приключения, что, признаюсь, и посейчас не могу его объяснить.

Сипай был честнейший малый, он много лет служил под знаменами французов и готов был дать изрубить себя на куски за любого из соотечественников мистера Лалли. Это был тот самый сипай (имя его совершенно изгладилось из моей памяти), об удивительном великодушии которого я уже рассказывал. Это он, найдя нас с месье де Фессаком на валах в состоянии полного опьянения, покрыл нас соломой перед приходом коменданта. Поэтому я советовался с ним со всей откровенностью. Легко было спрашивать, что делать; но в конце концов мы решили перебраться через какую-нибудь садовую ограду, там можно было, во всяком случае, поспать в тени деревьев, а может быть, и как-нибудь раздобыть туфли и чалму. В этой части города было множество таких оград, весь квартал состоял из огороженных садов, а разделявшие их проулки были в этот поздний час совершенно пусты. Я подсадил сипая, и скоро мы очутились за оградой, где густо росли деревья. Все вокруг было напитано росой, которая в этой стране очень вредна, особенно для белых, но усталость моя была такова, что я уже совсем засыпал, когда сипай вернул меня к действительности.

В дальнем конце сада внезапно зажегся яркий огонь и стал светить нам сквозь широкие листья. Это было столь неожиданно в таком месте и в такой час, что заставляло действовать осмотрительно. Сипай был послан мною на разведку и скоро вернулся с известием, что нам очень не повезло: владение принадлежало белому человеку, и, по-видимому, англичанину.

— Клянусь святым Патриком,— сказал я,— надо еще посмотреть, что это за белый, потому что с соизволения божьего всякие бывают белые люди.

Сипай провел меня к месту, откуда хорошо виден был дом, окруженный широкой верандой; на полу ее стоял оправленный светильник, и возле него, скрестив ноги на восточный лад, сидели двое. Оба они были закутаны по туземной моде в муслин, но один из них

[1] Галланд (1646—1715) — французский исследователь Древнего Востока и переводчик арабских сказок «1001 ночь».

был не только европеец, но человек хорошо известный и мне и читателю,— в самом деле, это был не кто иной, как владетель Баллантрэ, о доблестях и уме которого я так много рассказывал на этих страницах. До меня и раньше доходили слухи, что он прибыл в Индию, но мы ни разу не встречались, и я понятия не имел, чем он занимается. Как только я узнал его и понял, что попал к своему старому товарищу, я считал уже, что все мои злоключения счастливо закончились. Я, нимало не таясь, вышел на ярко освещенную луною лужайку и, назвав Баллантрэ по имени, в немногих словах изложил ему свое бедственное положение. Он обернулся, чуть заметно вздрогнув, и смотрел на меня в упор в продолжение всего моего рассказа, а потом, обратившись к своему товарищу, что-то сказал ему на местном варварском наречии. Второй, хрупкий и худощавый — ноги, как палки, а пальцы, словно соломинки [1],— тотчас же встал.

— Сахиб [2],— сказал он,— не понимает по-английски. Я знаю по-английски и вижу, что произошла небольшая ошибка, о, самая незначительная и частая ошибка. Но сахиб хотел бы знать, каким образом вы очутились в саду.

— Баллантрэ! — вскричал я.— Неужели у вас хватит наглости отрекаться от меня, вот так — лицом к лицу?!

У Баллантрэ не дрогнул ни один мускул, он глядел на меня, словно идол в кумирне.

— Сахиб не понимает английского языка,— повторил туземец так же бойко, как и раньше.— Он хотел бы знать, каким образом вы очутились в этом саду.

— О, сатана ему в зубы! — говорю я.— Он хочет знать, как мы попали в этот сад? Так вот, милейший, будь добр передать твоему сахибу привет и уведомить его, что тут нас двое солдат, которых он видом не видывал, слыхом не слыхивал, но что сипай этот бравый малый, а я тоже ни в чем ему не уступлю, и что если нас тут как следует не накормят и не снабдят чалмой, и туфлями, и разменной монетой на дорогу, то тогда,

[1] Примечание мистера Маккеллара. Конечно, это был Секундра Дасс.

[2] Сахиб *(арабск.)*.— обращение к мусульманину. В XVIII веке в Индии, особенно при обращении к англичанам, употреблялось в значении «господин».

мой друг, я мог бы назвать сад, где скоро, очень скоро будет весьма неуютно.

Они продолжали ломать комедию, даже посовещались о чем-то на индустани, а потом, все с тою же улыбочкой, но вздыхая, словно повторения его утомили, индус снова проговорил:

— Сахиб хотел бы знать, каким образом вы очутились в этом саду.

— Так вот вы как! — говорю я и кладу руку на эфес, а сипаю приказываю обнажить оружие.

Все так же улыбаясь, индус достает из-за пазухи пистолет, и хотя Баллантрэ и пальцем не пошевелил, я достаточно хорошо знал его, чтобы понимать, что и он готов к нападению.

— Сахиб полагает, что вам лучше удалиться,— сказал индус.

По правде говоря, я и сам это думал, потому что достаточно было звука пистолетного выстрела, чтобы отправить нас обоих на виселицу.

— Скажи своему сахибу, что я не считаю его джентльменом! — заявил я и повернулся с жестом крайнего презрения.

Не сделал я еще и трех шагов, как индус окликнул меня.

— Сахиб хотел бы знать, не из поганых ли вы ирландцев,— сказал он, и при этих словах Баллантрэ улыбнулся и отвесил низкий поклон.

— Что это значит?— спросил я.

— Сахиб говорит, чтобы об этом вы спросили вашего друга Маккеллара,— сказал индус.— Сахиб говорит, что вы с ним квиты.

— Скажи своему сахибу, что я еще разделаюсь с ним за все его шотландские штучки при следующей встрече! — закричал я.

Когда мы уходили, эта парочка все так же сидела, ухмыляясь.

Конечно, и в моем поведении найдутся свои слабые стороны, и когда человек, каковы бы ни были его доблести, обращается к потомству с изложением своих подвигов, он должен ожидать, что его ждет участь Цезаря и Александра, тоже оболганных клеветниками. Но одного упрека никто не может сделать Фрэнсису Бэрку: он никогда не оставлял товарища в беде...

(Здесь следует абзац, который кавалер Бэрк старательно вымарал,— видимо, перед тем, как посылать мне рукопись. Должно быть, там были вполне естественные упреки в том, что он считал нескромностью с моей стороны, хотя сам я ничего не могу поставить себе в вину. Возможно, мистер Генри был менее осторожен или, что всего вероятнее, Баллантрэ ухитрился добраться до моей корреспонденции и самолично прочел письмо из Труа, отместкой за которое и стало это жестокое издевательство над мистером Бэрком, находившимся в столь бедственном положении. Балантрэ, несмотря на всю его порочность, не был чужд некоторым привязанностям; мне кажется, что вначале он был сердечно расположен к мистеру Бэрку, но мысль о его предательстве иссушила неглубокие ключи его дружбы и обнаружила во всей неприглядности его истинную натуру.— *Э. Макк.)*

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ВРАГ В ДОМЕ

Небывалое дело, чтобы я не запомнил даты, тем более даты события, в корне изменившего всю мою жизнь, закинувшего меня в чужие края,— однако это так. Я был вышиблен из колеи, против обыкновения вел свои записи беспорядочно, не ставил даты по неделе, по две и вообще писал как человек, махнувший рукой на все. Во всяком случае, это было в конце марта либо в начале апреля 1764 года. Спал я плохо и проснулся с тяжелым предчувствием. Оно так угнетало меня, что я поспешил сойти вниз, даже не накинув камзола, и при этом, помнится мне, рука моя дрожала, опираясь на перила. Было холодное солнечное утро, с густым слоем изморози, вокруг дома распевали дрозды, и во всех комнатах слышен был шум моря. При входе в зал другой звук остановил мое внимание — звук голосов. Я подошел ближе и остолбенел. Да, в зале звучал человеческий голос, но я не узнавал его, и это в доме моего господина; там звучала человеческая речь, но, как я ни вслушивался, я не понимал ни слова, и это в своей родной стране. Мне припомнилось старое предание о залетной фее (или просто иноземной

гостье), которая посетила наш край в незапамятные времена и пробыла у нас неделю, а то и больше, говоря на языке ни для кого не понятном, а затем исчезла ночью так же внезапно, как и появилась, не раскрыв никому ни своего имени, ни цели своего посещения. Мной овладел не столько страх, сколько любопытство, я отворил дверь и вошел.

На столе еще не было убрано после ужина, ставни еще не были открыты, хотя свет уже проникал в щели, и большая комната была освещена только свечой и отсветом тлеющих углей. У самого камина сидели двое. Одного, одетого в плащ, из-под которого виднелись сапоги, я узнал сразу: это был все тот же вестник несчастья. А о другом, который сидел вплотную к огню, закутанный во что-то, словно мумия, я мог сказать только, что он чужеземец, что кожа у него гораздо темнее, чем у нас, европейцев, что сложения он тщедушного и что глаза у него глубоко запали под необычно высоким лбом. По полу было раскидано несколько тюков и небольшой чемодан, и, судя по скудности этого багажа и по состоянию сапог самого Баллантрэ, кое-как залатанных каким-нибудь деревенским сапожником, можно было судить, что зло не принесло ему богатства.

При моем появлении он встал, взгляды наши скрестились, и сам не знаю почему, но смелость во мне так и взыграла.

— А! — сказал я.— Так это вы? — И я остался доволен развязностью своего голоса.

— Вот именно я самый, почтеннейший Маккеллар,— сказал Баллантрэ.

— На этот раз вы приволокли за собою свою черную тень,—продолжал я.

— Вы это о Секундре Дассе? — спросил он.— Позвольте его представить. Это туземный джентльмен из Индии.

— Так, так! Не могу сказать, чтобы мне нравились вы сами, мистер Балли, или ваши друзья. Но дайте-ка я погляжу на вас при свете,— и, говоря это, я открыл ставни выходившего на восток окна.

При ярком утреннем свете видно было, насколько изменился этот человек. Позднее, когда мы все были в сборе, меня еще более поразило, насколько слабо по сравнению с другими отразилось на нем время; но первое впечатление было не такое.

— А вы постарели,— сказал я.

Лицо его омрачилось.

— Если бы вы видели самого себя,— сказал он,— вы, может быть, не стали бы распространяться на эту тему.

— Почему же,— возразил я.— Старость меня не страшит. Мне сейчас кажется, что я всегда был стариком; а теперь с годами я, милостью божьей, стал лишь более известен и уважаем. Не каждый может сказать это о себе, мистер Балли. Ваши морщины говорят о страстях и напастях; ваша жизнь постепенно становится вашей тюрьмой; смерть скоро постучит к вам в дверь; и не знаю, в чем вы тогда почерпнете утешение!

Тут Баллантрэ обратился на индустани к Секундре Дассу, из чего я заключил (признаюсь, не без удовольствия), что мои слова задели его. Само собой, что все это время, даже и подшучивая над незваным гостем, я, не переставая, ломал голову над другим: прежде всего, как бы мне поскорее и незаметнее известить милорда. Я сосредоточил на этом все силы ума, как вдруг, подняв глаза, увидел, что он стоит в дверях, с виду совершенно спокойный. Поймав мой взгляд, он тотчас же переступил порог. Баллантрэ заметил его и пошел навстречу; шагах в четырех оба брата остановились, в упор глядя друг на друга, потом милорд улыбнулся, слегка наклонил голову и резко отошел в сторону.

— Маккеллар,—сказал он,— надо позаботиться о завтраке для этих путешественников.

Ясно было, что Баллантрэ несколько смущен, но тем наглее он стал в словах и поступках.

— Я умираю с голоду,— сказал он.— Надеюсь, ты нас хорошо угостишь, Генри?

Милорд обернулся к нему все с той же жесткой улыбкой.

— Лорд Дэррисдир...— поправил он.

— Ну, не в семейном же кругу! — воскликнул Баллантрэ.

— Все в этом доме называют меня так,— сказал милорд.— Если ты хочешь быть исключением, подумай, как поймут это посторонние, и не покажется ли это им признаком бессильной зависти?

Я чуть было не захлопал в ладоши от удовольствия, тем более что милорд, не давая времени для ответа, сделал мне знак следовать за ним и тотчас вышел из залы.

— Скорее,— сказал он,— надо очистить дом от заразы.— И он так быстро зашагал по коридорам, что я едва поспевал за ним. Подойдя к двери Джона Поля, он открыл ее и вошел в комнату. Джон делал вид, что крепко спит, но милорд и не пытался будить его.

— Джон Поль,— сказал он как нельзя более спокойно,— ты много лет служил моему отцу, не то я вышвырнул бы тебя, как собаку. Если через полчаса ты оставишь дом, то будешь по-прежнему получать жалованье в Эдинбурге. Если же я узнаю, что ты торчишь тут или в Сент-Брайде, то хоть ты старик, старый слуга и все прочее, но я найду способ жестоко наказать тебя за измену. Вставай и убирайся. Через ту же дверь, в которую ты впустил их. Я не желаю, чтобы ты попадался на глаза моему сыну.

— Меня радует, что вы это приняли так спокойно,— сказал я, когда мы опять остались вдвоем.

— Спокойно? — воскликнул он и приложил мою руку к своему сердцу, которое молотом колотилось у него в груди.

Это поразило и испугало меня. Самая могучая натура не вынесла бы такого бешеного напряжения; каково же было ему, силы которого были уже подточены. Я решил, что этому чудовищному положению надо как можно скорее положить конец.

— Я думаю, что мне надо предупредить миледи,— сказал я.

Ему бы следовало, конечно, пойти к ней самому, но я имел в виду его равнодушие к ней — и не ошибся.

— Ну что ж,— сказал он.— Предупредите. А я потороплю завтрак. За столом мы все должны быть в сборе, даже Александер; не надо подавать виду, что мы встревожены.

Я побежал к миледи и без излишней жестокости всяких предуведомлений сообщил ей новости.

— Я давно уже к этому готова,— сказала она.— Сегодня же надо тайно собраться и в ночь уехать. Слава создателю, что у нас есть другой дом. С первым же кораблем мы отплывем в Нью-Йорк.

— А как же с ним? — спросил я.

— Ему мы оставим Дэррисдир! — воскликнула она.— Пусть его радуется!

— Ну нет, с вашего позволения, будет не так,— сказал я.— При доме есть цепной пес, и зубов он еще не лишился. Мы обеспечим мистеру Джемсу кров и стол, а если будет смирен, то и лошадь для прогулок; но ключи — подумайте об этом, миледи,— ключи должны остаться в руках Маккеллара. А он уж их сбережет, в этом не сомневайтесь!

— Мистер Маккеллар! — воскликнула она.— Спасибо вам за эту мысль. Все будет оставлено на ваше попечение. Если уж нам суждено спасаться к дикарям, то вам я завещаю отомстить за нас. Пошлите Макконнэхи в Сент-Брайд, чтобы без огласки нанять лошадей и пригласить мистера Карлайля. Милорд должен оставить доверенность.

В это время в дверях появился сам милорд, и мы поделились с ним нашими планами.

— Я и слышать об этом не хочу! — вскричал он.— Он подумает, что я его испугался. С божьей помощью я останусь в своем доме, в нем и умру. Не родился еще человек, который может выжить меня. Что бы ни было, здесь я жил и здесь останусь, и наплевать мне на всех дьяволов и самого сатану!

Я не могу передать здесь всей горячности его тона, но мы с миледи были поражены, особенно я — свидетель его недавней сдержанности.

Миледи посмотрела на меня; взгляд ее дошел до самого моего сердца и вернул мне самообладание. Я сделал ей незаметно знак уйти и, оставшись наедине с милордом, который с полубезумным видом метался по комнате, твердо положил ему руку на плечо.

— Милорд,— сказал я.— Мне придется говорить начистоту еще раз, и если в последний, тем лучше, потому что я устал от этой роли.

— Ничто не изменит моего решения. Я не отказываюсь выслушать вас, но ничто не изменит моего решения.

Он говорил твердо, без тени прежней ярости, и это оживило во мне надежды.

— Ну что же,— сказал я.— Я могу позволить себе и напрасные разговоры.— Я указал рукой на кресло, он уселся и посмотрел на меня.— Мне помнятся времена, когда миледи не оказывала вам должного внимания.

— Я никогда не говорил об этом, пока это было так,—весь вспыхнув, возразил милорд.— Но теперь все изменилось.

— И если бы вы знали, насколько! — заметил я.— Если бы вы знали, как все изменилось! Теперь все наоборот. Теперь миледи ищет вашего взгляда, вашего слова,— да, и напрасно. Знаете ли вы, с кем она коротает время, пока вы разгуливаете по окрестностям? Она рада коротать свой досуг с неким старым скучным управляющим по имени Эфраим Маккеллар. И мне кажется, что вы на собственном опыте испытали, что это значит, потому что, если я не ошибаюсь, вы некогда и сами вынуждены были проводить время в той же компании.

— Маккеллар! — воскликнул милорд, порывисто вскакивая.— Боже мой, Маккеллар!

— Ни мое, ни божье имя ничего не изменят в том, что я вам говорю,— сказал я.— Это истинная правда. Вам ли, так много страдавшему, причинять те же страдания другому? Таков ли долг христианина? Но вы так поглощены новым другом, что все старые друзья забыты. Все они начисто изгладились из вашей памяти. И все же они были с вами в самую мрачную пору, и первая из них — миледи. А приходит ли вам на ум миледи? Приходит ли вам на ум, что пережила она в ту ночь? И какой женой она с тех пор стала для вас? Нет! Для вас вопрос чести — остаться и встретить его лицом к лицу, и она обязана будет остаться с вами. Конечно! Честь милорда — великое дело. Но вы-то мужчина, а она только женщина. Женщина, которую вы поклялись защищать, и более того,— мать вашего сына.

— В том, что вы говорите, Маккеллар, много горечи,—сказал он,— но, видит бог, боюсь, что это горькая правда. Я оказался недостоин своего счастья. Позовите сюда миледи.

Миледи была поблизости, ожидая конца разговора. Когда я привел ее обратно, милорд взял наши руки и прижал их к своему сердцу.

— У меня в жизни было двое друзей,— сказал он.— Все хорошее исходило от них. И раз вы единодушны в своем решении, я был бы неблагодарной скотиной, если бы...— он замолчал, и глаза его наполнились слезами.— Делайте со мной что хотите,— продол-

жал он,— но только не думайте...—он снова приостановился.— Делайте со мной что хотите. Видит бог, я люблю и уважаю вас!

И, выпустив наши руки, он повернулся и отошел к окну.

Но миледи побежала за ним, повторяя:

— Генри! Генри! — и с рыданиями обняла его.

Я вышел, прикрыл за собою дверь и от всего сердца возблагодарил господа.

За завтраком мы по желанию милорда все собрались к столу. Баллантрэ успел к этому времени стянуть с себя свои латаные ботфорты и оделся в более подходящий к случаю костюм; Секундра Дасс уже не был закутан в свои покрывала, он облачился в приличный черный камзол, который только подчеркивал его необычность, и оба они стояли, глядя в большое окно, когда милорд с семейством вошел в залу. Они обернулись; черный человек (как его уже успели прозвать в доме) склонился в земном поклоне, тогда как Баллантрэ поспешил вперед, чтобы по-семейному приветствовать вошедших. Однако миледи остановила его, церемонно сделав ему реверанс из дальнего угла залы и удерживая при себе детей. Милорд несколько выдвинулся вперед; и вот все трое Дэррисдиров стояли лицом к лицу. Рука времени коснулась всех троих: на их изменившихся лицах я, казалось, читал memento mori [1] и особенно меня поразило то, что меньше всего пострадал от времени самый порочный из них. Миледи уже совсем превратилась в матрону, которой пристало почетное место за столом во главе сонма детей и домочадцев. Милорд стал слаб на ноги и сутулился; походка у него сделалась какая-то подпрыгивающая, словно он перенял ее у мистера Александера. Лицо осунулось и как-то вытянулось; временами на нем мелькала странная, как мне казалось, не то горькая, не то беспомощная усмешка. А Баллантрэ держался прямо, хотя и с видимым усилием; лоб его пересекала между бровями глубокая складка, губы были сжаты повелительно и строго. В нем была суровость и отблеск величия Сатаны из «Потерянного рая» [1]. Глядя на него, я не мог подавить восхищения и только дивился, что он больше не внушает мне страха.

[1] Помни о смерти *(лат.)*.

И в самом деле (по крайней мере, за столом), он, казалось, утратил свою былую власть, и ядовитые клыки его затупились. Мы знавали его чародеем, повелевавшим стихиями, а сейчас это был самый заурядный джентльмен, болтавший с соседями за обеденным столом. Теперь, когда отец умер, а миледи примирилась с мужем, в чье ухо было ему нашептывать свою клевету? Наконец-то мне открылось, насколько я переоценивал возможности врага. Да, коварство его было при нем, он был по-прежнему двуличен, но изменились обстоятельства, придававшие ему силу, и он сидел обезоруженный. Да, это по-прежнему была гадюка, но яд ее остался на напильнике, сточившем зубы. И еще вот о чем я думал, сидя за столом: первое, что он был растерян, я бы сказал, удручен тем, что злая сила его перестала действовать; и второе, что, пожалуй, милорд был прав и мы совершали ошибку, обращаясь в бегство. Но мне вспомнилось бешено колотившееся сердце бедного моего патрона, а ведь как раз заботясь о его жизни, мы и собирались сдавать свои позиции.

Когда трапеза окончилась, Баллантрэ последовал за мной в мою комнату и, усевшись в кресло (хотя я ему вовсе этого не предлагал), спросил меня, каковы наши намерения в отношении его.

— Что ж, мистер Балли,— сказал я,— на время двери этого дома будут для вас открыты.

— То есть как это «на время»? — спросил он.— Я вас не совсем понимаю.

— Это как будто ясно,—сказал я.— Мы дадим вам пристанище во избежание огласки, но как только вы привлечете к себе внимание какой-нибудь из ваших пакостей, мы попросим вас удалиться.

— А вы, как я вижу, обнаглели.—И при этих словах Баллантрэ угрожающе насупил брови.

— Я прошел хорошую школу,— возразил я.— А вы, может быть, сами заметили, что со смертью старого лорда от вашего прежнего могущества ровно ничего не осталось. Я больше не боюсь вас, мистер Балли; более

[1] «Потерянный рай» — поэма Джона Мильтона, английского поэта и деятеля английской буржуазной революции XVII века.

того — да простит мне это бог! — я нахожу некоторую приятность в вашем обществе!

Он расхохотался, но это было явное притворство.

— Я прибыл с пустым кошельком,— сказал он, помолчав.

— Не думаю, чтобы тут нашлись для вас деньги,— ответил я.— Не советую строить на этом ваши расчеты.

— Ну, об этом мы еще поговорим,— возразил он.

— Вот как? — заметил я.— А о чем же именно?

— Уверенность ваша неуместна,— сказал Баллантрэ.— У меня остался хороший козырь: вы тут все боитесь огласки, а я нет.

— Прошу прощения, мистер Балли,— сказал я.— Но только мы вовсе не боимся огласки ваших похождений.

Он снова захохотал.

— Да, вы научились отражать удары. На словах все это очень легко, но иногда и обманчиво. Предупреждаю вас: я буду напастью для этого дома. Было бы разумнее с вашей стороны дать мне денег и отделаться от меня.— И, махнув мне рукой, он вышел из комнаты.

Немного погодя вошел милорд, сопровождаемый стряпчим — мистером Карлайлем. Нам подали бутылку старого вина, и мы выпили по стакану, прежде чем приняться за дело. Затем были подготовлены и подписаны все необходимые документы и все шотландские поместья переданы под мое и мистера Карлайля управление.

— Есть один вопрос, мистер Карлайль,— сказал милорд, когда с этим делом было покончено,— в котором я жду от вас большой услуги. Мой внезапный отъезд, совпадающий с возвращением брата, несомненно, вызовет толки. Я хотел бы, чтобы вы опровергали всякие подобные сопоставления.

— Приму все меры, милорд,— сказал мистер Карлайль.— Так, значит, Балл... мистер Балли не будет сопровождать вас?

— Как раз об этом я и хотел сказать,— продолжал милорд.— Мистер Балли остается в Дэррисдире на попечении мистера Маккеллара, и я не хочу, чтобы он даже подозревал, куда мы уехали.

— Но пойдут всякие толки...— начал было стряпчий.

— В том-то и дело, что все это должно остаться достоянием нас троих,— прервал его милорд.— Никто,

кроме вас и Маккеллара, не должен знать о моих переездах.

— Так, значит, мистер Балли останется здесь? Ага... Понимаю,—сказал мистер Карлайль.— И полномочия вы оставляете...— тут он снова запнулся.— Трудная задача предстоит нам с вами, мистер Маккеллар.

— Без сомнения, сэр,— сказал я.

— Вот именно,— сказал он.— Так, значит, у мистера Балли не будет никаких прав?

— Никаких прав,— сказал милорд,— и, надеюсь, никакого влияния. Мистер Балли плохой советчик.

— Само собой,— сказал стряпчий.— А кстати, есть у мистера Балли какие-нибудь средства?

— По моим сведениям, никаких,— ответил милорд.— Я предоставляю ему в этом доме стол, очаг и свечу.

— Ну, а как насчет денег? — спросил стряпчий.— Поскольку мне предстоит разделить ответственность, вы сами понимаете, что я должен правильно понять ваши на этот счет распоряжения. Так вот, как относительно денег?

— Никаких денег,— сказал милорд.— Я хочу, чтобы мистер Балли жил замкнуто. Его поведение в обществе не всегда делало честь семье.

— Да, и что касается денег,— добавил я,— он показал себя мотом и вымогателем. Взгляните на этот реестр, мистер Карлайль, в него я внес те суммы, которые он высосал из имения за последние пятнадцать— двадцать лет. Хорошенький итог, не правда ли?

Мистер Карлайль беззвучно свистнул.

— Я и не подозревал ничего подобного,— сказал он.— Еще раз простите, милорд, если я покажусь навязчивым, но мне в высшей степени важно понять ваши намерения. Мистер Маккеллар может умереть, и я тогда окажусь единственным исполнителем вашей воли. Может быть, ваша милость предпочтет, чтобы... гм... чтобы мистер Балли покинул страну?

Милорд посмотрел на мистера Карлайля.

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Мне кажется, милорд, что мистер Балли вовсе не утешение для семьи,— сказал стряпчий с улыбкой.

Вдруг лицо милорда исказилось.

— А ну его к черту! — воскликнул он и налил себе вина, но рука его при этом так дрожала, что полови-

ну он пролил. Уже второй раз его спокойное и разумное поведение нарушалось подобным взрывом враждебности. Это поразило мистера Карлайля, и он стал украдкой с любопытством наблюдать за милордом; а для меня это было подтверждением, что мы поступали правильно, оберегая здоровье и разум моего патрона.

За исключением этой вспышки, разговор наш был весьма плодотворен. Не было сомнений, что мистер Карлайль кое-что разгласит — не сразу, а, как подобает юристу, мало-помалу. И сейчас уже истинное положение вещей отчасти прояснилось, а собственное злонравие Баллантрэ неизбежно довершит то, что мы начали. Перед своим отъездом стряпчий дал нам понять, что на этот счет уже произошел известный перелом в общественном мнении.

— Мне, может быть, следует признать, милорд,— сказал он, уже со шляпой в руках,— что распоряжения вашей милости касательно мистера Балли не были для меня полной неожиданностью. Кое-что на этот счет просочилось еще в пору его последнего приезда в Дэррисдир. Поговаривали о какой-то женщине в Сент-Брайде, к которой вы отнеслись весьма великодушно, а мистер Балли с изрядной долей жестокости. Шли разные толки и о майорате. Короче говоря, пересудов было хоть отбавляй, и кое-какие наши умники пришли к твердому на этот счет мнению. Мне, конечно, было бы не к лицу торопиться с выводами, но теперь подсчеты мистера Маккеллара наконец открыли мне глаза. Я не думаю, мистер Маккеллар, что мы с вами хоть в чем-нибудь будем потакать этому господину.

Остаток этого памятного дня прошел благополучно. Мы решили держать врага под постоянным наблюдением, и я, как и все прочие, взял на себя обязанность надсмотрщика. Мне казалось, что, замечая нашу настороженность, он только приободрялся, тогда как я невольно призадумывался. Меня больше всего пугала изумительная способность этого человека проникать в самую сердцевину наших забот и опасений. Вам, может быть, приходилось (ну, хоть упав с лошади) испытать на себе руку костоправа, которая искусно перебирает и ощупывает мускулы, с тем чтобы точно определить поврежденное место? Вот так же было с Баллантрэ, чей язык умел так ловко выспрашивать, а глаз так зорко наблюдать. Казалось, я не сказал ничего,

а между тем все выдал. Прежде чем я успел опомниться, он уже сожалел со мною вместе о том, что милорд пренебрегает миледи и мною, и об его пагубной приверженности к сыну. Я с ужасом заметил, что к последнему вопросу он возвращался трижды. До сих пор мальчик боязливо сторонился дяди, и я видел, что отец имел неосторожность внушать ему этот страх, что было плохим началом. Теперь, когда я вглядывался в этого человека, все еще такого красивого, такого хорошего рассказчика, которому было о чем рассказать, я убеждался, что он, как никто, способен завладеть воображением ребенка. Джон Поль уехал только утром, и едва ли он хранил молчание о том, кто был его кумиром. Словом, мистер Александер был подобен Дидоне с ее распаленным любопытством, тогда как Баллантрэ мог стать новым Энеем[1] и отравить его душу, повествуя обо всем, что так любезно юношескому слуху: о битвах, кораблекрушениях, побегах, о лесах Америки и древних городах Индии. Мне было ясно, как искусно он мог пустить в ход все эти приманки и какую власть они мало-помалу принесли бы ему над мальчиком. Пока этот человек находился под одной с ним кровлей, не было силы, которая могла бы их разъединить; ведь если трудно приручать змей, то никакого труда не представляет очаровать доверчивого мальчугана.

Я вспоминаю одного старого моряка, который жил на отшибе в своей лачуге, куда каждую субботу стекались мальчишки из Лейта и, облепив его со всех сторон, как вороны падаль, слушали нечестивые рассказы; еще молодым студентом я часто наблюдал это на каникулах во время своих одиноких прогулок. Многие из мальчуганов приходили, конечно, несмотря на строгий запрет, многие боялись и даже ненавидели опустившегося старика, которого возвели в герои. Мне случалось наблюдать, как они убегали от него, когда он был под хмельком, и швыряли в него камни, когда он был пьян. И все-таки каждую субботу они были тут! Насколько же легче такой мальчик, как мистер Александер, мог подпасть под влияние этого пышноперого, сладкогласного джентльмена-авантюриста, если бы тот затеял прель-

---

[1] Дидона — царица Карфагена, у которой гостил сын троянского царя Эней, бежавший из Трои после падения ее. Вергилий в «Энеиде» рассказывает, как Эней повествовал о своих скитаниях Дидоне, с увлечением слушавшей его.

стить его; а завоевав такое влияние, как легко было злоупотреблять им для совращения ребенка!

Еще трижды не произнес он имени мистера Александера, как я уже понял его козни — воспоминания и предчувствия вихрем пронеслись в моем мозгу,— и я отшатнулся, словно передо мною разверзлась пропасть. Мистер Александер — вот в чем было наше уязвимое место. Ева нашего непорочного рая; и змей уже шипел меж его деревьев.

Вы можете представить себе, как все это подстегнуло меня в моих сборах. Последние сомнения были отброшены, опасность промедления была начертана передо мною огромными письменами. С этой минуты я не позволял себе ни присесть, ни передохнуть. То я был на своем посту, наблюдая за Баллантрэ и его индусом, то в чулане завязывал сундук, то выпускал черным ходом Макконнэхи с вещами, которые он должен был тайными тропками донести до места погрузки, то забегал к миледи посоветоваться. Такова была оборотная сторона этого дня в Дэррисдире, а лицевая казалась обычным времяпрепровождением знатной семьи в ее родовом поместье. Если и могло почудиться Баллантрэ какое-либо замешательство, он должен был приписать это своему неожиданному возвращению и тому страху, который привык во всех возбуждать.

Ужин сошел благополучно и, обменявшись холодными приветствиями, мы разошлись по своим комнатам. Я проводил Баллантрэ в его помещение. Мы отвели ему вместе с индусом комнаты в северном крыле: оно было самое уединенное и отдалено от главного здания глухими дверями. Я убедился, что он, то ли как преданный друг, то ли как внимательный хозяин, заботился о своем Секундре Дассе: сам поддерживал огонь в камине — индус жаловался на холод; справлялся, не подать ли ему рису, к которому тот привык; ласково беседовал с ним на индустани, пока я, стоя тут же со свечой в руке, делал вид, что смертельно хочу спать. В конце концов Баллантрэ внял этим сигналам бедствия.

— Вижу, вижу,— сказал он,— что вы верны вашим прежним привычкам; рано в кровать, чтобы раньше вставать. Идите, а то вы так зеваете, что, того и гляди, проглотите меня.

Придя к себе, я, чтобы занять время, приготовил все ко сну, проверил огниво и задул свечу.

Примерно через час я снова зажег свет, надел войлочные туфли, которые носил в комнате милорда во время его болезни, и отправился будить отбывающих. Все уже были одеты и ждали — милорд, миледи, мисс Кэтрин, мистер Александер и горничная миледи — Кристи. Они все выглядывали в щелку двери, с лицами белее полотна,— таково действие скрытности даже на самого невинного человека. Мы выбрались через боковое крыльцо в ночную темень, которую нарушали только редкие звезды, так что вначале мы ощупью ковыляли и падали в чаще кустов. За несколько сот шагов от дома нас ожидал Макконнэхи с большим фонарем, и остаток пути мы одолели гораздо легче, но все в том же виноватом молчании. За аббатством тропинка выходила на большую дорогу, а еще четверть мили спустя там, где начиналось Орлиное болото, мы увидели фонари наших двух карет. При расставании мы обменялись всего двумя-тремя словами, да и то о деле; молчаливое рукопожатие, потупленные глаза, и все было кончено; лошади взяли рысью, фонари светлячками поползли по вересковым холмам и скрылись за скалистым кряжем. Мы с Макконнэхи остались одни с нашим фонарем,— хотелось еще дождаться, когда кареты появятся на Карт-море. Нам показалось, что, достигнув вершины, путники оглянулись и увидели наш фонарь на прежнем месте, потому что они сняли один из каретных фонарей и трижды помахали им в знак прощания. А затем они окончательно скрылись, бросив последний взгляд на родимый кров Дэррисдира, покинутый ради диких заморских стран.

Никогда раньше я не ощущал величия этого купола ночи, под которым мы, двое слуг — старик и уже пожилой мужчина,— в первый раз были предоставлены себе. Никогда раньше я не чувствовал такой потребности в опоре и поддержке. Чувство одиночества жгло мне сердце огнем. Казалось, что мы, оставшиеся дома, были настоящими изгнанниками и что Дэррисдир, и Солуэй, и все, что делало для меня родным мой край — его живительный воздух и приветливый язык,— все это покинуло нас и устремлялось теперь за море, вместе с дорогими моему сердцу людьми.

Остаток этой ночи я провел, расхаживая по ровной

дороге и раздумывая о будущем и прошедшем. Мысли мои, сначала с нежностью прикованные к тем, кто только что оставил нас, мало-помалу приняли другой, более мужественный оборот, и я стал размышлять, что́ же мне теперь делать. Рассвет озарил вершины гор, запела и закрякала домашняя птица, над коричневым простором верещаников кое-где стал подниматься дымок крестьянских хижин,— и только тогда я повернул к дому и пошел туда, где, освещенная утренним солнцем, у моря сияла крыша Дэррисдира.

В обычное время я послал просить Баллантрэ к завтраку и спокойно ожидал его в зале. Он оглядел пустую комнату и три прибора на столе.

— Нас сегодня немного? — сказал он.— Как это получилось?

— Нам придется привыкать к этому узкому кругу.

Он быстро и пристально взглянул на меня.

— Что все это значит? — спросил он.

— Вы, я и ваш друг Дасс — вот отныне и вся наша компания. Милорд, миледи и дети отбыли в путешествие.

— Клянусь честью! — воскликнул он.— Возможно ли? Так, значит, я действительно «переполошил вольсков в их Кориоли»[1]. Но это не причина, чтобы остыл наш завтрак. Садитесь, мистер Маккеллар, прошу вас,— сказал он, занимая при этом место во главе стола, которое я намеревался занять сам.— И за завтраком вы можете рассказать мне подробности этого побега.

Я видел, что он взволнован больше, чем старался это обнаружить, и решил не уступать ему в выдержке.

— Я только что намеревался предложить вам занять почетное место,— сказал я,— потому что, хотя теперь я поставлен в положение хозяина дома, я никогда не забуду, что вы как-никак член семьи Дэррисдиров.

Некоторое время он разыгрывал роль гостеприимного хозяина, особенно заботясь о Секундре и давая распоряжения Макконнэхи, которые тот принимал довольно хмуро.

[1] «Переполошил вольсков в их Кориоли» — цитата из шекспировского «Кориолана». Вольски — одно из племен Центральной Италии, которое долго вело упорную борьбу с Римом. Кориоли — их столица.

— А куда же изволили отбыть мои добрые родственники? — как бы мимоходом спросил он.

— Ну, мистер Балли, это особый вопрос,— сказал я.— Мне велено держать место их назначения в тайне.

— От меня,— подсказал он.

— От всех на свете.

— Чтобы не было так явно. Ну что ж, c'est de bon ton[1]; мой братец с часу на час делает успехи. А как же относительно меня, мой дорогой мистер Маккеллар?

— Вам будет предоставлена постель и стол, мистер Балли,— сказал я.— Мне также разрешено снабжать вас вином, которого у нас запасено в погребе с избытком. Вам только надо поладить со мной, что нетрудно, и у вас всегда будет и бутылка вина и верховая лошадь.

Он под каким-то предлогом выслал Макконнэхи из комнаты.

— А как насчет денег? — спросил он.— Мне, значит, следует ладить с моим любезным другом Маккелларом, чтобы получать от него на карманные расходы, не так ли? Какое забавное возвращение к ребяческому возрасту.

— Вам не установлено было никакого содержания,— сказал я.— Но я возьму на себя снабжать вас деньгами в разумных пределах.

— В разумных пределах! — повторил он.— Вы возьмете на себя? — Он выпрямился и окинул взглядом длинный ряд потемневших фамильных портретов.— Благодарю вас от лица моих предков,— сказал он и потом продолжал ироническим тоном: — Но ведь Секундре Дассу, ему-то уж, наверно, назначено было содержание? Его-то уж никак не могли позабыть?

— Я не премину испросить указаний на этот счет в первом же моем письме,— сказал я.

Он же, внезапно переменив тон, наклонился вперед, опираясь локтем о стол:

— И вы считаете все это вполне разумным?

— Я выполняю приказания, мистер Балли.

— Какая скромность! Только искренняя ли? Вы вчера сказали мне, что моя власть кончилась вместе со смертью моего отца. Но как же это так получается, что знатный лорд бежит под покровом ночи из дома, в ко-

[1] Хороший тон выдержан *(франц.)*.

тором его предки выдержали несколько осад? Что он скрывает свое местопребывание, которое не безразлично самому его королевскому величеству и государству? Что он оставляет меня под надзором и отеческой опекой своего бесценного Маккеллара? Это наводит на мысль о немалом и глубоком страхе.

Я попытался возразить ему, приводя не слишком убедительные доводы, но он только отмахнулся.

— Да, наводит на мысль,— продолжал он,— и скажу больше: страх этот вполне обоснован. Я возвращался в этот дом не без отвращения, имея в виду обстоятельства моего последнего отъезда. Только крайняя необходимость могла заставить меня вернуться. Но деньги мне нужны во что бы то ни стало. Вы не дадите их мне по доброй воле? Что ж, у меня есть способы заставить вас. Не пройдет и недели, как я, не покидая Дэррисдира, узнаю, куда сбежали эти глупцы. Я последую за ними; и когда я настигну свою добычу, я загоню клин в эту семейку, которая еще раз разлетится, как расколотое полено. Тогда посмотрим, не согласится ли лорд Дэррисдир,— это имя он произнес с непередаваемой злобой и яростью,— за деньги купить мое исчезновение, и тогда вы увидите, что̀ я изберу: выгоду или месть.

Я с изумлением слушал эти откровенные излияния. Дело в том, что он был вне себя оттого, что милорду удалось скрыться, видел, что попал в дурацкое положение, и не склонен был обдумывать свои слова.

— И вы считаете все это весьма разумным? — спросил я, повторяя его слова.

— Вот уже двадцать лет, как я живу, руководствуясь своим скромным разумом,— ответил он с улыбкой, которая в своем самомнении граничила с глупостью.

— Да, и в конце концов стали нищим,— сказал я,— хотя и это слово еще слишком для вас почтенно.

— Должен обратить ваше внимание, мистер Маккеллар,— воскликнул он с внезапным воодушевлением и достоинством, которым я мог только восхищаться,— что я с вами был вежлив; подражайте мне в этом, если хотите, чтобы мы остались друзьями.

В продолжение всего диалога я с неприятным чувством ощущал на себе пристальный взгляд Секундры Дасса. Никто из нас троих не притронулся к еде,— глаза наши были прикованы к лицам друг друга, вернее — к

тому сокровенному, что на них выражалось. И вот взгляд индуса смущал меня сменой выражений,— казалось, он понимал то, что мы говорили. Я еще раз отстранил эту мысль, уверяя себя, что он ни слова не понимает по-английски: серьезность нашего тона, нотки раздражения и ярости в голосе Баллантрэ — вот что заставило его догадываться о значительности происходящего.

Целых три недели мы с ним жили так в Дэррисдире, и этим открылась самая странная глава моей жизни,— то, что я должен назвать своей близостью к Баллантрэ. Поначалу он был очень неровен: то вежлив, то насмешлив и вызывающ,— и в обоих случаях я платил ему той же монетой. Благодарение богу, я теперь не должен был рассчитывать каждый шаг; меня и вообще-то мог испугать не нахмуренный лоб, а разве что вид обнаженной шпаги. Его взрывы неучтивости даже доставляли мне своеобразное удовольствие, и временами я отвечал достаточно колко. В конце концов как-то за ужином мне удалась одна забавная реплика, которая совсем обезоружила его. Он хохотал долго и безудержно, а затем сказал:

— Кто бы мог предположить, что под чепчиком у этой почтенной старушенции есть нечто вроде остроумия?

— Это не остроумие, мистер Балли,— сказал я,— это наш шотландский юмор, да притом еще круто посоленный.— И в самом деле, у меня и в мыслях не было прослыть остроумцем.

После этого он никогда не был со мною груб, все у нас переходило в шутку. А особенно когда ему нужна была лошадь, лишняя бутылка или деньги. Он обращался ко мне с видом школьника, а я разыгрывал роль отца, и оба мы при этом дурачились напропалую.

Я теперь замечал, что он изменил свое мнение обо мне к лучшему, и это щекотало во мне грешном бренное тщеславие. Более того, он (я полагаю, бессознательно) временами обращался со мной не только фамильярно, но прямо-таки дружески, и в человеке, который так долго ненавидел меня, это казалось мне тем более коварным. Он мало выезжал и, случалось, даже отклонял приглашения.

— Нет,— говорил он,— ну чего я не видал у этой

неотесанной деревенщины? Я лучше посижу дома, Маккеллар, и мы с вами разопьем на досуге бутылку и поговорим всласть.

И действительно, застольные беседы в Дэррисдире доставили бы удовольствие кому угодно, с таким блеском они велись. Он неоднократно выражал удивление, что так долго недооценивал мое общество.

— Но, видите ли,— говорил он,— мы были во враждующих лагерях. Положение и теперь не изменилось, но не будем говорить об этом. Будь вы не так преданы своему хозяину, я бы не был о вас столь высокого мнения.

Не следует забывать, что я искренно считал его неспособным более причинять зло; и к тому же самая завлекательная форма лести — это когда после многих лет несправедливости человеку отдают запоздалую дань уважения. Но я нисколько не хочу оправдываться. Я достоин всяческого порицания; я дал ему провести себя; короче говоря, сторожевой пес сладко спал, когда внезапно его разбудили.

Индус все время слонялся по дому. Он говорил только с Баллантрэ и на своем языке; двигался совершенно беззвучно и попадался на глаза там, где его меньше всего ожидали, погруженный в глубокие размышления, из которых при вашем появлении он выходил, чтобы приветствовать вас с подчеркнуто приниженной вежливостью. Он казался таким смирным, таким хрупким, всецело занятым своими фантазиями, что я мало обращал на него внимания и даже сочувствовал ему как безобидному изгнаннику на чужбине. И все же, без сомнения, он все время подслушивал, и, конечно, именно этому, а также моей беспечности мы обязаны тем, что секрет наш стал известен Баллантрэ.

Гром грянул одним ненастным вечером, когда после ужина мы развлекались веселее обычного.

— Все это прекрасно,— сказал Баллантрэ,— но нам лучше бы уложить наши чемоданы.

— Зачем? — воскликнул я.— Разве вы уезжаете?

— Мы все уезжаем завтра утром,— сказал он.— Сначала в Глазго, а там и в провинцию Нью-Йорк.

Я, должно быть, громко застонал.

— Да,— продолжал он,— я чересчур на себя понадеялся. Я говорил о неделе, а мне понадобилось целых двадцать дней. Но ничего, я еще наверстаю, придется только торопиться.

— И у вас есть деньги на это путешествие? — спросил я.

— Да, дорогой мой простак,— сказал он.— Вы можете порицать меня за мое двуличие, но, выпрашивая по шиллингу у своего папаши, я все время сохранял небольшой запасец про черный день. Вам, если вы пожелаете сопровождать нас в нашем фланговом марше, придется платить за себя. Мне хватит денег на себя и Секундру — не больше. Достаточно, чтобы быть опасным, но не достаточно, чтобы быть великодушным. Однако у меня остается свободное место на облучке моей кареты, которое я могу вам предоставить за скромную плату. Таким образом, весь зверинец будет в сборе: сторожевой пес, обезьяна и тигр.

— Я еду с вами,— сказал я.

— Я на это и рассчитывал,— отозвался Баллантрэ.— Вы видели меня побежденным, я хочу, чтобы вы увидели меня и победителем. Ради этого я готов намочить вас, как губку, под океанскими шквалами.

— И во всяком случае,— добавил я,— вы прекрасно знаете, что вам от меня не отделаться.

— Да, это нелегко,— сказал он.— Вы, как и всегда, с вашим безупречным здравым смыслом попадаете прямо в точку. А я никогда не борюсь с неизбежным.

— Я полагаю, что взывать к вашим чувствам было бы напрасным.

— Я вполне разделяю ваше мнение.

— И все же, если бы вы дали мне время, я мог бы списаться...— начал я.

— И каков был бы ответ лорда Дэррисдира?

— Да,— сказал я.— Вот в том-то и дело.

— Так насколько же проще мне отправиться самому! — сказал он.— И все это напрасная трата слов. Завтра в семь утра карета будет у подъезда. Потому что я выхожу в парадную дверь, Маккеллар, я не крадусь тайком по тропинкам, чтобы сесть в карету на дороге, ну, скажем, у Орлиного болота.

Я все еще не мог собраться с мыслями.

— Вы позволите мне остановиться на четверть часа в Сент-Брайде? — сказал я.— Мне необходимо переговорить с Карлайлем.

— Хоть на час, если вам это угодно. Я не скрою, что деньги, которые вы заплатите за место в карете,

мне очень нужны. А ведь вы могли бы даже опередить меня в Глазго, наняв верховую лошадь.

— Да! — вздохнул я.— Никогда не думал, что придется покинуть старую Шотландию!

— Это вас немножко расшевелит,— сказал он.

— Это будет злосчастное путешествие,— заметил я.— Особенно для вас, сэр. Мое сердце говорит мне об этом. И одно ясно: начинается оно с плохого предвестия.

— Ну, если уж вы взялись вещать,— сказал он,— то прислушайтесь-ка повнимательней.

Как раз в эту минуту налетел жестокий шквал с Солуэя и дождь забарабанил по стеклам.

— Ты знаешь, что все это значит, кудесник? — спросил он, по-шотландски выговаривая слова.— Это значит, что известного вам Маккеллара здóрово укачает.

Добравшись до своей комнаты, я сидел в горестном смятении, прислушиваясь к реву бури, которая с особенной яростью налетала именно с этой стороны. Гнетущее уныние, ведьмовские завывания ветра в башенках, неистовые шквалы, от которых, казалось, дрожали толстые каменные стены дома,— все это не давало мне спать. Я сидел с зажженной свечой, вглядываясь в черные стекла окна, через которое вот-вот грозила ворваться буря, и на этом пустом квадрате я видел то, что нас ожидало и от чего волосы у меня вставали дыбом. Ребенок развращен, семья развалена, мой хозяин мертв, или хуже чем мертв, моя хозяйка повергнута в отчаяние — все это ярко представлялось мне в черноте окна, и взвизги ветра точно насмехались над моей беспомощностью.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА МАККЕЛЛАРА С ВЛАДЕТЕЛЕМ БАЛЛАНТРЭ

Заказанная карета подкатила к крыльцу в густом оседающем тумане. В молчании мы покинули Дэррисдир: дом стоял со струящимися водостоками и закрытыми ставнями — дом печали и запустения. Я заметил, что Баллантрэ высунулся в окно и глядел назад, на эти мокрые стены и мерцающую под дождем крышу, до тех пор, пока их совсем не скрыл туман. Мне кажется, что вполне понятная грусть охватила и его при этом про-

щании. Или это было предвидение конца? Во всяком случае, поднимаясь от Дэррисдира по длинному склону и шагая рядом со мной по лужам, он начал сперва насвистывать, а потом напевать одну из самых печальных песен наших краев — «Скиталец Вилли», которая всегда вызывала слезы у слушателей в харчевне.

Слов песни, которую он пел, я никогда не слышал, ни до того, ни после, но некоторые строки, особенно напоминавшие о нашем положении, навсегда запечатлелись в моей памяти. Одна строфа начиналась так:

> Дом этот — наш дом был, полон милых сердцу.
> Дом этот — наш дом был, детских лет приют.

А кончалась примерно так:

> И теперь средь вересков ветхою руиной
> Он стоит, заброшенный, обомшелый дом.
> Позаброшен дом наш, пуст он и покинут
> Смелыми и верными, выросшими в нем.

Я не судья поэтическим достоинствам этих стихов, они для меня связаны с меланхолией окружавшей меня обстановки и были мастерски пропеты (или, вернее, «сказаны») в самый подходящий момент. Он посмотрел на меня и увидел слезы на моих глазах.

— Эх, Маккеллар,— вздохнул он.— Неужели вы думаете, что и у меня не бывает минут сожаления?

— Я думаю, что вы не могли бы стать таким плохим человеком,— сказал я,— если бы в вас не были заложены все возможности быть хорошим.

— В том-то и дело, что не все,— заметил он,— далеко не все. В этом вы ошибаетесь. Я болен тем, что ничего не хочу, мой дорогой проповедник.

И все же мне показалось, что он вздохнул, снова усаживаясь в карету.

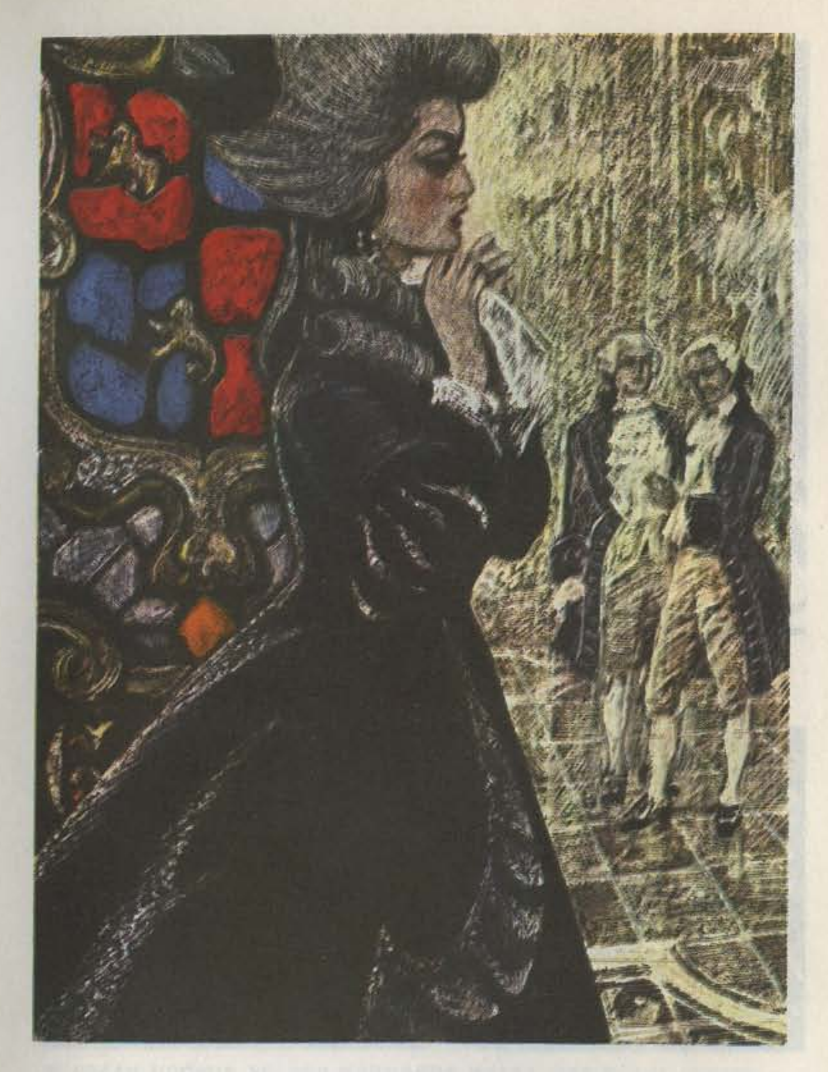
Весь день мы ехали сквозь ненастье; кругом нас обволакивал туман, и небо без перерыва кропило мне голову. Дорога пролегала по пустошам и холмам, где не слышно было ни звука, кроме плача какой-то птицы в мокром вереске и рокота вздувшихся ручьев. Временами я забывался, и сейчас же меня охватывал отвратительный и зловещий кошмар, от которого я пробуждался весь в поту и задыхаясь. Временами на крутом подъеме, когда лошади тащились шагом, до меня доносились голоса из кареты. Разговор шел на том экзотическом языке, который для меня был не более внятен, чем птичий щебет. Временами, когда подъем затягивался, Бал-

лантрэ выходил из кареты и шагал рядом со мною, чаще всего не произнося ни слова. И все время, в забытьи или бодрствуя, я не мог отогнать от себя черную тень надвигающегося бедствия. Все те же картины вставали передо мной, только теперь они рисовались на придорожном тумане. Одна в особенности преследовала меня с осязательностью действительно происходящего. Я видел милорда, сидевшего за столом в маленькой комнате; сначала склоненная голова его была спрятана в руках, потом он медленно поднимал голову и повертывал ко мне лицо, выражавшее полную безнадежность и отчаяние. Впервые я увидел это в черном оконном стекле в последнюю нашу ночь в Дэррисдире, потом это преследовало меня почти во все время нашего путешествия,— и не как болезненная галлюцинация, потому что я дожил до преклонных лет, не утратив здравого рассудка; не было это (как мне сначала показалось) и небесным знамением, предрекавшим будущее, потому что среди всех прочих бедствий,— а их я увидел немало,— именно этого мне не суждено было увидеть.

Решено было, что мы не будем прерывать пути и ночью, и, странное дело, с наступлением темноты я несколько приободрился. Яркие фонари, далеко пронизывающие туман, и дымящиеся спины лошадей, и мотающаяся фигура форейтора — все это представляло для меня зрелище более отрадное, чем дневная мгла. Или же просто ум мой устал мучиться. Во всяком случае, я провел без сна несколько часов в относительном спокойствии, хотя телесно и страдал от дождя и усталости, и наконец забылся крепким сном без сновидений. Но, должно быть, мысли мои не покидали меня и во сне и направлены они были все на то же. Я проснулся внезапно и поймал себя на том, что твержу себе:

«Дом этот — наш дом был, детских лет приют»,— и тут только я увидел, насколько соответствуют слова песни отвратительной цели, с которой замыслил Баллантрэ свое путешествие.

Вскоре после этого мы прибыли в Глазго, где позавтракали в харчевне и где (по дьявольскому соизволению) нашли корабль, готовившийся к отплытию. Корабль назывался «Несравненный» — старое судно, весьма соответствовавшее своему имени. Судя по всему, это, должно быть, было его последнее плавание. На пристанях люди покачивали головой, и даже от случайных про-



«ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ»

«ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ»

хожих на улицах я получил несколько предостережений: судно прогнило, как выдержанный сыр, перегружено и неминуемо погибнет, попав в шторм. Этим, очевидно, и объяснялось то, что мы были единственными пассажирами. Капитан Макмэртри был неразговорчивый, угрюмый человек, с гэльским выговором, его помощники — невежественные, грубые моряки из простых матросов, так что Баллантрэ и я должны были сами развлекать себя, как умели.

Начиная с самого устья Клайда, «Несравненному» сопутствовал благоприятный ветер, и почти целую неделю мы наслаждались хорошей погодой и быстрым продвижением вперед. Оказалось (к моему собственному изумлению), что я прирожденный моряк, по крайней мере в отношении морской болезни, но обычное мое спокойное состояние духа было поколеблено. То ли от постоянной качки, то ли от недостатка движения и от солонины, то ли от всего, вместе взятого, но только я был крайне удручен и болезненно раздражителен. Этому способствовала и цель моего пребывания на корабле; болезнь моя (какова бы она ни была) проистекала из окружающего, и если в этом неповинен был корабль, то, значит, повинен был Баллантрэ. Ненависть и страх — плохие товарищи в пути. К стыду своему, я должен признаться, что и раньше испытывал эти чувства — засыпал с ними и пробуждался, ел и пил вместе с ними и все же никогда ни до, ни после того не был я так глубоко отравлен ими и душевно и телесно, как на борту «Несравненного». Я должен признать, что враг мой подавал мне пример терпимости. В самые тягостные дни он проявлял приветливое и веселое расположение и занимал меня разговорами, пока я мог это выдерживать, а когда я решительно отклонял его авансы, он располагался читать на палубе. Он взял с собою на корабль знаменитое сочинение мистера Ричардсона[1] «Кларисса» и среди прочих знаков внимания читал мне вслух отрывки из этой книги, причем даже профессиональный оратор не мог бы с большей силой передать патетические ее места. Я, в свою очередь, читал ему избранные места из библии, книги, из которой состояла вся моя библио-

[1] Ричардсон — английский писатель XVIII века, основатель семейно-бытового и психологического романа. Его роман «Кларисса», вышедший в 1748 году, пользовался широкой популярностью у читателей.

тека. Для меня в ней многое было ново, потому что (к стыду своему) я до того — как, впрочем, и до сего дня — непростительно пренебрегал своими религиозными обязанностями. Он, как глубокий ценитель, отдавал должное высоким достоинствам книги. Иногда, взяв ее у меня из рук, он уверенно находил нужную ему страницу и своей декламацией сразу же затмевал мое скромное чтение. Но, странное дело, он не делал для себя никаких выводов из прочитанного, оно проходило высоко над его головой, как летняя гроза: Ловлас и Кларисса, рассказ о великодушии Давида и покаянные его псалмы, величавые страницы книги Иова и трогательная поэзия Исайи — все это для него было лишь развлечением, как пиликанье скрипки в придорожной харчевне. Эта внешняя утонченность и внутренняя тупость восстановили меня против него. Это была все та же бесстыдная грубость, которая, как я знал, скрывалась за лоском его изысканных манер. Часто его нравственное уродство вызывало у меня крайнее отвращение, а иногда я прямо шарахался от него, как от злого духа. Бывали минуты, когда он казался мне просто картонным манекеном, — достаточно ударить кулаком по его маске — и за нею окажется пустота. И этот ужас (как мне кажется, вовсе не напрасный) еще увеличивал отвращение, которое он во мне вызывал; когда он входил, я весь содрогался, временами мне хотелось кричать, и случалось, что я готов был ударить его. Это состояние, конечно, еще усугублялось стыдом за то, что в последние дни в Дэррисдире я позволил себе так в нем обманываться. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я способен опять поддаться его чарам, я рассмеялся бы такому человеку прямо в лицо.

Возможно, что он не замечал этого лихорадочного моего отвращения, а впрочем, едва ли, — он был слишком понятлив; вернее, длительный и вынужденный досуг вызвал у него такую потребность в обществе, что он ради этого готов был закрывать глаза на мою явную неприязнь. К тому же он настолько упивался своим голосом, так любил себя во всех своих проявлениях, что это почти граничило с глупостью, нередкой спутницей порока. В тех случаях, когда я оказывался неприступен, он затевал нескончаемые разговоры со шкипером, хотя тот явно выказывал досаду, переминаясь с ноги на ногу и отвечая только отрывистым ворчаньем.

По прошествии первой недели мы попали в полосу встречных ветров и непогоды. Море разбушевалось. «Несравненный», ветхий и перегруженный, носился по волнам, как щепка, так что шкипер дрожал за свои мачты, а я за свою жизнь. Мы нисколько не продвигались вперед. На корабле воцарилось уныние. Матросы, помощники, капитан — все с утра до вечера придирались друг к другу. Воркотня и брань, с одной стороны, и удары — с другой, стали повседневным явлением. Бывали случаи, когда команда вся целиком отказывалась выполнять свой долг, и мы в кают-компании из страха мятежа дважды приводили оружие в боевую готовность, что для меня было первым случаем обращения с пистолетом.

К довершению всех зол нас захватил шторм, и мы уже предполагали, что судно не выдержит. Я просидел в каюте с полудня до заката следующего дня; Баллантрэ привязал себя ремнями к чему-то на палубе, а Секундра проглотил какое-то снадобье и лежал недвижимый и бездыханный, — так что все это время я, можно сказать, провел в совершенном одиночестве. Вначале я был напуган до бесчувствия, до беспамятства, словно оледенел от страха. Затем для меня забрезжил луч утешения. Ведь если «Несравненный» потонет, вместе с ним пойдет ко дну существо, внушавшее всем нам такой страх и ненависть; не будет больше владетеля Баллантрэ, рыбы станут играть меж ребер его скелета; все козни его окончатся ничем, его безобидные враги обретут наконец покой. Сначала, как я сказал, то был лишь проблеск утешения, но скоро мысль эта озарила все как солнце. Мысль о смерти этого человека, о том, что он освободит от своего присутствия мир, который для стольких отравлял самим своим существованием, всецело завладела моим мозгом. Я всячески лелеял ее и находил все более приятной. Я представлял себе, как волны захлестнут судно, как они ворвутся в каюту, короткий миг агонии в одиночестве, в моем заточении. Я перебирал все эти ужасы, можно сказать, почти с удовольствием, я чувствовал, что могу вынести все это и даже больше, только бы «Несравненный», погибая, унес с собою и врага моего бедного господина.

К полудню второго дня завывание ветра ослабело; корабль уже больше не кренился так ужасно, и для меня стало очевидно, что буря стихает. Да простит мне

бог, но лично я был этим огорчен. В эгоистичном увлечении всеобъемлющей неотвязной ненавистью я забывал о существовании безвинной команды и думал только о себе и своем враге. Сам я был уже стариком, я никогда не был молод, я не рожден был для мирских наслаждений, у меня было мало привязанностей, и для меня не составляло никакой разницы, утонуть ли мне где-то в просторах Атлантики, или же протянуть еще несколько лет, чтобы умереть не менее тягостно на какой-нибудь больничной койке. Я пал на колени, крепко держась за ларь, чтобы не мотаться по всей ходившей ходуном каюте, и возвысил свой голос посреди рева утихающего шторма, нечестиво призывая к себе смерть.

— Боже! — кричал я.— Я был бы достойнее называться человеком, если бы пошел и поразил этого негодяя, но ты еще в материнском чреве сделал меня трусом. О господи! Ты создал меня таким, ты знаешь мою слабость, ты знаешь, что любой облик смерти заставляет меня дрожать от страха. Но внемли мне! Вот перед тобою раб твой, и человеческая слабость его отброшена. Прими мою жизнь за жизнь этого создания, возьми к себе нас обоих, возьми обоих и пощади безвинного!

Я молился этими или еще более кощунственными словами, пересыпая их нечестивыми возгласами, в которых изливал свою скорбь и отчаяние. Бог во благости своей не внял моей мольбе, и я все еще погружен был в свои предсмертные моления, когда кто-то откинул с люка брезент и впустил в каюту яркий поток солнечного света. Я в смущении вскочил на ноги и с изумлением заметил, что весь дрожу и шатаюсь, словно меня только что сняли с дыбы. Секундра Дасс, у которого прекратилось действие его снадобья, стоял в углу, дико уставившись на меня, а через открытый люк капитан благодарил меня за мою молитву.

— Это вы спасли судно, мистер Маккеллар,— говорил он.— Никакое наше искусство не могло бы удержать его на поверхности. Поистине — «коль град господь не сохранит, стоять на страже втуне»!

Я был пристыжен заблуждением капитана, пристыжен изумлением и страхом, с которыми глядел на меня индус, и униженными знаками почтения, которые он затем принялся мне оказывать. Теперь-то я знаю, что он, должно быть, подслушал и понял странный характер моих молений. Без сомнения, он сейчас же довел это до

сведения своего хозяина, и сейчас, оглядываясь на прошлое, я лучше могу понять то, что тогда меня так озадачило,— эти странные и (могу сказать) одобрительные усмешки, которыми удостаивал меня Баллантрэ. Точно так же могу я теперь понять и слова, которые в тот вечер обронил он в разговоре со мной. Торжественно подняв руку и улыбаясь, он сказал:

— Ах, Маккеллар, не каждый на самом деле такой трус, каким себя считает... и не такой хороший христианин!

Он и не подозревал, насколько он в этом прав. Потому что мысль, запавшая мне в грозный час бури, не оставляла меня, а непрошеные слова, которые ворвались в мои молитвы, продолжали звучать в моих ушах. И прискорбные последствия этого я должен чистосердечно рассказать, потому что не могу допустить положения, при котором, обличая грехи других, я скрыл бы свои собственные.

Ветер стих, но волнение еще усилилось. Всю ночь корабль наш нестерпимо трепало; наступил рассвет следующего дня и еще следующего, а облегчение не приходило. Было почти невозможно пройти по каюте, старых, бывалых моряков так и швыряло по палубе, а одного при этом жестоко помяло. Каждая доска и скоба старого корабля скрипела и стонала, большой колокол на носу надрывно и без перерыва звонил.

В один из этих дней мы с Баллантрэ сидели вдвоем на шканцах [1]. Надо сказать, что они у «Несравненного» были высоко приподняты. Их ограждал от ударов волн прочный и высокий фальшборт, который, по старой моде, резным завитком постепенно сходил на нет и затем уже соединялся с носовым фальшбортом. Такое устройство, преследовавшее скорее декоративные, а не практические цели, приводило к тому, что в ограждении палубы был просвет, и как раз в том месте у границы кормовой надстройки, где при некоторых маневрах корабля особенно потребна была защита. В этом именно месте мы и сидели, свесив ноги, Баллантрэ — ближе к борту, а я — ухватившись обеими руками за решетчатый люк каюты. Наше положение казалось мне тем более опасным, что я определял силу качки по фигуре Баллантрэ, рисовавшейся на фоне заката в самом просвете

[1] Шканцы — палуба корабля между средней и кормовой частью.

фальшборта. То голова его возносилась чуть не в зенит и длинная тень, пересекая палубу, прыгала далеко по волнам с другого борта, то он проваливался куда-то мне под ноги и линия горизонта вздымалась высоко над ним, как потолок комнаты. Я смотрел на это не отрываясь, как птицы, говорят, не могут оторваться от взгляда змеи. Кроме того, меня ошеломляло поразительное разнообразие звуков, потому что теперь, когда паруса были установлены так, чтобы по мере возможности замедлять ход судна,— весь корабль сотрясался и гудел, словно мельница на полном ходу. Сначала мы говорили о мятеже, который нам недавно угрожал, это привело нас к теме убийства и представило такое искушение для Баллантрэ, против которого он не мог устоять. Он решил рассказать мне случай из жизни и вместе с тем покрасоваться передо мной своим талантом и порочностью. Делал он это всегда с большим увлечением и блеском и имел обычно большой успех. Но этот его рассказ, мастерски преподнесенный в обстановке такого смятения, причем рассказчик то взирал на меня чуть ли не с небес, а то выглядывал из-под самых подошв,— этот рассказ, уверяю вас, произвел на меня совершенно особое впечатление.

— Один мой приятель, граф,— так начал он,— питал смертельную вражду к поселившемуся в Риме барону-немцу. Причина этой вражды для нас несущественна, важно то, что он твердо решил отомстить барону, но для верности хранил это в глубокой тайне. В сущности, это первое правило мести: обнаруженная ненависть есть ненависть бессильная. Граф был человек пытливого, изобретательного ума; в нем было нечто артистическое: если он задумывал что-либо, это должно было быть выполнено в совершенстве, не только по результату, но и по способу выполнения, иначе он считал, что потерпел неудачу. Случилось однажды, что, проезжая верхом по окрестностям Рима, он наткнулся на заброшенный проселок, который уводил в одно из болот, окружающих Рим. С одной стороны была древняя римская гробница, с другой — покинутый дом, окруженный садом с вечнозелеными деревьями. Дорога эта привела его на поляну, покрытую развалинами; посреди ее был насыпной холмик, с одного боку которого зияла дверь, а невдалеке росла одинокая карликовая пиния ростом не больше смородинового куста. Место было уединенное и безлюдное; что-то подсказало графу, что это может послужить ему на пользу. Он привязал лошадь к пинии, достал свой кремень и огниво и вошел в дверь. За ней начинался коридор старой римской кладки, который скоро раздваивался. Граф свернул вправо и ощупью пробирался вглубь, пока не наткнулся на перила высотою по грудь, преграждавшие проход.

Пошарив в темноте ногой, он нащупал облицованный камнем край и затем пустоту. С пробудившимся любопытством он собрал вокруг несколько гнилых щепок и разжег их. Перед ним был глубокий колодец; без сомнения, кто-нибудь из окрестных крестьян раньше пользовался им и загородил его. Долго стоял граф, опершись о перила и глядя вниз в колодец. Он был древнеримской стройки и, как все, что делали римляне, рассчитан на вечное пользование; стены его были отвесны и гладки; для человека, упавшего туда, не могло быть спасения. «Странно,— думал граф,— меня так влекло сюда. Зачем? Чтó мне до этого места? Зачем надо мне было вглядываться в этот колодец?» Как вдруг ограда подалась под его тяжестью, и он чуть было не упал вниз. Отпрыгнув назад, он наступил на последние остатки своего костра, костер погас и удушливо задымил. «Что привело меня сюда, к порогу смерти?» — сказал он и задрожал с головы до ног. Потом внезапная мысль промелькнула у него. На четвереньках он подобрался к краю колодца и нащупал ограду. Она держалась на двух стойках и отломилась только с одной стороны. Граф приложил перила к стойке, так что они стали снова смертельной ловушкой для первого же пришельца, и выбрался на волю, шатаясь как больной.

На другой день на верховой прогулке по Корсо он намеренно напустил на себя вид крайней озабоченности. Его спутник, барон, осведомился (как и предполагалось) о причине этого. Граф сначала отнекивался, но потом признал, что покой его был нарушен странным сном. Это было сделано в расчете заинтриговать барона, который был суеверен, но именно поэтому высмеивал суеверных. Так и тут — последовали насмешки, в ответ на которые граф, как бы выйдя из себя, одернул своего друга, предупреждая, что именно его он видел во сне. Вы достаточно знаете человеческую породу, мой любезный Маккеллар, чтобы догадаться о последующем: конечно, барон не успокоился, пока ему не рассказали сон. Граф,

уверенный, что барон не отстанет, отговаривался, пока любопытство того не дошло до предела, а потом с хорошо разыгранной неохотой поддался на уговоры. «Предупреждаю вас,— сказал он,— что это приведет к беде. Я предчувствую это. Но так как иначе ни вам, ни мне не будет покоя,— хорошо, пусть вина падет на вашу голову! Вот что я видел во сне: я видел вас на верховой прогулке,— где, не знаю, но, должно быть, в окрестностях Рима, потому что по одну руку у вас была старинная гробница, а по другую — сад с вечнозелеными деревьями. Мне снилось, что я в страхе кричу и кричу вам, умоляя вернуться. Не знаю, слышите вы меня или нет, но вы упорно продолжаете свой путь. Дорога приводит вас в пустынное место, где между развалинами зияет дверь, ведущая внутрь насыпного холмика, и возле двери — какая-то ублюдочная пиния. Вы слезаете с седла (а я все кричу, предостерегая вас), привязываете лошадь к пинии и решительно входите в дверь. Внутри темно, но во сне я вижу вас и умоляю вернуться. Но вы ощупью идете вдоль правой стены и сворачиваете в проход направо, который приводит в небольшую пещеру с колодцем, огражденным перилами. Тут — сам не знаю почему — тревога моя еще возрастает, я до хрипоты выкрикиваю вам предостережения, кричу, что поздно, что надо сейчас же выбираться из этого преддверья. Именно это слово применил я в моем сне, и тогда, как мне казалось, оно имело определенное значение, но теперь, наяву, я, по правде говоря, не знаю, что́ оно значит. На все мои страхи вы не обращаете ни малейшего внимания, опираетесь на перила и вглядываетесь в воду. И потом вам открылось что-то — что́ именно, я так и не узнал, но порожденный этим ужас пробудил меня, и я проснулся, весь дрожа и рыдая. А в заключение,— продолжал граф,— скажу, что я очень благодарен вам за вашу настойчивость. Этот кошмар давил меня неотступно; тогда как теперь, когда я выразил его в обычных словах при дневном свете, он представляется мне незначительным». «Ну, не знаю,— сказал барон,— здесь что-то кажется мне странным. Так вы говорите, что мне что-то открылось? Странный, очень странный сон. Я позабавлю им своих друзей». «Вовсе не нахожу его забавным,— возразил граф.— Во мне он вызывает отвращение. Лучше постараемся его позабыть». «Ну что ж,— сказал барон,— позабудем». И на самом деле, они больше не вспоминали про этот сон. Через несколько дней граф предложил прогуляться верхом, на что барон (они с каждым днем сближались все больше) охотно согласился. На обратном пути в Рим граф незаметно свернул на незнакомую дорогу. Вдруг он сдержал коня, всплеснул руками, закрыл ими глаза и громко вскрикнул. Когда он отнял руки от лица, он был смертельно бледен (надо сказать, что граф был превосходный актер). Он пристально посмотрел на барона. «Что с вами? — вскричал тот.— Что случилось?» «Ничего! — воскликнул граф.— Ровно ничего. Какой-то припадок. Поедемте скорее в Рим». Но барон огляделся, и вот по левую сторону дороги он увидел пыльный проселок, и по одну сторону его — гробницу, а по другую — сад с вечнозелеными деревьями. «Хорошо,— сказал он изменившимся голосом.— Скорее поедем домой. Я боюсь, что вам плохо». «Да, ради бога, скорее в Рим, и я сразу лягу в постель!» — вскричал граф, весь дрожа. Они доехали домой, не обменявшись ни словом; граф сейчас же лег в постель, и всем его светским знакомым в тот же вечер стало известно, что его треплет лихорадка. На другой день лошадь барона нашли привязанной к пинии, но сам он бесследно исчез... Так как вы считаете, было это убийством?—*внезапно прервал Баллантрэ свой рассказ.*

— А вы уверены, что он был граф? — спросил я.

— Да нет, насчет титула я не уверен, но он был родовитый дворянин, и господь да избавит вас, Маккеллар, от такого врага!

Последние слова он произнес, улыбаясь мне откуда-то сверху, в следующую минуту он был у меня под ногами. Я внимательно, как дитя, следил за его перемещениями; от них голова моя кружилась, и в ней становилось пусто, и говорил я как во сне.

— Он ненавидел барона лютой ненавистью? — спросил я.

— Его прямо-таки мутило, когда тот подходил к нему,— отвечал Баллантрэ.

— Вот именно это и я чувствовал,— сказал я.

— В самом деле! — воскликнул Баллантрэ.— Вот так новости! А скажите — впрочем, может быть, это излишнее самомнение,— не я ли был причиной этих желудочных пертурбаций?

Он способен был принимать изысканные позы, даже красуясь только передо мной, тем более если эти позы

могли быть рискованны. Так и сейчас он сидел, перекинув ногу на ногу, скрестив руки, приноравливаясь к качке, с легкостью сохраняя равновесие, которое даже перышко могло непоправимо нарушить. И вдруг передо мною опять возник образ милорда за столом, со склоненной на руки головой; но только теперь, когда он поднял голову, лицо его выражало упрек. Слова из моей молитвы — *я был бы достойнее называться человеком, если бы поразил этого негодяя,* — мелькнули в моей памяти. Я напряг всю свою энергию и, когда корабль качнуло в сторону моего врага, быстро толкнул его ногой. Но небу угодно было, чтобы вина моего преступления не усугублялась его успехом.

То ли моя неуверенность, то ли его невероятное проворство, но только он увернулся от удара, вскочил на ноги и схватился за канат.

Не знаю, сколько времени прошло в молчании: я попрежнему лежал на палубе, охваченный страхом, раскаянием и стыдом; он стоял, не отпуская каната, и, опершись спиной о фальшборт, глядел на меня со странным, смешанным выражением; наконец он заговорил.

— Маккеллар,— сказал он,— я не упрекаю вас, я предлагаю вам соглашение. Вы, со своей стороны, едва ли хотите, чтобы этот случай стал достоянием гласности, я, со своей стороны, должен признаться, что мне не улыбается жить, постоянно ожидая, что на мою жизнь покусится человек, с которым я сижу за одним столом. Обещайте мне... Но нет,— внезапно прервал он,— вы еще недостаточно оправились от потрясения; еще, чего доброго, подумаете, что я воспользовался вашей слабостью; я не хочу оставлять никаких лазеек для казуистики, этой бесчестности совестливых. Я дам вам время на размышления.

С этими словами он, скользнув, словно белка, по уходящей из-под ног палубе, нырнул в каюту. Примерно через полчаса он вернулся и застал меня все в том же положении.

— Ну, а теперь,— сказал он,— дадите ли вы мне слово, как христианин и верный слуга моего брата, что мне не придется больше опасаться ваших покушений?

— Даю слово! — сказал я.

— Скрепим его рукопожатием,— предложил он.

— Вы вправе ставить условия,— ответил я, и мы пожали друг другу руку.

Он сейчас же уселся на прежнее место и в той же рискованной позе.

— Держитесь,— вскричал я, прикрывая глаза,— я не могу видеть вас в этом положении! Первый внезапный крен может сбросить вас в море!

— Вы в высшей степени непоследовательны,— ответил он, улыбаясь, но выполнил мою просьбу.— И все-таки вы, Маккеллар, да будет вам известно, высоко поднялись в моем мнении. Вы думаете, я не умею ценить верность? Но почему же, по-вашему, вожу я с собою по свету Секундру Дасса? Потому, что он готов в любую минуту умереть или убить ради меня. И я его за это люблю. Вы можете считать это странным, но я еще больше ценю вас после вашей сегодняшней выходки. Я думал, что вы раб Десяти заповедей [1], но это, по счастью, не так! — воскликнул он.— И старушенция, оказывается, не вовсе беззуба! Что нисколько не меняет того обстоятельства,— продолжал он, снова улыбаясь,— что вы хорошо сделали, дав обещание, потому что сомневаюсь, чтобы вы преуспели в вашем новом амплуа.

— Полагаю,— сказал я,— что мне надлежит просить прощения у вас и молить бога простить мне мои прегрешения. Как бы то ни было, я дал слово, которому буду верен; но когда я думаю о тех, кого вы преследуете...— И я умолк.

— Странная вещь — жизнь,— сказал он,— и странное племя — род людской. Вы внушили себе, что любите моего брата. Но это просто привычка, уверяю вас. Напрягите вашу память, и вы убедитесь, что, впервые попав в Дэррисдир, вы нашли его тупым, заурядным юношей. Он и сейчас по-прежнему туп и зауряден, хотя и не так молод. Если бы вы тогда повстречались со мной, вы бы теперь были таким же ярым моим сторонником.

— Я не сказал бы, что вы заурядный человек, мистер Балли,— заметил я,— но сейчас вы не проявили остроты ума. Вы только что положились на мое слово. А это ведь то же, что моя совесть, которая восстанавливает меня против вас, и я отвращаю от вас свой взор, как от сильного света.

[1] Десять заповедей — десять основных правил религиозно-нравственной жизни, записанных в Ветхом завете и принятых также христианским учением.

— Ведь я говорю не о том,— сказал он.— Я говорю, что если бы вы встретили меня молодым... Поверьте, что не всегда я был таким, как сейчас, и (повстречай я друга такого, как вы) вовсе не обязательно должен был стать таким.

— Полно, мистер Балли,— сказал я,— вы бы насмеялись надо мной, вас не хватило бы и на десять минут вежливого разговора со скучным квакером.

Но он крепко уселся на нового конька самооправдания, с которого уже не слезал, докучая мне до самого конца путешествия. Без сомнения, раньше он находил удовольствие в том, чтобы рисовать себя в неоправданно черных тонах, и хвастался своей порочностью, выставляя ее напоказ, как своего рода герб. У него хватало последовательности не отказываться ни от одного из своих прошлых признаний.

— Но теперь, когда я убедился, что вы настоящий человек,— говорил он,— теперь я попытаюсь вам кое-что объяснить. Уверяю вас, что я так же человечен и наделен не меньшими добродетелями, чем мои ближние.

Он, повторяю, докучал мне, и в ответ я твердил все то же,— по меньшей мере двадцать раз я говорил ему:

— Откажитесь от ваших замыслов и возвращайтесь со мной в Дэррисдир, тогда я вам поверю.

На это он только качал головой.

— Ах, Маккеллар, доживи вы хоть до тысячи лет, вы никогда не поймете меня. Теперь, когда битва в разгаре, час колебаний прошел, а час пощады еще не наступил. Началось все это еще двадцать лет назад, когда мы кинули жребий в зале Дэррисдира. Были у каждого из нас победы и поражения, но ни один из нас и не подумал уступить. А что касается меня, когда перчатка моя брошена, с ней вместе я ставлю и жизнь и честь.

— А, подите вы с вашей честью! — воскликнул я.— И с вашего позволения осмелюсь сказать вам, что все эти ваши воинственные сравнения слишком напыщенны для такого простого дела. Вам нужен презренный металл — вот смысл и корень спора. А средства, которые вы пускаете в ход! Повергнуть в горе семью, которая вам никогда не причиняла зла, развратить, если удастся, племянника, разбить сердце вашего единственного брата! Грабитель на большой дороге, который гнусным кистенем убивает старуху в вязаном чепчике за шиллинг и за понюшку табака,— вот вы кто, а вовсе не воин, заботящийся о своей чести!

Когда я в таких (или сходных) выражениях обличал его, он только улыбался и вздыхал, как человек, которого не понимают. Однажды, помнится мне, он стал защищаться более вразумительно и привел софистические доводы, которые сто́ит повторить, чтобы яснее понятен был его характер.

— Вы слишком невоенный человек и воображаете, что война — это сплошные барабаны и знамена,— сказал он.— Война (как очень разумно определили ее древние) — это «ultima ratio» [1]. Когда мы неумолимо пользуемся своими преимуществами,— мы воюем. Вот, например, вы, Маккеллар, вы яростный вояка в своей конторе в Дэррисдире... или, может, арендаторы возводят на вас напраслину?

— Я не задумываюсь над тем, что есть война и что не есть война,— ответил я.— Но вы докучаете мне вашими притязаниями на уважение. Ваш брат хороший человек, а вы плохой, вот и все.

— Будь я Александром Македонским...— начал он.

— Вот так все мы обманываем себя! — закричал я.— Будь я самим апостолом Павлом, я все равно проделал бы тот же торный путь, которому вы были свидетелем.

— А я говорю вам,— прервал он меня,— что, будь я самым захудалым вождем клана горцев, будь я последним царьком племени голых негров в лесах Африки, мой народ обожал бы меня. Я плохой человек — не отрицаю. Но я рожден быть добрым тираном. Спросите Секундру Дасса, он скажет вам, что я обращаюсь с ним, как с сыном. Свяжите свою судьбу с моей, станьте моим рабом, моей собственностью, существом мне подвластным, как подвластны мне мое тело и мой разум,— и вы не увидите больше того темного лика, который я обращаю к миру в гневе своем. Мне надо все или ничего. Но тому, кто отдаст мне все, я возвращаю с лихвою У меня королевская натура, в этом-то и беда моя!

— Положим, до сих пор это было бедою для других! — заметил я.— Что, как видно, служит неотъемлемым признаком королевского величия.

[1] «Последний довод» (*лат*).

— Ерунда! — закричал он.— Даже сейчас, уверяю вас, я пощадил бы эту семью, в чьей судьбе вы принимаете такое участие. Да, даже теперь, я завтра же предоставил бы их ничтожному их благополучию и скрылся бы в той толпе убийц и шулеров, которую мы называем светом. Я сделал бы это завтра же! — продолжал он.— Только, только...

— Что только? — спросил я.

— Только они должны просить меня об этом на коленях. И всенародно,— добавил он, усмехаясь.— В самом деле, Маккеллар, не знаю, найдется ли зала, достаточно большая для свершения этой церемонии.

— Тщеславие, тщеславие! — проворчал я.— Подумать только, что такая сильная страсть, пускай ко злу, но подчинена тому же чувству, которое заставляет жеманницу кокетничать со своим отражением в зеркале.

— Ну, все может быть освещено с разных сторон: словами, которые преувеличивают, и словами, которые преуменьшают; этак вы меня ни в чем не убедите. Вы давеча сказали, что я полагался на вашу совесть. Так вот, будь я склонен к уничижению, я мог бы сказать, что рассчитывал на ваше тщеславие. Вы хвалитесь, что вы «un homme de parole» [1],— я горжусь тем, что не признаю себя побежденным. Называйте это тщеславием, добродетелью, величием души — что значат слова? Но признайте в нас общую черту: оба мы люди идеи.

Как можно судить по таким откровенным беседам, по той терпимости, которая была обоими проявлена, мы были теперь в превосходных отношениях. На этот раз дело было серьезное. Если не считать препирательств, суть которых я пытался здесь воспроизвести, между нами воцарилось не просто взаимное уважение, но, смею сказать, даже некоторая приязнь. Когда я заболел (а случилось это вскоре после большого шторма), он сидел возле моей койки и развлекал меня разговорами, лечил меня какими-то превосходными лекарствами, которые я принимал без всякого опасения. Он сам это отметил.

— Вот видите,— говорил он.— Вы начинаете лучше узнавать меня. Еще совсем недавно на этом суденышке, где никто, кроме меня, не имеет ни малейшего понятия о медицине, вы заподозрили бы меня в том, что я злоумышляю на вашу жизнь. И заметьте, я стал относиться

---

[1] «Человек слова» *(франц.)*.

к вам с бóльшим почтением именно после того, как убедился, что вы готовы отнять у меня жизнь. Ну, скажите, неужели это говорит о мелочности ума?

Что мне было отвечать? Я верил в искренность его намерений по отношению ко мне самому; может быть, я был жертвой его притворства, но я верил (и посейчас верю), что он относился ко мне с искренним расположением. Странно и прискорбно, но как только произошла в нем эта перемена, враждебность моя ослабела и преследовавший меня горестный образ милорда совершенно изгладился у меня из памяти. И, может быть, основательна была последняя похвальба, с какой обратился ко мне Баллантрэ второго июля, когда наше долгое странствование уже приближалось к концу и мы спокойно входили в большую бухту Нью-Йорка, задыхаясь от нестерпимой жары, которую внезапно сменил невиданной силы ливень. Я стоял на корме, разглядывая приближавшиеся зеленые берега и видневшиеся кое-где дымки небольшого городка — цели нашего путешествия. И так как я уже обдумывал, как мне похитрее обойти нашего недруга, я не без замешательства увидел, что он подходит ко мне с радушно протянутой рукой.

— Я хочу попрощаться с вами,— сказал он,— и навсегда. Вы попадете опять в круг моих врагов, и сразу оживут все ваши предубеждения. Я всегда без промаха очаровывал всех, кого хотел: даже вы, мой добрый друг — позвольте мне раз в жизни назвать вас так,— даже вы уносите в душе совсем другое обо мне впечатление, и вы никогда не забудете о нем. Путешествие было слишком кратковременным, а не то впечатление было бы еще глубже. Но теперь всему этому пришел конец, и мы снова враги. Судите по нашему краткому перемирию, насколько я опасен, и скажите этим глупцам,— он указал пальцем на город,— чтобы они как следует подумали, прежде чем пренебрегать мною.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

СОБЫТИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Я уже упоминал, что решил обойти Баллантрэ, и с помощью капитана Макмэртри мне это без труда удалось. Пока с одного борта медленно грузили лодку, в которую спустился Баллантрэ, легкий ялик принял ме-

ня с другого борта и тотчас доставил на берег. Там я как можно скорее отыскал усадьбу милорда, расположенную на окраине города. Это был удобный, поместительный дом в глубине прекрасного сада, с обширными службами под одной крышей. Тут были и амбар, и хлев, и конюшня, и именно здесь я нашел милорда. Оказалось, что, увлеченный хозяйством, он проводит здесь бо́льшую часть времени. Я летел туда со всех ног и, запыхавшись, поведал ему мои новости, которые, по существу, были совсем не новы, поскольку уже несколько кораблей за это время обогнали «Несравненного».

— Мы вас уже давно ждем,— сказал милорд,— и последнее время теряли надежду когда-нибудь увидеть вас. Я рад снова пожать вам руку, Маккеллар. Я уже боялся, что корабль ваш погиб.

— Ах, милорд,— вскричал я,— будь на то соизволение божье, это было бы только к лучшему!

— Нет, почему же,— сказал он угрюмо.— Чего же лучше? Накопился длинный счет, и теперь по крайней мере я могу начать расплату.

Я выразил опасение за его безопасность.

— Ну,— сказал он,— здесь не Дэррисдир, и я принял меры предосторожности. Молва о нем опередила его, я подготовил брату достойную встречу. Судьба была на моей стороне, мне повстречался здесь купец из Олбени, который знавал его после 1745 года и у которого есть все основания подозревать его в убийстве,— дело идет о некоем Чью, тоже из Олбени. Никто здесь не удивится, если я не пущу Баллантрэ на порог и ему недозволено будет ни общаться с моими детьми, ни приветствовать мою жену. Сам же я, коли уж он приходится мне братом, готов выслушать его. В противном случае я лишу себя большого удовольствия,— потирая руки, заключил милорд.

Тут он поспешно разослал слуг к старейшинам провинции с письменными приглашениями. Не помню теперь, под каким предлогом он собирал их, но, во всяком случае, они прибыли, и, когда появился наш заклятый враг, он нашел милорда гулявшим по тенистой аллее перед домом в обществе губернатора и прочих нотаблей [1]. Миледи, сидевшая на веранде, в смятении поднялась и сейчас же увела детей в дом.

[1] Нотабли — важные персоны из дворянства и зажиточного купечества — «отцы города».

Баллантрэ, изящно одетый и при шпаге, изысканно раскланялся со всей компанией и фамильярно кивнул милорду. Милорд не ответил на его приветствие и, нахмурясь, смотрел на своего брата.

— Ну-с, сэр! — сказал он наконец.— Каким недобрым ветром принесло вас сюда, в страну, где (к нашему общему бесчестью) вы уже запятнали свою репутацию?

— Вам, милорд, следовало бы не забывать о вежливости! — вспылил Баллантрэ.

— Я не забываю о ясности,— возразил милорд,— потому что хочу, чтобы вам было ясно ваше положение. До́ма, где вас так мало знали, еще возможно было соблюдать видимость; здесь это будет совершенно бесцельно. И я должен прямо заявить вам, что решительно от вас отрекаюсь. Вам почти удалось разорить меня, как вы уже разорили и, более того, свели в могилу старика отца. Преступлениям вашим удавалось избежать закона, но друг мой губернатор обещал оградить от вас мою семью. Берегитесь, сэр! — закричал милорд, угрожая брату тростью.— Если установлено будет, что вы сказали хотя бы два слова кому-нибудь из моих домочадцев, закон обратится против вас и обуздает вас.

— Ах, вот как! — сказал Баллантрэ, медленно выговаривая слова.— Вот оно, преимущество быть на чужбине! Насколько я понимаю, эти джентльмены незнакомы с нашей историей. Они не знают, что лорд Дэррисдир — это я; они не знают, что вы младший из братьев, занявший мое место по негласному семейному уговору; они не знают (иначе они не удостоили бы вас своей близостью), что каждый акр нашей земли, как перед богом, принадлежит мне, и каждый пенс, которого вы меня лишаете, принадлежит мне, а вы вор, обманщик и вероломный брат.

— Генерал Клинтон! — закричал я.— Не слушайте эту ложь. Я управляющий их поместьем и свидетельствую, что в словах его нет ни слова правды. Он изгнанный мятежник, ставший наемным шпионом,— вот в двух словах вся его история.

Таким образом, я сгоряча проговорился о его позоре.

— Милостивый государь,— сурово сказал губернатор, обращаясь к Баллантрэ.— Я знаю о вас больше, чем вы можете предполагать. Обнаружились некоторые подробности таких ваших подвигов в наших местах, что

для вас же лучше будет, если вы не принудите меня нарядить по ним следствие. Тут и обстоятельства, при которых исчез мистер Джекоб Чью со всем своим товаром, и то, как вы стали обладателем значительной суммы денег и драгоценностей, и откуда вы взялись, когда вас подобрал на Бермудах наш капитан из Олбени. Поверьте мне, что я не поднимаю всего этого лишь во внимание к вашему семейству, а также из уважения к моему досточтимому другу лорду Дэррисдиру.

Шепот единодушного одобрения всех нотаблей сопровождал эти его слова.

— Мне следовало помнить,— проговорил смертельно побледневший Баллантрэ,— как ослепителен для всех в этом захолустье любой блестящий титул, вне зависимости от его законности. Мне остается тогда только умереть с голоду у крыльца милорда, и пусть труп мой служит украшением его дома.

— К чему эти напыщенные речи! — воскликнул милорд.— Вы прекрасно знаете, что мне это ни к чему. Единственно, чего я добиваюсь, это оградить себя от клеветы, а дом мой — от вашего вторжения. Я предлагаю вам на выбор: либо я оплачу ваше возвращение в Англию на первом же отплывающем корабле, и там, дома, вы, может, найдете способ продолжать ваши услуги правительству, хотя, свидетель бог, я предпочел бы увидеть вас разбойником на большой дороге. Или же, если это вам не угодно, извольте, оставайтесь здесь. Я установил ту минимальную сумму, на которую можно прожить здесь, в Нью-Йорке. И в этих размерах я готов выдавать вам еженедельное пособие. Если вы по-прежнему не способны улучшить ваше положение трудом рук своих, то теперь самое подходящее для вас время научиться этому. Но помните,— прибавил милорд в заключение,— что непременное мое условие: никаких разговоров с членами моей семьи, кроме меня самого!

Я еще не видел, чтобы кто-нибудь был так бледен, как Баллантрэ в эту минуту, но держался он прямо и губы у него не дрогнули.

— Меня встретили здесь,— сказал он,— совершенно незаслуженными оскорблениями, но я не намерен обращаться в бегство. Что ж, выдавайте мне вашу подачку. Я принимаю ее безо всякого стыда,— она, как и последняя ваша рубашка, все равно принадлежит мне. И я останусь здесь, пока эти джентльмены не познакомятся

со мной получше. Я думаю, что они уже кое-что поняли, поняли и то, что, как вы ни заботитесь о семейной чести, вам не терпится унизить ее в моем лице.

— Все это красивые слова,— сказал милорд,— но для нас, для тех, кто знает вас давно, они ровно ничего не значат. Вы избираете то, что кажется вам сейчас более выигрышным. Ну что ж, только не разглагольствуйте при этом; смею вас уверить, что молчание сослужит вам лучшую службу, чем это выражение неблагодарности.

— Вы говорите о благодарности, милорд! — вскричал Баллантрэ, возвышая голос и угрожающе подняв палец.— Будьте покойны, благодарности моей вам не избегнуть. А теперь, кажется, мне пора откланяться этим джентльменам, которым мы, должно быть, наскучили своими семейными делами.

И он отвесил каждому из них по церемонному поклону, оправил шпагу и удалился, оставив всех в полном недоумении, причем меня лично удивили не только его слова, но и решение милорда.

Теперь нам предстояло вступить в новую полосу этой семейной распри. Баллантрэ был вовсе не так беспомощен, как это предполагал милорд. Под рукой у него был всецело преданный ему искусный золотых дел мастер. Они вдвоем вполне могли прожить на пособие милорда, которое было не таким скудным, как это можно было предположить по его словам, так что все заработки Секундры Дасса они могли откладывать для осуществления своих планов. И я не сомневаюсь, что именно так они и поступали.

По всей вероятности, Баллантрэ намеревался скопить необходимую сумму, а затем отправиться на поиски тех сокровищ, которые когда-то закопал в горах, и если бы он этим ограничился, все обернулось бы к лучшему как для него, так и для нас. Но, к несчастью, он внял голосу своего гнева. Публичное бесчестье, которому он подвергся при возвращении (меня удивляло, как он его вообще пережил), не переставало терзать его, и он был похож на человека, по старому присловью, готового отрезать себе нос, чтобы досадить своему лицу. И вот он сделал себя всеобщим позорищем в расчете, что бесчестье падет и на милорда.

В беднейшей части города он выбрал уединенный дощатый домишко, полускрытый в тени акаций. По фа-

саду стена была прорезана, как в собачьей конуре, и перед отверстием устроено нечто вроде широкого прилавка, на котором прежний владелец раскладывал свои товары. Должно быть, это и привлекло внимание Баллантрэ и, возможно, внушило ему все дальнейшее. Оказалось, что на борту пиратского судна он обучился владеть иглой, по крайней мере в той степени, какая ему нужна была, чтобы разыгрывать роль портного. А именно в этом-то и была соль задуманного им мщения. Над конурой появилась вывеска, гласившая:

ДЖЕМС ДЬЮРИ

(ранее владетель Баллантрэ)

ПОЧИНКА И ШТОПКА ОДЕЖДЫ

СЕКУНДРА ДАСС

разорившийся джентльмен из Индии

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

А под этой вывеской, поджав ноги по-портновски, сидел на прилавке Баллантрэ и ковырял иглою. Я говорю «ковырял», потому что клиенты приходили главным образом к Секундре и шитье Баллантрэ было более под стать пряже Пенелопы. Он бы никогда не заработал таким образом и на масло к своему хлебу, но с него довольно было и того, что имя Дьюри красовалось на этой вывеске и что сам наследник славной фамилии сидел, поджав ноги калачиком, как живой укор братниной скупости. И затея его частично удалась, потому что по городу пошли толки и возникла целая партия, враждебно настроенная по отношению к милорду. Благосклонность к нему губернатора делала милорда только беззащитнее, а миледи, которая никогда не пользовалась особой симпатией в колонии, стала мишенью злостных намеков. В женском обществе, где так естественны разговоры о рукоделье, ей нечего было и думать заговорить о шитье; и сколько раз, бывало, я видел, как она возвращалась вся красная и навсегда зарекалась ходить в гости.

Тем временем милорд жил в своем благоустроенном поместье, поглощенный хозяйством, пользуясь расположением близких и безразличный к остальному. Он пополнел, лицо у него было оживленное, озабоченное. Самая жара, казалось, не тяготила его, и миледи, забывая

о собственных невзгодах, денно и нощно благодарила небо за то, что отец оставил ей в наследство этот райский уголок. Из окна она видела, какому унижению подвергся Баллантрэ, и с этого дня как будто обрела покой. Я, напротив, был далеко не спокоен. С течением времени я стал замечать в милорде не совсем здоровые черты. Он, несомненно, был счастлив, но основания для этого были его секретом. Даже находясь в лоне своей семьи, он непрестанно лелеял какую-то затаенную мысль, и в конце концов во мне зародилось подозрение (как оно ни было недостойно нас обоих), что у него где-то в городе есть любовница. Однако он редко выезжал, и день его был до отказа занят делами. Из моего поля зрения ускользал только короткий промежуток времени рано утром, когда мистер Александер был занят уроками. В свое оправдание я должен заметить, что я все еще находился в некотором сомнении касательно того, полностью ли восстановился рассудок милорда. А близость нашего врага, притаившегося тут же в городе, только усугубляла мою настороженность. Поэтому, переменив под каким-то предлогом час, в который я обычно обучал мистера Александера начаткам письма и счета, я вместо этого отправился выслеживать своего господина.

Каждое утро, невзирая на погоду, он брал трость с золотым набалдашником и, сдвинув шляпу на затылок (новая привычка, которая, по моим догадкам, означала разгоряченный лоб), отправлялся на свою обычную прогулку.

В этот день первым долгом он прошел по аллее в сторону кладбища, где посидел некоторое время, о чем-то размышляя. Потом свернул к берегу моря и, пройдя по набережной, оказался по соседству с конурой Баллантрэ. Теперь шаг милорда был быстрее и увереннее, как у человека, наслаждающегося воздухом и видом. Остановившись на набережной перед самой лачугой, он постоял, опираясь на свою трость. Это был именно тот час, когда Баллантрэ обычно усаживался на свой прилавок и ковырял иглой. И вот оба брата с застывшими лицами уставились друг на друга. Потом милорд тронулся в дальнейший путь, чему-то улыбаясь.

Только дважды мне пришлось прибегнуть к столь недостойному выслеживанию. Этого было достаточно, чтобы удостовериться в цели его прогулок и в тайном источнике непонятного довольства. Так вот какова была

любовница милорда: ненависть, а не любовь воодушевляла его. Может быть, иные моралисты были бы довольны таким открытием, но меня, признаюсь, оно ужаснуло. Такие отношения между братьями не только были отвратительны сами по себе, но и чреваты многими грядущими бедами. Поэтому я принял за правило (поскольку это позволяли мне мои разнообразные обязанности) при первой возможности кратчайшим путем опережать милорда и тайком наблюдать за их встречей.

Однажды, немного опоздав и придя после почти недельного перерыва, я был изумлен новым поворотом, который приняло дело. Возле конуры Баллантрэ была скамья, устроенная когда-то лавочником для удобства покупателей. Так вот на ней-то и сидел милорд, опираясь подбородком на трость и преспокойно разглядывая корабли и гавань. А всего в трех шагах от него тачал какую-то одежду его брат. Оба молчали, и милорд даже не глядел на своего врага. Ему, насколько я понимаю, доставляла жгучее удовольствие самая его близость.

Едва он двинулся прочь, как я, не скрываясь, нагнал его.

— Милорд, милорд,— сказал я,— ведь это же недостойно вас.

— Для меня это — лучшее лекарство,— ответил он, и не только эти слова, сами по себе странные, но и тон, каким они были произнесены, возмутили меня.

— Я должен предостеречь вас, милорд, против этого потворства злому чувству,— сказал я.— Не знаю, что́ страдает от этого больше: душа или разум,— но вы рискуете погубить как то, так и другое.

— Что вы понимаете! — сказал он.— Разве испытывали вы когда-нибудь такой гнет горечи?

— И даже не говоря о вас,— прибавил я,— но вы другого толкаете на крайности.

— Напротив. Я ломаю его гордыню.

И так в продолжение целой недели милорд каждое утро занимал все то же место на скамье. Она стояла в тени зеленых акаций, отсюда открывался чудесный вид на бухту и корабли, сюда долетали песни матросов, занятых своей работой.

Так они и сидели — без слова, без движения, только Баллантрэ тыкал иголкой или откусывал нитку, все еще делая вид, что портняжничает. Я тоже являлся туда

каждый день, не переставая изумляться и себе и обоим братьям. Когда проходил кто-нибудь из друзей милорда, он весело окликал их и сообщал, что он тут затем, чтобы дать полезный совет своему брату, который (к его, милорда, радости) так прилежно трудится. Даже это Баллантрэ переносил с угрюмым спокойствием, но что было при этом у него на уме, знает один бог или, вернее, сам сатана.

В тихий, ясный день той осенней поры, которую там зовут «индейским летом», когда все леса вокруг оделись в золото и багрянец, Баллантрэ вдруг отложил иглу и предался необузданному веселью. Я полагаю, что он долгое время молча готовился к этому, потому что все выглядело довольно естественно, но такой резкий переход от упорного молчания при обстоятельствах столь нерадостных сам по себе звучал для меня зловеще.

— Генри,— сказал он,— я на этот раз допустил ошибку, а у тебя на этот раз хватило ума воспользоваться ею. Портновский фарс сегодня же кончится, и должен тебе сказать, что ты переиграл меня,— поздравляю. Кровь — она сказывается, и признаюсь, ты нашел верный способ досадить мне самим своим присутствием.

Милорд не проронил ни слова, как будто Баллантрэ и не нарушил молчания.

— Послушай,— продолжал тот,— не хмурься, это тебе не к лицу. Ты теперь можешь позволить себе быть немножко снисходительнее, потому что (поверь мне) я не только признаю себя побежденным. Видишь ли, я хотел продолжить этот фарс до тех пор, пока не скоплю достаточно денег для одного предприятия, но, признаюсь чистосердечно, выдержки у меня не хватило. Ты, конечно, хотел бы, чтобы я покинул этот город, я пришел к той же мысли с другого конца. И я хочу тебе кое-что предложить, или, вернее, просить у вас милости, милорд.

— Проси,— сказал милорд.

— Ты, может быть, слышал, что у меня в этой стране накоплены были большие богатства. Неважно, слышал ты или нет, но это так. Я вынужден был закопать их в месте, которое известно только мне. Возвратить это мое достояние — вот теперь единственная моя мечта. А так как богатства эти, бесспорно, мои, то ты, надеюсь, не притязаешь на них.

— Отправляйся и доставай их,— сказал милорд.— Я не против.

— Очень приятно, — продолжал Баллантрэ, — но для этого нужны люди и средства передвижения. Путь туда далек и труден, местность наводнена дикими индейцами. Ссуди меня самым необходимым либо вперед, под твое пособие, либо, если тебе угодно, как долг, который я верну по возвращении. И тогда можешь быть спокоен: больше ты меня не увидишь.

Милорд упорно глядел ему прямо в глаза, жесткая улыбка тронула его губы, но он не сказал ни слова.

— Генри,— продолжал Баллантрэ с ужасающим спокойствием, но напряженно откинувшись назад,— Генри, я имел честь обратиться к тебе.

— Пойдем домой,— сказал мне милорд, которого я уже давно тянул за рукав. Он встал, потянулся, поправил на голове шляпу и, не говоря ни слова, тяжело зашагал по набережной.

На мгновение я растерялся, настолько серьезным показался мне этот поворот в отношениях братьев. Баллантрэ тем временем возобновил свое шитье, опустив глаза и ловко орудуя иголкой. Я решил нагнать милорда.

— В уме ли вы? — закричал я, поравнявшись с ним.— Неужели вы упустите такую счастливую возможность?

— Неужели вы ему все еще верите? — спросил милорд, и мне почудилась в этих словах насмешка.

— Пусть его убирается из города! — кричал я.— Пусть отправляется, куда хочет и как хочет, лишь бы он уехал!

— Я сказал свое слово,— возразил милорд.— Вы можете оставаться при своем. На этом и покончим.

Но я не оставлял мысли о том, чтобы спровадить Баллантрэ. Я не мог без содрогания вспомнить, как покорно он вернулся к своему портняжничанью. Ни один человек на свете, а тем более Баллантрэ, не мог бы вытерпеть такую цепь непрерывных оскорблений. В воздухе запахло кровью. И я поклялся, что не упущу ни малейшей возможности, не пренебрегу ничем, что могло бы предотвратить преступление. Поэтому в тот же день я вошел в кабинет милорда, где застал его за какими-то хозяйственными делами.

— Милорд,— сказал я.— Мне представился случай вложить мои скромные сбережения в подходящее дело.

Но, к несчастью, они хранятся в Шотландии, потребуется немало времени, чтобы получить их оттуда, а дело не терпит отлагательств. Не найдет ли ваша милость возможным выдать мне нужную сумму под вексель?

Он долго глядел на меня, словно читая мои мысли.

— Я никогда не спрашивал вас о ваших капиталах, Маккеллар,— сказал он.— Но, насколько мне известно, кроме страхового полиса, у вас нет за душой ни фартинга.

— Я давно служу вашей милости и никогда не лгал и до сего дня ни разу не просил об одолжении,— сказал я.

— Одолжение, но для кого? — ответил он спокойно.— Для Баллантрэ? Вы что, принимаете меня за дурака, Маккеллар? Поймите же раз и навсегда. Я укрощаю этого зверя по-своему. Ни страх, ни сожаление не тронут меня, и для того, чтобы обмануть меня, нужен выдумщик поискуснее вас. Я требую службы, верной службы, а не того, чтобы вы орудовали за моей спиной, портили все дело и крали мои же деньги, чтобы ими способствовать победе моего врага.

— Милорд,— сказал я,— чем я заслужил эти непростительные упреки?

— Подумайте, Маккеллар,— ответил он,— и вы поймете, что они вполне заслуженны. Непростительна ваша собственная уловка. Опровергните, если можете, что вы собирались с помощью этих денег обойти мои приказания, и я чистосердечно попрошу у вас прощения. Но если вы этого сделать не можете, тогда вы должны примириться с тем, что я называю ваше поведение его настоящим именем.

— Если вы полагаете, что в мои намерения входит что-либо иное, кроме вашего блага...— начал я.

— Мой старый друг,— сказал он,— вы прекрасно знаете, чтó я о вас думаю. Вот вам моя рука от чистого сердца; но денег — ни фартинга!

Потерпев в этом неудачу, я сейчас же пошел к себе, написал письмо и отнес его в гавань, где, как я знал, готовилось к отплытию торговое судно, и еще засветло был у дверей домишка Баллантрэ. Я вошел без стука и увидел, что он сидит со своим индусом за скромным ужином из маисовой каши с молоком. Внутри все было очень бедно, но чисто. На полке стояло несколько книг, а в углу скамеечка Секундры.

— Мистер Балли,— сказал я.— У меня в Шотландии отложено почти пятьсот фунтов, сбережения всей моей трудовой жизни. Вот с тем кораблем идет распоряжение перевести эти деньги сюда. Как только придет обратная почта, они будут ваши, на тех условиях, которые вы сегодня изложили милорду.

Он встал из-за стола, подошел ко мне, взял меня за плечи и, улыбаясь, поглядел в лицо.

— А между тем вы очень любите деньги! — сказал он.— Вы любите деньги больше всего на свете, если только не считать моего брата.

— Я страшусь старости и нищеты,— сказал я.— Но это совсем другое дело.

— Не будем спорить о словах. Называйте это как угодно. Ах, Маккеллар, Маккеллар, будь это проявлением хоть малейшей любви ко мне, с какой радостью принял бы я ваше предложение!

— Думайте что хотите,— горячо ответил я.— К стыду своему, я не могу видеть вас в этой лачуге без угрызений совести. Это не единственное мое побуждение и не первое, но оно есть. Я с радостью вызволил бы вас отсюда. Не из любви к вам предлагаю я деньги, далеко нет, но, бог мне судья, и не из ненависти, хотя меня и самого это удивляет.

— Ах,— сказал он, все еще держа меня за плечи и легко встряхнув.— Вы думаете обо мне больше, чем вам кажется. «Хотя меня и самого это удивляет»,— прибавил он, повторяя мое выражение и даже, как мне показалось, мою интонацию.— Вы честный человек, и поэтому я пощажу вас.

— Пощадите меня?! — вскричал я.

— Пощажу вас,— повторил он, отпуская меня и поворачиваясь ко мне спиной. А потом, снова обернувшись ко мне, продолжал: — Вы плохо представляете, Маккеллар, как я применил бы ваши деньги. Неужели вы думаете, что я примирился со своим поражением? Слушайте: жизнь моя была цепью незаслуженных неудач. Этот олух, принц Чарли, провалил блестящее предприятие; это был мой первый проигрыш. В Париже я снова высоко поднялся по лестнице почета; на этот раз по чистой случайности письмо попало не в те руки, и я снова остался ни с чем. Я в третий раз попытал счастья: с невероятным упорством я создал себе положение в Индии,— и вот появился Клайв [1], мой раджа был стерт в порошок, и я едва выбрался из-под обломков, как новый Эней [2], унося на спине Секундру Дасса. Три раза я добивался высочайшего положения, а ведь мне еще нет и сорока трех лет. Я знаю свет так, как его знают немногие, дожившие до преклонного возраста, знаю двор и лагерь, запад и восток; я знаю выход из любого положения, знаю тысячи лазеек. Сейчас я в расцвете своих сил и возможностей, я излечился и от болезней и от неумеренного честолюбия. И вот от всего этого я отказываюсь. Мне все равно теперь, что я умру и мир не услышит обо мне. Я хочу сейчас только одного, и этого добьюсь. Берегитесь, чтобы стены, когда они обрушатся, не погребли вас под обломками!

Когда я вышел от него, потеряв всякую надежду чем-либо помешать беде, я смутно ощутил какое-то оживление в порту и, подняв глаза, увидел только что причаливший большой корабль. Странно, как я мог так равнодушно глядеть на него,— ведь на нем прибыла смерть обоих братьев Дэррисдиров. После всех ожесточенных перипетий их борьбы, оскорблений, схватки интересов, братоубийственной дуэли — надо же было, чтобы пасквиль какого-то несчастного писаки с Грэб-стрит [3], кропающего себе на хлеб и не думающего, чтó именно он кропает, залетел сюда через море, за четыре тысячи миль, и послал обоих братьев в дикие холодные дебри лесов на смерть.

Но тогда я и не помышлял о возможности этого, и пока местные жители суетились вокруг меня, обрадованные редким оживлением в порту, я, возвращаясь домой, прошел сквозь их толпу, всецело поглощенный впечатлением от своего визита к Баллантрэ и от его слов.

В тот же вечер нам доставили с корабля пачку брошюр. На другой день милорд был приглашен на вечер к губернатору; уже время было собираться, и я оставил милорда одного в кабинете, где он перелистывал полу-

---

[1] Клайв Роберт — генерал-губернатор Индии, в XVIII веке грабежами, вымогательствами и интригами утвердивший в Индии владычество англичан и вытеснивший оттуда соперничавших с ними французов.

[2] По римскому преданию, Эней, покидая Трою, унес на плечах своего отца.

[3] Грэб-стрит — улица в Лондоне, где в XVII и XVIII веках жили мелкие писатели и журналисты.

ченные брошюры. Когда я вернулся, голова его лежала на столе, а руки были широко раскинуты над скомканными бумагами.

— Милорд, милорд! — вскричал я и поспешил к нему, думая, что ему дурно.

Он резко вскочил, словно его дернули за веревочку, лицо его было искажено яростью, так что, встреть я его в другом месте, я бы его, пожалуй, не узнал. Он замахнулся, словно намереваясь меня ударить.

— Оставьте меня в покое! — хрипло крикнул он. И я побежал, насколько позволяли мне трясущиеся ноги, искать миледи. Она не заставила себя просить, но когда мы прибежали, дверь была заперта изнутри и милорд крикнул нам, чтобы мы не мешали ему. Побледнев, мы посмотрели друг другу в глаза. Мы оба думали, что наконец-то беда разразилась.

— Я напишу губернатору, чтобы он извинил нас,— сказала она.— Нам нельзя пренебрегать покровительством друзей.— Но когда она взялась за перо, оно выпало из ее пальцев.— Я не могу писать,— сказала она.— Напишите вы.

— Попробую, миледи.

Она прочитала то, что я написал.

— Очень хорошо,— сказала она.— Благодарение богу, что у меня есть такая опора, как вы, Маккеллар. Но что с ним? Что? Что это может быть?

По моему предположению, тут и догадываться и объяснять было нечего. Я боялся, что попросту умопомешательство его наконец прорвалось наружу, как прорывается долго подавляемое пламя вулкана. Но этой своей догадки (во внимание к миледи) я, конечно, не высказывал.

— Сейчас, пожалуй, уместнее подумать о нашем собственном поведении,— сказал я.— Должны ли мы оставлять его там одного?

— Я не смею тревожить его,— ответила она.— Может быть, это у него естественная потребность — побыть одному. Может быть, это принесет ему облегчение. А мы — мы должны терпеть эту неизвестность. Нет, я не стану тревожить его.

— Тогда я пойду отправлю письмо и, если разрешите, вернусь посидеть с вами, миледи.

— Да, да, пожалуйста! — воскликнула она.

Почти весь вечер мы просидели вдвоем молча, наблюдая за дверью кабинета. Мое воображение было поглощено только что виденным и тем, насколько это было похоже на то, что мерещилось мне раньше. Я должен упомянуть об этом, потому что распространились всякие толки, и я встречал их даже в напечатанном виде со страшными преувеличениями и даже с упоминанием моего имени. Многое совпадало: так же в комнате, точно так же головою на столе, и на лице его выражение, потрясшее меня до глубины души. Но комната была другая, и не такая поза у милорда, и лицо его выражало болезненную ярость, а не то беспредельное отчаяние, которое постоянно (кроме одного случая, приведенного мною выше) виделось мне во сне. Такова правда, впервые поведанная мною посторонним; но если велика была разница, то и совпадение было достаточным, чтобы преисполнить меня тревоги.

Весь вечер, как я уже говорил, я просидел, размышляя об этом про себя, потому что у миледи было достаточно собственных забот, и мне и в голову не пришло бы тревожить ее своими выдумками. Попозже вечером она придумала послать за мистером Александером и велела ему постучать в дверь к отцу. Милорд отослал сына, но без всякого раздражения, и у меня затеплилась надежда, что припадок у него кончился.

Наконец, когда уже начала спускаться ночь и я зажег лампу, дверь кабинета распахнулась, и на пороге показался милорд. Свет был недостаточно силен, чтобы разобрать выражение его лица, а когда он заговорил, мне показалось, что голос его изменился, хотя он и звучал вполне твердо.

— Маккеллар,— сказал он.— Собственноручно передайте это письмо по назначению. Оно совершенно конфиденциально. Передайте его этому человеку наедине.

— Генри,— сказала миледи.— Ты не болен?

— Нет, нет! —ответил он с раздражением.—Я занят. Вовсе не болен. Я просто занят. Странное дело, почему это вы думаете, что человек болен, когда он просто занимается своими делами. Пришли мне в комнату ужин и корзину вина, я жду одного знакомого. А потом прошу не отрывать меня от дела.— И с этими словами он снова захлопнул дверь и заперся.

Письмо было адресовано некоему капитану Гаррису в одну портовую таверну. Я знал Гарриса (понаслыш-

же) как опасного авантюриста, в прошлом, как говорили, пирата, а теперь занятого тяжелым ремеслом — торговлей с индейцами. Я представить себе не мог, какое дело могло связывать его с милордом и даже каким образом он стал ему известен, разве что по судебному делу, из которого он только что едва выпутался. Как бы то ни было, я с большой неохотой выполнил поручение и, увидев, что представляет собою капитан, возвращался от него в большой печали. Я нашел его в вонючей комнате, возле оплывшей свечи и пустой бутылки. Он сохранял еще следы военной выправки, а может, только напускал на себя военный вид, потому что манеры его были ужасны.

— Передайте милорду мое почтение и скажите, что я буду у его милости не позже чем через полчаса,— сказал он, прочитав записку. А затем с заискивающим видом, указывая на пустую бутылку, намекнул, не угощу ли я его вином.

Хотя я приложил все старания, чтобы вернуться побыстрее, капитан прибыл сейчас же следом за мной и просидел у милорда допоздна. Уже пропели вторые петухи, когда я увидел (из окна моей комнаты), как милорд провожал его до ворот, причем оба они изрядно были пьяны и, разговаривая, прислонялись друг к другу, чтобы не упасть. Однако наутро милорд рано ушел из дому с сотней фунтов в кармане. Полагаю, что он вернулся без этих денег; и вполне уверен, что они не перешли в руки Баллантрэ, потому что все утро я держал его лачугу под наблюдением. Это был последний выход лорда Дэррисдира за пределы его владений до самого его отбытия из Нью-Йорка. Он наведывался на конюшню, сидел, разговаривая с домашними — все как обычно, но в городе не показывался и брата не посещал. Не появлялся больше и Гаррис вплоть до самого конца.

Меня сильно угнетала та атмосфера тайны, которая нас теперь окружала. Уже по резко изменившемуся образу жизни милорда ясно было, что его гнетет какая-то серьезная забота, но в чем она заключалась, откуда проистекала, почему он не выходил за пределы дома и сада, я решительно не мог догадаться. Ясно было одно: в этом деле сыграли свою роль привезенные на корабле брошюры. Я прочитал их все до одной, но все они были крайне незначительны и исполнены политиканского шутовства. Однако в них я не нашел ничего оскорбительного

даже по отношению к видным политическим деятелям, не говоря уже о людях, державшихся в стороне от политических интриг, каким был милорд. Я не знал того, что пасквиль, послуживший толчком, все время был спрятан на груди у милорда. Он находился там до самой его смерти; там я его нашел, когда он скончался в дебрях северных лесов. Именно там, в таком месте и при таких горестных обстоятельствах, я и прочитал впервые эту праздную, лживую выдумку вигского[1] писаки, восставшего против всякого снисхождения к якобитам.

Первый абзац гласил: «Еще один известный мятежник, Дж. Б.— э, восстановлен в своих титулах. Это дело уже обсуждалось в высоких сферах, так как он оказал какие-то услуги весьма сомнительного свойства и в Шотландии и во Франции. Брат его Л — д Д — р немногим лучше его по своим симпатиям, а теперешний наследник титула, который его будет лишен, воспитан в самых неподобающих убеждениях. По старой пословице, они одного поля ягода, но самый факт восстановления в правах этого кавалера слишком вопиющ, чтобы можно было пройти мимо него».

Человек в твердом уме, конечно, не придал бы ни малейшего значения столь явной выдумке. Подобное намерение правительства могло померещиться только клеветнику, который состряпал брошюру, а милорд, хотя и не блистал остроумием, всегда отличался здравым смыслом. То, что он поверил подобным измышлениям, носил этот пасквиль на груди, а слова его в сердце,— все это ясное свидетельство его поврежденного ума. Без сомнения, одно упоминание о мистере Александере и прямая угроза лишить ребенка его прав ускорили то, что давно назревало. А может быть, мой господин уже давно был помешан, но мы были недостаточно внимательны и слишком пригляделись к нему, чтобы понять степень его болезни.

Примерно неделю спустя после появления пасквиля я поздно вечером прогуливался по набережной и по привычке свернул по направлению к хижине Баллантрэ. Вдруг дверь отворилась, и при свете, выхватившем из мрака кусок дороги, я увидел человека, сердечно прощавшегося с хозяином. Каково же было мое изумление,

[1] Виги — партия, представлявшая в XVII веке в Англии интересы крупной торговой и финансовой буржуазии и торгового дворянства.

когда в человеке этом я узнал авантюриста Гарриса. Я не мог не заключить, что привела его сюда рука милорда, и на обратном пути был погружен в тяжкие размышления. Домой я вернулся поздно и застал милорда за укладкой саквояжа, сопровождавшего его в путешествиях.

— Ну, куда вы пропали? — закричал он.— Завтра мы уезжаем в Олбени, мы с вами, и вам надо сейчас же собраться в путь.

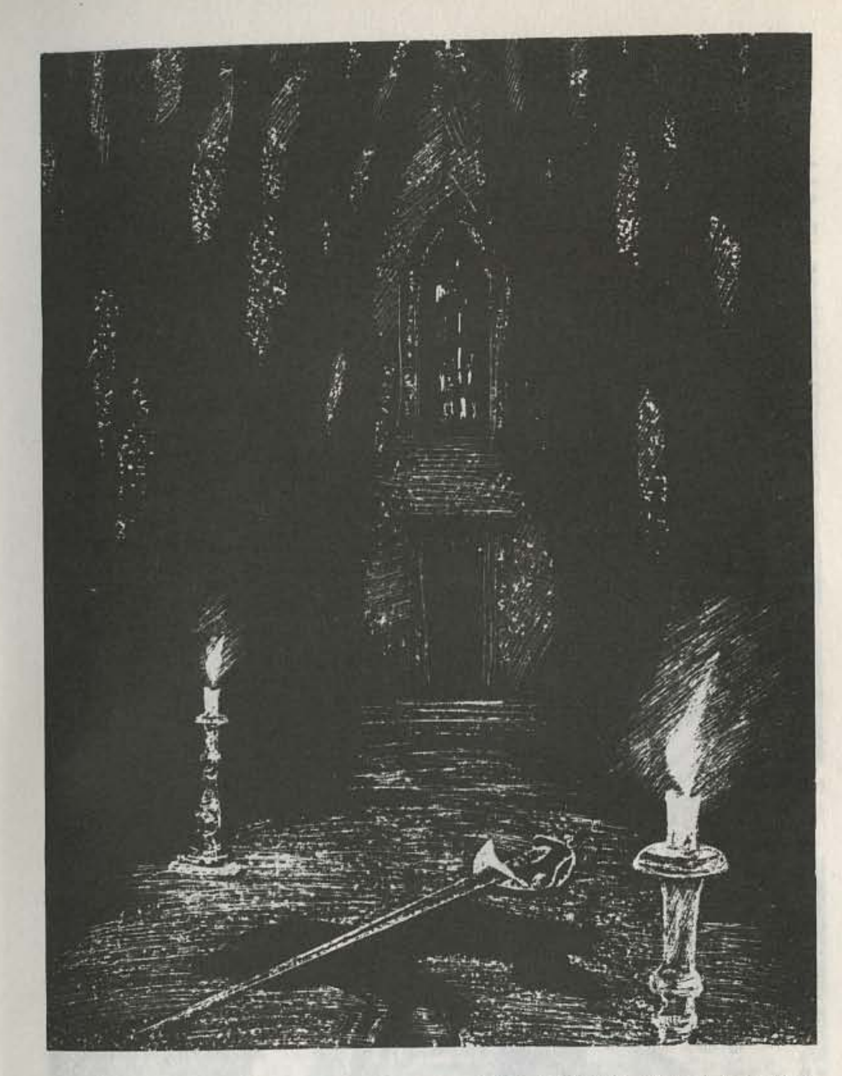
— В Олбени, милорд! — воскликнул я.— А с какой стати?

— Перемена обстановки,— сказал он.

Миледи, у которой глаза были заплаканы, подала мне знак повиноваться без дальнейших возражений. Позднее, как только мы нашли случай обменяться несколькими словами, она рассказала мне, что он внезапно объявил ей о своем отъезде сразу же после посещения капитана, и все усилия ее не только отговорить его от этой поездки, но хотя бы выяснить ее причины остались тщетными.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
СКИТАНИЯ ПО ЛЕСАМ

Мы совершили благополучно путешествие вверх по чудесной реке Гудзон. Погода была прекрасная, холмы необычайно приукрашены своим осенним убранством. В Олбени мы остановились на постоялом дворе, и я не был настолько слеп, а милорд не был настолько искусен, чтобы я не разглядел его намерения держать меня взаперти. Та работа, которую он для меня придумал, вовсе не была настолько спешной, чтобы ее выполнять без необходимых документов, запершись в номере захолустной гостиницы, и вовсе она не была настолько важна, чтобы заставить меня по четыре-пять раз переписывать все ту же бумагу. Я делал вид, что подчиняюсь, но под рукой принимал свои меры и благодаря любезности нашего хозяина был осведомлен о всех городских новостях. Таким путем я узнал наконец то, чего, надо сказать, ожидал уже очень давно. Мне сообщили, что капитан Гаррис, в сопровождении мистера Маунтена, торговца, проплыл в лодке вверх по реке. Я стал избегать проницательного



«ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ»

«ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ»

взгляда трактирщика — настолько усилилось во мне чувство, что милорд как-то замешан в этом деле. Но все же, признав в разговоре, что знаю капитана, а мистера Маунтена в глаза не видел, я спросил, не было ли с ними других спутников. Мой осведомитель не знал этого; мистер Маунтен высадился ненадолго, чтобы сделать необходимые закупки, потолкался в городе, торгуясь, выпивая и хвастая, и похоже было, что они предприняли какую-то многообещающую затею, потому что он подробно распространялся о том, как широко будет жить по возвращении. Больше ничего не было известно, потому что, кроме него, никто с лодки не приходил в город и они, по-видимому, очень спешили до снега добраться в какое-то определенное место.

Помню, что в Олбени на другой день выпал легкий снежок и сейчас же растаял — это было словно предупреждение о том, что нас ожидает. Тогда я над этим не задумывался, еще плохо зная немилосердную природу этой страны. Теперь-то я многое понимаю и часто думаю, не таился ли ужас событий, о которых мне предстоит рассказать, в свинцовом небе и неистовых ветрах, на чью волю мы оказались отданы, и в ужасающей стуже, принесшей нам такие страдания.

После того как проплыла лодка, я сначала предполагал, что мы вернемся в Нью-Йорк. Но не тут-то было. Милорд без какой-либо видимой причины затягивал свое пребывание в Олбени и держал меня при себе, нагружая никому не нужной работой. Я чувствую, что подвергнусь заслуженному осуждению за то, что сейчас скажу. Я был не настолько глуп, чтобы не понимать своих собственных подозрений. Я видел, что жизнь Баллантрэ доверена Гаррису, и не мог не подозревать в этом какого-то умысла. У Гарриса была плохая репутация, и его втайне ссужал деньгами милорд. Торговец Маунтен, как выяснилось из моих расспросов, был птицей того же полета. Предприятие, которое они затеяли,— отыскание награбленных сокровищ — само по себе давало повод к нечистой игре; а характер местности, куда они отправлялись, обещал полную безнаказанность в любом кровавом деле. Но не забудьте, что я был тот самый человек, который пытался спихнуть Баллантрэ за борт в море, тот самый, который предлагал от души нечестивую сделку самому господу богу, пытаясь сделать его своим наемным убийцей. Правда, я во многом потакал нашему

врагу. Но об этом я всегда думал как о проявлении слабости моей плоти, как о своей вине. Разум мой всегда был тверд в своей враждебности к этому человеку. Правда и то, что одно дело — самому брать на свои плечи весь риск и вину злоумышленника и совсем другое — стоять в стороне и глядеть, как марает и губит себя милорд. В этом-то и была главная причина моего бездействия. Потому что (вмешайся я хоть сколько-нибудь в это дело) я, может быть, и не спас бы Баллантрэ, но неминуемо очернил бы милорда.

Вот почему я бездействовал и вот в чем и сейчас вижу свое оправдание. Тем временем мы продолжали жить в Олбени, и, хотя были одни в чужом городе, мы мало общались и только обменивались приветствиями при встрече. Милорд привез с собой несколько рекомендательных писем ко многим видным местным горожанам-землевладельцам, других он встречал раньше в Нью-Йорке. Благодаря этим знакомствам он имел возможность бо́льшую часть времени проводить вне дома и, к моему огорчению, вести слишком рассеянный образ жизни. Часто я уже был в постели и томился бессонницей, когда он еще только возвращался из гостей, и почти каждый вечер он отдавал неумеренную дань спиртным напиткам. Днем он по-прежнему нагружал меня бесконечными поручениями, проявляя неожиданную для меня изобретательность в том, чтобы выдумывать и беспрестанно подновлять эту пряжу Пенелопы. Как я уже говорил, я ни от чего не отказывался, потому что нанят был выполнять его приказания, но мне нетрудно было раскусить его нехитрые уловки, и я позволял себе иногда говорить это ему в лицо.

— Мне представляется, что я черт, а вы Майкл Скотт [1],— сказал я ему однажды.— Я уже навел мост через Твид и расколол Эйлдонский хребет ущельем, а теперь вы поручаете мне свить канат из песка.

Он посмотрел на меня, блеснув глазами, и отвел их в сторону. Челюсть его зашевелилась, он словно жевал слова, но вслух не сказал ничего.

— Право же, милорд,— продолжал я,— ваша воля для меня закон. И, конечно, я перепишу эту бумагу в четвертый раз, но, если вашей милости не трудно, придумайте мне на завтра новый урок, потому что, сказать по правде, этот мне уж очень наскучил.

[1] Майкл Скотт — средневековый ученый, ставший персонажем английских народных сказок; благодаря уму и хитрости он командует даже чертом.

— Вы сами не знаете, что говорите,— сказал милорд, надевая шляпу и поворачиваясь ко мне спиной.— Странное это удовольствие — доставлять мне неприятности. Вы мне друг, но и дружбе есть границы. Странное дело! Мне не везет всю жизнь. И до сих пор я окружен всякими ухищрениями, вынужден распутывать заговоры.— Голос его поднялся до крика.— Весь мир ополчился против меня!

— На вашем месте я не стал бы придумывать таких небылиц,— сказал я.— А вот что бы я сделал, так это окунул бы голову в холодную воду. Потому что вчера вы, должно быть, выпили сверх меры.

— Вот как?— сказал он, как будто заинтересованный моим советом.— А это и правда помогает? Никогда не пробовал.

— Я вспоминаю дни, милорд, когда вам и нужды не было пробовать, и хотел бы, чтобы они воротились. Ведь разве вы сами не видите, что, если так будет продолжаться, вы самому себе причините вред?

— Просто я сейчас переношу спиртное хуже, чем раньше. И меня немножко развозит, Маккеллар. Но я постараюсь держать себя в руках.

— Именно этого я и жду от вас. Вам не следует забывать, что вы отец мистера Александера. Передайте мальчику ваше имя незапятнанным.

— Ну, ну,— сказал он.— Вы очень рассудительный человек, Маккеллар, и давно уже находитесь у меня на службе. Но если вам нечего больше сказать,— прибавил он с той горячей, ребячливой пылкостью, которая ему была теперь свойственна,— я, пожалуй, пойду!

— Нет, милорд, мне нечего добавить,— довольно сухо сказал я.

— Ну, тогда я пойду,— повторил милорд, но, уже стоя в дверях, он обернулся и, теребя шляпу, которую снова снял с головы, посмотрел на меня.— Больше я вам ни на что не нужен? Нет? Так я пойду повидать сэра Уильяма Джонсона, но я буду держать себя в руках.— Он помолчал с минуту, а потом с улыбкой добавил: — Знаете то место, Маккеллар, немного ниже Энглза, там ручей течет под обрывом, где растет рябина. Помню, я часто бывал там мальчишкой; бог мой, это мне кажется какой-то старой песней. Я тогда только и думал, что о

рыбе, и, случалось, брал знатный улов. Эх, и счастлив же я был тогда! И почему это, Маккеллар, почему *теперь* я не могу быть таким же?

— Милорд,— сказал я,— если вы будете умереннее по части спиртного, вам будет много лучше. Старая поговорка говорит, что бутылка — плохой утешитель.

— Да, да, конечно,— сказал он.— Конечно! Ну что ж, я пошел.

— Путь добрый, милорд,— сказал я.— До свиданья.

— До свиданья, до свиданья,— повторил он и вышел наконец из комнаты.

Я привел этот разговор, чтобы показать, каким милорд бывал по утрам, и если читатель не заметит, насколько он сдал за это время, значит, я плохо описал своего господина. Знать всю глубину его падения, знать, что он слывет среди своих собутыльников ничтожным, тупым пьянчужкой, терпимым (если только его терпели) лишь за его титул, и вспоминать, с каким достоинством он переносил когда-то удары судьбы,— от этого впору было одновременно и негодовать и плакать.

А в нетрезвом виде он был еще более несдержан. Я приведу только один случай, имевший место уже в самом конце,— случай, который навсегда запечатлелся в моей памяти, а в свое время исполнил меня прямо-таки ужаса.

Я уже был в кровати, но не спал, когда услышал, как он поднимается по лестнице, топая и распевая песни. Милорд не был привержен к музыке, все таланты семьи достались на долю старшего брата, поэтому, когда я говорю «распевал», это следует понимать — горланил и приговаривал. Так иногда пробуют петь дети, пока не начнут стесняться, но слышать такое от взрослого, пожилого человека по меньшей мере странно. Он приоткрыл дверь с шумливыми предосторожностями пьяного, вглядевшись в полумрак комнаты, прикрывая свою свечу ладонью, и, решив, что я сплю, вошел, поставил свечу на стол и снял шляпу. Я очень хорошо видел его; казалось, в его жилах бурлила лихорадочная веселость. Он стоял, ухмылялся и хихикал, глядя на свечу. Потом он поднял руку, прищелкнул пальцами и принялся раздеваться. Поглощенный этим, он, очевидно, забыл о моем присутствии и снова запел. Теперь я уже различал слова старой песни «Два ворона», которые он повторял снова и снова:

И над костями его скелета
Ветер пусть воет зиму и лето.

Я уже говорил, что он не отличался музыкальностью. Мотив был бессвязен, и его отличало только минорное звучание, но он соответствовал словам и чувствам поющего с варварской точностью и производил на слушателя неизгладимое впечатление. Начал он в темпе и ритме плясовой песни, но сразу же непристойное веселье стало сбывать, он тянул ноты с жалкой чувствительностью и кончил на таком плаксивом пафосе, что просто невыносимо было слушать. Точно так же постепенно сбывала резкость всех его движений, и, когда дело дошло до брюк, он уселся на кровати и принялся хныкать. Я не знаю ничего менее достойного, чем пьяные слезы, и поскорее отвернулся от этого позорного зрелища.

Но он уже вступил на скользкую стезю самооплакивания, на которой человека, обуянного старыми горестями и свежими возлияниями, остановить может только полное истощение сил. Слезы его лились ручьем, а сам он, на две трети обнаженный, сидел в остывшей комнате. Меня попеременно терзала то бесчеловечная досада, то сентиментальная слабость; то я привставал в постели, чтобы помочь ему, то читал себе нотации, стараясь не обращать внимания и уснуть, до тех пор, пока внезапно мысль «*quantum mutatus ab illo*»[1] не пронзила мой мозг; и, вспомнив его прежнюю рассудительность, верность и терпение, я поддался беззаветной жалости не только к моему господину, но и ко всем сынам человеческим.

Тут я соскочил с кровати, подошел к нему и коснулся его голого плеча, холодного, словно камень. Он отнял руки от лица, и я увидел, что оно все распухло, все в слезах, словно у ребенка, и от этого зрелища досада моя взяла верх.

— Стыдитесь!— сказал я.— Что за ребячество! Я бы тоже мог распустить нюни, если бы слил в брюхо все вино города. Но я лег спать трезвым, как мужчина. Ложитесь и вы и прекратите это хныканье!

— Друг Маккеллар,— сказал он.— Душа болит!

— Болит? — закричал я на него.— Оно и понятно! Что это вы пели, когда вошли сюда? Пожалейте других,

[1] «Как он изменился против прежнего» *(лат.)*. Цитата из «Энеиды» Вергилия.

тогда и другие вас пожалеют. Выбирайте что-нибудь одно, я не хочу служить межеумкам. Хотите бить — так бейте, терпеть — терпите!

— Вот это дело! — закричал он в необычайном возбуждении. — Бить, бить! Вот это совет! Друг мой, я слишком долго терпел все это. Но когда они посягают на моего ребенка, когда дитя мое под угрозой... — Вспышка прошла, он снова захныкал: — Дитя мое, мой Александер! — и слезы снова потекли ручьем.

Я взял его за плечи и встряхнул.

— Александер! — сказал я. — Да вы хоть подумали о нем? Не похоже! Оглянитесь на себя, как подобает настоящему мужчине, и вы увидите, что все это самообман. Жена, друг, сын — все они одинаково забыты вами, и вы предались всецело вашему себялюбию.

— Маккеллар, — сказал он, и к нему как будто вернулись прежние повадки и голос. — Вы можете говорить обо мне все что угодно, но в одном грехе я никогда не был повинен — в себялюбии.

— Как хотите, но я должен открыть вам глаза, — сказал я. — Сколько времени мы живем здесь? А сколько раз вы писали своим домашним? Кажется, впервые вы разлучаетесь с ними, а написали вы им хоть раз? Они могут думать, что вас уже нет в живых.

Этим я затронул его самое уязвимое место, это подстегнуло все лучшее в нем, он перестал плакать, он, каясь, благодарил меня, улегся в постель и скоро уснул. Первое, за что он взялся наутро, было письмо к миледи. Это было очень ласковое письмо, хотя он так его и не кончил. Вообще всю переписку с Нью-Йорком вел я, и судите сами, какая то была неблагодарная задача. О чем писать миледи и в каких выражениях, до каких пределов выдумывать и в чем быть беспощадно откровенным — все эти вопросы не давали мне спать.

А между тем милорд с нарастающим нетерпением ожидал вестей от своих сообщников. Гаррис, надо полагать, обещал закончить дело как можно скорее. Уже прошли все сроки, а напряженное ожидание было плохим советчиком для человека с тронутым рассудком.

Воображение милорда все это время было неотрывно приковано к лесным дебрям и следовало по пятам той экспедиции, в делах которой он был так заинтересован. Он беспрестанно представлял себе их привалы и переходы, окружающую местность, тысячи возможных способов все того же злодеяния и как результат — братнины кости, над которыми завывает ветер. Эти тайные, преступные мысли все время выглядывали в его разговорах, словно из зарослей, и я их отлично видел. Не мудрено, что вскоре его стало физически притягивать место его мысленного преступления.

Хорошо известно, каким предлогом он воспользовался. Сэр Уильям Джонсон был послан в эти места с дипломатическим поручением, и мы с милордом присоединились к его свите (якобы из простой любознательности). Сэр Уильям был хорошо снаряжен и хорошо снабжен. Охотники приносили нам дичь, ежедневно для нас ловили свежую рыбу, и бренди лилось рекою. Мы двигались днем, а на ночь разбивали бивуак на военный лад. Сменялись часовые, каждый знал свое место по тревоге, и душой всего был сам сэр Уильям. Меня все это по временам даже занимало. Но, к нашему несчастью, погода сразу установилась на редкость суровая, дни еще бывали мягкие, но по ночам сильно морозило. Почти все время лицо нам обжигал пронзительный ветер, так что пальцы у нас синели, а ночью, когда мы, скорчившись, грелись у костров, одежда у нас на спине казалась бумажной. Нас окружало ужасающее безлюдье, местность эта была совершенно пустынна, не видно было ни дымка, и, кроме одной-единственной купеческой лодки на второй день пути, нам в дальнейшем никто не встретился. Конечно, время было позднее, но это полное безлюдье на торговом водном пути угнетало даже самого сэра Уильяма. Не раз я слышал, как он выражал свои опасения.

— Я отправился слишком поздно, — говорил он, — они, должно быть, выкопали топор войны.

И дальнейшее подтвердило его догадки.

Я не в силах описать, в какой мрак погружена была моя душа в продолжение всего этого путешествия. Я не охотник до необычайного, зрелище наступающей зимы на лесных бивуаках так далеко от дома угнетало меня, как кошмар. Я чувствовал, что мы бросаем безрассудный вызов могуществу господню, и чувство это, которое, смею сказать, рекомендует меня трусом, стократно усугублялось тайным сознанием того, что мы должны были обнаружить. Вдобавок меня крайне тяготила обязанность развлекать сэра Уильяма. Милорд к этому времени окончательно погрузился в состояние, граничившее

со столбняком. Он, не отрываясь, вглядывался в лесную чащу, почти не спал и говорил за весь день слов двадцать, не больше. То, что он говорил, имело смысл, но почти неизменно вращалось вокруг той экспедиции, которую он высматривал с такой безумной настойчивостью. Часто и каждый раз как новость, он сообщал сэру Уильяму, что у него «брат где-то здесь, в лесах», и просил, чтобы разведчикам было дано указание справляться о нем. «Я очень жду вестей о брате»,— твердил он. А иногда на пути ему казалось, что он видит челнок впереди на реке или стоянку на берегу, и тогда он проявлял крайнее волнение.

Сэра Уильяма не могли не удивить такие странности, и наконец он отвел меня в сторону и поделился со мной своими догадками. Я тронул рукой голову и покачал ею; меня даже порадовало, что своим свидетельством я отведу угрозу возможного разоблачения

- Но в таком случае,— воскликнул сэр Уильям,— допустимо ли оставлять его на свободе?

— Те, кто знает его ближе уверены, что ему следует потакать.

— Ну что ж,— сказал сэр Уильям,— конечно, это не мое дело. Но если бы я знал это раньше, я ни за что не взял бы вас с собой.

Наше продвижение в эту дикую страну продолжалось без всяких приключений около недели. Однажды вечером мы разбили бивуак в теснине, где река прорывалась сквозь высокие холмы, поросшие лесом. Костры были разожжены на отмели, у самой воды, и, поужинав, мы, как обычно, легли спать. Ночь выдалась убийственно холодная: жестокий мороз добирался до меня и сквозь одеяло; я продрог до костей и не мог заснуть. К рассвету я поднялся и то сидел у костров, то расхаживал взад и вперед по берегу, чтобы как-нибудь согреть окоченевшее тело. Наконец заря занялась над заиндевевшим лесом и холмами, спящие заворошились под грудой одежды, а бурная река с ревом неслась среди торчавших из воды оледеневших скал. Я стоял, озирая окрестность, весь закутанный в жесткий тяжелый плащ бизоньего меха, воздух обжигал ноздри, и дыхание выходило паром, как вдруг странный пронзительный крик раздался с опушки соседнего леса Часовые откликнулись на него, спящие мигом вскочили на ноги. Кто-то

указал направление, другие вгляделись, и вот на опушке меж двух стволов мы различили человека, исступленно простирающего к нам руки. Спустя минуту он бегом кинулся к нам, упал на колени у границы лагеря и разрыдался.

Это был Джон Маунтен, торговец, который перенес ужасающее испытание, и первое его слово, обращенное к нам, как только он обрел дар речи, был вопрос, не видали ли мы Секундры Дасса.

— Кого? — спросил сэр Уильям.

— Нет, мы его не видели,— сказал я.— А что?

— Не видели? — сказал Маунтен.— Так, значит, я все-таки был прав.— При этом он провел ладонью по лбу.— Но что заставило его вернуться? Что ему надо там, среди мертвых тел? Черт возьми, тут какая-то тайна!

Его слова возбудили в нас горячий интерес, но лучше будет, если я изложу все по порядку. Далее вы прочтете рассказ, который я составил по трем источникам, кое в чем не совсем совпадающим.

Первый источник—это письменное показание Маунтена, в котором искусно затушевана преступная подоплека всего дела.

Второй — два разговора с Секундрой Дассом и

Третий — неоднократные беседы с Маунтеном, в которых он был со мной совершенно откровенен, так как, по правде говоря, считал и меня сообщником.

Рассказ со слов торговца Маунтена

Партия, отправившаяся вверх по Гудзону, под объединенным началом капитана Гарриса и Баллантрэ, состояла из девяти человек, причем среди них не было ни одного (за исключением Секундры Дасса), который не заслуживал бы виселицы. Начиная с самого Гарриса, все участники были известны в колонии как бесшабашные, кровожадные негодяи. Некоторые из них были заведомые пираты и большинство — контрабандисты, все поголовно гуляки и пьяницы. Все они были достойными сообщниками и, не задумываясь, взяли на себя исполнение этого предательского и злодейского умысла. Судя по рассказу, не видно было ни малейшей попытки установить дисциплину или выбрать предводителя шайки, но

Гаррис и четверо других — сам Маунтен, два шотландца, Пинкертон и Хэйсти, и некто Хикс, спившийся сапожник,— сразу столковались и определили план действий. Они были хорошо снаряжены, а у Баллантрэ, в частности, была с собой палатка, что обеспечивало ему возможность держаться особняком.

Даже это ничтожное преимущество с самого начала восстановило против него всех прочих. Да и вообще положение его было настолько двусмысленное (и даже смешное), что все его повелительные повадки и умение очаровывать ни на кого не действовали. Все, кроме Секундры Дасса, рассматривали его как одураченного глупца и намеченную жертву, слепо идущую на смерть. Сам он, однако, едва ли не считал, что это он задумал и возглавил экспедицию, и едва ли не держал себя соответствующим образом, на что люди, посвященные в тайну, только усмехались себе в кулак. Я настолько привык представлять себе его высокомерную, повелительную манеру, что, думая о положении, в которое он попал среди этих разбойников, был огорчен за него и даже стыдился. Когда могла возникнуть у него первая догадка, мне не известно, но возникла она не скоро. И глаза у него раскрылись, когда партия ушла далеко в лесные дебри и помощи ждать было неоткуда.

Произошло это так. Однажды Гаррис и другие уединились в лесу, чтобы посовещаться, как вдруг их внимание привлек шорох в кустах. Они все были привычны к хитростям индейцев, а Маунтен не только жил и охотился с ними, но даже воевал вместе с ними и пользовался среди них почетом. Он умел передвигаться по лесу без всякого шума и выслеживать врага, как ищейка. И когда возникло подозрение, он был отправлен остальными на разведку. Он нырнул в заросли и скоро убедился, что по соседству с ним осторожно, но неумело пробирается сквозь кусты какой-то человек. Проследив его, он увидел, что это уползает, тревожно оглядываясь, Секундра Дасс. Маунтен не знал, огорчаться ему или радоваться такому открытию, и, когда, вернувшись, он рассказал об этом, его сообщники точно так же недоумевали. Правда, сам по себе индиец не был опасен, но, с другой стороны, если Секундра Дасс взял на себя труд выслеживать их, то, по-видимому, он понимал по-английски, а это значило, что весь их разговор известен Баллантрэ. Одна любопытная деталь: если Секундра Дасс понимал по-

английски и скрывал это, то Гаррис, в свою очередь, знал несколько наречий Индии, но так как поведение его в этой части света было не только распутно, но и преступно, он не считал нужным разглашать свое прошлое. Таким образом, каждая сторона имела свои преимущества. Как только выяснены были все эти обстоятельства, заговорщики вернулись в лагерь, и Гаррис, видя, что индус уединился с Баллантрэ, подполз к их палатке, в то время как остальные, покуривая трубки у костра, с нетерпением ждали новостей. Когда Гаррис вернулся, лицо у него было мрачное. Он слышал достаточно, для того чтобы подтвердить самые худшие подозрения. Секундра Дасс отлично понимал по-английски, он уже несколько дней выслеживал и подслушивал их, и Баллантрэ теперь был полностью посвящен в их замысел. Они с Дассом уговорились завтра же отстать на очередном волоке и пробираться сквозь леса, предпочитая голод или встречу с дикими зверями и индейцами пребыванию среди убийц.

Что было делать заговорщикам? Некоторые хотели убить Баллантрэ немедленно, но Гаррис возразил, что это будет бесцельное убийство, потому что вместе с ним умрет и тайна сокровища. Другие высказывались за то, чтобы отказаться от всей затеи и плыть обратно в Нью-Йорк. Однако приманка зарытых богатств и мысль о долгом пути, который они уже проделали, удержала большинство от этого решения. Мне кажется, что в основном они были туповаты. Правда, Гаррис повидал свет, Маунтен был неглуп, а Хейсти получил кое-какое образование, но даже они были типичными неудачниками, а остальных они навербовали среди худших подонков колонии. Во всяком случае, решение, к которому они пришли, было подсказано скорее алчностью и надеждой, чем разумом. Они решили ждать, быть начеку, следить за Баллантрэ, придерживать языки, не давать ему повода к дальнейшим подозрениям и всецело положиться (как мне кажется) на то, что их жертва точно так же алчна, неразумна и ослеплена надеждой, как и они сами, и в конце концов отдаст в их руки и жизнь и богатство одновременно.

На другой день Баллантрэ и Секундра дважды считали, что ускользнули от своих убийц, и дважды были настигнуты. Баллантрэ, правда, во второй раз заметно побледнел, но в остальном не выказывал ни тени огорче-

ния, шутил над собственной нескладностью, которая позволила ему заблудиться, благодарил настигших его как за величайшую услугу и возвращался в лагерь с обычным своим бравым и оживленным видом. Но, конечно, он почуял ловушку: с этого времени они с Секундрой переговаривались только шепотом и на ухо, и Гаррис напрасно мерз возле их палатки, стараясь что-нибудь подслушать. В ту же ночь было объявлено, что они бросят лодки и пойдут дальше пешком, устраняя сумятицу перегрузок на порогах, это сильно уменьшало шансы на успешный побег.

И вот началась молчаливая борьба, где ставкой была, с одной стороны, жизнь, с другой,— богатство. Они приближались теперь к тем местам, где сам Баллантрэ должен был показывать дальнейший путь, и, ссылаясь на это, Гаррис и другие целые ночи напролет просиживали с ним у костра, вызывая его на разговор и стараясь выудить у него нужные сведения. Баллантрэ знал, что если проговорится, то тем самым подпишет себе смертный приговор; с другой стороны, он не должен был уклоняться от их вопросов,— наоборот, должен был делать вид, что по мере сил помогает им, чтобы не подчеркивать своего недоверия. И Маунтен уверял, что, несмотря ни на что, Баллантрэ и бровью не повел. Он сидел в кружке этих шакалов, на волосок от гибели, так, словно был остроумный, гостеприимный хозяин, принимающий гостей у своего камина. У него на все был ответ — чаще всего шутка, он искусно избегал угроз, парировал оскорбления, рассказывал, смеялся и слушал других с самым непринужденным видом, короче говоря, вел себя так, что обезоруживал подозрения и расшатывал твердую уверенность в том, что он все знает. В самом деле, Маунтен признавался мне, что они готовы были усомниться в открытии Гарриса и считать, что их жертва по-прежнему пребывает в полном неведении об их умысле, если бы Баллантрэ (хотя и находчиво) не уклонялся от прямых ответов и, к довершению всего, не предпринимал все новых попыток к бегству. О последней такой попытке, которая привела к развязке, мне и предстоит сейчас рассказать. Но сначала я должен упомянуть, что к этому времени терпение спутников Гарриса почти истощилось, они отбросили всякие церемонии и, как одно из проявлений этого, у Баллантрэ и Секундры (под каким-то ничтожным предлогом) отобрали оружие. Со своей стороны, обе жертвы подчеркивали свое дружелюбие: Секундра не переставал кланяться, Баллантрэ — улыбаться. В последний вечер этого «худого мира» он дошел до того, что развлекал всю компанию песнями. Заметили также, что в этот вечер он ел с необычным для него аппетитом и пил соответственно; конечно, это было неспроста.

Около трех часов утра он вышел из своей палатки, со стонами и жалобами на рези в животе. Некоторое время Секундра хлопотал вокруг своего господина, потом тому полегчало, и он прилег и уснул тут же на мерзлой земле за палаткой. Через некоторое время сменился часовой. Он указал, где лежит Баллантрэ, укрытый своим плащом бизоньего меха, и новый часовой (как он потом утверждал) глаз не сводил со спящего. Но вот на рассвете вдруг налетел сильный порыв ветра и завернул угол плаща; тем же порывом была подхвачена шляпа Баллантрэ, которую унесло на несколько шагов в сторону. Часовому показалось странным, что спящий при этом не проснулся. Он подошел поближе, и тотчас же его крик оповестил весь лагерь, что пленник сбежал. Он оставил в залог своего индуса, который (в первой горячке такого открытия) чуть было не поплатился жизнью и, во всяком случае, был жестоко избит. Но и подвергаясь побоям и истязаниям, Секундра сохранил свою всегдашнюю верность господину, твердя, что он и понятия не имеет о намерениях Баллантрэ (что, может быть, было и правдой) и о том, как тому удалось бежать (что было явной ложью). Заговорщикам пришлось теперь всецело положиться на искусство Маунтена.

Ночь была морозная, земля тверда, как камень, а с восходом солнца стало сильно таять. Маунтен хвалился, что немногие в таких условиях нашли бы след и даже индейцы едва ли проследили бы по нему беглеца, Баллантрэ поэтому успел уйти очень далеко, и для такого неопытного пешехода, каким он был, шел с удивительной быстротой, потому что лишь к полудню Маунтен наконец обнаружил его. Торговец был один, по его собственному указанию другие рассыпались по лесу в нескольких сотнях шагов, позади, он знал, что Баллантрэ безоружен, он был так распален горячкой преследования, и видя Баллантрэ так близко, таким беззащитным и усталым, в своем тщеславии задумал взять его в одиночку. Еще несколько шагов, и он вышел на небольшую прога-

лину, на другом конце которой, сложив руки на груди и опершись спиной о большой камень, сидел Баллантрэ. Возможно, что ветка хрустнула под ногой Маунтена, во всяком случае, Баллантрэ поднял голову и посмотрел прямо в том направлении, где скрывался охотник. «Я не уверен, что он видел меня,— рассказывал Маунтен,— он просто глядел в мою сторону с выражением такой решимости, что все мужество мое утекло, точно ром из бутылки». И когда Баллантрэ отвел глаза и, казалось, снова погрузился в размышления, которые прервал торговец, Маунтен тихонько прокрался обратно в чащу и вернулся за помощью к своим спутникам.

И тут началась целая цепь неожиданностей: не успел разведчик уведомить прочих о своем открытии, не успели те приготовить оружие для общего натиска на беглеца, как тот сам появился перед ними. Заложив руки за спину, он шел не таясь и спокойно.

— А, это вы,— сказал он, увидев их.— Хорошо, что я вас встретил. Пойдемте в лагерь.

Маунтен не признался им в собственной слабости, не рассказал и о смутившем его взгляде Баллантрэ, так что всем остальным его возвращение казалось добровольным. И все же поднялся шум, посыпались проклятия, поднялись в воздух кулаки, нацелены были ружья.

— Пойдемте в лагерь,— повторил Баллантрэ,— я должен вам кое-что объяснить, но я хочу это сделать перед всеми. А тем временем я бы убрал все это оружие: ружье легко может выпалить и унести все ваши надежды на сокровища. Я не стал бы,— добавил он с улыбкой,— «резать курицу, которая несет золотые яйца».

И еще раз победило обаяние его превосходства — все беспорядочной гурьбой направились в лагерь. По дороге он нашел случай перекинуться наедине несколькими словами с Маунтеном.

— Вы умный и смелый человек,— сказал он,— и я уверен, что вы не знаете себе настоящей цены. Подумайте о том, не лучше ли и не безопаснее ли для вас служить мне, чем такому тупому злодею, как мистер Гаррис? Подумайте об этом,— продолжал он, слегка похлопав его по плечу.— И не спешите. Живой или мертвый, но я опасный противник.

Когда они пришли в лагерь, где Гаррис и Пинкертон оставались сторожить Секундру, последние накинулись

на Баллантрэ, как бешеные волки, но были изумлены сверх всякой меры, когда пришедшие сообщники попросили их «оставить его в покое и послушать, что скажет им джентльмен». Баллантрэ не дрогнул перед их натиском, как не выразил ни малейшей радости при этом свидетельстве завоеванных им позиций.

— Не будем торопиться,— сказал он.— Сначала пообедаем, потом объяснимся.

Все наскоро поели, а потом Баллантрэ, лежа и опершись на локоть, начал говорить. Он говорил долго, обращаясь ко всем поочередно, кроме Гарриса, находя для каждого (за тем же исключением) какое-нибудь льстивое слово. Он обращался к ним, как к «честным, смелым ребятам», уверял, что никогда не бывал в такой веселой компании, что никогда работа не выполнялась лучше, а невзгоды не переносились с большей бодростью.

— Но тогда,— говорил он,— кто-нибудь может спросить меня, какого черта я сбежал. Это едва ли заслуживает ответа, потому что все вы прекрасно знаете причину. Но знаете вы далеко не все. Вот об этом-то я и собираюсь вам сказать, и слушайте внимательно, когда до этого дойдет дело. Среди вас есть предатель, предатель вдвойне. Я назову его прежде, чем кончу, и этого пока достаточно. Но вот, спросит меня другой джентльмен: а какого черта ты возвратился? Так вот, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я сначала спрошу: кто из вас, не этот ли мерзавец Гаррис, говорит на индустани? — Он грозно произнес эти слова и, став на одно колено, указал прямо на упомянутого им человека жестом, неописуемо угрожающим. А когда на вопрос ему ответили утвердительно, подхватил: — Ага! Так, значит, все мои подозрения оправдались и я правильно сделал, что вернулся. Теперь выслушайте правду, наконец всю правду.— И он выложил им длиннейшую историю, рассказанную с чрезвычайным искусством: как он все время подозревал Гарриса, как он нашел подтверждение всех своих опасений и как Гаррис, должно быть, перетолковал его разговор с Секундрой. Тут он нанес мастерский удар, который пришелся прямо в цель.— Вы, небось, думаете, что вы в доле с Гаррисом и что вы сами позаботитесь, чтобы это было так, потому что, конечно, вы не надеетесь, что этот прожженный плут не обманет вас при дележе. Но берегитесь! У подобных полуидиотов всего и есть, что их хитрость, как у скунса — его вонь,

и для вас, может быть, будет новостью, что Гаррис уже позаботился о себе. Для него это дело верное. Вы должны найти богатства или умереть, а Гаррис уже получил свое: мой брат вперед заплатил ему за то, чтобы он погубил меня. Если вы сомневаетесь, посмотрите на него, посмотрите, как он корчится и давится смехом, как изобличенный вор! — Затем, развивая этот выигрышный довод, он объяснил, как убежал, но, обдумав все дело, в конце концов решил вернуться назад, выложить перед всеми всю правду в последней попытке договориться с ними, потому что он убежден, что они сейчас же оставят Гарриса и выберут себе нового предводителя.— Вот вам истинная правда,— сказал он,— и я всецело предаюсь вам, всем вам, за исключением *одного*. Хотите знать кого? Вот сидит человек,— закричал он, снова указывая на Гарриса,— который должен умереть! Род оружия и условия боя для меня безразличны. Дайте мне сойтись с ним один на один, и даже если у меня в руках будет простая палка, я в пять минут превращу его в месиво размозженных костей, в падаль, в поживу шакалов!

Была уже глубокая ночь, когда он закончил свою речь. Его слушали почти в полной тишине, но скудный свет костра не позволял судить по их лицам, какое впечатление он произвел и насколько убедил их в своей правоте. Баллантрэ выбрал для себя наиболее освещенное место, чтобы стать центром всеобщего внимания, и в этом был глубокий расчет. Сначала все молчали, а затем последовал общий спор, причем Баллантрэ лежал на спине, подложив под голову руки и закинув ногу на ногу, как человек, совершенно не заинтересованный в результате. Бравируя таким образом, он, как всегда, перехватил через край и этим повредил себе. По крайней мере после некоторых колебаний возобладало враждебное к нему отношение. Возможно, что он надеялся повторить трюк, проделанный на пиратском судне, и самому быть избранным — пускай на жестких условиях — предводителем шайки. И дело дошло до того, что Маунтен действительно выдвинул такое предложение. Но тут коса нашла на камень, и камнем оказался Хэйсти. Его не очень любили за кислый вид и медлительность и за неуживчивый и хмурый нрав, но он некоторое время обучался в Эдинбургском университете, готовясь стать священником, пока дурным поведением не разрушил всех своих планов. Теперь он вспомнил и применил то, чему

его обучали. И едва он заговорил, как Баллантрэ небрежно перекатился на бок, что (по мнению Маунтена) было сделано, чтобы скрыть охватившее его отчаяние.

Хэйсти отверг как не имеющую отношение к делу бо́льшую часть того, что они услышали. Все сказанное о Гаррисе, может быть, и правда, и они со временем в этом разберутся. Но какое это имеет отношение к сокровищу? Они услышали целые потоки слов, но истина заключается в том, что мистер Дьюри чертовски напуган и уже несколько раз убегал от них. Он опять в их руках, пойманный или воротившийся по доброй воле — это для него, Хэйсти, решительно все равно. Теперь важно одно: довести дело до конца. А что касается предложений о перемене и выборе вожаков, то он полагает, что все они свободные люди и сами могут заботиться о своих делах. Все это пыль, которую им пускают в глаза, как и предложение поединка с Гаррисом.

— Баллантрэ ни с кем не будет драться в этом лагере, смею его уверить,— сказал Хэйсти.— Нам стоило достаточных трудов отобрать у него оружие, и было бы непростительной глупостью возвращать оружие ему в руки. Но если этот джентльмен ищет сильных ощущений, то я могу предоставить их ему с избытком, больше того, что он ожидает. Потому что я не намерен тратить остаток своих дней на блуждания по этим горам. И так уж мы тут копаемся слишком долго. Поэтому я предлагаю ему сейчас же сказать нам, где находятся сокровища, или я сейчас пристрелю его. А вот,— добавил он,— и пистолет, которым я собираюсь это сделать!

— Вот это настоящий человек! — вскричал Баллантрэ, садясь и глядя на говорившего с видом полного восхищения.

— Я вас не спрашиваю, какой я человек,— оборвал его Хэйсти.

— Впрочем, все это пустые разговоры,— отвечал Баллантрэ.— Вы сами знаете, что у меня нет выбора. Важно то, что мы совсем близко от клада, и завтра я покажу вам его.

И с этими словами, как будто все было улажено согласно его желанию, он ушел в свою палатку, куда уже раньше скрылся Секундра.

Я не могу думать о последних увертках и содроганиях моего старого врага, не испытывая восхищения; даже

жалость едва примешивается к этому чувству — очень уж стойко переносил этот человек свои несчастья, очень уж смело он боролся. Даже в этот час, когда ему должна была стать ясна окончательная его гибель, когда он попал из огня да в полымя, опрокинув Гарриса, чтобы сыграть на руку Хэйсти, в его поведении не было ни признака слабости, и он удалился в свою палатку, уже решившись (как я предполагаю) на свою последнюю, неимоверно рискованную попытку, и все с тем же непринужденным, уверенным, элегантным видом, точно покидал театр, чтобы отправиться ужинать со светскими друзьями. Но несомненно, что в глубине души он должен был трепетать.

Поздно вечером по лагерю пронеслась весть, что Баллантрэ заболел, и наутро он первым долгом позвал к себе Хэйсти и в большой тревоге спросил его, не разбирается ли тот в медицине. Баллантрэ попал в точку, потому что как раз медицина была излюбленным коньком этого непризнанного доктора богословия. Польщенный в своем тщеславии, Хэйсти осмотрел его и, невежественный и одновременно недоверчивый, не мог решить: в самом ли деле он болен или притворяется? Вернувшись к остальным, он сказал то, что в обоих случаях могло пойти на пользу ему самому, заявив во всеуслышание, что больной на пороге смерти.

— Но как бы то ни было,— заключил он свое сообщение отвратительной божбой,— пусть хоть подохнет по дороге, а сегодня же он должен провести нас к сокровищу!

Однако в лагере нашлись такие (и Маунтен был в их числе), которых возмутила эта жестокость. Они спокойно были бы свидетелями его убийства и даже сами застрелили бы его без малейшего проблеска жалости, но их, казалось, тронула его отважная борьба и бесспорное поражение, понесенное им накануне вечером. Может быть, в этом сказывалось нараставшее противодействие новому вожаку; во всяком случае, они объявили, что, если Баллантрэ действительно болен, нужно дать ему отсрочку на день наперекор Хэйсти.

Наутро больному стало явно хуже, и сам Хэйсти проявил нечто вроде заботы, настолько даже мнимое его врачевание пробудило в нем человеческие чувства. На третий день Баллантрэ вызвал к себе в палатку Маунтена и Хэйсти, объявил им, что умирает, дал им под-

робные указания о тайнике и просил их немедленно отправляться на поиски, чтобы они могли убедиться, что он не обманывает их, и чтобы (если им сразу не удастся найти клад) он еще успел исправить их ошибку.

Но тут возникло затруднение, на которое он, конечно, и рассчитывал. Ни один из них не доверял другому, ни один не соглашался отстать от других. С другой стороны, хотя Баллантрэ, казалось, был при смерти, говорить мог только полушепотом и почти все время лежал в забытьи, все же это могла быть мнимая болезнь, и если бы все отправились за сокровищем, это могло бы обернуться пустой затеей, а пташка без них упорхнула бы. Поэтому они решили не покидать лагеря, ссылаясь при этом на заботу о больном. И в самом деле, настолько запутаны бывают человеческие побуждения, что некоторые были искренне (хотя и неглубоко) тронуты смертельной болезнью человека, которого они сами бессердечно обрекли на смерть. Среди дня Хэйсти был вызван к больному, чтобы прочитать отходную, что (как это ни неправдоподобно) он выполнил с великим усердием. А в восемь вечера завывания Секундры возвестили, что все кончено. Часов в десять индус при свете воткнутого в землю факела уже трудился, копая могилу. На рассвете Баллантрэ похоронили, причем все приняли участие в погребении и вели себя весьма пристойно. Тело было завернуто в меховой плащ и опущено в землю. Только бледно-восковое лицо покойника было открыто, и, следуя какому-то восточному обычаю, Секундра чем-то заткнул ему ноздри. Когда могила была закидана землей, всех еще раз потрясли громкие причитания Секундры, и, по-видимому, эта шайка убийц не только не прекратила его завываний — зловещих, а в такой стране и небезопасных, но даже сочувственно, хотя и грубо, пыталась утешить его.

Однако если хорошие черты временами сказываются и у худших представителей рода человеческого, то все же в основе их поведения лежит алчность, и скоро разбойники, забыв про плакальщика, обратились к своим собственным заботам. Тайник был где-то поблизости, но пока еще не обнаружен, поэтому они решили не сниматься с места, и день прошел в бесплодных обследованиях лесов, в то время как Секундра не поднимался с могилы своего господина. В эту ночь они не выставили часовых, а легли все к костру, по лесному обычаю, как

спицы колеса,— ногами к огню. Утро застало их в том же положении, только Пинкертон, расположившийся по правую руку от Маунтена, между ним и Хейсти, был (в ночные часы) втихомолку зарезан и лежал бездыханный под своим плащом, причем оскальпированная голова его представляла ужасное, леденящее душу зрелище. Злодеи были в это утро бледны, как призраки, потому что все они знали неумолимость индейских воинов (или, точнее говоря, индейских охотников за скальпами). В основном они винили себя за ночную беспечность и, распаленные близостью сокровища, решили не уходить. Пинкертона похоронили рядом с Баллантрэ, оставшиеся в живых опять провели день в поисках и вернулись в смешанном настроении тревоги и надежды, отчасти оставаясь в убеждении, что сокровища вот-вот будут найдены, отчасти же (и особенно с наступлением темноты) страшась близости индейцев. Первым караулил Маунтен. Он уверял меня, что ни разу не садился и не смыкал глаз, но нес стражу с напряженной и непрерывной бдительностью, и (когда он увидел по звездам, что пора сменяться) он как ни в чем не бывало направился к огню разбудить своего сменщика, а это был сапожник Хикс, который спал на подветренной стороне, поэтому несколько дальше от костра, чем остальные, и в месте, которое окутывало относимым от костра дымом. Когда Маунтен нагнулся и тронул Хикса за плечо, рука его тотчас почувствовала какую-то липкую влагу. В эту минуту ветер переменился, отблеск костра осветил спящего, и Маунтен увидел, что, как и Пинкертон, Хикс мертв и оскальпирован.

Ясно было, что их выслеживал один из тех непревзойденных индейских разведчиков, которые, случалось, неделями преследовали путешественников и, несмотря на их безоглядное бегство и бессонную стражу, все время настигали их и добывали по скальпу на каждом из привалов. Придя к такому заключению, кладоискатели, которых оставалось всего шесть человек, в полном смятении, захватив самое необходимое, бросили костер незагашенным, своего зарезанного товарища непогребенным. Весь день они шли, не присаживаясь, ели на ходу и, боясь заснуть, не прекращали бегства даже с наступлением темноты. Но есть предел человеческой выносливости, и когда они наконец остановились, то глубокий сон свалил их, а когда проснулись, то обнаружили, что враг по-прежнему их преследует, что смерть и страшное увечье еще раз настигли и изуродовали одного из них.

Тут люди совсем потеряли голову. Они уже сбились с пути, провиант их подходил к концу. Я не буду загромождать последовавшими ужасами свой и так уже затянувшийся рассказ. Достаточно будет упомянуть, что в ту ночь, которая впервые прошла без жертвы и когда они могли уже надеяться, что убийцы потеряли их след, в живых оставались только Маунтен и Секундра. Маунтен был твердо уверен, что их незримый преследователь был индеец, знавший его по торговым сделкам с племенами, и что сам он обязан жизнью только этому обстоятельству. Милость, оказанную Секундре, он объяснял тем, что тот прослыл помешанным: во-первых, потому, что в эти дни ужасов и бегства, когда все прочие бросали последнее оружие и провиант, Секундра продолжал тащить на плечах тяжелую мотыгу, а затем и потому, что в последние дни он все время горячо и быстро говорил сам с собой на своем языке. Но когда дело дошло до английского, он оказался достаточно рассудителен.

— Думает, он совсем бросил нас? — спросил индус, когда, проснувшись, они не увидели очередной жертвы.

— Дай-то бог, верю в это, смею в это верить! — бессвязно ответил ему Маунтен, передававший мне всю эту сцену.

И действительно, он настолько потерял голову, что до самой встречи с нами на следующее утро так и не мог решить, приснилось ли ему это или на самом деле Секундра тут же повернул назад и, не говоря ни слова, пошел по собственному следу среди этого стылого и голодного одиночества, по дороге, на которой каждый привал был отмечен изуродованным трупом.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СКИТАНИЯ ПО ЛЕСАМ (окончание)

Рассказ Маунтена в том виде, как он был изложен им сэру Уильяму Джонсону и милорду, конечно, не включал приведенных мною подробностей первого этапа их путешествия, и оно вплоть до самой болезни Баллантрэ казалось свободным от каких-либо событий. Зато о последнем этапе он рассказывал весьма красочно,

по-видимому, сам еще взволнованный только что пережитым, а наше собственное положение на границе тех лесных дебрей и наша личная заинтересованность в этом деле заставляли нас разделять его волнение. Ведь сообщение Маунтена не только в корне меняло всю жизнь лорда Дэррисдира, но существенно влияло и на планы сэра Уильяма Джонсона.

О них я должен рассказать читателю подробнее. До Олбени дошли слухи, допускавшие разное толкование; говорили о том, что готовятся враждебные выступления индейцев, и их умиротворитель поспешил в глубь лесов, несмотря на приближающуюся зиму, чтобы подавить зло в самом корне. И вот, дойдя до границы, он узнает, что опоздал. Предстоял трудный выбор для человека, в целом не менее осторожного, чем храброго. Его положение среди раскрашенных храбрецов можно было сравнить с положением лорда Куллодена, губернатора Шотландии, среди вождей наших собственных горцев в 1745 году. Иными словами, он был для туземцев единственным глашатаем разума, и все мирные и умеренные решения могли возникнуть у них только по его совету и настоянию. Так что, если бы он вернулся обратно, вся провинция была бы открыта для чудовищных бедствий индейской войны: запылали бы дома, истреблены были бы все путешественники, и воины унесли бы в леса свою обычную воинскую добычу — скальпы. С другой стороны, углубляться дальше в леса с таким маленьким отрядом, чтобы нести слово мира воинственным племенам, уже вкусившим сладость войны,— это был риск, перед которым, как легко понять, он в нерешимости останавливался.

— Я опоздал,— несколько раз повторил сэр Уильям и погрузился в глубокое раздумье, подперев голову руками и постукивая ногой по земле.

Наконец он поднялся и поглядел на нас, то есть на милорда, Маунтена и меня, жавшихся к небольшому костру, разведенному для него в углу лагеря.

— Говоря по правде, милорд, я никак не могу принять решения,—сказал он.—Я считаю необходимым двигаться вперед, но не могу себе позволить дольше удовольствие пользоваться вашим обществом. Мы еще не отошли от реки, и я полагаю, что речной путь на юг пока безопасен. Не угодно ли вам и мистеру Маккеллару на лодке возвратиться в Олбени?

Я должен сказать, что милорд выслушал повествование Маунтена, не спуская с него глаз, а после окончания рассказа сидел как бы в полусне. В его взгляде было что-то страшное, как мне показалось,— почти нечеловеческое; лицо худое, потемневшее, состарившееся, рот сведен мучительной улыбкой, обнажавшей то и дело зубы, зрачки расширены до предела и окружены налитым кровью белком. Я не мог видеть его без того чувства неприятного раздражения, которое, по-моему, очень часто вызывает в нас болезнь даже самого дорогого для нас человека. Другие же, как я заметил, едва переносили его присутствие: сэр Уильям явно сторонился его, Маунтен старался не смотреть ему в глаза, а когда взгляды их все-таки встречались, купец отворачивался и запинался. Но при этом предложении сэра Уильяма милорд, казалось, овладел собой.

— В Олбени? — переспросил он внешне спокойно.

— Да, во всяком случае, не ближе,— ответил сэр Уильям.— По эту сторону небезопасно.

— Мне очень не по душе возвращаться,— сказал милорд.— Я не боюсь... индейцев,— добавил он с судорожной улыбкой.

— К сожалению, я не могу сказать того же,— улыбнулся в ответ сэр Уильям.— Хотя как раз мне-то и не следовало бы в этом признаваться. Но вы должны принять во внимание лежащую на мне ответственность. Путешествие становится чрезвычайно опасным, а ваше дело — если оно у вас было — разрешилось трагическим сообщением, которое мы слышали. У меня не было бы никаких оправданий, если бы я допустил вас следовать дальше и разделить с нами возможные опасности.

Милорд обернулся к Маунтену.

— Почему вы думаете, что он умер?—спросил он.— И от какой болезни?

— Правильно ли я понял вашу милость? — сказал торговец и, пораженный этим неожиданным вопросом, даже перестал оттирать обмороженные руки.

На мгновение милорд тоже запнулся, но потом с некоторым раздражением повторил:

— Я спрашиваю, от какой болезни он умер. Как будто бы простой вопрос.

— Я не знаю,— сказал Маунтен.— Даже Хэйсти не мог определить ее. Ну, он болел и умер.

— Вот видите,— заключил милорд, обращаясь к сэру Уильяму.

— Ваша милость, я не совсем понимаю ваше замечание.

— Что ж тут непонятного? — сказал милорд.— Это вполне понятно. Право моего сына на титул может быть оспорено, а смерть этого человека неизвестно отчего, естественно, может вызвать сомнения.

— Но бог мой! Он же похоронен! — воскликнул сэр Уильям.

— Я не могу поверить этому,— ответил милорд, и судорога свела его лицо.— Я не могу поверить этому! — вскричал он опять и вскочил на ноги.— У него был вид мертвого? — спросил он Маунтена.

— Вид мертвого? — повторил торговец.— Он был совсем белый. Ну, а каким же ему быть? Ведь я говорю вам, я сам засыпал его землей.

Милорд вцепился рукой в плащ сэра Уильяма.

— Этот человек назывался моим братом,— сказал он,— но известно, что он никогда не был смертным.

— Смертным? — спросил сэр Уильям.— Что это значит?

— Он не нашей плоти и крови,— прошептал милорд,— ни он, ни этот черный дьявол, который служит ему. Я пронзил его шпагой насквозь! — закричал он.— Эфес ее стукнул об его грудную кость, и горячая кровь брызнула мне в лицо, раз и еще раз! — повторил он с жестом, которого мне не передать.— Но и после этого он не умер! — сказал милорд, а я громко вздохнул.— Почему же теперь я должен верить, что он мертв? Нет, нет, не поверю, пока не увижу его разлагающийся труп!

Сэр Уильям украдкой мрачно поглядел на меня. Маунтен забыл про свои обмороженные руки, и, разинув рот, смотрел на него во все глаза.

— Милорд,— сказал я.— Вам надо успокоиться.— Но горло у меня так пересохло и в голове так мутилось, что я к этому не мог прибавить ни слова.

— Конечно,— сказал милорд.— Как вам понять меня? Маккеллар, он понимает, потому что он знает все и уже один раз видел, как его погребали. Он мне верный слуга, сэр Уильям, этот добрый Маккеллар. Он своими руками похоронил его — он вместе с моим отцом — при свете двух свечей. А тот, другой, это же истый демон,

которого он привез с коромандельских берегов [1]. Я давно бы уже рассказал вам все, сэр Уильям, но дело в том, что это семейная тайна.— Последнее замечание он сделал с тихой грустью, и казалось, что обуревавший его приступ проходит.— Вы можете спросить себя, что́ все это значит,— продолжал он.— Но посудите сами: мой брат, как они уверяют, заболел и умер, тело его предали земле; как будто все ясно. Но для чего тогда этот демон возвращается назад? Судите сами, это обстоятельство требует выяснения!

— Одну минуту, милорд, сейчас я буду в вашем распоряжении,— сказал сэр Уильям, поднимаясь с места.— Мистер Маккеллар, прошу вас на два слова.— И он вывел меня за пределы лагеря. Под ногами у нас хрустел иней, деревья все были в изморози, как в ту памятную ночь в аллее нашего парка.— Это — явное помешательство,— сказал сэр Уильям, едва мы отошли настолько, что милорд не мог нас слышать.

— Да, конечно,— сказал я,— он не в своем уме. Это ясно.

— Так что же, надо схватить и связать его? — спросил меня сэр Уильям.— Я жду вашего совета. Если все это бред, то, конечно, это следует сделать немедленно.

Я смотрел на землю, смотрел назад на лагерь, где ярко горели костры и все наблюдали за нашим разговором, и вокруг себя на леса и горы; единственное, на что я не мог смотреть, было лицо сэра Уильяма.

— Сэр Уильям,— сказал я наконец.— Я считаю, что милорд нездоров, я давно уже заметил это. Но и у безумия есть свои ступени, и следует ли применять к больному насилие, сэр Уильям, об этом я судить не решаюсь.

— Тогда я сам буду судьей в этом деле,— сказал он.— Мне нужны факты. Была ли во всей этой белиберде хоть капля истины и здравого смысла? Почему вы колеблетесь? — спросил он.— Что же, вы на самом деле уже однажды похоронили этого джентльмена?

— Не похоронили,— сказал я и, собравшись с духом, продолжал: — Сэр Уильям, вам не понять всего этого дела, если я не расскажу вам длинной истории, которая затрагивает честь знатной фамилии (и мою соб-

---

[1] Коромандельский берег — восточный берег Индии.

ственную). Скажите хоть слово, и я сделаю это,— все равно, хорошо это или плохо. И, во всяком случае, скажу вам, что милорд вовсе не так безумен, как это может показаться с первого взгляда. Это очень странная история, конец которой задел краешком и вас.

— Я не хочу слушать ваших секретов,— ответил сэр Уильям,— но скажу вам прямо, с риском быть невежливым, что теперешняя моя компания доставляет мне очень мало удовольствия.

— Я последним решился бы порицать вас по этому поводу.

— Я не просил ни вашего одобрения, ни вашего порицания, сэр,— возразил сэр Уильям.— Все, что я хочу, это избавиться от вас, и для этого я предоставляю в ваше распоряжение лодку и людей.

— Это — великодушное предложение,— сказал я, обдумав его слова.— Но позвольте мне привести доводы противной стороны. Мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы узнать истинную правду. Даже у меня силен этот интерес, а милорд (как вам должно быть понятно) заинтересован и того больше. Вся эта история с возвращением индуса весьма загадочна.

— В этом я с вами согласен,— прервал меня сэр Уильям,— и я предлагаю вам (так как мы двинемся как раз по тому направлению) доискаться правды. Может быть, этот человек вернулся, чтобы умереть, как собака, на могиле своего господина. Как бы то ни было, но жизнь его в большой опасности, и я намерен, если только смогу, спасти его. Он себя ничем не запятнал?

— Ничем, сэр Уильям,— ответил я.

— Ну, а другой? — спросил он.— Конечно, я слышал мнение о нем милорда; но самая привязанность его слуги заставляет меня предположить, что в нем были и благородные свойства.

— Не заставляйте меня отвечать на этот вопрос! — воскликнул я.— Может быть, и в аду горит благородное пламя. Я знал его на протяжении двадцати лет, и всегда ненавидел, и всегда восхищался, и всегда по-рабски боялся его.

— Кажется, я опять затронул ваши секреты,— сказал сэр Уильям.— Поверьте, это не входило в мои намерения. С меня хватит того, что я увижу могилу и (если возможно) спасу индуса. На этих условиях можете вы убедить своего господина вернуться в Олбени?

— Сэр Уильям,— отвечал я.— Я скажу вам, как я это понимаю. Вы видели милорда в невыгодном для него свете; вам может даже показаться странным, что я люблю его. Но я люблю его горячо, и не один я. Если он вернется в Олбени, то лишь подчинясь насилию, а это было бы смертным приговором для его разума и, может быть, для самой жизни. Таково мое искреннее убеждение. Но я всецело в ваших руках и готов повиноваться вашему распоряжению, если вы возьмете на себя ответственность приказывать.

— Я не хочу брать на себя никакой ответственности, мое единственное желание — избежать ее! — воскликнул сэр Уильям.— Вы настаиваете на продолжении вашего путешествия. Будь по-вашему! Я умываю руки!

С этими словами он круто повернулся и отдал распоряжение сниматься с места. Милорд, бродивший поблизости, тотчас же подошел ко мне.

— Ну, как он решил? — спросил он меня.

— Так, как вы хотели,— ответил я.— Вы увидите могилу.

По описанию Маунтена проводники легко определили расположение могилы Баллантрэ. В самом деле, она находилась как раз на основном рубеже лесных дебрей, у подножия гряды вершин, легко опознаваемых по их очертаниям и высоте, откуда брали начало многие бурные потоки, питающие внутреннее море — озеро Шамплэн. Поэтому можно было держать путь прямо, вместо того, чтобы следовать по кровавым следам беглецов, и мы покрыли за шестнадцать часов то же расстояние, которое смятенные путники проделали в шестьдесят. Лодки мы оставили на реке под надежной охраной, хотя было вполне вероятно, что к нашему возвращению они накрепко вмерзнут в лед. Снаряжение, которое мы захватили с собой, включало не только груду мехов для защиты от холода, но и запас канадских лыж, которые позволили бы нам передвигаться после того, как выпадет снег. Наше отбытие было тревожно, продвигались мы как авангард в виду врага и тщательно выбирали и охраняли места ночевок. Именно эти предосторожности остановили нас на второй день пути всего в нескольких сотнях шагов от места нашего назначения: темнело, лужайка, где мы находились, была пригодна для надежного лагеря, и сэр Уильям поэтому дал приказ сделать привал.

Перед нами была высокая гряда вершин, на которую мы весь день держали путь, продираясь сквозь непроходимую чащу. Уже с первыми проблесками рассвета серебристые пики были для нас маяком, до которого нам предстояло преодолеть буреломом болотистого леса, пронизанный бурными потоками и заваленный чудовищными валунами. Вершины (как я говорил) были серебристые, потому что в горах снег уже выпадал каждую ночь, но леса и низины были еще только схвачены морозом. Весь день небо было затянуто грязной пеленой испарений, в которых солнце плавало, тускло поблескивая, как серебряный шиллинг. Весь день ветер дул слева, зверски холодный, но в то же время бодряще-свежий. Однако к вечеру ветер стих, облака, лишенные его напора, рассеялись или вылились дождем, солнце садилось у нас за спиной в зимнем великолепии, и белые лбы громоздящихся пиков покрылись лихорадочным румянцем умиравшего дня.

Было уже совсем темно, когда мы кончили ужинать; ели мы в молчании и едва лишь кончили еду, как милорд отошел от костров к самой границе лагеря, куда я за ним поспешно последовал. Лагерь был расположен на возвышенности, с которой видно было замерзшее озеро длиною около мили. Вокруг нас по гребням и впадинам темнел лес. Над нами белели горы, а еще выше в ясном небе светила луна. Воздух был совершенно неподвижен, даже деревья не скрипели, и звуки нашего лагеря были приглушены, растворены этой тишиной. Теперь, после того как и солнце и ветер ушли на покой, ночь казалась теплой, словно в июле,— странная иллюзия в зимнюю пору, когда и земля, и воздух, и вода только что не лопались от стужи.

Милорд (или тот, кого я все еще продолжал называть этим излюбленным именем) стоял, подперев локоть рукою и уткнув подбородок в ладонь, и, не отрываясь, глядел в лесную чащу. Мои глаза последовали за его взглядом и почти с удовольствием остановились на заиндевевшем кружеве сосен, четко выделявшихся на освещенных луной пригорках и укрытых тенью в ущельях. Где-то поблизости, говорил я себе, была могила нашего врага, теперь ушедшего туда, где «беззаконные перестают устрашать». Земля навсегда погребла его когда-то такое живучее тело. Мне даже начинало представляться, что он по-своему счастлив, навсегда разделавшись с

земной суетой и тревогой, каждодневной растратой душевных сил и каждодневным потоком случайностей, в котором — хочешь не хочешь — надо плыть во избежание позора и смерти. Мне уже думалось, как хорош был конец его долгого путешествия, и с этого мысли мои перенеслись на милорда. Разве милорд мой тоже не покойник? Искалеченный солдат, тщетно ожидающий увольнения, ко всеобщему посмешищу ковыляющий в самой гуще битвы. Я помнил его приветливым, благоразумным, дорожащим своим добрым именем сыном, может быть, чересчур почтительным супругом, чересчур любящим человеком, переносящим страдания молча, человеком, пожать руку которого я считал для себя честью. Внезапно жалость рыданием перехватила мне горло; при воспоминании о том, каким он был прежде, мне хотелось громко плакать, и, стоя рядом с ним и глядя на него при свете полной луны, я горячо молился, чтобы господь либо прибрал его, либо дал мне сил не отречься от него.

«Боже,— думал я,— он был для меня лучшим из людей, а теперь он мне противен и страшен. Он не творил зла, по крайней мере до того, как был сломлен горестями. Но и это лишь достойные уважения раны, которыми мы незаслуженно брезгуем. Исцели их, возьми его к себе, пока мы не возненавидели его!»

Я все еще был поглощен своими думами, как вдруг какой-то звук нарушил тишину ночи. Негромкий и не очень близкий, но возникший из такого полного и длительного молчания, звук этот поднял весь лагерь, словно сигнал тревоги. Я еще не успел перевести дыхание, как сэр Уильям уже был рядом со мной, а за ним теснилось большинство его спутников. Все напряженно прислушивались. Когда я оглянулся на них через плечо, мне показалось, что лица их бледны не только от лунного света. Лунные блики в широко открытых глазах; у других тени, густо черневшие ниже бровей (в зависимости от того, как они слушали: подняв или опустив голову),— все это придавало им странный отпечаток возбуждения и тревоги. Милорд стоял впереди всех, слегка пригнувшись, простертой рукой как бы призывая к молчанию: изваяние, а не человек. А звуки все продолжали раздаваться, повторяясь равномерно и часто.

Вдруг Маунтен заговорил громким прерывистым шепотом, как человек, решивший задачу.

— Я понял,— сказал он и, когда все мы обернулись к нему, продолжал: — Секундра, должно быть, отыскал тайник. Вы слышите, это он отрывает сокровище!

— А ведь и правда! — воскликнул сэр Уильям.— как это мы до сих пор не догадались!

— Странно только, что это так близко от нашей старой стоянки, и непонятно, как он мог опередить нас. Крылья у него, что ли, выросли!

— Алчность и страх стоят любых крыльев,— заметил сэр Уильям.— Ну и переполошил нас этот негодяй! Надо отплатить ему тем же. Что вы скажете, джентльмены, если мы устроим небольшую облаву при лунном свете?

Все согласились. Был выработан план, как застигнуть Секундру на месте преступления. Индейцы-разведчики сэра Уильяма отправились вперед, и мы, оставив лагерь под охраной, двинулись по непроходимой чаще. Скрипел иней, изредка под ногой громко потрескивала льдинка, а над головой — чернота соснового леса, и между сосен яркое сияние луны. По мере того как мы спускались в какую-то низину, звуки скрадывались и вскоре почти совершенно затихли. Другой склон был более открытый, там торчало всего несколько сосен, и крупные валуны отбрасывали чернильно-черные тени на освещенную луной поляну. Здесь звуки донеслись явственнее, слышен был лязг железа о камень, и можно было точнее определить яростную поспешность, с которой работал невидимый землекоп. Когда мы одолели склон, в воздух поднялись и тяжело порхнули черной тенью две или три птицы, а еще через несколько шагов за сеткой деревьев перед нами предстало странное зрелище.

Узкая луговина с нависавшими над ней скалами, с боков окаймленная лесом, была залита сиянием луны. Здесь и там в беспорядке валялись неприхотливые пожитки — скудное достояние охотников. Почти посредине лужайки стояла палатка, посеребренная инеем; пола ее была откинута, и внутри — чернота. Сбоку лежало то, что можно было определить как останки человека. Без сомнения, мы находились на месте привала шайки Гарриса. Тут было раскидано их брошенное в панике добро; в той палатке покончил свои расчеты с жизнью Баллантрэ; а замерзший труп перед нами — было все, что осталось от пьяницы-сапожника. Место трагического происшествия всегда производит особое впечатление, а то, что

мы набрели на него спустя столько дней и нашли его (в полном одиночестве пустыни) нетронутым, должно было потрясти умы даже самых бесчувственных. Но все же не это заставило нас окаменеть на месте, а зрелище, впрочем, наполовину предугаданное нами: Секундра, уже по щиколотку врывшийся в могилу своего умершего господина. Он сбросил с себя бо́льшую часть одежды, и все же его худые руки и плечи лоснились на лунном свету от обильного пота; его лицо было искажено тревогой и надеждой. Удары мотыги раздавались в могиле глухо, как рыдания, а за ним уродливая иссиня-черная тень его на заиндевевшей земле повторяла и словно передразнивала его быстрые движения. Какие-то ночные птицы, вспугнутые нашим появлением, шумно вспорхнули с деревьев, а потом уселись на прежнее место, но Секундра, поглощенный своей работой, не слыхал, не чувствовал ничего.

Я слышал, как Маунтен шепнул сэру Уильяму:

— Боже милостивый! Да ведь это могила! Он хочет его выкопать!..

Мы все уже об этом догадывались, но мысль эта, облеченная в слова, все же потрясла меня. Сэр Уильям бросился вперед.

— Ах, ты, богохульная собака! Что это значит? — закричал он.

Секундра подскочил на месте, с его уст сорвался слабый вскрик, мотыга выпала у него из рук, и мгновение он стоял, уставясь на говорившего. Потом, быстрый как стрела, он метнулся к лесу, а в следующую минуту, безнадежно всплеснув руками, уже шел к нам обратно.

— Так вот, вы пришел на помощь...— заговорил он.

Но тут милорд вышел вперед и стал рядом с сэром Уильямом. Луна ярко осветила его лицо, и Секундра еще не успел договорить, как вдруг узнал врага своего господина.

— Он! — взвизгнул индус, ломая руки и как-то весь сжимаясь.

— Не бойся, не бойся,— сказал сэр Уильям,— никто не причинит тебе вреда, если ты не виноват, а если ты в чем-то виноват, то тебе не удастся бежать. Скажи, что ты делаешь здесь между могилой и тем непогребенным трупом?

— Вы не разбойник? — спросил Секундра.— Вы верный человек? Вы меня не тронете?

— Никто тебя не тронет, если ты ни в чем не виноват! — повторил сэр Уильям.— Я уже сказал это тебе и не вижу причин, почему бы тебе сомневаться в моих словах.

— Они все убийцы,— закричал Секундра,— вот почему! Он — чтобы резать,— указал он на Маунтена,— они—чтобы платить!—указал он на милорда и меня.— Все три на виселицу! Да, я вижу, все будут висеть! Я спасу сахиба, и он заставит вас висеть. Сахиб,— продолжал он, указывая на могилу,— он не мертвый. Он в земле, но он не мертвый.

Милорд издал какой-то неясный звук, подвинулся к могиле и, снова застыв, глядел на нее.

— В земле — и не мертв? — воскликнул сэр Уильям.— Что за бред?

— Слушай, сахиб,— сказал Секундра.— Мой сахиб и я один с убийцами. Пробовал, как бежать. Никак нехорошо. Потом пробовал такой способ. Хороший способ когда тепло, хороший способ в Индии, а здесь, где так холодно, кто знает? Надо спешить. Вы помогай, зажигай костер, помогай тереть.

— Что он болтает, этот заморыш? — закричал сэр Уильям.— Просто голова идет кругом!

— Говорю вам, я закопал его живым,— сказал Секундра.— Научил его проглотить язык. Теперь надо откопать скорее, и ему не будет плохо. Зажги костер.

— Разведите костер,— обратился к ближайшему из своих людей сэр Уильям.— Должно быть, мне на роду написано иметь дело с полоумными!

— Вы хороший человек,— сказал Секундра.—Я пойду копать сахиба.

Он воротился к могиле и принялся снова копать. Милорд стоял неподвижно, а я рядом с ним, страшась, сам не зная чего.

Земля промерзла еще не очень глубоко, и скоро индус отбросил свою мотыгу и стал выгребать землю пригоршнями. Вот он откопал полу бизоньего плаща, потом я увидел, как пальцы его захватили какие-то волосы, спустя минуту луна осветила что-то белое. Секундра припал на колени, осторожно скребя землю пальцами, сдувая прах своим дыханием, и, когда он приподнялся, я увидел, что лицо Баллантрэ уже откопано. Оно было мертвенно бледно, глаза закрыты, ноздри и уши чем-то заткнуты, щеки запали, нос заострился, как у мертвеца, но, несмотря на то, что он столько дней пролежал под землей, тление не коснулось его, и (что более всего поразило всех нас) его губы и подбородок были опушены темной бородкой.

— Боже мой! — закричал Маунтен.— Да когда мы его хоронили, лицо у него было гладкое, как у младенца!

— Говорят, что волосы растут и после смерти,— заметил сэр Уильям, но голос его звучал слабо и глухо.

Секундра не обращал внимания на наши слова, он отбрасывал в сторону рыхлую землю быстро, как крот. С каждой минутой на дне этой неглубокой канавки очертания фигуры, закутанной в бизоний плащ, становились определеннее. Луна светила все ярче, и наши тени при каждом движении перебегали по возникшему из земли лицу. Нами овладел невообразимый ужас. Я не смел взглянуть милорду в лицо, но, сколько мы ни стояли, я не заметил, чтобы он хотя бы перевел дух, а немного позади нас один из наших спутников (я не знаю кто) стал судорожно всхлипывать.

— Теперь,— сказал Секундра,— помогай мне поднять сахиба.

Я тогда потерял всякое ощущение времени и не могу сказать, сколько часов,— может быть, три, может быть, пять,— трудился индус, стараясь вдохнуть жизнь в тело своего господина. Одно только я знаю, что ночь еще не кончилась и луна еще не села, хотя и опустилась низко над лесом, исчертив лужайку тенями деревьев, когда у Секундры вырвался короткий крик радости. Быстро нагнувшись, я уловил какое-то изменение в застылом облике этого вырванного у земли человека. Еще мгновение — и я увидел, как дрогнули его веки, потом они раскрылись и этот недельной давности труп глянул мне прямо в глаза.

Что я сам видел эти признаки жизни, в том я могу чем угодно поклясться. От других я слышал, что он, казалось, пытался заговорить, что в его бороде блеснули зубы, что лоб его свела судорога боли и нечеловеческого усилия. Возможно, все это было. Я этого не видел, я был занят другим. Потому что, как только мертвец приоткрыл глаза, лорд Дэррисдир упал на землю как подкошенный, и, когда я поднял его, он был мертв.

Наступил день, а Секундру все еще нельзя было убедить, чтобы он бросил безуспешные попытки оживления. Как только рассвело, сэр Уильям, оставив несколь-

ко человек в мое распоряжение, отправился дальше выполнять свою миссию. А Секундра все еще растирал конечности мертвеца и дышал ему в рот. Казалось, что такие усилия могли бы оживить камень, но, если не считать того единственного проблеска жизни (который принес смерть милорду), черная душа Баллантрэ не возвращалась в покинутую оболочку, и к полудню даже верный его слуга убедился наконец в тщете своих усилий. Он принял это с невозмутимым спокойствием.

— Слишком холодно,— сказал он.— Хороший способ в Индии, нехороший здесь.

Он попросил есть, с жадностью накинулся на еду и мгновенно проглотил все, что перед ним поставили. Потом он подошел к костру и занял место рядом со мной. Тут же он растянулся и заснул, как усталый ребенок, глубоким сном, от которого мне пришлось его долго будить, чтобы он принял участие в двойном погребении. Так было и дальше: казалось, он одновременно, одним напряжением воли, пересилил и печаль по своему господину и страх передо мной и Маунтеном.

Один из оставленных мне людей был искусным резчиком по камню, и прежде чем сэр Уильям вернулся, чтобы захватить нас на обратном пути, он, по моим указаниям, уже выбил на огромном валуне следующую надпись, словами которой я и закончу свой рассказ:

ДЖ Д.,
наследник древнего шотландского рода,
человек, преуспевший во всех искусствах и тонкостях,
блиставший в Европе, Азии и Америке,
в военных и мирных делах,
в шатрах диких племен и в королевских палатах,
так много свершивший, приобретший и перенесший,
лежит здесь, позабытый всеми.

Г. Д.,
прожив жизнь в незаслуженных огорчениях,
которые он мужественно переносил,
умер почти в тот же час и спит
в той же могиле
рядом со своим единоутробным врагом.

Заботами его жены и его старого слуги
воздвигнут этот камень
над могилой обоих.

Потерпевшие кораблекрушение

ПРОЛОГ

НА МАРКИЗСКИХ ОСТРОВАХ

Было три часа зимнего дня в Таиохаэ, французской столице и главном порту Маркизских островов. Дул сильный шквалистый пассат, грохочущий прибой разбивался на крупной гальке пологого берега, и пятидесятитонная шхуна — военный корабль, олицетворяющий достоинство и влияние Франции на этом каннибальском архипелаге,—прыгала на волнах у своего причала под Тюремным Холмом. Низкие, черные тучи закрывали вершины поднимающихся амфитеатром гор; около полудня прошел сильный дождь — настоящий тропический ливень, когда вода падает с неба сплошной стеной,— и по темно-зеленым склонам все еще вились серебристые нити потоков.

На этих островах с жарким и здоровым климатом зима — только пустое название. Дождь не освежил жителей Таиохаэ, и ветер не принес им бодрости. Правда, на одной из окраин комендант лично наблюдал за работами, производившимися в его саду, и садовники— все до одного каторжники — волей-неволей продолжали трудиться, но все прочие обитатели городка предавались послеобеденному отдыху и сну: Вайкеху, туземная королева, почивала в своем прелестном домике под сенью шелестящих пальм, комиссар с Таити — в своей осененной флагами официальной резиденции, торговцы — в своих опустевших лавках, и даже клубный слуга крепко спал в помещении клуба, уронив голову на буфетную стойку, над которой были прибиты визитные карточки морских офицеров и карта мира. На протянувшейся вдоль берега единственной улице городка, где в благодатной тени пальм и в густых зарослях пурао

прятались дощатые домики, не было видно ни души. Только на конце рассохшегося причала, который некогда (в дни краткого процветания восставших Южных Штатов) стонал под тяжестью тюков хлопка, на куче мусора примостился знаменитый татуированный европеец — живая диковинка Таиохаэ.

Он не спал — его взгляд был устремлен на бухту. Он смотрел на горный отрог, переходящий у горловины бухты в цепь невысоких утесов, на белую кипящую полосу прибоя у двух островков, между которыми в узком просвете виднелись на синем горизонте туманные вершины крутых гор острова Хуапу. Однако внимание его не задерживалось на этих давно знакомых чертах ландшафта. Он был погружен в то дремотное состояние, когда сон граничит с явью, и в памяти его всплывали разрозненные картины прошлого: лица туземцев и белых — шкиперов, старших помощников, местных царьков и вождей проходили перед его глазами и снова исчезали в небытии; он вспоминал старые путешествия, забытые пейзажи, освещенные первыми лучами зари; он снова слышал грохот барабанов, сзывающих на каннибальское пиршество; быть может, он вспоминал темнокожую принцессу, из любви к которой подвергся мучительной пытке татуирования, а теперь сидел на мусорной куче в конце причала порта Таиохаэ — бездомный бродяга-европеец. А быть может, на память ему приходило еще более далекое прошлое, и он снова слышал звуки и ощущал запахи родной Англии, своего детства: веселый перезвон соборных колоколов, аромат цветущего вереска, нежную песню реки у плотины.

У входа в бухту — опасные воды, и корабль можно провести только совсем рядом с островками, так что с него легко добросить до берега сухарь. И вот, пока татуированный европеец дремал и грезил о прошлом, из-за оконечности западного островка выдвинулся надутый ветром кливер — зрелище, которое мгновенно заставило его очнуться. Затем показались два стакселя, и, прежде чем татуированный европеец успел вскочить на ноги, топсельная шхуна круто легла к ветру и, обогнув островок, курсом бейдевинд вошла в бухту.

Сонный городок пробудился, как по волшебству. Со всех сторон высыпали туземцы, приветствуя друг друга радостным криком «эхиппи» — корабль; королева вышла на веранду и стала вглядываться в бухту, прикрыв

глаза рукой, являвшей собою чудо высокого искусства татуировки; комендант, забыв о своих садовниках, бросился в дом за подзорной трубой; семнадцать бронзовых канаков, во главе с боцманом-французом составлявшие команду военной шхуны, столпились на ее баке, а все англичане, американцы, немцы, поляки, корсиканцы и шотландцы — торговцы и правительственные чиновники в Таиохаэ,— оставив свои лавки и конторы, по обычаю начали собираться на улице перед клубом.

Расстояния в городке были так малы, и вся дюжина его белых обитателей собралась поэтому так быстро, что они успели уже обменяться догадками относительно национальности и цели плавания неизвестной шхуны, прежде чем она продвинулась на полкабельтова по направлению к якорной стоянке. Через мгновение на клотике ее грот-мачты взвился английский флаг.

— Я же говорил, что это англичане — сразу узнал по стакселям! — воскликнул старый, но еще бодрый моряк, который с полным на то правом (если бы ему удалось найти незнакомых с его биографией судовладельцев) мог бы опять украсить своей персоной еще один капитанский мостик и разбить еще один корабль.

— Но ее корпус американской формы, этого вы отрицать не станете,— заметил проницательный шотландец — механик с хлопкоочистительной фабрики.— По-моему, это яхта.

— Вот-вот,— сказал старый моряк,— именно яхта. Поглядите-ка на ее шлюпбалки и гичку, подвешенную за кормой.

— Яхта, как бы не так! — отозвался голос, несомненно, принадлежавшей уроженцу Глазго.— Она же несет флаг английского торгового флота! Яхта! Еще чего!

— Во всяком случае, вы можете запереть лавку, Том,— заметил холеный немец и добавил, обращаясь к проезжавшему мимо на красивой гнедой лошади туземцу с тонким и умным лицом: — Bonjour, mon Prince! Vouz allez boire une verre de bière? [1].

Однако принц Станилас Моанатини — единственный по-настоящему занятый человек на острове — торопился осмотреть оползень, заваливший утром горную дорогу. Солнце уже клонилось к закату, скоро должны были спуститься сумерки, и если он хотел избежать

[1] Здравствуйте, принц! Не выпьете ли стакан пива? *(франц.)*

опасностей, которые таят в себе мрак и невидимые пропасти, и страха перед призраками, населяющими джунгли, то не мог принять любезное приглашение. Впрочем, если он даже и собирался спешиться, тут же выяснилось, что угостить его будет нечем.

— Пива! — вскричал уроженец Глазго.— Как бы не так! В клубе осталось всего восемь бутылок! А я еще ни разу не видел в этом порту судна под английским флагом! Его капитан и должен выпить это пиво.

Это предложение показалось всем присутствующим вполне справедливым, хотя и не вызвало особого восторга: вот уже несколько дней самое слово «пиво» наводило тоску на членов клуба, которые каждый вечер уныло подсчитывали оставшиеся бутылки.

— А вот и Хэвенс! — сказал кто-то, словно обрадовавшись возможности переменить тему.— Ну-ка, Хэвенс, что вы думаете об этом корабле?

— Я не думаю,— ответил Хэвенс, высокий, невозмутимый, медлительный, облаченный в белоснежный полотняный костюм англичанин, закуривая папиросу,— я знаю. Он должен доставить мне груз от оклэндской фирмы «Дональд и Эденборо». Я как раз собираюсь отправиться на него.

— А что это за корабль? — спросил старый морской волк.

— Не имею ни малейшего представления. Какой-нибудь трамп [1], который они зафрахтовали.

С этими словами Хэвенс прошествовал дальше и скоро уже сидел на корме вельбота, там, где он был в безопасности от брызг, грозивших испортить безупречную свежесть его костюма, и отдавал команды буйным канакам негромким, вежливым голосом, что не помешало им подойти к борту шхуны с большой лихостью и точностью.

У трапа его встретил загорелый, обветренный капитан.

— По-моему, ваш груз адресован нам,— сказал англичанин.— Моя фамилия Хэвенс.

— Совершенно справедливо, сэр,— ответил капитан, обмениваясь с ним рукопожатием.— Владелец, мистер Додд, ждет вас в каюте... Осторожнее, рубка только что окрашена.

[1] Трампы — грузовые суда, плавающие не по определенным линиям, а в зависимости от полученного фрахта.

Хэвенс вступил в узкий проход между рубкой и бортом и спустился по трапу в салон.

— Мистер Додд, если не ошибаюсь? — сказал он, обращаясь к невысокому бородатому человеку, который что-то писал за столом. И тут же воскликнул: — Да это же Лауден Додд!

— Он самый, милый друг,— радостно ответил мистер Додд, вскакивая на ноги.— Прочитав вашу фамилию во фрахтовых документах, я так и надеялся, что это будете вы! Ну, в вас не заметно никаких перемен: все тот же невозмутимый, подтянутый британец.

— Зато вы переменились,— ответил Хэвенс.— Вы, кажется, сами стали британцем?

— О нет,— возразил Додд.— Красная скатерть на верхушке мачты — это флаг моего компаньона. Но сам он в делах не участвует. Вот он.— И Додд указал на бюст, составлявший одно из многочисленных и весьма необычных украшений этой оригинальной каюты.

— Прекрасный бюст! — заметил Хэвенс, бросив на него вежливый взгляд.— Судя по лицу, ваш компаньон — приятный человек.

— И даже очень,— отозвался Додд.— Собственно, он глава нашего предприятия. Это он его финансирует.

— И, кажется, он в деньгах особенно не стеснен,— сказал его собеседник, со все возрастающим изумлением осматривая каюту.

— Его деньги, мой вкус,— объяснил Додд.— Книжный шкаф из черного ореха — антикварная редкость; книги все мои — в основном это писатели французского Возрождения. Видели бы вы, как отскакивают от них скучающие жители здешних островов, когда подходят к шкафу, рассчитывая поживиться чем-нибудь получше библиотечных романов! Зеркала настоящие венецианские; вон то в углу — очень недурной образчик. Мазня — моя и его, лепка — только моя.

— Лепка? А что это такое? — спросил Хэвенс.

— Вот эти бюсты,— ответил Додд.— В молодости я ведь был скульптором.

— Да, я об этом слышал. А кроме того, вы, помоему, упоминали, что интересовались недвижимостью в Калифорнии.

— Неужели я утверждал что-либо подобное? — удивился Додд.— «Интересовался» — это не то слово.

«Был втянут в спекуляции» — гораздо ближе к истине. Как бы то ни было, я прирожденный художник: меня никогда ничто, кроме искусства, не интересовало. Если бы я завтра разбил эту посудину,— добавил он помолчав,— я, пожалуй, опять занялся бы искусством!

— Ваш корабль застрахован? — осведомился Хэвенс.

— Да,— ответил Додд.— Есть во Фриско дурак, который согласился застраховать его и забирает львиную долю наших прибылей, но мы с ним еще посчитаемся.

— Груз, я полагаю, в полном порядке? — заметил Хэвенс.

— Да, наверное,— ответил Додд.— Займемся документами?

— У нас для этого будет весь завтрашний день,— сказал Хэвенс.— А пока вас ждут не дождутся в нашем клубе. C'est l'heure de l'absinthe[1]. А потом, Лауден, вы, разумеется, пообедаете у меня?

Мистер Додд охотно выразил согласие, надел белую куртку — не без некоторого труда, потому что он был уже в годах и довольно толст,— расчесал бороду и усы перед одним из венецианских зеркал и, взяв фетровую шляпу с большими полями, вывел своего посетителя через помещение конторы на шкафут.

У борта их ждала кормовая шлюпка, очень изящная, с мягкими сиденьями и отделкой из полированного красного дерева.

— Садитесь за руль,— предложил Лауден.— Вы ведь знаете, где здесь удобнее всего пристать.

— Не люблю править чужими лодками,— возразил Хэвенс.

— Считайте ее лодкой моего компаньона, и мы с вами окажемся в одинаковом положении,— посоветовал Лауден, легко спускаясь по трапу.

Хэвенс последовал за ним и без дальнейших возражений взял румпель-штерты.

— Не понимаю, каким образом вам удается извлекать доходы из вашей шхуны,— заметил он.— Во-первых, она, на мой взгляд, великовата для торговли по архипелагам, а во-вторых, слишком роскошно отделана.

[1] Сейчас *время выпить (франц.)*.

— Я не так уж уверен, что мы действительно извлекаем из нее доходы,— возразил Лауден.— Я ведь отнюдь не деловой человек. Мой компаньон, кажется, доволен, а деньги, как я вам уже говорил, принадлежат ему. Я вкладываю в дело только отсутствие коммерческого опыта.

— Полагаю, ваши обязанности вам по душе? — осведомился Хэвенс.

— Да, как ни странно, очень,— ответил Лауден.

Пока они пересекали гладь бухты, солнце зашло за горизонт, на военной шхуне раздался сигнальный выстрел пушки (точнее говоря, это было ружье) и был спущен флаг. Шлюпка пристала к берегу в уже сгущающихся сумерках, и на низкой веранде «Серкль Интернасьональ»[1] (как официально и не без оснований назывался клуб) засветились многочисленные лампы. Наступили самые приятные часы суток: исчезли назойливые, больно жалящие мушки; повеял прохладный береговой бриз, и члены «Серкль Интернасьональ» собрались в клубе поболтать и выпить стаканчик-другой. Мистер Лауден Додд был официально представлен коменданту острова; партнеру коменданта по бильярду — торговцу с соседнего острова и почетному члену клуба, который начал свою карьеру помощником плотника на борту военного корабля северян; портовому доктору; начальнику жандармов; владельцу опийной плантации и всем остальным людям с белой кожей, которых прихоти торговли или кораблекрушений, а может быть, просто нежелание служить в военном флоте забросили в Таиохаэ. Благодаря своей располагающей внешности и любезным манерам, а также умению красноречиво изъясняться как на английском, так и на французском языках Лауден всем очень понравился. Вскоре на столе возле него уже стояла одна из восьми последних бутылок пива, а сам он оказался довольно молчаливой центральной фигурой оживленно болтающей группы.

Разговоры в Южных Морях все на один образец: океан здесь огромен, но мир мал; вначале непременно будет упомянут Забияка Хейс, герой-моряк, чьи подвиги и вполне заслуженный конец остались совершенно неизвестными Европе; потом будет затронут вопрос о тор-

[1] *Международный кружок (франц.)*.

говле копрой или жемчугом, а может быть, хлопком или губками, но очень небрежно, словно он никого особенно не интересует; то и дело будут упоминаться названия шхун и фамилии их капитанов, а затем собеседники обменяются новостями о последнем кораблекрушении и обстоятельно их обсудят. Человеку новому эти разговоры сначала не покажутся особенно интересными, но, когда он проживет в мире островов год или два и перевидает немало шхун, так что фамилия каждого капитана будет вызывать в его памяти определенную фигуру, облаченную в пижаму или парусиновый костюм, да к тому же привыкнет к снисходительности, с которой (в память мистера Хейса) относятся здесь к таким видам человеческой деятельности, как контрабанда, нарочно устроенное кораблекрушение, баратрия [1], пиратство, насильственная вербовка рабочей силы и прочее, он убедится, что беседы в клубах Полинезии не менее остроумны и поучительны, чем разговоры в подобных же заведениях Лондона и Парижа.

Хотя мистер Лауден Додд и прибыл на Маркизские острова впервые, он был старым, просоленным торговцем Южных Морей; он знал множество кораблей и их капитанов; ему приходилось на других архипелагах присутствовать при зарождении предприятия, о конце которого шел рассказ, или, наоборот, он мог сообщить о дальнейшем развитии событий, начавшихся в Таиохаэ. Среди прочих интересных новостей — например, о появлении в здешних водах новых лиц — он сообщил также о кораблекрушении. «Джон Ричардс» разделил судьбу многих других островных шхун.

— Дикинсон выбросил ее на остров Пальмерстона,— возвестил Додд.

— А кто владельцы? — спросил один из его собеседников.

— О, как обычно, «Кепсикум и К°».

Все переглянулись с многозначительной улыбкой, и Лауден, пожалуй, выразил общее мнение, сказав:

— Вот, говорят, есть выгодные дела! Что может быть выгоднее застрахованной шхуны, опытного капитана и крепкого, надежного рифа?

[1] Баратрия — умышленное уничтожение застрахованного имущества с целью получить страховую сумму.

— Выгодных дел не существует! — заметил уроженец Глазго.— Никто, кроме миссионеров, не получает барышей.

— Ну, не знаю,— возразил кто-то.— Опиум приносит недурную прибыль.

— Неплохо также подобраться к жемчужной отмели, где ловля запрещена, так году на четвертом, обчистить лагуну и удрать на всех парусах, пока французы не спохватились.

— Неплохо золота самородок отыскать,— вставил какой-то немец.

— Купить потерпевший крушение корабль тоже иной раз сделка недурная,— сказал Хэвенс.— Помните этого человека из Гонолулу и бриг, который выбросило на рифы Вайкики? Ветер был крепкий, и бриг начало ломать, не успел он как следует сесть на днище. Агент «Ллойда» продал его меньше чем через час, и до темноты, когда корабль наконец разбило в щепы, покупатель успел обеспечить себе безбедную жизнь, а если бы солнце зашло на три часа позже, он мог бы совсем удалиться от дел. Но и так он построил себе дом на улице Беретания и назвал его в честь этого корабля.

— Да, порой на кораблекрушении можно недурно нажиться,— сказал уроженец Глазго,— но далеко не всегда.

— Ну, это общее правило — выгодные дела встречаются редко,— ответил Хэвенс.

— Согласен,— продолжал шотландец.— А я мечтаю узнать тайну какого-нибудь богача и поприжать его как следует.

— Полагаю, вам известно, что такого рода способы среди порядочных людей неупотребительны? — возразил Хэвенс.

— Это меня не интересует, мне такой способ вполне подходит,— невозмутимо отозвался шотландец из Глазго.— Беда только в том, что подходящих секретов в Южных Морях не узнаешь. Их надо искать в Лондоне или в Париже.

— Мак-Гиббон начитался бульварных романов,— сказал кто-то.

— Он читал «Аврору Флойд»,— добавили из другого угла.

— Ну и что?—возразил Мак-Гиббон.—Ведь это же правда. Почитайте-ка газеты! Вы хихикаете только

из-за своего тупоголового невежества. А на мой взгляд, шантаж — такое же ремесло, как страхование, только в сто раз честнее.

Начавшаяся перепалка заставила Лаудена, который больше всего на свете ценил мир и спокойствие, поспешно вмешаться в разговор.

— Как ни странно,— сказал он,— но мне на своем веку пришлось испробовать все эти способы добывания хлеба насущного.

— Вы имели самородок найти? — жадно спросил немец, изъяснявшийся на ломаном языке.

— Нет,— ответил Лауден.— Я занимался всякими глупостями, но все-таки не золотоискательством. Любой дурости есть предел.

— Ну, а контрабандной торговлей опиумом вы занимались? — поинтересовался кто-то еще.

— Занимался,— ответил Лауден.

— Выгодное дело?

— Еще какое!

— И покупали разбившийся корабль?

— Да, сэр,— ответил Лауден.

— Ну, и что из этого вышло?

— Видите ли, этот корабль был особого сорта,— объяснил Лауден.— По чести говоря, я бы никому не советовал заниматься этим видом деятельности.

— А что, его разбило в щепы на мели?

— Вернее будет сказать, что из-за него на мели оказался я,— заметил Лауден.— Не сумел преодолеть трудностей.

— А шантажом занимались? — осведомился Хэвенс.

— Само собой разумеется! — кивнул Лауден.

— Выгодное дело?

— Видите ли, я человек невезучий. А так, наверное, выгодное.

— Вы узнали чью-нибудь тайну? — спросил уроженец Глазго.

— Великую, как этот океан.

— Тайну богача?

— Не знаю, что вы называете богачом, но эти острова он мог бы купить и не заметить, во что они ему обошлись.

— Ну, так за чем же дело стало? Вы не могли его разыскать?

— Да, на это потребовалось время, но в конце концов я загнал его в угол и...

— И что?

— Все полетело вверх тормашками. Я стал его лучшим другом.

— Ах, черт!

— По-вашему, он не слишком разборчив в выборе друзей? — любезно осведомился Лауден.— Да, пожалуй, у него довольно широкий круг симпатий.

— Если вы кончили болтать чепуху, Лауден,— сказал Хэвенс,— то нам пора идти ко мне обедать.

За стенами клуба во мраке ревел прибой. В темной чаще кое-где мерцали огоньки. Мимо по двое и по трое проходили островитянки, кокетливо улыбались и снова исчезали во мгле, а в воздухе еще долго держался запах пальмового масла и цветов франжипана. От клуба до жилища мистера Хэвенса было два шага, и любому обитателю Европы они показались бы двумя шагами по волшебной стране. Если бы такой европеец мог последовать за нашими двумя друзьями в дом, окруженный широкой верандой, и в прохладной комнате, с жалюзи вместо стен, сесть с ними за стол, на белую скатерть которого падали цветные тени от бокалов с вином; если бы он мог отведать экзотические кушанья: сырую рыбу, плоды хлебного дерева, печеные бананы, жареного поросенка с гарниром из упоительного мити и царя всех подобных блюд — салат из сердцевины пальмы; если бы он мог увидеть и услышать, как некая прелестная туземка, слишком скромная для супруги хозяина и слишком властная для любого иного положения, то появляется в столовой, то исчезает, браня невидимых помощников, а потом мгновенно очутился в родном лондонском пригороде, он сказал бы, протирая глаза и потягиваясь в своем любимом кресле у камина: «Мне приснилось дивное местечко! Ей-богу, это был рай!» Однако Додд и его хозяин давно уже привыкли ко всем чудесам тропической ночи, ко всем яствам островной кухни и принялись за еду просто как люди, давно проголодавшиеся, лениво перебрасываясь словами, как бывает, когда немного скучно.

Вскоре разговор коснулся беседы в клубе.

— Вы никогда еще не болтали столько чепухи, Лауден,— заметил Хэвенс.

— Мне показалось, что в воздухе запахло порохом, вот я и заговорил, чтобы отвлечь их. Однако все это вовсе не чепуха.

— Вы хотите сказать, что все это правда: и опиум, и покупка потерпевшего крушение корабля, и шантаж, и человек, который стал вашим другом?

— Все правда, до последнего слова,— ответил Лауден.

— Кажется, вы действительно много испытали на своем веку,— сухо сказал Хэвенс.

— Да, история моей жизни довольно любопытна,— отозвался его друг.— Если хотите, я расскажу ее вам.

Далее следует повесть о жизни Лаудена Додда, не так, как он поведал ее своему другу, а так, как он впоследствии записал ее.

РАССКАЗ ЛАУДЕНА

ГЛАВА I
ХОРОШЕЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Для начала мне следует описать характер моего бедного отца. Трудно представить себе человека лучше или красивее его и в то же время такого (с моей точки зрения) неудачника: ему не повезло и с делами, и с удовольствиями, и с выбором дома, и (как мне ни жаль) с единственным сыном. Он начал жизнь землемером, стал спекулировать земельными участками, пустился в другие деловые предприятия и постепенно приобрел репутацию одного из самых ловких дельцов штата Маскегон [1]. «У Додда голова что надо»,— отзывались о нем окружающие. Но сам я далеко не так уверен в его деловых способностях. Впрочем, удачливость его долгое время казалась несомненной, а уж настойчивость была совершенно бесспорной. Он вел ежедневную битву за деньги с меланхолической покорностью мученика: вставал чуть свет, ел на ходу, даже в дни побед возвращался домой измученным и обескураженным; он отказывал себе в развлечениях — если вообще был способен развлекаться, в чем я порой сомневался,— и доводил до благополучного конца очередную спекуляцию с пшеницей или алюминием, по сути своей ничем не отличавшуюся от грабежа на большой дороге, ценой самой высокой самоотверженности и добросовестности.

[1] Маскегон — штат вымышленный.

К несчастью, меня ничто, кроме искусства, никогда не интересовало и интересовать не будет. Я считал тогда, что высшее назначение человека — обогащать мир прекрасными произведениями искусства и приятно проводить время, свободное от этого благородного занятия. Насколько помню, о второй половине своей жизненной программы (которую, кстати, мне только и удалось осуществить) я отцу ничего не говорил, однако он, по-видимому, что-то заподозрил, так как назвал мой заветный план баловством и блажью.

— Ну хорошо,— воскликнул я однажды,— а что такое твоя жизнь? Ты думаешь только о том, как бы разбогатеть, и при этом за счет других людей.

Он грустно вздохнул (это вообще было его привычкой) и укоризненно покачал головой.

— Ах, Лауден, Лауден! — сказал он.— Все вы, мальчики, считаете себя мудрецами. Но как бы ты ни противился этому, всякий человек обязан работать. И выбор только один — быть честным человеком или вором, Лауден.

Вы сами видите, насколько бесполезно было спорить с моим отцом. Отчаяние, охватывавшее меня после подобных разговоров, отягощалось еще и раскаянием, потому что я нередко грубил ему, а он неизменно бывал со мной мягок и ласков. К тому же я ведь отстаивал мои личные стремления и желания, а он думал только о моем благе, хотя и понимал его по-своему. И он не терял надежды образумить меня.

— Основа у тебя хорошая, Лауден,— повторял он,— основа у тебя хорошая. В конце концов кровь скажется, и ты пойдешь по правильному пути. Я не боюсь, что мне придется стыдиться моего сына. Просто мне порой бывает неприятно, когда ты начинаешь нести чепуху.

После этого он похлопывал меня по плечу или по руке с нежностью, особенно трогательной в таком красивом и сильном человеке.

Как только я окончил школу, отец отправил меня в Маскегонскую коммерческую академию. Вы иностранец, и вам, вероятно, не так-то просто поверить, что подобное учебное заведение существует на самом деле. Поэтому, прежде чем продолжить свой рассказ, я хочу заверить вас, что я не шучу. Эта академия действительно существовала, а может быть, существует и по сей день — наш штат чрезвычайно ею гордился, считая это

учебное заведение высшим достижением современной цивилизации. Мой отец, провожая меня на вокзал, несомненно, был уверен, что открывает передо мной прямой и верный путь в президенты и в рай.

— Лауден,— сказал он мне,— я даю тебе возможность, какой не мог дать своему сыну даже Юлий Цезарь: возможность познать жизнь прежде, чем ты сам примешь в ней участие. Избегай рискованных спекуляций, старайся вести себя так, как следует благородному человеку, и, по возможности, ограничивайся надежными операциями с железнодорожными акциями. Пшеница всегда соблазнительна, но и очень опасна. В твоем возрасте я не стал бы начинать с пшеницы; однако другие ценности тебе не противопоказаны. Обращай особое внимание на ведение счетных книг и, раз потеряв деньги, вторично их в те же акции не вкладывай. Ну, сынок, поцелуй меня на прощание и не забывай, что ты у меня один и что твой отец будет следить за твоей карьерой с любовью и тревогой.

Коммерческая академия занимала несколько прекрасных просторных зданий, расположенных в лесу. Воздух там был очень здоровым, питание — превосходным, плата за обучение — весьма высокой. Телеграф соединял академию, говоря словами рекламного объявления, «с различными мировыми центрами». Читальный зал был в изобилии снабжен «коммерческой прессой». Разговоры велись большей частью об Уолл-стрите, а студенты (всего там обучалось около ста человек) в основном занимались тем, что пытались прикарманить «академические капиталы» своих товарищей. Правда, по утрам мы занимались в аудиториях: нам преподавали немецкий и французский языки, бухгалтерское дело и прочие солидные науки. Однако большую часть дня мы проводили на «бирже», обучаясь спекуляции товарами и ценными бумагами,— это-то и была основа основ получаемого нами образования. Поскольку ни один из участников не имел никакой собственности — ни бушеля реальной пшеницы, ни доллара в государственной валюте,— эти спекуляции, разумеется, не приносили их участникам никаких выгод и превращались в самоцель. Они сводились к откровенной, ничем не прикрытой азартной игре. Нас, не жалея никаких затрат на декорации, обучали именно тому, что уничтожает всякую истинную коммерцию. Для того

чтобы мы на опыте познакомились с движением и капризами цен, наш учебный рынок точно воспроизводил реальное положение вещей в стране. Мы были обязаны вести счетные книги, которые в конце каждого месяца проверялись либо директором, либо кем-нибудь из его помощников. Чтобы сделать игру еще более правдоподобной, «академической валюте» была придана реальная стоимость. Заботливые родители или опекуны покупали ее студентам по цене цент за доллар. Заканчивая курс, студенты по той же цене продавали академии оставшуюся у них валюту. А наиболее удачливые «биржевики» порой реализовывали часть своих капиталов еще в бытность свою студентами, чтобы тайком устроить пирушку в соседнем городке. Короче говоря, хуже этой академии была, пожалуй, только та, где Оливер познакомился с Чарли Бейтсом [1].

Когда кто-то из младших преподавателей проводил меня на «биржу», чтобы показать мне мою конторку, я был ошеломлен царившим там хаосом и шумом. В глубине зала виднелись черные доски со столбцами все время меняющихся цифр. После каждого изменения студенты толпой бросались к доскам и начинали во весь голос вопить какую-то, как мне показалось, абракадабру. Некоторые вскакивали на конторки и скамьи, подавая руками и головами загадочные знаки и что-то быстро отмечая в своих записных книжках. Мне показалось, что неприятней этой сцены я еще ничего в жизни не видывал; а когда я сообразил, что все эти сделки — простая игра и что всех денег, циркулирующих на «академической бирже», не хватит и на покупку пары коньков, то почувствовал большое изумление, хотя и ненадолго, ибо припомнил, как взрослые и очень богатые люди выходят из себя, проиграв жалкие гроши. Тогда, найдя таким образом оправдание моим соученикам, я изумился поведению преподавателя, который привел меня сюда: забыв показать мне мою конторку, он, бедняга, стоял среди этой суматохи как завороженный — казалось, цифры на досках всецело завладели его вниманием.

— Глядите, глядите,— завопил он мне в ухо,— курсы падают! Рынком со вчерашнего дня завладели «медведи».

---

[1] Оливер и Чарли Бейтс — действующие лица романа Диккенса «Оливер Твист». Под «академией» подразумевается воровской притон.

— Ну и что же? — ответил я, с трудом перекрикивая шум (я еще не научился разговаривать в подобной обстановке).— Это же все понарошку.

— Да, конечно,— ответил он,— и вы должны твердо запомнить, что истинную прибыль вы получите, только если будете хорошо вести свои счетные книги. Надеюсь, Додд, мне предстоит только хвалить вас за них. Вы начинаете свою деятельность с весьма приличным капиталом — десять тысяч долларов в «академической валюте». Его, несомненно, хватит вам до конца обучения, если, конечно, вы не будете рисковать и пускаться в сомнительные операции... Постойте, что бы это значило? — перебил он сам себя, когда на досках появились новые цифры.— Семь, четыре, три! Додд, вам повезло: за весь семестр еще не было такого оживления. И подумать только, что точно то же происходит сейчас в Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе и других соперничающих деловых центрах страны! Эх, я и сам поиграл бы вместе с мальчиками,— добавил он, потирая руки,— да только это не разрешается правилами.

— А что бы вы сделали?

— Что бы я сделал? — вскричал он, сверкнув глазами.— Покупал бы, пока хватит капитала!

— Это и значит не рисковать и не пускаться в сомнительные операции? — спросил я с самым невинным видом.

Он бросил на меня злобный взгляд, а затем сказал, словно для того, чтобы переменить тему:

— Видите того рыжего юношу в очках? Это Билсон, наш самый блестящий студент. Мы все уверены в его будущем. Берите пример с Билсона, Додд.

Вскоре после этого, пока шум по-прежнему нарастал, цифры на доске появлялись и исчезали все быстрее, а зал сотрясался от воплей биржевиков, младший преподаватель покинул меня, указав мне наконец мою конторку. Мой сосед подводил итоги в своей счетной книге — подсчитывал убытки за это утро, как я узнал позднее,— и очень охотно оторвался от этого малоприятного занятия, увидев незнакомое лицо.

— Эй, новичок! — окликнул он меня.— Как вас зовут?.. Что? Ваш отец — Додд Голова Что Надо? Сколько у вас капитала? Десять тысяч? Здорово! Ну и дурак же вы, что возитесь со своими книгами!

Я ответил, что не вижу иного выхода, поскольку книги ежемесячно проверяются.

— Эх, разиня! Наймите писца! — крикнул он.— Кого-нибудь из наших банкротов — для этого они здесь и толкутся. Если вы будете удачно играть на бирже, вам в этом колледже работать не придется.

Шум к этому времени стал совсем уже невыносимым, и мой новый друг, сказав, что наверняка кто-то «прогорел», что он пойдет выяснить, в чем дело, и приведет мне писца, застегнул куртку и нырнул в неистовствующую толпу. Его предположение было правильно: кто-то действительно «прогорел», один из королей биржи был низложен — игра на сале оказалась для него роковой,— и писец, обязавшийся писать мои книги, избавлять меня от всей работы и получать все причитающееся мне образование за тысячу долларов в месяц в «академической валюте» (десять долларов в валюте США), оказался не кем иным, как знаменитым Билсоном, с которого мне рекомендовали брать пример. Бедняга был очень расстроен. Только за одно могу я похвалить Маскегонскую коммерческую академию: все мы, включая даже самую мелкую рыбешку, испытывали глубокий стыд, оказываясь банкротами; ну, а такому магнату, как Билсон, который в дни своего процветания столь высоко задирал нос, потерпеть полный крах было особенно тяжело. Но дух серьезного отношения к игре победил даже горечь недавнего поражения, и Билсон приступил к исполнению своих новых обязанностей с надлежащей энергией и деловитостью.

Таковы были мои первые впечатления от этого нелепого учебного заведения, и, говоря откровенно, я скорее назвал бы их приятными. Пока я буду богат, я смогу распоряжаться дневными и вечерними часами по своему вкусу: писец будет вести мои книги, писец будет толкаться и вопить на бирже, а я могу заниматься писанием пейзажей и чтением романов Бальзака — в то время это были два главных моих увлечения. Следовательно, моя задача сводилась к тому, чтобы оставаться богатым, то есть вести дела осмотрительно и не пускаться в рискованные спекуляции, иначе говоря, найти какой-то безопасный способ наживы. Я ищу его до сих пор, и, насколько могу судить, в нашем несовершенном мире ближе всего к нему стоит излюбленная детьми деловая операция, сводящаяся к формуле: «Орел — я выиграл, решка — ты проиграл». Помня напутственные слова моего отца, я робко взялся за железные дороги и около месяца занимал бесславно-надежную позицию, скупая в малых количествах самые устойчивые акции и безропотно (насколько это у меня получалось) снося презрение своего писца. Однажды я в виде опыта решился на более смелый шаг и, не сомневаясь, что акции компании «Пен-Хендл» (если не ошибаюсь) будут падать и дальше, продал этих акций на несколько тысяч. Но не успел я произвести эту сделку, как какие-то идиоты в Нью-Йорке начали играть на повышение, акции «Пен-Хендла» взлетели к потолку, а мое положение оказалось подорванным. Кровь, как и надеялся мой отец, сказалась, и я мужественно продолжал вести свою линию: весь день я продавал эти дьявольские акции, и весь день они продолжали повышаться. Как кажется, я (хрупкая скорлупка) попал под носовую волну мощного корабля Джея Гульда — в дальнейшем, насколько помню, оказалось, что это был первый ход в очень крупной биржевой игре. В тот вечер имя Лаудена Додда занимало первое место в газете нашей академии, а мы с Билсоном (снова оказавшимся без места) претендовали на одну и ту же вакансию писца. О ком шумят, того скорей услышат. Мое разорение привлекло ко мне всеобщее внимание, и поэтому место писца получил *я*. Так что, как вы сейчас убедились, и в Маскегонской коммерческой академии можно было кое-чему научиться.

Меня лично совсем не трогало, выиграл я или проиграл в такой сложной и скучной игре, где все зависело только от случайности. Однако писать об этом отцу оказалось тяжелой задачей, и я пустил в ход все свое красноречие. Я доказывал (и это было абсолютной правдой), что студенты, удачно играющие на бирже, не получают никакого образования, и, следовательно, если он хочет, чтобы я чему-нибудь научился, ему следует радоваться моему разорению. Затем я (не очень последовательно) обратился к нему с просьбой снабдить меня новым капиталом, обещая в этом случае иметь дело только с надежными акциями железных дорог. Несколько увлекшись, я заключил свое письмо уверениями, что не гожусь в дельцы, и горячей просьбой забрать меня из этого отвратительного места и отпустить в Париж заниматься искусством. В ответ я получил короткое, ласковое и грустное письмо, в котором он писал только, что

до каникул осталось совсем немного, а тогда у нас будет достаточно времени, чтобы все обсудить.

Когда я приехал домой на каникулы, отец встретил меня на вокзале, и я был потрясен, увидев, как он постарел. Казалось, он думал только о том, как утешить меня и вернуть мне бодрость духа (которую я, по его мнению, должен был утратить). Не надо унывать, убеждал он меня, сотни опытнейших биржевиков начинали свою карьеру с неудачи. Я заявил ему, что не создан быть финансистом, и его лицо омрачилось.

— Не говори так, Лауден,— сказал он.— Я не могу поверить, что мой сын оказался трусом.

— Но мне не нравится эта жизнь! — умоляюще произнес я.— Меня интересует не биржа, а искусство. На этом поприще я способен достичь гораздо большего!

И я напомнил ему, что известные художники зарабатывают большие деньги, что любая картина Мейсонье стоит много тысяч долларов.

— А не думаешь ли ты, Лауден,— возразил он,— что человек, способный написать тысячедолларовую картину, сумел бы показать свою закалку и на бирже? Уж поверь, этот Мэзон, о котором ты сейчас упомянул, или наш соотечественник Бьерстадт, очутись они завтра на хлебной бирже, показали бы, из какого материала они скроены. Послушай, Лауден, сынок, ведь я, видит бог, думаю только о твоем благе, и я хочу заключить с тобой договор: в следующем семестре я снова дам тебе десять тысяч ваших долларов, и, если ты покажешь себя настоящим мужчиной и удвоишь этот капитал, я позволю тебе поехать в Париж, коли тебе еще будет этого хотеться, в чем я сильно сомневаюсь. Но разрешить тебе уйти с позором, словно тебя высекли, мне не позволяет гордость.

Когда я это услышал, сердце мое забилось от радости, но тут же меня снова охватило уныние. Ведь, как мне казалось, куда легче было тут же, не сходя с места, написать картину не хуже Мейсонье, чем заработать десять тысяч долларов на нашей академической бирже. Не мог я также не подивиться столь странному способу проверки, есть ли у человека талант художника. Я даже осмелился выразить свое недоумение вслух.

— Ты забываешь, мой милый,— сказал отец с глубоким вздохом,— что я могу судить только об одном, но

не о другом. Будь у тебя даже гений самого Бьерстадта, я бы этого не заметил.

— А кроме того,— продолжал я,— это не совсем справедливо. Другим студентам помогают их родные: присылают им телеграммы с указаниями. Вот, например, Джим Костелло, он и шага не сделает, пока отец из Нью-Йорка не подскажет ему, как поступить. А кроме того, как ты не понимаешь — ведь если кто-то наживается, значит, кому-то нужно разоряться.

— Я буду держать тебя в курсе выгодных сделок,— вскричал мой отец, просияв.— Я не знал, что это разрешается вашими правилами. Я буду посылать тебе телеграммы, зашифрованные нашим коммерческим шифром, и мы устроим нечто вроде фирмы «Лауден Додд и сын», э? — Он похлопал меня по плечу, а затем повторил с нежной улыбкой: —«Додд и сын», «Додд и сын».

Раз мой отец обещал давать мне советы, а коммерческая академия становилась преддверием Парижа, я мог с надеждой взирать на будущее. К тому же мысль о нашей «фирме» доставила моему старичку такое удовольствие, что он сразу ободрился. И вот после грустной встречи на вокзале мы сели ужинать, весело улыбаясь и в самом праздничном настроении.

А теперь я должен ввести в мое повествование нового героя, который, не сказав ни слова и даже пальцем не пошевелив, определил всю мою дальнейшую судьбу. Вам приходилось бывать в Штатах, и, возможно, вы видели его золоченую, хитро каннелированную голову, сверкающую над деревьями посреди обширной равнины, ибо этот новый герой был не что иное, как капитолий штата Маскегон, тогда еще только находившийся в проекте. Мой отец приветствовал его постройку из патриотических чувств, к которым в равной мере примешивалась деловая алчность,— и то и другое было совершенно искренним. Он был членом всех комитетов, связанных с этой постройкой, он пожертвовал на нее значительную сумму, и он подготавливал свое участие во всех связанных с ней подрядах. На конкурс было прислано много проектов. Когда я приехал из академии, мой отец был занят их рассмотрением, и они так его заинтересовали, что в первый же вечер после моего приезда он обратился ко мне за советом. Вот наконец был предмет, которым я мог заняться с искренним удовольствием! Правда, я ничего не смыслил в архитектуре, но, во всяком

случае, это было искусство, а я в любом искусстве предпочитал классические образцы и, кроме того, был готов ради него на любые труды — способность, которую какой-то прославленный идиот объявил равнозначной гению. Я тут же с головой ушел в работу: ознакомился со всеми проектами, оценил их недостатки и достоинства, прочел множество книг по архитектуре, овладел теорией деформации, изучил текущие цены на строительные материалы и, короче говоря, оказался настолько хорошим «натаскивателем», что, когда началось рассмотрение проектов, Додд Голова Что Надо заслужил свежие лавры. Его доводы убедили всех, его выбор был единодушно одобрен комитетом, а я мог втихомолку торжествовать, зная, что и аргументы и выбор принадлежали мне и только мне. Когда в принятый проект вносились некоторые дополнения и изменения, моя роль оказалась еще более значительной, ибо я составил эскиз и сделал модель каминных решеток для служебных помещений. Энергия и способности, которые я при этом проявил, привели моего отца в полный восторг, а кроме того, хотя мне самому, пожалуй, не следовало бы говорить об этом, именно благодаря моим усилиям капитолий моего родного штата украшает, а не безобразит его.

В общем, когда я вернулся в Коммерческую академию, настроение у меня было очень бодрое, и мои первые биржевые операции увенчались блестящим успехом. Отец постоянно присылал мне письма и телеграммы. «Ты должен сам решить, как поступить, Лауден,— не уставал повторять он.— Я сообщаю тебе только цифры, но любую свою спекуляцию ты предпринимаешь на свой страх и риск, и все, что ты заработаешь, ты заработаешь благодаря собственной смелости и инициативе». Однако, несмотря на это, всегда было легко угадать, чего он от меня ждет, и я всегда спешил оправдать его ожидания. Через месяц у меня уже было около восемнадцати тысяч долларов в «академической валюте». И тут я пал жертвой одного из пороков этой системы. Как я уже упоминал, за «академическую валюту» можно было получить один процент ее номинальной стоимости в денежных знаках Соединенных Штатов. Разорившиеся биржевые игроки постоянно продавали свою одежду, книги, банджо и запонки, чтобы покрыть дефицит, а нажившиеся, наоборот, не устояв перед соблазном, превращали часть своих «прибылей» в настоящие доллары для оплаты каких-нибудь реальных удовольствий. А мне понадобилось тридцать долларов, чтобы приобрести принадлежности для занятий живописью: я постоянно уходил в лес писать этюды, и, поскольку мои карманные деньги были израсходованы, в один злосчастный день я реализовал три тысячи в «академической валюте», чтобы купить себе палитру,— благодаря советам моего отца я уже начал смотреть на биржу как на место, где деньги сами плывут тебе в руки.

Палитра прибыла в среду, и я вознесся на седьмое небо. В это время мой отец (сказать «я» значило бы отступить от истины) пытался устроить «двойной опцион» на пшенице между Чикаго и Нью-Йорком — как вам известно, спекуляции такого рода считаются одними из самых рискованных на шахматной доске финансов. В четверг удача повернулась к нему спиной, и к вечеру моя фамилия второй раз красовалась на доске в списке банкротов. Это был тяжелый удар. Надо сказать, что моему отцу в любом случае было бы нелегко его перенести, потому что, как бы ни мучили человека промахи его сына, его собственные промахи мучают его гораздо сильнее. Однако в горькой чаше нашей неудачи была, кроме того, капля смертельного яда: отец превосходно знал состояние моих финансов и заметил недостачу трех тысяч «академических долларов», а это, с его точки зрения, означало, что я украл тридцать настоящих долларов. Пожалуй, такое суждение было слишком строгим, но некоторые основания для него были, а мой отец, хотя его биржевая деятельность, на мой взгляд, по самой своей сути исключала честность, был необыкновенно щепетилен во всех сопутствующих ей мелочах. Я получил от него только одно печальное, обиженное и ласковое письмо, и больше до конца семестра он мне не писал, так что все это горькое время, трудясь в качестве писца, продавая одежду и этюды, чтобы добыть средства на очередную безнадежную спекуляцию, и с тоской стараясь забыть свою мечту о Париже, я был лишен его поддержки и советов.

Однако все это время он, по-видимому, постоянно думал о своем сыне и о том, что с ним дальше делать. Полагаю, он пришел в настоящий ужас от моей беспринципности — именно так он оценивал мой поступок — и старался изыскать способ, как в дальнейшем оградить меня от искушений. С другой стороны, архи-

тектор, строивший капитолий, похвально отозвался о моих решетках, и, пока отец колебался, не зная, на что решиться, вмешалась судьба, и Маскегонский капитолий определил мою дальнейшую жизнь.

— Лауден,— сказал мне отец, встретив меня на вокзале сияющей улыбкой,— если ты поедешь в Париж, сколько времени тебе понадобится, чтобы сделаться опытным скульптором?

— Я не понимаю, отец, что ты имеешь в виду? — вскричал я.— Что значит «опытным»?

— Это значит — скульптором, которому можно доверить самые сложные заказы,— ответил он.— Ну, например, обнаженную натуру, а также патриотический и эмблематический стили.

— На это может потребоваться три года,—ответил я.

— И ты считаешь, что этому можно научиться только в Париже? — спросил он.— Ведь и у нас тут есть всякие возможности, и, говорят, этот Проджерс очень искусный скульптор, хотя он, наверное, слишком важный, чтобы давать уроки.

— Кроме Парижа, этому нельзя научиться нигде,— заверил его я.

— Да,— признал он,— мне и самому кажется, что так будет гораздо звучнее: «Молодой уроженец нашего штата, сын одного из наших видных граждан, обучавшийся у самых опытных мастеров Парижа!»

— Но, папочка, я ничего не понимаю,— перебил я.— Я ведь никогда не думал о том, чтобы стать скульптором.

— Дело вот в чем,— объяснил он.— Я взял подряд на снабжение нашего капитолия скульптурами. Сперва я смотрел на это как на коммерческую сделку, а потом мне пришло в голову, что лучше превратить ее в семейное предприятие. Это придется тебе по вкусу, можно заработать большие деньги и проявить патриотизм. Если ты согласен, то поезжай в Париж и возвращайся через три года украшать капитолий своего родного штата. Пред тобой открываются блестящие возможности, Лауден. И вот еще что: к каждому заработанному тобой доллару я добавлю один от себя. Но чем скорее ты уедешь и чем старательнее будешь учиться, тем будет лучше, так как, если первые статуи не придутся по вкусу гражданам Маскегона, выйдут большие неприятности.

ГЛАВА II
РУССИЛЬОНСКОЕ ВИНО

Родители моей матери были шотландцы, и решено было, что по дороге в Париж я заеду навестить моего дядю Эдама Лаудена, удалившегося от дел бакалейщика, который проживал в Эдинбурге. Дядя говорил со мной очень сдержанно и очень иронично; кормил он меня великолепно, отвел мне чудесную комнату, но, казалось, возмещал себе все эти расходы до последнего гроша тем, что втайне надо мной потешался, отчего очки его то и дело насмешливо поблескивали, а уголки рта начинали лукаво подергиваться. Все это плохо скрываемое веселье, насколько я мог понять, объяснялось только тем фактом, что я американец. «Та-а-ак! — начинал он разговор, затягивая это слово до бесконечности.— В вашей стране вы, наверное, делаете это по-другому». И все мои многочисленные двоюродные братья и сестры принимались весело хихикать. Вероятно, именно такого рода отношение и породило то, что называется американской любовью к розыгрышам. Во всяком случае, я не выдержал и сообщил, что мои друзья летом ходят нагишом, а вторая методистско-епископальная церковь в Маскегоне украшена скальпами. Однако не могу сказать, чтобы подобные взлеты моей фантазии вызывали особенное изумление: их принимали почти так же, как сообщение о том, что мой отец принадлежит к республиканской партии, а в каждом штате есть своя столица. Вот если бы я рассказал им сущую правду — что мой отец вносил ежегодно высокую плату за то, чтобы меня обучали в заведении, по сути своей ничем не отличавшемся от игорного притона,— хихиканье и насмешливые улыбки моих родственников имели бы куда больше оснований.

Не могу отрицать, что порой меня охватывало непреодолимое желание угостить дядю Эдама хорошим тумаком, и надо сказать, что в конце концов дело, наверное, тем бы и кончилось, если бы в мою честь не был устроен званый обед. Во время него я, к большому моему удивлению и радости, убедился, что невежливость, с которой я столкнулся, не выходит за границы тесного семейного круга и может даже считаться проявлением родственной нежности. Гостям меня представляли со всяческим уважением, а то, что говорилось «о моем аме-

риканском зяте, муже бедняжки Дженни, Джеймсе К. Додде, известном маскегонском миллионере», вполне могло исполнить гордостью сердце любящего сына.

Сначала моим проводником по городу был назначен дряхлый клерк моего деда, приятный, робкий человечек, питавший большую склонность к виски. В компании этого безобидного, но отнюдь не аристократического спутника я осмотрел «трон Артура» и Колтон-Хилл, послушал, как играет оркестр в саду на Принсис-стрит, поглядел на исторические реликвии и на кровь Риччио в величественном замке на утесе и влюбился и в этот замок, и в бесчисленные колокольни, и в красивые здания, и в широкие проспекты, и в узенькие, кишащие народом улочки старинного города, где мои предки жили и умирали в те дни, когда никто еще не слыхал о Христофоре Колумбе.

Однако куда больше меня интересовала реликвия совсем иного рода, а именно: мой дед Александр Лауден. В свое время этот почтенный старец был простым каменщиком и, как мне кажется, сумел разбогатеть исключительно благодаря практической сметке, а не каким-то особым достоинствам. Его внешность, речь и манеры недвусмысленно указывали на его скромное прошлое, что было источником вечных мучений для дяди Эдама. Под его ногтями, несмотря на тщательный надзор, постоянно появлялся траур, одежда висела на нем мешком, как праздничный костюм на поденщике, речь его была простонародной, и даже в лучшие свои минуты, когда он соглашался хранить молчание, самое его присутствие в уголке гостиной, его обветренное морщинистое лицо, его редкие волосы, его мозолистые руки и веселая лукавая усмешка безжалостно выдавали тот неприятный факт, что семья наша «вышла из низов». Как бы ни жеманилась моя тетушка, как бы ни задирали нос мои кузены и кузины, ничто не могло противостоять весомой физической реальности — старику каменщику, сидящему в уголке у камина.

То, что я американец, давало мне одно преимущество: мне и в голову не приходило стыдиться деда, и старик не преминул это заметить. Он с большой нежностью вспоминал мою мать — вероятно, потому, что у него сложилась привычка сравнивать ее с дядей Эдамом, которого он презирал до неистовства,— и решил, что свое почтительное отношение к нему я унаследовал от его

любимицы. Когда мы отправлялись с ним на прогулку — а скоро эти прогулки стали ежедневными,— он иногда (не забыв шепотом предупредить меня, чтобы я не проговорился об этом Эдаму) заходил в какой-нибудь трактир, где прежде бывал частым гостем, и там (если ему везло и он встречал своих старинных приятелей) с великой гордостью представлял меня честной компании, отпуская одновременно шпильку по адресу остальных своих потомков.

«Это сынок моей Дженни,— говаривал он в таких случаях.— Вот он — паренек хороший, не в пример другим». Во время наших прогулок мы не осматривали исторических древностей и не любовались видами, вместо этого мы посещали один за другим унылые окраинные кварталы. Интересны они были потому, что, как заявлял старик, он был подрядчиком, который их строил, а порой и единственным архитектором, который их планировал. Мне редко приходилось видеть более безобразные дома — их кирпичные стены, казалось, краснели, а черепичные крыши бледнели от стыда. Но я умел скрывать свои чувства от дряхлого ремесленника, и, когда он указывал на какой-нибудь очередной образчик уродства, обычно добавляя замечание вроде: «Вот эту штуку придумал я: дешево, красиво и всем пришлось по душе, а потом эту мыслишку у меня позаимствовали, и под Глазго есть целые кварталы с такими вот готическими башенками и плинтусами»,— я торопился вежливо выразить свое восхищение и (заметив, что это доставляет ему особенное удовольствие) осведомиться, во сколько обошлось каждое такое украшение. Нетрудно догадаться, что наиболее частой и приятной темой наших разговоров был Маскегонский капитолий. Я по памяти начертил для деда все планы этого здания, а он с помощью узкой и длинной книжицы, полной всяческих цифр и таблиц (справочника Молесворта, если не ошибаюсь), которую всюду носил с собой в кармане, составлял примерные сметы и покупал с воображаемых торгов воображаемые подряды. Наших маскегонских строителей он окрестил шайкой стервятников, и эта интересная для обеих сторон тема в соединении с моими познаниями в области архитектуры, теории деформации и цен на строительные материалы в Соединенных Штатах послужила надежной основой для сближения старика и юноши, в остальных отношениях

совсем друг на друга не похожих, и заставила моего деда с большим жаром называть меня «умнейшим пареньком». Таким-то образом, как вы в свое время увидите, капитолий моего родного штата вторично оказал сильнейшее влияние на течение моей жизни.

Однако, покидая Эдинбург, я не подозревал о том, какую значительную услугу успел себе оказать, и чувствовал только огромное облегчение от сознания, что расстаюсь наконец с этим довольно-таки скучным домом и отправляюсь в город радужных надежд — в Париж. У каждого человека есть своя заветная мечта, а я мечтал о занятиях искусством, о студенческой жизни в Латинском квартале и о мире Парижа, каким описал его мрачный волшебник — автор «Человеческой комедии». И я не разочаровался. Впрочем, я и не мог разочароваться, ибо видел не реальный Париж, а тот, который рисовало мне воображение. Моим соседом в безобразном, пропитанном запахами кухни пансионе на улице Расина, где я поселился, был З. Марка́; в захудалом ресторанчике я обедал за одним столом с Лусто и Растиньяком; а если на перекрестке на меня чуть не наезжал изящный кабриолет, значит, им правил Максим де Трай. Как я уже сказал, обедал я в дешевом ресторанчике, а жил в дешевом пансионе — но не из нужды, а из романтических побуждений. Отец щедро снабжал меня деньгами, и если бы я только пожелал, то мог бы жить на площади Звезды и ездить на занятия в собственном экипаже. Однако тогда вся прелесть парижской жизни была бы для меня утрачена: я остался бы прежним Лауденом Доддом, в то время как теперь я был студентом Латинского квартала, преемником Мюрже, и в самом деле жил так, как жили герои тех книг, которые я, погружаясь в мир мечты, запоем читал и перечитывал в лесах Маскегона.

В те годы мы, обитатели Латинского квартала, все были немножко помешаны на Мюрже. Поставленная театром «Одеон» пьеса «Жизнь богемы» (удивительно скучная и сентиментальная вещь) выдержала невиданное (для Парижа) число представлений и возродила созданную Мюрже легенду. Поэтому во всех мансардах нашего квартала разыгрывалось в частном порядке одно и то же представление, и добрая треть студентов вполне сознательно и к огромному собственному удовольствию старалась во всем подражать Родольфу или Шонару. Некоторые из нас заходили в этом очень далеко, а другие — еще дальше. Я, например, с величайшей завистью взирал на некоего моего соотечественника, который снимал мастерскую на улице Его Высочества Принца, носил сапоги, собирал свои длинные волосы в сетку и в таком облачении ничтоже сумняшеся шествовал в самый паршивый кабачок квартала в сопровождении натурщицы-корсиканки, одетой в живописный костюм своей родины и профессии. Несомненно, требуется некоторое величие души, чтобы придать подобный размах даже капризу; что же касается меня, то я довольствовался тем, что с огромным пылом притворялся бедняком, выходил на улицу в феске и пытался, невзирая на всяческие неприятные приключения, найти давно вымершее млекопитающее — гризетку. Самые большие жертвы я приносил в вопросах еды и питья: я был прирожденным гурманом и обладал тонким вкусом, особенно в отношении вин, так что только глубокая преданность романтическому идеалу давала мне силы прожевывать сдобренные жиром и мускусом блюда и запивать их красными чернилами, которые изготовляются в Берси под видом вина. Порой после тяжелого дня в студии, где я трудился прилежно и весьма успешно, меня вдруг охватывало непреодолимое отвращение к подобной жизни, и тогда я, на время покинув дешевые кабачки и своих товарищей, отправлялся вознаградить себя за долгие недели самопожертвования хорошими винами и изысканными яствами. Я усаживался на террасе или в саду какого-нибудь ресторана, раскрывал томик одного из моих любимых писателей и, то принимаясь читать, то откладывая его в сторону, блаженствовал, пока не наступали сумерки и Париж не загорался огнями, а тогда отправлялся домой по набережным, любуясь звездами, наслаждаясь поэзией и приятной сытостью.

Однажды, когда на втором году моего пребывания в Париже я устроил себе такой отдых, со мной случилось приключение, о котором следует рассказать; собственно, к нему-то я и вел, ибо именно благодаря этому приключению я познакомился с Джимом Пинкертоном. Как-то в октябре я обедал совершенно один; на бульварах осыпались рыжие листья и, крутясь, неслись по мостовой. В такие осенние дни впечатлительные люди склонны равным образом и грустить в одиночестве и веселиться

в дружеской компании. Ресторан не был особенно модным заведением, но обладал хорошим погребом, и клиенту предлагалась весьма разнообразная карта вин. Ее-то я и читал с двойным наслаждением человека, любящего хорошие вина и красивые, звучные названия, когда мой взгляд упал (в самом ее конце) на малоизвестную марку — «руссильонское». Я вспомнил, что никогда еще не пробовал этого вина, тут же заказал бутылку и, найдя ее содержимое превосходным, осушил ее до дна, а затем заказал еще пинтовую бутылку. Оказалось, что руссильонское вино в маленькие бутылки не разливается. «Ладно,— сказал я,— давайте еще одну большую», после чего все погрузилось в туман. Столики в этом заведении стоят близко друг к другу, и когда я немного опомнился, то обнаружил, что веду громогласный разговор с моими ближайшими соседями. Очевидно, такое количество слушателей меня не удовлетворило, так как я отчетливо помню, что обводил взглядом зал, где все стулья были повернуты в мою сторону и откуда на меня смотрели улыбающиеся лица. Я даже помню, что́ *именно я говорил*, но, хотя с тех пор прошло уже двадцать лет, стыд по-прежнему жжет меня, и я сообщу вам только одно: речь моя была весьма патриотичной — остальное пусть дорисует ваше воображение. Я собирался отправиться пить кофе в обществе моих новых друзей, но едва вышел на улицу, как почему-то оказался в полном одиночестве. Это обстоятельство и тогда меня почти не удивило, а теперь удивляет еще меньше; но зато я весьма огорчился, когда заметил, что пытаюсь пройти сквозь будку с афишами. Я начал подумывать, не повредила ли мне последняя бутылка, и решил выпить кофе с коньяком, чтобы привести свои нервы в порядок. В кафе «Источник», куда я отправился за этим спасительным средством, бил фонтан, и (что крайне меня изумило) мельничка и другие механические игрушки по краям бассейна, казалось, недавно починенные, выделывали самые невероятные штуки. В кафе было необычайно жарко и светло, и каждая деталь, начиная от лиц клиентов и кончая шрифтом в газетах на столике, выступала удивительно рельефно, а весь зал мягко и приятно покачивался, словно гамак. Некоторое время все это мне чрезвычайно нравилось, и я подумал, что не скоро устану любоваться окружающим, но вдруг меня охватила беспри-

чинная печаль, а затем с такой же быстротой и внезапностью я пришел к заключению, что я пьян и мне следует поскорее лечь спать.

До моего пансиона было два шага. Я взял у швейцара зажженную свечу и поднялся на четвертый этаж в свою комнату. Хотя я и был пьян, мысль моя работала с необычайной ясностью и логичностью. Меня заботило одно: не опоздать завтра на занятия, и, заметив, что часы на каминной полке остановились, я решил спуститься вниз и отдать соответствующее распоряжение швейцару. Оставив горящую свечу на столе и не закрыв двери, чтобы на обратном пути не сбиться с дороги, я стал спускаться по лестнице. Дом был погружен в полный мрак, но, поскольку на каждую площадку выходило только три двери, заблудиться было невозможно, и я мог спокойно продолжать свой спуск, пока не завижу мерцание ночника в швейцарской. Я прошел четыре лестничных марша — никаких признаков швейцарской! Разумеется, я мог сбиться со счета, поэтому я прошел еще один марш, и еще один, и еще один, пока, наконец, не оказалось, что я отшагал их целых девять. Я уже не сомневался, что каким-то образом прошел мимо каморки швейцара, не заметив ее,— по самому скромному подсчету, я спустился уже на пять этажей ниже уровня улицы и находился где-то в недрах земли. Открытие, что мой пансион расположен над катакомбами, было очень интересным, и если бы я не был настроен по-деловому, то, без сомнения, продолжал бы всю ночь исследовать это подземное царство. Но я твердо помнил, что завтра должен встать вовремя и что для этого мне необходимо отыскать швейцара. И вот, повернув обратно и тщательно считая, я стал подниматься до уровня улицы. Я прошел пять... шесть... семь маршей — по-прежнему никаких следов швейцара. Все это мне порядком надоело, и, сообразив, что моя комната уже совсем близко, я решил вернуться в нее и лечь спать. Я продолжал подъем и вскоре оставил за собой восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый марши лестницы, но моя открытая дверь, казалось, исчезла так же, как швейцар и его ночник. Я вспомнил, что в самой своей высокой точке этот дом насчитывает шесть этажей, из чего следовало, что я находился теперь по меньшей мере на три этажа выше крыши. Сначала мое приключение казалось мне забав-

ным, но теперь оно, вполне естественно, начало меня раздражать. «Моя комната должна быть здесь, и все»,— сказал я и, вытянув руки, направился к двери. Двери не было, не было и стены, вместо них передо мной зиял темный коридор. Некоторое время я шел по нему, не встречая никакого препятствия. И это в доме, где на каждом этаже были только три маленькие комнаты, выходившие прямо на лестничную площадку! Происходившее было настолько нелепо, что я, как вы легко поймете, окончательно потерял терпение. Тут я заметил у самого пола узкую полоску света, исследовал стену, нащупал дверную ручку и без всяких церемоний вошел в какую-то комнату. Там я увидел молодую девушку, которая, судя по ее весьма домашнему туалету, собиралась ложиться спать.

— Простите мое вторжение,— сказал я,— но я живу в двенадцатом номере, а с этим проклятым домом произошло что-то непонятное.

Поглядев на меня, она ответила:

— Если вы будете так любезны выйти отсюда на несколько минут, я вас туда провожу.

Таким образом, вопрос был улажен при полной невозмутимости обеих сторон. Я стал ждать в коридоре. Вскоре незнакомка вышла в халате, взяла меня за руку, повела вверх по лестнице (то есть на четвертый этаж выше крыши) и втолкнула в мою комнату, где, чрезвычайно утомленный всеми этими удивительными открытиями, я немедленно бросился на постель и заснул, как ребенок.

Я рассказал вам об этом происшествии так, как оно мне представлялось ночью; однако на следующее утро, проснувшись и вспоминая о нем, я не мог не признать, что многое из случившегося выглядит весьма неправдоподобно. Вопреки вчерашним добродетельным намерениям, настроения идти в студию у меня не было, и вместо этого я отправился в Люксембургский сад, чтобы там в обществе воробьев, статуй и осыпающихся листьев остудить голову и привести в порядок мысли. Я очень люблю этот сад, занимающий столь видное место и в истории и в литературе. Баррас и Фуше выглядывали из окон этого дворца. На этих скамьях писали стихи Лусто и Банвиль (первый кажется мне не менее реальным, чем второй). За садовой решеткой кипит городская жизнь, а внутри шелестит листва де-

ревьев, щебечут воробьи и дети, смотрят вдаль статуи. Я устроился на скамье напротив входа в музей и начал размышлять о событиях прошлой ночи, стараясь (насколько был в состоянии) отделить истину от фантазии.

При дневном свете оказалось, что в доме только шесть этажей, как было и прежде. Со всем моим архитектурным опытом я не мог втиснуть в его высоту все эти бесконечные лестничные марши, и он был слишком узок, чтобы вместить в себя длинный коридор, по которому я шел ночью. Однако самым неправдоподобным было даже не это. Мне вспомнился прочитанный когда-то афоризм, гласивший, что все может оказаться не соответствующим себе, кроме человеческой натуры. Дом может вырасти или расшириться — во всяком случае, на взгляд хорошо пообедавшего человека. Океан может высохнуть, скалы — рассыпаться в прах, звезды — попадать с небес, словно яблоки осенью, и философ ничуть не удивится. Но встреча с молодой девушкой была случаем иного порядка. В этом отношении от девушек толку мало; или, скажем, мало толку применять к ним подобные правила; иначе говоря (можно и так взглянуть на дело), они существа высшего толка. Я готов был принять любую из этих точек зрения, так как все они приводили, в сущности, к одному выводу, к которому я уже начал склоняться, когда мне в голову пришел еще один аргумент, окончательно его подтвердивший. Я помнил наш разговор дословно — ну, так вот: я заговорил с ней по-английски, а не по-французски, и она ответила мне на том же языке. Отсюда следовало, что все ночное происшествие было сном, и катакомбы, и лестницы, и милосердная незнакомка.

Едва я успел прийти к этому заключению, как по осеннему саду пронесся сильный порыв ветра, посыпался дождь сухих листьев и над моей головой с громким чириканьем взвилась стайка воробьев. Этот приятный шум длился всего несколько мгновений, но он успел вывести меня из рассеянной задумчивости, в которую я был погружен. Я быстро поднял голову и увидел перед собой молодую девушку в коричневом жакете, которая держала в руках этюдник. Рядом с ней шел юноша несколькими годами старше меня; под мышкой он нес палитру. Их ноша, а также направление, в котором они шли, подсказали мне, что они идут в музей, где девушка, несомненно, занимается копированием какой-нибудь

картины. Представьте же себе мое изумление, когда я узнал в ней мою вчерашнюю незнакомку! Если у меня и были сомнения, они мгновенно рассеялись, когда наши взгляды встретились и она, поняв, что я узнал ее, и вспомнив, в каком наряде была она во время нашей встречи, с легким смущением отвернулась и стала смотреть себе под ноги.

Я не помню, была ли она хорошенькой, или нет, но при нашей первой встрече она проявила столько здравого смысла и такта, а я играл такую жалкую роль, что теперь мне страшно захотелось показать себя в более выгодном свете. Ее спутник был, вероятнее всего, ее братом, а братья склонны действовать без долгих размышлений, поскольку им еще в детские годы приходится играть роль защитника и покровителя, и я решил, что ввиду этого мне следует немедленно принести свои извинения, тем самым предупредив возможность будущих осложнений.

Рассудив так, я приблизился ко входу в музей и едва успел занять подходящую позицию, как оттуда вышел тот самый молодой человек, о котором я думал. Так я столкнулся с третьим фактором, определившим мою судьбу, ибо мой жизненный путь сложился под влиянием следующих трех элементов: моего отца, капитолия штата Маскегон и моего друга Джима Пинкертона. Что же касается молодой девушки, которая в ту минуту занимала все мои мысли, то ее я с тех пор больше не видел и ничего о ней не слышал — вот великолепный пример игры в жмурки, которую мы зовем жизнью.

ГЛАВА III,

В КОТОРОЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ МИСТЕР ПИНКЕРТОН

Незнакомец, как я уже говорил, был на несколько лет старше меня. Он был хорошо сложен, обладал очень подвижным лицом и весьма дружелюбными манерами, а глаза у него были серые, живые и быстрые.

— Простите, можно сказать вам два слова? — начал я.

— Мой дорогой сэр,— перебил он,— хотя я не знаю, о чем вы хотите говорить, но готов выслушать хоть тысячу слов.

— Вы только что сопровождали молодую особу, по отношению к которой я совершенно непреднамеренно был невежлив. Обратиться прямо к ней значило бы снова поставить ее в неловкое положение, и поэтому я пользуюсь возможностью принести свои нижайшие извинения человеку одного со мной пола, ее другу и, может быть,— добавил я, поклонившись,— защитнику по крови.

— Вы мой соотечественник, в этом нет сомнения! — вскричал он.— Доказательство тому — ваша деликатность по отношению к незнакомой вам женщине. И она вполне заслуживает самого высокого уважения. Я был представлен ей на званом чае у моих друзей и, встретившись с ней сегодня утром, разумеется, предложил помочь ей нести ее палитру. Мой дорогой сэр, могу ли я узнать ваше имя?

Я был очень разочарован, узнав, что он совсем посторонний моей незнакомке, и предпочел бы уйти, но не мог этого сделать, так как начал разговор первым. Впрочем, этот молодой человек чем-то мне понравился.

— Меня зовут,— ответил я,— Лауден Додд. Я приехал сюда из Маскегона учиться ваянию.

— Ваянию? — повторил он так, словно это показалось ему очень странным.— А меня зовут Джим Пинкертон. Очень рад с вами познакомиться.

— Пинкертон? — в свою очередь, удивился я.— Не вы ли Пинкертон «Гроза табуреток»?

Он подтвердил мою догадку с веселым мальчишеским смехом, и действительно любой житель Латинского квартала мог бы гордиться столь почетным прозвищем.

Чтобы объяснить, откуда оно взялось, мне придется несколько отвлечься и сообщить кое-какие сведения, касающиеся истории нравов XIX столетия; такое отступление может быть интересным и само по себе. В те времена в некоторых студиях новичков «крестили» самыми варварскими и гнусными способами. Но два происшествия, последовавшие одно за другим, помогли развитию цивилизации, и (как это часто бывает) именно благодаря тому, что в ход тоже были пущены самые варварские средства. Первое случилось вскоре после появления

в студии новичка-армянина. На голове его была феска, а в кармане (о чем никто не знал) — кинжал. «Крестить» его начали в самом обычном стиле и даже — из-за головного убора жертвы — куда более буйно, чем других. Сначала он переносил все с подзадоривающим терпением, но, когда кто-то из студентов позволил себе действительно непростительную грубость, выхватил свой кинжал и без всякого предупреждения всадил его в бок шутнику. Рад сообщить, что последнему пришлось пролежать несколько месяцев в кровати, прежде чем он смог снова приступить к занятиям. Свое прозвище Пинкертон приобрел в результате второго происшествия. Однажды в набитой народом студии трепещущий новичок подвергался особенно жестоким и подленьким шуточкам. Вдруг высокий бледный юноша вскочил со своего табурета и завопил: «А ну, англичане и американцы, разгоним эту лавочку!» Англосаксы жестоки, но не любят подлости, и призыв встретил горячую поддержку. Англичане и американцы схватили свои табуреты, и через минуту окровавленные французы уже в беспорядке отступали к дверям, бросив онемевшую от изумления жертву. В этой битве и американцы и англичане покрыли себя равной славой, но я горжусь тем, что зачинщиком был американец и притом горячий патриот, которого как-то впоследствии на представлении «L'oncle Sam» [1] пришлось оттеснить в глубь ложи и не подпускать к барьеру, потому что он то и дело выкрикивал: «О моя родина, моя родина!» А еще один американец (мой новый знакомый Пинкертон) больше всех отличился во время сражения. Одним ударом он раскрошил свой табурет, и самый грозный из его противников, отлетев в сторону, пробил спиной то, что на нашем жаргоне именовалось «добросовестно обнаженной натурой». Говорят, что обратившийся в паническое бегство воин так и выскочил на улицу, обрамленный разорванным холстом.

Нетрудно понять, сколько разговоров вызвало это событие в студенческом квартале и как я был рад встрече с моим прославленным соотечественником. В то же утро мне было суждено самому познакомиться с донкихотской стороной его натуры. Мы проходили мимо мастерской одного молодого французского художника, чьи картины я давно уже обещал посмотреть, и теперь,

[1] «Дядя Сэм» *(франц.)*.

в полном согласии с обычаями Латинского квартала, я пригласил Пинкертона пойти к нему вместе со мной. В те времена среди моих товарищей попадались крайне неприятные личности. Настоящие художники Парижа почти всегда вызывали мое горячее восхищение и уважение, но добрая половина студентов оставляла желать много лучшего — настолько, что я часто недоумевал, откуда берутся хорошие художники и куда деваются буяны-студенты. Подобная же тайна окутывает промежуточные ступени медицинского образования и, наверное, не раз ставила в тупик даже самых ненаблюдательных людей. Во всяком случае, субъект, к которому я привел Пинкертона, был одним из самых мерзких пьяниц квартала. Он предложил нам полюбоваться огромным полотном, на котором был изображен святой Стефан: мученик лежал в луже крови на дне пересохшего водоема, а толпа иудеев в синих, зеленых и желтых одеждах побивала его — судя по изображению — сдобными булочками. Пока мы смотрели на это творение, хозяин развлекал нас рассказом о недавнем эпизоде из собственной биографии, в котором он, как ему представлялось, играл героическую роль. Я принадлежу к тем американцам-космополитам, которые принимают мир (и на родине и за границей) таким, каков он есть, и предпочитают оставаться зрителями, однако даже я слушал эту историю с плохо скрываемым отвращением, как вдруг почувствовал, что меня отчаянно тянут за рукав.

— Он говорит, что спустил ее с лестницы? — спросил Пинкертон, побелев, как святой Стефан.

— Да,— ответил я.— Свою любовницу, которая ему надоела. А потом стал швырять в нее камнями. Возможно, именно это и подсказало ему сюжет его картины. Он только что привел убедительнейший довод — она была так стара, что годилась ему в матери.

Пинкертон издал странный звук, похожий на всхлипывание.

— Скажите ему,— пробормотал он, задыхаясь,— а то я не говорю по-французски, хотя кое-что понимаю... Так скажите ему, что я сейчас вздую его.

— Ради бога, воздержитесь! — вскричал я.— Они тут этого не понимают! — И я попытался увести его.

— Ну, хотя бы скажите ему, что̀ мы о нем думаем. Дайте я ему выскажу, что о нем думает честный американец.

— Предоставьте это мне,— сказал я, выталкивая Пинкертона за дверь.

— Qu'est ce qu'il a? [1] — спросил студент.

— Monsieur se sent mal au coeur d'avoir trop regarder votre croute [2],— ответил я и ретировался вслед за Пинкертоном.

— Что вы ему сказали? — осведомился тот.

— Единственное, что могло его задеть,— сообщил я.

После этой сцены, после той вольности, которую я позволил себе, вытолкнув моего спутника за дверь, после моего собственного не слишком достойного ухода мне оставалось только предложить ему пообедать со мной. Я забыл название ресторанчика, в который мы пошли, во всяком случае, он находился где-то за Люксембургским дворцом, а позади него был сад, и мы через несколько минут уже сидели там за столиком друг против друга и, как водится в юности, обменивались сообщениями о своей жизни и вкусах.

Родители Пинкертона приехали в Штаты из Англии, где, как я понял, он и родился, хотя у него была привычка об этом забывать. То ли он сам убежал из дому, то ли его выгнал отец, не знаю, но, во всяком случае, когда ему было двенадцать лет, он уже начал вести самостоятельную жизнь. Бродячий фотограф подобрал его, словно яблоко-паданец, на обочине дороги в Нью-Джерси. Маленький оборвыш понравился ему, он взял его себе в подручные, научил всему, что знал сам, то есть изготовлять фотографии и сомневаться в священном писании, а затем умер в придорожной канаве где-то в Огайо.

— Он был замечательным человеком,— говорил Пинкертон.— Видели бы вы его, мистер Додд! Он был благообразен, как библейский патриарх!

После смерти своего покровителя мальчик унаследовал его фотографические принадлежности и продолжал дело.

— Такая жизнь пришлась мне по душе,— рассказывал он.— Я побывал во всех живописных уголках замечательного континента, наследниками которого мы с вами родились. Видели бы вы мою коллекцию фотографий! Эх, жаль, что у меня нет ее с собой! Я делал эти

[1] Что с ним? *(фран.)*.

[2] Он слишком долго смотрел на вашу мазню, и его затошнило *(франц.)*.

снимки для себя на память, и на них запечатлены и самые величественные и самые чарующие явления природы.

Бродя по Западным штатам и территориям и занимаясь фотографией, он читал все книги, которые попадались ему под руку,— хорошие, плохие и средние, увлекательные и скучные, начиная от романов Сильвена Кобба и кончая «Началами» Эвклида, причем, к моему величайшему изумлению, выяснилось, что и того и другого автора он умудрился прочесть от корки до корки. Наделенный большой наблюдательностью и отличной памятью, подросток собирал сведения о людях, промышленности, природе и накапливал у себя в голове массу отвлеченных знаний и благородных представлений, которые в простоте душевной считал естественными и обязательными для всякого истинного американца. Быть честным, быть патриотом, обеими руками с одинаковым жаром загребать культуру и деньги — вот каковы были его принципы. Позже (разумеется, не при первой нашей встрече) я иногда спрашивал его, зачем это ему нужно. «Чтобы создать национальный тип! — заявлял он с горячностью.— Это наша общая обязанность, мы все должны стремиться к осуществлению американского типа! Лауден, это единственная надежда человечества. Если мы потерпим неудачу, как все эти старые феодальные монархии, то что же останется?»

Занятия фотографией не удовлетворяли его честолюбивых стремлений — они ни к чему не вели, объяснил он, в них отсутствовал дух современности — и вот, переменив профессию, он стал спекулировать железнодорожными билетами. Как подобные спекуляции осуществлялись, я не понял, хотя суть их, по-видимому, заключалась в том, чтобы лишить железную дорогу части ее доходов.

— Я отдался этому занятию всей душой,— рассказывал он.— Я недоедал и недосыпал, и даже самые опытные мои собратья признавали, что я постиг все тонкости дела за один месяц и революционизировал его еще до истечения года. И оно страшно увлекательно. Ведь это же очень интересно: наметить клиента, в одну секунду понять его характер и вкусы, выскочить из конторы и ошеломить его предложением билета до того самого места, куда он собирался ехать. Не думаю, что кто-нибудь во всей стране делал меньше ошибок, чем я. Но для меня это ремесло было лишь переходной стади-

ей. Я копил деньги, я думал о будущем. Я знал, что мне нужно: богатство, образование, культурный семейный очаг, умная, образованная жена. Да, мистер Додд,— тут он повысил голос,— каждый человек должен искать жену выше себя по положению, а главное — в духовном отношении. Иначе это не брак, а чувственность. По крайней мере таково мое мнение. Вот для чего я делал сбережения, и немалые! Однако не всякий — нет, далеко не всякий!— решился бы на то, на что решился я: закрыть процветающее агентство в Сент-Джо, где я загребал деньги лопатой, и одному, без друзей, не зная ни слова по-французски, приехать сюда, чтобы истратить свой капитал на обучение искусству.

— Это была давняя склонность,— спросил я,— или минутный каприз?

— Ни то и ни другое, мистер Додд,— признался он.— Конечно, в те времена, когда я был бродячим фотографом, я научился понимать и ценить красоту природы. Но дело не в этом. Я просто спросил себя, что̀ в данную эпоху нужнее всего моей стране. Побольше культуры и побольше искусства, ответил я себе. И вот, выбрав самое лучшее место, где можно приобрести необходимые знания, я накопил денег и приехал сюда.

Глядя на Пинкертона, я испытывал восхищение и стыд. У него в мизинце было больше энергии, чем во всем моем теле; он был нашпигован всяческими завидными добродетелями; он буквально излучал бережливость и мужество; а если его художественное призвание и казалось (по крайней мере человеку с моей требовательностью в этом отношении) несколько смутным, то, во всяком случае, трудно было предугадать, чего может добиться человек, исполненный такого энтузиазма, обладающий такой душевной и физической силой. Поэтому, когда он пригласил меня к себе посмотреть его произведения (один из обычных этапов развития дружбы в Латинском квартале), я пошел с ним, исполненный больших ожиданий и интереса.

Ради экономии он снимал дешевую мансарду в многоэтажном доме вблизи обсерватории; мебелью ему служили его собственный сундук и чемоданы, а обоями — его собственные отвратительные этюды. Я не выношу говорить людям неприятности, но есть область, в которой я не умею льстить, не краснея: это — искусство и

все, что с ним связано; тут моя прямота бывает поистине римской. Дважды я медленно проследовал вдоль стен, ища хоть какого-нибудь проблеска таланта, а Пинкертон шел за мной, исподтишка стараясь по моему лицу догадаться о приговоре, с волнением снимал очередной этюд, чтобы я мог лучше рассмотреть, и (после того, как я молча старался найти в картине хоть какие-нибудь достоинства — и не находил) жестом, полным отчаяния, отбрасывал его в сторону. К тому времени, когда я кончил обходить комнату во второй раз, нами обоими овладело крайнее уныние.

— Ах,— простонал он, нарушая долгое молчание,— вы можете ничего не говорить! И так все ясно.

— Вы хотите, чтобы я был откровенен с вами? По моему мнению, вы зря тратите время,— сказал я.

— Вы не видите никаких проблесков? — спросил он со внезапно пробудившейся надеждой.— Даже в этом натюрморте с дыней? Одному моему товарищу он понравился.

Мне оставалось только еще раз со всей внимательностью рассмотреть дыню, что я и проделал, но потом опять покачал головой.

— Мне очень жаль, Пинкертон,— сказал я,— но я не могу посоветовать вам и дальше заниматься живописью.

Он, казалось, в эту минуту снова обрел мужество, оттолкнувшись от разочарования, словно резиновый.

— Так,— решительно произнес он,— честно говоря, ваши слова меня не удивили. Но я буду продолжать обучение и отдам ему все силы. Не думайте, что я теряю время зря. Ведь это все культура, и она поможет мне расширить сферу моей деятельности, когда я вернусь на родину. Может быть, мне удастся устроиться в какой-нибудь иллюстрированный журнал, а на крайний случай я всегда могу стать торговцем картинами,— добавил он простодушно, хотя от такого чудовищного предположения мог, казалось, рухнуть весь Латинский квартал.— Ведь все это жизненный опыт,— продолжал Пинкертон,— а, по-моему, люди склонны недооценивать опыт и как доходную статью и как выгодное помещение капитала. Ну, да все равно. С этим кончено. Однако, для того, чтобы сказать то, что вы сказали, требуется большое мужество, и я никогда этого не забуду. Вот моя рука, мистер Додд. Я неровня вам и по культуре и по таланту...

— Ну, об этом вы судить не можете,— перебил я.— Свои работы вы мне показали, но ведь моих еще не видели.

— И то правда! — вскричал он.— Так пойдемте посмотрим их сейчас. Но я знаю, что мне до вас далеко. Я это просто чувствую.

Сказать по правде, мне было почти стыдно вести его в мою мастерскую. Хороши ли, плохи ли были мои работы, все равно они неизмеримо превосходили его творения. Однако хорошее настроение уже успело к нему вернуться, и я только диву давался, слушая, как он весело болтает о всяческих новых замыслах. В конце концов я понял, в чем суть: передо мной был не художник, который понял, что бездарен, а просто делец, узнавший (может быть, слишком внезапно), что из двадцати заключенных им сделок одна оказалась неудачной.

А кроме того (хотя тогда я об этом и не подозревал), он уже искал утешения у другой музы и льстил себя мыслью, что отблагодарит меня за искренность, укрепит нашу дружбу и (с помощью того же средства) докажет мне свою талантливость. Уже по пути, стоило мне заговорить о себе, он вытаскивал блокнот и что-то быстро в него записывал, а когда мы вошли в мастерскую, он повторил эту операцию и, прижав карандаш к губам, обвел неуютный зал внимательным взглядом.

— Вы собираетесь сделать набросок моей мастерской? — не удержался я от вопроса, снимая покров с Гения штата Маскегон.

— Это секрет,— сказал он.— Ну ничего. И мышь может помочь льву.

Он обошел вокруг моей статуи, и я объяснил ему мой замысел. Маскегон я изобразил в виде юной — совсем еще юной — матери несколько индейского типа; на коленях она держала крылатого младенца, символизировавшего взлет, который обещало нашему штату будущее, а восседала она на груде обломков греческих, римских и готических статуй, служивших напоминанием о тех странах, где жили наши предки.

— Вы удовлетворены своим произведением, мистер Додд? — спросил Пинкертон, когда я закончил объяснения.

— Ну,— ответил я,— мои товарищи считают, что для начала это не так уж плохо. Признаться, я и сам того же мнения. Отсюда статуя видна в наиболее выгодном ракурсе. Да, мне кажется, у нее есть кое-какие достоинства,— добавил я,— но я намереваюсь лепить еще лучше.

— Именно так! — вскричал Пинкертон.— Хорошо сказано! — И он принялся что-то царапать в своем блокноте.

— Что на вас нашло? — осведомился я.— Это же самое обычное и заурядное выражение.

— Чудесно! — удовлетворенно хмыкнул Пинкертон.— Гений, не сознающий собственной гениальности. Ну до чего же хорошо все ложится! — И он снова начал яростно писать.

— Если вы решили рассыпа́ться в любезностях,— заметил я,— то балаган закрывается.— И я сделал движение, собираясь набросить покров на статую.

— Нет, нет,— сказал он,— погодите! Расскажите мне еще что-нибудь. Что именно в ней хорошо?

— Я предпочел бы, чтобы вы сами это решили,— ответил я.

— Беда в том,— возразил он,— что я никогда не занимался скульптурой, хотя, конечно, часто любовался статуями, как всякий человек, наделенный душой. Сделайте мне одолжение, объясните, что вам в ней нравится, к чему вы стремились и каковы ее достоинства. Это будет полезно для моего образования.

— Ну хорошо. В скульптуре в первую очередь важен общий эффект. Ведь, по сути, она разновидность архитектуры,— начал я и прочел целую лекцию об этом виде искусства, используя в качестве иллюстрации свой шедевр,— лекцию, которую я, с вашего разрешения (или без такового), опущу целиком и полностью.

Пинкертон слушал с глубочайшим интересом, задавал вопросы, изобличавшие в нем человека не слишком образованного, но наделенного большой практической сметкой, и продолжал царапать в своем блокноте, вырывая листок за листком. То, что мои слова записываются, словно лекция какого-нибудь профессора, вдохновляло меня, а поскольку я еще никогда не имел дела с прессой, то и не подозревал, что записываются они почти все наоборот. По той же самой причине (хотя американцу это может показаться невероятным) мне и в

голову не приходило, что они будут сдобрены приправой легких сплетен, а меня самого и мои художественные произведения превратят в фарш, чтобы доставить удовольствие читателям какой-то воскресной газеты. Когда фонтан моего лекторского красноречия иссяк, Гений Маскегона был уже окутан ночным мраком. Однако я расстался с моим новым другом только после того, как мы условились встретиться на следующий день.

Надо сказать, что мой соотечественник мне очень понравился, и при дальнейшем знакомстве он продолжал в равной мере интересовать, забавлять и очаровывать меня. Говорить о его недостатках я не хочу, и не только потому, что благодарность запечатывает мои уста, но и потому, что недостатки эти порождались воспитанием, которое он получил, и, как нетрудно заметить, он взлелеял и развивал их, считая добродетелями. Однако не могу отрицать, что он был для меня весьма беспокойным другом, и беспокойства эти начались очень скоро.

Тайну блокнота я открыл недели две спустя после первой нашей встречи. Милейший Пинкертон, как обнаружилось, посылал корреспонденции в одну из газет Дальнего Запада и очередную статью посвятил описанию моей особы. Я указал ему, что он не имел на это права, не попросив предварительно моего разрешения.

— Ох, как хорошо! — воскликнул он.— Я так и думал, что вы не поняли, в чем дело, да только не верилось: слишком уж это была бы большая удача.

— Но, мой милый, вы же были обязаны предупредить меня! — возразил я.

— Конечно, так полагается,— согласился он,— однако, поскольку мы друзья, а я затеял все, только чтобы услужить вам, мне казалось, что можно обойтись и без этого. Я хотел, по возможности, устроить вам сюрприз; я хотел, чтобы вы, как лорд Байрон, в один прекрасный день проснулись и узнали, что вами полны все газеты. Признайте, что такая мысль была вполне естественной. А ведь никто не любит заранее хвастать еще не оказанной услугой.

— Господи! Да почему вы вообразили, что я считаю это услугой? — воскликнул я.

Он немедленно погрузился в уныние.

— Вы считаете, что я позволил себе непростительную вольность,— сказал он.— Все ясно. Уж лучше бы я

отрубил себе руку! Я остановил бы статью, да только поздно. Она, наверное, уже в наборе. А я-то еще писал ее с такой гордостью и удовольствием!

Теперь я думал только о том, как бы утешить его.

— О, это все пустяки,— сказал я.— Я знаю, что вы хотели сделать мне приятное, и, уж наверное, статья написана с большим вкусом и тактом.

— Ну, в этом вы можете не сомневаться! — вскричал он.— И какая газета! Первокласснейшая — «Санди Геральд» города Сент-Джозеф. А эту серию корреспонденций придумал я сам: явился к редактору, изложил ему мою мысль, он был покорен ее свежестью, и я вышел из его кабинета с договором в кармане. Свою первую парижскую корреспонденцию я написал в тот же вечер, не покидая Сент-Джо. Редактор только глянул на заголовок и сказал: «Вас-то нам и нужно!»

Это описание литературного жанра, в котором мне предстояло фигурировать, отнюдь меня не успокоило, но я промолчал и терпеливо ждал, пока однажды мне не была доставлена газета, помеченная: «С приветом от Д. П.». Я не без страха развернул ее и между отчетом о боксерском состязании и юмористической статьей о выведении мозолей — ну что можно найти смешного в выведении мозолей! — обнаружил полтора столбца, посвященных мне и моей несчастной скульптуре. Я, как и редактор, взявший в руки первую корреспонденцию, только скользнул взглядом по заголовку и был более чем удовлетворен.

НОВОЕ ЗАБОРИСТОЕ ИНТЕРВЬЮ
ПИНКЕРТОНА

ПАРИЖСКИЕ ХУДОЖНИКИ

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ МАСКЕГОНСКИЙ КАПИТОЛИЙ

Сын миллионера Додда

Патриот и ваятель

Он намерен лепить еще лучше

В тексте под заголовком мне бросились в глаза убийственные фразы вроде: «несколько мясистая фигура», «ясная интеллектуальная улыбка», «гений, не сознающий собственной гениальности». «Скажите, мистер Додд,— продолжал репортер,— что вы думаете о сугубо

американском скульптурном стиле?» Да, этот вопрос был мне задан, и — увы! — я действительно на него ответил, и дальше следовал мой ответ, или, вернее, какое-то крошево из моего ответа, напечатанное равнодушным шрифтом для всеобщего обозрения. Я горячо поблагодарил бога, что студенты-французы не знают английского языка, но тут же вспомнил об англичанах: например, о Майнере, о братьях Стеннис... Я готов был избить Пинкертона.

Чтобы отвлечься (если только это было возможно) от свалившейся на меня беды, я обратился к письму моего отца, которое пришло с той же почтой. В конверт была вложена газетная вырезка, и мой взгляд снова упал на слова: «сын миллионера Додда», «несколько мясистая фигура», а дальше следовала вся остальная позорящая меня чепуха. «Что подумал об этом мой отец?» — спросил я себя и начал читать письмо:

«Мой дорогой мальчик, посылаю тебе доставившую мне большую радость статью из весьма почтенной газеты, издающейся в Сент-Джозефе. Наконец-то ты начинаешь выбиваться в первые ряды, и я не могу не испытывать восторга и не благодарить бога при мысли, что не многим юношам твоего возраста доводилось занять почти два газетных столбца. О, если бы твоя мать стояла сейчас рядом со мной, читая статью через мое плечо! Но будем надеяться, что она разделяет мою радость на небесах. Разумеется, я послал экземпляр газеты твоим дедушке и дяде в Эдинбург, так что эту вырезку можешь сохранить себе на память. Этот Джим Пинкертон, очевидно, очень полезный знакомый, и, во всяком случае, он обладает огромным талантом, а быть в хороших отношениях с прессой всегда выгодно».

Надеюсь, на том свете мне будет зачтено, что, едва дочитав эти трогательные в своей наивности слова, я перестал сердиться на Пинкертона и почувствовал к нему глубочайшую благодарность. За всю мою жизнь, не считая, пожалуй, только факта моего рождения, я ничем не доставлял отцу большей радости, чем та, которую он испытывал, когда читал статью в «Санди Геральд». Как же глупо с моей стороны было огорчаться! Ведь мне впервые удалось ценой нескольких неприятных минут хоть чем-то возместить мой неоплатный долг

отцу. Поэтому, встретившись вслед за этим с Пинкертоном, я был очень мягок. Мой отец весьма доволен и считает, что корреспонденция написана очень талантливо, сказал я ему; что же касается меня, то я предпочитаю не привлекать внимания публики к моей особе, так как убежден, что ее должен интересовать не художник, а только его произведения; поэтому, хотя статья написана с большим тактом, я прошу его как об одолжении впредь этого никогда больше не делать.

— Ну вот,— сказал он уныло,— я вас обидел! Нет, вам не обмануть меня, Лауден. У меня нет деликатности, и это непоправимо.

Он сел и опустил голову на руки.

— Видите ли, в детстве я ведь не мог научиться ничему хорошему,— добавил он.

— Ну что вы, мой милый,— сказал я,— ничего подобного! Только в следующий раз, когда вы захотите оказать мне услугу, пишите о моем творчестве, а мою персону оставьте в стороне и не записывайте моих бессмысленных высказываний. А главное,— добавил я, задрожав,— не сообщайте, как я все это говорил! Вот, например: «С гордой, радостной улыбкой». Кому интересно, улыбался я или нет?

— Вот тут вы ошибаетесь, Лауден,— перебил он меня.— Именно это и нравится читателям, в этом-то и заключается достоинство статьи, ее литературная ценность. Таким образом я воссоздаю перед ними всю сцену, даю возможность самому скромному из наших сограждан получить от нашего разговора такое же удовольствие, какое получил я сам. Подумайте, что значило бы для меня, когда я был бродячим фотографом, прочесть полтора столбца подлинного культурного разговора,— узнать, как художник в своей заграничной мастерской рассуждает об искусстве, узнать, как он при этом выглядит, и как выглядит его мастерская, и что у него было на завтрак; а потом, поедая консервированные бобы на берегу ручья, сказать себе: «Если все пойдет хорошо, рано или поздно того же самого сумею добиться и я». Да я бы словно в рай заглянул, Лауден!

— Ну, если это может доставить столько радости,— признал я,— пострадавшим не следует жаловаться. Только пусть теперь читателей радует кто-нибудь другой.

В результате этого происшествия между мной и Пинкертоном завязалась настоящая дружба. Если я что-нибудь понимаю в человеческой натуре (и «если» здесь не простая фигура речи, а означает искреннее сомнение), то могу смело утверждать, что никакие взаимные услуги, никакие совместно пережитые опасности не укрепили бы ее так, как эта ссора, которой удалось избежать, ибо тем самым мы нашли общий язык, несмотря на открывшуюся нам разницу в наших вкусах и понятиях.

ГЛАВА IV,
В КОТОРОЙ Я ПОЗНАЮ ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

Было ли это результатом полученного мною образования и постоянных банкротств в коммерческой академии или сказывались качества, унаследованные от старика Лаудена, эдинбургского каменщика, но я, вне всяких сомнений, был очень бережлив. Беспристрастно разбирая свой характер, я прихожу к заключению, что это единственная добродетель, которой я могу похвалиться. В течение первых двух лет пребывания в Париже я не только никогда не тратил больше того, что высылал мне отец, а, наоборот, успел накопить в банке порядочную сумму. Вы скажете, что вряд ли это было особенно трудно, поскольку я разыгрывал из себя бедняка-студента, однако гораздо легче было бы тратить все до последнего гроша. Просто чудо, что я не пошел по этой дорожке; а на третьем году моей жизни в Париже, то есть вскоре после того, как я познакомился с Пинкертоном, выяснилось, что это не только чудо, но и счастье. В очередной срок деньги от отца не пришли. Я послал ему обиженное письмо с напоминанием и впервые не получил от него никакого ответа. Каблограмма возымела большее действие, так как, во всяком случае, заставила отца вспомнить о моем существовании. «Напишу немедленно»,— телеграфировал он мне, однако обещанное письмо пришло очень не скоро. Я недоумевал, сердился, тревожился, но благодаря своей прежней бережливости не испытывал никаких финансовых затруднений. Все затруднения, тревоги, муки отчаяния выпали на долю моего бедного отца, который там, в Маскегоне, боролся с судьбой за существование и богатство и, возвращаясь домой после тяжелого дня бесплодного риска и неудач, перечитывал, может быть, со слезами, последнее злое письмо своего единственного сына, ответить на которое у него не хватало мужества.

Только три месяца спустя, когда от моих сбережений почти ничего не осталось, я получил наконец обещанное письмо вместе с обычным чеком.

«Мой дорогой сынок,— начиналось оно.— Боюсь, что из-за биржевой горячки я не только не отвечал на твои письма, но и не выслал тебе денег. Прости своего старика отца — ему пришлось очень нелегко, а теперь, когда все кончилось, доктор требует, чтобы я переменил обстановку и поехал охотиться в Адирондакские горы. Только не думай, что я нездоров — простое переутомление и упадок душевных сил. Многие из самых видных дельцов не устояли: Джон Т. Брейди удрал в Канаду с чужими капиталами, Билли Сендуит, Чарли Даунс, Джо Кейзер и еще многие из наших видных граждан сели на мель. Но Додд Голова Что Надо снова выстоял бурю, и, мне кажется, я так все устроил, что к осени мы станем богаче, чем были.

Теперь выслушай, сынок, мое предложение: ты писал, что далеко продвинулся в работе над своей первой статуей,— так возьмись же за дело серьезно и кончи ее. Если твой учитель — все не могу запомнить, как пишется его фамилия,— вышлет мне сертификат, что она отвечает рыночным нормам, ты получишь в свое полное распоряжение десять тысяч долларов, чтобы истратить их здесь или в Париже, как захочешь. Поскольку ты утверждаешь, что там больше возможностей для твоей работы, я даже думаю, что тебе следует купить или выстроить в Париже собственный домик, а там, глядишь, твой старик отец начнет заходить к тебе обедать. Я с удовольствием приехал бы сейчас, потому что начинаю стареть и очень стосковался по своему милому мальчику, но у меня на руках еще несколько спекуляций, которые требуют моего личного присутствия и наблюдения.

Скажи своему другу мистеру Пинкертону, что я каждую неделю читаю его корреспонденции и, хотя напрасно ищу в них имя моего Лаудена, все же кое-что узнаю о той жизни, которую он ведет в этом незнакомом мне Старом Свете, описанном талантливым пером».

Разумеется, ни один молодой человек не сумел бы переварить подобное письмо в одиночестве. Оно означало такую перемену судьбы, что необходим был наперсник,— и таким наперсником я, разумеется, выбрал Джима Пинкертона. Возможно, это отчасти объяснялось тем, что он упоминался в письме; однако не думаю, чтобы последнее обстоятельство сыграло какую-нибудь особую роль,— наше знакомство уже успело перейти в дружбу. Мой соотечественник мне очень нравился; я посмеивался над ним, я читал ему нотации, и я любил его. Он, со своей стороны, глубоко восхищался мной и глядел на меня снизу вверх — ведь я в избытке получил то «образование», о котором он так мечтал. Он ходил за мной по пятам, всегда готов был смеяться моим шуткам, и наши общие знакомые прозвали его «оруженосцем».

Мы с Пинкертоном читали и перечитывали это письмо, причем радовался он не меньше меня, а выражал эту радость куда более бурно. Статуя была уже почти закончена, так что потребовалось всего несколько дней, чтобы подготовить ее к показу. Мой учитель дал свое согласие, и в безоблачное майское утро у меня в мастерской собрались зрители предстоящего испытания. Мой учитель вдел в петлицу пеструю орденскую ленточку. Он пришел в сопровождении двух студентов-французов, моих приятелей; они оба теперь — известные парижские скульпторы. «Капрал Джон» (как мы его называли), вопреки своей сдержанности и своей привычке целиком отдаваться работе, которые с тех пор принесли ему такое уважение во всем мире, на этот раз покинул свой мольберт, чтобы поддержать земляка в столь важную минуту. Милейший Ромни пришел по моей особой просьбе, ибо кто из знавших его не чувствовал, что радость неполна, если он ее не разделяет, а несчастье переносится легче благодаря его утешениям? Кроме того, при церемонии присутствовали Джон Майнер, англичанин, братья Стеннис — Стеннис-aîné[1] и Стеннис-frère[2], как они фигурировали в счетах барбизонских трактирщиков,— два легкомысленных шотландца, и, разумеется, Джим; от волнения он был бел как полотно, а на лбу у него поблескивали капельки пота.

[1] Старший *(франц.)*.
[2] Брат *(франц.)*.

Полагаю, что и у меня, когда я снимал покрывало с Гения Маскегона, вид был не лучше. Учитель с серьезным видом обошел статую, потом улыбнулся.

— Неплохо. Да, для начала неплохо.

Мы все вздохнули с облегчением, а Капрал Джон (в качестве самого способного студента из числа присутствующих) объяснил ему, что статуя предназначается для украшения общественного здания, своего рода префектуры.

— Как? Что? — вскричал он.— Это еще что такое? А... в Америке,— добавил он, когда ему были даны соответствующие разъяснения.— Ну, это дело другое. Отлично, отлично.

О сертификате с ним пришлось заговорить, как о шутке — как о капризе богача, который в вопросах культуры недалеко ушел от дикарей Фенимора Купера, после чего потребовалось объединение всех наших способностей, чтобы составить сертификат в выражениях, приемлемых для обеих сторон. В конце концов этот документ был сочинен, Капрал Джон написал его своим неразборчивым почерком, учитель освятил своим именем и росчерком, я сунул его в конверт вместе с уже приготовленным письмом, после чего мы все отправились завтракать — все, кроме Пинкертона, помчавшегося на извозчике отвезти мое послание на почту.

Завтрак был заказан у Лавеню, куда не стыдно пригласить даже своего мэтра. Стол накрыли в саду, блюда я выбирал лично, а над картой вин мы устроили военный совет, что привело к превосходным результатам, и вскоре все уже разговаривали с большим воодушевлением и быстротой. Правда, когда произносились тосты, всем приходилось на несколько минут умолкать. Разумеется, мы выпили за здоровье мэтра, и он ответил короткой остроумной речью, полной изящных намеков на мое будущее и на будущее Соединенных Штатов; затем пили за мое здоровье; затем — за здоровье моего отца, о чем он был немедленно извещен каблограммой. Подобное мотовство и экстравагантность чуть не доконали мэтра. Выбрав в поверенные Капрала Джона (очевидно, исходя из предположения, что он стал уже слишком хорошим художником, чтобы в нем могли сохраниться какие-либо американские черты, кроме имени), он излил свое негодующее изумление в одной несколько раз по-

вторенной фразе: «C'est barbare!»[1]. Помимо обмена формальными любезностями, мы разговаривали — разговаривали об искусстве, и разговаривали о нем так, как могут говорить только художники. Здесь, в Южных Морях, мы чаще всего разговариваем о кораблях; в Латинском квартале мы обсуждали вопросы искусства — и с таким же постоянным интересом и, пожалуй, с таким же отсутствием результатов.

Довольно скоро мэтр ушел. Капрал Джон (который в какой-то мере уже сам был молодым мэтром) последовал за ним, после чего все простые смертные, разумеется, почувствовали большое облегчение. Остались только равные среди равных, бутылки заходили по кругу, беседа становилась все более и более оживленной. Мне кажется, я и сейчас слышу, как братья Стеннис произносят свои многословные тирады, как Дижон, мой толстый приятель-француз, сыплет остротами, столь же изящными, как он сам, а другой мой приятель, американец, перебивает говорящих фразами вроде: «Я нахожу, что в отношении тонкости Коро...» или: «для меня Коро — самый...» — после чего, исчерпав свой запас французских слов (он был не силен в этом языке), снова погружается в молчание. Однако он хотя бы понимал, о чем идет речь, что же касается Пинкертона, то шум, вино, солнечный свет, тень листвы и экзотическое удовольствие принимать участие в иностранной пирушке были для него единственным развлечением.

Мы сели за стол около половины двенадцатого, а примерно около двух, когда зашел спор о каких-то тонкостях и в качестве примера была названа какая-то картина, мы решили отправиться в Лувр. Я уплатил по счету, и несколько минут спустя мы всей толпой уже шли по улице Ренн. Погода стояла жаркая, и Париж сверкал тем поверхностным блеском, который очень приятен, когда у вас хорошее настроение, и действует угнетающе, когда на душе грустно. Вино пело у меня в ушах и озаряло все вокруг. Картины, которые мы видели, когда, громко переговариваясь, проходили по галереям, полным бессмертных творений, кажутся мне и теперь прекраснейшими, какие мне только доводилось видеть, а мнения, которыми мы обменивались, казались нам тогда необыкновенно тонкими, глубокомысленными и остроумными.

---

[1] «Какое варварство!» *(франц.)*.

Но, когда мы вышли из музея, наша компания распалась из-за различия наших национальных обычаев. Дижон предложил отправиться в кафе и запить события дня пивом; старшего Стенниса эта мысль возмутила, и он потребовал, чтобы мы поехали за город, если возможно — в лес, и совершили длинную прогулку. К его мнению немедленно присоединились все англичане и американцы, и даже мне, человеку, над которым часто смеялись за его пристрастие к сидячей жизни, мысль о деревенском воздухе и тишине показалась неотразимо соблазнительной. По наведении справок выяснилось, что мы можем успеть на скорый поезд до Фонтенбло, если сейчас же отправимся на вокзал. Не считая одежды, у нас с собой не было никаких «личных вещей» — термин изысканный, но довольно смутный,— и кое-кто из нашей компании предложил все-таки заехать за ними домой. Но братья Стеннис принялись издеваться над нашей изнеженностью. Оказалось, что они неделю назад приехали из Лондона, захватив с собой только пальто и зубные щетки. Отсутствие багажа — вот тайна жизни. Несколько дорогостоящая, разумеется, поскольку каждый раз, когда вам нужно причесаться, приходится платить парикмахеру, и каждый раз, когда нужно сменить белье, приходится покупать новую рубашку, а старую выбрасывать; однако можно пойти на любые жертвы (доказывали братья), только бы не стать рабом чемоданов. «Человеку необходимо порвать все материальные путы; только тогда он может считать себя взрослым,— заявили они,— а пока вы чем-нибудь связаны — домом, зонтиком, саквояжем,— вы все еще не вышли из пеленок». Это теория покорила большинство из нас. Правда, оба француза, презрительно посмеиваясь, отправились пить свое пиво, а Ромни, слишком бедный, чтобы позволить себе такую поездку за собственный счет, и слишком гордый, чтобы прибегнуть к займу, незаметно стушевался. Остальная компания влезла в извозчичью карету и принялась погонять лошадь (как это обычно бывает), предложив чаевые кучеру, так что мы успели на поезд за минуту до его отхода и полчаса спустя уже вдыхали благодатный лесной воздух, направляясь по холмистой дороге из Фонтенбло в Барбизон. Те из нас, кто шагал впереди, покрыли это расстояние за пятьдесят одну с половиной минуту, установив рекорд, ставший легендарным в анналах англосаксонской

колонии Латинского квартала, но вас, вероятно, не удивит, что я сильно от них отстал. Майнер, склонный к философии британец, составил мне компанию, и, пока мы медленно шли вперед, великолепный закат, лиловатые тени сумерек, упоительный аромат леса и царившая в нем торжественная тишина настроили меня на молчаливый лад. Мое душевное состояние передалось моему спутнику, и, когда он вдруг заговорил, помню, это заставило меня вздрогнуть — в такую глубокую задумчивость успел я погрузиться.

— Ваш отец, судя по всему,— очень хороший отец,— сказал он.— Почему он не приезжает навестить вас?

У меня наготове было десятка два объяснений да еще столько же в запасе, но Майнер с присущей ему проницательностью, которая всех восхищала, но и заставляла побаиваться его, неожиданно посмотрел на меня сквозь монокль и спросил:

— А вы его уговаривали приехать?

Я покраснел. Нет, я не уговаривал его приехать, я даже ни разу не попросил его навестить меня. Я гордился им, гордился его красивым, мужественным лицом, его мягкостью и добротой, его умением радоваться чужому счастью, а также (если хотите, это была уже не гордость, а чванство) его богатством и щедростью. И все же для него не было места в моей парижской жизни, которая не пришлась бы ему по вкусу. Я боялся насмешек над его наивными высказываниями об искусстве; я внушал себе — и отчасти верил этому,— что он не хочет приезжать; мне казалось (как кажется и сейчас), что счастлив он мог быть только в Маскегоне. Короче говоря, у меня была тысяча веских и легковесных объяснений, ни одно из которых ни на йоту не меняло того факта, что он ждал только моего приглашения, чтобы приехать,— и я это знал.

— Спасибо, Майнер,— сказал я.— Вы даже лучше, чем я о вас думал. Сегодня же напишу ему.

— Ну, вы сами вовсе уж не так плохи,— возразил Майнер с более чем обычной шутливостью, но (за что я был ему очень благодарен) без обычной иронии.

Это были чудесные дни, о которых я мог бы вспоминать без конца. Чудесными были и дни, которые последовали за ними,— когда мы с Пинкертоном бродили по Парижу и предместьям и в поисках моего будущего обиталища приценивались к домам или, осыпанные пылью, возвращались из антикварных лавок, нагруженные китайскими божками и медными жаровнями. Оказалось, что Пинкертон хорошо знал местоположение этих лавок, а также цены всяческих редкостей и неплохо судил о них. Как выяснилось, он занимался скупкой картин и редкостей для перепродажи их в Штатах, и его педантичность и старательность привели к тому, что, не превратившись в настоящего ценителя, он сумел стать неплохим экспертом. Сами предметы оставляли его глубоко равнодушным, но он находил особую радость в том, что научился покупать и продавать их.

В таких занятиях время шло незаметно, и наконец наступил срок, когда я мог ожидать ответа от отца. Однако с первыми двумя почтами я не получил ничего, а с третьей пришло длинное, бессвязное письмо, полное угрызений, ободрений, утешений и отчаяния. Из этого грустного послания, которое, движимый сыновней почтительностью, я сжег, как только прочитал, выяснилось, что мыльный пузырь миллионов моего отца лопнул, что у него не осталось ни гроша, что он болен и что мне не только придется забыть о десяти тысячах долларов, которые я мог бы промотать в свое удовольствие, но даже денег, высылавшихся мне на жизнь, я больше получать не буду. Это был тяжелый удар, но у меня хватило ума и совести поступить как должно. Я продал все свои редкости — вернее, я попросил сделать это Пинкертона, а он сумел продать их не менее выгодно, чем в свое время купить, так что я на этом почти ничего не потерял. Полученная сумма вместе с оставшимися у меня деньгами составила пять тысяч франков. Пятьсот из них я оставил себе на необходимые расходы, а остальное еще до истечения недели послал отцу в Маскегон, где они были получены как раз вовремя, чтобы оплатить его похороны.

Известие о смерти отца не удивило и почти не огорчило меня. Я не мог представить его бедняком. Слишком долго вел он жизнь богатого человека, ни в чем не отказывающего ни себе, ни другим, чтобы вынести подобную перемену. И, хотя мне было жаль себя, я радовался, что мой отец покинул битву жизни. Я говорю, что мне было жаль себя, и для этого у меня было вполне достаточно оснований: я лишился средств к существованию; все мое состояние (включая и деньги, возвра-

щенные из Маскегона) не превышало тысячи франков, и в довершение бед подряд на статуи был передан другому лицу. У нового подрядчика был не то сын, не то племянник, и мне с деловой прямотой предложили поискать для своего товара другой рынок. Я начал с того, что съехал с квартиры, и ночевал у себя в мастерской. Так что теперь и когда я читал перед сном, и когда я просыпался, тяжеловесная и отныне бесполезная махина — Гений Маскегона — все время торчала у меня перед глазами. Бедная каменная красавица! Она предназначалась для того, чтобы торжественно восседать под огромным золоченым куполом нового капитолия,— какая судьба ждет ее теперь? Для каких низменных целей будет она разбита, словно отправленный на слом старый корабль? И что ждет ее рожденного под несчастной звездой создателя, с тысячей франков в кармане стоящего в преддверии той тяжелой жизни, которая ждет всякого никому не известного скульптора?

Эту тему мы с Пинкертоном обсуждали без конца. По его мнению, я должен был немедленно отказаться от своей профессии. «Бросай все это,— повторял он снова и снова.— Поедем со мной в Штаты и заведем какое-нибудь дело. У меня есть капитал, а у тебя — культура. «Додд и Пинкертон» — такое название фирмы для рекламы просто находка, а ты и не представляешь себе, Лауден, какое большое значение может иметь название».

Со своей стороны, я должен был признать, что скульптору для успеха необходима одна из трех вещей: деньги, влиятельный покровитель или адская энергия. Первых двух я лишился, а третьей у меня никогда не было, и все-таки мне не хватало трусости (а быть может, и мужества) без всякого сопротивления отказаться от выбранной мной профессии. Кроме того, как я сказал Пинкертону, хотя мои шансы преуспеть в качестве скульптора были невелики, как делец я вообще не мог ни на что рассчитывать, поскольку не имел к этому ни вкуса, ни способностей. Но в этом отношении Пинкертон ничем не отличался от моего отца: он принялся уверять меня, что я говорю так по неопытности, что всякий умный и образованный человек непременно преуспеет на этом поприще, что я наверняка унаследовал деловые качества моего отца и что я получил все

необходимые для этой карьеры знания в специальном колледже.

— Пинкертон,— отвечал я,— неужели ты не можешь понять, что все время, пока я пробыл там, я ничем не интересовался и ничему не научился? Для меня все это было смертной мукой.

— Этого не может быть,— возражал он.— Не мог же ты находиться в самой гуще подобной жизни и не почувствовать ее очарования. У тебя для этого слишком поэтичная душа! Нет, Лауден, ты меня просто бесишь. По-твоему, какая-нибудь вечерняя заря должна потрясать человека, но он не почувствует интереса к месту, где идет борьба за богатство, где состояния наживаются и теряются за один день; по-твоему, он останется равнодушным к карьере, которая требует, чтобы он изучил жизнь, как свои пять пальцев, умел выискать самую маленькую щелку, чтобы запустить в нее лапу и извлечь доллар, и стоял бы посреди всего этого вихря — одной ногой на банкротстве, а другой — на взятом взаймы долларе,— и загребал бы деньги лопатой наперекор судьбе и счастью?

Этой биржевой романтике я противопоставлял романтику (она же добродетель) искусства, напоминая ему о людях, упорно сохранявших верность музам, несмотря на все тяготы, с которыми эта верность связана, начиная от Милле и кончая нашими многочисленными приятелями и знакомыми, которые избрали именно этот приятный горный путь по жизни и теперь мужественно пробирались по скалам и колючим зарослям, без гроша в кармане, но полные надежд.

— Тебе этого не понять, Пинкертон,— говорил я.— Ты думаешь о результатах, ты хочешь получать выгоду от затраченных тобой усилий, вот почему ты не станешь художником, доживи ты хоть до тысячи лет. Результаты — это ерунда. Глаза художника обращены внутрь, его цель — внутреннее настроение. Погляди на Ромни. Вот у кого душа художника. Он беден, как церковная мышь, но предложи ему стать главнокомандующим или даже президентом Соединенных Штатов, и он откажется,— ты же знаешь, что он откажется.

— Может быть, и откажется,— кричал в ответ Пинкертон, ероша волосы обеими руками,— но я не понимаю, почему; я не понимаю, чего ему надо! Наверное, я не могу подняться до подобных взглядов. Конечно, это

потому, что в юности я не получил образования. Однако, Лауден, с моей низменной точки зрения это кажется мне глупым. Дело в том,— порой добавлял он с улыбкой,— что на пустой желудок мне внутреннее настроение ни к чему, и я убежден, что первый долг всякого человека — умереть богатым, если удастся.

— А для чего? — спросил я его как-то.

— Ну, не знаю,— ответил он.— А почему человек хочет стать скульптором, если уж на то пошло? Я и сам бы не прочь лепить. Только я не понимаю, почему ты не хочешь заниматься ничем другим. Это вроде как указывает на обедненную натуру.

Не знаю, научился ли он когда-нибудь понимать меня — а мне с тех пор пришлось столько пережить, что я сам себя разучился понимать,— но, во всяком случае, он скоро заметил, что я говорю совершенно серьезно, и дней через десять неожиданно прекратил споры и заявил, что он зря тратит свой капитал и должен немедленно вернуться на родину. Несомненно, ему следовало бы вернуться уже давно, и медлил он в Париже только ради нашей дружбы и из-за моих несчастий, но так уж устроен человек: тот самый факт, который должен был бы обезоружить меня, только усилил мою досаду и раздражение. Мне казалось, что, уезжая, он подло покидает меня. Вслух я этого не высказывал, но, без сомнения, выдал свои чувства. Унылый вид Пинкертона доказывал, что его и самого мучает эта же мысль. Как бы то ни было, за время, пока он готовился к отъезду, наша дружба, казалось, сильно остыла, о чем я вспоминаю теперь с немалым стыдом. В день отъезда он пригласил меня пообедать в ресторане, который, как ему было хорошо известно, я часто посещал, пока из соображений экономии не был вынужден от этого отказаться.

Он, по-видимому, чувствовал себя неловко, а я и жалел о его отъезде и злился, так что за едой мы почти не говорили.

— Вот что, Лауден,— сказал он с видимым усилием, когда был подан кофе и мы закурили трубки,— тебе никогда не понять, как я тебе благодарен и как я к тебе привязан. Ты не знаешь, какой дар судьбы — дружба с человеком, стоящим на самой вершине цивилизации; ты не можешь себе представить, как эта дружба облагородила и очистила меня, как она возвысила мой дух, и я хочу сказать тебе, что готов умереть у твоих дверей, как верная собака.

Не знаю, что бы я ему ответил, но он перебил меня.

— Позволь, я договорю! — воскликнул он.— Я преклоняюсь перед твоей преданностью искусству. Сам я не могу подняться до подобного чувства, но в моей душе есть поэтическая струнка, Лауден, которая отзывается на него. Я хочу, чтобы ты следовал своему призванию, и собираюсь помочь тебе в этом.

— Пинкертон, что это еще за чепуха? — прервал я его.

— Пожалуйста, не сердись, Лауден,— сказал он,— это простое деловое предложение — такие сделки заключаются каждый день, они даже типичны. Каким образом Гендерсон, Самнер, Лонг оказались в Париже? Все одна и та же история: с одной стороны — молодой человек, так и брызжущий гениальностью, с другой — коммерсант, не знающий, куда девать деньги.

— Брось говорить глупости — у тебя же нет ни гроша за душой,— перебил я.

— Погоди, пока я примусь как следует за дело! — воскликнул он.— Я наверняка разбогатею, и поверь, я хочу извлечь из своих денег кое-какое удовольствие. Вот твоя первая стипендия. Прими ее из рук друга; я ведь, как и ты, принадлежу к тем людям, для кого дружба священна. Это всего сто франков, и ты их будешь получать каждый месяц, а как только я расширю свое дело, мы эту сумму увеличим до приличной цифры. И тут нет никакого одолжения — если ты поручишь мне сбывать свои скульптуры в Америке, то это будет одной из выгоднейших сделок в моей жизни.

Потребовалось много времени, взаимного расшаркивания и обид, прежде чем мне удалось отклонить его предложение, согласившись взамен распить бутылку коллекционного вина. Наконец он прекратил спор, неожиданно сказав: «Ну ладно, с этим — все»,— и больше уже к этой теме не возвращался, хотя мы провели вместе целый день и я проводил его до дверей зала ожидания вокзала Сен-Лазар. У меня было страшно одиноко на душе; какой-то голос говорил мне, что я отверг и мудрый совет и руку дружбы, и, когда я возвращался домой по огромному, сияющему огнями городу, в первый раз я глядел на него, как на врага.

ГЛАВА V, В КОТОРОЙ Я БЕДСТВУЮ В ПАРИЖЕ

Нет такого места на земле, где было бы приятно голодать, но, если не ошибаюсь, давно признано, что тяжелее всего голодать в Париже. В нем кипит такая веселая жизнь, он так похож на огромный ресторан с садом, его дома так красивы, театры так многочисленны, а экипажи мчатся так быстро, что человек, измученный душевно и больной телесно, чувствует себя заброшенным и никому не нужным. Ему кажется, что он единственная реальность в мире кошмаров. Весело болтающие посетители кафе, толпы у театральных подъездов, извозчичьи кареты, набитые по воскресным дням искателями дешевых удовольствий, витрины ювелирных магазинов — все эти привычные зрелища как-то особенно усугубляют и подчеркивают его собственное несчастье, нужду, одиночество. И в то же самое время, если он человек моего склада, ему служит утешением детски наивное тщеславие. Вот наконец настоящая жизнь, говорит он себе, наконец-то я стою с ней лицом к лицу: спасательный пояс, поддерживавший меня на поверхности океана, исчез, ничто не помогает мне в борьбе с волнами, от меня одного зависит, спасусь ли я или погибну, и теперь я на самом деле испытываю то, чем восторгался, читая о судьбе Лусто или Люсьена, Родольфа или Шонара.

Не стану подробно описывать, как я бедствовал. Нуждавшиеся студенты обычно прибегали к тому, что мягко именовалось «займами» (хотя отдавать эти долги они с самого начала не собирались), и многим удавалось продержаться таким образом несколько лет. Но мое разорение произошло в самый неблагоприятный момент. Большинство моих друзей уехало, другие сами еле сводили концы с концами. Ромни, например, вынужден был ходить по парижским тротуарам в деревенских сабо, а в его единственном костюме зияли такие прорехи (несмотря на все булавки, которыми были искусно сколоты лохмотья), что дирекция Люксембургского музея попросила его больше там не появляться. Дижон тоже сидел на мели и делал эскизы часов и газовых бра по заказу какого-то торговца, так что был в состоянии предложить мне только угол своей мастерской, где я мог бы работать. Моей собственной мастерской, как нетрудно догадаться, я к этому времени уже лишился, и в результате Гений Маскегона навеки расстался со своим творцом. Для того чтобы хранить большую статую, художнику необходима мастерская, галерея или хотя бы право пользоваться садиком. Он не может возить ее с собой на задке пролетки, как чемодан, и равным образом, поселившись на крохотном чердаке, не может делить его с жильцом столь внушительных размеров. Сперва я решил оставить Гения в моей прежней мастерской, ибо мне казалось, что он, пребывая там, где был создан, может послужить источником вдохновения для моего преемника. Но хозяин дома, с которым я, к несчастью, поссорился, воспользовался случаем сделать мне неприятность и потребовал, чтобы я немедленно вывез свою собственность. Для человека, находившегося в таких стесненных обстоятельствах, как я, нанять подводу значило бы пойти на непозволительно большой расход, но даже это не остановило бы меня, если бы, наняв подводу, я знал, куда мне везти свое творение. Мной овладел истерический смех, когда я увидел (глазами воображения), как я, ломовой извозчик и Гений Маскегона стоим посреди Парижа, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше, и в конце концов, пожалуй, направляемся к ближайшей свалке и водружаем любимое дитя моей творческой мысли на кучу городских отбросов. От подобной крайности меня спас вовремя явившийся покупатель, которому я уступил Гения Маскегона за тридцать франков. Где он теперь стоит, под каким именем его хвалят или бранят, история умалчивает. Но мне хочется думать, что он украшает сад какого-нибудь загородного кафе, и продавщицы, вырвавшиеся на воскресенье из душного Парижа, вешают шляпки на мать, а их кавалеры (желая сказать любезность) утверждают, что крылатое дитя — это бог любви.

Я обедал в кредит в дешевом трактире на окраине, где столовались извозчики. Договариваясь с хозяином, я намекнул, что ужина мне не потребуется, так как вечером я буду садиться за изысканно сервированный стол кого-нибудь из богатых знакомых. Но это было крайне опрометчиво с моей стороны. Моя выдумка, вполне правдоподобная, пока на мне был приличный костюм, стала казаться более чем сомнительной, когда рукава и лацканы моего сюртука обтрепались, а отор-

ванные подметки башмаков начали звонко шлепать по полу трактира. Кроме того, есть один раз в день было очень полезно для моего кошелька, но вредно для моего желудка. Раньше я частенько заходил в этот трактир из романтических побуждений — чтобы познакомиться с жизнью студентов, менее богатых, чем я. И каждый раз я входил туда с отвращением, а выходил, испытывая тошноту. Мне было странно, что теперь я сажусь тут за столик с нетерпением, встаю из-за него довольный и принимаюсь считать часы, которые отделяют меня от возможности снова приняться за эти сомнительные яства. Но голод — великий волшебник, а как только я истратил все свои деньги и не мог уже заморить червячка чашкой шоколада или куском хлеба, этот извозчичий трактир остался единственным местом, где я кое-как подкреплял свои силы, если не считать редких, долго ожидаемых и долго хранимых в памяти неожиданных удач. Например, торговец расплачивался с Дижоном или кто-нибудь из старых друзей приезжал в Париж. Тогда меня приглашали на настоящий обед, и я производил заем в стиле Латинского квартала, после чего мне в течение двух недель хватало денег на табак и утреннюю чашку кофе.

Казалось бы, такое полуголодное существование должно было убить во мне гурмана. Однако в действительности все обстоит как раз наоборот: чем грубее пища, которую ест человек, тем больше он мечтает о деликатесах. Свои последние деньги — тридцать франков — я ничтоже сумняшеся истратил на один хороший обед, а оставаясь один, занимался преимущественно тем, что составлял меню воображаемых пиров.

Однажды во мне снова проснулась надежда — богатый житель одного из Южных штатов заказал мне свой бюст. Заказчик был щедр, шутлив, весел. Позируя, он развлекал меня всевозможными рассказами, а после окончания сеанса приглашал пообедать с ним и продолжить осмотр достопримечательностей Парижа. Я ел вволю, начал толстеть. Бюст, по общему мнению, получался очень похожим, и, признаюсь, я уже решил, что моим злоключениям пришел конец. Но, когда работа была закончена и я отослал бюст в Америку, мой заказчик даже не сообщил мне о его получении. Этот удар совсем сразил меня, и, вероятно, я даже не попытался бы бороться за свои права, если бы не встал вопрос о чести моей родины. Ибо Дижон, воспользовавшись удобным случаем, по-европейски, поспешил просветить меня (в первый раз) относительно американских нравов: по его словам, Соединенные Штаты были бандитским притоном, где нет и следа закона и порядка и где долги удается взыскивать только под дулом ружья. «Это известно всему миру,— заявил он,— только вы один, mon petit[1] Лауден, только вы один об этом не знаете. Совсем недавно в Цинциннати члены верховного суда устроили поножовщину прямо в святилище правосудия. Прочтите-ка книгу одного из моих друзей «Le Touriste dans le Far-West»[2]; все эти факты изложены там на хорошем французском языке».

Такие разговоры длились целую неделю, и наконец, сильно рассердившись, я взялся доказать ему обратное и передал это дело в руки поверенного моего покойного отца. По истечении надлежащего срока я имел удовольствие узнать, что мой должник умер от желтой лихорадки в Ки-Уэсте, оставив свои дела в запутанном состоянии. Имени его я не называю, хотя он и обошелся со мной весьма небрежно, но, может быть, совершенно честно собирался заплатить мне.

Вскоре после этого отношение ко мне в извозчичьем трактире стало еле заметно меняться, знаменуя новую фазу моих бедствий. В первый день я старался внушить себе, что мне это просто почудилось; на следующий я твердо убедился, что мое впечатление меня не обмануло; на третий, поддавшись панике, я не пошел в трактир и пропостился сорок восемь часов. Это был крайне безрассудный поступок, ибо должник, не являющийся в обычный час, только привлекает к себе больше внимания и рискует, что его заподозрят в намерении скрыться. Поэтому на четвертый день я все-таки отправился туда, трепеща в душе. Хозяин бросил на меня косой взгляд, официантки (его дочери) обслуживали меня кое-как и только презрительно фыркнули в ответ на мое преувеличенно веселое приветствие, и — что было красноречивее всего,— когда я потребовал сыр (который подавался всем обедающим), мне грубо ответили, что он весь вышел. Сомневаться не приходилось: приближалась катастрофа. Только тоненькая дощечка отделяла меня от полной нужды, и эта дощечка уже дрожала.

[1] Мой маленький *(франц.)*.

[2] «Путешественник на Дальнем Западе» *(франц.)*.

Я провел бессонную ночь, а утром отправился в мастерскую Майнера. Я уже давно подумывал об этом шаге, но никак не мог на него решиться. Наше знакомство с Майнером было шапочным, и, хотя мне было известно, что этот англичанин богат, его поведение и его репутация заставляли предполагать, что он не терпит попрошаек.

Когда я вошел, он работал над картиной, которую я мог похвалить, не кривя душой, однако, поглядев на его простой суконный костюм, я смутился — хотя и скромный, но аккуратный и тщательно выутюженный, он являл слишком разительный контраст с моей собственной изношенной и грязной одеждой. Пока мы разговаривали, он продолжал поглядывать то на холст, то на толстую нагую натурщицу, которая сидела в дальнем конце мастерской, терпеливо держа над головой согнутую руку. Даже при самых благоприятных обстоятельствах мне было бы нелегко высказать свою просьбу, а теперь, стесняясь отрывать Майнера от работы, стесняясь присутствия голой дебелой женщины, сидевшей в нелепой и неудобной позе, я почувствовал, что не могу вымолвить ни слова о деньгах. Снова и снова пытался я заговорить о своей просьбе, но снова и снова начинал расхваливать картину. Потом натурщица некоторое время отдыхала, взяв на себя ведение разговора, и тихим, расслабленным голосом рассказывала нам о процветающих делах своего мужа, о прискорбном легкомыслии своей сестры и гневе их отца — скопидома-крестьянина из окрестностей Шалона, и, только когда она опять приняла требуемую позу, а я опять откашлялся, собираясь приступить к делу, и опять сказал лишь какую-то банальность о картине, сам Майнер наконец коротко и энергично положил конец моим колебаниям.

— Вы ведь пришли ко мне не для того, чтобы болтать пустяки,— сказал он.

— Да,—ответил я угрюмо,—я пришел занять денег.

Некоторое время он продолжал молча работать, а потом спросил:

— Мы как будто никогда не были особенно близки?

— Благодарю вас,— ответил я,— все понятно.

Кипя от ярости, я сделал шаг к двери.

— Разумеется, вы можете уйти, если хотите,— заметил Майнер,— но я посоветовал бы вам остаться и высказать все.

— О чем нам говорить? — вскричал я.— Зачем вы задерживаете меня,— чтобы подвергать ненужному унижению?

— Послушайте, Додд, вам следовало бы научиться владеть собой,— ответил он.— Вы сами пришли ко мне, я вас не звал. Если вы думаете, что этот разговор мне приятен, вы ошибаетесь, а если вы полагаете, что я одолжу вам деньги, не узнав точно, как вы надеетесь их отдать, значит, вы считаете меня дураком. Кроме того,— добавил он,— подумайте, и вы поймете, что самое худшее осталось позади: вы уже высказали свою просьбу и имеете все основания ожидать, что я отвечу на нее отказом. Я не хочу обманывать вас ложной надеждой, но, может быть, вам все-таки будет полезно дать мне возможность взвесить положение вещей.

Вот так (я чуть было не написал «ободренный») я довольно сбивчиво рассказал ему о своих делах: о том, что я столуюсь в извозчичьем трактире, но, судя по всему, там собираются отказать мне в кредите; что Дижон уступил мне угол своей мастерской, где я пытаюсь лепить эскизы фигур, украшающих часы и подсвечники,— Время с косой, Леду с лебедем, мушкетеров и прочее,— но ни одна из них вплоть до этой минуты никого еще не заинтересовала.

— А как вы платите за комнату?—спросил Майнер.

— Ну, с этим у меня, кажется, все в порядке,— ответил я.— Хозяйка — очень милая и добрая старушка, она ни разу даже не заговаривала со мной о просроченной плате.

— Если она милая и добрая старушка, это еще не основание для того, чтобы ей приходилось терпеть убытки,— заметил Майнер.

— Что вы хотите этим сказать? — вскричал я.

— А вот что,— ответил он.— У французов принято предоставлять в делах большой кредит. Вероятно, такая система окупается, иначе они от нее отказались бы, однако она создана не для иностранцев. По-моему, не слишком честно со стороны нас, англосаксов, пользоваться здешним обычаем, а потом удирать за Ламанш или (когда дело касается вас, американцев) за Атлантический океан.

— Но я не собираюсь удирать! — запротестовал я.

— Конечно,— сказал он.— Хотя, пожалуй, именно это вам и следовало бы сделать. На мой взгляд, вы до-

вольно безжалостны к владельцам извозчичьих трактиров. По вашим же собственным словам выходит, что никакого просвета в вашей судьбе не предвидится, и, следовательно, чем дольше вы здесь пробудете, тем дороже это обойдется вашей милой и доброй квартирной хозяйке. Теперь выслушайте мое предложение: если вы согласитесь уехать, я куплю вам билет до Нью-Йорка и оплачу оттуда проезд до этого... Маскегона (если я не путаю названия), где жил ваш отец, где, вероятно, у него остались друзья и где, без сомнения, вам удастся найти какое-нибудь занятие. Я не жду от вас благодарности — ведь вы, конечно, считаете меня свиньей; однако я попрошу вас вернуть мне эти деньги, как только вам представится такая возможность. Больше я для вас ничего сделать не могу. Другое дело, если бы я считал вас гением, Додд. Но я так не думаю и вам не советую.

— Мне кажется, без последнего замечания можно было бы и обойтись,— не сдержался я.

— Возможно,— сказал он все тем же ровным голосом.— Но мне казалось, что оно имеет прямое отношение к делу, а кроме того, вы, попросив у меня денег без всякого обеспечения, позволили себе вольность, допустимую только между близкими друзьями, и дали мне основание ответить вам тем же. Однако речь идет не о том: вы согласны?

— Нет, благодарю вас,— ответил я.— У меня остался еще один выход.

— Очень хорошо,— ответил Майнер.— Однако взвесьте, честен ли он.

— Честен?.. Честен?..— вскричал я.— По какому праву вы сомневаетесь в моей честности?

— Не буду, если вам это не нравится,— ответил он.

— По-вашему, честность — это что-то вроде игры в жмурки. Я придерживаюсь другого мнения. Просто мы определяем это понятие по-разному.

После этого неприятного разговора, во время которого Майнер ни на минуту не прервал работы над картиной, я отправился в мастерскую к моему бывшему учителю. Это была моя последняя карта, и теперь я решил пойти с нее: я решил снять фрак джентльмена и заниматься отныне искусством в блузе рабочего.

— А, да ведь это наш маленький Додд! — воскликнул мэтр, но тут взгляд его упал на мой потертый костюм, и лицо его как будто омрачилось.

— Мэтр,— сказал я,— не возьмете ли вы меня опять в свою студию, на этот раз в качестве рабочего?

— Но я думал, что ваш отец очень богат,— удивился он.

Я объяснил ему, что мой отец разорился и умер. Он покачал головой.

— У дверей моей студии толпятся рабочие получше,— сказал он.— Намного лучше.

— Прежде вам кое-что нравилось в моих работах,— умоляюще сказал я.

— Кое-что мне в них нравилось, это правда,— ответил он — Они были неплохи для сына богача, но для бедного сироты они плохи. Кроме того, я полагал, что вы можете выучиться на художника, но не думаю, что вам удастся выучиться на рабочего.

В те времена на одном из бульваров неподалеку от гробницы Наполеона стояла осененная жалким деревцем скамья, с которой открывался вид на грязную мостовую и на глухую стену. На эту-то скамью я и опустился, чтобы обдумать свое ужасное положение. Небо было затянуто сумрачными тучами; за три дня я ел только один раз; мои башмаки промокли насквозь, панталоны были заляпаны грязью. Окружающая обстановка, события последних дней и мое мрачное и унылое настроение прекрасно гармонировали между собой. Я думал о двух людях, которые хвалили мою работу, пока я был богат и ни в чем не нуждался, а теперь, когда я бился в тисках нужды, заявили: «Не гений» и «плохи для сироты», и один из них предложил мне, словно нищему иммигранту, оплатить билет до Нью-Йорка, а другой не пожелал взять меня тесальщиком камня — похвальная прямолинейность с голодным человеком! В прошлом они не кривили душой, были искренни они и сегодня: изменившиеся обстоятельства породили новую оценку, только и всего.

Но хотя я и не сомневался в их искренности, однако отнюдь не собирался признавать их мнение безошибочным. Сколько раз художники, которых долгое время никто не признавал, в конце концов получали возможность посмеяться над своими суровыми критиками! В каком возрасте обрел себя и прославился Коро? На кого в молодости сыпалось больше насмешек (и вполне справедливых), чем на Бальзака, которому я поклонялся? А если этих примеров мне было недостаточно, стои-

ло только повернуть голову, посмотреть туда, где на фоне чернильных туч сверкал золотой купол Дома Инвалидов, и вспомнить историю того, кто под ним покоится,— от дней, когда над молодым лейтенантом артиллерии подтрунивали насмешливые девицы, окрестившие его Котом в сапогах, и до дней бесчисленных корон, и бесчисленных побед, и тысяч пушек, и многотысячной кавалерии, топтавшей дороги потрясенной Европы в восьмидесяти милях впереди Великой армии. Вернуться на родину, сдаться, признать себя неудачником, честолюбивым неудачником — бенгальским огнем, от которого осталась только обгоревшая палочка! Я, Лауден Додд, который с презрением отверг все другие профессии, которого в сентджозефовском «Геральде» восхваляли как патриота и художника, вернусь в Маскегон, словно подпорченный товар, и буду со шляпой в руке обходить знакомых моего отца, вымаливая у них местечко уборщика их контор? Нет, клянусь Наполеоном, нет! Я так и умру скульптором, а эти двое людей, отказавшие мне сегодня в помощи, еще будут завидовать моей славе или проливать горькие слезы запоздалого раскаяния над моим нищенским гробом.

Однако, хотя мужество меня не покинуло, я все-таки не знал, как и где раздобыть еду. Неподалеку, за грязной извозчичьей стоянкой, на берегу широкой, залитой грязью мостовой, маня и пугая, виднелся мой трактир. Может быть, меня впустят туда и мне удастся еще раз наполнить там свой желудок, но, может быть, именно этот день окажется роковым и я буду изгнан оттуда после вульгарного скандала. Попытаться все-таки, конечно, стоило, но за это утро моей гордости было нанесено слишком много тяжелых ударов, и я чувствовал, что предпочту голодную смерть возможности получить еще один. Я смело смотрел в будущее, но для настоящего у меня не хватало отваги; я смело шел на битву жизни, но для этого предварительного набега на извозчичий трактир мне не хватало храбрости. Я продолжал сидеть на скамье неподалеку от места упокоения Наполеона и то погружался в дремоту, то словно начинал бредить, то терял способность соображать, то испытывал животное удовлетворение от возможности сидеть не двигаясь, то принимался с необычайной ясностью думать, планировать, вспоминать, рассказывать себе сказки о падающем с неба богатстве, жадно заказывать и

пожирать воображаемые обеды и в конце концов, очевидно, уснул.

Уже темнело, когда меня разбудил холодный дождь, и я, дрожа, вскочил на ноги, снова охваченный муками голода. Мгновение я стоял, ничего не понимая, а в голове у меня вихрем проносились все мои недавние мысли и сны; снова меня начал неотразимо манить извозчичий трактир и снова мысль о возможном оскорблении удержала меня. «Qui dort dine» [1],— подумал я и, шатаясь от слабости, побрел домой по мокрым улицам, где уже горели фонари и светились огни витрин. И всю дорогу я продолжал составлять меню воображаемых обедов.

— А, мсье Додд! — сказал швейцар.— Вам было заказное письмо. Почтальон опять принесет его завтра.

Заказное письмо мне, когда я так давно совсем не получал писем? О его содержании у меня не было ни малейшего представления, но я не стал тратить время на догадки и тем более на обдумывание каких-нибудь бесчестных планов — я просто начал лгать так естественно, словно всю жизнь только этим и занимался.

— А! — сказал я.— Наконец-то мне прислали эти деньги! Жаль, что я не успел получить их сегодня. Не одолжите ли вы мне до завтра сотню франков?

До этой минуты я еще ни разу не брал у швейцара взаймы, кроме того, заказное письмо послужило гарантией — и он отдал мне все, что у него было: три наполеондора и несколько франков серебром.

Я небрежно сунул деньги в карман, еще минуту поболтал со швейцаром, медленно вышел из подъезда, а затем со всей быстротой, на какую были способны мои подкашивающиеся ноги, бросился за угол в кафе «Клюни». Французские официанты ловки и проворны, но на этот раз их проворство казалось мне недостаточным, и едва передо мной были поставлены бутылка вина и масло, как я, забыв о приличии, сразу наполнил свой стакан и набил рот. О восхитительный хлеб кафе «Клюни», о восхитительный первый стакан старого бургундского, теплой волной разлившийся по всему моему телу до промокших ног, о неописуемая первая оливка, снятая с жаркого,— даже в мой смертный час, когда потускнеет светильник сознания, я буду помнить ваш дивный вкус! Дальнейшее течение обеда и весь остальной

[1] «Кто спит, тот обедает» — французская поговорка.

вечер скрыты в густом тумане — может быть, он был порожден парами бургундского, а может быть, явился результатом пресыщения после долгой голодовки.

Однако я отчетливо помню стыд и отчаяние, охватившие меня на следующее утро, когда я обдумал свой поступок: я обманул честного бедняка швейцара и более того — попросту сжег свои корабли, поставив под угрозу мое последнее убежище, мой чердак. Швейцар будет ждать, что я верну долг, платить мне нечем, начнется скандал, и я хорошо понимал, что виновнику этого скандала придется покинуть дом. «По какому праву вы сомневаетесь в моей честности?» — в бешенстве кричал я Майнеру еще накануне. Ах, этот день накануне! День накануне Ватерлоо, день накануне всемирного потопа — накануне я продал кров над моей головой, мое будущее и мое самоуважение за обед в кафе «Клюни»!

Пока я предавался мучительным размышлениям, почтальон принес пресловутое заказное письмо и с ним спасение от всех угрожавших мне бед. Оно было послано из Сан-Франциско, где Пинкертон уже вел бесчисленные и разнообразные дела: мой друг вторично предлагал выплачивать мне стипендию, которую в связи с его упрочивавшимся финансовым положением он собирался увеличить до двухсот франков в месяц, а на случай, если я окажусь в стесненных обстоятельствах, в письмо был вложен чек на сорок долларов.

Можно найти сотни убедительнейших причин для того, чтобы человек в нашу эпоху, когда каждому следует полагаться только на себя, отклонил предложение, ставящее его в зависимость от другого, но любое число самых веских соображений бессильно перед суровой необходимостью, и не успели банки открыться, как я уже получал деньги по чеку.

Я продал себя в рабство в начале декабря и шесть месяцев влачил все растущую тяжесть цепей благодарности и тревоги. Заняв некоторую сумму, я сумел превзойти себя и затмить Гений Маскегона, создав для Салона небольшого, но крайне патриотичного «Знаменосца». Он был принят, простоял там положенное число дней, никем не замеченный, а затем вернулся ко мне, по-прежнему такой же патриотичный. Я всей душой (как выразился бы Пинкертон) предался часам и подсвечникам, но подлецу литейщику не нравились мои эскизы. Даже когда Дижон, человек чрезвычайно до-

бродушный и чрезвычайно презиравший такую ремесленную работу, соглашался продать их вместе со своими, литейщики сразу отбирали мои и отказывались от них. И они возвращались ко мне, верные, как «Знаменосец», который во главе целого полка истуканов поменьше мозолил нам глаза в углу крохотной мастерской моего друга. Мы с Дижоном часами смотрели на эту коллекцию разнообразных фигур. Здесь были представлены все стили — строгий, игривый, классический и стиль Людовика Пятнадцатого,— а также все мыслимые персонажи — от Жанны д'Арк в воинственной кольчуге до Леды с лебедем; более того — да простит мне бог!—комический жанр тоже имел своих представителей. Мы смотрели на них, мы критиковали их, поворачивали и так и сяк — даже при самом тщательном осмотре приходилось признать, что это статуэтки как статуэтки, и, однако, никто не соглашался брать их и даром!

Тщеславие умирает нелегко. В некоторых случаях оно переживает самого человека, но примерно на шестом месяце, когда я был должен Пинкертону около двухсот долларов, и еще сто различным людям в Париже, я проснулся как-то утром в страшно угнетенном настроении и обнаружил, что остался один — мое тщеславие за ночь испустило дух. Я не осмеливался глубже погрузиться в трясину; я перестал возлагать надежды на мои бедные творения; я наконец признал свое поражение и, усевшись в ночной рубашке на подоконник, откуда мне были видны верхушки деревьев на бульваре, и с удовольствием прислушиваясь к музыке просыпающегося города, написал письмо — мое прощание с Парижем, искусством, со всей моей прежней жизнью, со всей моей прежней сущностью.

«Сдаюсь,— писал я.— Как только получу следующий чек, поеду прямо на Дальний Запад, и там можешь делать со мной что хочешь».

Следует сказать, что Пинкертон с самого начала, сам того не сознавая, всячески старался заставить меня приехать к нему: он описывал свое одиночество среди новых знакомых («ни один из которых не обладает твоей культурой»), изливался в таких горячих дружеских чувствах, что это меня смущало — ведь я не мог отплатить ему тем же,— жаловался, как трудно ему без помощника, и тут же принимался хвалить мою решимость и уговаривать меня остаться в Париже.

«Только помни, Лауден,— снова и снова писал он.— что, если он тебе все-таки надоест, здесь тебя ждет большая работа — честная, трудная, приносящая хороший доход работа: ты будешь способствовать развитию ресурсов этого штата, пребывающего пока в первозданном состоянии. И, конечно, мне незачем писать, как я буду рад, если мы станем заниматься этим вместе, плечом к плечу». Вспоминая то время, я дивлюсь, как у меня вообще хватало духа противостоять этим призывам и упорно тратить деньги моего друга, хотя мне и было известно, что моя манера расходовать их ему не по душе. Во всяком случае, осознав свое положение, я осознал его полностью и решил не только следовать в будущем советам Пинкертона, но и возместить убытки, понесенные им из-за меня в прошлом. Я припомнил, что у меня еще остались кое-какие возможности, и решил посетить семейство Лауденов в древнем городе Эдинбурге.

И вот я, пользуясь не очень изящным выражением, навострил лыжи — поступок довольно неблаговидный, но зато совершенный без особых затруднений. Поскольку у меня не было никаких вещей, которые стоило бы брать с собой, я покинул свое имущество без малейшего сожаления. Дижон унаследовал «Жанну д'Арк», «Знаменосца» и мушкетеров. Вместе с ним я купил чемодан и кое-какие необходимые в дороге вещи, и тут же, у дверей магазина, мы расстались, так как свои последние часы в Париже я хотел провести в одиночестве. И вот в одиночестве я заказал свой прощальный обед (гораздо более роскошный, чем позволяли мои финансы); в одиночестве купил билет на вокзале Сен-Лазар; в полнейшем одиночестве, хотя вагон был переполнен, смотрел я на залитую лунным светом Сену, усеянную маленькими островками, на шпили руанского собора, на корабли в гавани Дьеппа. Когда первые лучи зари пробудили меня на палубе пакетбота от беспокойного сна, я с удовольствием встретил рассвет, с удовольствием смотрел, как из розовой дымки встают зеленые берега Англии; с восторгом вдыхал соленый морской воздух — и тут вдруг вспомнил: я более не художник, я перестал быть самим собой, я расстался со всем, что мне было дорого, и возвращаюсь к тому, что всегда презирал, возвращаюсь рабом долгов и благодарности, безнадежным неудачником.

Неудивительно, что от этой картины моих несчастий и позора мысль моя с облегчением обратилась к Пинкертону, питавшему ко мне, как я знал, прежнюю горячую дружбу и уважение, которые я ничем не заслужил и поэтому мог надеяться сохранить навсегда. Неравенство в наших отношениях вдруг остро меня поразило: я был бы безнадежно туп, если бы мог думать об истории нашей дружбы без стыда: ведь я давал так мало, а брал и принимал так много! Мне предстояло целый день пробыть в Лондоне, и я решил (хотя бы на словах) установить некоторое равновесие. Усевшись в углу кафе и требуя все новые листы бумаги, я изливал в письме свою благодарность и раскаяние, давал обещания на будущее. До сих пор, писал я, вся моя жизнь была проникнута эгоизмом. Я был эгоистичен по отношению к моему отцу и к моему другу, принимал их помощь и ничем за нее не платил, лишая их даже такого пустяка (хотя большего они и не требовали!), как мое общество.

Какую силу утешения таит в себе написанное слово! Едва это послание было закончено и отправлено, как сознание собственной добродетели согрело меня, точно хорошее вино.

ГЛАВА VI,

В КОТОРОЙ Я ОТПРАВЛЯЮСЬ НА ДАЛЬНИЙ ЗАПАД

На следующее утро я уже подъезжал к дому моего дяди, как раз вовремя, чтобы позавтракать со всей семьей. Почти никаких перемен не произошло здесь за три года, протекших с тех пор, как я впервые сел за этот стол юным американским студентом, который совсем растерялся, глядя на неведомые яства — копченую треску, копченую лососину, копченую баранину,— и тщетно ломал голову, стараясь догадаться, что скрывается под пышной юбкой куклы на подносе. Единственное изменение можно было заметить только в том, что ко мне стали относиться с бо̀льшим уважением. С подобающей грустью была упомянута кончина моего отца, а потом вся семья поспешила заговорить на более веселую тему (о господи!) — о моих успехах. Им было так при-

ятно услышать обо мне столько хорошего; я стал настоящей знаменитостью; а где сейчас находится эта прекрасная статуя Гения... Ну, Гения какого-то места? «Вы ее, правда, не захватили с собой? Неужели?» — потряхивая кудрями, спросила самая кокетливая из моих кузин, словно предполагая, что я привез свое творение с собой и просто прячу его в кармане, как подарок ко дню рождения. Это семейство, не искушенное в тропических ураганах газетной чепухи Дальнего Запада, свято поверило «Санди Геральду» и болтовне бедняги Пинкертона. Трудно придумать другое обстоятельство, которое могло бы подействовать на меня столь же угнетающе, и до конца завтрака я вел себя, как наказанный школьник.

Когда и завтрак и семейные молитвы подошли к концу, я попросил разрешения побеседовать с дядей Эдамом «о состоянии моих дел». При этой зловещей фразе лицо моего почтенного родственника заметно вытянулось, а когда дедушка наконец расслышал, о чем я прошу (старик был глуховат), и выразил желание присутствовать при нашем разговоре, огорчение дяди Эдама совершенно явно сменилось раздражением. Однако все это внешне почти не проявилось, и, когда он с обычной угрюмой сердечностью выразил свое согласие, мы втроем перешли в библиотеку — весьма мрачное обрамление для предстоящего неприятного разговора. Дедушка набил табаком свою глиняную трубку и устроился курить рядом с холодным камином — окна позади него были полуоткрыты, а шторы полуопущены, хотя утро было холодное и сумрачное; не могу описать, насколько не соответствовал он всей этой обстановке. Дядя Эдам занял свое место за письменным столом посредине. Ряды дорогих книг зловеще смотрели на меня, и я слышал, как в саду чирикают воробьи, а кокетливая кузина уже барабанит на рояле и оглашает дом заунывной песней в гостиной над моей головой.

И вот, по-мальчишески уставившись в пол и стараясь говорить как можно короче, я сообщил моим родственникам о своем финансовом положении — о том, сколько я задолжал Пинкертону, о том, что я не могу зарабатывать себе на жизнь как скульптор, о том, чем я намерен заниматься в Штатах, и о том, как я решил прежде, нежели еще задолжать человеку постороннему, сообщить обо всем этом своим родным.

— Могу только пожалеть, что ты не обратился ко мне с самого начала,— сказал дядя Эдам.— Смею сказать, это выглядело бы более прилично.

— Согласен с вами, дядя Эдам,— ответил я,— но ведь я не знал, как вы посмотрите на мою просьбу.

— Надеюсь, я не способен повернуться спиной к своему племяннику! — воскликнул он с горячностью, но в его тоне, к которому я тревожно прислушивался, прозвучало скорее раздражение, чем родственное чувство.— Неужели я мог бы забыть, что ты сын моей сестры? Я считаю, что помочь тебе — мой прямой долг, и я его исполню.

Мне оставалось только пробормотать:

— Благодарю вас.

— Да,— продолжал он.— И можно усмотреть руку провидения в том, что ты приехал именно сейчас. В фирме, где я когда-то служил, открылась вакансия; теперь ее владельцы величают себя «Итальянские оптовики»; можешь считать, что тебе повезло,— добавил он, чуть улыбнувшись,— в мое время это были простые бакалейщики. Я сведу тебя туда завтра же.

— Погодите минутку, дядя Эдам,— перебил я.— Ведь я прошу вас совсем о другом. Я прошу вас вернуть Пинкертону, человеку небогатому, его деньги. Я прошу вас помочь мне распутаться с долгами, а не устраивать за меня мою жизнь.

— Если бы я хотел быть резким, я мог бы напомнить тебе, что нищим выбирать не положено,— возразил мой дядя,— кроме того, ты уже видел, что получилось, когда ты сам устраивал свою жизнь. Теперь тебе следует положиться на советы тех, кто старше и — что бы ты об этом ни думал — умнее тебя. Все эти планы твоего приятеля, о котором, кстати говоря, я ничего не знаю, и болтовню о возможностях, открывающихся перед тобой на Дальнем Западе, я просто оставляю без внимания. Я не могу допустить, чтобы ты отправился через всю Америку в погоне за мыльным пузырем. Приняв место, которое я, по счастью, могу тебе предложить и за которое многие молодые люди ухватились бы с величайшей радостью, ты будешь получать для начала целых восемнадцать шиллингов в неделю.

— Восемнадцать шиллингов в неделю! — вскричал я.— Да ведь мой бедный друг давал мне больше, ничего не получая взамен!

— Если не ошибаюсь, именно этому другу ты хотел бы теперь возвратить свой долг,— заметил дядя с видом человека, выдвигающего неопровержимый довод.

— Эда-ам! — сказал мой дедушка.

— Мне крайне неприятно, что вам пришлось присутствовать при этом разговоре,— произнес дядя Эдам, с угодливым видом поворачиваясь к каменщику,— но ведь вы сами так захотели.

— Эда-ам! — повторил старик.

— Я слушаю вас, сударь,— сказал дядя.

Дедушка несколько секунд просидел молча, попыхивая трубкой, а затем сказал:

— Смотреть на тебя противно, Эдам!

Было заметно, что дядя обиделся.

— Мне очень грустно, если вы так думаете,— заметил он,— и тем более грустно, что вы сочли возможным сказать это в присутствии третьего лица.

— Оно, конечно, так, Эдам,— сухо отрезал старик,— да только мне на это почему-то наплевать. Вот что, малый,— продолжал он, обращаясь ко мне,— я твой дед, так, что ли? А Эдама ты не слушай. Я пригляжу, чтобы тебя не обидели. Я ведь богат.

— Папа,— сказал дядя Эдам,— мне хотелось бы поговорить с вами наедине.

Я встал и направился к дверям.

— Сиди, где сидел! — крикнул мой дед, приходя в ярость.— Если Эдаму хочется поговорить, пусть говорит. А все деньги здесь мои, и я заставлю, чтобы меня слушались!

После такого предисловия у дяди Эдама явно пропала охота говорить: ему дважды предлагалось «выложить, что у него на душе», но он угрюмо отмалчивался, причем должен сказать, что в эту минуту мне было его искренне жаль.

— Вот что, сынок моей Дженни,— сказал наконец дедушка.— Я собираюсь поставить тебя на ноги. Твою мать я всегда любил больше, потому что с Эдамом каши не сваришь. Да и ты сам мне нравишься, голова у тебя работает правильно, рассуждаешь ты, как прирожденный строитель, а кроме того, жил во Франции, а там, говорят, знают толк в штукатурке. А это — первое дело, особливо для потолков; небось, по всей Шотландии не найдешь строителя, который больше меня пускал бы ее в ход. А хотел я сказать вот что: если с капиталом, который я тебе дам, ты займешься этим ремеслом, то сумеешь стать богаче меня. Ведь тебе полагается доля после моей смерти, а раз она понадобилась тебе теперь, ты по справедливости получишь чуток поменьше.

Дядя Эдам откашлялся.

— Вы очень щедры, папа,— сказал он,— и Лауден, конечно, это понимает. Вы поступаете, как сами выразились, по справедливости; но, с вашего разрешения, не лучше ли было бы оформить все это письменно?

Тлевшая между ними вражда чуть не вырвалась наружу при этих не вовремя сказанных словах. Каменщик быстро повернулся к сыну, оттопырив нижнюю губу, словно обезьяна. Несколько мгновений он глядел на него в злобном молчании, а потом сказал:

— Позови Грегга!

Эти слова произвели видимый эффект.

— Он, наверное, уже ушел в контору,— пробормотал дядя Эдам.

— Позови Грегга! — повторил дед.

— Да говорю же вам, что он ушел в контору,— настаивал Эдам.

— А я тебе говорю, что он сидит в саду, как всегда, и покуривает,— отрезал старик.

— Очень хорошо! — воскликнул дядя и быстро вскочил, словно что-то сообразив.— В таком случае я сам за ним схожу.

— Нет, не сходишь! — крикнул дедушка.— Сиди, где сидел!

— Так как же, черт побери, я смогу его позвать? — огрызнулся дядя с вполне простительным раздражением.

Дедушка (которому на это возразить было нечего) посмотрел на своего сына со злорадной мальчишеской усмешкой и позвонил в колокольчик.

— Возьмите ключ от садовой калитки,— сказал дядя Эдам слуге,— пройдите в сад и, если мистер Грегг, нотариус, там (он обычно сидит под старым боярышником), передайте ему, что мистер Лауден-старший просит его зайти к нему.

Мистер Грегг, нотариус! Тут я наконец понял скрытый смысл слов моего деда и причину тревоги бедного дяди Эдама. Речь, оказывается, шла о завещании старого каменщика.

— Послушайте, дедушка,— сказал я,— ничего этого мне не надо. Я просто хотел попросить взаймы фунтов двести. Я могу позаботиться о себе сам; у меня есть надежды и верные друзья в Штатах...

Старик отмахнулся от меня.

— Разговаривать буду я! — сказал он резко.

И мы в молчании стали ожидать прихода нотариуса. Наконец он появился — суровый человек в очках, но с довольно симпатичным лицом.

— А, Грегг! — воскликнул каменщик.— Ответьте-ка мне на один вопрос: какое отношение имеет Эдам к моему завещанию?

— Боюсь, я не совсем вас понял,— ответил нотариус с некоторой растерянностью.

— Какое он имеет к нему отношение? — повторил старик, ударяя кулаком по ручке своего кресла.— Чьи это деньги — мои или Эдама? Имеет он право вмешиваться?

— А, понимаю,— ответил мистер Грегг.— Разумеется, нет. Вступая в брак, и ваша дочь и ваш сын получили определенную сумму и приняли ее по всем правилам закона. Вы, конечно, помните об этом, мистер Лауден?

— Так что, коли мне захочется,— произнес мой дед, отчеканивая каждое слово,— я могу оставить все свое имущество хоть Великому Моргалу? (Очевидно, он имел в виду Великого Могола.)

— Разумеется,— ответил Грегг с легкой улыбкой.

— Слышишь, Эдам? — спросил старик.

— Разрешите заметить, что мне ни к чему было это слышать,— ответил тот.

— Ну и ладно,— объявил дед.— Вы с сынком Дженни отправляйтесь погулять, а нам с Греггом надо обсудить одно дельце.

Когда я снова оказался в зале наедине с дядей Эдамом, я повернулся к нему, весьма расстроенный, и сказал:

— Дядя Эдам, я думаю, мне незачем говорить вам, как все это для меня тяжело.

— Да, мне очень грустно, что тебе пришлось увидеть своего деда в столь новом для тебя свете,— ответил этот необыкновенный человек.— Впрочем, пусть это тебя не расстраивает. Он обладает многими высокими достоинствами и оригинальным характером. Я твердо уверен, что он щедро тебя обеспечит.

Подражать его невозмутимости у меня не хватило сил. Я не мог долее оставаться в этом доме, ни даже обещать, что я в него вернусь. В результате мы договорились, что через час я зайду в контору нотариуса, которого (когда он выйдет из библиотеки) дядя Эдам предупредит об этом. Полагаю, трудно придумать более запутанное положение: могло показаться, что это мне нанесен тяжелый удар, а облаченный в непроницаемую броню Эдам — великодушный победитель, который не пожелал воспользоваться своим преимуществом.

Можно было не сомневаться, что я получу какие-то деньги, но сколько и на каких условиях, я должен был узнать только через час, а пока мне оставалось лишь размышлять об этом, бродя по широким пустынным улицам нового города, советуясь со статуями Георга IV и Уильяма Питта, любуясь поучительными картинами в витрине магазина нот и возобновляя свое знакомство с эдинбургским восточным ветром. К концу этого часа я направился в контору мистера Грегга, где мне после надлежащего вступления был вручен чек на две тысячи фунтов и небольшой сверток с трудами по архитектуре.

— Мистер Лауден просил меня также сообщить вам,— добавил нотариус, заглянув в свои записи,— что хотя эти труды очень полезны для строителя-практика, вам следует остерегаться, чтобы не утратить оригинальности. Он советует вам также не «ходить на поводу» — это его собственное выражение — у теории деформации и помнить, что портландского цемента, если к нему добавить песок в правильной пропорции, хватит надолго.

Я улыбнулся и ответил, что, вероятно, его действительно хватит надолго.

— Мне как-то пришлось жить в доме, выстроенном моим уважаемым клиентом,— заметил нотариус,— и у меня создалось впечатление, что дальше некуда.

— В таком случае, сэр,— ответил я,— вы будете рады услышать, что я не собираюсь стать строителем.

Тут он засмеялся, лед был сломан, и я получил возможность посоветоваться с ним о своих дальнейших действиях. Он утверждал, что мне следует вернуться в дом дяди пообедать, а потом отправиться на прогулку с дедом.

— На вечер, если хотите, я могу вас освободить,— добавил он,— пригласив поужинать со мной по-холостяцки. Но ни от обеда, ни от прогулки уклоняться вам

не следует. Ваш дед стар и, кажется, очень к вам привязан. Его, разумеется, огорчит мысль, что вы его избегаете. Что же касается мистера Эдама, то тут, я думаю, ваша деликатность излишня... Ну, а теперь, мистер Додд, как вы намерены распорядиться своими деньгами?

Как — в этом-то и был вопрос. Получив две тысячи фунтов, то есть пятьдесят тысяч франков, я мог бы вернуться в Париж к моему любимому искусству и жить в бережливом Латинском квартале, как миллионер. Кажется, у меня хватило совести порадоваться, что я отослал уже упоминавшееся лондонское письмо, однако я ясно помню, как все худшее во мне заставляло меня горько каяться, что я слишком поспешил с его отсылкой. Тем не менее, несмотря на противоречивость моих чувств, одно было твердо и несомненно: раз письмо отослано, я обязан ехать в Америку. И вот мои деньги были разделены на две неравные части — под первую мистер Грегг выдал мне аккредитив на имя Дижона, чтобы тот мог заплатить мои парижские долги, а на вторую, поскольку у меня была кое-какая наличность на ближайшие расходы, он вручил мне чек на банк в Сан-Франциско.

Остальное время моего пребывания в Эдинбурге, если не считать очень приятного ужина с нотариусом и ужасающего семейного обеда, я потратил на прогулку с каменщиком, который на этот раз не повел меня любоваться творениями своих старых рук, а, повинуясь естественному и трогательному порыву, решил показать мне вечное жилище, избранное им для своего последнего упокоения. Оно находилось на кладбище, которое благодаря какой-то странной случайности оказалось внутри тюремного вала и было к тому же расположено на самом краю утеса, усеянного старыми могильными плитами и надгробиями и покрытого зеленой травой и плющом. Восточный ветер (показавшийся мне слишком резким и холодным для старика) заставлял непрерывно трепетать ветви деревьев, и неяркое солнце шотландского лета рисовало на земле их пляшущие тени.

— Я хотел, чтобы ты побывал здесь,— сказал дед.— Вон видишь камень. «Юфимия Росс» — это была моя хозяйка, твоя бабушка... Тьфу! Перепутал: она была моей первой женой, и детей у нас не было, а твоя бабка вот: «Мэри Меррей, родилась в 1819 году, скончалась в 1850 году». Хорошая была женщина, без всяких глупостей, что там ни говори. «Александр Лауден, родился в 1792 году, скончался...», а дальше пусто: это обо мне. Меня ведь звать Александр. Когда я был мальчишкой, меня называли Эки. Эх, Эки, каким же ты стал дряхлым стариком!

Очень скоро мне пришлось снова нанести визит на кладбище, и гораздо более грустный. Случилось это в Маскегоне, над которым уже возвышался одетый в леса купол нового капитолия. Я приехал под вечер. Моросил дождь, и, проходя по широким улицам, самые названия которых были мне незнакомы, где мимо меня, звеня, проносились ряды конок, над головой сплетались сотни телеграфных и телефонных проводов, а по сторонам вздымались громады ярко окрашенных и все же угрюмых зданий, я с тоской вспоминал улицу Расина, и даже мысль об извозчичьем трактире вызвала слезы на моих глазах. За время моего отсутствия этот скучный город так разросся — можно даже сказать, раздулся,— что мне то и дело приходилось спрашивать дорогу у прохожих, и даже кладбище оказалось с иголочки новым. Однако смерть не дремала, и могил там было уже много. Я бродил под дождем среди пышных и безвкусных склепов миллионеров и скромных черных крестов над могилами рабочих-иммигрантов, пока случайность — а может быть, инстинкт — не привела меня к последнему месту упокоения моего отца. Памятник над ним был воздвигнут, как я уже знал, «его восторженными почитателями». Одного взгляда мне оказалось достаточно, чтобы создать суждение об их художественном вкусе, и, без труда представив, каким должен быть их литературный вкус, я остерегся подойти ближе к монументу и прочитать надпись. Однако имя «Джеймс К. Додд» было вырезано крупными буквами и сразу бросилось мне в глаза. Какая странная вещь — имя, подумал я, как оно прилипает к человеку, представляет его в неверном свете, а затем переживает его. И тут с горькой улыбкой я вспомнил, что не знаю — и теперь никогда не узнаю,— какое слово скрывается за этим «К». Кинг, Килтер, Кей, Кайзер — перебирал я наугад имена и, наконец, переиначив «Герберта» в «Керберта», чуть не рассмеялся вслух. Никогда еще я так не ребячился — наверное, потому, что (хотя все мои чувства, казалось, омертвели) никогда еще я не был так глубоко потрясен.

Но после того как мои нервы сыграли со мной такую шутку, я, испытывая глубочайшее раскаяние, поспешил удалиться с кладбища.

Столь же похоронными были и все мои остальные впечатления от Маскегона, в котором я пробыл еще несколько дней, навещая друзей и знакомых отца. Я задержался в Маскегоне из благоговения перед его памятью и мог бы избавить себя от этого испытания, ибо он был уже совершенно забыт. Правда, ради него меня принимали радушно, а ради меня некоторое время поддерживался неловкий разговор о его редких добродетелях. Бывшие товарищи отца, беседуя со мной, тепло вспоминали о его деловых талантах, о его щедрых взносах на общественные нужды, а стоило мне отойти, как они мгновенно о нем забывали. Мой отец любил меня, а я его покинул, и он жил и умер среди людей равнодушных к нему; вернувшись, я нашел только его забытую могилу. Мое бесплодное раскаяние претворилось в новое решение: еще один человек любит меня — Пинкертон. Я не должен дважды совершать одну и ту же ошибку.

В Маскегоне я задержался примерно на неделю, не известив об этом моего приятеля. И вот, когда я пересел в Каунсил-Блафф на другой поезд, в вагон ворвался посыльный с телеграммой в руке, громогласно вопрошая, нет ли среди пассажиров «Лондона Додда». Решив, что имена почти сходятся, я предъявил свои права на телеграмму. Она была от Пинкертона: «Какого числа ты приезжаешь, страшно важно». Я послал ему депешу с указанием дня и часа и в Огдене получил ответ: «Отлично. Испытываю неимоверное облегчение. Встречу тебя в Сакраменто». В Париже я придумал тайное прозвище Пинкертону — в минуты горечи я называл его «Неукротимым», и именно это слово прошептали теперь мои губы. Какую авантюру затеял он теперь? Какую чашу испытаний готовило мое доброжелательное чудовище своему Франкенштейну? В какой лабиринт событий попаду я, оказавшись на тихоокеанском побережье? Мое доверие к Пинкертону было абсолютным, мое недоверие к нему — непоколебимым. Я знал, что намерения его всегда были наилучшими, но не сомневался, что поступит он, с моей точки зрения, обязательно не так, как надо.

Полагаю, что эти смутные опасения окрасили в мрачные тона и без того угрюмые пейзажи за окнами вагона, где хмурились Небраска, Вайоминг, Юта, Невада, словно желая прогнать меня обратно на мою вторую родину, в Латинский квартал. Но, когда Скалистые горы остались позади и поезд, так долго пыхтевший на крутых подъемах, понесся вниз по склону, когда я увидел плодороднейшую область, простирающуюся от лесов и голубых гор до океана, увидел необозримые поля волнующейся кукурузы, рощи, чуть колышемые летним ветерком, деревенских мальчишек, осаждающих поезд, предлагая инжир и персики, мое настроение сразу поднялось. Забота спала с моих плеч, и когда в толпе на перроне в Сакраменто я увидел моего Пинкертона, то, забыв все, кинулся к нему — к самому верному из друзей.

— Лауден! — закричал он.— Как я по тебе стосковался! И ты приехал как раз вовремя. Тебя здесь знают и ждут. Я уже устроил тебе рекламу, и завтра вечером ты читаешь лекцию «Жизнь парижского студента: его занятия и развлечения». Тысяча двести билетов разошлись все до единого... Но как же ты исхудал! Ну-ка, хлебни вот этого.— И он извлек из кармана бутылку с удивительнейшей этикеткой: «Пинкертоновский коньяк Золотого Штата, тринадцать звездочек, лицензированный».

— Господи! — воскликнул я, закашлявшись после глотка этой огненной жидкости.— А что означает «лицензированный»?

— Да неужели ты этого не знаешь, Лауден? — удивился Пинкертон.— Отличное выражение, которое можно увидеть на любом старинном кабачке.

— Но, если не ошибаюсь, там оно означает совсем другое и относится к заведению, а не к продаваемым в нем напиткам.

— Возможно,— ответил Джим, нимало не смущаясь.— Однако это слово очень эффектно и дало ход напитку — он теперь расходится ящиками. Кстати, надеюсь, ты не рассердишься: в связи с лекцией я расклеил по всему Сан-Франциско твои портреты с подписью: «Лауден Додд, американо-парижский скульптор». Вот образец афишки для раздачи на улицах, а стенные афиши точно такие же, только набраны крупным шрифтом, синим и красным.

Я взглянул на афишку, и у меня потемнело в глазах. Слова были бесполезны. Как я мог растолковать Пинкертону, насколько ужасно это сочетание «американо-парижский», когда он не замедлил указать мне на него и объяснить:

— Очень удачное выражение — сразу раскрывает обе стороны вопроса. Я хотел, чтобы лекция отвечала именно такому требованию.

Даже когда мы добрались до Сан-Франциско, и я, не выдержав зрелища расскленных повсюду изображений моей физиономии, разразился потоком негодующих слов, Пинкертон не понял, чем я недоволен.

— Если бы я только знал, что ты не любишь красных букв! — был единственный вывод, который он сделал из моей речи.— Ты совершенно прав: четкая черная печать гораздо предпочтительнее и сильнее бросается в глаза. Вот с портретом ты меня огорчил — признаюсь, я думал, он получился очень удачно. Честное слово, мне страшно неприятно, что все так вышло, мой дорогой. Теперь я понимаю, ты, конечно, имел право ожидать совсем другого. Но ведь я старался сделать как лучше, Лауден, и все репортеры в восторге.

Тут я перешел к самому главному:

— Послушай, Пинкертон, из всех твоих сумасшедших выдумок эта лекция — самая сумасшедшая. Как я успею подготовить ее за тридцать часов?

— Все сделано, Лауден,— ответил он с торжеством,— лекция готова. Она лежит уже отпечатанная в ящике моего письменного стола. Я пригласил для этого самого талантливого литератора Сан-Франциско — Гарри Миллера, лучшего репортера города.

И он, не слушая моих робких возражений, продолжал болтать, описывая мне свои сложные деловые предприятия, перечислял своих новых знакомых, то и дело сожалея, что не может тут же на месте представить мне какого-нибудь «чудеснейшего парня, первоклассного дельца», а у меня при одной мысли об этом знакомстве по спине пробегала дрожь.

Ну, со всем этим я должен был смириться: смириться с Пинкертоном, смириться с портретом, смириться с заранее напечатанной лекцией. Мне, правда, удалось вырвать у него обещание никогда в дальнейшем не давать от моего имени обязательств, не поставив меня об этом в известность. Но я тут же раскаялся в своем требовании, заметив, как удивило и обескуражило оно Неукротимого, и побрел без жалоб за его триумфальной колесницей. Я назвал его «Неукротимым». Вернее было бы сказать «Неотразимый».

Но все это и в сравнение не шло с тем, что я испытал, просмотрев лекцию Гарри Миллера. Он оказался большим остряком, питал пристрастие к несколько вольным шуткам, которые вызывали у меня тошноту, и вместе с тем, описывая гризеток и голодающих гениев, впадал в слащавый или даже мелодраматический тон. Я понял, что материалом ему служила моя переписка с Пинкертоном, ибо иногда натыкался на описание своих собственных приключений, только искаженных до неузнаваемости, а также своих мыслей и чувств, но в таком преувеличенном изложении, что мне оставалось только краснеть. Надо отдать Гарри Миллеру справедливость, он действительно обладал своеобразным талантом, чтобы не сказать гением — все попытки умерить его тон оказались бесплодными, он был неизгладим. Более того, у этого чудовища был определенный ярко выраженный стиль — или отсутствие стиля,— так что любая моя вставка отчаянно дисгармонировала со всем остальным и обедняла (если только это было возможно) общий эффект.

За час до лекции я пообедал в ресторанчике «Пудель» со своим агентом — так было угодно Пинкертону величать себя. Оттуда он, как быка на бойню, повел меня в зал, где я оказался лицом к лицу со всем Сан-Франциско, и притом в полном одиночестве, если не считать стола, стакан с водой и отпечатанной на машинке рукописи, творцом которой был Гарри Миллер и немножко я. Я начал читать ее вслух — у меня не было ни времени, ни желания выучивать всю эту чепуху наизусть. Читал я торопливо, монотонно, всем своим видом показывая, как мне стыдно. Порой, когда я встречался взглядом с чьими-нибудь умными глазами или вдруг натыкался на особо сочный образчик миллеровского остроумия, я запинался и некоторое время что-то бормотал еле слышным голосом. Слушатели зевали, ерзали, шептались, ворчали и наконец принялись выкрикивать: «Громче! Ничего не слышно!» Я начал пропускать страницы и, плохо зная материал, почти каждый раз оказывался в середине фразы, не имевшей ничего общего с предыдущей. Но эти неувязки ни у кого не вызывали

смеха, что показалось мне весьма зловещим знаком. По правде сказать, я начинал бояться худшего и почти не сомневался, что мне вскоре будет нанесено оскорбление действием, когда вдруг ощутил, насколько все это смешно. Я чуть было не расхохотался, и, когда мне опять крикнули, чтобы я читал громче, я в первый раз улыбнулся своим слушателям.

— Отлично,— сказал я.— Я попробую читать громче, хотя, по-моему, никому не хочется меня слушать, что, впрочем, и неудивительно.

После чего и аудитория и лектор принялись хохотать и хохотали до слез. Моя импровизированная острота была вознаграждена громовыми и продолжительными аплодисментами. Затем, пропустив три страницы, я весело заметил:

— Вот видите, я пропускаю все, что возможно.

После чего уважение ко мне зрителей чрезвычайно возросло, и, когда я наконец сошел с эстрады, мне вслед смеялись, стучали ногами, кричали и махали шляпами.

Пинкертон сидел за кулисами и что-то лихорадочно записывал в свой блокнот. Едва увидев меня, он вскочил на ноги, и я с удивлением заметил, что по его щекам текут слезы.

— Мой дорогой! — вскричал он.— Я себе этого никогда не прощу, и ты меня не простишь! Ну, да ладно. Я же хотел, как лучше. А с каким мужеством и благородством ты довел ее до конца! Я ведь боялся, что нам придется вернуть деньги.

— Так было бы честнее всего,— ответил я.

Тут к нам подошли репортеры во главе с Гарри Миллером, и я не без изумления обнаружил, что, в общем, все они люди очень приятные, и даже Гарри Миллер как будто человек вполне порядочный. Я потребовал устриц и шампанского (лекция принесла нам солидную сумму) и, поскольку мое нервное напряжение требовало разрядки, принялся шутить, да так, что все они непрерывно хохотали. С необычайным подъемом я описывал свое бдение над литературными трудами Гарри Миллера и гамму чувств, которые я испытал на эстраде. Мои сотрапезники наперебой клялись, что я душа общества и царь всех лекторов, и — столь удивительна сила печати — если бы вы прочли отчеты о моей лекции, появившиеся на следующий день в газетах, то вообразили бы, что она прошла удивительно удачно.

Вечером, возвращаясь домой, я был в превосходном настроении, но приунывший Пинкертон огорчался за двоих.

— Ах, Лауден,— сказал он,— я никогда себе этого не прощу! Сообразив, что мысль об этой лекции тебе неприятна, я должен был бы прочесть ее сам.

ГЛАВА VII

ДЕЛА ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Телесная пища глупца и мудреца, слона и воробышка не так уж различна — одни и те же химические элементы, лишь облеченные в различную форму, поддерживают жизнь всех обитателей земли. Немного понаблюдав Пинкертона в его новой обстановке, я убедился, что это правило применимо и к тем мыслительным процессам, с помощью которых мы извлекаем из жизни радость. Начитавшийся Майн Рида мальчуган, сжимая в руках игрушечное ружье, крадется по воображаемым лесам — и точно так же Пинкертон, шествуя по Кирни-стрит в свою контору, чувствовал, что жизнь его полна жгучего интереса, а случайная встреча с миллионером преисполняла его счастьем на долгие часы. Его романтикой была реальность, он гордился своим занятием, он наслаждался деловой жизнью. Представьте себе, что кто-нибудь наткнулся у Коромандельского берега на затонувший галион и, пока его шхуна лежит в дрейфе, отмеряет под грохот прибоя золотые слитки ведрами при свете горящих обломков; но, хотя этот человек, несомненно, окажется владельцем неизмеримо большего богатства, ему не испытать и половины того романтического волнения, с которым Пинкертон подводил в пустой конторе свой еженедельный баланс. Каждый нажитый доллар был словно сокровище, извлеченное из таинственной морской пучины, каждая сделка — словно прыжок искателя жемчуга в волны, а когда Пинкертон предпринимал биржевые операции, он с восторгом чувствовал, что сотрясает самые столпы современной жизни, что в самых дальних странах люди, словно по боевому кличу, принимаются за дело, а золото в сейфах миллионеров содрогается.

Я так никогда толком и не узнал полного размаха его деятельности, однако было пять совершенно не связанных между собой предприятий, о которых он постоянно говорил и которыми страшно гордился. «Коньяк Золотого Штата, тринадцать звездочек, лицензированный» (весьма ядовитый напиток) занимал в его мыслях весьма большое место и расхваливался в весьма красноречивой, хотя и не слишком правдивой брошюре «Зачем пить французский коньяк? Обращение к умным людям». Он держал рекламную контору — давал советы, составлял проспекты и служил посредником между владельцами типографий и людьми неопытными или малоизобретательными. Тупой галантерейщик приходил к нему набраться идей, разбитной театральный агент являлся за сведениями о местных условиях, и все до одного его клиенты уходили, унося с собой экземпляр его брошюры «Как, когда и где, или руководство по рекламе». Каждую субботу он зафрахтовывал буксирный пароходик и вывозил желающих на взморье, снабжая их удочками и приманкой для шестичасового ужения за пять долларов с головы. Мне рассказывали, что кое-кто из его пассажиров (без сомнения, умелые рыболовы) еще наживались на этой сделке. Иногда он покупал потерпевшие крушение или назначенные на слом суда, которые затем (уж не знаю как) вновь оказывались на плаву, сменяя только названия, и продолжали бороздить океан под флагами Боливии или Никарагуа. И, наконец, имелась некая сельскохозяйственная машина, блиставшая малиновой и синей краской и, как считалось, «восполнявшая давно ощущавшийся пробел»,— Пинкертону принадлежала десятая часть патента.

Таковы были его основные и официальные предприятия, «а помимо них» (его собственное выражение), он занимался самой разнообразной и весьма таинственной деятельностью. Ни один доллар, находившийся в его владении, не лежал спокойно — он жонглировал ими, словно клоун апельсинами. Мои собственные заработки, когда я начал получать свою долю прибылей, он только показывал мне, а затем они исчезали, как те деньги, которые дарят ребенку только для того, чтобы он опустил их в церковную кружку. После подведения еженедельного баланса Пинкертон являлся сияя, хлопал меня по плечу и заявлял, что чистая прибыль достигла гигантской

цифры, после чего выяснялось, что у него нет четверти доллара на стакан виски.

— Но что же ты сделал с полученной прибылью? — спрашивал я.

— Пустил в оборот. Все снова вложено в дело,— объявлял он с неописуемым восторгом.

Он признавал только «вклады в дело» и терпеть не мог «биржевой игры», как он выражался.

— Никаких акций, Лауден,— не уставал повторять он,— только солидные предприятия.

Но при этом самый азартный биржевик пришел бы в ужас от одного только намека на некоторые капиталовложения Пинкертона. В качестве примера приведу одно из них, которое мне удалось проследить от начала и до конца: он купил седьмую часть фрахта некой злополучной шхуны, направлявшейся в Мексику с контрабандной партией оружия. Затем шхуна должна была вернуться в Сан-Франциско со столь же контрабандными сигарами. О печальном исходе этого предприятия — кораблекрушении, конфискации шхуны и судебном процессе со страховой компанией — я распространяться не стану, слишком уж это грустная тема. «Идея оказалась малоудачной»,— больше Пинкертон ничего не сказал, но я видел, что его финансы потерпели серьезный ущерб. Надо добавить, что об этой сделке я узнал совершенно случайно, так как Пинкертон довольно скоро перестал посвящать меня в свои тайны. О причине такой перемены я расскажу ниже.

Контора, куда стекались (или, вернее, должны были стекаться) все эти доллары, находилась в самом центре города и представляла собой обширное помещение с высокими потолками и множеством зеркальных окон. Стеклянная горка полированного красного дерева являла взгляду батарею примерно в двести бутылок с яркими этикетками. Они содержали «Пинкертоновские тринадцать звездочек», хотя, глядя на них издали, только эксперт отличил бы их от бутылок с соответствующим французским напитком. Я часто поддразнивал моего приятеля этим сходством и советовал ему выпустить второе издание его брошюры, с исправленным заглавием: «Зачем пить французский коньяк, если мы предлагаем вам те же самые этикетки?» Дверцы горки то и дело открывались, и если в конторе появлялся человек,

незнакомый с достоинствами пинкертоновского коньяка, ему перед уходом непременно преподносилась бутылка. Когда я пробовал протестовать против такой расточительности, Пинкертон восклицал:

— Мой милый Лауден, ты по-прежнему не понимаешь деловых приемов! Себестоимость напитка практически равна нулю. Как бы я ни старался, дешевле рекламы мне не найти.

К горке был прислонен пестрый зонтик, хранившийся как реликвия. Дело в том, что, когда Пинкертон собирался пустить «Тринадцать звездочек» в продажу, наступил дождливый сезон. Он ждал, не имея за душой почти ни гроша, первого ливня: едва пошел дождь, все улицы, как по сигналу, наполнились агентами, продававшими пинкертоновские рекламные зонтики, и все обитатели Сан-Франциско, от торопящегося к парому биржевого маклера и до старушки, ожидающей на углу конки, стали прятаться от дождя под зонтиками со следующей странной надписью: «Вы промокли? Попробуйте «Тринадцать звездочек».

— Успех был просто невероятный,— рассказывал Пинкертон, наслаждаясь приятным воспоминанием.— Ни одного другого зонтика! Я стоял у этого самого окна, Лауден, не в силах наглядеться и чувствовал себя Вандербильтом.

Именно этому ловкому использованию климата Пинкертон был обязан не только спросом на «Тринадцать звездочек», но и возникновением своего рекламного агентства.

Примерно посредине комнаты (я возвращаюсь к описанию конторы) стоял большой письменный стол, вокруг которого громоздились кипы афишек, объявлений и брошюрок «Зачем пить французский коньяк?» и «Руководство по рекламе». По одну его сторону сидели две машинистки, не знавшие ни минуты отдыха между девятью и четырьмя, а по другую — высилась модель сельскохозяйственной машины. Все стены, если не считать места, занятого телефонами и двумя фотографиями, изображавшими корабль «Джеймс Моди», выброшенный на рифы, и буксирный пароходик, переполненный любителями рыбной ловли, были увешаны картинами в пышных рамах. Многие из этих картин были памятью о Латинском квартале, и к чести Пинкертона должен сказать, что совсем плохих среди них не было, а некоторые

даже обладали замечательными художественными достоинствами. Они распродавались довольно медленно, но по хорошим ценам, а освободившееся место заполнялось произведениями местных талантов. Пинкертон незамедлительно поручил мне высказать свое суждение об этих последних. Некоторые из них были отвратительны, однако все могли найти сбыт. Я так и сказал и тут же почувствовал себя гнусным перебежчиком, выступающим с оружием в руках на стороне бывших своих врагов. С этих пор я был обречен смотреть на картины не глазами художника, а глазами торговца: между мной и тем, что я любил всем сердцем, легла непроходимая пропасть.

— Ну, Лауден,— сказал Пинкертон на другой день после лекции,— теперь мы будем работать плечом к плечу. Вот о чем я всегда мечтал. Мне нужны были две головы и четыре руки — теперь я их обрел. Ты сам увидишь, что это ничем не отличается от искусства — тоже все сводится к умению видеть и к воображению, только нужно куда больше действовать. Погоди немного, и ты сам это почувствуешь.

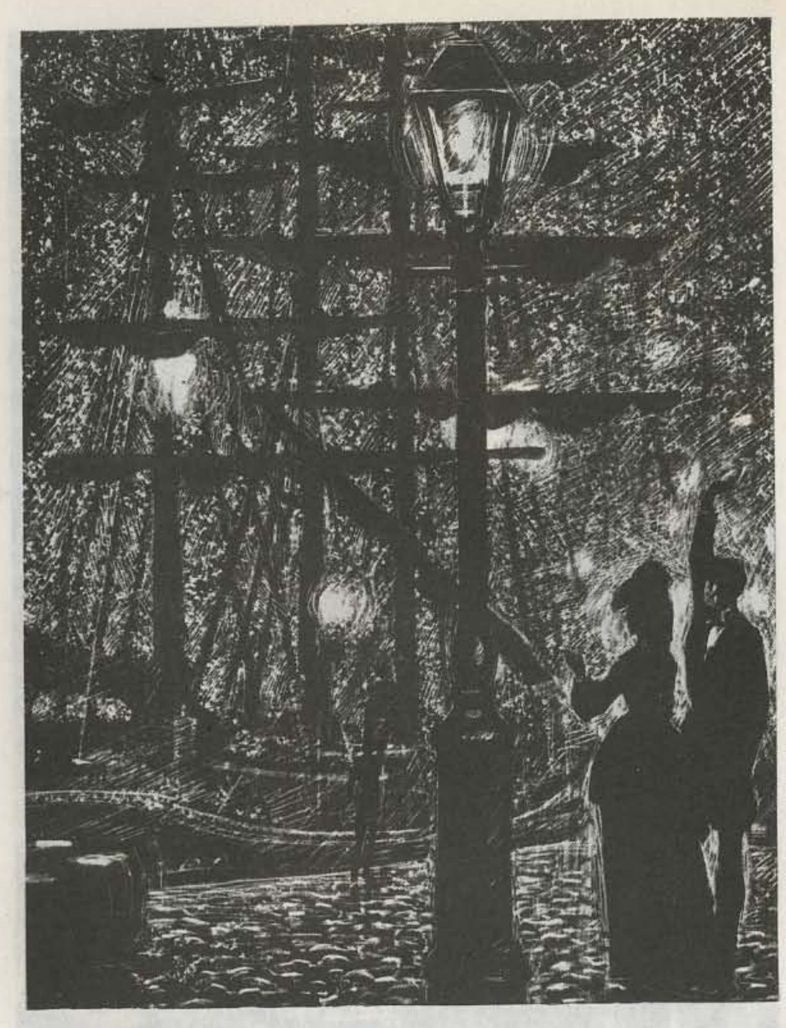
Но я никак не мог этого почувствовать. Вероятно, во мне чего-то не хватало: во всяком случае, наша деятельность представлялась мне утомительной суетой, а место, где мы ею занимались,— истинным Дворцом Зевоты. Я спал в каморке позади конторы, а Пинкертон — прямо в ней на патентованном диване-кровати, который время от времени самопроизвольно складывался под ним. Кроме того, сну моего приятеля постоянно угрожал капризный будильник. Это дьявольское изобретение будило нас ни свет ни заря, затем мы отправлялись завтракать, а в девять уже принимались за то, что Пинкертон называл работой, а я — мучением. Надо было вскрыть и прочесть бесчисленное множество писем, а также ответить на них. Я занимался этим за своим столом, который был водворен в контору накануне моего приезда, а Пинкертон, диктуя машинистке, метался взад и вперед по комнате, словно лев в клетке. Надо было просмотреть бесчисленное количество типографских корректур, помечая синим карандашом «курсив», «нонпарель», «раздвинуть интервалы», а иногда и что-нибудь более сангвиническое, как, например, в тот раз, когда Пинкертон энергично нацарапал на полях рекла-

мы «тонизирующего сиропа»: «Рассыпать набор. Вы что, никогда не печатали рекламы? Буду через полчаса».

Кроме того, мы каждый день заносили сведения в наши счетные книги. Таковы были наши основные и наименее неприятные занятия. Однако большая часть нашего времени уходила на разговоры с посетителями — весьма возможно, чудеснейшими парнями и первоклассными дельцами, но, к несчастью, ничуть для меня не интересными. Некоторые из них, судя по всему, страдали слабоумием, и с ними приходилось беседовать по часу, прежде чем они наконец решались на какой-нибудь пустяк и покидали контору — только для того, чтобы через десять минут вернуться и взять свое решение назад. Другие врывались к нам с таким видом, словно у них нет ни секунды лишнего времени, но, насколько я мог заметить, это делалось исключительно напоказ. Действующая модель сельскохозяйственной машины, например, казалась своего рода липкой бумагой для бездельников этого типа. Я не раз видел, как они самозабвенно крутили ее минут пять, притворяясь (хотя это никого не обманывало), что она интересует их с практической точки зрения. «Неплохая штука, а, Пинкертон? Много вы их сбываете? Гм! А нельзя ли использовать ее для рекламирования моего товара, как вам кажется?» (Этим товаром могло быть, например, туалетное мыло.) Третьи (пожалуй, самый неприятный тип клиента) уводили нас в соседние кабачки играть в кости на коктейли, а когда за коктейли было заплачено,— на деньги. Любовь этой братии к игральным костям превосходила всякое вероятие: в одном клубе, где я как-то обедал в качестве «моего партнера, мистера Додда», стаканчик с костями появился на столе вместе с десертом и заменил послеобеденную беседу.

Из всех наших посетителей мне больше всего нравился Император Нортон. Упомянув его, я прихожу к выводу, что еще не воздал должное обитателям Сан-Франциско. В каком другом городе безобидный сумасшедший, воображающий себя императором обеих Америк, был бы окружен таким ласковым вниманием? Где еще уличные прохожие стали бы считаться с его иллюзиями? Где еще банкиры и торговцы пускали бы его в свои конторы, брали бы его чеки, соглашались бы выплачивать ему «небольшие налоги»? Где еще ему позволили бы присутствовать на торжественных актах в

«ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ»



«ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ»

школах и колледжах и обращаться к присутствующим с речью? Где еще на всем божьем свете мог бы он, заказав и съев в ресторане самые изысканные блюда, спокойно уйти и ничего не заплатить? Говорили даже, что он был очень привередлив и, оставшись недоволен, грозил вовсе прекратить посещения такого ресторана. Я легко могу этому поверить, потому что у него было лицо завзятого гурмана. Пинкертона этот монарх сделал своим министром — я видел соответствующий указ и только подивился добродушию владельца типографии, который согласился даром напечатать все эти бланки. Если не ошибаюсь, мой друг возглавлял министерство не то иностранных дел, не то народного образования. Впрочем, значения это не имело, так как функции всех министров были одинаковы. Вскоре после моего приезда мне довелось увидеть, как Джим исполняет свои государственные обязанности. Его императорское величество изволили посетить нашу контору. Это был толстяк с довольно дряблой кожей и благообразным лицом, производивший чрезвычайно трогательное и нелепое впечатление из-за того, что на боку у него болталась длинная сабля, а в шляпе торчало павлинье перо.

— Я зашел напомнить вам, мистер Пинкертон, что вы несколько задержали взнос налогов,— сказал он со старомодной и величественной любезностью.

— Сколько с меня причитается, ваше величество? — спросил Джим и, когда сумма была названа (она никогда не превышала двух-трех долларов), выплатил ее до последнего цента, прибавив в качестве премии бутылку «Тринадцать звездочек».

— Я всегда рад оказать покровительство национальному производству,— заметил Нортон Первый.— Сан-Франциско предан своему императору, и, должен сказать, я предпочитаю его всем остальным городам в моих владениях.

— Знаешь,— сказал я Пинкертону, когда император удалился,— он мне нравится больше всех остальных наших посетителей.

— Это вообще большая честь,— заметил Джим.— По-моему, он обратил на меня внимание из-за шумихи по поводу зонтиков.

Но и другие, более великие люди дарили нас своим вниманием. Бывали дни, когда Джим принимал необычайно деловитый и решительный вид, говорил только от-

рывистыми фразами, как человек чрезвычайно занятый, и то и дело ронял фразы вроде: «Лонгхерст говорил мне об этом сегодня утром». Или: «Это мне известно от самого Лонгхерста». Неудивительно, думал я, что подобные финансовые титаны принимают Пинкертона как равного: его изобретательность и находчивость были несравненны. В те первые дни, когда он еще обо всем со мной советовался, шагая взад и вперед по комнате, строя планы, вычисляя, прикидывая воображаемые проценты, утраивая воображаемые капиталы, и его «умственная машина» (прибегая к старинному, но превосходному выражению) работала полным ходом, я никак не мог решить, что сильнее: уважение ли, которое он мне внушает, или желание смеяться, которое он во мне возбуждает. Но этим хорошим дням не суждено было продлиться долго.

— Да, неплохо придумано,— сказал я как-то.— Но, Пинкертон, неужели ты считаешь, что это честно?

— А ты считаешь, что это нечестно? — огорчился он.— И я дожил до того, чтобы услышать от тебя подобные слова!

Заметив, как он расстроился, я, не краснея, воспользовался фразой Майнера.

— По-твоему, честность — это что-то вроде игры в жмурки,— сказал я.— На самом же деле это вещь очень тонкая, тоньше любого искусства.

— Ах, вот ты о чем! — сказал он с огромным облегчением.— Это казуистика.

— Я убежден в одном: то, что ты предлагаешь, нечестно,— возразил я.

— Ну, не будем об этом больше говорить. Все уже решено,— ответил он.

Таким образом, мне удалось настоять на своем почти с первого слова. Но, к несчастью, такие споры стали возникать все чаще и чаще, и мы начали их бояться. Больше всего на свете Пинкертон гордился своей честностью, больше всего на свете он ценил мое доброе мнение, и, когда оказывалось, что его коммерческие предприятия ставят под угрозу и то и другое, он испытывал невероятные мучения. Мое собственное положение было не менее тяжелым. Ведь я столькимбыл обязан Пинкертону, ведь я сам жил и благоденствовал на доходы с этих сомнительных операций, а кроме того, кому приятна роль брюзги? Если бы я

проявил бóльшую требовательность и решительность, наши разногласия могли бы зайти чересчур далеко, но, честно говоря, я беспринципно предпочитал пользоваться благами, не слишком интересуясь, откуда они берутся, и старался избегать неприятных объяснений. Пинкертон ловко воспользовался моей слабостью, и мы оба почувствовали большое облегчение, когда он начал окружать свою деятельность покровом таинственности.

Наш последний спор, который имел самые неожиданные последствия, начался из-за спекуляций негодными, списанными на слом кораблями. Он купил какую-то дряхлую посудину и, потирая руки, сообщил мне, что она уже стоит в доке под другим названием и ремонтируется. Когда я в первый раз услышал об этой отрасли коммерции, я попросту ничего не понял, но теперь, после наших споров, я многому научился.

— Я не могу участвовать в этом, Пинкертон,— сурово сказал я.

Он подпрыгнул, словно в него попала пуля.

— Что это ты? — воскликнул он.— Какая муха тебя на этот раз укусила?.. По-моему, тебе не нравится любое выгодное дело.

— Агент Ллойда списал этот корабль как негодный,— сказал я.

— Но послушай, я же говорю тебе, что это великолепная сделка: корабль в превосходном состоянии, у него только ахтерштевень и кильсоны подгнили. Я же тебе говорю, что агенты Ллойда тоже греют руки, но только они англичане, и потому ты не хочешь мне верить. Будь это американское агентство, ты ругал бы его на чем свет стоит! Нет, просто у тебя англомания, и больше ничего! — добавил он с раздражением.

— Я не согласен получать прибыль, рискуя жизнью команды,— заявил я решительно.

— Господи! Да ведь любая спекуляция связана с риском! Разве отправлять в плавание даже честно построенный корабль не значит рисковать жизнью команды? А работа на рудниках — это ли не риск? А вспомни, как я покупал элеватор... Чтó могло быть рискованнее? Он же мог оказаться совсем непригодным, и я тогда потерял бы все... Вот что, Лауден! Я скажу тебе всю правду: ты слишком щепетильный человек и не годишься для этого мира!

— Ты сам себя осудил,— ответил я.— «Даже честно построенный корабль», говоришь ты. Так давай же заниматься только честными сделками!

Удар попал в цель. Неукротимому нечего было возразить. А я воспользовался случаем и бросился в новую атаку. Он думает только о деньгах, заявил я. Он мечтает только о долларах. Куда девались его благородные передовые устремления? Куда девалась его жажда культуры? Или он забыл о своих обязательствах перед своей страной?

— Это правда, Лауден! — вскричал он и принялся бегать по комнате, ероша волосы.— Ты абсолютно прав. Я низок, я меркантилен. О, до чего я дошел! Лауден, так больше продолжаться не может. Ты снова показал себя моим верным другом. Дай мне твою руку, ты снова спас меня! Мне надо позаботиться и о духовной стороне. Я должен принять отчаянные меры — взяться за изучение какой-нибудь сухой и трудной науки... Но какой? Богословия? Алгебры? А что такое алгебра?

— Ну, она достаточно суха и трудна,— сказал я,— $a^2 + 2ab + b^2$.

— Но она стимулирует духовный рост? — спросил он.

Я ответил утвердительно и добавил, что она считается необходимой частью всякой истинной культуры.

— Вот это мне и нужно. Значит, я буду изучать алгебру,— заключил он наш разговор.

На следующий день, обратившись к одной из своих машинисток, он узнал о существовании молодой образованной девушки, некой мисс Мейми Макбрайд, которая готова была служить ему проводницей по безводным пустыням пресловутой науки. Поскольку она нуждалась в учениках и плата была умеренной, Пинкертон начал брать у нее уроки — два в неделю. Он очень скоро проникся удивительным энтузиазмом: казалось, он не мог оторваться от алгебраических символов, часовой урок превратился в целый вечер, а два урока в неделю — в четыре, а потом и в пять. Я посоветовал ему остерегаться женских чар.

— Ты не успеешь оглянуться, как влюбишься в свою алгебраичку,— сказал я.

— Не говори так даже в шутку! — вскричал он.— Я благоговею перед ней. Мне так же не придет в голову обнять ее, как не придет в голову обнять ангела.

Лауден, на земле нет другой женщины с такими высокими и благородными помыслами.

Это пылкое заявление меня отнюдь не успокоило. К тому времени я уже вел с моим другом новый спор.

— Я пятое колесо в телеге,— повторял я снова и снова.— Тебе от меня нет никакой пользы. На письма, которые ты мне поручаешь, мог бы отвечать и несмышленый младенец. Вот что, Пинкертон: либо ты найдешь мне какую-нибудь работу, либо я сам себе ее найду.

Говоря это, я, как всегда, надеялся вернуться к искусству и не подозревал, что́ готовит мне судьба.

— Я нашел тебе работу, Лауден,— в один прекрасный день сказал мне Пинкертон в ответ на мою тираду.— Мысль о ней пришла мне в конке. Оказалось, что карандаша у меня нет, я позаимствовал его у кондуктора и всю дорогу вычислял и прикидывал. Все уже обдумано. Для тебя это настоящая находка. Все твои таланты и дарования найдут себе применение. Вот предварительный набросок афиши. Прочти-ка его. «Солнце, озон и музыканты. Пинкертоновские Гебдомадерные [1] Пикники (очень хорошее это словечко «гебдомадерные», хоть его и нелегко выговорить; я на него наткнулся в словаре, когда смотрел, как пишется «гексагональный». «Да ты просто царь всех слов! — сказал я.— Не пройдет и месяца, как я тебя использую и к тому же пущу шрифтом не мельче тебя самого». И вот оно, как видишь). Пять долларов с головы, дамы бесплатно. Чудо из чудес! (Как тебе это нравится?) Бесплатное угощение под зеленой листвой. Танцы на мягкой мураве. Возвращение домой в сиянии заката. Почетный распорядитель — Лауден Додд, эсквайр, известный знаток искусства».

Удивительно, как человек выбирает Харибду вместо Сциллы! Я с таким рвением добивался уничтожения одного-единственного эпитета, что без малейшего протеста принял остальную часть объявления и все, что из него проистекало. И вот слова «известный знаток искусств» были вычеркнуты, но Лауден Додд стал почетным распорядителем «Пинкертоновских Гебдомадерных Пикников»; впрочем, это название вскоре было единодушно сокращено публикой в «Дромадер».

[1] Еженедельные *(греч.)*.

В восемь часов утра каждое воскресенье праздные зеваки могли любоваться мною на пристани. Мое официальное одеяние состояло из черного фрака с красной ленточкой в петлице, карманы которого были набиты сластями и дешевыми сигарами, небесно-голубых брюк, цилиндра, сверкавшего, как зеркало, и лакированного деревянного жезла. Позади меня пыхтел и стучал машиной довольно большой пароход, украшенный пестрыми флагами. Передо мной находилась билетная касса, которой ведал добродетельный шотландец с такой же красной ленточкой в петлице, как и у почетного распорядителя, неизменно выкуривавший одну сигару в знак того, что сегодня праздник. В половине девятого, убедившись, что бесплатное угощение погружено, я сам закуривал сигару и принимался ждать, когда заиграет оркестр. Ждать приходилось недолго — оркестранты все были немцы и поэтому весьма пунктуальны,— и едва стрелка часов проходила условную черту, как на улице раздавался грохот барабанов и появлялся оркестр, впереди которого бежал десяток бескорыстных болванов в медвежьих шапках и кожаных передниках, размахивая сверкающими топорами. Оркестру мы, разумеется, платили, но в Сан-Франциско настолько сильна страсть ко всяческим публичным процессиям, что пресловутые болваны, как я уже упомянул, работали бескорыстно, из любви к искусству, и нам только приходилось уделять им часть бесплатного угощения.

Оркестр выстраивался на носу парохода и начинал играть веселую польку; болваны становились на стражу у сходен и вокруг кассы, которую вскоре начинала осаждать праздная публика — семьи, состоявшие из отца, матери и полдюжины детей, влюбленные парочки и, наконец, одиночки. Всего набиралось от четырехсот до шестисот человек (большей частью немцев), веселившихся, как дети. Когда все они препровождались на пароход и двое-трое опоздавших успевали вскочить на палубу под одобрительные возгласы зевак, отдавались концы, и мы выходили в бухту.

И затем наступал час славы, час трудов почетного распорядителя. Я медленно проходил среди публики, рассыпая любезности и улыбки, не скупясь на конфеты и сигары. Я шутил с девочками-подростками, лукаво подмигивая, говорил застенчивым влюбленным, что это пароход только для женатых, игриво спрашивал рассеянных молодых людей, не мечтают ли они о своих возлюбленных, угощал отца семейства сигарой, поражался красотой его младшего отпрыска и спрашивал у любящей мамаши, сколько лет этому милому ребенку, который (восторженно уверял я ее) скоро перерастет свою мамочку, или спрашивал ее совета — потому что ее лицо внушало мне большое доверие,— не знает ли она какого-нибудь особенно живописного местечка на берегу бухты, где мы могли бы устроить свой пикник (считалось, что мы этого заранее никогда не решаем). А через минуту я уже снова перебрасывался шутками с молодежью, возбуждая повсюду смех и слыша у себя за спиной похвалы вроде: «Ну до чего же мистер Додд остроумен!» Или: «Ах, как он любезен!»

После часа таких развлечений я совершал второй обход палубы, держа в руках сумку с разноцветными флажками на булавках. На этих флажках было написано: «Старая добрая Германия», «Калифорния», «Истинная любовь», «Старики чудаки», «Прекрасная Франция», «Зеленый Эрин», «Страна сластей», «Голубая сойка», «Красногрудый репнолов» — по двадцать флажков с одним названием, так как за бесплатное угощение мы сажали наших гостей группами по двадцать человек. Раздача флажков требовала предельной тактичности (и, по правде говоря, была самой трудной частью моих обязанностей), но производилась с притворной беззаботностью, среди смеха и веселых споров. Затем флажки немедленно прикреплялись к шляпам и шляпкам, и вскоре совершенно незнакомые люди радостно приветствовали друг друга, как своих будущих сотрапезников. И всюду на палубе раздавались крики: «Все Голубые сойки — к левому борту!», «Да что, на этом проклятом корабле нет больше других Калифорнийцев, кроме меня?»

В это время мы уже приближались к месту нашего пикника. Я поднимался на мостик, где на меня обращались взгляды всей публики.

— Капитан! — говорил я ясным, четким голосом, разносившимся по всему пароходу.— Большинство наших пассажиров высказалось за бухточку у мыса Одинокого дерева.

— Отлично, мистер Додд! — весело восклицал капитан.— Мне это все равно. Однако я плохо знаю бухточ-

ку, о которой вы говорите, поэтому оставайтесь на мостике и давайте мне указания.

Что я и проделываю с помощью моего жезла. Я даю ему указания, к величайшему удовольствию всей публики, потому что я (к чему отрицать) пользуюсь большой популярностью. Мы замедляем ход и приближаемся к зеленой долине, орошаемой прозрачным ручьем и поросшей соснами и дикой вишней. Команда бросает якорь, спускает лодки, две из которых уже нагружены напитками и яствами для импровизированного буфета, в третью садится оркестр, сопровождаемый великолепными болванами, и плывет к берегу под чарующий мотив «Девушки Буффало, выходите погулять вечерком». Согласно нашей программе, один из болванов во время этой высадки спотыкается и роняет в воду свой топор, после чего веселье публики уже не знает предела. Правда, однажды топор взял да и поплыл (они были сделаны из папье-маше), после чего публика тоже смеялась, но уже над нами.

Минут через пятнадцать лодки снова подходят к борту, сотрапезники разбиваются по группам, и публика переправляется на берег, где оркестр и буфет уже ждут их в полной готовности. Затем перевозятся корзины с бесплатным угощением; они складываются на берегу, и вокруг них становятся на стражу дюжие болваны, вскинув топоры на плечо. Туда же отправляюсь я, держа в руках записную книжку, и останавливаюсь под знаменем с надписью: «Бесплатное угощение выдается здесь». Каждая корзина содержит полный набор для двадцати человек: холодную закуску, тарелки, стаканы, ножи, вилки, ложки и страстный, вышедший из-под пера Пинкертона призыв беречь стеклянную посуду и серебро (последний приклеен к крышке). Буфет уже бойко торгует пивом, вином и лимонадом, и компании Голубых соек, Красногрудых реполовов, Вашингтонов и т. д. отправляются в рощу, неся корзину на палке, а бутылки — под мышкой. До часу дня они пируют под зеленой листвой, наслаждаясь звуками оркестра. С часу до четырех они танцуют на мягкой мураве, и буфет торгует вовсю, а почетный распорядитель, который уже совсем измучился, стараясь оживить самую унылую из компаний, должен теперь неутомимо танцевать с наиболее некрасивыми дамами. В четыре раздается звук трубы, и в половине пятого все уже опять на

борту, включая оркестр, буфетную стойку, пустые бутылки и прочее; теперь почетный распорядитель может наконец отдохнуть в капитанской каюте за стаканом коньяка с содовой и сигарой, хотя ему еще предстоит руководить высадкой на набережной, а затем в сопровождении двух полицейских везти в контору Пинкертона дневную выручку.

Я описал обыкновенный пикник, но, кроме того, мы, угождая вкусам Сан-Франциско, устраивали специальные праздники. Пикник «Маскарад древних времен», о котором было объявлено написанными от руки афишами, начинавшимися: «Внимание! Внимание! Внимание!» — и на который явилось множество рыцарей, монахов и маркизов, был захвачен врасплох проливным дождем, и наше возвращение в город стало одним из мучительнейших воспоминаний моей жизни. С другой стороны, «Сбор шотландских кланов» увенчался необыкновенным успехом, и мало когда взору зрителей открывалось разом столько молочно-белых коленей. Почти все участники носили пледы клана Стюартов и орлиные перья, так что общество было весьма благородным. Я во всеуслышание заявил о моих шотландских предках, и меня единодушно приняли в один из кланов. Только одно облачко омрачило этот чудесный день: мы захватили слишком большой запас национального напитка, именуемого шотландским виски, и с четырех до половины пятого я трудился в поте лица, перевозя на борт бесчувственные тела шотландских вождей.

Как-то на один из наших обычных пикников явился инкогнито сам Пинкертон под руку со своей алгебраичкой, и, надо сказать, он стал душой своей двадцатки. Мисс Мэйми оказалась довольно хорошенькой девушкой с огромными ясными глазами, прекрасными манерами и удивительно правильной речью. Поскольку нарушать инкогнито Пинкертона было строжайше запрещено, я не имел возможности познакомиться с мисс Мэйми поближе, однако на другой день мне было сообщено, что она сочла меня «остроумнейшим человеком из всех, с кем ей приходилось встречаться».

«Не очень же ты разбираешься в остроумии»,— подумал я. Однако не скрою, что такого мнения придерживалась не только она. Одна из моих острот даже обошла весь Сан-Франциско, и я слышал, как ею, не подозревая о моем присутствии, щеголяли в кабачках. Бре-

мя славы становилось с каждым днем тяжелее: стоило мне появиться на улице, особенно в не слишком фешенебельном квартале, как кругом уже слышалось: «Кто это?» — «Как — кто!.. Да это же Дромадер Додд!» Или с уничтожающей насмешкой: «Ты что, не знаешь мистера Додда, распорядителя пикников? Ну и ну!» Должен сказать, что наши пикники, хотя и несколько вульгарные, были все же веселы, безыскусственны и доставляли их участникам большую радость, так что, несмотря на все заботы, руководить ими часто оказывалось для меня истинным удовольствием.

По правде говоря, этому удовольствию мешали только два обстоятельства. Во-первых, необходимость шутить с девочками-подростками, которых я терпеть не мог, а во-вторых... Но это требует некоторых объяснений. В дни моего детства я, разумеется, научился (и, к сожалению, не разучился и по сей день) петь известный романс «Перед битвой». Надо сказать, что мой голос обладает следующей особенностью: когда я беру верхние или нижние ноты, их практически никто не слышит. Люди понимающие объясняли мне, что я пою горлом. Впрочем, даже обладай я вокальным талантом, «Перед битвой» — это не та песня, которую я стал бы петь: когда мы вырастаем, наши вкусы меняются. Однако, истощив во время одного из наиболее скучных пикников все свои другие светские таланты, я в отчаянии исполнил эту песню. То была роковая ошибка! Либо на пароходе завелся пассажир-старожил (хотя я никак не мог его выявить), либо сам пароход впитал эту традицию, но, во всяком случае, с тех пор, едва мы успевали отплыть от пристани, как среди публики распространялся слух, что мистер Додд — замечательный певец, что мистер Додд поет «Перед битвой» и, наконец, что мистер Додд сейчас споет «Перед битвой». Таким образом, это стало обязательным номером, так же как падение топора в воду. И воскресенье за воскресеньем я, пуская петуха за петухом, исполнял пресловутую песенку, после чего меня награждали щедрыми аплодисментами. Великодушие человеческого сердца не знает границ — меня неизменно просили исполнить песенку на «бис».

Следует, однако, сказать, что мои труды, включая даже песню, оплачивались очень щедро. В среднем после каждого воскресенья мы с Пинкертоном делили между собой пятьсот долларов чистой прибыли. К тому же

наши пикники, хотя и косвенным образом, помогли мне заработать весьма приличную сумму. Произошло это в конце лета, после «Прощального первоклассного маскарада». К этому времени многие корзины сильно пострадали, и мы решили продать их, с тем чтобы весной, когда пикники возобновятся, приобрести новый набор. Среди покупателей был ирландец, по фамилии Спиди, к которому, не получив обещанных денег, я, после того как несколько моих писем остались без ответа, отправился домой лично, внутренне удивляясь тому, что вдруг оказался в роли кредитора. Спиди встретил меня очень воинственно, хотя и был явно напуган. Заплатить он не мог, а корзинки уже успел перепродать и ехидно предложил мне обратиться в полицию. Мне не хотелось терять собственные деньги, не говоря уж о деньгах Пинкертона, и, кроме того, наглое поведение нашего должника меня возмутило.

— А вы знаете, мистер Спиди, что я могу отправить вас в тюрьму? — сказал я, желая припугнуть его.

Мои слова были услышаны в соседней комнате. Оттуда немедленно выбежала толстая румяная ирландка и принялась убеждать и уговаривать меня:

— Да неужто у вас хватит духу сделать это, мистер Додд? Всем же известно, какой вы добрый и хороший человек. И лицо-то у вас такое доброе, ну точь-в-точь как у моего покойного брата. Оно, конечно, правда, что он любил выпить лишнего, от него, бедняги, так и разило... Да и в доме-то у нас ничего нет, кроме мебели да энтих акций! Ну возьмите вы акции, мистер Додд. Уж так-то дорого они мне обошлись, а говорят, и гроша ломаного не стоят.

Не устояв перед ее мольбами, а кроме того, раскаиваясь в собственной суровости, я в конце концов согласился взять большую пачку так называемых «дутых» акций, на которые эта превосходная, хотя и несколько бестолковая женщина потратила свои заработанные тяжким трудом сбережения. Нельзя сказать, что эта сделка была для меня выгодна, но, во всяком случае, она успокоила ирландку, а с другой стороны, я не слишком рисковал, так как этим акциям (я назову их «Кетамаунтский серебряный рудник») все равно уже дальше падать было некуда.

Месяца два спустя я увидел в биржевой газете, что акции Кетамаунтского рудника стали подниматься и

к вечеру «енти акции» стоили уже целое состояние. Наведя справки, я узнал, что в заброшенном руднике была обнаружена новая большая жила, которая обещает чудеса. Вот прекрасная тема для философских размышлений: сколько раз в заброшенных рудниках, акции которых стояли на нуле, обнаруживались новые жилы! Супруги Спиди, нимало того не подозревая, избрали правильную политику выжидания, и их акции не попали в руки синдикату, который нарочно «заморозил» рудник, чтобы по дешевке скупить все его акции. Если бы они продержались немного дольше и я не пришел требовать свои деньги, миссис Спиди уже щеголяла бы в шелковых платьях.

Разумеется, я не мог воспользоваться подобной случайностью и отправился к Спиди, чтобы вернуть им их акции. В доме у них стоял страшный шум. Туда явились все соседи (сами любившие играть на бирже), чтобы выразить свое сочувствие, и в центре этой группы сидела обливающаяся слезами миссис Спиди.

— Пятнадцать лет,— причитала она, когда я вошел,— копила я эти деньги и даже детям молока не покупала, бессердечная я тварь! И ездила бы я теперь в карете, будь в мире справедливость! И будь он проклят, этот Додд! Как только он переступил наш порог, так я и поняла, что это сам дьявол.

Тут она увидела меня, но даже драматизм этой минуты не идет ни в какое сравнение с тем, что за этим последовало, ибо, когда выяснилось, что я пришел вернуть потерянное богатство, и когда миссис Спиди (предварительно облив мою грудь слезами) отказалась его принять, и когда мистер Спиди (вызванный для этой цели из соседнего кабачка) присоединился к этому отказу, и когда я стал настаивать на своем, а они настаивали на своем, а соседи громогласно поддерживали каждого из нас по очереди, и когда, наконец, мы договорились считать себя совладельцами акций и делить доходы на три части — одну мне, одну мистеру Спиди, одну его супруге,— представьте сами, какая буря восторгов бушевала в этой маленькой, скудно обставленной комнате, где в одном углу стояла швейная машина, в другом спали малыши, а грязные стены были украшены картинами, изображавшими президента Гарфилда и битву при Геттисберге. Кто-то из растроганных соседей принес бутылку портвейна, и мы распили его, мешая со своими слезами.

— Пью за ваше здоровье, милый вы человек! — рыдала миссис Спиди, особенно растроганная моей галантностью в вопросе о третьей доле.— И все мы пьем за его здоровье, за мистера Додда, распорядителя пикников, самого известного человека во всей округе, и я молю бога, милый вы человек, чтобы сохранял он вас в здравии и счастье до самой старости!

В конце концов оказалось, что наибольшую выгоду от этих акций получил я, потому что я продал свою треть, когда она стоила пять тысяч долларов, а Спиди, любившие риск, держались за свои акции, пока синдикат не начал снова «замораживать» рудник, и с трудом выручили лишь четверть этой суммы. Оно было и к лучшему, потому что почти все эти деньги были вложены в новые акции, и, когда я в следующий раз увидел миссис Спиди, на ней еще было великолепное платье, купленное во времена прежнего успеха, но она уже проливала слезы по поводу новой катастрофы:

— Опять мы остались без гроша, милый вы мой человек! Все деньги, какие у нас были, и швейная машинка, и сюртук Джима — все мы вложили в «Золотой Запад», а эти подлецы перестали платить дивиденды.

К концу этого года мое финансовое положение было таково. Я получил:

за акции Кетамаунтского серебряного рудника	5 000 долларов
за пикники	3 000 долларов
за лекцию	600 долларов
прибыли с капитала, вложенного в дело Пинкертона	1 350 долларов
	9 950 долларов

К этому надо прибавить:

остаток от дара моего деда	8 500 долларов
	18 450 долларов

С другой стороны:

я истратил	4 000 долларов

Следовательно·

у меня оставалось	14 450 долларов

Не стыжусь сказать, что я смотрел на эту цифру с радостью и гордостью. Восемь тысяч долларов из этой

суммы были вполне осязаемы и лежали в банке, остальные же носились неведомо где (пути их можно было проследить только по нашим счетным книгам), подчиняясь магическим чарам колдуна Пинкертона. Мои доллары пробирались к берегам Мексики, где им грозили морские волны и береговая охрана; они звенели на стойках пивных в городе Томстоне, штат Аризона; они сияли на игорных столах в лагерях золотоискателей—даже воображение не могло уследить за их полетом, так быстро и так далеко разлетались они, подчиняясь волшебному жезлу колдуна. Но, где бы они ни были, они оставались моими, а кроме того, я получал весьма значительные дивиденды. «Мое состояние» называл я их. И надо сказать, что, выраженная в долларах или даже английских фунтах, это была значительная сумма. Ну, а во французских франках она казалась настоящим богатством. Вероятно, я проговорился, и вы уже догадываетесь, о чем я мечтал, на что надеялся, и готовы уже обвинить меня в непоследовательности, но выслушайте сперва мои оправдания и рассказ об изменениях, которые произошли в судьбе Пинкертона.

Примерно через неделю после пикника, на который он явился с Мэйми, Пинкертон признался мне в своих чувствах к ней. Я видел, с каким выражением смотрели на него ясные глаза Мэйми во время пикника, и посоветовал робкому влюбленному открыть ей свое сердце. На следующий вечер он уже вел меня в гости к своей невесте.

— Ты должен стать ее другом, Лауден, как ты стал моим,— растроганно просил он.

— Наговорив ей кучу неприятностей?.. Вряд ли таким образом можно завоевать дружбу молодой девушки,— ответил я.— Благодаря пикникам у меня большой опыт в этом отношении.

— Да, ты просто великолепен во время этих пикников. Не могу выразить, как я тобой восхищаюсь! — вскричал он.— Но что неприятного можешь ты ей сказать? Она — само совершенство! Не понимаю, чем я мог заслужить ее любовь. И какая это ответственность для такого неотесанного малого, как я, да к тому же еще не всегда правдивого!

— Подбодрись, старина, подбодрись! — сказал я.

Однако, когда мы дошли до пансиона, где жила Мэйми, он был чрезвычайно взволнован.

— Это Лауден, Мэйми,— сказал он, чуть не плача,— полюби его, у него великая душа.

— Я хорошо вас знаю, мистер Додд,— сказала она любезно.— Джеймс неустанно восхваляет ваши добродетели.

— Дорогая моя,— ответил я,— когда вы поближе узнаете нашего друга, вы сделаете большую скидку на его доброту и горячее сердце. Мои добродетели сводились к тому, что я позволял ему кормить и одевать меня и трудиться ради меня не покладая рук, когда все это было для него нелегко. Если я сейчас жив, этим я обязан ему. Лучшего друга ни у кого не было. Вы должны хорошо о нем заботиться,— прибавил я, обнимая Пинкертона за плечи,— и быть ему верной помощницей, потому что он в этом нуждается.

Эта речь произвела на Пинкертона сильное впечатление, и боюсь, что на Мэйми тоже. Я готов признать, что мои слова не были особенно тактичными. «Когда вы поближе узнаете нашего друга» — выражение не вполне удачное, и даже «быть ему верной помощницей» могло показаться оскорбительным. Однако я уверен, вы согласитесь со мной, что всю мою тираду целиком нельзя назвать самодовольно-покровительственной. И все же, хотя именно таково было мнение мисс Мэйми, я не могу ее особенно винить, так же как и самого себя: Пинкертон наверняка так надоел ей своими рассказами обо мне, что бедняжка, вероятно, не могла уже спокойно слышать даже моего имени. Поэтому, что бы я ни говорил, она слушала бы меня с одинаковым раздражением.

Итак, у меня появилось два новых основания уехать в Париж. Во-первых, Джим собирался жениться и, следовательно, ему больше не грозило одиночество, а во-вторых, я не понравился его невесте, и следовало избавить ее от моего общества. Как-то поздно вечером я заговорил с Пинкертоном о моем новом плане. Этот день был отмечен для меня великим событием: я положил в банк пять тысяч долларов, вырученных от продажи Кетамаунтских акций, и, поскольку Джим в свое время отказался от своего права на эти акции, весь риск и все доходы достались мне. Поэтому я счел себя вправе отпраздновать свой успех пивом с солеными галетами. Для начала я сказал Пинкертону, что если это причинит ему какие-нибудь затруднения в делах или будет ему неприятно, то я больше к этому вопросу не возвращусь. Он

мой лучший, мой самый верный друг, и я готов для него на все. Но в то же самое время я прошу его точно взвесить, насколько я ему нужен, ибо такая жизнь не удовлетворяет меня и все мои помыслы, все мои истинные устремления влекут меня совсем к другому. Кроме того, я должен напомнить ему, что он собирается вступить в брак, что у него появятся новые интересы и что наша горячая дружба может в какой-то степени стать неприятной его жене.

— Ах нет, Лауден, в этом ты ошибаешься!—горячо перебил меня Пинкертон.— Она высоко тебя ценит.

— Ну, тем лучше,— продолжал я.

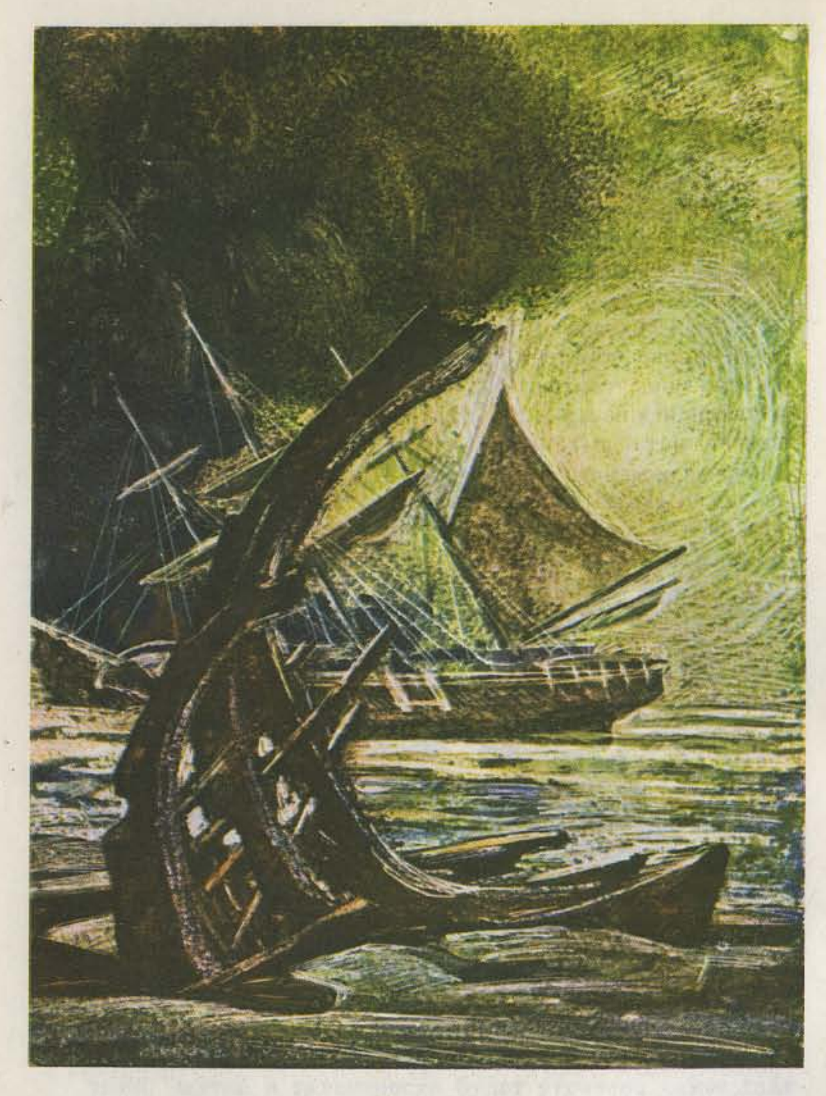
И затем я указал ему, что наша разлука будет недолгой, что, судя по состоянию наших дел, года через два он может приехать ко мне в Париж, приобретя состояние, хотя и не слишком значительное по американским масштабам, но для Франции огромное; что мы можем соединить наши средства и купить дом в Париже для зимы и дачу в Фонтенбло для лета, и будем наслаждаться безоблачным счастьем и вдали от золотой лихорадки Запада воспитывать из маленьких Пинкертонов практичных, трудолюбивых людей с художественными вкусами.

— Так пусть же я уеду,— закончил я,— не как дезертир, а как авангард, возглавляющий марш пинкертоновского отряда.

Так я убеждал его и молил с большим чувством, а он сидел напротив меня, опираясь подбородком на руки, и (если не считать вышеприведенного возгласа) хранил глубокое молчание.

— Я ждал этого, Лауден,— сказал он наконец, когда я кончил,— и мне это больно: такой уж я эгоист. А кроме того, твой отъезд нанесет смертельный удар пикникам. Незачем отрицать, что ты был душой этого дела, и без тебя, без твоего жезла, твоей любезности, остроумия, шуток и галантности будет утрачено самое главное — царившая на них атмосфера дружеского веселья. Но ты прав, и тебе следует уехать. Можешь рассчитывать на сорок долларов в неделю, а если Дипью-Сити — это же один из естественных центров Калифорнии — разрастется так, как я рассчитываю, эту сумму можно будет по меньшей мере удвоить. Однако и сорок долларов не такие уж плохие деньги. Вспомни, что два года

«ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ»



«ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ»

назад ты вынужден был чуть ли не просить милостыню.

— Я и просил ее,— сказал я.

— А эти бессердечные негодяи ничем тебе не помогли, и теперь я этому рад. Я в восторге, что ты возвращаешься победителем! Так и надо твоему мэтру и этому бесчувственному Майнеру! Дай только акциям Дипью-Сити подняться, и ты поедешь в Париж. А через два года, день в день, я приеду туда к тебе с Мэйми, господь да благословит ее!

Мы беседовали до поздней ночи. Я так наслаждался моей вновь обретенной свободой, а Пинкертон так гордился моим торжеством, так радовался моему счастью, с такой нежностью говорил об избранной им невесте, а вся комната до такой степени наполнилась воздушными замками и дачами в Фонтенбло, что сон, разумеется, бежал от наших глаз, и, только когда часы пробили три, Пинкертон начал превращать свой патентованный диван в кровать.

ГЛАВА VIII

ЛЮДИ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Принято смотреть на жизнь так, словно она совершенно точно, как, например, сон и явь, разделяется на развлечение и дело. Покончив с деловой стороной моей жизни в Сан-Франциско, в этой главе я буду говорить о развлечениях, и вы увидите, что они сыграли свою роль в истории того джентльмена, о котором я скоро собираюсь повести речь.

Как ни был я занят днем, почти все вечера оказывались в полном моем распоряжении — обстоятельство тем более приятное, что я жил теперь в незнакомом мне и чрезвычайно живописном городе. Из «поклонника Парижа», как я некогда себя называл, я стал (или пал до того, что стал) любителем прогулок по набережным, созерцателем пристаней, завсегдатаем подозрительных кварталов, искателем знакомств с оригинальными людьми. Я посещал мексиканские и китайские игорные притоны, заседания немецких тайных обществ, матросские ночлежки и прочие опасные и таинственные места. Я видел, как смуглую ладонь пойманного на передергивании

мексиканца-шулера пригвождали ножом к столу, как моряков на улицах оглушали сильным ударом по голове, чтобы, пока они не пришли в себя, переправить их на борт корабля, где была нехватка рабочих рук; как поссорившиеся буяны обменивались выстрелами и клубы порохового дыма (вместе с остальной компанией) валили из дверей кабачка. Посещал я и Ноб-Хилл — тоже своеобразные трущобы, где живут только миллионеры. Они обитают на вершине холма, вздымающегося над городским шумом, и пассат проносится по пустынным улицам между их дворцами.

Но Сан-Франциско интересен не только сам по себе. Это не просто самый своеобразный город в Штатах и самая огромная плавильная печь для переработки национальностей и драгоценных металлов. Это ворота в Тихий океан, порт, откуда ведут пути в иной мир, к более ранним эпохам истории человечества. В этой гавани всегда собирается множество кораблей, обогнувших мыс Горн, приплывших из Китая, из Сиднея, из Индии, но среди этих великанов морского простора прячутся иные суда: шхуны с низкой осадкой, изящным корпусом и такелажем, как у яхты, ведущие торговлю на полинезийских архипелагах, шхуны, на чьих палубах мелькают бронзовые ясноглазые полинезийские матросы, говорящие на мягком, звучном языке, и чьи большие шлюпки рассказывают повесть о реве прибоя на коралловых рифах. Эти шхуны приходят и уходят, никем не замеченные, и даже в газетах редко-редко мелькнет строчка в столбце хроники: «Такая-то шхуна отплыла на острова Южных Морей». Они увозят пестрый груз консервированной лососины, джина, тюков яркого ситца, дамских шляп и штампованных часов, для того чтобы через год вернуться нагруженными по самую рубку копрой, или черепаховыми щитами, или жемчужными раковинами. Но у меня в моей роли поклонника Парижа эта торговля среди незнакомого мира южных островов не вызывала даже любопытства. Я стоял там на самом дальнем берегу Запада в наши дни. А тысячу семьсот лет назад и в семи тысячах миль к востоку римский легионер, быть может, точно так же стоял на стене Антонинов и смотрел на запад, где высились горы, принадлежавшие пиктам. Какое бы расстояние и время ни разделяли нас, я, когда глядел на просторы Тихого океана, стоя под маяком, был наследником и подобием этого легионера:

мы оба стояли на границе Римской империи (западной цивилизации, как мы выражаемся теперь) и смотрели в даль, свободную от римского влияния. Но я смотрел назад и мечтал только о Париже, и потребовалось много связанных друг с другом происшествий, чтобы мое равнодушие сменилось интересом и даже жгучим любопытством, которое, впрочем, я не предполагал удовлетворить.

Первое из этих происшествий познакомило меня с неким жителем Сан-Франциско, известным далеко за пределами этого города. Его имя дорого всем, кто любит хорошую прозу. Я как-то забрел в еще незнакомый мне район города, где на обрывистых песчаных холмах, в глубоких песчаных лощинах лепились одинокие старинные дома. Город наступал на него со всех сторон. Уже цепи уличных фонарей проходили через него, не обрываясь, и отовсюду доносился шум экипажей и прочие звуки городской жизни. Не сомневаюсь, что теперь от него не осталось и следа, но в те дни (особенно по утрам, когда я туда ходил) это был восхитительный мирный приют, чем-то напоминавший деревню.

На одном из песчаных холмов стояло несколько домиков, окруженных садами; я часто подымался туда по осыпающейся под ногами тропинке и, расположившись в тени крайнего из домов, принимался рисовать. В первый же день я заметил, что из окна нижнего этажа за мной наблюдает моложавый красивый мужчина, преждевременно облысевший, с очень живым и симпатичным лицом. На второй день мы как-то вполне естественно поклонились друг другу. На третий день он вышел ко мне, похвалил мой набросок и с непринужденным дружелюбием истинного любителя искусства пригласил меня к себе. И скоро я уже сидел в комнате, представлявшей собой настоящий музей редкостей,— кругом стояли, висели, лежали весла, боевые дубинки, корзины, грубо вытесанные каменные идолы, украшения из раковин, чаши из скорлупы кокосового ореха, белоснежные перья из копры и множество других свидетельств и примеров культуры иного, неведомого мне мира и неведомого народа. А как увлекательны были объяснения моего нового знакомого! Несомненно, вы читали его книгу. Вы уже знаете, как он путешествовал и голодал, как он жил на островах Южных Морей, и вы поймете, что для меня после долгих месяцев конторской работы

и пикников живая и интересная беседа с ним была полна особого очарования. За первой встречей последовали другие, и вот так мне довелось услышать названия этих островов и подпасть под их чары. Уже после второй встречи я испытывал невыразимое счастье, когда возвращался домой, сжимая под мышкой «Ому» Мелвилла и описание приключений моего нового друга.

Второе происшествие носило более драматический характер и оказало самое непосредственное влияние на мое будущее. Я прогуливался по набережной и любовался бухтой. Большой барк, примерно в 1800 тонн, огибал мыс, держась как-то особенно близко к берегу. Я смотрел на него с ленивым безразличием, как вдруг заметил, что двое каких-то людей перескочили через фальшборт, спрыгнули в подошедшую к кораблю лодку и, вырвав у лодочника весла, начали яростно грести по направлению к тому месту, где стоял я. Не прошло и нескольких минут, как они уже бежали вверх по лестнице, и я заметил, что оба они слишком хорошо одеты для простых матросов (одежда первого из них была просто щеголеватой) и что оба находятся во власти какого-то сильного чувства.

— Где здесь ближайший полицейский участок? — крикнул бежавший впереди.

— Вон там,— ответил я и побежал рядом с ними.— Что случилось? Что это за корабль?

— Это «Жнец»,—ответил он.—Я первый помощник, а мой спутник — третий, и нам необходимо успеть в участок до матросов. Дело в том, что они могут обвинить нас в пособничестве капитану, а это мне совсем не по вкусу. Я на своем веку плавал со всякими людьми, но такого, как наш старик, еще не видывал. Как он начал палить, так и палил без передышки в течение всего плавания, а последнего человека подстрелил всего шестнадцать часов назад. Хоть команда у нас вся как на подбор головорезы, но никто и пикнуть не смел, когда капитан принимался палить направо и налево.

— Ну, теперь ему конец,— заметил третий помощник.— Больше уж он в море не выйдет.

— Не говорите глупостей! — возразил первый.— Если ему удастся в целости добраться до берега и если его сразу не линчует возмущенная толпа, он еще сумеет выкарабкаться. У судовладельцев память получше, чем

у публики, и они его не оставят: ведь такого опытного капитана поискать.

— Да уж что верно, то верно. На «Жнеце» жалованье матросам не платят вот уже третий рейс.

— Как не платят? — воскликнул я, потому что был еще новичком в вопросах мореходства.

— То есть матросам не платят,— объяснил первый помощник.— Они сбегают, не дожидаясь расчета. Да так заведено не только на «Жнеце».

Тут я заметил, что мы давно уже перешли с бега на шаг. И, надо сказать, я сильно подозреваю, что бешеная спешка вначале была чистым спектаклем. Во всяком случае, когда мы пришли в полицейский участок и офицеры со «Жнеца» сообщили об ужасной судьбе пяти матросов, убитых во время плавания (одних капитан застрелил в припадке бешенства, а других — с жестоким хладнокровным расчетом), то было уже поздно принимать меры. Прежде чем полицейские успели добраться до корабля, негодяй улизнул на берег, смешался с толпой, а затем укрылся в доме своего друга. На корабле остались только его жертвы. Он правильно сделал, что поторопился. Когда жители приморского района узнали о случившемся, когда последний из раненых моряков был отвезен в больницу, когда те, кому удалось уцелеть в этой плавучей бойне, поведали повесть о своих злоключениях и показали свои рубцы, весь город был взбудоражен. Моряки плакали на глазах у всех. Хозяева ночлежек, давно привыкшие ко всяким зверствам, и особенно к зверствам по отношению к матросам, в негодовании потрясали кулаками, и, если бы капитан «Жнеца» появился в это время на улице, часы его были бы сочтены. Но, по слухам, его в этот же вечер спрятали в бочке и переправили на другой берег бухты. И вот, после того как он совершил тягчайшие преступления на двух кораблях, теперь он командует третьим, плавающим по Атлантическому океану.

Как я уже сказал, я сильно подозреваю, что мистер Нейрс (старший помощник) сознательно помог своему капитану спастись. Он всегда был сторонником законности и осторожности и всегда стоял на страже офицерских привилегий. Однако утверждать это с полной уверенностью я не берусь. Хотя впоследствии я узнал его очень близко, он продолжал хранить об этом молчание, да и вообще ничего не рассказывал о плавании «Жне-

ца». Вероятно, у него были на то свои причины. Пока мы шли в полицейский участок, он несколько раз заявлял Джонсону, третьему помощнику, что не только донесет на капитана, но и отдаст себя в руки полиции. Однако в конце концов он изменил свое решение, сказав: «Все это наверняка кончится ничем, да и вообще у меня есть много хороших друзей в Сан-Франциско». И действительно, все кончилось ничем, хотя это стало ясно не сразу. А мистер Нейрс почти немедленно куда-то скрылся из участка и затем был спрятан почти так же надежно, как и его капитан.

С Джонсоном же я продолжал часто встречаться. Мне так и не довелось узнать его национальность: сам он называл себя американцем, но говорил он по-английски, как иностранец, и в его манерах также не было ничего американского. Скорее всего он был шведом или датчанином, но долго служил на английских и американских кораблях. Весьма возможно, что, как и многие его соотечественники, постоянно плававшие на иностранных кораблях, он успел основательно забыть родной язык. Хотя он был человеком очень мягким и кротким, долгая привычка к жестокой морской дисциплине привела к тому, что от многих его веселых историй у меня кровь холодела в жилах. Он был высок, худощав, светловолос. Его смелое, честное лицо покрывал загар, говоривший о жизни на открытом воздухе. Когда он сидел, вы могли бы принять его за аристократа или кавалерийского офицера, но стоило ему встать, и его покачивающаяся походка сразу выдавала в нем моряка, да и изъяснялся он на том особом жаргоне, на котором говорят люди, всю жизнь проплававшие по разным морям. Приходилось ему плавать и среди островов Южных Морей, так что теперь после плавания вокруг мыса Горн, где бушевали снежные бури, он заявил: «Отправляюсь погреться к канакам». Я решил, что скоро с ним расстанусь, однако, согласно неписаному морскому закону, он должен был прежде истратить все деньги, полученные за предыдущий рейс. «Эх, и кутну же я, небесам жарко станет!» — заявил он, несколько преувеличивая, ибо трудно представить себе более скромный и тихий кутеж: почти все время он проводил в малом зале кабака Черного Тома, где вместе с друзьями (исключительно старожилами Южных Морей) тихонько пил пиво, курил коротенькую трубочку и рассказывал длиннейшие истории.

Кабак Черного Тома был, по сути, захудалым притоном, где самые бедные матросы курили скверный табак, пили никуда не годный джин и бренчали на надтреснутых гитарах и банджо. Хозяин его был местным политическим воротилой и главой шайки хулиганов, которые называли себя «ягнятами». По слухам, мэр города и политические заправилы Сан-Франциско побаивались этой шайки и не брезговали пользоваться ее услугами. Помню, как-то перед выборами в кабак привели очень элегантно одетого слепца, который долго о чем-то совещался с хозяином. Эта пара выглядела настолько странно, а почтительность, с которой взирали на нее посетители кабака, поспешившие отойти как можно дальше, показалась мне столь загадочной, что я попросил объяснений у своего соседа. Он сообщил мне, что слепец — видный политический деятель города, которого некоторые называют «Королем Сан-Франциско», хотя большинство предпочитает кличку, которую ему дали в китайском квартале,— «Слепой Белый Дьявол».

— Наверное, ему очень понадобились «ягнята»,— прибавил мой собеседник.

Я сделал набросок «Слепого Белого Дьявола», стоящего у буфетной стойки, а на следующей странице моего альбома спустя всего несколько часов появился рисунок, изображавший, как Черный Том угрожает толпе своих клиентов огромным револьвером системы «Смит и Вессон». Вот с какими контрастами приходилось мне сталкиваться в большом зале этого кабака.

И все это время в малом зале заседал неофициальный клуб Южных Морей, где разговоры шли о жизни, совершенно непохожей на ту, которая нас окружала. Там собирались старые шкиперы, торговцы Южных Морей, коки, помощники капитанов. По большей части это были прекрасные люди, испытавшие благотворное влияние кроткого и жизнерадостного народа, среди которого им довелось жить. Кроме того, они знали много интересного, и не из книг, а по личному опыту, так что я готов был часами сидеть и слушать их увлекательные рассказы. В них всех была какая-то поэтическая струнка. Ведь всякий бродяга-моряк, если только он не отпетый негодяй, кажется младшим братом поэта. Даже бессвязные фразы Джонсона вроде: «Оно так, канаки люди ничего, неплохие» или: «Черт его знает, что за остров,— горы прямо до самой воды. Жить бы мне на нем

да жить» — таили какую-то внутреннюю музыку, а многие из его приятелей были просто изумительными рассказчиками. Их длинные повествования, неожиданно меткие описания людей, пейзажей постепенно создавали в моем мозгу четкий образ южных островов и жизни на этих островах: отвесные берега, острые горные пики, густая тень лепящихся по склонам лесов, неумолчный рев прибоя на рифе и вечное мирное спокойствие лагуны; необычайно яркие солнце, луна и звезды, красивые и благородные люди, всегда готовые приветствовать чужестранца, всегда готовые предоставить ему свой кров и свою лодку,— жизнь, льющаяся словно музыка, и долгие вечера, оживляемые звуками мелодичных песен.

Для того чтобы понять тоску по этому миру, которая все чаще овладевала мной, надо потерпеть неудачу в артистической карьере, надо голодать на улицах Парижа, надо стать партнером дельца вроде Пинкертона. Пестрый, шумный Сан-Франциско, контора, где мой друг Джим метался ежедневно с десяти до четырех, как заключенный в клетку лев, а иногда даже и надежда на возвращение в Париж тускнели перед этой мечтой. Я знаю, что многие на моем месте бросили бы все и отправились туда, куда влекло их воображение, но я человек по натуре вялый и тяжелый на подъем,— чтобы заставить меня покинуть привычные пути, чтобы послать меня в плавание среди райских островов, нужен был какой-то внешний толчок. Только сама судьба могла подобрать для него подходящее орудие, и, хоть я не знал этого, оно уже было зажато в ее железной руке.

Как-то раз я сидел в углу сверкавшего позолотой обширного зала кафе, где один из местных талантов угощал меня завтраком и этюдами обнаженной натуры. Вдруг раздался топот ног, гул голосов, двери широко распахнулись, и в зал ввалилась довольно большая толпа людей. Вошедшие (по большей части моряки, и все очень возбужденные) окружали группу из нескольких человек, как дети окружают бродячих кукольников, следуя за ними из одного двора в другой. Кругом все зашептали, что это капитан Трент и его матросы, уцелевшие после крушения английского брига «Летящий по ветру», которых английский военный карабль подобрал на острове Мидуэй,— в Сан-Франциско они прибыли сегодня утром и пришли сюда подкрепиться после того, как сделали соответствующее заявление властям. Вскоре мне удалось их рассмотреть. Четыре загорелых моряка со стаканами в руках стояли у стойки, окруженные толпой любопытных, осыпавших их вопросами. Один из них был гаваец — кок, как мне сообщили,— у другого в руках была клетка с канарейкой (птичка то и дело заливалась звонкими трелями), у третьего левая рука была в лубке, и он казался очень бледным, словно недавно перенес тяжелую болезнь, а у капитана — краснолицего, синеглазого силача лет сорока пяти — была забинтована правая рука.

Меня весьма заинтересовало то, что капитан, кок и два матроса вместе гуляют по улицам и заходят в кафе. Поэтому я, как всегда в тех случаях, когда меня что-нибудь интересовало, достал альбом и стал набрасывать портреты четырех спасенных моряков. Толпившиеся вокруг них зрители заметили, чем я занимаюсь, и немного посторонились, так что мне удалось очень внимательно рассмотреть лицо и фигуру капитана Трента, хотя он этого не подозревал.

Виски развязало капитану язык, и, поощряемый удивленными восклицаниями слушателей, он принялся описывать постигшее их несчастье. До меня долетали только отдельные фразы о том, как он лег «на правый галс», и как «вдруг задуло с северо-северо-запада», и как «тут бриг и сел на мель». Иногда он обращался за подтверждением к кому-нибудь из матросов: «Так оно было, Джек?» — и тот отвечал: «Да, так оно и было, капитан Трент». В конце концов он вызвал особенно горячую симпатию слушателей, заявив: «Черт бы побрал карты, которыми снабжает нас адмиралтейство!» Слушатели закивали головами, раздались возгласы одобрения, и я понял, что все присутствующие считают капитана Трента первоклассным моряком и замечательным человеком. Тут я закончил рисовать эту четверку, а также канарейку (все они, особенно канарейка, получились очень похожими), закрыл альбом и, никем не замеченный, вышел из кафе.

Мне тогда и в голову не приходило, что я покинул первую сцену первого акта драмы моей жизни, однако все виденное мной, особенно лицо капитана, довольно долго сохранялось в моей памяти. Я не считаю себя провидцем, но, во всяком случае, я человек наблюдательный и всегда сумею подметить ужас на лице человека. Капитан Трент, командовавший английским бригом

«Летящий по ветру», был очень красноречив, находчив, громогласен, но в его синих глазах, в выражении его лица я увидел мучительный страх. Боялся ли он, что его лишат права водить корабли? Нет, от этого его рука не дрожала бы так, когда он брал стакан с виски. Может быть, он еще не оправился после пережитой катастрофы и потери своего корабля? Один из моих друзей, оставшийся целым и невредимым после крушения поезда, в котором он ехал, тем не менее несколько месяцев спустя еще испуганно вздрагивал при малейшем шуме. И я пытался убедить себя, что Трент испытывает то же самое, хотя капитан «Летящего по ветру» отнюдь не казался слабонервным человеком.

ГЛАВА IX

СУДЬБА «ЛЕТЯЩЕГО ПО ВЕТРУ»

На следующее утро, когда я встал, Пинкертон уже сидел за столом, погрузившись в чтение «Дейли Оксидентел». Это была газета (я говорю «была», потому что не знаю, существует ли она теперь), совсем не похожая на остальные периодические издания Дальнего Запада. В ней не было ни кричащих заголовков, ни беспардонных преувеличений, ни сомнительного красноречия и плоских острот в духе Гарри Миллера — единственной целью ее издателя было сообщать точные, сухие факты. Если меня привлекала в ней именно эта сторона, то Пинкертон особенно ценил ее осведомленность в биржевых и коммерческих тайнах.

— Лауден,— сказал мой друг, отрываясь от газеты,— ты часто упрекаешь меня в том, что я хватаюсь сразу за десятки дел, а я считаю, что, увидев валяющийся на земле доллар, должен его подобрать. А сейчас я вижу целую кучу долларов, валяющуюся на коралловом рифе посреди Тихого океана.

— Да опомнись же, Джим! — воскликнул я.— Ведь у нас на руках Дипью-Сити, один из естественных центров этого штата! Ведь у нас на руках...

— Нет, ты послушай,— перебил меня Джим.— Статья написана скверно, без огонька, но факты, я полагаю, достаточно точны.— И он начал читать вслух:

«Судьба английского брига «Летящий по ветру».

Вчера в Сан-Франциско прибыл английский военный корабль «Буря». На его борту находились капитан Трент и четыре человека команды с английского корабля «Летящий по ветру», которым двенадцатого февраля удалось после кораблекрушения близ острова Мидуэй выбраться на сушу, где их, по счастью, обнаружили на следующий же день. «Летящий по ветру», бриг в двести тонн, приписанный к Лондонскому порту, около двух лет плавал как трамп. Капитан Трент вышел из Гонконга восьмого декабря, направляясь в Сан-Франциско с полностью застрахованным грузом риса, а также шелка и китайского чая на общую сумму в десять тысяч долларов. Судя по корабельному журналу, стояла прекрасная погода, дул ровный ветер, изредка перемежавшийся штилями и шквалами. На двадцать восьмом градусе северной широты и сто семьдесят седьмом градусе западной долготы, поскольку запасы воды на бриге испортились, капитан Трент, руководствуясь неправильными сведениями в «Справочнике по северной части Тихого океана» Хойта о том, что на острове Мидуэй расположена угольная станция, направился к его берегам. Оказалось, что это просто песчаная мель, окруженная коралловым рифом, частично находящимся под водой. Птиц на острове было много, в лагуне ловилась хорошая рыба, однако там не было никакого топлива, а вода, которую они добыли, выкопав колодец, имела сильный солоноватый привкус. Капитан Трент нашел неплохую стоянку у северного конца большой мели, где глубина достигала шестидесяти саженей, а дно было песчаное, с отдельными пятнами кораллов. Там его на неделю задержал штиль, причем среди команды начались болезни, потому что вода совсем испортилась. И только вечером двенадцатого февраля с северо-востока налетел слабый порывистый ветер. Хотя было уже темно, капитан Трент немедленно поднял якорь и попытался выйти в море. Пока корабль пробирался в узком проходе между рифами, наступило внезапное затишье, а затем ветер вдруг переменился, задул с севера и даже с северо-северо-запада и выбросил бриг на песчаную отмель примерно в семнадцать часов сорок минут. Джон Уоллен, финн по рождению, и Чарлз Холдорсен, уроженец Швеции, утонули, когда спускали шлюпку, так как оба не умели плавать; спасти их не удалось, поскольку было темно и

рев прибоя заглушал все звуки. В то же самое время Джону Брауну, еще одному матросу, перебило руку упавшим реем. Капитан Трент затем сообщил репортеру «Оксидентела», что бриг сильно ударился носовой частью, по его мнению, о коралловый риф, а затем перевалил через это препятствие и теперь лежит на песке, имея сильный крен на нос и на правый борт. Первый толчок, по-видимому, нанес ему некоторые повреждения, поскольку в носовой части образовалась течь. Рис, вероятно, весь погиб, но, к счастью, наиболее ценная часть груза находилась на корме. Капитан Трент уже снаряжал свой вельбот для плавания по морю, когда благодаря счастливому совпадению «Буря», которая по приказу адмиралтейства обходила острова, проверяя, нет ли там потерпевших кораблекрушение, избавила мужественного капитана от необходимости подвергаться дальнейшим опасностям. Едва ли нужно прибавлять, что и капитан и матросы несчастного судна с большой благодарностью говорят о любезном гостеприимстве, оказанном им на военном корабле. Спастись удалось следующим лицам: Джейкоб Трент, капитан из Гулля, Англия; Элиас Годдедааль, помощник, уроженец Христиансанда, Швеция; А. Синг, кок, уроженец Саны, Китай; Джон Браун, уроженец Глазго, Шотландия; Джон Харди, уроженец Лондона, Англия. «Летящий по ветру» был построен десять лет назад и сегодня утром будет по распоряжению агента Ллойда продан в том виде, в каком он сейчас находится, с аукциона в пользу судовладельцев. Аукцион состоится в помещении Торговой биржи в десять часов. Дополнительные сведения. Несколько позже репортеру «Оксидентела» удалось встретиться в Палас-отеле с лейтенантом Сибрайтом, старшим офицером «Бури». У мужественного моряка было мало времени, но все же он подтвердил сообщение капитана Трента во всех подробностях. Он добавил, что «Летящий по ветру» лежит на превосходном дне и, вероятно, уцелеет до следующей зимы, если только на него не обрушится сильный ураган с северо-запада, но это представляется маловероятным».

— Ты никогда не научишься разбираться в литературе,— сказал я, когда Джим кончил читать статью.— Она написана добросовестно, точно, сжато и излагает все происшествие с большой ясностью. Я нашел только

одну ошибку: кок не китаец, а полинезиец и, судя по всему, с Гавайских островов.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Джим.

— Я видел их всех вчера в кафе,— сказал я,— и даже слышал всю историю, точнее сказать,— отдельные ее отрывки, из уст капитана Трента, который, насколько я могу судить, очень хотел пить и очень нервничал.

— Впрочем, это к делу не относится,— перебил меня Пинкертон,— а вот что ты скажешь насчет долларов, которые валяются на рифе?

— А это окупится? — спросил я.

— Еще бы не окупиться! — воскликнул Пинкертон.— Разве ты не слышал, что сказал этот английский офицер о хорошем положении брига? Разве ты не слышал, что груз оценивается в десять тысяч долларов? Сейчас не сезон, и я могу зафрахтовать любую шхуну за двести пятьдесят долларов в месяц. Окупится ли это? Да мы получим триста процентов чистой прибыли!

— Ты забываешь о том,— возразил я,— что рис испортился. Это ведь сказал сам капитан.

— Да, конечно,— согласился Джим,— но рис вообще не ходкий товар, и берут его больше для балласта. Меня интересует чай и шелк. Надо только выяснить, сколько их было погружено. А для этого достаточно взглянуть на корабельные документы. Я позвонил в контору Ллойда и договорился, что капитан придет туда через час, и тогда я буду знать о бриге все так, словно сам его выстроил. Кроме того, ты и представления не имеешь, Лауден, что можно снять с разбитого корабля: медь, свинец, такелаж, якоря, якорные цепи, даже посуду!

— По-моему, ты упускаешь из виду один пустяк,— сказал я.— Прежде чем ты начнешь снимать посуду с разбитого корабля, тебе надо его еще купить. А во сколько он обойдется?

— В сто долларов,— не моргнув глазом ответил Джим.

— Да почему ты вообразил, что именно в сто долларов? — воскликнул я.

— Я не вообразил — я знаю,— ответил Коммерческий Гений.— Может быть, я ничего и не смыслю в литературе, мой милый, но ты никогда не научишься разбираться в делах. Каким образом, по-твоему, мне удалось купить «Джеймса Моди» за двести пятьдесят дол-

ларов, когда одни его шлюпки стоили тысячу? Просто мое имя стояло первым в списке. Ну, и на этот раз оно стоит первым. Цифру называю я, и я назову маленькую, потому что место крушения находится отсюда очень далеко. Но какую бы цифру я ни назвал, она и будет ценой.

— Что это за таинственный список? Или этот аукцион проводится в подземном тайнике? — спросил я.— Можно ли обыкновенному частному лицу — мне, например,— присутствовать на нем?

— Все ведется честно и открыто! — с негодованием воскликнул он.— Присутствовать может кто угодно, только никто не станет перебивать у нас покупку, а если и найдется такой смельчак, это для него плохо кончится. Один раз такой смельчак нашелся, но одного раза оказалось достаточно. Я член синдиката, и у нас есть все необходимое для этого дела: у нас есть связи, мы можем поднять цену до цифры, перед которой отступит любой посторонний. Наш синдикат располагает двумя миллионами долларов, и мы ни перед чем не остановимся. И если даже кто-нибудь перебьет у нас покупку, то поверь мне, Лауден, он решит, что город сошел с ума: ему не удастся заключить ни одной сделки. Все, что ему будет нужно,— шхуны, водолазы, матросы,— окажется ему решительно не по карману.

— Но как же ты попал в этот синдикат? — спросил я.— Ты ведь тоже в свое время был человеком посторонним.

— Я понял, в чем тут суть, Лауден, и стал подбирать факты,— ответил он,— и очень увлекся: таким романтичным показалось мне это дело. А затем я увидел, что из него можно извлечь немало выгод. И скоро я сделался настоящим знатоком. Никто не знал, что я подумываю о покупке разбитых кораблей, только в одно прекрасное утро я явился в контору Дугласа Лонгхерста, сообщил ему все факты и цифры и спросил его прямо: «Берете меня в синдикат или мне основать свой собственный?» Он попросил на размышление полчаса, а когда я пришел снова, сказал: «Пинк, я записал тебя». Когда в первый раз мое имя оказалось в списке первым, я купил «Моди», а теперь оно снова стоит в нем первым.

Тут Пинкертон, взглянув на часы, вскрикнул, быстро сказал мне, чтобы я встретил его у дверей Торговой

биржи, и побежал в контору страхового агента просматривать документы и разговаривать с капитаном. Я медленно докурил мою папиросу, решив про себя, что из всех видов погони за долларом покупка разбитых кораблей наиболее льстит моему воображению. И когда я шел на биржу по знакомым шумным улицам Сан-Франциско, меня преследовало видение корабля, лежащего на мели у далекого острова, где его палит беспощадное солнце и где над ним кружит туча морских птиц. И это видение неотразимо манило меня. Если даже не я сам, то, во всяком случае, человек, выполняющий мое поручение, отправится к этому клочку суши, затерянному среди необозримого океана, и спустится в покинутую каюту.

Пинкертон встретил меня на условленном месте. Его губы были крепко сжаты, и держался он необыкновенно прямо, как человек, принявший великое решение.

— Ну? — спросил я.

— Ну,— ответил он,— могло быть лучше и могло быть хуже. Этот капитан Трент — человек необыкновенной честности, один на тысячу. Как только он узнал, что я собираюсь принять участие в аукционе, он тут же сказал, что рис, вероятно, погиб почти весь. По его расчетам, в лучшем случае могло уцелеть кулей тридцать. Однако шелк, чай и ореховое масло оцениваются в пять тысяч долларов, и поскольку они были сложены в помещении на второй палубе, то, вероятно, нисколько не пострадали. Год назад на бриг поставили новую медную обшивку. На нем находится до полутораста саженей якорной цепи. Это, конечно, не золотая россыпь, но дело прибыльное, и мы за него возьмемся.

Было уже почти десять часов, и мы немедленно направились в зал, где проводились аукционы. Хотя «Летящий по ветру» чрезвычайно интересовал нас с Пинкертоном, его продажа привлекла очень мало народу. Рядом с аукционистом стояло не более двадцати зрителей, по большей части широкоплечих молодцов, истинных уроженцев Дальнего Запада, одетых, с точки зрения человека с простыми вкусами, излишне щеголевато и пестро. Держались они между собой с подчеркнутым дружелюбием. Громогласно заключались пари. Всюду слышались фамильярные прозвища. «Ребята», как они называли себя, ребячились вовсю и явно пришли сюда повеселиться, а не заниматься серьезным делом.

Несколько в стороне я заметил человека, совсем на них не похожего, а именно — капитана Трента, который, как и подобает капитану, пришел услышать, какая судьба постигнет его бывшее судно. На этот раз он был одет в черный костюм, купленный в магазине готового платья и не очень хорошо на нем сидевший. Из верхнего левого кармана торчал кончик белого шелкового платка. Нижний правый топорщился от бумаг. Несколько минут назад Пинкертон назвал его человеком необыкновенной честности. И действительно, он, казалось, рассказывал о своем корабле откровенно и прямо. Я поглядел на него внимательнее, чтобы проверить, насколько эти качества отражались в его наружности. Лицо у него было красное, широкое, какое-то возбужденное и, пожалуй, неискреннее. Казалось, что этого человека томит неведомый страх. Не замечая, что я наблюдаю за ним, он грыз ногти, хмуро глядя в пол, а потом вдруг быстро и испуганно оглядывался на людей, проходивших мимо.

Когда начался аукцион, я все еще глядел на капитана как зачарованный. Были произнесены вступительные официальные фразы, прерываемые непочтительными шуточками развеселившихся «ребят», а потом установилась относительная тишина, и две-три минуты аукционист разливался соловьем: прекрасный бриг, новая медная обшивка, исправные механизмы, три великолепные шлюпки, ценный груз — поистине безопаснейшая сделка; но нет, господа, больше он ничего не скажет, он просто назовет цифру, он не боится (заявил этот смелый аукционист) выразить возможную прибыль в цифрах; с его точки зрения, принимая во внимание то, се и это, покупатель может рассчитывать на чистую прибыль, равную сумме, в которую оценен груз. Другими словами, джентльмены, равную десяти тысячам долларов. При этом скромном утверждении потолок над головой аукциониста (я полагаю, благодаря вмешательству кого-нибудь из зрителей, знакомых с искусством чревовещания) испустил звонкое «кукареку», после чего все расхохотались, и сам аукционист не преминул любезно присоединиться к этому смеху.

— Итак, господа, что же мы предложим? — продолжал он свою речь, откровенно поглядывая на Пинкертона.— Что же мы предложим, чтобы обеспечить за собой эту выгодную покупку?

— Сто долларов,— сказал Пинкертон.

— Мистер Пинкертон предлагает сто долларов,— продолжал аукционист,— сто долларов. Кто-нибудь хочет предложить больше? Сто долларов, только сто долларов...

Аукционист продолжал монотонно твердить эту цифру, а я со смешанным чувством симпатии и изумления смотрел на искаженное волнением лицо капитана Трента, как вдруг все мы вздрогнули, услышав резкий голос:

— И пятьдесят!..

Пинкертон, аукционист и «ребята», все посвященные в секрет существования синдиката, даже рты разинули от изумления.

— Прошу прощения,— сказал аукционист.— Кто-то прибавил?

— И пятьдесят! — повторил тот же голос, который, как я теперь заметил, исходил из уст невысокого и крайне неприятного на вид человека.

Его кожа была землистого цвета и вся какая-то пятнистая, говорил он напевно и очень гнусаво и так дергал руками и головой, что, казалось, страдал болезнью, известной под названием пляски святого Витта. Одежда его была сильно потрепана, а держался он как-то развязно и одновременно робко, словно гордился тем, что находится здесь и принимает участие в аукционе, и в то же время боялся, что его сейчас отсюда вышвырнут. Право, мне редко приходилось встречать столь законченный тип — и в то же время тип совсем для меня новый. Ничего подобного я еще никогда не видел и невольно вспомнил проходимцев из бальзаковской «Человеческой комедии».

Пинкертон несколько секунд мерил неожиданного соперника злобным взглядом, затем вырвал листок из записной книжки, что-то быстро нацарапал на нем карандашом, повернулся, поманил к себе посыльного и шепнул: «Лонгхерсту!» Мальчишка со всех ног бросился исполнять поручение, а Пинкертон повернулся к аукционисту.

— Двести долларов,— сказал Джим.

— И пятьдесят,— сказал наш соперник.

— Дело становится жарким,— шепнул я Пинкертону.

— Да, тут что-то нечисто,— ответил он.— Ну, придется дать урок этому сморчку. Погоди, пока я поговорю с Лонгхерстом. Триста,— повысил он голос, поворачиваясь к аукционисту.

— И пятьдесят,— раздалось эхо.

Тут я снова поглядел на капитана Трента. Его красное лицо стало багровым. Все до единой пуговицы нового сюртука были расстегнуты, новый шелковый носовой платок то и дело взлетал к его лбу и шее, а синие глаза совсем остекленели от волнения. Он по-прежнему испытывал мучительную тревогу, но, если я правильно истолковал выражение его лица, в нем пробудилась какая-то надежда.

— Джим,— шепнул я,— взгляни на Трента: держу пари на что угодно: он этого ожидал.

Они доторговались уже примерно до тысячи, когда я заметил некоторое волнение среди присутствующих и, оглянувшись, увидел очень высокого, элегантного и красивого человека, который, небрежной походкой приблизившись к нам, сделал знак аукционисту.

— Одну минуту, мистер Борден,— сказал он и повернулся к Джиму: — Ну, Пинк, сколько вы предлагали в последний раз?

Пинкертон назвал свою цифру.

— Я дошел до этого на свою ответственность,— прибавил он, покраснев.— Я решил, что так будет правильно.

— Конечно, конечно,— сказал Лонгхерст, ласково похлопав его по плечу, словно любящий дядюшка.— Мы сами беремся за дело. Можете выходить из игры. Повышайте сумму до пяти тысяч, а если он еще прибавит, то пусть себе покупает на здоровье.

— Между прочим, кто он такой? — спросил Пинкертон.

— Я послал Билли навести справки,— сказал Лонгхерст.

В ту же минуту ему была вручена сложенная записка. Она пошла по рукам, и, когда настал мой черед, я прочел: «Гарри Бэллерс, адвокат, защищал Клару Верден, два раза чуть не был исключен из сословия».

— Хоть убейте, ничего не понимаю! — сказал мистер Лонгхерст.— Кто мог прибегнуть к услугам крючкотвора такого сорта? Во всяком случае, не человек с

деньгами. Попробуйте-ка сразу взвинтить цифру, Пинк. На вашем месте я поступил бы именно так. Ну, всего хорошего. А, ваш партнер мистер Додд? Рад познакомиться с вами, сэр! — И великий делец удалился.

— Ну, что ты думаешь о нашем Дугласе? — шепнул мне Пинкертон, благоговейно глядя ему вслед.— С ног до головы безупречнейший джентльмен, а уж культурой так и брызжет!

Во время этого разговора аукцион временно прекратился. И аукционист, и зрители, и даже Бэллерс — все отлично понимали, что дело, собственно, ведет мистер Лонгхерст, а Пинкертон всего только его рупор. Но теперь, когда самодержавный олимпиец удалился, мистер Борден заговорил строгим тоном.

— Так как же, мистер Пинкертон, вы прибавляете? — спросил он резко.

И Пинкертон, решив идти напролом, ответил:

— Две тысячи долларов.

Бэллерс и глазом не моргнул.

— И пятьдесят,— сказал он.

Кругом все зашептались, и, что было гораздо важнее, капитан Трент побледнел и судорожно глотнул слюну.

— Давай, давай, Джим,— шепнул я.— Трент сдает.

— Три тысячи,— сказал Джим.

— И пятьдесят,— сказал Бэллерс.

Затем Джим стал снова набавлять по сотне, а Бэллерс — свои неизменные пятьдесят; я же успел сделать два вывода. Во-первых, Бэллерс надбавил сверх трех тысяч с тщеславной улыбкой. Он явно наслаждался важностью своей роли и был уверен, что выйдет из схватки победителем. Во-вторых, когда Джим назвал три тысячи, Трент снова побледнел, а когда он услышал ответ Бэллерса, на его лице отразилось непритворное облегчение. Это показалось мне загадочным: оба они, безусловно, были связаны какими-то общими интересами и в то же время один не был посвящен в намерения другого. Но это было еще не все: несколько минут спустя мой взгляд случайно встретился со взглядом капитана, и тот поспешно отвел глаза, словно не желая, чтобы я заметил, как он взволнован. Следовательно, он желал скрыть свой интерес к происходящему? Как сказал Джим, тут что-то было нечисто. И, несомненно,

оба эти человека, находившиеся в таких странных и сложных взаимоотношениях, готовы были предложить совершенно невероятную цену, лишь бы «Летящий по ветру» не достался нам.

Неужели груз этого корабля стоит больше, чем мы предполагали? Меня вдруг бросило в жар. Джим уже приближался к пяти тысячам, до которых ему разрешил торговаться Лонгхерст. Еще минута, и будет поздно. Вдохновленный тщеславной уверенностью в своем умении постигать людскую психологию, я принял единственное сумасшедшее решение в моей жизни. Вырвав лист из своего альбома, я поспешно нацарапал: «Если хочешь продолжать, я готов идти на весь свой капитал».

Джим прочел, растерянно посмотрел на меня, но тут же его глаза загорелись, и, снова повернувшись к аукционисту, он крикнул:

— Пять тысяч сто долларов!

— И пятьдесят,— повторил свой припев Бэллерс.

Вскоре Пинкертон написал: «В чем дело?» А я написал в ответ: «Сам не знаю, но дело нечисто. Погляди-ка на Бэллерса: он дойдет до десяти тысяч, вот увидишь».

И Бэллерс дошел до десяти тысяч, а мы предложили больше. Уже давно по бирже распространился слух, что аукцион превратился в настоящее генеральное сражение, и нас теперь окружала большая толпа потрясенных зрителей. А когда Пинкертон предложил десять тысяч долларов, то есть больше, чем стоил бы груз, даже если бы уже находился в Сан-Франциско, а Бэллерс, ухмыляясь до ушей, потому что ему нравилось быть центром всеобщего внимания, провозгласил: «И пятьдесят...» — всеобщее возбуждение достигло апогея.

— Десять тысяч сто,— сказал Джим, и не успел он договорить, как вдруг махнул рукой, выражение его лица изменилось, и я понял, что он разгадал (или по крайней мере решил, что разгадал) тайну корабля.

Когда он стал быстро царапать что-то в своем блокноте, рука его прыгала, как рука телеграфиста.

«Контрабандный груз,— написал он и дальше размашисто, захватив две строки: — Опиум».

Ну, конечно, подумал я, все дело в этом. Мне было хорошо известно, что почти любой корабль, идущий из Китая, везет в каком-нибудь потайном месте контрабандный груз этого дорогого яда. Несомненно, и на «Летящем по ветру» где-нибудь скрыто подобное же сокровище. Сколько же оно стоит? Мы этого не знали и вели свою игру наугад, однако Бэллерс и Трент явно были хорошо осведомлены, и мы могли наблюдать за ними и принимать соответствующие решения.

К этому времени мы с Пинкертоном словно обезумели. Пинкертон был вне себя, глаза его горели, как угли. Меня била лихорадка. Если бы в ту минуту, когда мы торговались на пятнадцатой тысяче, в зал вошел какой-нибудь свежий человек, его симпатии, вероятнее всего, оказались бы на стороне Бэллерса. Последняя цифра уже превышала пятнадцать тысяч, и толпа кругом следила за нами в мертвом молчании, изредка прерываемом взрывами взволнованного шепота.

Мы достигли уже семнадцати тысяч, когда Дуглас Лонгхерст растолкал зрителей на противоположном конце зала и, глядя Джиму прямо в глаза, энергично помотал головой. Джим послал ему коротенькую записочку, состоящую из трех слов: «За мой счет!» — после чего Лонгхерст предостерегающе погрозил ему пальцем и удалился, как мне показалось, с очень грустным лицом.

Хотя мистеру Лонгхерсту Бэллерс известен не был, этот темный крючкотвор прекрасно знал, кто такой глава синдиката. Когда тот вошел в круг, Бэллерс бросил на него взгляд, исполненный надежды, а когда Лонгхерст ушел, на лице нашего противника изобразилось явное удивление и разочарование. «Да как же это? — очевидно, думал он.— Значит, я имею дело не с синдикатом?» И он решил резко повысить цифру.

— Восемнадцать тысяч,— сказал он.

— И пятьдесят,— ответил Джим, используя его прием.

— Двадцать тысяч,— объявил Бэллерс.

— И пятьдесят,— отозвался Джим с нервным смешком.

Затем, словно сговорившись, они опять вернулись к прежним цифрам, но только сотни называл Бэллерс, а «пятьдесят» выкрикивал Джим. Теперь уже многие пришли к тому же выводу, что и мы: я слышал, как повсюду в зале раздавался шепот: «Опиум...» — и, судя по взглядам, которые на нас кидали окружающие, они были убеждены, что мы получили эти сведения из на-

дежного источника. И тут, что было крайне типично для Сан-Франциско, мой сосед, пожилой толстяк с приятным лицом, неожиданно принял участие в аукционе. Он резко поднял цену «Летящего по ветру», четырежды предложив по тысяче, а затем так же неожиданно вышел из игры и превратился в безмолвного зрителя.

После бесполезного вмешательства мистера Лонгхерста Бэллерс, казалось, встревожился и при появлении третьего конкурента, в свою очередь, нацарапал какую-то записочку. Я, конечно, решил, что она предназначается капитану Тренту. Однако, когда юрист кончил писать и обвел взглядом толпу, он, к моему величайшему удивлению, словно бы и не заметил присутствия капитана.

— Позовите ко мне посыльного,— услышал я его слова.

Наконец кто-то исполнил его просьбу, но это был не капитан. «Он посылает за инструкциями»,— написал я Пинкертону. «За деньгами,— написал он.— По-моему, пора сделать рывок, ладно?»

Я кивнул.

— Тридцать тысяч,— сказал Пинкертон, повышая цену сразу почти на три тысячи долларов.

Бэллерс как будто бы заколебался, а затем с неожиданной решимостью сказал:

— Тридцать пять тысяч!

— Сорок тысяч!

Наступила долгая пауза. Бэллерс, казалось, ни на что не мог решиться и только в последнее мгновение, когда молоток аукциониста опускался в третий раз, крикнул:

— Сорок тысяч и пять долларов!

Мы с Пинкертоном обменялись понимающим взглядом: Бэллерс слишком взвинтил цену, а теперь понял свою ошибку и пытался выиграть время, чтобы затянуть аукцион до возвращения посыльного.

— Сорок пять тысяч долларов,— сказал Пинкертон глухим, дрожащим голосом.

— Сорок пять тысяч и пять долларов,— сказал Бэллерс.

— Пятьдесят тысяч,— сказал Пинкертон.

— Прошу прощения, мистер Пинкертон,— сказал аукционист,— вы что-нибудь сказали?

— Мне... мне трудно говорить,—прохрипел Джим.— Пятьдесят тысяч, мистер Борден.

Бэллерс обратился к аукционисту:

— Прошу разрешить мне три минуты поговорить по телефону. Я здесь представляю клиента и только что послал ему записку.

— Меня это не касается,— грубо прервал его аукционист,— я обязан продать этот корабль, и все. Вы что-нибудь прибавляете к пятидесяти тысячам?

— Я уже имел честь объяснить вам, сэр,— возразил Бэллерс, тщетно пытаясь придать своему голосу достоинство,— что мой доверитель назвал мне предельную цифру в пятьдесят тысяч долларов, но, если вы разрешите мне потратить две минуты на телефонный разговор...

— Ерунда! — перебил его аукционист.— Если вы не повышаете цену, я продаю корабль мистеру Пинкертону.

— Берегитесь! — взвизгнул юрист.— Это вам так не пройдет! Вы обязаны действовать в интересах судовладельцев, а не мистера Дугласа Лонгхерста! Однако вы прервали аукцион, чтобы позволить этому господину посоветоваться со своими приспешниками. Это вам даром не пройдет!

— Но вы же тогда ничего не сказали,— ответил аукционист, несколько смутившись.— Свой протест вы должны были заявить тогда же.

— Я здесь не для того, чтобы следить, как ведется аукцион,— ответил Бэллерс,— мне за это не платят.

— Ну, а мне платят именно за это,— возразил аукционист с прежней наглостью и продолжал нараспев:— Пятьдесят тысяч долларов! Кто больше? Кто больше?.. Кто больше, господа? Потерпевший кораблекрушение бриг «Летящий по ветру» продается за пятьдесят тысяч... Продается... продается... продан!

— Господи, Джим! А у нас есть эти деньги? — воскликнул я, словно разбуженный от сна последним ударом молотка.

— Разницу придется занять,— шепнул он, побелев как полотно.— Мы попали в чертовски трудное положение, Лауден. Кредита у нас, наверное, хватит, но мне придется много побегать. Выпиши мне чек на свои деньги, и через час я буду ждать тебя в редакции «Оксидентела».

Я написал чек, но рука у меня так дрожала, что я сам не узнал бы своей подписи. Через мгновение Джим

уже исчез. Трент ушел еще раньше. И только Бэллерс продолжал переругиваться с аукционистом, но, когда я пошел к выходу, я чуть не столкнулся — с кем бы вы думали? — с посыльным.

Всего несколько минут решили, кому суждено было стать владельцем «Летящего по ветру».

ГЛАВА X,

В КОТОРОЙ КОМАНДА ИСЧЕЗАЕТ НЕВЕДОМО КУДА

У дверей биржи я догнал низенького толстяка, который принял столь краткое и столь энергичное участие в аукционе.

— Поздравляю вас, мистер Додд,— сказал он.— Вы и ваш друг стойко держались до конца.

— Ну, вас нам благодарить не за что,— ответил я.— Вы ведь взвинчивали цену разом на тысячу, соблазняя всех биржевых спекулянтов Сан-Франциско последовать вашему примеру.

— О, это было временное умопомешательство,— сказал он.— Я от всего сердца благодарю бога, что не повесил себе на шею подобный жернов. Вам в эту сторону, мистер Додд? Ну, я пойду с вами! Такому старому хрычу, как я, всегда приятно любоваться молодыми, полными сил бойцами. Когда я был помоложе, а Сан-Франциско поменьше, я пускался в самые рискованные предприятия. Да, я знаю вас, мистер Додд. Вернее сказать, я узнал бы вас в любом месте — вас и вашу свиту в рыцарских одеяниях. Извините мне мою шутку, но я имею несчастье быть владельцем загородного дома вблизи той бухточки, которую вы облюбовали для своих пикников, и буду рад видеть вас у себя в любое воскресенье, но только без рыцарственной свиты, конечно. Я могу угостить вас неплохим вином и показать вам лучшую библиотеку по исследованиям Арктики, какая только есть в Соединенных Штатах. Меня зовут Морган. Судья Морган, переселившийся в Калифорнию в 1849 году, к вашим услугам.

— А, так вы пионер! — воскликнул я.— Приходите ко мне, и я подарю вам топор!

— Боюсь, что все ваши топоры понадобятся вам самому,— ответил он, бросив на меня проницательный взгляд.— Если только у вас нет каких-нибудь частных сведений, вам придется разнести корабль в щепки, чтобы отыскать этот опиум, не правда ли?

— Ну, либо это опиум, либо мы с моим другом лишились рассудка,— ответил я.— Однако могу вас заверить, что никаких частных сведений у нас нет. Мы действовали (как, я полагаю, и вы сами), основываясь на наблюдениях.

— А, так вы человек наблюдательный, сэр? — осведомился судья.

— Могу сказать, что наблюдательность — мое ремесло или, вернее, мое бывшее ремесло.

— Ну, так что же вы думаете о Бэллерсе? — спросил он.

— Да ничего хорошего,— сказал я.

— Для меня,— продолжал судья,— совершенно необъяснимо, каким образом ему могли дать подобное поручение. Я знавал его, да и он меня знает. Я не раз делал ему замечания в суде, и, уверяю вас, это человек, совершенно лишенный совести. Ему нельзя доверить даже доллар. А тут, как мы слышали, он распоряжался пятьюдесятью тысячами. Не могу себе представить, кто мог прибегнуть к его услугам. Во всяком случае, этот человек чужой в Сан-Франциско.

— Наверное, кто-нибудь из владельцев брига,— заметил я.

— Только не это! — воскликнул судья.— Судовладельцы, проживающие в Лондоне, не могут иметь никакого отношения к опиуму, привозимому контрабандой из Гонконга в Сан-Франциско. Я полагаю, они узнали бы об этом только в том случае, если бы опиум был обнаружен таможенной охраной, а корабль конфискован. Нет, я грешил на капитана. Откуда, однако, у него могли взяться нужные деньги, да еще после того, как он потратил немалую сумму на закупку наркотика? Правда, он мог быть доверенным лицом какого-нибудь дельца в Сан-Франциско. Но в этом случае Бэллерс не был бы приглашен. Как видите, это порочный круг.

— Мне кажется, я могу с уверенностью сказать, что это не капитан,—возразил я.—Он и Бэллерс незнакомы.

— Если не ошибаюсь, капитан, это тот краснолицый субъект, который все время вытирал лоб платком. На-

сколько я мог заметить, он следил за Бэллерсом со жгучим интересом,— настаивал мистер Морган.

— Вы совершенно правы,— сказал я.— Трент был очень заинтересован в аукционе. Весьма вероятно, что он знал Бэллерса в лицо и, уж во всяком случае, знал, какую игру тот ведёт. Однако голову даю на отсечение, что Бэллерс Трента никогда не видел.

— Еще одна странность,— согласился судья.— Ну, это было весьма приятное утро. Однако послушайте совета старого законника и отправляйтесь на остров Мидуэй как можно скорее. Ставка велика, а Бэллерс и его компания вряд ли перед чем-нибудь остановятся.

С этим прощальным советом мистер Морган пожал мне руку и пошел своей дорогой, а я направился в вестибюль «Западного отеля», на ступенях которого мы закончили наш разговор. Служащие отеля хорошо меня знали, и, когда я объяснил, что должен дождаться Пинкертона, после чего мы здесь позавтракаем, меня пригласили присесть в конторе. Там, в уединенном уголке, я было начал приходить в себя после всех этих волнений, но вдруг в комнату влетел и, перекинувшись несколькими словами с клерком, кинулся к телефону не кто иной, как сам мистер Бэллерс. Можете осуждать меня, но я не устоял перед искушением и, потихоньку приблизившись к нему, сел за самой его спиной. Может быть, некоторым извинением послужит тот факт, что я вообще любил подслушивать разговоры по телефону людей совершенно мне незнакомых — просто для удовольствия. Трудно представить что-нибудь более смешное и нелепое, чем подобного рода односторонняя беседа.

— Центральная,— сказал Бэллерс,— двадцать два сорок один и пятьсот восемьдесят четыре-бе (или какой-то другой похожий номер). Кто говорит?.. Хорошо... Мистер Бэллерс. Тот телефон был испорчен... Да, около трех минут... да... да... К сожалению, за сумму, вами названную... Нет... у меня не было полномочий... Не более и не менее... Полагаю, что так... О, Пинкертон, контора в квартале Монтана... Да... да... Хорошо, сэр. Как вам угодно, сэр...

Бэллерс повернулся, собираясь уходить, но вдруг заметил меня, отшатнулся и поднял руки, словно опасаясь пощечины.

— Как! Это вы? — вскричал он, а потом, несколько оправившись, добавил: — Компаньон мистера Пинкертона, если не ошибаюсь? Рад вас видеть, сэр, и поздравить с вашим недавним успехом.— И, угодливо поклонившись мне, он ушел.

Тут мне в голову пришла сумасшедшая мысль. Я не сомневался, что Бэллерс разговаривал со своим клиентом; я знал номер его телефона, хотя и не знал имени, и я решил, что, если позвонить по этому номеру немедленно, к телефону скорее всего подойдет он сам. Так почему бы мне, хотя бы заочно, не познакомиться с этим таинственным человеком и не получить за свои деньги хоть какое-нибудь удовольствие? Я снял трубку.

— Центральная,— сказал я.— Дайте двадцать два сорок один пятьсот восемьдесят четыре-бе.

Телефонистка повторила номер, затем наступило молчание, а затем у меня в ухе прозвучал негромкий голос, несомненно, принадлежащий англичанину и человеку образованному:

— Это опять вы, мистер Бэллерс? Повторяю вам: бесполезно. Это вы, мистер Бэллерс?.. Кто это?

— Я просто хочу задать один вопрос,— сказал я вежливо.— Зачем вам понадобилось покупать «Летящий по ветру»?

Ответа не последовало. В трубке раздавалось легкое жужжание — это говорили все другие абоненты города Сан-Франциско,— но номер 2241 молчал. Я еще два раза повторил свой вопрос. Но голос таинственного англичанина так больше и не раздался. Так, значит, он испугался моего бесцеремонного вопроса? Мне это показалось подозрительным: легко пугаются только те, у кого совесть нечиста. Я взял телефонную книгу и отыскал этот номер: «2241, мисеис Кин, ул. Миссии, дом 942». Этим, если только я не собирался ехать туда, чтобы лично повторить заданный по телефону вопрос, мне приходилось удовольствоваться.

Однако, когда я снова сел на стул в дальнем углу конторы, я почувствовал, что наше предприятие таит в себе элемент какой-то неопределенности, таинственности, даже опасности. Теперь перед моим умственным взором, помимо картины выброшенного на мель брига, над которым кружат чайки, и капитана Трента, вытирающего побагровевший лоб носовым платком, возник еще образ человека, прижимающего к уху телефонную трубку и

внезапно бледнеющего как полотно, когда в этой трубке раздается простой и, казалось бы, невинный вопрос.

От этих размышлений меня отвлек бой часов. С тех пор как Пинкертон ушел за деньгами, прошел час и двадцать минут. Он опаздывал уже на двадцать минут — я хорошо знал, как быстро он умеет совершать сделки, я не раз восхищался его железной пунктуальностью, и теперь его опоздание говорило мне очень много. Двадцать минут медленно превратились в час. Час сменился вторым, а я все еще сидел в своем уголке или выходил в вестибюль и принимался мерить шагами его мраморный пол, испытывая жгучую тревогу и раскаяние. Время обеда почти прошло, когда я вдруг вспомнил, что еще ничего не ел. Есть мне не хотелось, но впереди предстояло много дел, и я должен был сохранять свои силы хотя бы для того, чтобы с бо́льшим мужеством перенести дурные известия, которые меня, вероятно, ожидали. И вот, попросив портье передать Пинкертону, что он найдет меня в ресторане, я сел за столик и заказал суп, устриц и бутылку шампанского.

Вскоре появился мой друг. Он был очень бледен и выглядел постаревшим. Он заказал себе чаю, заметив, что самая мысль о еде ему противна.

— Наверное, ничего не вышло? — сказал я, и сердце у меня мучительно сжалось.

— Нет,— ответил он,— я свел концы с концами, Лауден. Но только свел. Больше мне во всем Сан-Франциско не удалось бы занять ни цента. Все настроены против нас. Лонгхерст даже обругал меня и сказал, что он не карточный игрок.

— Ну так что ж? — спросил я. — Ведь нам только это и было нужно.

— Лауден, говорю же тебе, что мне пришлось кровью платить за эти деньги! — мрачно сказал Пинкертон.— И срок девяносто дней. Мне не удалось выпросить ни одного лишнего дня, ни одного! Если мы будем продолжать это дело, Лауден, ехать придется тебе — и работать так, чтобы пух и перья летели. А я останусь здесь. Я должен остаться, чтобы распутывать дела в Сан-Франциско. А если бы ты знал, как мне хочется поехать самому! Я бы показал этим лентяям матросам, что такое работа. Я бы обшарил этот корабль из конца в конец, прежде чем они успели бы влезть на палубу! Но ведь ты приложишь все усилия, Лауден! Я полагаюсь на тебя. Как только вы отплывете, ты должен сделать своим девизом слово «скорей». Этот корабль с сокровищем на борту должен быть здесь до истечения трех месяцев, или мы банкроты. Банкроты!

— Я сделаю все, что смогу, Джим. Я буду работать круглые сутки,— сказал я.— Тебя в это дело втянул я, и либо я тебя выручу, либо покончу с собой. Но почему ты говоришь «если мы будем продолжать это дело»? Или у нас есть какой-то выбор?

— Сейчас объясню,— сказал Джим.— Но не думай, что я раскаиваюсь в нашей сделке. Пожалуйста, ни в чем себя не вини. Ты проявил замечательный и здравый деловой инстинкт. Я ведь всегда говорил, что он у тебя есть, и вот он прорвался наружу. Совершенно очевидно, что этот мерзкий сутяга хорошо осведомлен о положении вещей, а он так и рвался еще повысить цену. Нет, мы, несомненно, можем рассчитывать на прибыль. Беда в другом — я надавал векселей на девяносто дней и истощил весь наш кредит: я ведь обегал весь город, занимая, выпрашивая и подмазывая, чтобы занять. Ей-богу! — вскричал он с неожиданным взрывом самодовольства.— Кроме меня, во всем Фриско никто не сумел бы занять эти последние десять тысяч! И еще одно: я надеялся, что ты сможешь продать опиум там же, на островах,— это гораздо безопаснее и выгоднее,— но трехмесячный срок связывает нас по рукам и ногам; тебе придется немедленно плыть в Гонолулу и добираться сюда на пароходе. Правда, я постараюсь что-нибудь подготовить для тебя там. Я свяжусь с человеком, который занимается подобными делами. Выглядывай его, как только доберешься до островов: весьма возможно, что он встретит тебя еще в море, в вельботе или на катере, и привезет тебе деньги прямо на шхуну.

Из этого видно, насколько загрубела моя совесть за время моего пребывания в Сан-Франциско: хотя на карту были поставлены все наши деньги, я все же не должен был давать согласия, которое делало меня контрабандистом, и, что еще хуже, контрабандистом, ввозящим опиум. Однако я дал свое согласие, даже ни разу не возразив, даже глазом не моргнув.

— А вдруг,— сказал я,— а вдруг этот опиум так хорошо спрятан, что я не смогу его найти?

— Тогда ты останешься там, пока весь бриг не превратится в щепки, а потом расколешь каждую щепочку

своим перочинным ножом! — вскричал Пинкертон.— Опиум там, мы знаем это, и его надо найти. Но это лишь одна из открывающихся нам возможностей, хотя, как я уже говорил, я принял все меры, чтобы претворить этот план в жизнь. Да, не успев еще занять ни цента и обдумывая второй вариант, я начал с того, что зафрахтовал шхуну. Это «Нора Крейн». Водоизмещение шестьдесят четыре тонны. Но для нас этого достаточно, потому что рис испорчен, а она самое быстроходное судно своего класса во всем Сан-Франциско. Я внес аванс двести долларов и обязался выплачивать триста долларов ежемесячно, получив ее в свое полное распоряжение; жалованье и провизия обойдутся, скажем, еще в четыреста долларов. Это же капля в море. Капитан уже начал готовить ее к плаванию два часа назад, и тогда же Джон Смит получил заказ на поставку продовольствия. Вот это я называю делать дело!

— Да, конечно,— сказал я.— Но в чем же состоит другой вариант?

— А вот в чем,— сказал Джим.— Ты согласен, что Бэллерс собирался торговаться и дальше?

Я увидел, к чему он клонит.

— Да. Ну и что? — спросил я.— Это и есть твой вариант?

— Именно так, Лауден Додд,—подтвердил Джим.— Если Бэллерс и его клиент захотят дать мне отступного, я готов заключить с ними сделку.

У меня в голове промелькнула страшная мысль: а что, если моя детская выходка испугала этого загадочного клиента, тем самым уничтожив возможность, которая нам позволяла выйти с честью из трудного положения? Но стыд заставил меня промолчать, и я продолжал наш разговор, не упомянув ни о моей встрече с Бэллерсом, ни о том, что я узнал адрес на улице Миссии.

— Да, несомненно, первоначальным лимитом были пятьдесят тысяч долларов,— сказал я,— или, во всяком случае, так считал Бэллерс. Но, с другой стороны, это мог быть предел. И, чтобы покрыть расходы, в которые мы уже вошли — я тебя отнюдь не виню, я понимаю, что мы должны были быть готовы к любому варианту,— чтобы покрыть эти расходы, нам понадобится сумма более значительная.

— Бэллерс согласится на шестьдесят тысяч. Я твердо уверен, что его можно заставить согласиться на сто тысяч. Вспомни конец аукциона!

— В отношении Бэллерса я с тобой совершенно согласен,— ответил я,— однако сам Бэллерс может заблуждаться, и пятьдесят тысяч все-таки могли быть предельной суммой.

— Ну, Лауден, если это так,— сказал Джим очень серьезно,— если это так, пусть забирает «Летящего по ветру» за пятьдесят тысяч и радуется своей покупке. Я предпочту убытки.

— Неужели мы настолько запутались, Джим? — воскликнул я.

— Да, мы зарвались, Лауден,— ответил он.— Ведь эти пятьдесят тысяч долларов, когда мы расплатимся по векселям, обойдутся нам в семьдесят. Нам придется выплачивать долг из расчета десяти процентов в месяц. Меньшей цифры я не мог добиться, да и никто не смог бы. И так это было чудом, Лауден. Я просто сам собой любовался. Эх, если бы нам дали четыре месяца! А ты знаешь, Лауден, мы все-таки можем добиться своего. С твоей энергией, с твоим обаянием ты сможешь управиться на шхуне, как управлялся на наших пикниках. И нам может повезти. А в этом случае — какая блестящая будет операция! Какая реклама! Какие воспоминания до конца нашей жизни! Однако,— перебил он сам себя,— сперва надо попробовать менее рискованный вариант. Пошли к этому крючкотвору.

Я колебался, не признаться ли мне, что я знаю адрес нашего таинственного противника. Однако я решил, что уже упустил благоприятный момент, и теперь мне придется объяснять не только, как этот адрес стал мне известен, но и почему я не сказал об этом раньше. Я, однако, утешил себя мыслью, что, обращаясь к Бэллерсу для переговоров с его клиентом, мы будем действовать как принято. А самое главное, я с тревогой подозревал, что мы все равно уже опоздали и что тот человек, который был нам нужен, покинул Сан-Франциско два часа назад. И вот я снова промолчал. Позвонив по телефону Бэллерсу, чтобы убедиться, что он у себя, мы отправились в его контору... Бесконечные улицы американских городов переходят одна в другую в прихотливом смешении богатства и нужды — под одним и тем же названием улица тянется между гигантскими склада-

ми, между воровскими притонами и дешевыми кабаками, между газонами и живыми изгородями роскошных особняков. В Сан-Франциско крутые холмы и бесчисленные морские заливчики еще усиливают такие контрасты. Улица, по которой мы шли, начиналась где-то среди дюн неподалеку от кладбища Пустынной горы; затем она некоторое время вилась по ветреным олимпийским высотам Ноб-Хилла, а вернее, протянулась вдоль его границы; потом она сразу же нырнула в лабиринт крохотных домиков, весьма развязно выкрашенных и предлагавших наблюдательному взгляду следующую многозначительную особенность: на огромных медных дощечках, украшавших миниатюрные и пестрые двери, значились только женские имена без фамилий — Нора, или Лили, или Флоренс; оттуда улица заглядывала в Китайский квартал, где под ней, несомненно, прятались тайные курильни опиума, а кварталы вокруг напоминали кроличьи садки — столько там было дверей, проходов и крытых галерей; затем, приобщившись к элегантной жизни на перекрестке Кирни, она пробиралась между складами и матросскими ночлежками к набережной и месту обитания городских подонков. И вот там-то, где улица стала угрюмой и пустынной, где ее тишина нарушалась лишь грохотом ломовых подвод, мы нашли некий дом, претендовавший на опрятность и снабженный наружным деревенским крыльцом. К столбу была прибита черная дощечка с золоченой надписью «Генри Бэллерс, юрист. Часы приема с 9 до 6». Поднявшись по ступенькам, мы оказались перед открытой дверью, ведущей в галерею. На двери была надпись «Мистер Бэллерс принимает».

— Что мы будем делать дальше? — спросил я.

— Да просто войдем,— ответил Джим и вошел.

Комната, в которой мы оказались, была очень чистой, но крайне скудно обставлена. Вся мебель исчерпывалась старомодным бюро, рядом с которым стоял стул, и книжной полкой, уставленной томами юридических трудов. Вывод напрашивался сам собой: мистер Бэллерс имел обыкновение сидеть, предоставляя своим клиентам стоять. В дальнем конце комнаты, за занавеской из красной бязи, находилась вторая дверь, очевидно, соединявшая приемную с жилыми комнатами. Из этой двери, после того как мы довольно долго кашляли и притопывали, появился Бэллерс. Он пошел нам навстречу с робким видом человека, который ожидает, что на него накинутся с кулаками, а когда узнал нас, с ним — не знаю, как иначе это описать,— случился припадок преувеличенной любезности.

— Мистер Пинкертон с компаньоном! — вскричал он.— Я сейчас сбегаю за стульями.

— Не надо,— сказал Джим,— времени нет. Предпочтем стоять. Мы пришли по делу. Сегодня утром я купил выброшенный на мель корабль «Летящий по ветру»...

Юрист кивнул.

— ...и купил его,— продолжал мой друг,— за сумму, никак не отвечающую видимой стоимости груза.

— А теперь вы передумали и готовы отказаться от своей сделки. Я так и предполагал,— ответил Бэллерс.— Мой клиент, не скрою от вас, был крайне недоволен, что я зашел так далеко, мистер Пинкертон. Мы с вами оба слишком разгорячились. Дух соперничества, так сказать. Но я буду с вами совершенно откровенен,— я знаю, когда имею дело с людьми благородными,— я почти уверен, что мой клиент если вы предоставите это дело мне, перекупит у вас бриг, и тогда вы потеряете,— он впился в нас буравящим взглядом,— вы ничего не потеряете.

И тут Пинкертон изумил меня.

— Не об этом речь,— сказал он.— Я купил бриг. Я знаю, что на нем ценный груз. Я не собираюсь с ним расставаться. Но я не прочь получить кое-какие указания, которые позволили бы мне избежать ненужных расходов, и за них я готов заплатить наличными. Вы же должны решить, буду ли я иметь дело с вами или прямо с вашим клиентом. Если вы готовы сообщить мне эти факты, то называйте вашу цифру. Но еще одно,— добавил Джим, погрозив пальцем,— когда я говорю «наличные», я имею в виду векселя, подлежащие оплате по возвращении корабля и при условии, что сведения окажутся верными. Котов в мешке я не покупаю.

Я заметил, как загорелись глаза юриста, когда Джим начал свою речь, и как они погасли при последних его словах.

— Вам, наверное, больше моего известно об этом корабле, мистер Пинкертон,— сказал Бэллерс.— Я знаю только, что мне было поручено его купить и что я не сумел этого сделать.

— Мне нравится в вас одна черта, мистер Бэллерс: вы не тратите времени зря,— сказал Джим.— Назовите имя и адрес своего клиента.

— Я пришел к заключению,— ответил Бэллерс с неописуемо хитрым видом,— что не имею права сообщать имя моего клиента. Я буду рад связаться с ним, если вы мне это поручите, но адрес я вам дать не могу.

— Отлично,— сказал Джим и надел шляпу.— Довольно решительный шаг, а? — И продолжал, делая заметные паузы после каждой фразы.— Не передумал? А ну взвесьте, взвесьте. Даю доллар.

— Мистер Пинкертон! — с возмущением воскликнул Бэллерс.

И я на мгновение испугался, что Джим ошибся в оценке его характера и зашел слишком далеко.

— Ах, вам сейчас доллар не нужен,— сказал Джим.— Ну послушайте, мистер Бэллерс, мы оба люди занятые, и я вам прямо скажу свое последнее слово. Согласны на...

— Не надо, Пинкертон,— перебил я,— мне известен адрес: улица Миссии, дом девятьсот сорок два.

Не знаю, кто был более удивлен, Пинкертон или Бэллерс.

— Какого дьявола ты молчал до сих пор, Лауден?! — воскликнул мой друг.

— Ты ведь раньше об этом не спрашивал,— сказал я и покраснел до корней волос, когда он бросил на меня тревожный взгляд.

Наступившее молчание первым нарушил Бэллерс, любезно снабдив нас сведениями, мне неизвестными:

— Раз вы знаете адрес мистера Диксона,— сказал он, явно стремясь отделаться от нас как можно скорее,— то не вижу причин задерживать вас долее.

Не знаю, что чувствовал Пинкертон, но, когда мы вышли из конторы этого мерзкого крючкотвора, у меня на душе лежала свинцовая тяжесть. Я напряженно ждал первого вопроса Джима и готов был со слезами признаться во всем, но мой друг ничего не спросил.

— Надо взять извозчика,— сказал он, чуть ли не бегом устремляясь к ближайшей извозчичьей стоянке.— Время терять нельзя. Ты заметил, к чему я клонил? Какой смысл платить этому Бэллерсу комиссионные!

Снова я ждал, что он спросит меня о причинах моей скрытности, и снова он промолчал. Было ясно, что Джим

боится этого вопроса, и я готов был возненавидеть его за подобный страх. Наконец когда мы уже сидели в извозчичьей пролетке и катили к улице Миссии, я не выдержал:

— А ты не спросил меня, откуда я знаю этот адрес,— сказал я.

— Да,— поспешно и смущенно ответил он,— действительно, откуда ты его знаешь? Расскажи, пожалуйста.

Его тон подействовал на меня как пощечина. Я вспылил.

— Попрошу тебя не спрашивать меня об этом,— сказал я.— Я не могу дать никаких объяснений.

Едва я выпалил эти глупые слова, как готов был уже отдать все на свете, чтобы вернуть их. И мне стало совсем стыдно, когда Пинкертон, похлопав меня по плечу, ответил:

— И отлично, милый друг, ни слова более. Я убежден, что ты поступил наилучшим образом.

Снова вернуться к этой теме у меня не хватило мужества, но мысленно я дал клятву, что приложу в дальнейшем все усилия, чтобы исправить последствия нашего безумного поступка, и скорее дам разрезать себя на куски, чем позволю Джиму потерять из-за этого хотя бы доллар. Но, когда мы подъехали к дому номер 942, у меня нашлась другая пища для размышлений.

— Мистер Диксон? Он уехал,— сказала квартирная хозяйка.

— Куда?

— Не могу вам сказать,— ответила она.— Он никогда здесь прежде не останавливался.

— А куда он адресовал свой багаж, сударыня? — спросил Пинкертон.

— У него не было багажа. Он приехал вчера вечером, а сегодня уехал, и был у него только небольшой саквояж.

— Когда он уехал? — спросил я.

— Часов в двенадцать,— ответила хозяйка.— Кто-то позвонил ему по телефону и, наверное, сообщил что-нибудь важное, потому что он тут же уехал, хоть и заплатил за комнату вперед за неделю. И вид у него был очень расстроенный. Наверное, кто-нибудь умер.

У меня упало сердце. Пожалуй, причиной его поспешного отъезда действительно была моя идиотская шутка. И опять я спросил себя, почему она могла на не-

го так подействовать, и снова погрузился в водоворот самых невероятных предположений.

Очнувшись от своих мыслей, я услышал, как Пинкертон спрашивает хозяйку:

— А каков он был с виду, сударыня?

— Такой бритый,— ответила она.

И больше ничего от нее нельзя было добиться.

— Остановитесь у ближайшей аптеки,— сказал Пинкертон извозчику.

Из аптеки он позвонил в контору Тихоокеанского пароходства и спросил:

— Какой пароход, идущий в Китай, должен в ближайшее время зайти в Гонолулу?

— «Город Пекин». Он отплыл сегодня в половине второго,— ответили ему.

— Все яснее ясного,— сказал Джим.— Он сбежал, или моя фамилия не Пинкертон. Он решил добраться до острова Мидуэй раньше нас.

Однако я не разделял его мнения — ведь Пинкертон знал не все, а я хорошо помнил страх, отражавшийся на лице капитана Трента, и уверенность, что именно я спугнул мистера Диксона, не оставляла меня, хотя я и понимал, что, возможно, строю свои домыслы на песке.

— Не посмотреть ли нам список пассажиров? — спросил я.

— Диксон — фамилия слишком распространенная,— возразил Джим.— А кроме того, он, наверное, записался под вымышленным именем.

И тут меня словно озарило. Перед моими глазами возникла улица, на которой жил Бэллерс,— когда мы шли туда, я был слишком занят другими мыслями, чтобы обращать внимание на окружающее. Но теперь я как будто снова увидел грязную мостовую, тяжело нагруженные подводы, путаницу телеграфных проводов, китайчонка с корзиной на голове и у самого угла — бакалейную лавку, на вывеске которой огромными золотыми буквами сияла фамилия «ДИКСОН».

— Ты прав,— сказал я,— он так и поступит. Да и вообще это не его фамилия. Я убежден, что он заимствовал ее с вывески бакалейщика напротив конторы Бэллерса.

— Возможно,— рассеянно ответил Джим и продолжал стоять, хмуря брови.

— Ну, что будем делать дальше? — спросил я.

— С одной стороны, надо бы поторопить подготовку нашей шхуны,— ответил он,— но не знаю, удастся ли это. Я уже звонил капитану, чтобы он не терял времени даром, и, судя по его ответу, у него работа кипит вовсю. Знаешь что, Лауден? Попробуем взяться за Трента. Он в этом как-то замешан. Да и не как-то, а больше всех. Даже если он не может перекупить у нас бриг, он может объяснить нам, в чем дело.

— Согласен,— сказал я.— Как нам его разыскать?

— Через английское консульство, конечно,— ответил Джим.— И это еще одна причина, почему следует начать с него. Шхуной мы можем заняться и вечером, но консульство тогда будет закрыто.

В консульстве мы узнали, что капитан Трент поселился в гостинице «Веселье». Мы немедленно отправились в это большое, но отнюдь не фешенебельное заведение и обратились за справкой к портье, который жевал большую зубочистку и глядел мимо нас в одну точку.

— Капитан Джейкобс Трент здесь проживает?

— Выбыл,— ответил портье.

— Куда? — спросил Пинкертон.

— Не могу сказать,— ответил портье.

— Когда он уехал? — спросил я.

— Не знаю,— ответил портье и с бесцеремонностью коронованной особы повернулся к нам спиной.

Боюсь и подумать о том, что могло бы случиться дальше, ибо возбуждение Пинкертона уже достигло предела, но, к счастью, от возможного скандала нас спасло появление второго портье.

— Да это, никак, мистер Додд! — воскликнул он, подбегая к нам.— Рад вас видеть, сэр! Чем могу служить?

Добродетель всегда вознаграждается. В свое время я усладил слух этого молодого человека нежными звуками «Перед самой битвой, мама...» на одном из наших пикников, а теперь, в эту критическую минуту, он явился, чтобы помочь мне.

— Капитан Трент? Ну, конечно, мистер Додд. Он уехал около двенадцати, вместе с одним из своих матросов. А гавайец уехал раньше на «Городе Пекине». Я это знаю, потому что отослал в порт его сундучок. Багаж капитана Трента? Я сейчас наведу справки, ми-

стер Додд. Да, они все проживали здесь. Вот их имена в книге. Поглядите, пока я схожу узнаю про багаж.

Я пододвинул к себе книгу и стал рассматривать четыре фамилии, написанные одним и тем же размашистым и довольно скверным почерком: «Трент, Браун, Харди и (вместо А. Синга) Джозеф Амалу».

— Пинкертон,— сказал я вдруг,— у тебя с собой этот номер «Оксидентела»?

— Конечно,— ответил Пинкертон, доставая газету.

Я скользнул глазами по отчету о кораблекрушении.

— Здесь есть еще одна фамилия,— сказал я.— «Элиас Годдедааль, помощник». Почему мы больше ничего не слышали об Элиасе Годдедаале?

— Правильно,— сказал Джим.— Его ведь не было с остальными, когда ты видел их в кафе?

— По-моему, нет,— ответил я.— Их было только четверо, и никто из них не был похож на помощника.

В эту минуту вернулся мой портье.

— Капитан сам нанял какой-то фургон,— сообщил он,— и вместе с одним из матросов погрузил на него три сундучка и большой саквояж. Наш швейцар помогал им, но фургоном они правили сами. Швейцар думает, что они поехали в приморский район. Это было около часу дня.

— Они могли еще успеть на «Город Пекин»,— заметил Джим.

— Сколько их у вас останавливалось? — спросил я.

— Трое; сэр, и еще гавaец,— ответил портье.— Второй матрос тоже уехал, но я не знаю, когда и как.

— А мистер Годдедааль, помощник, здесь не проживал? — спросил я.

— Нет, мистер Додд, только эти четверо,— ответил портье.

— И вы о нем ничего не слышали?

— Нет. А почему вы их разыскиваете, мистер Додд? — осведомился портье.

— Мы с моим другом купили их корабль,— объяснил я,— и хотели выяснить кое-какие подробности. Крайне неприятно, что мы никого не нашли.

К этому времени вокруг нас собралось несколько любопытных — сенсационный аукцион еще не был забыт. И тут один из зевак, дюжий матрос, неожиданно сказал:

— А помощник, наверное, еще в городе. Он ведь совсем больной. Говорят, на «Буре» он не выходил из лазарета.

Джим дернул меня за рукав.

— Вернемся-ка в консульство,— сказал он.

Но даже в консульстве о мистере Годдедаале ничего не было известно. Судовой доктор с «Бури» выдал справку, что он находится в тяжелом состоянии, сам помощник в консульстве не появлялся, а только прислал свои документы.

— У вас есть телефонная связь с «Бурей»? — спросил Пинкертон.

— Есть,— ответил клерк.

— Так, может, вы позвоните туда или позволите мне позвонить? Нам совершенно необходимо увидеться с мистером Годдедаалем.

— Хорошо,— ответил клерк и взял телефонную трубку. Поговорив несколько минут, он обернулся к нам.

— Мне очень жаль,— сказал он,— но мистер Годдедааль уехал с корабля, и никто не знает куда.

— Скажите, вы оплачиваете проезд потерпевших кораблекрушение на родину? — спросил я, когда мне в голову пришла неожиданная мысль.

— Если они просят об этом,— ответил клерк,— что бывает не всегда. Сегодня утром мы оплатили проезд гавайца до Гонолулу, и, насколько я понял из слов капитана Трента, остальные собираются вернуться на родину вместе.

— Так, значит, вы еще не выдавали им деньги? — спросил я.

— Пока еще нет,— ответил клерк.

— А вы очень удивитесь, узнав, что они уже уехали? — спросил я.

— Этого не может быть, вы ошибаетесь,— сказал он.

— Однако так оно и есть,— настаивал я.

— Нет, нет, вы ошибаетесь,— повторил он.

— Разрешите воспользоваться вашим телефоном? — спросил Пинкертон и после утвердительного ответа позвонил в типографию, которая обычно печатала наши объявления.

Я не слушал этого разговора, потому что вспомнил вдруг размашистый скверный почерк в книге гостиницы «Веселье» и осведомился у клерка, нет ли у него образ-

чика почерка капитана Трента. Тут я узнал, что капитан не может писать, так как поранил правую руку незадолго до катастрофы, и что даже корабельный журнал в последние дни вел за него мистер Годдедааль, а сам Трент даже расписывался левой рукой. К тому времени, когда я получил все эти сведения, Пинкертон уже повесил трубку.

— Ну, с этим все. А теперь займемся шхуной,— сказал он.— И, если завтра к вечеру я не разыщу этого Годдедааля, мое имя не Пинкертон.

— Каким образом? — поинтересовался я.

— Увидишь вечером,— ответил Пинкертон.— А теперь после всей этой канители с консульством, портье и сморчком Бэллерсом приятно будет посмотреть на шхуну. Там, наверное, работа идет полным ходом.

Однако на пристани царила полная тишина и спокойствие. И, если не считать дымка, поднимавшегося над камбузом, на «Норе Крейн» не было заметно никаких признаков жизни. Пинкертон побледнел и, стиснув зубы, прыгнул на борт шхуны.

— Где капитан этой...— Он не докончил фразы, потому что не нашел слова, достаточно сильного, чтобы выразить свои чувства.

Вопрос его, казалось, был обращен в пустоту. Однако из дверей камбуза высунулась чья-то голова — очевидно, кока.

— Закусывает у себя в каюте,— ответил этот субъект, что-то пережевывая.

— Шхуна разгружена?

— Нет, сэр.

— И разгрузка даже не начиналась?

— Да нет, начиналась. Завтра мы возьмемся за дело поживей.

— Ну, кому-то это даром не пройдет,— сказал Пинкертон и решительным шагом направился к каюте.

Там за накрытым столом сидел смуглый толстяк и увлеченно расправлялся с жаркúм. При нашем появлении он оторвался от еды и смерил взглядом Пинкертона, который, скрестив руки на груди, смотрел на него в упор, сурово сжав губы. На добродушном лице капитана появилось удивление, смешанное с досадой.

— Так вот что вы называете спешкой? — сказал наконец Джим.

— А вы кто такой? — воскликнул капитан.

— Кто я такой? Я Пинкертон,— ответил Джим, как будто это слово было магическим талисманом.

— Вы не очень-то вежливы,— возразил капитан, но это имя, по-видимому, произвело на него впечатление, потому что он все-таки встал и поспешно добавил: — Когда-нибудь надо же и пообедать, мистер Пинкертон.

— Где ваш помощник? — рявкнул Джим.

— Где-то в городе.

— Ах, где-то в городе! — язвительно повторил Пинкертон.— А теперь я вам скажу, чтó я о вас думаю: вы мошенник, и, если бы только я не боялся запачкать свой башмак, я бы пинком вышвырнул вас вместе с вашим обедом на пристань.

— Я вам тоже кое-что скажу,— ответил капитан багровея.— Для такого, как вы, я корабль не поведу, даже если бы вы меня на коленях умоляли. Я привык иметь дело с людьми порядочными.

— Я могу вам назвать имена кое-каких порядочных людей, с которыми вам больше не придется иметь дело! — отрезал Джим.— Это вся компания Лонгхерста. Уж об этом я позабочусь! Собирайте свои вещи, да побыстрей, и забирайте с собой свою паршивую команду. Я сегодня же вечером найду себе настоящего капитана и настоящих матросов.

— Я уйду, когда мне будет удобно, а удобно мне будет завтра утром! — крикнул нам вслед капитан.

— Сегодня весь мир словно перевернулся,— пожаловался Пинкертон, когда мы вышли на пристань.— Сначала Бэллерс, потом портье с зубочисткой, а теперь этот мошенник. А где мне искать капитана, Лаўден? Ведь Лонгхерст час назад ушел домой, да и остальных никого не найти.

— Я знаю, где,— ответил я.— Садись скорей.— И, когда мы сели в пролетку, добавил, обращаясь к извозчику: — Гони к трактиру Черного Тома.

Добравшись до этого заведения, мы пересекли большой зал и, как я и надеялся, нашли в задней комнате Джонсона и весь его клуб. Стол был сдвинут к стене. Один из торговцев копрой играл в углу на губной гармонике, а посредине Джонсон и еще какой-то моряк, обняв друг друга за плечи, неуклюже, но с большим усердием отплясывали неизвестный мне танец. В комнате было холодно и в то же время душно. Газовая горелка,

ежеминутно грозившая обжечь головы танцоров, бросала вокруг неверный свет. Музыка звучала визгливо и заунывно, а лица всех присутствующих были так серьезны и торжественны, словно они находились в церкви.

С нашей стороны было бы, конечно, невежливо прерывать это унылое веселье, поэтому мы тихонечко пробрались к стульям, точно слушатели, опоздавшие на концерт, и стали ожидать конца пляски. Но вот, наконец, торговец, как видно, выдохся и оборвал мелодию на середине такта. С прекращением музыки остановились и танцоры. Несколько мгновений они покачивались, все еще обнимая друг друга, а затем разошлись в разные стороны, поглядывая на зрителей в ожидании аплодисментов.

— Хорошая пляска,— сказал кто-то.

Но, очевидно, такая похвала не удовлетворила исполнителей, потому что они не преминули тут же высказать и свое мнение.

— Ну что ж,— сказал Джонсон,— может, я и плохой моряк, зато танцевать я умею.

А его бывший партнер с почти трогательной убежденностью добавил:

— Я легок на ногу, будто перышко.

Заметив, откуда дует ветер, я, как вы легко догадываетесь, сначала отпустил несколько комплиментов по поводу танцевального искусства Джонсона, а потом, задобрив его этой лестью, увел в коридор и, рассказав о нашем положении то, что нашел нужным, попросил стать нашим капитаном или, если это его не устраивает, порекомендовать нам какого-нибудь подходящего человека.

— Чтобы я да пошел в капитаны! — вскричал он.— Ни за что на свете!

— Но ведь вы же помощник,— возразил я.

— Конечно, помощник,— засмеялся Джонсон,— потому-то в капитаны я и не пойду. Но я вас выручу. Я уговорю Арти Нейрса. Вы же его видели. Первоклассный моряк и умеет подать товар лицом.

После чего он сообщил мне, что мистер Нейрс, который через шесть месяцев должен был получить под свою команду прекрасный барк, пока, ожидая, чтобы поулеглись слухи, живет очень уединенно и будет рад переменить обстановку. Я подозвал Пинкертона и объяснил ему положение дел.

— Нейрс! — воскликнул Джим, едва только услышал это имя.— Да ведь лучше ничего и придумать нельзя! Такого моряка поискать, Лауден.

Все было решено, и Джонсон обещал на следующее утро привести к нам Нейрса еще до шести часов, а Черный Том, к которому мы обратились за советом, обязался к тому же часу подобрать нам четырех бравых моряков, ручаясь даже, что они будут трезвы, как стеклышко, хотя в последнем мы и позволили себе усомниться.

Когда мы вышли из трактира, на улицах уже горели фонари. Везде по холмам разбегались яркие цепочки огней, а на невидимых волнах бухты поднимались и опускались сигнальные огни стоявших там бесчисленных судов. Мы расплатились с извозчиком и пошли пешком к ресторанчику «Пудель», чтобы поужинать.

По дороге туда я заметил, что расклейщик афиш наклеивает на будку какое-то объявление. Это меня удивило, потому что час был уже поздний, и, остановившись, я стал ждать, когда объявление будет полностью развернуто. Пинкертон терпеливо стоял рядом. Вот что я прочел:

ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ

офицерам и матросам

потерпевшего крушение брига

«ЛЕТЯЩИЙ ПО ВЕТРУ»,

если они обратятся

лично или письменно

в контору Джеймса Пинкертона

до полудня завтрашнего дня.

— Это ты придумал, Пинкертон? — воскликнул я.

— Да. И хозяин типографии времени зря не терял. Не то что этот мошенник капитан,— ответил мой друг.— Но это еще не все, Лауден. Ведь мы же знаем, что Годдедааль болен, так я распорядился послать по одному такому объявлению во все больницы, во все аптеки и всем докторам Сан-Франциско.

Разумеется, Пинкертон благодаря своим деловым связям получил в типографии большую скидку, и все же я испугался тех затрат, в которые нам обошлось это объявление.

— Долларом больше, долларом меньше, какое это имеет значение? — печально ответил Джим, когда я высказал ему свои сомнения.— Мы будем рассчитываться за все через три месяца, Лауден.

До конца нашей прогулки мы хранили унылое молчание. Даже в «Пуделе» мы почти ничего не ели и совсем не разговаривали. Только когда Пинкертон допил третий бокал шампанского, он откашлялся и сказал, виновато глядя на меня:

— Лауден, ты не хотел говорить со мной на одну тему. Я не буду тебя расспрашивать, только скажи мне — ты решил промолчать не потому, что...— он запнулся,— не потому, что ты мной недоволен?

— Пинкертон! — воскликнул я.

— Погоди, не перебивай,— продолжал он,— дай я кончу. Я высоко ценю твою деликатность, хотя сам я ее лишен. Я отлично понимаю, что, как бы недоволен ты мной ни был, ты скорее умрешь, чем заговоришь об этом. Я и сам понимаю, что мог бы добиться большего, но, когда я убедился, как трудно раздобыть деньги в этом городе, когда я заметил, что даже такой человек, как Дуглас Лонгхерст, один из первых калифорнийских пионеров, который и глазом не моргнув в течение пяти часов отбивался на своем поле от бандитов, убоялся риска, признаюсь тебе, Лауден, я совсем отчаялся. Может быть, я наделал много ошибок, и тысячи людей сумели бы добиться на моем месте большего, но, клянусь, я сделал все, что мог.

— Мой бедный Джим,— сказал я,— ты говоришь так, словно я могу в тебе усомниться! Как будто я не знаю, что ты творил чудеса. Весь день я восхищался твоей энергией и находчивостью. Но что касается этого...

— Нет, Лауден, ни слова более! Я не хочу...— начал Джим.

Но я перебил его:

— По правде говоря, я отказался объяснить тебе, в чем дело, потому что мне было стыдно.

— Тебе было стыдно, Лауден? О, не говори подобных вещей! Не говори их даже в шутку! — возмутился Пинкертон.

— А разве ты никогда не совершаешь поступков, которых потом стыдишься? — спросил я.

— Нет,— ответил он недоуменно.— И с какой стати? Иногда я жалею, когда результаты получаются не

такие, как я рассчитывал. Но не понимаю, с какой стати я стал бы стыдиться?

Несколько минут я молчал, восхищаясь простодушием моего друга, потом вздохнул.

— Знаешь, Джим, о чем я больше всего жалею? — спросил я.— О том, что теперь я не смогу быть шафером на твоей свадьбе.

— На моей свадьбе? — повторил он, вздыхая, в свою очередь.— Какая там свадьба! Я сегодня же объяснюсь с Мэйми. Вероятно, это и мучило меня весь день. Мне кажется теперь, что я не имел права, после того как стал женихом, идти на подобный риск.

— Но ведь во всем виноват я, Джим! Так и скажи ей,— заметил я.

— Ничего подобного! — вскричал он.— Я увлекся не меньше тебя. Просто я оказался не таким сообразительным. Нет, это моя вина. И все-таки ужасно тяжело на душе.

Когда Джим печально побрел объясняться с Мэйми, я в одиночестве вернулся в контору, зажег газ и принялся размышлять о событиях этого необычайного дня — о странном кораблекрушении, о неизвестно куда исчезнувших людях, об огромных деньгах, поставленных на карту, и об опасном и трудном предприятии, ожидающем меня в недалеком будущем.

Когда вспоминаешь подобные события, очень трудно задним числом не приписать себе знание, которым мы обладаем теперь. Но все же я могу сказать, не отступая от истины, что в тот вечер меня снедали подозрения и лихорадочное любопытство. Истощив свою фантазию в поисках всевозможных объяснений, которые я одно за другим отбрасывал, так как они не соответствовали фактам, я, однако, в самой вставшей передо мной тайне нашел стимул для мужества и усыпляющий бальзам для совести. Однако я вовсе не хочу сказать, что в противном случае я отступил бы. Контрабанда — одно из самых подленьких преступлений, потому что таким образом мы грабим все общество, и в первую очередь беднейшую его часть, а контрабанда опиума, кроме того,— это контрабанда вреднейшего из наркотиков. Все это было мне ясно, и совесть моя восставала против моих интересов настолько, что, если бы дело не касалось Джима, я искренне пожелал бы сам себе неудачи. Но счастье Джима, все его состояние, его женитьба зависели от то-

го, удается ли мне осуществить свою миссию. Я поставил интересы моего друга выше интересов островитян Южных Морей. Я согласен, что это очень узкая и эгоистическая точка зрения, но так я чувствовал тогда, и не столько стыжусь своего участия в подобном предприятии, сколько горжусь тем, что в те дни ради своего друга я не покладая рук работал с утра до ночи, не дрогнув встречал любую опасность и хоть раз в жизни проявил настоящее мужество. Но в то же время я был бы счастлив найти своей энергии другое применение и поэтому радовался тайне, которая в какой-то мере смягчала неприглядность цели, ради которой я трудился. Не будь этого, я чувствовал бы себя гораздо хуже и хотя, вероятно, поступил бы так же, но с неохотой и отвращением. А в этот вечер, помимо нетерпеливого желания увидеть море, остров, потерпевший крушение корабль, меня вдохновляла надежда, что там я найду ответы на сотни вопросов и узнаю, почему капитан Трент нервно обмахивал свое побагровевшее лицо во время аукциона и почему мистер Диксон после моего телефонного звонка так поспешно покинул пансион на улице Миссии.

ГЛАВА XI,
В КОТОРОЙ МЫ С ДЖИМОМ РАССТАЕМСЯ

Когда я засыпал, на душе у меня было очень скверно, а проснувшись, еще хорошенько ничего не сознавая, я сразу ощутил, что вчера произошло что-то очень неприятное. Я чувствовал себя совсем разбитым и, кажется, некоторое время лежал в тупом оцепенении, пока не услышал, что в дверь стучат. И тут мгновенно вспомнил аукцион, «Летящего по ветру», Годдедааля, Нейрса, Джонсона, Черного Тома — все неприятности вчерашнего дня и все бесчисленные дела, которые мне предстояло переделать сегодня. Это подействовало на меня, как звук трубы перед началом атаки: я вскочил с постели, прошел через контору, где Пинкертон спал глубоким сном на своем раскладном диване, и открыл дверь, чтобы прямо в халате встретить наших посетителей. На пороге я увидел расплывшегося в улыбке Джонсона, а позади него стоял, нахлобучив шляпу на самые глаза и зажав в зубах сигару, капитан Нейрс, который сухо кивнул мне, очевидно, вспомнив наше первое знакомство. За ним на лестнице толпились матросы — новая команда «Норы Крейн». Предоставив последним полировать стены спиной и локтями, я пригласил офицеров пройти в комнату и принялся трясти Джима за плечи, пока он не очнулся. Наконец он приподнялся на постели и растерянно уставился на нового капитана.

— Джим,— сказал я,— это капитан Нейрс. Капитан, разрешите представить вам мистера Пинкертона.

Нейрс снова молча кивнул, и мне показалось, что он рассматривает нас очень внимательно.

— А,— сказал Джим,— это капитан Нейрс? Доброе утро, капитан Нейрс. Счастлив познакомиться с вами, сэр. Мне давно уже известна ваша превосходная репутация.

Возможно, что последние слова Джима, принимая во внимание предшествующие обстоятельства, прозвучали несколько иронически. Во всяком случае, Нейрс в ответ только что-то угрюмо буркнул.

— Ну, капитан,— продолжал Джим,— вы знаете, что нам требуется? Вы доведете «Нору Крейн» до острова Мидуэй, снимете с разбитого брига все, что можно снять, зайдете в Гонолулу и вернетесь в Сан-Франциско. Я полагаю, вы об этом уже осведомлены?

— Что ж,— ответил Нейрс все так же недружелюбно,— по причинам, которые, я полагаю, вам известны, ваше предложение меня, в общем, устраивает. Однако, мистер Пинкертон, прежде нам надо выяснить несколько деталей. Но соглашусь я или нет, корабль все равно надо готовить к отплытию, и незачем терять время. Пусть мистер Джонсон с вашей запиской забирает команду и отправляется на шхуну. Эти ребята,— прибавил он с видом величайшего отвращения,— как будто совсем трезвы. Так заставьте их работать, чтобы они не напились.

На том и порешили. Когда Джонсон ушел в сопровождении матросов, Нейрс с облегчением вздохнул и сказал:

— Ну, теперь нам никто не мешает, и мы можем поговорить. Что тут кроется? Ваше предприятие наделало много шуму, и афиша взволновала весь приморский район — это меня не устраивает, потому что пока я не хочу привлекать к себе внимание. Ну, и во всяком слу-

чае, прежде чем принять команду, я должен твердо знать, куда и зачем мы плывем.

Тогда Пинкертон рассказал ему всю историю. Начал он деловито и точно, но под конец снова увлекся. Нейрс, так и не снимая шляпы, задумчиво курил и хмурым кивком сопровождал каждое новое сообщение. Однако в его бледно-голубых глазах загорелся предательский огонек жадного интереса.

— Ну и, как вы сами понимаете,— закончил Пинкертон,— Трент скорее всего отправился в Гонолулу, где ему потребуется гораздо меньше пятидесяти тысяч долларов, чтобы зафрахтовать какое-нибудь подходящее судно и добраться до Мидуэя. Поэтому-то мне и нужен хороший капитан! Этот бриг мой, я заплатил наличными, и если за него придется драться, то надо драться как следует. Я скажу вам откровенно: если вы не вернетесь через три месяца, то меня ожидает неслыханное банкротство. Для мистера Додда и для меня речь идет о жизни и смерти. Весьма возможно, что на острове дело дойдет до рукопашной. Так что, когда я услышал вчера ваше имя, и тем более сегодня, когда я увидел вас самого, я сказал себе: «Нейрс! Вот кто мне нужен!»

— Насколько я понимаю,— заметил Нейрс, разглядывая пепел своей сигары,— чем раньше я выведу эту шхуну в открытое море, тем приятнее вам будет.

— Вы тот, о ком я мечтал! — воскликнул Джим, подпрыгивая на постели.— На все сто процентов!

— Минуточку,— сказал Нейрс,— еще не все. Я слышал, что на шхуне будет суперкарго.

— Да, мистер Додд, мой компаньон,— ответил Джим.

— Это как-то странно,— сухо заметил капитан.— Мне еще не приходилось плавать на корабле, где было бы два капитана.

— Не разочаровывайте меня,— возразил Пинкертон.— Вы же говорите не подумав. Ведь вы не претендуете на то, чтобы распоряжаться нашей фирмой, не так ли? А это не просто рейс, это деловая операция, которой занимается мой компаньон. Вы будете вести корабль, наблюдать за разгрузкой брига, следить за командой — словом, у вас забот хватит. Но одно поймите ясно с самого начала: все это должно быть сделано так, чтобы мистер Додд был доволен, потому что платит за все мистер Додд.

— Я привык, чтобы мною были довольны,— сказал мистер Нейрс, густо краснея.

— В этом никто не сомневается! — вскричал Пинкертон.— Я хорошо вас понимаю. Вы любите все делать по-своему, но вы человек честный, и на вас можно положиться.

— Однако нам следует уточнить положение,— ответил Нейрс, немного смягчаясь.— Я имею в виду мое положение. Я не собираюсь плавать в качестве шкипера. Хватит и того, что я соглашаюсь командовать этой крохотной шхуной.

— Ну, вот что,— заметил Джим, весело подмигивая.— Вы только не спорьте со мной насчет балласта, и мы сделаем ее баркентиной.

Нейрс усмехнулся. Отсутствие такта снова помогло Пинкертону одержать победу.

— Теперь еще одно,— продолжал капитан, очевидно, считая предыдущий вопрос решенным.— Как насчет ее владельцев?

— О, это вы предоставьте мне. Я ведь из компании Лонгхерста, как, может быть, вам известно,— ответил Джим с неописуемым тщеславием.— Тот, кто подойдет мне, подойдет и им.

— А кто они? — спросил Нейрс.

— Макинтайр и Спитл,— ответил Джим.

— Ну, в таком случае просто дайте мне вашу визитную карточку,— ответил капитан,— и писать ничего не надо. С Макинтайром и Спитлом я всегда договорюсь.

Похвальба на похвальбу: это было привычкой и Нейрса и Пинкертона, двух самых тщеславных людей, каких я когда-либо встречал. Восстановив таким образом свое достоинство в собственных глазах, капитан встал и, сухо поклонившись мне и Джиму, удалился.

— Джим,— сказал я, когда дверь за ним закрылась,— этот человек мне не нравится.

— Придется тебе перебороть себя, Лауден,— ответил Джим.— Это типичный американский моряк: храбрый, как лев, умеющий всегда найти выход из самого трудного положения и высоко ценимый судовладельцами. Это человек с репутацией.

— С репутацией зверя,— заметил я.

— Говори что хочешь,— возразил Пинкертон,— а нам повезло, что мы сумели его заполучить,— я хоть завтра доверю ему жизнь Мэйми.

— Да, кстати, как у тебя с Мэйми? — спросил я. Джим перестал одеваться.

— До чего эта малютка мужественна и благородна! — воскликнул он.— Лауден, я собирался разбудить тебя вчера, когда вернулся, и не сочти за холодность, что я этого не сделал. Я зашел к тебе, увидел, что ты спишь, что лицо у тебя очень усталое, и решил тебя не тревожить. Я рассудил, что новости могут подождать до утра. А ведь даже ты, Лауден, не прочувствуешь их так, как я.

— Какие новости? — спросил я.

— Вот как было дело,— ответил Джим.— Я объяснил ей наше положение и сказал, что хочу вернуть ей ее слово. «Вы меня разлюбили?» — спрашивает она. Нет, ты только подумай! Но, я снова объяснил ей наше положение, сказал, что нам грозит банкротство, что тебе непременно нужно уехать и что я обязательно хочу, чтобы ты был моим шафером. Ну, и все остальное. «Если вы меня еще любите, то, мне кажется, есть только один выход,— отвечает она.— Давайте поженимся завтра, и мистер Лауден успеет стать вашим шафером прежде, чем он отплывет». Вот так она прямо и сказала, словно какая-нибудь героиня Диккенса! Даже разорение ее не испугало. «Значит, я тем более буду вам нужна»,— сказала она. Нет человека, которому бы так везло, как мне! Ты, я и Мэйми — это словно веревка из трех прядей, Лауден. Я и подумать боюсь, что кто-нибудь из вас может умереть... И ты ей очень нравишься, она считает тебя очень даровитым и говорит, что у тебя истинно аристократическая внешность. И она не меньше меня хочет, чтобы ты был моим шафером. Она зовет тебя «мистер Лауден». Как дружески это звучит! Вчера она не ложилась до трех — все возилась со своим подвенечным платьем. До чего же было приятно смотреть на нее, Лауден! Следить за тем, как мелькает игла, и думать: «Вся эта спешка, Джим, только для того, чтобы выйти за тебя замуж». Я просто поверить этому не мог — словно какая-нибудь сказка! А когда я вспомнил о тех временах, когда был бродячим фотографом, тут у меня уж и вовсе голова закружилась: каким я был тогда необразованным, некультурным и одиноким! А теперь! Ну просто не понимаю, чем я заслужил такое счастье...

И он продолжал изливать свою простодушную радость, а я старался уяснить из его бессвязной речи, каковы его дальнейшие планы. Оказалось, что они действительно собираются сегодня пожениться, что свадебный обед будет в ресторане Фрэнка, что вечером они посетят «Нору Крейн» и что затем мы с Джимом расстанемся: он поедет с женой на свою новую квартиру, а я поплыву к острову Мидуэй.

Если я и питал неприязнь к мисс Мэйми, то в эту минуту я все ей простил: ведь она проявила истинное мужество, доброту и благородство.

Погода испортилась, небо закрыли свинцовые тучи — я никогда еще не видел Сан-Франциско таким унылым, жалким и грязным. Казалось, он преждевременно состарился. Но все время, пока я, судорожно спеша, заканчивал дела в порту, в конторах, среди оглушительного шума и малопривлекательных зрелищ, у меня в душе раздавалась тихая музыка — я вспоминал о счастье своего друга.

И то сказать, это был чрезвычайно хлопотливый день. Не успели мы позавтракать, как Джим уже умчался в муниципалитет и в ресторан Фрэнка — ведь надо было подготовить свадьбу, а я поспешил в контору Джона Смита договариваться о поставке припасов, а оттуда — на «Нору Крейн». Среди окружавших ее могучих кораблей она показалась мне еще меньше, чем вчера. На ней и вокруг нее царил невообразимый хаос. Набережная была завалена бочками, ящиками, жестянками, инструментами, бухтами каната и миниатюрными бочонками с порохом. Казалось, никакой человеческий гений не в силах будет уместить все это в ее трюме. Джонсона я нашел на шкафуте. Помощник капитана был облачен в красную рубаху и холщовые брюки и весь кипел энергией. Обменявшись с ним несколькими словами, я отправился по узкому проходу между бортом и рубкой на корму и спустился по трапу в общую каюту, где капитан пил вино с портовым чиновником.

Я с неприязнью оглядел крохотную каморку, которой в течение многих недель предстояло быть моим домом. Справа тянулась перегородка, отделявшая капитанскую каюту, а слева одна над другой виднелись две неопрятные койки, упиравшиеся в ветхий буфет. Стены были желтые и сырые, пол — черный и измазанный каким-то жиром. Повсюду валялись старые газеты, соло-

ма, доски от ящиков, а единственными украшениями были подставка для стаканов, термометр, преподнесенный «в знак уважения» каким-то торговцем виски, рекламирующим свой товар, и подвешенная к потолку лампа. Трудно было представить себе, что не пройдет и недели, как эта каюта покажется мне веселой, светлой, нисколько не душной и даже обширной.

Я был представлен портовому чиновнику и его молодому приятелю, которого, как мне показалось, он привел с собой только для того, чтобы тот мог вволю накуриться дорогих сигар. Мы выпили за здоровье друг друга по стаканчику калифорнийского портвейна, слишком сладкого и слишком липкого, чтобы быть подходящим утренним напитком, а затем чиновник разложил на столе свои бумаги и была вызвана команда. Несколько минут спустя матросы ввалились в каюту и остановились, неуклюже переминаясь с ноги на ногу и глядя либо в пол, либо в потолок. На их лицах было написано смущение и явное желание сплюнуть, на что, конечно, никто не осмеливался. Единственным исключением был китаец-кок в белоснежном халате, державшийся с большой уверенностью и достоинством.

Полагаю, вам никогда не приходилось участвовать в фарсе, вроде того, который затем последовал. Морские законы Соединенных Штатов составлены в духе отеческой строгости и, очевидно, исходят из предпосылки, что всякий матрос — идиот от рождения, а его наниматели — негодяи и мошенники. Каждому матросу по очереди прочитывался длинный и многословный документ, именуемый «Инструкцией о правах кубрика». Прослушав его пять раз подряд, я, казалось бы, должен был вполне постигнуть его содержание; однако чиновник (весьма достойный человек) проделывал подобную процедуру каждый божий день по многу раз подряд, отчего, разумеется, читал с такой быстротой и монотонностью, что даже я, человек образованный, умевший сосредоточиваться, почти ничего не понял, а о матросах уж и говорить нечего. Отдача приказов не должна сопровождаться руганью, ношение ножей запрещается, место назначения — остров Мидуэй или любой другой порт, куда решит зайти капитан до истечения шести календарных месяцев, выплата жалованья в этом порту — вот что излагалось в этом документе с удивительным многословием, а больше я ничего уловить не сумел.

Закончив чтение, чиновник каждый раз переводил дух и затем начинал разговор о деле уже нормальным голосом. «Итак, любезный,— говорил он,— вы поступаете матросом на этот корабль за столько-то долларов в американской валюте. Напишите свою фамилию вот здесь, если у вас есть фамилия и вы умеете писать». После того как матрос, пыхтя от напряжения, подписывался, чиновник начинал заполнять официальный бланк с описанием его наружности: рост, особые приметы и т. п. При создании этих литературных портретов он, кажется, полагался всецело на вдохновение, ибо я ни разу не заметил, чтобы он бросил хоть один взгляд на своих натурщиков. Правда, ему помогали замечания капитана, вроде: «Волосы голубые, глаза рыжие... Нос пять футов семь дюймов, рост сломанный»,— и прочие шуточки, родившиеся вместе с возникновением американского торгового флота. Вершина юмора была достигнута, когда китайца-кока записали под именем «Пей-чай». В ответ на его протесты портовый чиновник только весело ухмыльнулся.

— Кроме того, капитан,— сказал он, начиная складывать свои бумаги, когда матросы удалились,— согласно закону, вы обязаны иметь на борту судовую лавку и аптечку.

— Я знаю,— ответил Нейрс.

— Очень хорошо,— закончил чиновник и налил себе еще стакан портвейна.

Однако, когда он ушел, я вернулся к этой теме, так как прекрасно знал, что у нас нет ни той, ни другой.

— Ну как же,— протянул Нейрс,— вон на набережной лежит ящик с шестьюдесятью фунтами табака и еще двадцать фунтов всяких консервов. А кроме того, я никогда не ухожу в плавание без обезболивающей микстуры.

На самом деле у капитана был большой запас всяческих патентованных снадобий, которыми он, по обычаю моряков, пользовался с большим рвением, но очень бестолково. У него хранился также запас каких-то покрытых плесенью полупустых пузырьков без этикеток, и время от времени он открывал их, нюхал и размышлял вслух: «Кажется, пахнет, как средство от поноса. Попробовать, что ли? Пожалуй, попробую». Однако товары в судовой лавке исчерпывались пачками дешевого табака. Вот так составляются отечески строгие законы

и так они обходятся: когда наша шхуна вышла в море, она, как и множество других, подлежала штрафу в шестьсот долларов за отсутствие лавки и аптечки.

Этот эпизод, который занял столько места в моем описании, на самом деле промелькнул совсем незаметно — день был слишком полон всяческих волнений и забот. Чтобы от зари и до сумерек успеть снарядить шхуну в плавание и подготовить брачную церемонию, требовались поистине героические усилия. Весь день мы с Джимом бегали по городу, смеялись, чуть не плакали, тревожно советовались друг с другом, а затем устремлялись (с готовым сарказмом на устах) к модистке, задержавшей шляпку, на шхуну или в контору Джона Смита, а на каждом втором углу нами же выпущенные огромные афиши напоминали нам о нашем отчаянном положении. И все же я улучил время посетить полдюжины ювелирных лавок, и выбранный мной подарок был принят очень мило. Кажется, покупка подарка была последней (хотя отнюдь не наименьшей) из моих забот, перед тем как старого священника, добродушного старичка, извлекли из его дома и привели в нашу контору, словно дрессированного пуделя. И там, в сгущающихся сумерках, под холодным блеском двухсот бутылок «Тринадцати звездочек», рядом с пестрым великолепием сельскохозяйственной машины, Мэйми и Джим соединились навек.

Хотя обстановка была более чем неподходящая, сама церемония показалась мне очень милой и трогательной. машинистки, сияя улыбками, держали чудесные букеты, Мэйми скромно потупляла глаза, а Джим... как я могу описать бедного преображенного Джима? Он начал с того, что отвел священника в дальний угол конторы. Не знаю, о чем шла речь, но у меня есть основания полагать, что он объявлял себя недостойным такого счастья. Разговаривая со священником, он плакал, а тот растроганно утешал и ободрял его, и я слышал, как он произнес следующее: «Уверяю вас, мистер Пинкертон, что не много найдется людей, которые имели бы право сказать о себе это...» Отсюда я сделал вывод, что мой друг, осыпая себя обвинениями, позволил себе по крайней мере одну законную похвальбу. Затем Джим подошел ко мне, и, хотя у него хватило сил только назвать меня по имени и стиснуть мою руку, он заразил своим волнением и шафера.

Наконец брачная церемония началась. Джим был просто в экстазе. Даже священник проникся к нему глубочайшей симпатией и закончил службу небольшой теплой речью, в которой поздравил Мэйми с чудесным мужем и заявил, что ему редко приходилось сочетать браком более интересную пару. В эту самую минуту к довершению общей радости в контору была доставлена карточка Дугласа Лонгхерста с поздравлениями и ящик с четырьмя дюжинами шампанского. Одну из бутылок откупорили немедленно, священник провозгласил тост за новобрачную, подружки после жеманных отнекиваний согласились отпить вина, после чего я, в свою очередь, произнес веселый тост. Но бедняге Джиму не пришлось попробовать шампанского: улучив момент, я шепнул ему:

— Не пей! Ты так взволнован, что сразу станешь пьян как сапожник.

И, пожав мне руку, Джим шепнул в ответ:

— Спасибо, Лауден! Ты снова меня спас!

Затем мы с несколько судорожной веселостью поужинали в ресторане Фрэнка, откуда, захватив двадцать бутылок шампанского (больше я взять отказался), отправились в извозчичьей карете на «Нору Крейн».

— Ах, какой милый кораблик! — воскликнула Мэйми, увидев шхуну, и затем повернулась к шаферу.— И как вы храбры, мистер Додд! — воскликнула она.— На такой крохотной скорлупке отправиться далеко в океан! — И я заметил, что ее мнение обо мне заметно улучшилось.

На «милом кораблике» царил ужасный беспорядок, а все его обитатели валились с ног от усталости и были настроены чрезвычайно кисло. Кок расставлял в кладовой консервы, и четыре угрюмых матроса, обливаясь по́том, перебрасывали их по цепочке со шкафута. Джонсон клевал носом, сидя у стола, а капитан, лежа на койке в своей каюте, угрюмо курил сигару.

— Вот что,— сказал он, вставая,— зря вы сюда пожаловали. Раз нам завтра отплывать, мы не можем прервать работу, и вообще на корабле, готовящемся к отплытию, не место посторонним. Вы только помешаете матросам.

Я собирался было ответить что-то резкое, но Джим, хорошо знавший подобных людей,— ему не раз приходилось иметь с ними дело,— поспешил пролить масло на бушующие воды.

— Капитан,— сказал он,— я знаю, что мы здесь всем мешаем и что вам сейчас не до нас, но мы просто хотели попросить вас выпить с нами стакан шампанского, которое прислал Лонгхерст, чтобы отметить мою свадьбу и отъезд Лаудена... мистера Додда.

— Ну, дело ваше,— сказал Нейрс,— полчаса, конечно, роли не играют. Эй вы, шабаш! — крикнул он матросам.— Полчаса можете отдыхать, но только чтоб потом дело шло живее. Джонсон, поищите-ка стул для дамы!

Тон его был столь же нелюбезен, как и его слова, но когда Мэйми подняла на него свои сияющие глаза, сообщила ему, что он первый настоящий морской капитан, с которым ей довелось познакомиться, выразила восторг перед его отвагой и каким-то необъяснимым образом дала ему понять, что находит его внешность красивой и мужественной, наш медведь постепенно смягчился и принялся перечислять неприятности этого дня, словно извиняясь за свое дурное настроение.

— Черт знает что такое! — сказал он.— Половина припасов никуда не годится. Джон Смит дождется, что я сверну ему шею. Затем явились два негодяя-газетчика и пытались взять у меня интервью, пока я не пригрозил изукрасить их так, что родная мать не узнает. Потом приполз какой-то миссионер, предлагая бесплатно свои услуги в качестве матроса, чтобы мы отвезли его на Раиатэа или куда-то там еще... Я пообещал ему хорошего пинка, и он ушел, ругаясь на чем свет стоит. Так бы я и позволил ему портить вид моей шхуны.

Пока капитан произносил эту речь, где юмор так странно сочетался с самомнением, я заметил, что Джим смотрит на него внимательным, оценивающим взглядом, словно на что-то интересное, но давно знакомое.

— На одно слово, Лауден,— сказал Джим, неожиданно повернувшись ко мне, и, когда мы вышли на палубу, продолжал: — Он всегда будет стараться настоять на своем, но ты, пожалуйста, с ним не спорь. Я знаю эту породу: он скорее умрет, чем кого-нибудь послушается, а если ты его разозлишь, он растопчет тебя. Я редко навязываюсь с советами, Лауден, и только когда твердо знаю, что́ говорю.

Столь неудачно начавшаяся беседа благодаря смягчающему влиянию шампанского и присутствию женщины стала гораздо дружелюбнее и оживленнее. Мэйми в великолепной широкополой шляпе и в шелковом пунцовом платье казалась на фоне убогой каюты настоящей королевой. Беспорядок вокруг подчеркивал ее свежесть и аккуратность, неуклюжий Джонсон оттенял ее хрупкое изящество, и она сияла в этой жалкой каморке, как звезда, так что даже я, не принадлежавший к числу ее поклонников, почувствовал легкое восхищение. А капитан, который отнюдь не был дамским угодником, предложил, чтобы я увековечил эту сцену своим карандашом.

Как я ни торопился, прошло около полутора часов, прежде чем мой рисунок был закончен: портрет Мэйми был отделан во всех деталях, а изображения остальных только набросаны, в том числе на заднем плане — изображение самого художника, которое было найдено очень похожим. Но больше всего Мэйми понравился ее собственный портрет.

— Ах! — воскликнула она.— Неужели я действительно такая? Неудивительно, что Джим...— Она запнулась и закончила, перефразируя строку известных стихов: — Портрет так же прелестен, как Джим хорош.

Мы все засмеялись, и вскоре уже прощались с ней и Джимом, и смотрели им вслед, когда они проходили по освещенной фонарями пристани.

Так мы расстались среди шуток и смеха. И я осознал, что́ произошло, только когда все было кончено. Фигуры новобрачных исчезли в вечернем сумраке, их шаги замерли, на борту шхуны матросы снова взялись за работу, а капитан — за свою сигару, и после долгого дня, заполненного самыми разнообразными делами и чувствами, я наконец остался наедине с собой. У меня было очень тяжело на сердце, но, возможно, это объяснялось усталостью. Я стоял, облокотившись о борт, глядел то на затянутое облаками небо, то на отражение фонарей, дрожащее в волнах, и чувствовал себя как человек, утративший всякую надежду и мечтающий о могиле, словно о спокойном приюте. Но тут я вдруг подумал о «Городе Пекине», приближающемся со скоростью тринадцати узлов к Гонолулу, с ненавистным Трентом (а может быть, и с таинственным Годдедаалем) на борту. И при этой мысли кровь закипела у меня в жилах. Мне показалось, что нам ни за что их не опередить — ведь мы до сих пор стоим у причала и занимаемся каки-

ми-то глупыми консервами, теряя драгоценные минуты! «Ну, пусть они доберутся туда первыми, пусть! Мы тоже туда явимся». Я считаю, что в этот миг круг моего жизненного опыта замкнулся — я с радостью подумал о возможном кровопролитии, и больше мне испытать было нечего.

Кроме того, еще одна мысль радовала меня. Я понял, что моему другу удалось меня воспитать, что романтика делового предприятия (если только наша нелепая покупка заслуживала такого названия) опьянила мою душу дилетанта, и кровь янки в моих жилах ликовала и пела, пока мы выходили через бурлящий пролив из бухты.

Прошло много времени, прежде чем работа кончилась и я смог лечь. Но и потом сон продолжал бежать моих глаз, а едва я заснул, как (по крайней мере так мне показалось) был уже разбужен криками матросов и скрипом натянувшихся канатов.

Мы отчалили прежде, чем я успел выйти на палубу. В туманном предрассветном сумраке я увидел впереди дым и огни буксира, который выводил нас из гавани, и услышал, как он, пыхтя, режет крупную зыбь бухты. Над нами, окутанный туманом, лежал на холмах Сан-Франциско, сверкая огнями. Мне показалось странным, что фонари еще не погашены,— ведь без них, только при бледном свете зари, я сумел узнать одинокую фигуру, стоящую у причала.

А может быть, я узнал ее не глазами, а сердцем, эту смутную фигуру на темной пристани? Не могу сказать, но, во всяком случае, это был Джим — Джим, пришедший проститься со мной. Мы успели только помахать друг другу рукой на прощание, он что-то крикнул, но я не разобрал, что. Так мы расстались во второй раз, но теперь наши роли переменились: я должен был ускорять ход событий, планировать, добиваться цели, быть может, ценой жизни, а ему пришлось остаться дома, считать дни и ждать.

Когда мы вышли в открытый океан, оказалось, что еще дует свежий северо-восточный бриз. Мы поспели вовремя. Солнце едва появилось над горизонтом, когда буксир, сбросив канат, отсалютовал нам тремя гудками и повернул назад к берегу, озаренному первыми лучами нового дня. «Нора Крейн», подняв все паруса, начала свое долгое плавание к выброшенному на мель бригу.

ГЛАВА XII

«НОРА КРЕЙН»

Я люблю вспоминать приятное однообразие плавания по Тихому океану, когда дует ровный и сильный пассат и корабль дни и ночи летит вперед, не замедляя хода. Громоздящиеся горы пассатных облаков, которыми можно любоваться (а я к тому же и писал их) при любой прихотливой игре света, когда они закрывают звезды, когда купаются в ярком блеске луны, когда они темной грядой перерезают горизонт, пылающий на западе багряными огнями заката, и, наконец, когда они в полдень вздымают свои снежные вершины между синим сводом небес и синим простором океана. Нетороплива жизнь маленького хлопотливого мирка шхуны, такая незнакомая и интересная: ловля дельфинов гарпуном с бугшприта, священная война с акулами, кок, месящий тесто у главного люка, взятие рифов на парусах перед налетающим шквалом; самый шквал, когда падает сердце и словно все хляби небесные обрушиваются на шхуну, а когда он проносится — неизъяснимая радость, обновленная прелесть океана, над которым снова сияет солнце, а наш побежденный враг — уже только пятнышко с подветренной стороны. Я люблю вспоминать эту жизнь, и как хотелось бы мне точно восстановить все незабываемое и уже давно забытое! Память, столь мудро отказывающаяся регистрировать боль, в то же время не сохраняет для нас и пережитого удовольствия, если оно длилось долго. Мы просто смутно помним что-то приятное, окутанное розоватой дымкой, и все.

Но в одном блаженном воспоминании я уверен. Термометр виноторговца в позолоченной солнцем каюте день за днем показывал двадцать восемь градусов, день за днем воздух сохранял все ту же животворность и нежность — он был прохладен и сладок, как напиток здоровья. День за днем сияло солнце, ночь за ночью светила луна или мерцали мириады звезд. Я замечал в себе какую-то перемену, обновление всего моего организма.

У меня было такое ощущение, словно я наконец нашел себе климат по сердцу, и я с жалостью вспоминал ту промозглую сырость, которая почему-то называется умеренным климатом.

— Два таких года, хорошее местечко на каком-нибудь острове — и человек совсем размягчается,— как-то сказал капитан.— Он уже нигде больше счастлив быть не может. Вот так и произошло с одним моим земляком. У них на корабле случился пожар, и он выбрался на один из островов архипелага Навигаторов. Потом он мне писал, что не покинет этого острова, пока жив. А ведь он из богатой семьи, у его отца есть свои корабли. Но Билли предпочитает валяться на песке и есть горячие булочки с хлебных деревьев.

Внутренний голос шепнул мне, что я могу разделить судьбу Билли. Но не помню, когда это было. К острову Мидуэй мы шли северным курсом, и, возможно, я бессознательно распространил на все плавание впечатление от нескольких дней, а может быть, это чувство возникло во мне много позже, когда мы уже направлялись к Гонолулу... Но в одном я уверен: я проникся преданной любовью к Южным Морям задолго до того, как увидел хотя бы один из их островов, достойный этого названия. Под таким синим небом не может надоесть даже однообразие океана, и нет на земле места лучше палубы шхуны, там, где дуют пассаты.

Если бы не постоянная тревожная мысль о том, что ждет нас, когда плавание кончится, само плавание было бы чудесным отдыхом. Я чувствовал себя великолепно; облака и волны давали достаточно материала для моего альбома, а кроме того, у меня было и другое развлечение — я изучал противоречивый характер моего друга капитана. Я уже называю его другом, хотя тогда до этого было еще далеко. В те дни меня слишком ужасало то, что я считал его варварством, слишком озадачивала изменчивость его настроений, слишком раздражали довольно безобидные проявления его тщеславия, чтобы я мог смотреть на него иначе, как на свой тяжкий крест. И только постепенно, в те редкие часы, когда он бывал в хорошем расположении духа, когда он словно забывал (и заставлял забывать меня) о своих недостатках, во мне начинало просыпаться чувство, похожее на привязанность. В конце концов я понял, что эти недостатки — как диссонансы в музыкальном произведении. Я принял их и стал даже находить их интересными — так мы восхищаемся дымящейся вершиной вулкана или густыми зарослями на топком болоте.

Капитан происходил из хорошей семьи. Он родился в Восточных штатах и учился в прекрасной школе. Однако с самого детства он был вспыльчив и необыкновенно упрям (весьма возможно, что эти качества он унаследовал от своего отца, и в его разрыве с семьей виноват, вероятно, не он один) и, поссорившись с родными, стал юнгой. На корабле с ним обращались ужасно, но это не заставило его раскаяться в своем решении, а только ожесточило: он сбежал с этого корабля в одном из южноамериканских портов, занялся там какой-то торговлей и, хотя был еще совсем мальчиком, нажил порядочные деньги, попал в дурную компанию, был дочиста ограблен, попросился на корабль матросом без жалованья с тем только, чтобы снова вернуться на родину, и в одно прекрасное утро постучался в дверь старушки соседки, у которой в детстве воровал в саду яблоки. Казалось бы, его появление должно было доставить ей мало удовольствия, но Нейрс знал, что делает. Увидев перед собой своего былого врага в лохмотьях, изможденного, старая дева растрогалась.

— Я всегда питал слабость к этой старушке,— сказал Нейрс.— Даже когда она метлой выгоняла меня из своего сада или сердито грозила мне пальцем в наперстке, стоило мне пройти мимо ее окошка. Я всегда считал, что она старуха добрая. Ну, когда она мне открыла дверь в то утро, я так ей это и сказал и еще сказал, что я совсем на мели. А она меня сразу провела в комнату и стала угощать пирогом.

Она одела его, платила за его обучение и снова отправила в море, а потом приветливо встречала при возвращении из каждого плавания и, когда умерла, оставила ему все свое имущество.

— Очень она была добрая,— говорил он.— И знаете, мистер Додд, ужасно смешно это было,— когда мы с ней гуляли по ее саду, а мой старик хмурился на нас через забор. Она же была его соседкой, и, наверное, потому-то я к ней и пришел. Я хотел, чтобы он знал, до чего мне скверно и что я все-таки скорее обращусь за помощью к черту, чем к нему. А ему это было еще неприятнее, потому что он в свое время с ней рассорился из-за меня и из-за яблок, и теперь он бесился дальше некуда. Да, я в молодости был порядочной свиньей, но старушку мою никогда не обижал.

Постепенно он стал знающим и опытным моряком. Наследство ему досталось во время плавания на «Жнеце», и теперь, как только улягутся разговоры, вызванные капитаном этого судна, он должен был получить под свою команду корабль. Ему было около тридцати лет. Он производил впечатление человека очень сильного и подвижного. Глаза у него были синие, густые каштановые волосы росли низко надо лбом, а его энергичный подбородок всегда был чисто выбрит. Он неплохо пел, неплохо играл на любимом инструменте моряков — аккордеоне, был находчив в споре и очень наблюдателен, когда хотел, умел быть необыкновенно любезным и милым, а порой становился настоящим зверем. Его обращение с командой, его издевательства, ругань и постоянные придирки могли бы, кажется, заставить взбунтоваться даже галерных рабов. Предположим, рулевой на что-нибудь загляделся. «Ах ты... голландец[1]-голодранец! — рявкал Нейрс.— Вот дам тебе хорошего пинка, так будешь знать, как глазеть по сторонам! А ну, смотри на компас, не то плохо тебе придется!» Или, предположим, какой-нибудь матрос задержался на корме, куда его за чем-нибудь вызвали. «Мистер Дэниэлс, не сделаете ли вы мне большое одолжение, отойдя от мачты? — начинал капитан с насмешливой вежливостью.— Благодарю вас. И, может быть, вы будете так добры сказать мне, какого черта вас сюда занесло? Я не хочу, чтобы здесь околачивались олухи вроде вас! Вам что, нечем заняться? Обратитесь к помощнику. Лучше не ждите, чтобы я сам нашел вам работу, а не то две недели проваляетесь в лазарете».

Подобные высказывания, тем более обидные, что капитан знал все слабые места своей жертвы и умел этими знаниями пользоваться, произносились таким грозным голосом и сопровождались такими яростными взглядами, что несчастного матроса начинала бить дрожь. Очень часто за подобной речью следовал удар кулаком, и у меня вся кровь вскипала при виде такого трусливого нападения — ведь матрос не мог ответить тем же, потому что это было бы тяжелым преступлением, за которое ему пришлось бы отвечать по закону. Он вставал с палубы и, пошатываясь, уходил в кубрик,

[1] На жаргоне тихоокеанских моряков голландцами называют немцев и уроженцев Скандинавии. *(Прим. автора.)*

испытывая, вероятно, жгучую ненависть к своему обидчику.

Может показаться странным, что я начал питать дружеские чувства к этому тирану. Может показаться еще более странным, что я оставался спокойным зрителем и не пытался положить конец подобным сценам. Однако я был не настолько глуп, чтобы вмешиваться на людях: ведь это могло привести к тому, что половина из нас погибла бы во время мятежа, а вторая половина отправилась бы на виселицу. Уж лучше пусть будет избит один человек, рассуждал я. Впрочем, когда мы оставались наедине, я не переставая спорил с ним.

— Капитан,— сказал я ему однажды, взывая к его патриотизму, потому что он считал себя патриотом,— разве можно так обращаться с американскими моряками? Неужели это по-американски — смотреть на матросов, как на собак?

— Американцы? — повторил он угрюмо.— По-вашему, все эти голландцы и черномазые итальяшки — американцы? Вот уже четырнадцать лет, как я плаваю по морям и — за одним исключением — всегда под американским флагом, и я еще ни разу не видел матроса-американца. А с этой швалью надо держать ухо востро. Если их распустить, того и гляди, получишь нож в спину или упадешь за борт темной ночью. Нет, единственный способ держать команду в руках — это нагнать на нее страх.

— Но послушайте, капитан,— сказал я,— всему есть мера. У американских кораблей такая скверная репутация, что, если бы не большое жалованье и приличная еда, ни один матрос не пошел бы служить на них. Даже и так многие предпочитают английские корабли, хоть там и платят меньше и кормят скверно.

— А, лимонщики? — сказал он.— Они тоже матросам спуску не дают, хоть и попадаются среди них тюфяки.— Тут он улыбнулся как человек, вспомнивший что-то смешное, и продолжал: — Вот я вам сейчас кое-что расскажу, хоть, может, это и не в мою пользу. В 1874 году нанялся я помощником на английский корабль «Мария», отправлявшийся из Фриско в Мельбурн. Такой странной посудины я с тех пор никогда не видывал. Еда такая, что в рот не положишь, и все сдобрено лимонным соком. Когда я смотрел, что ела команда, меня тошни-

ло, да и собственный обед аппетита не вызывал. Капитан был ничего себе, кроткий такой старикашка, по фамилии Грин. Но команда — сброд сбродом. А когда я пытался привести матросов в человеческий вид, капитан всегда становился на их сторону! Но будьте уверены, я никому не позволю мной командовать! «Отдавайте мне распоряжения, капитан Грин,— сказал я,— и я их выполню, а остальное вас не касается. Свои обязанности я буду выполнять, а уж как — это мое дело, и ничьих поучений мне не требуется». Ну, конечно, старик озлил меня и озлил всю команду. И мне приходилось драться чуть ли не каждую вахту. Матросы меня так возненавидели, что зубами скрипели, когда я проходил мимо. Както раз гляжу, скотина-голландец избивает юнгу. Я подошел и сшиб мерзавца с ног. Он вскочил, а я его опять уложил. «Ну,— говорю,— хочешь еще? Только скажи, и я тебе все ребра переломаю!» Но он остался лежать смирнехонько, точно поп на похоронах. Так его и вниз унесли — пусть себе думает про свою Голландию. Как то ночью на двадцать пятом градусе южной широты попали мы в шквал. Наверное, мы все спали, потому что не успел я сообразить, в чем дело, как у нас сорвало фор-брамсель. Кинулся я на нос, ругаюсь — небу жарко, а когда пробегал мимо фок-мачты, что-то свистнуло у меня над ухом и вонзилось в плечо. Гляжу — а это нож! Негодяи подкололи меня, как свинью. «Капитан!» — кричу я. «В чем дело?» — спрашивает он. «Они меня подкололи»,— говорю я. «Подкололи? — спрашивает он.— Ну, я этого давно ждал». «А, черт побери! — кричу я.— Я сведу с ними счеты!» «Вот что, мистер Нейрс,— говорит он,— идите-ка вы к себе в каюту. Будь я на месте матросов, вы бы так дешево не отделались И попрошу вас больше на палубе не ругаться. Вы и так уж обошлись мне в фор-брамсель». Вот так старик Грин стоял за своих офицеров! Но вы погодите, ягодки еще впереди. Пришли мы в Мельбурн, старик и говорит: «Мистер Нейрс, мы с вами не сработались. Моряк вы первоклассный, с этим никто не спорит, но такого неприятного человека мне еще встречать не приходилось, а вашу ругань и обращение с командой я больше терпеть не намерен. Нам лучше расстаться». Уйти-то я был рад, только я на него озлился и решил отплатить ему за его подлость тем же. Ну, я сказал, что пойду на берег и осмотрюсь. Съездил я на берег, навел справки —

вроде все хорошо складывается, вернулся опять на «Марию» и поднялся на мостик. «Ну как, думаете укладывать ваш багаж, мистер Нейрс?» — спрашивает старик. «Нет,— говорю,— пожалуй, до Фриско мы с вами не расстанемся. Хотя это вам решать: я-то рад уйти с «Марии», да не знаю, захотите ли вы выплатить мне за три месяца вперед по договору». Он тут же полез за деньгами. «Сынок,— говорит,— это,— говорит,— еще дешево!» Так он меня опять поддел.

Странный это был рассказ, особенно если вспомнить, о чем мы вели спор, но он вполне отвечал характеру Нейрса. Стоило мне высказать какой-нибудь убедительный довод, стоило мне справедливо осудить какие-нибудь его поступки или слова, как он подробно записывал мои возражения в свой дневник (который мне довелось прочесть впоследствии), причем указывал, что я был прав. Точно так же, когда он говорил о своем отце, которого ненавидел, он старался быть к нему справедливым, что производило даже трогательное впечатление. Больше мне не доводилось встречать человека с таким странным характером — столь внутренне справедливого и столь обидчивого, причем обидчивость всегда брала верх над чувством справедливости. Такой же странной была его храбрость. Он любил бороться с опасностью, она никогда не заставала его врасплох. И в то же время мне не доводилось встречать человека, который с таким постоянством ожидал бы дурных последствий когда угодно и от чего угодно, особенно если дело касалось моря. Храбрость была у него в крови не только охлажденной, но просто замороженной дурными предчувствиями. Во время шквала он ставил нашу скорлупку боком к ветру и черпал бортом воду до тех пор, пока я не решал, что пришел мой последний час, а матросы без команды бросались на свои места. «Ну вот,— заявлял он.—Наверное, тут не найдется человека, который был бы способен продержать ее так дольше, чем я: больше они уже не станут хихикать, будто я ничего не понимаю в шхунах. Бьюсь об заклад, ни один капитан этой лоханн, будь он пьян или трезв, не сумел бы продержаться так долго на критическом крене». И тут же он принимался каяться и жалеть, что вообще ввязался в это плавание, а затем подробно расписывал коварство океана, ненадежность оснастки любой шхуны (терпеть он шхун не может!), бесчисленные способы, какими мы могли

отправиться на дно, и внушительные флотилии кораблей, которые уходили в плавание на протяжении истории, скрывались из глаз наблюдателей и более не возвращались в родной порт. «Ну, да важность какая! — заканчивал он обычно свои тирады.— И для чего жить-то? Конечно, будь мне сейчас лет двенадцать, да сиди я на чужой яблоне и угощайся чужими яблоками, я бы так не говорил. А эта взрослая жизнь — чепуха, и больше ничего: моряцкое дело, политика, святошество и все прочее. Куда лучше спокойно утонуть!» Каково было выслушивать все это бедной сухопутной крысе в бурную ночь? Просто невозможно придумать что-нибудь менее подобающее моряку (как мы воображаем моряков и какими они обычно бывают), чем эти постоянные минорные рассуждения. Эту сторону его характера я успел основательно изучить еще до конца нашего плавания.

Утром на семнадцатый день после нашего отплытия из Сан-Франциско, выйдя на палубу, я обнаружил, что на парусах взяты двойные рифы и что все-таки шхуна стремительно несется по довольно бурному морю. До сих пор нашим уделом были ровные пассаты и гудящие, туго надутые ветром паруса. Теперь, когда мы приближались к острову, мне все труднее становилось сдерживать мое волнение, и уже несколько дней больше всего меня интересовали показания лота, результаты ежедневных определений широты и долготы и прокладка нашего пути на карте. И на этот раз я немедленно посмотрел на компас, а затем — на лот. Лучшего я не мог бы пожелать: мы шли точно по курсу, и начиная с девяти часов предыдущего вечера шли со скоростью не меньше восьми узлов. Я даже вздохнул от удовольствия. Но тут какой-то неприятный зимний облик моря и неба заставил мое сердце похолодеть. Мне показалось, что шхуна выглядит особенно маленькой, а матросы угрюмо молчат и с опаской поглядывают на облака. Нейрс был в скверном настроении и даже не кивнул мне. Он тоже, казалось, следил за ходом корабля внимательно и тревожно. Еще больше меня смутил тот факт, что у штурвала стоял сам Джонсон и что он то и дело перекладывал его, часто с видимым усилием, а когда время от времени оглядывался через плечо на вздымающиеся за нами черные валы, то, словно человек, уклоняющийся от удара, втягивал голову в плечи.

Я понял, что все идет не так, как следовало бы, и

не пожалел бы горсти долларов за ясные и прямые ответы на вопросы, которые не осмеливался задать. Рискни я заговорить с капитаном, невзирая на его нахмуренные брови, я услышал бы только, что суперкарго (это мое звание поминалось только в минуты раздражения) лучше всего сидеть в каюте и не высовывать носа на палубу. Поэтому мне оставалось только по мере сил бороться со своими смутными страхами, пока капитан не соблаговолит по собственному почину объяснить, что происходит. Ждать мне этого пришлось не так уж долго. Едва кок позвал нас к завтраку, и мы уселись за узким столом друг против друга, как Нейрс сказал, бросив на меня странный взгляд:

— Видите ли, мистер Додд, у меня к вам небольшое дельце. Последние два дня ветер все свежел и развел большую волну. Барометр падает, ветер продолжает свежеть, и можно ждать бури. Если я положу шхуну по ветру, то нас унесет бог знает куда. А если я буду продолжать идти по курсу, то мы дойдем до острова завтра днем и сможем укрыться в лагуне или с его подветренной стороны. А решать вам надо вот что: предпочтете ли вы рискнуть, чтобы капитан Трент опередил вас, или вы предпочтете рискнуть шхуной. Мне было сказано: управлять кораблем так, чтобы вы были довольны,— прибавил он, злобно усмехнувшись.— Ну, так вот вопрос, который должен решать суперкарго.

— Капитан,— ответил я, холодея от страха,— лучше риск, чем верная неудача.

— Жизнь — это сплошной риск, мистер Додд,— ответил он.— Но учтите, что решать надо немедленно: через полчаса даже сам господь бог не сможет положить шхуну по ветру.

— Хорошо,— сказал я,— идем к острову.

— К острову так к острову,— ответил он и принялся за еду.

Все эти роковые полчаса он с аппетитом жевал мясной пирог и выражал горячее желание снова оказаться в Сан-Франциско.

Когда мы вышли на палубу, он сменил Джонсона у штурвала — в такую погоду они боялись доверить штурвал матросам,— а я стал рядом с ним, потому что от его соседства мне было как-то спокойнее. Картина разбушевавшейся стихии, так же как и принятое мною решение, возбуждала во мне восторг, смешанный со

страхом. Ветер так пронзительно свистел в снастях, что у меня порой душа уходила в пятки. Огромные валы били в борт и захлестывали палубу. Пришлось задраить люки.

— И мы должны терпеть все это ради долларов мистера Пинкертона! — неожиданно воскликнул капитан.— Сколько бравых моряков погибло в волнах, мистер Додд, из-за дельцов вроде вашего друга. Разве они боятся потерять корабль или два? Ведь корабли-то застрахованы. А что для них жизнь команды по сравнению с двумя-тремя тысячами долларов! Им нужна только скорость да дурак капитан, который поведет судно на верную гибель, как сейчас делаю я, и хоть убейте, не знаю, зачем я вообще согласился.

Я ушел подальше от кормы настолько поспешно, насколько позволяла вежливость. От этого разговора мне стало еще больше не по себе, и он натолкнул меня на множество неприятных мыслей. Я рисковал собственной жизнью и подвергал опасности жизнь еще семи человек, а с какой целью? Ради довольно большого количества смертоносного яда. Другого ответа не было. И я подумал, что если мифы о загробной жизни окажутся правдой, то, представ сейчас перед вечным судией, я едва ли найду себе какое-нибудь оправдание. «Ну ничего, Джим,— подумал я,— это все ради тебя».

Около одиннадцати часов на гроте был взят третий риф, и Джонсон, расстелив на мокром полу каюты штормовой грот, начал вместе с двумя матросами быстро приводить его в порядок.

К обеду я ушел с палубы и пристроился на койке, отупев от головокружения и ужаса. Бедная «Нора Крейн» прыгала и металась по волнам, словно олень, убегающий от собак, и я, ударяясь то о стол, то об угол койки, скоро весь покрылся синяками. Над головой дико ревела охотница-буря, выл ветер, скрипел корпус шхуны, хлопали паруса, гремели о борта волны; а порой, мнилось мне, перекрывая этот шум, раздавался почти человеческий голос, подобный рыданию ангела — я знал имя этого ангела, знал, что крылья его черны. Казалось, никакое создание рук человеческих не выдержит безжалостной хватки моря, которое швыряло шхуну с одной водяной горы на другую, сотрясая ее до самого киля, как ребенка на дыбе. Казалось, каждая досочка на ней молит о пощаде, но тем не менее шхуна продолжала храбро

бороться с волнами, и я почувствовал большую симпатию к ней и все усиливающееся восхищение перед ее мужеством и упорством. Эти мысли отвлекали меня, и я порой забывал о грозящей мне смерти. Какую благодарность испытывал я к плотникам, создавшим такой маленький и такой крепкий корабельный корпус! Они трудились не только ради денег — они помнили, что от них зависит спасение человеческих жизней.

Остаток дня и всю ночь я просидел или пролежал не смыкая глаз на своей койке, а на рассвете новая тревога опять погнала меня на палубу. Этот вечер и эта ночь были, пожалуй, самыми мрачными в моей жизни. Джонсон и Нейрс продолжали сменять друг друга у штурвала, и тот, кто освобождался, приходил в каюту. Не успев войти, они оба смотрели на барометр, затем, хмурясь, принимались постукивать по стеклу — барометр продолжал непрерывно падать. Затем, если это был Джонсон, он брал из буфета бутерброд и, стоя у стола, принимался жевать его, иногда обращаясь ко мне с каким-нибудь шутливым замечанием вроде: «Ну и холодина же на палубе, мистер Додд!» Это сопровождалось усмешкой. Или: «Уж поверьте, такая ночка не для тех, кто ходит в пижамах». А затем он кидался на свою койку и крепко спал положенные ему два часа перед следующей вахтой.

Но капитан не ел и не спал. «Вы здесь, мистер Додд? — спрашивал он, кончив стучать по барометру.— Ну, до острова сто четыре мили (или сколько там оставалось), и летим мы как бешеные. Будем там завтра в четыре часа, а может быть, и нет. Это уж как случится. Вот и все, что есть новенького. А теперь, мистер Додд, вы же видите, как я устал, так что ложитесь-ка снова на вашу койку». После этой любезности он крепко прикусывал свою сигару и следующие два часа сидел, глядя на качающуюся лампу сквозь густое облако табачного дыма. Как-то потом он сказал мне, что это была для него очень счастливая ночь, но сам я никогда об этом не догадался бы.

— Видите ли,— объяснил он,— ветер-то был не такой уж сильный, зато волнение ничего хорошего не обещало. Да и шхуна капризничала. А барометр показывал, что мы где-то недалеко от центра урагана, и нельзя было сказать, удаляемся мы от него или мчимся в самое

пекло. Ну, а в таких случаях чувствуешь себя как-то по-особому торжественно и словно сам себе больше нравишься. Так уж странно мы устроены, мистер Додд.

Утро занялось зловеще ясное. Воздух был пугающе прозрачен, небо чисто, и край горизонта четко выделялся в синей дали. Ветер и бушующие волны, успевшие за ночь стать еще огромнее, по-прежнему обрушивались на шхуну. Я стоял на палубе, задыхаясь от страха. Мне казалось, что руки и ноги меня не слушаются. Когда шхуна скатывалась в узкую ложбину между двумя пенистыми горами, колени у меня подгибались, как бумажные, и я совсем терял голову от ужаса, когда какая-нибудь из этих черных гор обрушивалась на наш борт и я оказывался в воде чуть ли не по пояс.

Все это время я испытывал только одно сильное желание: ничем не выдать охватившего меня ужаса и любой ценой вести себя достойно, какая бы опасность ни грозила моей жизни. Как сказал капитан, «так уж странно мы устроены». Настало время завтрака, и я заставил себя выпить немножко горячего чаю. Затем меня послали вниз посмотреть, который час, и, глядя на хронометр слезящимися глазами, я никак не мог понять, какой смысл определять местоположение шхуны, когда она несется неизвестно куда среди бушующих волн. Утро тянулось нескончаемо в монотонном однообразии вечной опасности. И каждый поворот штурвала был так же рискован и так же необходим, как прыжок пожарного внутрь охваченной огнем комнаты.

Настал полдень. Капитан определил долготу и широту и проложил пройденный нами путь на карте с педантичной точностью, которая вызвала во мне насмешливое чувство, смешанное с жалостью: ведь очень возможно, что в дальнейшем эту карту увидят только глаза любопытных рыб. Прошло еще два часа. Капитан совсем помрачнел, и видно было, что он с трудом сдерживает раздражение и тревогу. Я не позавидовал бы матросу, который решился бы в эту минуту ослушаться его.

Неожиданно он повернулся к Джонсону, стоявшему у штурвала.

— Два румба право по носу,— пробормотал он, беря штурвал.

Джонсон кивнул, вытер глаза тыльной стороной своей мокрой руки, выждал минуту, когда шхуна поднялась на очередную волну, и, уцепившись за ванты, полез на грот-мачту. Я смотрел, как он взбирается все выше и выше, замирая, когда шхуна ныряла с гребня волны, и используя каждое мгновение относительного затишья. Наконец, добравшись до реи и обхватив одной рукой мачту, он стал всматриваться в горизонт на юго-западе. Еще через мгновение, скользнув вниз по бакштагу, он уже встал на палубу и, ухмыльнувшись, утвердительно кивнул, глядя на капитана. Еще одно мгновение — и он уже снова крутил штурвал, а его измученное, покрытое пóтом лицо расплывалось в улыбке, волосы развевались и полы куртки громко хлопали на ветру.

Нейрс сходил в каюту за биноклем и начал внимательно вглядываться в горизонт. Я последовал его примеру, но только у меня не было бинокля. Мало-помалу в белой пустыне бушующей воды я заметил пятно более густой белизны (небо тоже было туманным и молочно-белым, как во время шквала), а затем я стал различать рев более низкий и грозный, чем завывание бури: громовой грохот прибоя на рифах. Нейрс обтер рукавом бинокль и передал его мне, указав пальцем, куда смотреть. Я увидел бесконечный простор бушующих волн, потом — бледный кружок неба, затем — линию горизонта, изрезанную пенными гребнями волн, и вдруг на одно короткое мгновение, потому что я сразу потерял их из виду, мачты, флаг и разорванный в клочья топсель брига, ради которого мы предприняли этот тяжелый путь и за который так дорого заплатили. Снова и снова я ловил в бинокль его очертания и снова терял их из виду. Земли не было видно. Бриг словно висел между небом и водой, и ничего более грустного мне не приходилось видеть за всю мою жизнь. Затем, когда мы приблизились к нему, я заметил, что по обеим его сторонам тянется пенная линия прибоя, отмечающая внешний край рифа. Вдоль этой линии висела завеса из брызг, похожая на дым; прибой гремел, как пушечная канонада.

Через полчаса мы подошли почти к самому рифу. Еще примерно полчаса мы шли вдоль него, а затем волнение немного утихло, и шхуна ускорила ход. Это означало, что мы достигли наветренной стороны острова — так из любви к точности назову я это кольцо пены, водяной завесы и грома — и, обогнув подводную скалу, вошли в проход, ведущий в лагуну.

ГЛАВА XIII

ОСТРОВ И РАЗБИТЫЙ БРИГ

Все были охвачены радостью. Она читалась на всех лицах. Джонсон за штурвалом широко улыбался, Нейрс разглядывал план острова, и во взгляде его уже не было ярости, а матросы, столпившись на носу, оживленно переговаривались, указывая друг другу на берег. И неудивительно, ведь мы избежали почти верной гибели, а после долгого плавания среди бескрайней пустыни океана даже такой клочок суши казался необыкновенно заманчивым. Кроме того, по одному из тех злокозненных совпадений, благодаря которому судьба иногда кажется проказливым мальчишкой, чуть только мы оказались в безопасном месте, как буря начала утихать.

Однако едва я избавился от одного страха, как стал жертвой другого. Едва я понял, что скоро мы укроемся в лагуне, как проникся убеждением, что Трент успел там побывать раньше меня. Я взобрался на ванты и стал жадно всматриваться в кольцо кораллового рифа, в пенную полосу прибоя и в глубокую лагуну, которая лежала за ними. В ней уже можно было различить два островка — Мидл-Брукс и Лоуэр-Брукс, как именовались они в справочнике,— две невысокие, поросшие кустарником песчаные полосы около полутора миль в длину, тянущиеся с востока на запад и разделенные узким проливом. Над ними кружили, кричали и хлопали крыльями миллионы морских птиц, белых и черных, причем черные были гораздо крупнее. Вспыхивая в ярком солнечном свете, этот водоворот крылатой жизни непрерывно кружил внутри себя, а потом вдруг взрывался и рассеивался по всей лагуне, и мне невольно вспомнилось то, что я читал о небесных туманностях. Редкое облачко вилось над рифом и внешним морем: пыль от прежних взрывов, решил я. Был и еще один фокус у этого водоворота — несколько в стороне, у самой линии ревущего прибоя, с аккуратно свернутыми парусами (если не считать разорванного в клочья топселя) и с красным флагом английского торгового флота на грот-мачте виднелся «Летящий по ветру», созданный руками стольких тружеников, оставивший след в жизни стольких людей и бороздивший самые дальние уголки океана. Теперь он нашел здесь последнюю стоянку, и

океан уже начал разрушать его. И по направлению к нему неслась «Нора Крейн», словно коршун, собирающийся обглодать его кости. Но, как я ни вглядывался вдаль, я не мог заметить никаких признаков присутствия человека. В лагуне не было шхуны из Гонолулу, у борта которой толпились бы наши вооруженные соперники, над островками не вился дымок от костров, где стряпалась бы пища. Казалось, мы все-таки не опоздали, и я глубоко и с облегчением вздохнул.

Однако я пришел к этому приятному убеждению, только когда мы вплотную приблизились к линии прибоя, когда лотовой уже занял свое место на носу, а капитан поднялся на рей фок-мачты, готовясь провести нас по узкому проходу среди коралловых рифов в лагуну. Все обстоятельства нам благоприятствовали: заходящее солнце было позади нас, дул свежий и ровный ветер, а отлив еще не наступил. Еще мгновение — и мы проскользнули между двумя первыми бурунами, лотовой начал промер глубины, капитан принялся выкрикивать четкие слова команды, шхуна стала лавировать среди опасных подводных камней, и вскоре мы уже бросали якорь у северо-восточной оконечности островка Мидл-Брукс на глубине в пять саженей.

Паруса были свернуты, шлюпки очищены от всевозможного хлама, который набрался в них за время плавания, а палуба убрана — работа эта заняла добрых три четверти часа, и все это время я метался по палубе, как человек, мучимый сильной зубной болью. Переход от бушующего моря к сравнительному спокойствию лагуны странно подействовал на меня. Я не мог ни секунды пробыть в неподвижности. Медлительность матросов, до смерти уставших во время бури, раздражала меня так, словно они притворялись, а резкие крики морских птиц нагоняли на меня тоску, как погребальный звон. С огромным облегчением я наконец спустился в шлюпку вслед за Нейрсом и двумя матросами, и мы поплыли к «Летящему по ветру».

— А жалкий у него вид,— заметил капитан, кивая в сторону разбитого брига, от которого нас отделяло около полумили.— Похоже, что ему не очень-то нравится его стоянка и что капитан Трент не очень-то о нем заботился. Живей, живей, ребята! — прибавил он, обращаясь к матросам.— Вечером я вас всех отпущу на бе-

рег. Вы сможете поболтать с чайками и вдоволь напиться морской водицы.

Мы все рассмеялись этой шутке, и шлюпка еще быстрее заскользила по чуть подернутой рябью поверхности лагуны. Хотя «Летящий по ветру» затерялся бы среди морских великанов у пристаней Сан-Франциско, он был раза в три больше «Норы Крейн», и, когда мы подошли к его борту, он показался нам огромным. Бриг лежал, повернувшись носом к рифу, у которого вечно взлетали и падали волны бушующего прибоя, так что, направляясь к его правому борту, мы должны были обогнуть корму. Руль был повернут до отказа влево, и мы без труда прочли надпись:

«ЛЕТЯЩИЙ ПО ВЕТРУ»

Гулль

С правого борта, примерно у конца юта, свисал веревочный трап, и по нему мы поднялись на бриг. Он оказался весьма вместительным кораблем. Приподнятый ют возвышался над палубой примерно на три фута, на носу был небольшой матросский кубрик, а рядом с ним — камбуз. На рубке находилась небольшая шлюпка, а две побольше стояли на ростр-блоках по бокам рубки. И снаружи и внутри бриг был выкрашен белой краской, наиболее подходящей для тропиков, а фальшборт и комингсы люков, как мы узнали позднее, были обведены зеленой каймой. Однако, когда мы поднялись на корабль, эта кайма была совершенно скрыта под густым слоем птичьего помета. Над кораблем кружила туча птиц, а когда мы заглянули в камбуз, нам пришлось отступить — с такой стремительностью вылетели оттуда гнездившиеся там чайки. Это были злые, смелые птицы с сильными клювами, и некоторые черные экземпляры размерами не уступали орлу.

На шкафуте мы заметили несколько бочонков, почти погребенных под мусором; раскопав их, мы обнаружили, что они содержат воду и солонину — очевидно, Трент и его матросы уже готовили провизию, чтобы добраться до Гонолулу в шлюпках, когда на горизонте неожиданно показалась «Буря». Больше ничего примечательного на палубе не было, если не считать снастей, оборвавшихся там, где по ним бил топсель, и теперь висевших запутанным клубком и гудевших в постепенно затихающем ветре.

Охваченные какой-то странной робостью, словно в присутствии смерти, мы с Нейрсом спустились по винтовому трапу внутрь корабля и оказались перед переборкой, делившей ют на две части. В первом помещении хранились различные запасы и находились две койки — по мнению Нейрса, кока и второго помощника. Дальняя часть служила кают-компанией и имела форму подковы (она была расположена в самой корме), у левого борта помещалась кладовая и каюта старшего помощника, а у правого — капитанская каюта и туалет. В эти помещения мы только заглянули — больше всего нас интересовала кают-компания. В ней царил полумрак — световой люк был покрыт слоем пыли и птичьего помета,— стоял тяжелый и душный запах, и всюду жужжали рои мух. Меня удивило их присутствие на атолле Мидуэй, поскольку я считал их неизменными спутниками человека и его объедков. Вероятнее всего, какой-нибудь корабль завез их сюда, причем довольно давно, поскольку они успели размножиться в невероятном количестве. Пол был завален беспорядочно разбросанной одеждой и книгами, морскими инструментами и всякими вещами, которые могут быть выброшены из матросских сундучков при внезапной тревоге после нескольких месяцев плавания. Странно было перебирать в этой сумрачной каюте, содрогавшейся от разбивавшегося совсем рядом прибоя и оглашаемой пронзительными криками чаек, запыленные вещи, которыми дорожили какие-то неизвестные нам люди, которые они носили на своих телах: старое, штопаное белье, пестрые пижамы, клеенчатые куртки, плащи, флаконы с духами, вышитые рубахи, куртки из японского шелка,— короче говоря, все виды одежды, от той, в которой выстаивают ночную вахту, и до той, которую носят днем на веранде отеля. А вперемешку с ней валялись книги, сигары, трубки, пачки табака, множество ключей, заржавленный пистолет и дешевые восточные сувениры: бенаресские бронзовые изделия, китайские кувшинчики, картинки и ящички с завернутыми в вату красивыми раковинами — скорее всего, подарки родным, наверное, жившим в Гулле, откуда был родом Трент и куда был приписан его корабль.

Осмотрев пол, мы занялись столом, который, очевидно, был накрыт к обеду, потому что на нем стояла корабельная посуда из толстого фаянса с остатками еды: в кружках виднелась кофейная гуща, на блюде лежал

поджаренный хлеб, а рядом с ним стояли банки с мармеладом и сгущенным молоком. Красная скатерть около капитанского места была залита чем-то коричневым, очевидно, кофе, а на другом конце стола она была отвернута, и прямо на досках стояла чернильница и лежало перо. Табуреты были отодвинуты от стола так, словно обедавшие кончили есть и курили, болтая между собой; один из табуретов был сломан и валялся на полу.

— Посмотрите, они дописывали журнал,— сказал Нейрс, указывая на чернильницу.— Значит, их застигли врасплох, как это всегда бывает. По-моему, не родился еще капитан, у которого в минуту крушения журнал был бы в порядке. Обычно приходится сразу дописывать за целый месяц, как Чарльзу Диккенсу, который печатал по кусочку романа ежемесячно. Сразу видно, что это лимонщики,— добавил он презрительно, указывая на стол,— мармелад и жареный хлеб для капитана. Фу, гадость!

Эта насмешка над отсутствующими неприятно подействовала на меня. Не могу сказать, чтобы капитан Трент или кто-нибудь из его исчезнувшей команды внушал мне особую симпатию, но унылое запустение этой когда-то обитаемой каюты произвело на меня гнетущее впечатление — смерть творения рук человеческих почти так же печальна, как смерть самого человека, и мне вдруг почему-то показалось, что окружающая меня обстановка хранит воспоминание о страшной трагедии.

— Мне немного не по себе,— сказал я.— Давайте поднимемся на палубу и глотнем свежего воздуха.

— Да, унылое местечко, ничего не скажешь,— кивнул капитан.— Но, прежде чем идти на палубу, хорошо бы отыскать ящик с сигнальными флагами; я хочу поднять сигнал «покинут командой» или что-нибудь в этом роде. Надо же украсить наш островок. Капитан Трент сюда еще не возвращался, но его можно ждать в самом скором времени, и ему будет приятно увидеть на бриге какой-нибудь сигнал.

— А не существует ли официальной формулы, которой мы могли бы воспользоваться? — спросил я, увлеченный его мыслью.— Что-нибудь вроде: «Продано в пользу страховой компании. За дальнейшими справками обращаться к Дж. Пинкертону, Сан-Франциско».

— Что ж,— ответил Нейрс,— какой-нибудь старик боцман, пожалуй, мог бы набрать вам этот сигнал, если бы вы дали ему на это денек и фунт табаку в награду,

но мне такая задача не по зубам. Я могу попробовать что-нибудь вроде KB — требование: «Подай назад», или LM — предупреждение: «Здесь опасный район». А может быть, вы предпочтете PQH — «Сообщите судовладельцам, что корабль в полном порядке»?

— Это несколько преждевременно,— сказал я,— но наверняка погладит Трента против шерстки. Я за PQH.

Сигнальные флаги мы нашли в капитанской каюте. Они были аккуратно разложены по ячейкам ящика, помеченным соответствующими буквами. Нейрс отобрал нужные ему флаги, и мы вернулись на палубу. Солнце уже наполовину зашло за горизонт, и начинали сгущаться сумерки.

— Эй, ты! Не смей пить, дурак! — закричал капитан ожидавшему нас матросу, который зачерпнул воду из открытого бочонка.— Эта вода протухла.

— Прошу прощения, сэр,— отозвался матрос,— на вкус она совсем свежая.

— Дай-ка я попробую! — Нейрс, зачерпнув воды, поднес ее к губам.— И в самом деле,— сказал он.— Значит, испортилась, а потом опять стала свежей... Странно, а, мистер Додд? Впрочем, помню, такой же случай был на судне, огибавшем мыс Горн.

Что-то в его голосе заставило меня повернуться к нему. Привстав на цыпочки, он оглядывался по сторонам, словно человек, охваченный любопытством, и на лице его было написано сдерживаемое волнение.

— Вы сами не верите тому, что говорите! — воскликнул я.

— Нет, почему же,— ответил он, предостерегающе кладя мне руку на плечо,— это вполне возможно. Но меня занимает совсем другое...

С этими словами он подозвал одного из матросов, отдал ему сигнальные флаги, а сам подошел к главному сигнальному фалу. Еще минута — и по ветру вместо красного английского флага забился американский, который мы привезли с собой, а на фоке затрепетал PQH.

— Ну ладно,— сказал Нейрс, с удовлетворением поглядывая на фок.— Ребята, становитесь к помпам. Надо посмотреть, что за вода в этой лагуне.

Раздалась варварская какофония работающей помпы, и на палубу хлынули потоки скверно пахнущей воды,

промывая проходы в слежавшемся гуано. Нейрс, облокотившись на поручень, смотрел на мутную жижу так, словно она его очень интересовала.

— Что же вас все-таки занимает? — спросил я.

— Сейчас объясню,— ответил он,— но сперва вот что: вы видите эти три шлюпки — одну на рубке и две по ее сторонам? Так какую же шлюпку спускал Трент, когда часть его матросов погибла?

— Наверное, он снова поднял ее на бриг,— сказал я.

— Допустим. Но объясните мне, зачем,— возразил капитан.

— Ну, значит, у них была еще одна шлюпка,—предположил я.

— Может быть, и была, не стану отрицать,— согласился Нейрс.— Только для чего она была нужна? Разве для того, чтобы капитан мог кататься лунными ночами вокруг брига, играя на аккордеоне.

— Ну, какое это имеет значение? — заметил я.

— Наверное, никакого,— ответил он, оглядываясь через плечо на открытый люк.

— И долго будет грохотать эта помпа? — спросил я.— Мы же перекачаем всю воду лагуны. Ведь капитан Трент сам сказал, что бриг сел на дно, получив пробоину где-то в носовой части.

— Ах, он так сказал,— многозначительно протянул Нейрс.

И не успел он договорить, как помпа захлебнулась, и потоки на палубе иссякли. Матросы бросили рукоятки помпы и распрямились.

— Ну, что вы об этом скажете? — спросил Нейрс и продолжал, понизив голос, но по-прежнему небрежно опираясь на поручень: — Днище у этого брига такое же целое, как у «Норы Крейн». Я догадался об этом еще до того, как мы поднялись на борт, а теперь знаю наверняка.

— Не может быть! — воскликнул я.— Так, значит, Трент, по-вашему...

— Об этом я судить не берусь. Может быть, Трент лжец, а может быть, трусливая баба. Я просто сообщаю вам факт,— сказал Нейрс и затем добавил: — И еще одно. Мне не раз приходилось плавать на судах с большой осадкой, и я знаю, что говорю, а говорю я вот что,

когда бриг сел на мель, его очень легко было с этой мели снять — потребовалось бы всего семь-восемь часов. И это было бы ясно любому моряку, кроме разве самого желторотого новичка.

Я вскрикнул от изумления, и Нейрс предостерегающе поднял руку.

— Осторожней, чтобы они ни о чем не догадались,— сказал он.— Думайте что хотите, но помалкивайте.

Я осмотрелся по сторонам. Уже совсем стемнело. В отдалении мерцал огонек фонаря — там стояла «Нора Крейн». Наши матросы, отойдя от помпы, курили на шкафуте, лица их освещал красноватый отблеск от тлеющего в трубках табака.

— Почему Трент не снял его с мели? — спросил капитан.— Почему он готов был во Фриско заплатить за бриг такие бешеные деньги, когда мог спокойно приплыть туда на нем?

— Может быть, тогда он не знал, чего стоит этот корабль? — предположил я.

— Да знаем ли это мы? — воскликнул Нейрс.— Однако я не хочу вас огорчать, мистер Додд. Ведь я понимаю, как все это должно тревожить вас. Скажу одно: я добрался сюда, не тратя лишнего времени, и собираюсь теперь заняться бригом по всей форме. В одном отношении вы можете быть спокойны — со мной у вас хлопот не будет.

В его голосе прозвучала искренняя дружеская нота, и, почувствовав к нему глубокое доверие, я крепко пожал ему руку.

— Ну что ж, старина,— сказал он,— теперь мы друзья. И вы увидите, что дело от этого нисколько не пострадает. А сейчас поехали ужинать.

После ужина мы отправились на залитый ярким лунным светом островок Мидл-Брукс. Вдоль берега тянулся плоский пляж, а дальше шли густые заросли невысокого кустарника, где обитали морские птицы. Мы попробовали было пойти напрямик, но из этого ничего не вышло — легче было бы пересечь Трафальгарскую площадь в день демонстрации. Мы сбивали гнезда, давили яйца, птицы били нас крыльями по лицу, норовили выколоть глаза своими острыми клювами, и, совсем

оглушенные их пронзительными криками, мы поспешили отступить.

— Лучше пройдемся по пляжу,— сказал Нейрс.

Матросы занялись сбором яиц, и дальше мы пошли одни. Мы шагали по плотному песку у самой воды, слева темнели кусты, откуда нас изгнали чайки, справа простиралась лагуна, по которой бежала широкая дорожка лунного света, а за лагуной, вздымаясь и опадая, тянулась линия внешнего прибоя.

Пляж был усеян обломками, занесенными сюда течением. Мы заметили несколько стволов тропических деревьев, две мачты с джонок и кусок обшивки европейского корабля. Эти мрачные находки произвели на нас тягостное впечатление, и мы заговорили об опасностях, которые таит в себе море, и о тяжкой судьбе потерпевших кораблекрушение. Беседуя на эти печальные темы, мы обошли большую часть острова, с южной его оконечности оглядели соседний островок, прошли из конца в конец западный берег, где лежала густая тень от зарослей, и снова вышли на лунный свет у северной оконечности острова. Справа от нас, на расстоянии примерно полумили, виднелась наша шхуна, слегка покачивающаяся на якоре. Впереди, тоже примерно в полумиле, над кустарником вились птицы — значит, матросы все еще были заняты сбором яиц. И вдруг прямо перед собой, в маленькой ложбине, мы увидели лежащую на боку лодку. Нейрс, пригнувшись, отступил в тень.

— Что это может быть? — шепнул он.

— Трент,— шепнул я в ответ, и сердце у меня забилось.

— А мы, как дураки, отправились на берег без всякого оружия! Но, во всяком случае, надо удостовериться,— процедил Нейрс.

В темноте его лицо казалось совсем белым, а голос выдавал сильное волнение. Он достал из кармана свой свисток.

— На случай, если мне захочется сыграть песенку,— заметил он угрюмо и, зажав свисток в зубах, вошел в полосу лунного света.

Мы торопливо зашагали вперед, настороженно оглядываясь по сторонам. Все было спокойно, а когда мы приблизились к лодке, то убедились, что она лежит здесь уже давно. Это был обычный восемнадцатифутовый вельбот с веслами и уключинами. В нем лежало несколько бочонков, один из которых был вскрыт и распространял невыносимый смрад. Осмотрев бочонки, мы обнаружили в них такую же солонину, какую видели на борту брига.

— Четвертая лодка,— сказал я.— Вот вы и получили ответ на ваш вопрос.

Он только хмыкнул, а затем, нагнувшись, обмакнул палец в поблескивавшую на дне вельбота воду и лизнул его.

— Пресная,— сказал он.— Значит, дождевая.

— Вам это не нравится? — спросил я.

— Нет, почему же? — ответил он.

— Ну, так что же вам не по душе? — вскричал я.

— А вот что, мистер Додд,— ответил он,— вельбот и бочонок протухшей солонины.

— Короче говоря, все,— заметил я.

— Видите ли,— снизошел он до объяснения,— четвертая лодка меня вообще не устраивала, а уж эта во всяком случае. Я не хочу сказать, что вельботы редко попадаются в этих водах. Наоборот, все островные шхуны обычно имеют вельботы, но ведь «Летящий по ветру» курсировал между большими портами — Калькуттой, Рангуном, Фриско и Кантоном... Нет, вельбот ему ни к чему.

Мы разговаривали, прислонившись к борту лодки, и капитан, стоявший ближе к носу, машинально играл концом бакштова. Вдруг он умолк и, поднеся конец каната ближе к глазам, стал внимательно его рассматривать.

— Что-нибудь не так? — спросил я.

— А вы знаете, мистер Додд,— сказал он с каким-то особым выражением,— этот бакштов был обрублен. Матрос обрезал бы его ножом... Нашим ребятам это видеть незачем,— добавил он.— Сейчас я приведу его в порядок.

— И что же все это означает? — спросил я.

— Во всяком случае, одно,— сказал он.— Это означает, что Трент лжец. Я полагаю, что подлинная история «Летящего по ветру» куда красочнее, чем та, которую он рассказал.

Через полчаса вельбот был уже привязан к корме «Норы Крейн», а мы с Нейрсом отправились спать, совсем сбитые с толку нашими открытиями.

ГЛАВА XIV

КАЮТА «ЛЕТЯЩЕГО ПО ВЕТРУ»

На другой день солнце еще не успело разогнать утренний туман, когда мы снова поднялись на палубу «Летящего по ветру» — Нейрс, я, Джонсон, два матроса и десяток сверкающих новеньких топоров, которым предстояло довершить начатое морем разрушение брига. Мне кажется, мы все были рады: так глубоко укоренился в человеке инстинкт разрушения и азарт охоты. Ведь нам предстояло вдоволь испытать двойное удовольствие — ломать игрушку и «искать на видном месте», вновь переживая забытое с детства увлечение. Игрушкой же был морской корабль, а искать мы должны были настоящее сокровище.

К тому времени, когда подошла шлюпка с завтраком, палубы были вымыты, главный люк открыт и тали приведены в порядок. Я уже настолько проникся недоверием к этому бригу, что теперь, заглянув в трюм, с огромным облегчением обнаружил множество кулей с рисом. После завтрака Джонсон и матросы занялись грузом, а мы с Нейрсом, предварительно разбив световой люк, чтобы лучше проветрить помещение, начали систематический осмотр кают.

Я, разумеется, не могу подробно и по порядку описать то, что было проделано нами в этот первый день, так же, как и во все последующие. Другое дело, если бы этой работой занимался отряд военных моряков, сопровождаемый секретарем, знающим стенографию. Два же обыкновенных человека вроде нас, не привыкшие пользоваться топором и пожираемые нетерпением, помнят потом только кошмарные часы напряжения, жары, спешки и растерянности. По нашим лицам катился пот, порой под ноги нам кидались крысы, нас душила пыль, и мы были совершенно оглушены стуком собственных топоров.

Я ограничусь только сообщением о сути наших открытий, не придерживаясь хронологического порядка, а просто исходя из их важности. Впрочем, в этом отношении они практически совпали, и мы кончили исследование каюты прежде, чем могли с уверенностью установить характер груза.

Мы с Нейрсом начали с того, что выбросили через трап к штурвалу всю валявшуюся на полу одежду и другие вещи, а кроме того, посуду, ковер, жестянки с консервами, короче говоря, все, что можно было вынести из общей каюты. Затем мы занялись капитанской каютой. Используя одеяло вместо носилок, мы перетащили к куче на палубе книги, инструменты и одежду, после чего Нейрс, став на четвереньки, начал шарить под койкой. Его поиски были вознаграждены множеством ящичков с манильскими сигарами. Я немедленно вскрыл несколько из них и разломал с десяток сигар, но все было тщетно; не найдя в них опиума, я решил пощадить остальные.

— Интересно! — вдруг воскликнул Нейрс.

И, отвернувшись от растерзанных сигар, я увидел, что он выволок на середину пола тяжелый железный сундучок, прикрепленный к перегородке цепью, замкнутой на висячий замок.

Нейрс глядел на сундучок отнюдь не с восторгом, как я, а с каким-то растерянным удивлением.

— Вот оно! — воскликнул я и собирался уже радостно пожать руку моему товарищу.

Но он охладил мой пыл, заметив сухо:

— Сперва посмотрим, что в нем.

Опрокинув сундучок набок, он несколькими ударами топора сломал замок и потом опять поставил сундучок на дно и открыл крышку. Я кинулся на пол рядом с ним. Не знаю, что я ожидал увидеть: в эту минуту меня, пожалуй, удовлетворил бы только мешок бриллиантов стоимостью в миллион. Щеки мои горели, сердце стучало так, что готово было разорваться. Но в сундучке лежала лишь пачка аккуратно перевязанных бумаг и чековая книжка. Я схватил бумаги, желая скорее посмотреть, что под ними. Но Нейрс опустил на мою руку тяжелую ладонь.

— Вот что, хозяин,— сказал он почти добродушно,— мы будем вести поиски аккуратно, а не устраивать свалку.

После чего Нейрс развязал бумаги и начал просматривать их с чрезвычайно серьезным видом, словно нарочно стараясь затянуть время. Казалось, он совсем забыл о снедающем меня нетерпении, потому что, кончив чтение, еще несколько минут сидел, погруженный в свои мысли, что-то насвистывая, и только потом, снова сло-

жив и связав бумаги, продолжил осмотр. Я увидел ящик из-под сигар, перетянутый куском лески, и четыре туго набитых мешочка. Нейрс достал нож, перерезал леску и открыл ящичек. Он до половины был наполнен золотыми монетами.

— А что в мешочках?— прошептал я.

Капитан по очереди вспорол их, и на заржавевшее дно сундучка посыпались серебряные монеты разного достоинства. Нейрс молча принялся пересчитывать серебро.

— Что это? — спросил я.

— Судовая касса,— ответил он, продолжая считать.

— Судовая касса? — повторил я.— Деньги, которыми Трент оплачивал свои расходы? А это чековая книжка на суммы, выданные ему судовладельцами? И он все это оставил здесь?

— Как видите,— ответил Нейрс, записывая итог своего подсчета.

И я, смутившись, уже больше не отрывал его, пока он не кончил своего занятия.

Всего золота было на триста семьдесят восемь фунтов стерлингов, а серебра — около девятнадцати фунтов. Затем мы убрали деньги назад в сундучок.

— Ну, так что же вы думаете обо всем этом? — спросил я.

— Мистер Додд,— ответил он,— вам это кажется странным. Но вы и не представляете себе, насколько это странно. Вы спрашивали о деньгах, а меня совсем сбили с толку бумаги. Известно ли вам, что капитан корабля распоряжается судовой кассой, выплачивает жалованье матросам, получает плату за фрахт и деньги с пассажиров, а кроме того, производит закупки в портах? Всем этим он занимается как доверенный агент судовладельца и вместе с отчетом представляет квитанции, доказывающие его честность. Поверьте мне, капитан корабля скорее забудет панталоны, чем расписки, которые являются гарантией его репутации. Я знаю случаи, когда люди тонули, стараясь спасти такие вот документы. И люди довольно скверные. Но это — дело чести капитана. А вот никуда не спешивший капитан Трент, которому ничто не грозило, кроме бесплатной поездки на английском военном корабле, бросил их здесь. Я знаю, факты против меня, но все-таки я говорю вам, что это невозможно.

Вскоре нам привезли обед, и мы съели его на палубе в мрачном молчании, тщетно напрягая мозг в поисках какой-нибудь разгадки этих тайн. Я был настолько поглощен своими размышлениями, что не замечал ни брига, ни лагуны, ни островков, ни кружащих над нами чаек, ни палящих лучей солнца, ни даже угрюмого лица капитана, сидевшего рядом. Мой ум превратился в школьную доску, на которой я писал и стирал всевозможные гипотезы, сравнивая их со зрительными изображениями, хранившимися в моей памяти. Я добрался наконец до сцены в кафе, я снова вглядывался в лица капитана Трента и его матросов, как вдруг передо мной встало лицо гавайца.

— По крайней мере в одном я уверен!..— вскричал я, вскакивая на ноги.— С капитаном Трентом я видел гавайца, а в газете писали, что кок — китаец. Я пойду осмотрю его койку и разберусь, в чем дело.

— Ладно,— сказал Нейрс,— а я еще немного отдохну, мистер Додд, я что-то совсем вымотался.

Мы уже тщательно обыскали три четверти кормовых помещений. Все, что можно было вынести из кают-компании, каюты старшего помощника и капитана, лежало в куче у штурвала. Но за переднее помещение с двумя койками, где, по мнению Нейрса, жили второй помощник и кок, мы еще не брались. Туда-то я и пошел. Эта каюта была почти пуста. К переборке было приклеено несколько фотографий — одна весьма непристойная. Единственный сундучок оказался открытым и, как все, которые мы уже осматривали, частично обысканным. Несколько дешевых романов, хранившихся в нем, неопровержимо доказывали, что его хозяином был европеец. Китайцу они были бы ни к чему, а даже самый грамотный гаваец удовлетворился бы одним. Очевидно, кок помещался не на корме, а где-то в другом месте.

К этому времени наши матросы уже выбросили гнезда из камбуза и выгнали оттуда птиц, так что я мог войти в него без всяких помех. Одна из дверей была теперь снаружи завалена кулями с рисом, и поэтому в камбузе царил полумрак. Было очень душно, в воздухе вились тучи мух. Часть кухонной утвари валялась на полу,— может быть, камбуз покинули в большой спешке, а может быть, виновниками беспорядка были птицы. Пол, как и палуба, прежде чем мы ее вымыли, был покрыт слоем гуано.

У стены, в дальнем углу, я обнаружил красивый сундучок из камфарного дерева, обитый медными полосами. Такие сундучки любят китайские моряки, да, собственно говоря, и все моряки, плавающие по Тихому океану. Таким образом, внешний вид сундучка мне ничего не сказал, а содержимое его мне удалось увидеть не сразу. Как я уже упоминал, все остальные сундучки были открыты, и часть хранившихся в них вещей валялась рядом (то же мы обнаружили и в кубрике, который осмотрели позже), и только этот был закрыт и даже заперт на замок.

С помощью топора я легко вскрыл его и, словно таможенный офицер, стал рыться в хранившихся там вещах. Сперва мои руки шарили по ситцу и полотну. Затем я вздрогнул от неприятного прикосновения шелка и вытащил несколько шелковых полос, покрытых таинственными иероглифами. Они разрешили все мои сомнения: я узнал в них занавески, которые любят вешать на кровати китайцы-простолюдины. Но и в других доказательствах недостатка не было: ночная рубашка непривычного покроя, трехструнная китайская скрипка, узелок с разными корешками и травами, а также изящный приборчик для курения опиума с порядочным запасом этого наркотика Совершенно очевидно, что кок был китаец, но в таком случае кто такой Джозеф Амалу? Или Джозеф украл сундучок, а потом поступил на бриг под вымышленным именем? Это, конечно, было возможно, но такое объяснение только еще больше запутывало дело. Почему этот сундучок был брошен нетронутым, а все остальные вскрыты? И откуда у Джозефа взялся второй сундучок, с которым, как сказал нам портье, он отправился в Гонолулу?

— Ну, и что же вы узнали? — осведомился капитан, который с удобством развалился на куче вещей, нагроможденной нами у штурвала.

По его тону и по его заблестевшим глазам я понял, что открытия выпали не только на мою долю.

— Я нашел в камбузе сундучок с вещами китайца,— ответил я.— И китаец этот забыл в нем свой опиум!

Нейрс, казалось, остался совершенно равнодушным к моему сообщению.

— Вот как? — сказал он.— А теперь я вам кое-что покажу. Признайтесь, что вы побиты.

С этими словами он разложил передо мной на палубе две газеты. Я тупо посмотрел на них, чувствуя, что пока не способен к новым открытиям.

— Да посмотрите же на них, мистер Додд! — вскричал капитан резко.— Неужели вы не видите? — И он провел грязным пальцем по верху первой страницы.— «Сидней морнинг геральд», 26 ноября». Неужели вы не понимаете? Ведь когда эта газета вышла в Австралии, «Летящий по ветру» был в Гонконге, а через двенадцать дней уже находился в открытом море. Каким же образом газета из Австралии могла попасть в Гонконг за двенадцать дней? А ведь до того, как Трент очутился здесь, он не встречал ни одного корабля, не заходил ни в один порт. Значит, она могла попасть к нему либо здесь, либо в Гонконге. А где именно — решайте сами.— И он снова устало опустился на груду одежды.

— Где вы их нашли? — спросил я.— В этой черной сумке?

— Да,— сказал он.— И можете в ней больше не рыться: там ничего нет, кроме карандаша и какого-то сточенного ножа.

Однако я все-таки заглянул в сумку и был вознагражден.

— У каждого человека есть свое ремесло, капитан,— сказал я.— Вы моряк и указали мне на множество несообразностей, связанных с морским делом. Я же художник, и разрешите сообщить вам, что эта находка не уступает по странности всему остальному. Такими ножами художники наносят краску на холст или чистят палитру. А карандаш этот — 3-Б фирмы «Виндзор и Ньютон». Мастихин и карандаш 3-Б — на торговом бриге! Это противоречит всем законам природы.

— С ума сойти можно! — заметил Нейрс.

— Да,— продолжал я,— и карандашом этим пользовался художник: посмотрите, как он заточен; во всяком случае, не для того, чтобы писать. Таким кончиком писать невозможно. Художник? И прямо из Сиднея? Откуда он мог взяться?

— Это-то понятно,— съязвил Нейрс.— Они вызвали его каблограммой, чтобы он проиллюстрировал судовой журнал.

Некоторое время мы молчали.

— Капитан,— сказал я наконец,— с этим бригом связано какое-то темное дело. Большую часть вашей жизни вы провели в море. Вам, вероятно, приходилось видеть много беззаконий, а слышали вы о них, должно быть, еще больше. Как по-вашему, что это? Комбинация со страховкой? Пиратство? Что может за этим крыться? Зачем понадобилось все это проделывать?

— Мистер Додд,— ответил Нейрс,— вы совершенно правы: большую часть своей жизни я провел в море, и я действительно знаю много способов, с помощью которых нечестный капитан может нагреть руки или обмануть судовладельцев. Таких способов немало, но гораздо меньше, чем вам кажется. И ни один их них не был пущен в ход Трентом. Все это дело—сплошная бессмыслица, не имеющая никакого разумного объяснения. И не впадайте в заблуждение, свойственное большинству жителей суши капитану совсем не так просто вести какую-нибудь нечестную игру. В любом порту есть множество людей, которые тут же отправят его за решетку, если честность его не будет сиять подобно утренней звезде. За ним следят агенты Ллойда и других страховых компаний, консулы, таможенные чиновники и портовые врачи. У него столько же шансов что-нибудь скрыть, как у человека, поселившегося в маленькой деревне, где он всем чужой.

— Ну, а в море? — спросил я.

— Ну, вот опять! — вздохнул капитан.— «В море, в море»... А что толку? Ведь когда-нибудь придется вернуться в порт. Никто же не может оставаться в море вечно... Нет, в этой истории с «Летящим по ветру» не разобраться и самому гениальному сыщику, и нечего зря ломать голову. Давайте снова возьмемся за топоры и вытащим на свет божий все, что таится в этом чертовом бриге. И не волнуйтесь,— добавил он, вставая.— Я полагаю, эти грошовые тайны будут на нас сыпаться и дальше, чтобы мы не скучали.

Однако до конца дня мы не сделали больше ни одного интересного открытия и на закате покинули бриг, не найдя ни новых загадок, ни разгадок прежних. Самые ценные находки — книги, инструменты, корабельные бумаги, шелка и сувениры — мы перевезли на шхуну, чтобы было чем заняться вечером, и после ужина,

когда убрали со стола и Джонсон уселся за унылую партию в криббедж между своей правой и левой рукой, мы с капитаном разложили наши находки на полу и принялись их подробно обследовать.

Сперва мы занялись книгами. Для «лимонщика», как презрительно выразился Нейрс; число их было порядочным. Презрение к английскому торговому флоту свойственно почти каждому американскому моряку, и, поскольку это презрение не является взаимным, я полагаю, что для него действительно есть какие-то основания. Во всяком случае, английские моряки редко бывают любителями книг. Однако офицеры «Летящего по ветру» являлись приятным исключением из этого правила. Они собрали настоящую библиотеку художественной и специальной литературы. Пять томов «Всемирного справочника» Финдли (как всегда, растрепанные, испещренные всяческими пометками и исправлениями), несколько навигационных руководств, свод сигналов и справочник английского адмиралтейства в оранжевом переплете — «Острова восточной части Тихого океана», том III, самое последнее издание, в котором были отчеркнуты описания рифов Френч-Фригат, Харман, Кьюр, Перл, острова Лисянского, острова Ошен и того места, где мы находились теперь,— острова Мидуэй. Список беллетристики возглавлялся томиком «Эссе» Макколея и дешевым изданием Шекспира, далее следовали только романы. Несколько творений мисс Брэддон и среди них «Аврора Флойд», проникшая на все без исключения острова Тихого океана, порядочное число детективных книжонок, «Роб-Рой», «На вершине» Ауэрбаха на немецком языке и восхваление трезвенности, которое, судя по библиотечному штампу, было похищено из какой-то английской библиотеки в Индии.

— Офицер адмиралтейства довольно точно описал наш островок,— заметил Нейрс, изучавший тем временем описание Мидуэя.— Правда, изображен он далеко не таким унылым, но все-таки видно, что этот человек знает, о чем пишет.

— Капитан! — воскликнул я.— Вы коснулись еще одной странности в этой сумасшедшей путанице. Вот посмотрите,— я вытащил из кармана смятую вырезку из «Оксидентела», которую забрал у Джима.— «...введен

в заблуждение справочником Хойта по Тихому океану...» Где же этот справочник?

— Сначала посмотрим, что в нем написано,— заметил Нейрс.— Я нарочно захватил Хойта в это плавание.

И, взяв справочник с полки над своей койкой, он раскрыл его на описании острова Мидуэй и начал читать вслух. Там, между прочим, говорилось, что Тихоокеанская почтовая компания собирается устроить на острове Мидуэй свой центр (вместо Гонолулу) и уже открыла там станцию.

— Интересно, откуда составители справочников получают свои сведения? — задумчиво протянул Нейрс.— После этого Трента ни в чем нельзя винить. В жизни не сталкивался с более бесстыдным враньем! Разве что во время президентских выборов.

— Ну ладно,— сказал я,— но это ваш экземпляр Хойта, а мне бы хотелось знать, где экземпляр Трента.

— А он взял его с собой,— усмехнулся Нейрс.— Все остальное он бросил — счета, расписки, деньги... Но ведь ему надо было взять что-нибудь с собой, иначе это могло вызвать подозрение на «Буре». «Чудесная мысль! — воскликнул он.— Дай-ка я возьму Хойта!»

— А не кажется ли вам, что все Хойты в мире не могли ввести Трента в заблуждение, потому что у него был вот этот официальный адмиралтейский справочник, изданный позже и содержащий подробное описание острова Мидуэй?

— И то верно! — воскликнул Нейрс.— Бьюсь об заклад, что с Хойтом он ознакомился только в Сан-Франциско! Похоже на то, что он привел сюда свой бриг нарочно. Но тогда это противоречит тому, что было на аукционе. В том-то и горе с этим бригом: сколько теорий ни придумывай, все равно что-то остается необъясненным.

Затем мы занялись судовыми бумагами, которых набралось довольно много. Я надеялся с их помощью уяснить себе характер капитана Трента, но меня ждало разочарование. Мы могли заключить только, что он был человеком аккуратным — все старые счета и расписки были тщательно перенумерованы и хранились в строгом порядке. Кроме того, из некоторых документов явствовало, что он был человеком крайне бережливым, если не сказать скаредным. Почти все письма были сухими и

формальными записками поставщиков. Все, кроме одного. Это письмо, подписанное Ханной Трент, содержало горячую просьбу о денежной помощи. «Тебе известно, какие несчастья выпали на мою долю,— писала Ханна,— и как я обманулась в Джордже. Моя квартирная хозяйка сперва показалась мне очень милой и отзывчивой женщиной, но теперь я увидела ее в истинном свете, и, если эта моя последняя просьба не смягчит тебя, не знаю, что станется с любящей тебя...» Далее следовала подпись. Не было ни даты, ни указания, откуда оно было отправлено. Какой-то голос шепнул мне, что оно к тому же осталось без ответа.

Кроме этого письма, мы нашли еще одно в сундучке кого-то из матросов, и я приведу из него несколько фраз. Оно было помечено каким-то городком на Клайде. «Дорогой сынок! Сообщаю тебе, что твой дорогой отец скончался 12 января. Он попросил, чтобы я положила ему на кровать твою фотографию и фотографию Дэвида, а сама села рядом. «Я хочу, чтобы мы все были вместе»,— сказал он и благословил вас. Милый сыночек, почему вас с Дэви здесь не было! Ему было бы легче умирать. Он все вас вспоминал: и как вы пели по субботам, и он попросил меня спеть ему вашу песню, а сам все смотрел на свою скрипку, бедняжка. Видеть ее теперь не могу, потому что больше ему уж на ней не играть. Сыночек мой милый, вернись ко мне, совсем я теперь одна осталась». Далее шли ничем не примечательные религиозные рассуждения.

Когда я передал это письмо Нейрсу, оно произвело на него совершенно необычайное впечатление. Сперва, не прочитав и нескольких слов, он раздраженно его отбросил, но тут же подобрал и стал читать дальше, потом опять бросил, опять подобрал — и так трижды.

— Очень трогательное письмо, не правда ли? — спросил я.

Вместо ответа Нейрс грубо выругался, и прошло больше получаса, прежде чем он попробовал мне что-то объяснить.

— Я вам скажу, почему это письмо так на меня подействовало. Мой старик любил играть на скрипке и все время фальшивил так, что уши вяли. Он был скверным отцом, а я был скверным сыном. Только мне вдруг

захотелось снова услышать, как визжит его скрипка... Все мы свиньи,— добавил он, помолчав.

— По крайней мере все сыновья,— сказал я.— Могу пожать вашу руку: у меня на совести лежит тот же грех.

И, как ни странно, мы действительно пожали друг другу руки.

Мы нашли также довольно много фотографий. По большей части это были либо очень хорошенькие девушки, либо пожилые женщины с усталыми лицами. Но одна из фотографий натолкнула нас на самое удивительное открытие.

— Ну, красавцами их не назовешь,— сказал Нейрс, передавая ее мне, как, по-вашему, мистер Додд?

— Кого? — спросил я, машинально беря карточку и подавляя зевок,— час был поздний, и после тяжелого дня мне страшно хотелось спать.

— Трента с компанией,— ответил он.— Это ведь вся их шайка.

Я поднес фотографию к свету, не проявляя никакого интереса,— я уже видел капитана Трента и не испытывал особого желания снова любоваться его физиономией. Они были сняты на палубе брига — матросы, как полагается, на шкафуте, офицеры — на корме. Внизу фотографии была подпись: «Бриг «Летящий по ветру», Рангун», и дальше стояла дата. А рядом с каждым была аккуратно помечена его фамилия.

И вдруг меня словно ударило! Сонливость как рукой сняло, и я понял, что смотрю на совершенно незнакомые мне лица. «1. Трент, капитан» — стояло под изображением невысокого старичка с кустистыми бровями и длинной седой бородой, одетого в сюртук и белые панталоны. В петлицу у него был вдет белый цветок. Свою бороду он выставил вперед, а губы решительно сжал. Он был мало похож на моряка, скорее смахивал на ханжу и святошу, и, уж во всяком случае, у него не было ничего общего с капитаном Трентом, которого я видел в Сан-Франциско. И все остальные тоже были мне незнакомы. а кок, несомненно, был китаец, и даже одет он был в национальный костюм. Однако с наиболее острым любопытством я изучал портрет, помеченный «Э. Годдедааль, первый помощник». Его я никогда не видел, и, возможно, это был тот же самый человек. Возможно даже, что в нем заключалась разгадка всей тайны.

Я всматривался в черты его лица, как полицейский сыщик. Это был человек могучего сложения и, судя по всему, белокурый, как викинг. Его волосы вились крупными кольцами, а по обеим сторонам щек торчали огромные усы, напоминавшие клыки какого-нибудь сказочного животного. В выражении его лица было что-то свирепое, но в то же время мягкое, почти женственное. Я не удивился бы, узнав, что он склонен к чувствительности и порой способен проливать слезы.

Некоторое время я молча обдумывал свое открытие, прикидывая, как сообщить о нем капитану с наибольшим эффектом. Тут я вспомнил про свой альбом. Достав его, я открыл набросок, изображавший капитана Трента и его матросов, спасшихся с английского брига «Летящий по ветру».

— Нейрс,— сказал я,— ведь я рассказывал вам, как в первый раз увидел капитана Трента в кафе во Фриско? Как он пришел туда со своими матросами и один из них был гавaец и держал в руках клетку с канарейкой? И о том, как я его увидел затем на аукционе, перепуганного насмерть, когда он с таким же изумлением прислушивался к выкрикиваемым цифрам, как и все остальные? Так вот, посмотрите на человека, которого я видел (я положил перед ним свой альбом). Это Трент из Фриско и трое его матросов. Я буду вам очень обязан, если вы укажете мне их на этой фотографии.

Нейрс молча сравнил фотографию с рисунком.

— Ну,— сказал он наконец,— мне это даже нравится: положение становится яснее. Мы и сами могли бы об этом догадаться, если бы подумали, почему нам попалось двойное количество матросских сундучков.

— По вашему мнению, это что-то объясняет? — спросил я.

— Это объяснило бы все,— ответил Нейрс,— если бы не аукцион. Все совпадает, словно кусочки головоломки, если только отбросить то, как они пытались во что бы то ни стало купить свой бриг. И тут мы оказываемся в тупике. Но одно можно сказать с уверенностью, мистер Додд: дело здесь нечисто.

— И похоже на пиратство,— заметил я.

— Похоже на вашу бабушку! — воскликнул капитан.— Нет, не обманывайте себя. У нас с вами не хватит ума, чтобы сообразить, что за этим всем кроется.

ГЛАВА XV

ГРУЗ «ЛЕТЯЩЕГО ПО ВЕТРУ»

В юности я был во всем привержен идеалам своего поколения. Я любил комфорт, любил все то, что мы зовем цивилизацией, поклонялся изобразительному искусству и с удовольствием захаживал в рестораны. В те дни у меня был приятель, не художник, хотя он и был завсегдатаем нашего мирка, где славился своей храбростью и меткими афоризмами. И он, поглядев на длинное меню и колышущийся животик одного из типичных французских гурманов, которым я, признаюсь, немного подражал, заклеймил меня прозвищем «растителя ресторанного жирка». И, пожалуй, он был отчасти прав. Если бы все шло гладко, то теперь я, наверное, наружностью напоминал бы бочонок, а умом и душой того, кто, в сущности, ничуть не отличается от самого заурядного буржуа и филистера, а именно художника, который ничем не интересуется, кроме своего искусства. Я считаю, что над любой художественной школой следует написать золотыми буквами слова Пинкертона: «Не понимаю, почему ты не хочешь заниматься ничем другим». Скучные люди становятся скучными не от природы, а потому, что их совершенно поглощает одна какая-нибудь сторона человеческой деятельности. Это тем более опасно, если занятие такого человека однообразно и обрекает его на такую же однообразную жизнь. В результате большая часть его природных качеств не развивается, а остальные уродуются благодаря перенапряжению. Меня часто удивляла самоуверенность господ, которые, проведя всю свою жизнь в четырех стенах и не имея ни малейшего представления о всем многообразии человеческой жизни, позволяют себе высказывать о ней безапелляционные суждения. Те, кто трудится в кабинетах и мастерских, возможно, умеют создавать прекрасные картины или увлекательные романы, но им не следует позволять себе судить об истинном предназначении человека, ибо об этом они ничего не знают. Их собственная жизнь — уродливое порождение мгновения, которое пройдет и будет забыто среди прихотливых капризов истории. А извечная жизнь человека — это физическая работа под солнцем и дождем. И она остается такой с начала времен.

Если бы я мог, то захватил бы с собой на остров Мидуэй всех писателей и художников моего времени. Я хотел бы, чтобы они испытали все то, что пришлось испытать мне: бесконечные дни разочарования, жары, непрерывного труда, бесконечные ночи, когда болит все тело и все-таки ты погружаешься в глубокий сон, вызванный физическим утомлением. Я хотел бы, чтобы они услышали грубоватую речь моих товарищей, увидели бы их обветренные лица и залитую ослепительным солнцем палубу, спустились бы в душные сумерки трюма, услышали бы пронзительные крики бесчисленных морских птиц, а главное, испытали бы это чувство отрезанности от всего мира, от всей современной жизни — здесь, на острове, день начинался не с появления утренних газет, а с восхода солнца, и государства, народы, религии, войны, искусство словно совсем перестали существовать.

Я расскажу вам еще кое-что о нашей работе. В носовом помещении хранились товары судовой лавки, трюм был почти полон рисом, нижняя палуба — чаем и шелками. И то, и другое, и третье следовало перегрузить на нашу шхуну. Но это было только началом. Трюм был перегорожен на множество отделений, и некоторые из них, очевидно, предназначавшиеся для более ценных грузов, были обшиты к тому же дюймовыми досками. Где-то здесь, а может быть, в каютах, а может быть, в самых бортах корабля находился тайник. Поэтому нам пришлось сорвать большую часть внутренней обшивки корабля и простукать все оставшееся так, как доктор выстукивает грудь чахоточного больного. И, когда звук становился глухим, мы брались за топоры и врубались в подозрительное место. Тяжелая и очень неприятная работа, потому что из-под топоров летели тучи гнилой пыли. К концу каждого дня внутренности «Летящего по ветру» обнажались все сильнее, всё новые балки распиливались и раскалывались в щепу, всё новые доски отдирались от бортов и отбрасывались в сторону, и к концу каждого дня мы испытывали новое разочарование. Я не утратил энергии, но начинал терять надежду, и даже Нейрс стал молчаливым и угрюмым. Вечером, после ужина, мы больше почти не разговаривали. Я листал какую-нибудь книгу, а Нейрс хмуро, но упорно высверливал раковины. Человеку постороннему могло показаться, что мы поссорились, на самом же де-

ле в молчаливые часы совместной работы наша дружба крепла.

Когда мы только приступили к работам на бриге, меня поразила готовность, с которой матросы кидались выполнять любое приказание капитана. Они не питали к нему привязанности, но, несомненно, восхищались им. Слово сухого одобрения из его уст ценилось выше самой лестной похвалы и даже доллара, если они исходили от меня. А когда его обычная взыскательная строгость немного смягчалась, вокруг закипало веселое усердие, и, признаюсь, мне начало казаться, что его теория поведения капитана, хотя он и перегибал палку, имела под собой некоторое основание. Однако время шло, и ни восхищение перед капитаном, ни страх уже не могли нам помочь. Матросы устали от безнадежных, бесплодных поисков и изнурительного труда. Они все чаще ворчали и стали работать спустя рукава. Наказания только усиливали их недовольство. С каждым днем они все хуже выполняли порученное им дело, и по вечерам, сидя в своей маленькой каюте, мы, казалось, физически ощущали неприязнь наших помощников.

Несмотря на все наши предосторожности, каждый человек на борту очень хорошо знал, что мы ищем, а кроме того, кое-кто заметил и те несообразности, которые так изумили капитана и меня. Я несколько раз слышал, как матросы обсуждали рассказ капитана Трента и выдвигали самые различные предположения относительно того, где может быть спрятан опиум,— раз они подслушивали наши разговоры, я счел себя вправе отплатить им той же монетой. Таким образом, я мог судить о настроении матросов и о том, насколько подробно известна им тайна «Летящего по ветру». Как-то раз, услышав один из таких разговоров, не оставлявший сомнения, что матросы очень недовольны, я вдруг придумал план, показавшийся мне весьма удачным. Окончательно обдумав его в течение ночи, наутро я поделился им с капитаном.

— А не попробовать ли мне подбодрить команду, предложив награду? — сказал я.

— Если вы думаете, что до сих пор они особенно старались, вы ошибаетесь,— ответил Нейрс,— но других у нас нет, а вы — суперкарго.

Такие слова в устах такого человека, как капитан, можно было счесть полным согласием, и вот команда была вызвана на ют. Капитан начал свою речь, так грозно нахмурив брови, что все, несомненно, ожидали громового разноса.

— Эй, вы! — кинул он через плечо, прохаживаясь по палубе.— Мистер Додд собирается предложить награду первому, кто найдет опиум на бриге. Осла можно заставить бежать двумя способами: дать ему морковки или надавать пинков. Оба эти способа по-своему неплохи. Мистер Додд решил попробовать морковку. И вот что, дети мои,— при этих словах он остановился и, заложив руки за спину, повернулся к матросам,— если через пять дней этот опиум не будет найден, я испробую пинки.

Он умолк, кивнул мне, и я, в свою очередь, обратился к матросам:

— Я выделяю на это дело сто пятьдесят долларов,— сказал я.— Если кто-нибудь сам найдет опиум, он получит все сто пятьдесят, а если кто-нибудь наведет нас на след, он получит сто двадцать пять, а остальные двадцать пять пойдут тому, кто первый найдет самый опиум.

Тут снова вмешался капитан.

— Вот что, ребята,— сказал он,— к этой награде я добавлю еще сто долларов от себя.

— Спасибо, капитан Нейрс,— сказал я,— вы очень добры.

Обещание награды принесло свои плоды. Не успели еще матросы как следует оценить наше предложение и обсудить его, как вперед вышел кок и обратился к Нейрсу.

— Капитан,— начал он,— я два года служу на американских кораблях, а шесть лет служил на почтовом пакетботе. Я много чего видел.

— Ого! — воскликнул Нейрс и добавил шепотом, обращаясь ко мне.— Он видел, как опиум прятали на пакетботе... Так чего же ты до сих пор молчал?

— Думал, что потом предложат награду,— с достоинством объяснил кок.

— Ладно, говори,— сказал Нейрс,— и если ты отгадал, то получишь награду. Понятно?

— Я вот что думаю,— ответил кок,— кули с рисом очень маленькие. Может быть, там не только рис, может быть, там и опиум?

— Ну, что скажете, мистер Додд? — спросил капи-

тан.— Может быть, он прав, а может быть, и ошибается. Скорее всего он прав, потому что больше этой дряни быть как будто негде, но, с другой стороны, если он ошибается, мы уничтожим зазря полтораста тонн хорошего риса. Об этом стоит подумать.

— Думать не о чем,— возразил я,— мы не можем упускать ни одного шанса. А рис — это ерунда: рис нас не обогатит и не спасет от разорения.

— Другого ответа я от вас не ждал! — воскликнул Нейрс.

И мы тут же отправились на бриг, чтобы проверить эту догадку.

Трюм был уже почти пуст. Кули с рисом (их приходилось примерно сорок на тонну), сложенные на палубе, забили весь шкафут и нос. Нам предстояло вскрыть шесть тысяч кулей и исследовать их содержимое, попутно уничтожив сто пятьдесят тонн ценного пищевого продукта. И, надо сказать, то, как протекала эта необычная работа, вполне отвечало ее необычной цели. Все мы, вооружившись длинными ножами, набросились на штабеля риса. Каждому был отведен отдельный участок, и он, вспоров ближайший куль, начинал рыться в нем руками, а затем высыпал рис на палубу. Вскоре повсюду уже виднелись белые рассыпающиеся кучи, которые непрерывно росли, а потом рассыпались дальше по палубе. Через несколько минут рис заполнил все желоба и даже лился в море из шпигатов.

Над бригом, превратившимся в гигантский зерновой склад, кружили морские птицы. При виде такого огромного количества еды они совсем обнаглели и с пронзительным криком кидались на людей, задевали нас крыльями, выхватывали зерно прямо из рук. Матросы, исцарапанные в кровь их острыми клювами и когтями, отбивались от них ножами, а потом снова принимались рыться в рисе, не обращая внимания на раненых пернатых, которые бились у их ног. Это была странная картина — тучи птиц, парящих над палубой, белые кучи риса в пятнах птичьей крови, люди, охваченные золотой лихорадкой, вспарывающие куль за кулем и что-то громко выкрикивающие, а над всем этим огромная паутина такелажа и яркая синева тихоокеанского неба. Матросы трудились в надежде получить пятьдесят долларов, а я пятьдесят тысяч. Неудивительно, что мы не жалели ни птиц, ни риса.

Примерно в десять часов утра раздался громкий крик. Нейрс, только что вспоровший очередной куль, вытряс из него вместе с рисом завернутую в бумагу жестянку.

— Ну что? — крикнул он.

В ответ раздалось громовое троекратное «ура» команды, распугавшее чаек,— каждый, забыв о собственном разочаровании, радовался успеху поисков. Через мгновение мы все столпились вокруг капитана и принялись дрожащими от волнения руками рыться в куле, откуда появлялась жестянка за жестянкой — всего шесть банок, обернутых, как я упомянул, бумагой с китайскими иероглифами на ней. Нейрс повернулся ко мне и пожал мою руку.

— Я уж думал, что нам никогда не дождаться этого дня,— сказал он.— Поздравляю вас, мистер Додд, с удачной мыслью.

Тон капитана глубоко на меня подействовал, а когда Джонсон и матросы принялись поздравлять меня и пожимать мне руки, у меня на глаза навернулись слезы.

— В каждой жестянке будет побольше двух фунтов,— сказал Нейрс, взвешивая одну из них в руке,— итого двести пятьдесят долларов на куль. За дело, ребята! Мы еще до вечера сделаем из мистера Додда миллионера.

Странно было видеть, с какой яростью мы снова накинулись на кули. Ведь матросам уже не на что было надеяться. Но зато теперь стало очевидным, что работаем мы не напрасно. Куль за кулем вспарывался и опустошался, мы уже ходили по колено в рисе, пот заливал нам глаза, спины и руки у нас отчаянно ныли, и все же наш пыл не проходил. Настало время обеда. Мы были слишком утомлены, чтобы есть, и так охрипли, что не могли говорить, и все же, не успел обед прийти к концу, как мы уже снова зарылись в рис. Когда наступил вечер, все до единого кули были вскрыты, и мы подвели удивительный итог нашим поискам.

Из всех загадок, связанных с «Летящим по ветру», эта оказалась самой необъяснимой. Из шести тысяч кулей контрабанда хранилась только в двадцати; в каждом оказалось тоже примерно по двенадцати фунтов опиума — в общей сложности двести сорок фунтов. В Сан-Франциско опиум стоил немногим дороже два-

дцати долларов за фунт, хотя в Гонолулу, где продажа его была запрещена, за тот же фунт можно было выручить до сорока долларов. Таким образом, по ценам Гонолулу стоимость опиума на борту «Летящего по ветру» не достигала и десяти тысяч долларов, а по ценам Сан-Франциско — даже пяти. Мы с Джимом заплатили за него пятьдесят тысяч долларов. А Бэллерс готов был торговаться и дальше.

Я отказывался что-нибудь понимать. Можно было возразить, что не все потеряно, что нам просто предстоит отыскать еще один тайник, и, разумеется, мы так и подумали. Вряд ли какой-нибудь другой корабль обыскивался с таким тщанием. Была осмотрена каждая балка. Были испробованы все средства. День за днем, все больше отчаиваясь, мы продолжали терзать бриг, подбадривая матросов обещаниями и подарками. Вечер за вечером мы с Нейрсом сидели вдвоем в маленькой каюте, тщетно стараясь сообразить, не просмотрели ли мы какую-нибудь возможность. И я готов отвечать головой, что на всем корабле не осталось ничего ценного, кроме дерева, из которого он был построен, и медных гвоздей. Таким образом, сомнений не оставалось: мы уплатили пятьдесят тысяч долларов, оплатили фрахт шхуны и выплатили чудовищные проценты в надежде, что нам удастся получить тысяч восемь чистой прибыли. Теперь же мы оказались банкротами и к тому же попали в чрезвычайно глупое положение. Нам предстояло стать всеобщим посмешищем. Надеюсь, я сумел сохранить внешнее спокойствие. Собственно говоря, с того дня, когда мы нашли опиум, я ни на что больше не рассчитывал, но мысль о Джиме и Мэйми терзала и жгла меня, и я замкнулся в себе, избегая разговоров и выражений сочувствия.

Вот в каком настроении я был, когда капитан предложил мне прогуляться по острову. Я понял, что он хочет о чем-то со мной поговорить, и, хотя опасался, что последуют дружеские советы и утешения, вынужден был согласиться.

Некоторое время мы молча шли вдоль берега. Над песком дрожало жаркое марево. От блеска воды у нас начинали болеть глаза. Крики птиц и рев прибоя сливались в одну дикую симфонию.

— Я думаю, мне не надо объяснять вам, что больше искать нечего? — спросил Нейрс.

— Да,— сказал я.

— Я собираюсь завтра выйти в море,— продолжал он.

— Это самое лучшее, что вы можете сделать,— заметил я.

— Возьмем курс на Гонолулу? — спросил он.

— Конечно, не будем отступать от намеченного плана! — воскликнул я.— Гонолулу так Гонолулу...

Мы помолчали, а потом Нейрс откашлялся и начал снова:

— Мы с вами стали неплохими друзьями, мистер Додд. Мы прошли через испытания, в которых проверяется человек. Нам пришлось много работать в самых тяжелых условиях, и мы ничего не сумели добиться. И за все это время мы ни разу не повздорили. Я говорю это не для того, чтобы хвалить себя: это моя обязанность, за то мне платят, для того я и пошел в море, но вы — дело другое; для вас это было все внове, и мне очень нравилось, как вы до самого конца не падали духом, трудились наравне со всеми и так прекрасно сумели справиться со своим разочарованием. Ведь мы же все понимаем, каково у вас сейчас на душе. И позвольте сказать мне вам, мистер Додд, что во всем этом деле вы показали себя настоящим человеком и что все вам сочувствуют и вами восхищаются. И еще хочу вам сказать, что я принял это дело к сердцу не меньше, чем вы сами. Меня досада душит, когда я думаю, что мы оказались побитыми. Да если б я думал, что от ожидания будет какой-нибудь толк, я бы остался на этом острове, пока мы все не перемерли бы с голоду.

Я попытался было поблагодарить его за добрые чувства, но он не дал мне сказать ни слова.

— Я пригласил вас на берег не для того, чтобы говорить комплименты. Теперь мы понимаем друг друга, вот и все. Я думаю, что вы можете мне доверять. А поговорить с вами я хотел о более важном деле: что мы будем делать с «Летящим по ветру» и со всеми этими грошовыми тайнами?

— По правде говоря, я об этом не думал,— ответил я.— Но вряд ли я это так оставлю. И, если этот самозваный капитан Трент еще жив, я его отыщу, где бы он ни прятался.

— Для этого вам достаточно только рассказать всю историю,— сказал Нейрс.— Она будет иметь большой

успех. Не так-то часто репортерам удается наткнуться на что-нибудь подобное. И я скажу вам, что будет дальше, мистер Додд. Ее передадут по телеграфу, напечатают на первой странице под огромными заголовками, власти придут в бешенство и дадут опровержение, и она сразит самозваного капитана Трента в каком-нибудь мексиканском кабаке и уничтожит самозваного Годдедааля в каком-нибудь портовом ресторанчике на Балтике, и прихлопнет Харди и Брауна в каком-нибудь матросском притоне в Гриноке. Нет никаких сомнений, что вы можете поднять шум до небес. Вопрос только в том, хотите ли вы этого.

— Ну,— ответил я,— я твердо знаю, что не хочу одного: я не хочу выставлять на всеобщее посмешище себя и Пинкертона. Мы ведь такие честные, что готовы торговать контрабандным опиумом; такие умные, что заплатили пятьдесят тысяч долларов за кота в мешке.

— Да, эта история может повредить вам в делах, и я рад, что вы приняли такое решение, потому что мне не по нутру было бы устраивать шум. Конечно, здесь не все чисто, но, если бы мы попробовали что-нибудь предпринять, главные участники преспокойно улизнули бы с добычей, а нам в руки попали бы только бедняги, которые толком ничего и не знали. Вам известно, что я не слишком-то уважаю матросов торгового флота, но ведь им, беднягам, приходится выполнять приказы, а если вы попробуете поднять шум, десять против одного, что отвечать должен будет именно такой ни в чем не повинный олух. Другое дело, если бы мы точно знали, что здесь произошло. А раз не знаем, то лучше промолчать.

— Вы говорите так, словно это зависит от нас,— возразил я.

— А от кого же? — спросил он.

— Есть же и другие,— заметил я.— Матросам известно слишком много, и вы не можете помешать им рассказывать все, что они знают.

— Не могу? — переспросил Нейрс.— Ну, это еще мы посмотрим. Когда они сойдут на берег, то будут сильно на взводе, к вечеру совсем напьются, а на другой день все уже окажутся на разных кораблях и поплывут в разные стороны. Может быть, я и не могу помешать им рассказывать, но, во всяком случае, рассказывать они будут поодиночке. Если разом будет говорить вся

команда, к ней могут и прислушаться, но если это будет один матрос, то кого заинтересует его вранье? И, во всяком случае, прежде чем они начнут рассказывать, пройдет не меньше шести месяцев, а если нам повезет и мы подыщем для них китобойные суда, то и три года. А к тому времени, мистер Додд, много воды утечет.

— Если не ошибаюсь, это называется насильственной вербовкой? — осведомился я.— А мне казалось, что такие вещи бывают только в грошовых романах.

— Ну, грошовым романам тоже можно верить,— возразил капитан,— только там одновременно происходит куда больше событий, чем в настоящей жизни. И перевирают все, что касается кораблевождения.

— Так что, по-вашему, мы можем скрыть это дело? — задумчиво произнес я.

— Правда, еще кое-кто может проговориться,— заметил капитан,— хотя ей, пожалуй, сказать уже нечего.

— А кто же это? — спросил я.

— Вон эта посудина,— ответил он, указывая на бриг.— Я знаю, что на ней ничего не осталось, ну, а вдруг все-таки кто-нибудь другой попадет на этот забытый богом остров, отправится осмотреть бриг, который мы весь ободрали, и наткнется на то самое, чего мы не заметили и из чего можно понять всю историю? Конечно, это маловероятно. Только почему-то маловероятное случается очень часто. Вы можете еще спросить, почему вдруг мне стало жаль этих мошенников? Они разорили вас и мистера Пинкертона, они своими загадками заставили меня поседеть, они наверняка замешаны в какой-то темной истории, и больше мне о них ничего не известно. В том-то все и дело, что я не знаю ничего определенного. Неизвестно, к чему может привести наше вмешательство и кто от него пострадает. Так что позвольте мне разделаться с бригом на свой манер.

— Конечно... Делайте с ним что хотите,— рассеянно ответил я, потому что мне вдруг в голову пришла новая мысль, заставившая меня затем воскликнуть: — Капитан! Вы ошибаетесь. Мы не можем этого замять. Вы забыли об одном обстоятельстве.

— О каком же? — спросил он.

— Самозваный капитан Трент, самозваный Годдедааль, самозваная команда — все отправились к себе на родину,— сказал я.— Если мы правы, никто из них

туда не попадет. И, по-вашему, подобное обстоятельство пройдет незамеченным?

— Это же моряки,— сказал капитан,— всего только моряки. Если бы они все были из одного города, я бы этого не сказал. Но ведь один из Гулля, другой из Швеции, третий с Клайда, четвертый с Темзы. Ну, и в каждом отдельном месте что будет? Ничего особенного. Просто еще один моряк пропал без вести: перепился до смерти, или утонул, или был брошен в каком-то дальнем порту — обычный конец моряка.

Горечь, звучавшая в его словах, сильно на меня подействовала.

— Не знаю,— воскликнул я, вскакивая на ноги (мы уже некоторое время сидели на земле),— не знаю, как я смогу теперь вернуться к Джиму...

— Вот что,— сказал Нейрс, проявляя неожиданный такт,— мне пора на шхуну. Джонсон на бриге укладывает последние паруса, а перед выходом в море «Нору» надо привести в порядок. Может быть, вы хотите пока побыть на этом птичьем дворе? Перед ужином я пришлю за вами лодку.

Его предложение меня обрадовало. В эту минуту мне больше всего хотелось побыть одному — настолько, что меня не пугала возможность получить солнечный удар или ослепнуть от блеска песка и воды. Мне трудно передать, о чем я думал: о Джиме, о Мэйми, о нашем разорении, об утраченных мною надеждах, о судьбе, которая ожидала меня,— скучная и однообразная работа, не приносящая ни славы, ни радости, от которой меня избавит только смерть. Во всяком случае, я был так погружен в свои грустные размышления, что совершенно не обращал внимания, куда иду. И каким-то образом оказался в самой высокой части островка, до которой добрался по той части кустарника, где почти не гнездились птицы. И тут, очнувшись, я сделал свое последнее открытие.

С того места, где я стоял, передо мной открывался широкий вид на лагуну, на окаймлявший ее риф, на безграничный простор океана за ним. В лагуне я увидел соседний островок, бриг, «Нору Крейн» и шлюпку с «Норы», которая направлялась к островку, где я находился,— солнце уже почти касалось краем моря, и над камбузом шхуны вился дымок, возвещавший ужин. Таким образом, хотя мое открытие было и поразительным и многозначительным, у меня не было времени подробно его рассмотреть. Увидел же я черные угли большого костра. Судя по всему, он горел несколько дней и пламя достигало огромной высоты. Взглянув на полуобугленную балку, лежавшую на самом краю кострища, я догадался, что костер этот поддерживали валявшимися на берегу обломками кораблей и что поддерживал его не один человек. И я понял, что несколько несчастных, потерпевших крушение, добрались до этого клочка суши, затерянного в океане, и жгли здесь свой сигнальный костер. В следующее мгновение до меня донесся оклик — шлюпка пристала к берегу; и я, вспугивая птиц, пошел напролом через кусты, чтобы навсегда, как я надеялся, расстаться с этим унылым островком.

ГЛАВА XVI,
В КОТОРОЙ Я СТАНОВЛЮСЬ КОНТРАБАНДИСТОМ, А КАПИТАН ЗАНИМАЕТСЯ КАЗУИСТИКОЙ

Эту последнюю ночь, проведенную в лагуне острова Мидуэй, я почти не спал, так что на следующее утро, когда с первыми лучами солнца мы снялись с якоря, я еще лежал, охваченный тяжелой дремой, и поднялся на палубу, только когда шхуна уже выходила из узкого прохода в открытое море. Почти у самого ее борта с ревом развертывался свиток белых бурунов, а позади я увидел клубы дыма, поднимавшиеся над остовом брига. Из его люков уже вырывались языки пламени, и стаи морских птиц в испуге летели прочь от своего бывшего приюта. Чем дальше мы отплывали, тем сильнее разгорался пожар на «Летящем по ветру», и, когда остров уже скрылся за горизонтом, мы еще видели столб дыма, словно вырывавшийся из пароходной трубы. Потом и он исчез из виду, и «Нора Крейн» снова оказалась в пустынном мире облаков и воды, однообразие которого было нарушено только через одиннадцать дней, когда в синей дали замаячили суровые горы Оаху.

С тех пор я часто с удовольствием вспоминал, что мы перед отплытием уничтожили останки «Летящего по

ветру», ибо иначе они могли бы рассказать постороннему глазу странную историю. И часто задумывался над тем странным совпадением, что последним моим впечатлением от этого корабля был столб дыма на горизонте, ибо столб дыма несколько раз играл немалую роль во всей этой истории, заманив некоторых ее участников навстречу судьбе, которой они никак не ожидали, и наполнив души других невыразимым ужасом. Однако дым, который видели мы, был последним, и, когда он рассеялся, тайна «Летящего по ветру» стала личным секретом одного человека.

Оаху, главный остров Гавайского архипелага, мы увидели на рассвете, когда уже совсем к нему приближались. Мы пошли вдоль берега, держась как можно ближе к нему. Дул свежий бриз, небо было безоблачно, и ничто не мешало нам рассматривать бесплодные горные склоны и лохматые кокосовые пальмы этого довольно унылого острова. Часов около четырех мы обогнули мыс Вайманоло, прикрывающий с запада большую бухту Гонолулу, минут двадцать крейсировали на виду у всего города, а потом снова вернулись на подветренную сторону Вайманоло, где и лежали в дрейфе до самого вечера.

Когда стемнело, мы снова обогнули мыс и, соблюдая всяческую осторожность, направились к устью Пирл Лох, где, как мы договорились с Джимом, мне предстояло встретиться с контрабандистами. На наше счастье, ночь была темной, а море — очень спокойным. Согласно полученным инструкциям, мы шли с погашенными огнями, вывесив только красные фонари на обеих кран-балках почти у самой воды. На бугшприте был выставлен дозорный, другой поместился на рее, а вся остальная команда столпилась на носу, внимательно следя, не появятся ли друзья, или враги. Наступала решительная минута всего нашего предприятия. Мы рисковали своей свободой и репутацией — и ради суммы, столь ничтожной для человека, которому грозило такое банкротство, как мне, что я с трудом удерживался от горького смеха. Но пьеса была поставлена, и мы должны были сыграть ее до конца.

Некоторое время мы видели лишь темные очертания гор, красноватые отблески факелов, при свете которых местные жители ловили рыбу у берега, и скопление ярких огней там, где находился город Гонолулу. Вскоре

между нами и берегом появилась красная звездочка и начала медленно к нам приближаться. Это был условный сигнал, и мы поспешили, соответственно инструкции, погасить оба красных фонаря и зажечь белый фонарь на рубке.

Красная звездочка все приближалась, затем послышались плеск весел и человеческие голоса, и наконец с невидимой лодки донесся окрик:

— Это мистер Додд?

— Да,— ответил я.— Джим Пинкертон с вами?

— Нет, сэр,— последовал ответ,— но с нами один из его подручных, по фамилии Спиди.

— Это я, мистер Додд,— раздался голос самого Спиди.— Я привез вам письма.

— Отлично, господа! — сказал я.— Поднимайтесь на борт и позвольте мне просмотреть мою корреспонденцию.

К борту шхуны подошел вельбот, и по трапу поднялись три человека: мой старый знакомец Спиди, морщинистый старичок по фамилии Шарп и краснолицый толстяк, фамилия которого была Фаулер. Эти двое, как я узнал впоследствии, часто работали вместе. Шарп поставлял нужные капиталы, а Фаулер, занимавший на острове довольно видное положение, вкладывал в дело свою энергию, а также личные связи, без которых в подобных случаях не обойтись. Насколько я мог понять, Фаулера особенно привлекала романтическая сторона подобных предприятий, и позднее, в тот же вечер, я почувствовал к нему довольно большую симпатию. Однако в эти первые минуты мне было не до моих новых знакомых — прежде чем Спиди успел достать письма, я уже знал всю величину постигшего нас несчастья.

— Мы должны сообщить вам неприятную новость, мистер Додд,— сказал Фаулер,— ваша фирма обанкротилась.

— Как! Уже? — воскликнул я.

— Еще удивительно, что Пинкертон сумел продержаться так долго,— последовал ответ.— Покупка брига истощила ваш кредит. Ведь хотя ваша фирма и вела большие дела, капиталы ее были очень невелики, так что, когда положение обострилось, вас могло спасти только чудо. Пинкертон объявлен банкротом, кредиторы получили по семь центов за доллар, но, в общем, все обошлось сравнительно благополучно, и газеты на вас

не особенно нападали — насколько мне известно, у Джима в этих кругах есть связи. Беда только в том, что теперь ваша покупка «Летящего по ветру» получила большую огласку, в частности здесь, в Гонолулу. Так что чем скорее мы заберем товар и выложим доллары, тем лучше для всех нас.

— Господа,— сказал я,— вы должны извинить меня. Мой друг капитан угостит вас шампанским, чтобы вам не было так скучно ждать, потому что, пока я не прочту эти письма, я не способен ни о чем разговаривать.

Они начали было возражать — и, безусловно, всякое промедление было чревато опасностью,— но моя растерянность и горе были настолько очевидны, что у них не хватило духу настаивать, и вскоре я, оставшись один на палубе, уже читал печальные письма, которые привожу ниже.

«Мой дорогой Лауден! — начиналось первое.— Это письмо передаст тебе твой друг Спиди, с которым вы делили акции серебряных рудников. Его непоколебимая честность и искренняя привязанность к тебе делают его наиболее подходящим агентом для наших целей в Гонолулу, потому что нам придется иметь дело отнюдь не с простаками. Главный там — Билли Фаулер (ты, наверное, слышал о Билли?). Он занимается политикой и умеет найти общий язык с таможней. Мне предстоит тяжелое время в конторе, но я исполнен сил и бодрости. Со мной Мэйми, а мой компаньон мчится на всех парусах к сокровищу, скрытому на бриге, и я чувствую, что могу жонглировать египетскими пирамидами, как фокусник жестяными тарелками. Я могу пожелать только одного, Лауден: чтобы ты чувствовал то же одушевление, что и я. Мне кажется, я не хожу, а летаю. Мэйми просто чудо. Лучшей поддержки не мог бы себе пожелать ни один человек. Я бью все рекорды.

Твой верный компаньон *Джим Пинкертон*».

Второе письмо было написано совсем в ином тоне:

«Дорогой Лауден!

Как мне подготовить тебя к тяжелому известию? Я боюсь, ты не перенесешь этого удара: сегодня без четверти двенадцать наша фирма обанкротилась, и всему причиной вексель Бредли (на двести долларов). Он оказался последней соломинкой, и дефицит равен двумстам пятидесяти тысячам долларов. Какой позор! Какое несчастье! А ты ведь уехал всего три недели назад, Лауден, поверь, твой компаньон делал что мог. Если бы это было в человеческих силах, я нашел бы выход из положения, но все рухнуло разом. Я выплачу, что смогу. Все кредиторы накинулись на нас, как стая волков. Я еще не знаю точно, какими капиталами мы будем располагать, настолько разнообразны операции, которые проводила наша фирма, но я работаю дни и ночи и надеюсь, что сумма наберется немалая. Если только «Летящий по ветру» принесет хотя бы половину того, на что мы рассчитываем, последнее слово останется за нами. Я бодр и полон сил, как всегда, и никакие неприятности не могут сломить мой дух, а Мэйми служит мне истинной поддержкой. У меня такое ощущение, что банкротство поразило только меня, не коснувшись ни тебя, ни ее. Поторопись. Это все, что от тебя требуется.

Всегда твой *Дж. Пинкертон*».

Третье письмо можно назвать просто унылым.

«Мой бедный Лауден! — начиналось оно.— Я каждый день засиживаюсь далеко за полночь, стараясь привести наши дела в порядок. Ты и представить себе не можешь, как они сложны и запутанны. Дуглас Лонгхерст сказал в шутку, что ликвидатор просто захлебнется. И не могу отрицать, что кое-какие сделки смахивают на спекуляции. Не дай бог, чтоб тебе, человеку такому утонченному и щепетильному, когда-нибудь пришлось столкнуться с судебными исполнителями. Они лишены всякого подобия человеческих чувств. Но мне было бы легче переносить все это, если бы не шумиха, поднятая газетами. Как часто, Лауден, вспоминаю я твои справедливые упреки в адрес нашей печати! Одна газета напечатала интервью со мной, безбожно исказив все, что я говорил, и снабдив его издевательскими пояснениями. Ты был бы вне себя, настолько оно бесчеловечно. Да я бы не написал так и о бешеной собаке, случись с ней такое несчастье, как со мной. Мэйми просто ахнула. А до сих пор она держалась совсем молодцом. Как удивительно верно заметил ты тогда в Париже, что не надо касаться внешности! Этот репортеришко напи-

сал... (далее следовала тщательно вычеркнутая строчка, после чего мой друг перешел к другой теме). Мне трудно писать о состоянии наших дел. У нас нет никаких активов.

Даже от «Тринадцати звездочек» толку мало, хотя более доходное предприятие трудно было придумать. После покупки этого брига проклятие легло на все наши дела. И что толку! Что бы ты ни нашел на этом бриге, этого не хватит для покрытия нашего дефицита. Меня мучает мысль, что ты считаешь меня виноватым Я ведь помню, как не слушал твоих уговоров. Ах, Лауден, пожалей своего несчастного компаньона! Это меня убивает. Мысль о твоих строгих принципах приводит меня в трепет. Меня угнетает, что не все мои книги в порядке, и я не знаю, что мне делать, словно у меня помутилось в голове. Лауден, если будут какие-нибудь неприятности, то я постараюсь выгородить тебя. Я уже заявил судебным исполнителям, что ты ничего не понимаешь в делах и не занимался ими. Хочу верить, что я поступил правильно. Я знаю, что это была большая вольность с моей стороны. Я знаю, что ты имеешь полное право жаловаться. Но если бы ты слышал, что они говорили! А ведь я всегда действовал в рамках закона. Даже ты с твоей щепетильностью не мог бы ни к чему придраться, если бы все пошло так, как надо. И ведь ты знаешь, что покупка «Летящего по ветру» была самой крупной нашей сделкой, а предложил ее ты. Мэйми говорит, что никогда бы не смогла взглянуть тебе в лицо, если бы купить его предложил я. Она такая щепетильная!

Твой замученный *Джим*

Последнее письмо начиналось без всякого обращения:

«Моей деловой карьере пришел конец. Я сдаюсь, у меня не осталось больше сил. Наверное, мне надо бы радоваться, потому что все кончено и суд уже был. Не знаю, как я его перенес, и ничего не помню. Если операция закончится благополучно — я имею в виду «Летящий по ветру»,— мы уедем в Европу и будем жить на проценты с капитала. Работать я больше не смогу. Меня начинает бить дрожь, когда кто-нибудь со мной заговаривает. Прежде я всегда надеялся и работал не покладая рук. А к чему это привело? Я хочу лежать в

гамаке, ни о чем не думать и читать Шекспира. Не считай меня трусом, Лауден, я просто болен. Мне необходимо отдохнуть. Всю жизнь я трудился изо всех сил, не щадя себя. Каждый заработанный мной доллар я чеканил из собственного мозга. Подлостей я никогда не делал, всегда старался быть порядочным человеком, подавал нищим и теперь имею право отдохнуть. Я должен отдыхать целый год, иначе умру от беспокойства и мозгового переутомления. Не думай, что я преувеличиваю, дело обстоит именно так. Если ты все-таки что-нибудь нашел, *доверься Спиди* и постарайся, чтобы кредиторы не пронюхали о твоей находке. Я помог тебе, когда ты попал в беду,— помоги же теперь мне. Не обманывай себя. Если ты не поможешь мне сейчас, потом будет поздно. Я стал клерком и *путаюсь в расчетах*. Мэйми работает машинисткой на бирже. Для меня в жизни ничего не осталось. Я знаю, тебе будет неприятно сделать то, о чем я прошу. Помни только об одном: это жизнь или смерть для Джима Пинкертона.

Постскриптум. Мы выплатили семь центов за доллар. Какое падение! Ну, слезами горю не поможешь, я не буду хныкать. Но, Лауден, я хочу жить. Я отказался от всяких честолюбивых замыслов, я просто хочу жить, и только. Все-таки в жизни для меня еще осталось много радости. Я оказался плохим клерком. Будь я хозяином, такой работник не удержался бы у меня и сорока минут, но я уже больше не хозяин и никогда им не буду. Ты — моя последняя надежда. Так помоги же Джиму Пинкертону».

За этим постскриптумом следовал еще один, полный таких же жалоб и просьб, а кроме того, в письмо было вложено заключение врача, достаточно мрачное. Какое впечатление все это произвело на меня, догадаться нетрудно. Кончив читать, я подошел к борту и с глубоким вздохом устремил взгляд на огни Гонолулу. В первое мгновение я совсем растерялся, но потом почувствовал внезапный прилив энергии. На Джима мне больше нельзя было полагаться, я должен был действовать сам и все решать на свою ответственность.

Но одно дело — сказать, а другое — сделать. Я испытывал жгучую жалость к моему несчастному другу. Его отчаяние угнетало меня. Я вспоминал, каким он

был, и с болью видел, насколько несчастье сломило его. Я не чувствовал силы ни последовать его предложению, ни поступить наперекор ему. Воспоминание о моем отце, которого никто не мог обвинить в злостном банкротстве, страх перед законом — на меня словно повеяло тюремным холодом — толкали меня в одну сторону, а просьбы моего больного друга — в другую. Но и пока я колебался, я твердо знал одно: раз выбрав путь, я пойду по нему до конца.

Тут я вспомнил, что у меня есть друг, с которым я могу посоветоваться. Спустившись в каюту, я сказал, обращаясь к нашим гостям:

— Господа! Я прошу у вас еще несколько минут, хотя боюсь, они покажутся вам долгими, так как я лишу вас собеседника. Мне надо поговорить с капитаном Нейрсом.

Оба контрабандиста вскочили на ноги, заявляя, что ждать больше не могут, что и так уже они многим рискуют и что, если я немедленно не приступлю к делу, они вернутся на берег.

— Как вам угодно, господа,— ответил я,— и, во всяком случае, я еще не знаю, могу ли предложить вам что-нибудь вас интересующее. Кроме того, прежде надо многое решить, и позвольте сказать вам, что я не привык действовать по принуждению.

— Само собой разумеется, мистер Додд. Мы вовсе не хотим вас к чему-нибудь принудить,— сказал Фаулер,— но подумайте и о нашем положении — оно действительно опасно. Ведь не только мы видели вашу шхуну, когда она обогнула Вайманоло.

— Мистер Фаулер,— заметил я,— я ведь тоже не вчера родился. Разрешите, я выскажу вам свое мнение — возможно, я ошибаюсь, но переубедить меня не удастся; если бы таможенники собирались нагрянуть на нашу шхуну, они уже были бы здесь. Другими словами, кто-то нам ворожит, и, думаю, я не ошибусь, если скажу, что имя этого благодетеля — Фаулер.

Они оба расхохотались, и, после того как была раскупорена еще одна из бутылок шампанского, преподнесенных Лонгхерстом Джиму, они без дальнейших возражений отпустили меня с капитаном на палубу. Я протянул Нейрсу письма, и он быстро их просмотрел.

— Я хочу знать ваше мнение, капитан,— сказал я,— как вы думаете, что все это означает?

— Это означает,— ответил капитан,— что вам предстоит во всем положиться на Спиди, отдать ему всю выручку, а самому помалкивать. Я даже жалею, что вы мне показали письма. Если добавить к этому деньги с брига, сумма получится немалая, и ее сокрытие...

— То есть если я на это пойду,— сказал я.

— Именно,— ответил он,— если вы на это пойдете.

— А какие есть за и против? — заметил я.

— Во-первых, тюрьма,— ответил капитан.— Но даже если вы ее избежите, у вас будет нехорошо на душе. Сумма достаточно велика, чтобы из-за нее могли выйти большие неприятности, но все же не настолько велика, чтобы служить оправданием. Человек, который продает свою совесть меньше чем за шестизначную цифру, падает в собственных глазах. По крайней мере так дело обстоит со мной. Ради миллиона еще можно бы рискнуть. Да и то... А после такой сделки останется скверный вкус во рту. Ну, и, кроме того, Спиди. Вы его хорошо знаете?

— Не очень,— ответил я.

— Так вот, он может испариться, захватив с собой весь капитал, но, даже если нет, вам, пожалуй, придется поить и кормить его до конца вашей жизни. Я бы не стал так рисковать. Конечно, вы должны думать о мистере Пинкертоне, он ведь был вам хорошим другом и помогал вам как только мог. Не так ли?

— Именно! — воскликнул я.— Мне трудно даже объяснить вам, скольким я ему обязан.

— Да, это имеет значение,— заметил капитан.— Если бы речь шла только о денежной стороне вопроса, я бы сказал — «слишком мало», но приходится поступаться своими принципами, когда дело касается настоящих друзей. Судя по всему, ваш Пинкертон насмерть перепуган и болен, и записку его врача нельзя назвать слишком обнадеживающей! Так вот, представьте себе, каково вам будет, если он умрет. А с другой стороны, вся ответственность за сокрытие этих денег падет на вас. Ваше положение в двух словах сводится к следующему: «Мой друг Пинкертон может попасть на тот свет, я могу попасть в тюрьму. Чего я боюсь меньше?»

— По-моему, это не совсем верно,— запротестовал я.— Приходится выбирать между тем, что честно и что нечестно.

— Что же,— ответил Нейрс,— мне кажется, такое соображение вас не смущало, когда вы взялись за контрабанду опиума.

— Вы правы,— ответил я,— хоть мне и очень стыдно признаться в этом.

— Тем не менее,— продолжал Нейрс,— вы взялись за это дело без колебаний, и мне пришлось выслушать немало ваших жалоб, что опиума у нас гораздо меньше, чем вам хотелось бы. Вероятно, ваш компаньон не видит большой разницы между сокрытием капитала и контрабандой.

— Да, так оно и есть! — воскликнул я.— И, хотя я чувствую, что это далеко не одно и то же, я не могу вам объяснить, в чем разница.

— Так всегда бывает,— заметил Нейрс назидательно.— Кому что нравится. Но как это все подействует на вашего друга? Вы отказываете ему в одолжении, ссылаясь на то, что поступить так было бы нечестно; вы наносите ему удар и обливаете его презрением. Поверьте, мистер Додд, никакая дружба этого не выдержит. Вы должны либо стать на точку зрения вашего друга, либо порвать с ним.

— Не верю! — воскликнул я.— Вы не знаете Джима!

— Ну, сами увидите,— ответил Нейрс.— И вот еще что: эти деньги, кажется, очень нужны мистеру Пинкертону. Для него они означают жизнь и здоровье. Но, если поделить эту сумму между всеми вашими кредиторами, на долю каждого придутся гроши, и вам даже спасибо не скажут. Ведь всем известно, на какие затраты вы решились за право обыскать этот бриг. И вот, добившись своего, вы возвращаетесь в Сан-Франциско и выплачиваете своим кредиторам десять тысяч... ну, пусть даже двадцать, причем вам придется признаться, что часть этой суммы выручена за контрабанду. А ведь Билли Фаулер расписки вам не выдаст — и не надейтесь! Взгляните теперь на все со стороны. Ясно как день, что вас заподозрят в утайке. Эти десять тысяч — пустяки, и все еще будут удивляться вашему нахальству. Таким образом, мистер Додд, как бы вы ни поступили, ваша репутация погибла, и пусть это вас не беспокоит.

— Наверное, вы мне не поверите,— сказал я,— но я испытываю большое облегчение.

— Ну, значит, мы с вами устроены по-разному, и, раз уж речь зашла обо мне, подумайте и о моем положении. Я не причиню вам лишних неприятностей, у вас и своих хватает; если моему другу грозит беда, у меня достанет совести закрыть глаза и сделать то, что он просит, но в то же время мои хозяева — это тоже ваши кредиторы, а я их представитель, и мне придется смотреть в сторону, пока утаиваемая от них сумма будет переправляться на берег в карманах мистера Спиди. Но я готов с радостью сделать это для вас, мистер Додд, и жалею только, что не могу сделать большего.

— Спасибо, капитан,— ответил я,— однако мое решение твердо — я выбираю честный путь.

— Но не из-за меня же? — спросил капитан.

— Отчасти,— ответил я.— Надеюсь, что я не трус и решился бы ради Джима на воровство, но ведь речь идет и о вас, и о Спиди, и о многих еще других, и, значит, таким образом, я Джима спасти не могу. Когда мы вернемся во Фриско, я буду работать для него. Возможно, этого будет мало, и он все-таки умрет, а меня замучат угрызения совести, но другого выхода нет.

— Не знаю, правильно ли вы поступаете,— ответил Нейрс,— но для меня так, конечно, лучше. И вот что: не попросить ли вам наших гостей уехать не солоно хлебавши? Какой смысл рисковать ради кредиторов?

— Кредиторы тут ни при чем,— ответил я,— но я их слишком долго задерживал, и теперь у меня не хватает духу просто так указать им на дверь.

И действительно, только эта причина побудила меня заключить сделку, которая была мне теперь ни к чему. Но она оказалась настолько занятной, что я почувствовал себя вполне вознагражденным за свои хлопоты. Фаулер и Шарп были чрезвычайно хитрые и ловкие дельцы. Почему-то они оказали мне честь, сочтя меня себе подобным, и к тому времени, когда мы кончили торговаться, успели проникнуться ко мне глубочайшим уважением. Я заслужил его только благодаря тому, что говорил чистую правду и не скрывал своего равнодушия к результатам наших переговоров. Но они, разумеется, не могли принять это за чистую монету.

Когда я, например, упомянул, что у меня всего только двести сорок фунтов опиума, мои контрабандисты обменялись многозначительным взглядом, словно говорившим: «Вот достойный нас противник»,— а когда я

небрежно назначил пятьдесят пять долларов за фунт в ответ на предложенные ими двадцать, сказав при этом: «Меня все это мало интересует, господа, хотите берите, хотите нет, но, во всяком случае, выпейте еще шампанского»,—я с большим удовольствием заметил, как Шарп толкнул Фаулера локтем в бок, и тот поперхнулся и вместо радостного «Наливайте!», запинаясь, пробормотал: «Нет, мы больше пить не будем. Спасибо, мистер Додд!» Более того: когда сделка была наконец заключена, опиум приобретен ими по пятьдесят долларов за фунт (весьма выгодный вариант для моих кредиторов) и наши гости отправились восвояси на своем вельботе, мне удалось услышать следующую лестную похвалу (они, очевидно, не знали, что по тихой воде звук разносится очень далеко):

— Этому Додду палец в рот не клади! — сказал Шарп.

— Хоть убейте, не понимаю, что у него на уме,— поддержал его Фаулер.

И вот мы снова остались одни на «Норе Крейн». Я снова мучительно вспоминал все случившееся в этот вечер, жалобы Пинкертона и мое собственное жестокое решение. Если верить всякой чепухе, которую мне приходилось читать, сознание собственной добродетели должно было бы служить мне поддержкой. На самом же деле меня терзала мысль, что я пожертвовал своим больным другом, испугавшись тюрьмы и огласки, а сознание собственной трусости никому еще не служило поддержкой в тяжелый час.

ГЛАВА XVII

СВЕДЕНИЯ С ВОЕННОГО КОРАБЛЯ

На другой день, едва встало солнце, мы снялись с якоря и, подгоняемые крепким бризом, понеслись к белым домикам города, утопавшим в зелени. Очень скоро мы уже вошли в маленькую гавань, где стояло много судов, и я, помнится, обратил внимание на один военный корабль, но на душе у меня было так тяжело, что я скоро забыл об этом обстоятельстве.

И вообще у меня было мало времени для размышлений. Шарп и Фаулер расстались со мной накануне в

полной уверенности, что я лжец, каких мало, и это милое мнение заставило их явиться к нам на борт, едва мы подошли к пристани, и предложить мне свою помощь и гостеприимство — очевидно, наша сделка в их глазах была для меня лучшей рекомендацией. Мне надо было покончить с делами, я нуждался в помощи, и Фаулер почему-то произвел на меня приятное впечатление. Короче говоря, я воспользовался их любезностью. В первую половину дня я под руководством Шарпа подыскивал покупателей для чая и шелка, а потом пообедал с ним в отдельном кабинете ресторана «Гавайи» (в присутствии третьих лиц Шарп был убежденным поборником трезвости). В четыре часа дня я отправился в бунгало Фаулера на пляже Вайкики, где провел вечер в обществе золотой молодежи Гонолулу; мы выкупались в море, пообедали, послушали музыку и потом почти до утра играли в покер. Я никогда не находил большого удовольствия в том, чтобы глубокой ночью проигрывать деньги какому-нибудь пьяному юнцу, но в этот вечер, признаюсь, такое времяпрепровождение показалось мне восхитительным, и я сорил деньгами моих кредиторов и пил шампанское Фаулера с равным успехом и беспечностью.

На другое утро я проснулся с легкой головной болью и обнаружил, что рискую остаться без завтрака,— молодые кутилы, многие из которых еще не успели отрезветь, завладели кухней и принялись собственноручно стряпать завтрак, но, поскольку каждый хотел изготовить именно свое собственное блюдо и, не стесняясь, уничтожал плоды стараний своих соседей, я не сомневался, что яиц будет разбито много, а яичниц изжарено мало. Однако, отыскав на полке кувшин молока и ломоть хлеба, я утолил свой голод и решил незаметно отправиться погулять, прежде чем вчерашние развлечения возобновятся. Было воскресенье, и я мог, забыв о делах, насладиться прогулкой по свежему воздуху и одиночеством.

Я пошел по тропинке к морю вдоль подножия погасшего кратера, известного под названием Дайамонд-Хед. Тропинка вилась среди рощи вечнозеленых деревьев, где там и сям виднелись домики местных жителей. Тут я мог вдосталь налюбоваться картинами туземной жизни. Большеглазые голые ребятишки играли с поросятами, под деревом спал юноша, почтенный ста-

рец в очках читал по складам библию на гавайском языке, в ручье купалась юная дама (зрелище, несколько меня смутившее), а в густой тени возле домиков мелькали яркие пятна пестрых одеяний. Оттуда я вышел на пляж и побрел по песку навстречу ударам могучего пассата. С одной стороны, за сверкающей полосой прибоя, виднелась бухта, усеянная множеством парусов, слева бесплодные кручи и узкие ущелья поднимались к кратеру и синему небу. Несмотря на общество веселых парусников, мной вдруг овладело чувство неизбывного одиночества. Мне вспомнилось, как накануне за обедом кто-то рассказывал, что примерно над этим местом расположена пещера, уходящая в самые недра вулкана, куда можно проникнуть только с факелами,— там хранятся кости бесчисленных жрецов и воинов и ни на мгновение не умолкает голос невидимой реки, которая устремляется к морю по подземным ходам горы. И тут я внезапно понял, что бунгало, Фаулер и его приятели, деловитый красивый город и корабли в его гавани — всего лишь дети вчерашнего дня, а за много веков до этого на острове, неведомая нам, подобно подземной реке, текла жизнь туземцев со своей славой и честолюбивыми устремлениями, со своими радостями, преступлениями и муками. Даже Халдея не казалась такой древней, а египетские пирамиды — такими таинственными; я услышал, как время отмеряется «барабанами и громом шагов» незапамятных завоеваний, и увидел себя поденкой. И дух вечности улыбнулся над банкротством «Пинкертона и Додда» и над мучениями совести младшего компаньона.

Этому настроению философской грусти, без сомнения, способствовали и вчерашние мои эксцессы,— ведь не только добродетель таит в себе свою награду. Как бы то ни было, у меня стало легче на душе. Вдруг за поворотом тропинки я увидел сигнальную станцию, построенную на самом краю утеса. Новый, свежевыкрашенный дом был открыт всем ударам пассата. В окнах, обращенных к морю, не переставая, дребезжали стекла, и звук этот сливался с грохотом прибоя, разбивающегося о подножия утесов; естественно, что обитатели дома не услышали моих шагов на узкой веранде.

Их было двое: смотритель — пожилой моряк с седеющей бородой и тем особым выражением лица, которое бывает у людей, долго живущих в одиночестве, и

его гость — уже немолодой краснобай в форме матроса английского военного флота, сидевший на столе и куривший сигару. Я был встречен очень любезно и вскоре уже слушал с улыбкой разглагольствования моряка.

— Не родись я англичанином,— заявил он, между прочим,— я хотел бы быть французом. Все другие им и в подметки не годятся. Возьмите хоть Соединенные Штаты — там без взятки и дня не проживешь. Знавал я одного американского моряка. Хороший был парень — тоже англичанин по рождению; он служил сигнальщиком на «Вьяндотте». Так он говорил, что никогда бы не получил такого места, если бы не «нашел общего языка с ребятами». Так вот прямо мне и сказал. Ну, мы здесь все англичане...

— Боюсь, что я американец,— перебил я с виноватым видом.

Он на секунду как будто смутился, но тут же оправился и сделал мне необычайно тактичный комплимент:

— Да что вы говорите! Вот уж не подумал бы! По вас этого никак не скажешь,— заключил он, словно я признался, что хлебнул лишнего.

Я поблагодарил его, как всегда благодарю его соотечественников, когда они говорят мне что-нибудь подобное (благодарю я их не столько за любезное отношение ко мне и к моей стране, сколько за проявление истинного британского духа и вкуса). Мое смирение настолько его смягчило, что он одобрительно отозвался об американской манере сшивать паруса.

— Вы сшиваете паруса лучше нас,— сказал он.— Можете утверждать это с чистой совестью.

— Спасибо,— ответил я,— не премину.

После этого наша дружба начала крепнуть с удивительной быстротой, и, когда я стал прощаться, собираясь вернуться в бунгало Фаулера, мой новый знакомый соскочил со стола и предложил составить мне компанию. Я был этому рад, потому что его болтовня весьма меня забавляла. Но, когда он взял свою бескозырку, я обнаружил, что наша беседа может оказаться куда интереснее, чем я предполагал: на ленточке было написано «Буря».

— Послушайте,— сказал я, когда мы попрощались со смотрителем и спустились с веранды на дорожку,— не ваш ли корабль подобрал команду «Летящего по ветру»?

— Он самый,— ответил мой спутник.— И им здорово повезло: этот остров Мидуэй — дыра, каких мало.

— Я как раз оттуда,— заметил я.— Мы с моим компаньоном купили их бриг.

— Прошу прощения, сэр,— вскричал матрос,— вы, значит, хозяин этой белой шхуны?

— Да,— ответил я и продолжал: — Меня очень заинтересовала вся эта история, и я был бы вам очень благодарен, если бы вы рассказали, как их спасли.

— Дело было так,— начал он.— Нам было приказано зайти на Мидуэй проверить, нет ли там потерпевших кораблекрушение, и мы приблизились к нему под вечер. Ночью мы еле ползли — так, чтобы добраться до острова к полудню: старик Тутльс... прошу прощения, сэр,— наш капитан боялся подойти к нему слишком близко ночью, ведь вокруг этого Мидуэя полно всяких подлых течений,— вы же это знаете, потому что были там. Ну, и, наверное, одно из них нас потащило, потому что, когда пробило шесть склянок, хоть мы еще должны были быть далеко от острова, кто-то вдруг увидел парус, а потом и мы все рассмотрели мачты большого брига. Тут мы прибавили ходу, и бриг вместе с островом прямо как вырос из воды. Мы разглядели, что бриг сидит на мели и что вымпел поднят, а флаг спущен. Прибой там здоровый, так что мы в лагуну входить не стали, а послали туда пару шлюпок. Я сам в шлюпке не был, а только стоял у борта и смотрел, но ребята рассказывали, что все они там были перепуганы насмерть и ничего в толк взять не могли. Один все хныкал и заламывал руки. Первым на борт поднялся этот Трент — у него рука была замотана окровавленной тряпкой. Я стоял совсем рядом с трапом и заметил, что ему сильно не по себе. Он словно все время задыхался. Ну, и то сказать, было им чего испугаться. А за Трентом полез его помощник...

— Годдедааль! — воскликнул я.

— Хорошее имечко, ничего не скажешь,— засмеялся матрос,— да только оно было не настоящее — свое настоящее имя он скрывал, потому что происходил из знатной семьи. Один из наших офицеров был с ним знаком в Англии, он его узнал, подошел к нему и говорит: «Здравствуй, Норри, старина!»,— а тот до тех пор держался молодцом, как аристократу и положено, а тут, чуть услышал свое настоящее имя, побелел как полотно,

посмотрел на мистера Сибрайта, словно черта увидел, и как хлопнется на палубу в обморок! «Отнесите его в мою каюту,— говорит мистер Сибрайт,— это бедный Норри Картью».

— А какой он был, этот мистер Картью? — еле выговорил я.

— Офицерский стюард говорил мне, что он из очень знатной семьи,— ответил мой приятель,— и отец у него был баронетом.

— Я спрашиваю, каков он был из себя? — повторил я.

— Самый обыкновенный. Я бы по виду не догадался, кто он такой. Правда, я ведь его видел, только когда он был весь оборван и перемазан.

— Как же так! — воскликнул я.— Ах да, вспоминаю, он был болен все время, пока вы шли во Фриско...

— Может, болен, а может, просто не хотел, чтобы его видели, только никуда он из каюты не выходил, и стюард, который носил ему обед, говорил мне, что он почти ничего не ел. А во Фриско его отправили на берег тайком от всех. Говорят, дело было так. Его старший брат умер, и он оказался наследником, а перед этим он рассорился с семьей, и никто не знал, куда он делся. И вот, пока он трудился на торговом бриге, потерпел крушение на Мидуэе и уже складывал свои пожитки, готовясь пуститься в море на шлюпке, вдруг приходит наш корабль, он узнает, что стал богачом и его, того и гляди, выберут в парламент. Вот ему и не хотелось на людях показываться. Мы бы с вами на его месте тоже так поступили.

— Возможно,— ответил я.— Ну, а остальных-то вы видели?

— Само собой,— ответил он,— и ничего дурного о них сказать не могу. Харди, например, много на своем веку повидал, знал и несчастья и удачу. Очень он мне нравился. Хороший человек. Такой образованный, знал французский и на латыни изъяснялся, что твой туземец. И красив к тому же.

— Много они рассказывали о кораблекрушении? — спросил я.

— А чего там было рассказывать? — ответил матрос.— Об этом уж все в газетах написали. Харди больше рассказывал о том, как он водил знакомство с жокеями, с призовыми боксерами, актерами и прочей

такой компанией. . А вот и моя лошадь, так что, с вашего разрешения, я тут с вами попрощаюсь.

— Минуточку,— сказал я.— Мистер Сибрайт на борту?

— Нет, сэр,— ответил матрос,— он сейчас на берегу. Я сам отвозил его чемодан в отель.

На этом мы расстались, но мой новый знакомый тут же обогнал меня, восседая на коне (взятом из прокатной конюшни), который явно презирал своего всадника. Я пошел своей дорогой, и в голове моей теснились самые разные мысли. Мне казалось, что у меня в руках ключ к разгадке всех этих тайн. Я узнал настоящее имя Диксона,—его звали Картью. Я узнал, на какие деньги Бэллерс пытался купить бриг,— и это была часть наследства, полученного Картью. И к моей мысленной галерее картин, повествующих о судьбе «Летящего по ветру», прибавилась еще одна картина, пожалуй, наиболее драматичная. Я увидел палубу военного корабля у берегов затерянного в океане острова, офицеров и матросов, и среди них — человека, скрывавшего свое происхождение, пока он плавал на торговом бриге, избежавшего гибели в море и упавшего без чувств, когда он услышал свое собственное имя. Я не мог не вспомнить мой разговор с ним по телефону. Повидимому, у этого Диксона, Годдедааля или Картью совесть была сильно нечиста. Судя по лицу на фотографии, которую мы нашли на «Летящем по ветру», изображенный на ней человек вполне был способен на подобные бурные переживания, и я пришел к заключению, что Годдедааль (или Картью) — это разгадка всей тайны.

Одно было ясно: раз «Буря» здесь, я должен познакомиться и с Сибрайтом и с судовым врачом. Поэтому, распрощавшись с мистером Фаулером, я поспешил вернуться в Гонолулу и в тщетном ожидании просидел до вечера на прохладной веранде отеля. Уже пробило девять часов, когда мое терпение было наконец вознаграждено.

— Вот джентльмен, которого вы спрашивали,— сказал мне портье, указывая на молодого человека необычайно томной наружности, лениво игравшего тросточкой.

Признаться, я никак не ожидал увидеть такого изнеженного щеголя и несколько растерялся.

— Если не ошибаюсь, я имею удовольствие говорить с лейтенантом Сибрайтом,— сказал я, подходя к нему.

— О да,— ответил он.— Но, мне кажется, мы незнакомы.

— Я решился заговорить с вами именно для того, чтобы мы познакомились,— сказал я, нимало не смущаясь (на невежливость я всегда отвечаю невежливостью, пожалуй, это моя единственная воинственная черта).— Мы оба с вами имеем отношение к делу, которое меня живо интересует, и мне кажется, что я могу оказать некоторую услугу одному из ваших друзей, во всяком случае, сообщить ему кое-какие приятные новости.

Последнее я сказал, чтобы как-то успокоить свою совесть Никакой услуги мистеру Картью я, разумеется, оказать не мог и не хотел, но твердо знал, что ему будет приятно услышать о том, что «Летящий по ветру» сожжен.

— Я... я вас не понимаю,— запинаясь, проговорил Сибрайт,— у меня нет никаких друзей в Гонолулу.

— Друг, о котором идет речь, находится в Англии,— ответил я.— Это мистер Картью, которого вы подобрали на острове Мидуэй. Моя фирма купила бриг. Я только что вернулся с Мидуэя, и мне совершенно необходимо связаться с мистером Картью. Надеюсь, вы будете так любезны и сообщите мне его адрес.

Вы видите, что я быстро оставил всякую попытку заинтересовать этого надменного британца. Ему явно было не по себе от моей настойчивости. Я заключил, что, во-первых, он страшно боится, как бы я не навязался ему в знакомые, и что, во-вторых, он неумен, тщеславен, лишен всякой находчивости — улитка без домика — и постарается любой ценой положить конец нашему разговору, даже согласившись на мою просьбу. И я оказался прав. Минуту спустя он поспешно ретировался, вручив мне листок бумаги, на котором было нацарапано: «Дорсет, Столлбридж-ле-Картью, Норрис Картью».

Я одержал победу — поле боя и часть неприятельского обоза оказались в моей власти. Однако во время нашей беседы я испытывал такие же страдания, как мистер Сибрайт, и почувствовал, что у меня нет больше сил для продолжения военных действий. Я понял, что английский флот непобедим (во всяком случае, для меня), и решил впредь держаться от его флага на почти-

тельном расстоянии. Я оставил всякую мысль о поисках доктора и отправился спать. Утром моя решимость не продолжать расследования только укрепилась после случайной встречи с Сибрайтом, который поклонился мне так надменно и сухо, что я счел за благо не заметить его приветствия и не отвечать на него.

Судите же сами, каково было мое удивление, когда через полчаса я получил записку от лейтенанта «Бури» с приглашением посетить корабль.

«Дорогой сэр! — начиналась записка.— Нас всех, разумеется, очень интересует судьба брига «Летящий по ветру», и едва только я упомянул, что имел удовольствие познакомиться с вами, как все мои товарищи единодушно выразили желание видеть вас своим гостем на нашем корабле. Мы были бы очень рады, если бы вы могли посетить нас сегодня вечером или, если вы заняты, пообедали бы с нами завтра или сегодня». Далее следовало указание часа обеда и подпись: «Дж. Ласеллес Сибрайт» вместе с утверждением, что он остается искренне моим.

«Нет, мистер Ласеллес Сибрайт,— подумал я,—что вы не мой — это ясно, но не менее ясно, что вы находитесь в подчинении у кого-то другого. Вы рассказали о нашей встрече, получили нахлобучку, написали под диктовку эту записку, и вот я приглашен на борт «Бури», однако не для того, чтобы знакомиться с членами ее экипажа и не для того, чтобы рассказывать о судьбе «Летящего по ветру», но для того, чтобы подвергнуться допросу со стороны человека, интересующегося Картью, и готов держать пари, что это доктор. И еще я готов держать пари, что если бы вы не дали мне вчера этого адреса, то вам не пришлось бы писать записку».

Я тут же ответил, что буду сегодня к обеду, и в назначенный час не слишком бравые на вид матросы «Норы Крейн» доставили меня в шлюпке к ощетиненному орудиями борту «Бури».

Офицеры военного корабля, казалось, были искренне рады мне. Мои сотрапезники, в отличие от Сибрайта, с мальчишеским интересом расспрашивали меня о подробностях нашего плавания. За столом только и разговоров было, что о «Летящем по ветру», о том, как он сел на мель, о том, как я нашел его, о течениях вокруг острова Мидуэй, о его лагуне, о дующих там ветрах. Несколько раз упоминалось имя Картью, причем

самым естественным тоном. Случай с ним заставил вспомнить судьбу покойного графа Абердина, который умер помощником капитана на американской шхуне. Если я не узнал о Картью почти ничего нового, это объяснялось тем, что они сами почти ничего не знали,— их просто заинтересовала необыкновенная судьба этого человека и они сожалели о его долгой болезни. Я убедился, что этой темы не избегают и что офицеры «Бури» ничего не стараются скрыть от меня, так как им нечего скрывать.

Все, казалось, было совершенно естественным и нормальным, и, однако, доктор смущал меня. Это был высокий коренастый человек лет пятидесяти, с седеющими волосами, беспокойным ртом и кустистыми бровями. Он говорил редко, прерывая молчание только для того, чтобы отпустить веселую шутку, а его негромкий добродушный смех был необыкновенно заразителен. Насколько я мог понять, он считался присяжным остряком кают-компании и в то же время пользовался всеобщим уважением.

Вскоре я убедился, что он исподтишка наблюдает за мной, и не преминул последовать его примеру. Если Картью симулировал свою болезнь — а все обстоятельства неопровержимо это доказывали,— то, значит, доктор был посвящен во все или, по крайней мере, во многое. Его суровое, волевое лицо все больше убеждало меня в этом. Человека с такими глазами и с таким ртом нельзя было заставить действовать вслепую или по чьей-то указке. С другой стороны, трудно было поверить, что он согласится потворствовать преступлению. Короче говоря, доктор, казалось, никак не подходил для роли, которую я отвел ему в моих теориях. Я был охвачен удивлением и любопытством.

После обеда, когда все собирались перейти в курительную, я, подчиняясь неожиданному порыву, отрезал себе все пути к отступлению: сославшись на легкое недомогание, я попросил разрешения посоветоваться с доктором.

— Я совершенно здоров, доктор Эрквард,— сказал я, как только мы остались наедине.

Он что-то промычал и устремил на меня внимательный взгляд своих серых глаз. Было ясно, что первым он говорить не собирается.

— Я хотел бы побеседовать с вами о «Летящем по ветру» и о мистере Картью,— продолжал я.— Будем откровенны. Вы должны были этого ожидать. Я уверен, что вы знаете все, и, как человек проницательный, вероятно, догадались, что и мне известно многое. Так какова же наша позиция относительно друг друга и моя позиция по отношению к мистеру Картью?

— Я не совсем вас понимаю,— ответил он, помолчав, и после паузы добавил: — Мне неясна ваша цель, мистер Додд.

— То есть вы хотите сказать, с какой целью я навожу эти справки?

Он кивнул.

— Я думаю, мы просто говорим о разных вещах,— ответил я.— Моя цель очень проста: это то, ради чего я сюда приехал. Я заплатил за «Летящего по ветру» невероятно высокую цену, так как мистер Картью через своего агента торговался на аукционе до последнего. В результате я разорился. Но если я не нашел на бриге богатства, я нашел там недвусмысленные доказательства совершенного преступления. Поймите мое положение — я разорился из-за этого человека, которого никогда не видел. Может быть, я хочу отомстить или потребовать компенсации, и, я думаю, вы согласитесь, что у меня есть возможность добиться и того и другого.

Доктор ничего не ответил.

— Неужели вы не понимаете,— продолжал я,— какова моя позиция по отношению к мистеру Картью и с какой целью я обращаюсь к человеку, который, несомненно, посвящен в секрет, и спрашиваю его честно и прямо?

— Я должен попросить вас пояснить свою мысль,— сказал он.

— Вы не хотите облегчить мне дело,— возразил я,— но постарайтесь понять одно: моя совесть не слишком чувствительна, но все же она у меня есть. Преступления бывают разные, и некоторые их разновидности не вызывают у меня особого осуждения. Мистер Картью у меня в руках, и я не из тех, кто добровольно отказывается от преимущества, а кроме того, я любопытен. Но, с другой стороны, я не хотел бы причинять неприятности человеку несчастному или навлекать на него новые беды.

— Мне кажется, я вас понимаю. Предположим, я дам вам слово, что случившемуся есть оправдания, весьма значительные.

— Это значило бы для меня очень много, доктор,— ответил я.

— Скажу больше,— продолжал он.— Предположим, я был бы там или вы были бы там — неизвестно, как поступили бы мы сами после некоего события, и, возможно, мы поступили бы точно так же. А теперь попробуйте понять мою точку зрения. Я буду откровенен с вами и признаюсь, что мне известно все. Вы уже догадались, как я поступил. Я хочу просить вас сделать вывод из моих действий относительно тех фактов, которые были мне известны и которые я не имею ни оснований, ни права сообщить вам.

Не берусь передать исполненный глубокой убежденности тон, каким были сказаны эти слова. Тем, кто не слышал, как говорил доктор Эрквард, может показаться, что он морочил меня загадками, я же получил от него хороший урок и похвалу.

— Благодарю вас,— сказал я,— чувствую, что вы сказали гораздо больше, чем я имел право вас спрашивать, и ровно столько, сколько могли. Я принимаю это как знак доверия, которое постараюсь оправдать. Надеюсь, сэр, вы позволите мне считать вас своим другом.

Он уклонился от ответа, предложив мне присоединиться к остальному обществу, но, когда мы вошли в курительную, сумел смягчить свою резкость. Он с дружеской фамильярностью положил мне руку на плечо и весело сказал:

— Я прописал мистеру Додду стаканчик нашей мадеры.

Мне больше не пришлось встретиться с доктором Эрквардом, но он так ясно запечатлелся в моей памяти, что сейчас я словно опять вижу его перед собой. И нелегко было забыть его после того, что он мне сообщил. Придумать теорию, объясняющую все загадочные обстоятельства, связанные с «Летящим по ветру», было достаточно трудно, но придумать такую, которая объясняла бы, каким образом главное действующее лицо заслужило уважение или, по крайней мере, сочувствие человека, подобного доктору Эрквարду, оказалось мне не под силу.

На этом кончились мои открытия. Я не узнал ничего нового, пока не узнал всего. Теперь моему читателю известны все факты. Окажется ли он более проницательным, чем я, или, подобно мне, признает, что не в силах найти им объяснения?

ГЛАВА XVIII

ПЫТЛИВЫЕ ВОПРОСЫ И УКЛОНЧИВЫЕ ОТВЕТЫ

Выше я довольно зло отозвался о Сан-Франциско (мои слова не следует понимать буквально: израильтяне вряд ли отзывались с похвалой о стране фараона!), и город прекрасно отомстил мне при моем возвращении. Никогда еще он не был так красив. Светило солнце, воздух был свеж и бодрящ, на лицах прохожих сияли улыбки, у всех в петлицах виднелись цветы. И, пока я шел по направлению к конторе, где теперь работал Джим, мое мрачное лицо казалось, вероятно, темным пятном на фоне общего веселья.

Контора, которую я искал, находилась в маленьком переулке и занимала старый, покосившийся дом, по фасаду которого тянулась надпись: «Типография Франклина Доджа», а снизу было приписано, судя по яркости букв, совсем недавно: «Здесь работают только белые».

В конторе, в пыльном закутке, за столом сидел Джим. В его наружности и одежде произошла разительная перемена — он казался больным; куда девались его прежняя энергия и работоспособность! Теперь он сидел, глядя на столбцы цифр счетной книги, лениво грыз перо, по временам испускал тяжелый вздох и ничего не делал. Очевидно, он был целиком поглощен какими-то тяжелыми мыслями. Он не заметил моего появления, и я некоторое время без помехи разглядывал его. Неожиданно меня охватило мучительное раскаяние. Как я и предсказывал Нейрсу, я почувствовал, что сам себе противен. Я вернулся домой, сохранив свою честь, а мой больной друг был лишен необходимого отдыха, ухода, питания. И, как Фальстаф, я спросил себя, что такое честь, и, как Фальстаф, ответил себе — «воздух»!

— Джим! — окликнул я его наконец.

— Лауден! — задыхаясь, произнес он и вскочил на ноги весь дрожа.

Через мгновение я уже пожимал ему руку.

— Мой бедный друг! — сказал я.

— Слава богу, наконец-то ты вернулся! — всхлипывая, бормотал он и хлопал меня по плечу.

— У меня нет для тебя хороших новостей...

— Ты приехал. Лучшей новости мне не нужно,— ответил он.— Как мне тебя не хватало, Лауден!

— Я не мог сделать того, о чем ты мне писал,— сказал я, понизив голос.— Все деньги пошли кредиторам. Я не мог...

— Ш-ш-ш!..—остановил меня Джим.— Я был сумасшедшим, когда писал это. Если бы мы решились на такое, я не мог бы взглянуть Мэйми в лицо. Ах, Лауден, какая она замечательная!

— Я рад, что ты ни о чем не жалеешь,— сказал я,— другого я от тебя и не ждал.

— Так, значит, «Летящий по ветру» оказался пустышкой? — продолжал он.— Я не все понял в твоем письме, но это было мне ясно.

— Пустышка — это не то слово,— заметил я.— Кредиторы ни за что не поверят, какого дурака мы сваляли. И кстати,— поспешил я переменить тему,— как банкротство?

— Тебе очень повезло, что тебя здесь не было,— ответил Джим, покачивая головой.— тебе очень повезло, что ты не видел газет. В одной газете писали, что у меня водянка мозга, в другой — что я лягушка, которая затеяла помериться с Лонгхерстом и лопнула с натуги. Довольно жестоко, если подумать, что речь шла о человеке, у которого был медовый месяц. Я уж не говорю о том, что они писали о моей наружности, о моей одежде и как у меня по лицу градом катился пот. Но я поддерживал себя надеждой на «Летящего по ветру»... Как все это вышло, Лауден? Я что-то не понял.

«Не понял ты, как же...» — подумал я про себя, а вслух сказал:

— Видишь ли, нам обоим не повезло. Я выручил чуть больше, чем пошло на покрытие текущих расходов, а ты не сумел продержаться обещанных трех месяцев. Как это случилось?

— Ну, об этом мы поговорим попозже,— сказал Джим, вдруг засуетившись.— Мне надо браться за счета, а ты иди прямо к Мэйми. Она живет у Спиди. Она ожидает тебя с нетерпением — ведь она смотрит на тебя, как на любимого брата, Лауден.

Я был рад всякому предлогу, чтобы отложить наше объяснение и хотя бы лишний час не касаться истории «Летящего по ветру». Поэтому я немедленно последовал совету Джима. Миссис Спиди, которая еще переживала радость встречи с любимым супругом, приветствовала меня с энтузиазмом.

— До чего же прекрасный у вас вид, мистер Додд, милый вы человек! — объявила она любезно.— И как это коричневые красотки отпустили вас с островов-то? Уж я вижу, что у Спиди совесть нечиста! — добавила она игриво.— Он за ними приударял, верно?

Я поспешил сообщить, что Спиди вел себя образцово.

— Ну, вы друг за друга горой стоите! — заключила миссис Спиди и проводила меня в скудно обставленную комнатушку, где Мэйми трудилась за пишущей машинкой.

Она обошлась со мной так ласково, что я был тронут. Дружески протянула мне обе руки, пододвинула стул и достала из шкафа жестянку моего любимого табака и пачку папиросной бумаги того сорта, каким я всегда пользовался.

— Видите, мистер Лауден,— воскликнула она,— ваш приезд не застал нас врасплох! Все это было куплено еще в день вашего отплытия.

Насколько я могу судить, она с самого начала задумала устроить мне приятную встречу, однако искренности, которая чувствовалась в ее любезных словах, я, как оказалось, был обязан капитану Нейрсу. Он — за что я навсегда останусь ему благодарен,— несмотря на занятость, выбрал время навестить Мэйми и в самых лестных тонах рассказал ей о том, с какой энергией я обыскивал бриг. Однако Мэйми не упомянула о его посещении, пока я по ее требованию не описал ей наше плавание.

— Нет, капитан Нейрс рассказывал куда лучше! — воскликнула она, когда я наконец умолк.— От вас же я почерпнула только один новый факт — что вы так же скромны, как и мужественны.

Я с горячностью попытался ее разубедить.

— И не старайтесь,— заметила Мэйми,— я умею распознать героя, когда его вижу. А услышав о том, как вы работали дни и ночи, словно простой матрос, натирая на руках кровавые мозоли, и как вы сказали капитану: «Так держать!» (по-моему, он сказал именно это) — во время страшной бури, когда он сам был испуган, и как вы вели себя, когда вам грозил страшный мятеж (Нейрс из дружеских побуждений макал свою кисть в землетрясение и другие катаклизмы), и как вы все это делали, хотя бы частично, ради Джима и меня,— так вот, услышав все это, я почувствовала, что мы никогда не сможем выразить вам всю нашу благодарность и восхищение.

— Мэйми! — воскликнул я.— Не говорите о благодарности! Это слово лишнее между друзьями. Мы с Джимом делили богатство, теперь будем делить бедность. Мы сделали все, что было в наших силах, и больше не о чем говорить. Я постараюсь подыскать себе работу, чтобы вы с Джимом могли уехать куда-нибудь в леса и хорошенько отдохнуть: Джиму это совершенно необходимо.

— Джим не может взять ваши деньги, мистер Лауден,— сказала Мэйми.

— Как это не может? — возразил я.— Он их возьмет — ведь я же брал его деньги.

Вскоре после этого явился Джим и, не успев еще снять шляпу, уже заговорил со мной на проклятую тему.

— Ну вот, Лауден,— сказал он,— мы собрались все вместе, дневные труды окончены, у нас впереди целый вечер, так начинай же свой рассказ.

— Сперва поговорим о делах,— сказал я машинально, тщетно стараясь, в который уже раз, придумать хоть какую-нибудь правдоподобную историю.— Я хотел бы точно знать подробности нашего банкротства.

— Ну, это дело прошлое. Мы заплатили по семи центов за доллар, и это еще хорошо. Судебный исполнитель...— При этих словах лицо его исказилось, и он поспешил заговорить о другом.— Но это все уже позади, а мне хотелось бы узнать подробности истории с бригом. Я чего-то не понимаю, и мне кажется, что за всем этим что-то кроется.

— В самом бриге, во всяком случае, ничего не крылось,— сказал я, натянуто засмеявшись.

— Это-то я и хочу уяснить себе,— возразил Джим.

— Почему я не могу ничего узнать у тебя о банкротстве? Словно ты стараешься избежать этой темы,— заметил я, совершив непростительную ошибку.

— А ты словно стараешься избежать разговора о бриге,— сказал Джим.

Пути к отступлению были отрезаны, и по моей собственной вине.

— Мой милый, если тебе так не терпится — что ж, пожалуйста,— ответил я и начал веселым тоном излагать историю нашего плавания.

Я говорил с одушевлением, остроумно — подробно описал остров и бриг, изображал в лицах разговоры матросов и заявление кока, поддерживал напряжение... Роковое слово! Я так хорошо поддерживал напряжение, что оно так и не разрядилось, и, когда я умолк — написать «кончил» я не решаюсь, потому что никакого конца не было,— Джим и Мэйми уставились на меня в удивлении.

— Ну, а что же дальше? — спросил Джим.

— Это все,— ответил я.

— Но как ты это объясняешь? — спросил он.

— Никак,— ответил я.

В глазах Мэйми появилось зловещее выражение.

— Но, черт побери, за него же предлагали пятьдесят тысяч фунтов! — воскликнул Джим.— Тут что-то не так, Лауден. Получается какая-то чепуха... Я знаю, что вы с Нейрсом сделали все, что было в ваших силах, но, значит, вы были как-то обмануты. Опиум все еще спрятан на бриге, и я до него доберусь.

— На нем ничего нет, кроме старого дерева и железа, я же говорю тебе,— возразил я.

— Вот увидишь,— сказал Джим.— В следующий раз я отправлюсь сам и возьму с собой Мэйми. Лонгхерст не откажет мне в сумме, достаточной для того, чтобы зафрахтовать шхуну. Вот увидишь, когда я обыщу бриг...

— Но ты его не сможешь обыскать. Он сожжен!

— Сожжен? — воскликнула Мэйми, привстав со стула, на котором она до сих пор сидела, сохраняя позу спокойного внимания.

Наступило довольно долгое молчание.

— Извини, Лауден,— прервал его наконец Джим,— но какого дьявола вы его сожгли?

— Нейрс решил, что так будет лучше,— сказал я.

— Это, пожалуй, самое странное из всего, что мы слышали,— вставила Мэйми.

— Действительно, Лауден, это как-то неожиданно,— добавил Джим,— и как-то нелепо. Зачем тебе... Зачем Нейрсу понадобилось сжигать корабль?

— Не знаю. А какое это имеет значение? Мы же сняли с него все, что можно было снять.

— Ты ошибаешься! — воскликнул Джим.— Совершенно очевидно, что вы что-то проглядели.

— А почему вы были так уверены, что там ничего нет? — спросила Мэйми.

— Ну как я могу это объяснить! — воскликнул я.— Мы осмотрели все закоулки и щелки корабля и были совершенно уверены, что там больше ничего не спрятано. Других объяснений у меня нет.

— Я начинаю в этом убеждаться,— произнесла она многозначительным тоном.

Джим поспешил вмешаться:

— Я одного не понимаю, Лауден. По-моему, ты не оценил всей странности истории с бригом,— сказал он.— Я смотрю на нее как-то по-другому, чем ты.

— Какой смысл продолжать эти разговоры! — воскликнула Мэйми, неожиданно вставая.— Мистер Додд не собирается сказать нам, ни что он думает, ни что он знает!

— Мэйми! — ахнул Джим.

— Незачем тебе так считаться с ним, Джеймс,— он ведь с тобой не считается,— возразила его жена,— и, заметь, он этого не отрицает А кроме того, он не в первый раз проявляет подобную сдержанность. Или ты забыл, что он знал адрес Диксона, но сообщил его тебе, только когда тот успел скрыться?

Джим умоляюще повернулся ко мне — мы уже все трое стояли.

— Лауден,— сказал он,— ты видишь, Мэйми что-то вообразила, и для этого есть некоторые основания. Ведь даже я, Лауден, несмотря на весь мой деловой опыт, ничего не могу понять. Ради бога, объяснись!

— Так мне и надо,— сказал я.— Мне следовало быть с тобой откровенным. Я должен был бы сразу сказать, что не имею права открыть тебе этого, и с самого начала попросить тебя довериться мне. Все это я делаю теперь. Да, с бригом связаны еще некоторые об-

стоятельства, но они нас не касаются, и я обязан молчать — я дал честное слово. Поверь мне и прости меня!

— Наверное, я очень глупа, мистер Додд,— начала Мэйми со зловещей любезностью,— но мне казалось, что вы отправились в это плавание в качестве представителя моего мужа и на деньги моего мужа. Теперь вы говорите, что дали слово. Но мне казалось, что в первую очередь вы были связаны словом с Джеймсом. Вы говорите, что это нас не касается. Но мы разорены, мой муж болен, и нас не может не касаться обстоятельство, благодаря которому мы потеряли наши деньги и наш представитель вернулся к нам с пустыми руками. Вы просите, чтобы мы вам поверили, и, кажется, не понимаете, что мы задаем себе вопрос, не слишком ли мы верили вам в прошлом.

— Я просил верить мне не вас, а Джима,— ответил я,— он меня знает.

— Вы думаете, что вы можете вертеть Джеймсом, как хотите? Вы полагаетесь на его привязанность, не так ли? А со мной вы не желаете считаться? — сказала Мэйми.— Пожалуй, день нашего брака был для вас несчастливым днем, потому что я, по крайней мере, не слепа. Команда исчезает. Бриг продается за бешеные деньги. Вы знаете адрес этого человека и скрываете его. Вы не находите того, за чем вас посылали, и все-таки сжигаете корабль. А теперь, когда мы просим объяснений, оказывается, что вы дали слово молчать. Но я такого слова не давала, я не собираюсь молча смотреть, как моего бедного, больного, разоренного мужа предает его чванный друг. Вам придется выслушать всю правду! Мистер Додд, вас купили, и вы продались.

— Мэйми,— сказал Джим,— довольно. Ты наносишь удар мне — и мне делаешь больно. В подобных вещах ты не разбираешься. Да ведь если бы не Лауден, я сегодня не смог бы смотреть тебе в глаза. Он спас мою честь.

— Я уже много раз слышала подобные разговоры,— сказала она.— Ты простосердечный дурачок, я тебя таким и люблю. Но меня так просто не обманешь, и я вижу все лицемерие этого человека. Он пришел сюда сегодня, заявляя, что будет искать работу... заявляя, что будет делиться с нами своими трудовыми заработками, пока ты не поправишься. Какое притворство! Я просто не могу сдержаться. Его заработки! Доля в его

заработках! Как бы не так — эти гроши были бы твоей долей в «Летящем по ветру», а все остальное он украл у тебя, а ведь ты работал и трудился ради него, пока он нищенствовал в Париже. Но мы обойдемся без вашей милостыни! Слава богу, я сама могу работать для своего мужа. Вот видишь, что значит оказать одолжение джентльмену: он позволил тебе подобрать его, когда он нищенствовал, он сидел сложа руки и позволял тебе чистить его башмаки, а сам в благодарность смеялся над тобой! — Тут она повернулась ко мне: — Да, вы всегда смеялись над моим Джеймсом, вы всегда в глубине души считали его хуже себя, и вы это знаете! — Затем она продолжала, снова обращаясь к Джиму:—А теперь, когда он богат...—и тут же снова набросилась на меня: — Да, вы богаты. Попробуйте отрицать! Попробуйте поглядеть мне в глаза и сказать, что вы не богаты, что вы не присвоили наши деньги, деньги моего мужа!

Не знаю, до чего она могла бы договориться под влиянием гнева, но я долее не слушал. Сознание своей вины, уныние, предательское сочувствие к моей обвинительнице, невыразимая жалость к бедняге Джиму переполнили мою душу, и, сделав ему знак, словно испрашивая его разрешения, я покинул поле неравного боя.

Однако я еще не успел повернуть за угол, как позади меня раздался топот бегущих ног, и я услышал голос Джима, окликавшего меня. Джим догнал меня, чтобы передать мне письмо, которое уже давно ждало моего возвращения. Я взял письмо, словно во сне.

— Как все это тяжело! — сказал я.

— Не сердись на Мэйми,— сказал он умоляюще,— так уж она создана. Это все ее преданное сердце. А я, конечно, знаю, что ничего дурного ты не сделал. Мне известны твои высокие принципы, но ты рассказывал как-то путано, Лауден, и можно было подумать... то есть... я хочу сказать...

— Ничего не говори, бедный мой Джим,— сказал я.— У тебя чудесная, любящая и преданная жена. Я только еще больше стал ее уважать. А мой рассказ звучал очень подозрительно, я сам это знаю.

— Все пройдет, все забудется,— сказал он.

— Ну нет,— возразил я, вздыхая,— и не старайся оправдать меня и никогда не говори с ней обо мне. Раз-

ве только для того, чтобы обругать... А теперь скорее иди к ней. Прощай, лучший мой друг. Прощай и будь счастлив. Больше мы никогда не увидимся.

— Ах, Лауден, и подумать, что мы дожили до такого расставания! — воскликнул он.

Я не знал, что делать дальше: то ли покончить с собой, то ли напиться — и брел по улице, ничего не сознавая, охваченный невыразимым горем. В кармане у меня были деньги — я не знал, мои деньги или моих кредиторов. В глаза мне бросилась вывеска ресторанчика «Пудель». Я машинально вошел туда и сел за столик. Ко мне подошел официант, и, очевидно, я что-то ему заказал, потому что, когда я наконец пришел в себя, я уже ел суп. Рядом с тарелкой на белой скатерти лежало письмо с английской маркой и эдинбургским штемпелем. Суп и стакан вина пробудили в каком-то уголке моего отупевшего от горя мозга легкий проблеск любопытства, и, пока я ожидал следующего блюда (недоумевая, что я мог заказать), я вскрыл конверт и начал читать письмо, перевернувшее все мои дальнейшие планы.

«Дорогой сэр! На меня возложен печальный долг сообщить вам о смерти вашего достопочтенного деда мистера Александра Лаудена, последовавшей 17-го числа сего месяца. В воскресенье он, как обычно, с утра отправился в церковь и по пути домой остановился на углу Принсис-стрит побеседовать со старым другом, хотя дул сильный восточный ветер. В тот же вечер у него начался острый бронхит. С самого начала доктор Маккомби предвидел роковой исход болезни, да и ваш дедушка понимал, что состояние его безнадежно. Он несколько раз повторил мне, что с ним теперь «кончено». «Да и то сказать, пора»,— добавил он один раз с характерным для него раздражением. Приближение смерти не произвело в нем никаких перемен и только (я думаю, вам будет приятно это узнать) он, казалось, думал и говорил о вас с еще большей нежностью, чем обычно; называл вас «сынок моей Дженни», добавляя ласковые эпитеты. «Только он один мне и нравился из всей этой шатии-братии» — так он выразился, и вы будете рады услышать, что он особенно хвалил ту сыновнюю почтительность, которую вы всегда ему выказывали. Как вы можете заметить, приписка к завещанию, в

которой он оставляет вам своего Молесворта и другие специальные труды, была сделана за день до его смерти, и, значит, он вспомнил о вас перед самым концом. Должен сказать, что, хотя он был трудным больным, ваш дядя и ваша кузина мисс Юфимия ухаживали за ним с величайшим терпением и преданностью. Я вложу в конверт копию его завещания, из которой вам станет ясно, что свое состояние он поделил поровну между мистером Эдамом и вами и что я должен вручить вам сумму, равную примерно семнадцати тысячам фунтов. Примите мои поздравления по поводу этого значительного прибавления к вашему состоянию; по получении ваших распоряжений я немедленно поступлю согласно вашим указаниям. Полагая, что вы можете пожелать отправиться в Англию, и не зная положения ваших дел, я высылаю также аккредитив на шестьсот фунтов. Будьте так любезны подписать приложенную к нему квитанцию и выслать ее мне, как только вам будет удобно.

Искренне ваш *Резерфорд Грегг*».

«Спасибо тебе, дедушка,— подумал я,— и спасибо дяде Эдаму, и моей кузине Юфимии, и мистеру Греггу!»

Я подумал о тусклой, серой жизни моего деда, которая теперь пришла к концу («да и то сказать, пора»), представил себе по-воскресному пустынные улицы Эдинбурга, где дует сильный восточный ветер, вспомнил унылый дом, куда «Эки» вернулся, уже отмеченный печатью смерти, а потом постарался представить себе разбитного деревенского парня, каким, наверное, был когда-то мой дед, залихватски танцевавшего с девушками на зеленом лугу, и я спросил себя, действительно ли бедняга Эки добился в жизни успеха и был ли он в своем эдинбургском доме счастливее, чем в скромной деревенской хижине своего детства? В этой мысли было что-то утешительное для такого неудачника, как я.

Да, я называл себя неудачником, и в то же время какая-то другая часть моей души радовалась новообретенному богатству. Будущее казалось радужным: возможность поехать в Париж, сохранить тайну Картью, помочь Джиму, а кредиторы...

— Кредиторы,— повторил я вслух, и меня охватило отчаяние: все мои деньги принадлежали им.

Мой дед умер слишком рано, чтобы спасти меня.

Вероятно, в глубине души я человек решительный. В эту критическую минуту я почувствовал, что готов на все, кроме одного: что я готов сделать что угодно, уехать куда угодно, лишь бы не расставаться со своими деньгами. В худшем случае мне предстояло поселиться в какой-нибудь из тех благословенных стран, которые еще не присоединились к международной конвенции о выдаче уголовных преступников.

Закон о выдаче, друзья,
Не действует в Кальяо!

У меня в ушах звучали слова этой флибустьерской песенки, и я уже видел, как сижу, крепко держась за свое золото, в каком-нибудь притоне портового города Чили или Перу в обществе людей, сочинявших и распевавших подобные песни. Постоянные неудачи, разрыв с моим старым другом и неожиданный мыльный пузырь богатства, который тут же лопнул, ожесточили мою душу. В тогдашнем моем настроении я даже с наслаждением предвкушал, как буду пить омерзительный джин среди омерзительных собутыльников при свете соснового факела, как буду скитаться, зашив в пояс свое неправедное сокровище, как буду драться за него с ножом в руке, катаясь в смертельной схватке по глинобитному полу, как буду вечно спасаться от погони, меняя корабли, переезжая с острова на остров.

Однако, поразмыслив, я пришел к выводу, что есть и другой выход, не столь отчаянный. Оказавшись в безопасности в Кальяо, я смогу вступить в переговоры с кредиторами через посредство какого-нибудь ловкого агента, который уговорит их согласиться на легкие для меня условия. Тут я снова вспомнил, что, несмотря на все мои просьбы, Джим ничего не рассказал мне о нашем банкротстве. Он слишком торопился узнать все о «Летящем по ветру». Хоть это было очень неприятно, мне предстояло еще раз пойти к нему, чтобы выяснить свое положение.

Я ушел, не доев обеда, но полностью оплатив счет и дав официанту на чай золотую монету. Меня охватило какое-то безумное легкомыслие: я чувствовал, что должен хватать и тратить сколько смогу,— присвоение чужого и мотовство казались обязательными условиями уготованной мне судьбы. Я шел, посвистывая, набираясь наглости для предстоящей встречи с Мэйми, со всем светом, а может быть, в дальнейшем и с судьбой.

Перед самой дверью их дома я остановился, закурил сигару, чтобы придать себе больше уверенности, и развязно вступил в комнату, откуда недавно был изгнан с позором. Мой друг и его жена кончали свою скудную трапезу: обрезки вчерашней баранины, холодные лепешки, оставшиеся от завтрака, и жидкий кофе.

— Извините, миссис Пинкертон,— сказал я,—мне очень неприятно навязывать свое присутствие тем, кто с удовольствием без него обошелся бы, но у меня есть дело, которое необходимо немедленно обсудить.

— Я вам мешать не буду,— сказала Мэйми и величественно удалилась в соседнюю комнату.

Джим посмотрел ей вслед и печально покачал головой. Он выглядел совсем старым и больным.

— Что еще случилось? — спросил он.

— Ты, наверное, помнишь, что не ответил ни на один из моих вопросов,— сказал я.

— Каких вопросов? — запинаясь, пробормотал Джим.

— А тех, которые я задавал тебе. Если мои ответы на твои вопросы не удовлетворили Мэйми, то на мои ты не ответил совсем

— Это ты о банкротстве? — сказал Джим.

Я кивнул, и он смущенно заерзал на стуле.

— Сказать по правде, мне очень стыдно,— начал он.— Я пытался как-то уклониться от ответа. Я позволил по отношению к тебе большую вольность, Лауден. Я с самого начала обманывал тебя, и теперь краснею, признаваясь в этом. А ты, не успев вернуться, сразу задал мне тот самый вопрос, которого я больше всего боялся. Почему мы так скоро обанкротились? Твое острое деловое чутье тебя не обмануло. Это-то и мучает меня и чуть не убило сегодня утром, когда Мэйми обошлась с тобой так сурово, а моя совесть все время твердила мне: «Это ты виноват!»

— Но что произошло, Джим? — спросил я.

— Да ничего нового, Лауден,— уныло сказал он.— Но я не знаю, где мне взять сил, чтобы посмотреть тебе прямо в лицо, после того, как я так подло тебя обманул. Я играл на бирже,— добавил он шепотом.

— И ты боялся рассказать мне об этом?—воскликнул я.— Ну какое это имело значение! Разве ты не понимаешь, что мы все равно были обречены? Впрочем, меня интересует совсем другое: я хочу точно знать свое положение. На это есть важные причины. Чист ли я? Существует ли документ, что мои кредиторы удовлетворены, и каким числом он помечен? Ты и представить себе не можешь, что от этого зависит!

— Вот оно, самое худшее,— сказал Джим, словно во сне.— Как мне ему об этом сказать?

— Я тебя не понимаю! — воскликнул я, и сердце мое сжалось от страха.

— Боюсь, что я недостаточно считался с тобой, Лауден,— сказал он, жалобно глядя на меня.

— Недостаточно считался? — переспросил я.— Каким образом? О чем ты говоришь?

— Я знаю, как это ранит твою щепетильную гордость,— сказал он.— Но что мне оставалось делать? Положение было безнадежным. Судебный исполнитель...— как всегда, эти слова застряли у него в горле, и он оборвал фразу.— Пошли всякие разговоры, репортеры уже взялись за меня, начались неприятности из-за мексиканских акций, и меня охватила такая паника, что я, наверное, потерял голову. А тебя не было, и я не устоял перед искушением.

Пока он ходил так вокруг да около, намекая на что-то ужасное, меня охватил мучительный страх: что он сделал? Как он недостаточно считался со мной в мое отсутствие?

— Джим,— сказал я,— объясни же наконец, в чем дело! Я не в силах больше выносить эту неизвестность!

— Ну,— сказал он,— я знаю, что это была большая вольность с моей стороны... Я официально заявил, что ты никакой мой не компаньон, а просто разорившийся художник, что к денежным делам и счетам я тебя почти не допускал. Я сказал, что никак тебе не мог объяснить, чье имущество — чье. Мне пришлось так сказать, потому что некоторые записи в счетных книгах...

— Ради всего святого перестань меня терзать! — вскричал я.— Скажи, в чем ты меня обвинил.

— Да в том, о чем я тебе говорю,— ответил Джим.— Ведь ты не был официально оформлен как мой компаньон, и я заявил, что ты просто мой клерк, а

компаньоном я тебя называл, только чтобы польстить твоему самолюбию. И поэтому я записал тебя кредитором — за твое жалованье и за деньги, которые ты мне одолжил. Ну, и...

Я еле устоял на ногах.

— Кредитором? — вскричал я.— Кредитором! Так, значит, я не банкрот?

— Нет,— сказал Джим.— Я знаю, это была большая вольность...

— Да какая там вольность! Ну-ка, прочти это письмо,— перебил я, кладя перед ним на стол послание мистера Грегга,— а потом зови сюда свою жену, выбрось к черту эту дрянь,— тут я схватил холодную баранину и швырнул ее в камин,— и пойдемте ужинать с шампанским. Правда, я уже ел, но в такой вечер я готов отужинать хоть десять раз. Да читай же письмо, плаксивый осел! Не думай — я не сошел с ума. Идите-ка сюда, Мэйми! — крикнул я, открывая дверь спальни.— Давайте мириться и расцелуйте как следует вашего мужа. А после ужина отправимся куда-нибудь танцевать, и я буду вальсировать с вами до зари.

— Да что все это значит? — воскликнул Джим.

— Это значит, что сегодня мы будем ужинать с шампанским, а завтра уедем в Вейпор-Велли или в Монтерей,— ответил я.— Мэйми, идите переоденьтесь, а ты, Джим, садись и пиши Франклину Доджу прощальное письмо. Мэйми, вы оказались правы, дорогая моя,— я все это время был богат, но только сам об этом не знал.

ГЛАВА XIX

НОВАЯ ВСТРЕЧА С МИСТЕРОМ БЭЛЛЕРСОМ

На этом кончилось увлекательное, но роковое приключение с «Летящим по ветру». Мы разорились и снова разбогатели, мы поссорились и помирились, и теперь оставалось только поблагодарить бога и открыть новую страницу книги жизни. Не могу сказать, чтобы Мэйми полностью вернула мне свое доверие, да я этого и не заслужил, ведь действительно я о многом умалчивал больше, чем положено другу и компаньону. Но она держалась безупречно, и всю неделю, которую я про-

вел с ними, ни она, ни Джим ни о чем меня не расспрашивали. Мы поехали в Калистогу: ходили слухи, что там начинается бурная распродажа земельных участков, и Джим заявил мне, что ему будет приятно наблюдать деловую горячку,— так Наполеон на Святой Елене развлекался, читая военные труды. Сам он уже ни к чему не стремится, с финансовой деятельностью покончено, и он мечтает теперь о небольшой усадьбе в холмах, о кукурузном поле, двух-трех коровах и спокойном ожидании старости под зеленой сенью лесов.

— Вот погоди, мы выберемся на природу, и ты увидишь, что во мне энергии не больше, чем в замазке.

И два дня он действительно предавался отдыху. На третий я застал его за разговором с издателем местной газеты, и он признался, что подумывает, не купить ли ему типографию газеты.

— Ведь надо же человеку чем-нибудь заниматься,— сказал он умоляюще,— а если здесь начнется строительство, то сделка окажется очень выгодной.

На четвертый день он где-то пропадал до самого обеда, на пятый — мы совершили длинную прогулку по земельному участку, который он решил приобрести, а шестой был весь занят оформлением покупки. К Джиму уже успела вернуться вся его прошлая самоуверенность и энергия. В глазах его загорелся прежний боевой огонь, голос снова стал звучным и твердым. На седьмое утро мы официально оформили свои отношения как компаньоны — иначе Джим не соглашался брать мои деньги,— и вот, вновь связав себя, а вернее, свой кошелек с деловой карьерой неугомонного Джима, я вернулся один в Сан-Франциско, где поселился в отеле «Палас».

В тот же вечер я пригласил Нейрса пообедать со мной. Его загорелое лицо, его своеобразная речь живо вызвали в моей памяти дни, еще такие недавние и уже так далеко ушедшие в прошлое. Мне казалось, что сквозь музыку оркестра и позвякиванье посуды я слышу песню пенного прибоя и крики чаек на острове Мидуэй. Ссадины на наших руках еще не зажили, а мы сидели в роскошном зале ресторана, ели устриц и пили замороженное шампанское.

— Вспомните наши обеды на «Норе», капитан,— сказал я,— и сравните их с теперешним.

Он медленно обвел глазами зал.

— Это словно во сне. Так и кажется, что сейчас откроется люк, Джонсон завопит: «Восемь склянок!» — и все исчезнет.

— Наоборот, исчезло прошлое,— сказал я,— все похоронено, забыто, и слава богу.

— Не будьте так в этом уверены, мистер Додд,— заметил Нейрс.— «Летящий по ветру» еще жарится на сковороде, а повара, если не ошибаюсь, зовут Бэллерс. Он пробовал кое-что у меня выведать еще в день нашего прибытия. Потрепанный человечек в судейской одежде. Я его сразу узнал по вашему описанию. Я позволил ему расспрашивать меня, пока не понял, к чему он клонит. Он знает многое, чего мы не знаем, большую часть того, что мы знаем, а об остальном догадывается. Кому-то вскоре придется плохо.

Я удивился, что мне это раньше не пришло в голову. Бэллерс был посвящен во многое, он виделся с Диксоном, он знал об исчезновении команды и должен был что-то заподозрить. А такой человек, как он, не мог не попытаться извлечь выгоду из своих подозрений.

И я оказался прав. На следующее утро, когда я еще не кончил одеваться, Бэллерс уже явился ко мне. Из любопытства я решил с ним поговорить, и он после довольно туманного вступления прямо предложил взять его в долю.

— А в чем, собственно? — осведомился я.

— Если вы простите несколько вульгарное выражение, то я позволю себе задать вам вопрос: вы что, ездили на Мидуэй для поправки здоровья?

— Очень возможно,— ответил я.

— Будьте уверены, мистер Додд, я никогда не позволил бы себе явиться к вам, если бы у меня не было на то серьезного основания. Навязчивость чужда моей натуре, но мы с вами, сэр, преследуем одну и ту же цель, и если мы объединим наши усилия, то я отдам в ваше распоряжение мое знание законов и мой значительный опыт в деликатных переговорах, подобных этим. Если вы не согласитесь, вы найдете во мне...— он запнулся,— весьма опасного соперника — к моему величайшему сожалению, разумеется.

— Вы, кажется, выучили свою речь наизусть? — спросил я любезно.

— Лучше хорошенько подумайте,— сказал он угрожающим тоном, который тут же сменился прежней при-

торной вкрадчивостью.— Уверяю вас, сэр, я пришел как друг. И мне кажется, вы недооцениваете того, что мне известно. С вашего разрешения я докажу вам, что хорошо знаю, какие убытки вы понесли, и знаю, что с тех пор вы разменяли лондонский чек на солидную сумму.

— И какое же заключение вы из этого делаете? — спросил я.

— Я знаю, от кого вы получили этот чек! — воскликнул он и тут же весь съежился, словно жалея, что позволил себе сказать лишнее.

— Ну и что же?

— Вы забываете, что я был доверенным агентом мистера Диксона,— пояснил он.— Вы знали его адрес, мистер Додд. Во всем Сан-Франциско он имел дело только с нами двоими. Я полагаю, что мои выводы очевидны,— вы видите, как я с вами честен и откровенен. Иначе я не представляю себе отношений с джентльменом, которому предлагаю деловое соглашение. Вы видите, мне известно многое, и, полагаю, такой умный человек, как вы, согласится, что будет лучше, если я узнаю все. Избавиться от меня вы уже не можете— я слишком тесно связан с тем, что случилось. А какой вред я могу причинить, я предоставляю вам догадаться самому. Но даже не заходя слишком далеко, мистер Додд, я могу сильно испортить вам жизнь. Вот, скажем, банкротство мистера Пинкертона... Нам с вами, сэр, известно — и вам лучше, чем мне,— какую значительную сумму вы истратили. А во все ли был посвящен мистер Пинкертон? Адрес был известен только вам, и вы его скрывали. Предположим, я свяжусь с мистером Пинкертоном...

— Послушайте,— перебил я,— связывайтесь с мистером Пинкертоном, пока (если вы простите несколько вульгарное выражение) не посинеете от натуги. Единственный человек, с которым я прошу вас в дальнейшем не связываться,— это я сам. Всего хорошего.

Бэллерсу не удалось скрыть свою ярость, разочарование и удивление. Я не сомневаюсь, что в коридоре у него случился очередной припадок пляски святого Витта.

Этот разговор произвел на меня гнетущее впечатление — слишком неприятно было снова выслушивать от этого мелкого шантажиста то, что я уже слышал от

жены Джима. И, однако, больше всего я боялся не за себя. В поведении Бэллерса чувствовалась наглость отчаяния: казалось, меня старался забодать ягненок. Подобное поведение со стороны такого мелкого негодяя указывало на твердую решимость, большую нужду и сильное оружие. Я вспомнил неведомого Картью, и мне стало тяжело при мысли, что этот хорек идет по его следу.

Я навел справки, и оказалось, что Бэллерса совсем недавно лишили адвокатского звания за какие-то нечестные поступки. Эти сведения только усилили мое беспокойство: с одной стороны — мошенник, не имеющий ни гроша, лишенный возможности честно заработать себе на жизнь, публично опозоренный и, несомненно, затаивший зло против всех и вся, с другой — человек, замешанный в какие-то темные тайны, богатый, охваченный паникой, практически скрывающийся. Человек, который был готов заплатить пятьдесят тысяч долларов за останки «Летящего по ветру».

Незаметно я проникся сочувствием к гонимой жертве и весь день не находил себе места, раздумывая, что известно Бэллерсу, о чем он догадывается и как собирается нападать.

Кое-какие из мучивших меня вопросов остаются загадкой и по сей день. Ответы на другие я впоследствии нашел. Откуда он узнал имя Картью, мне по-прежнему неизвестно. Может быть, от какого-нибудь матроса с «Бури» или даже каким-нибудь образом через доктора Эркварта. Но случилось так, что я был совсем рядом, когда он узнал адрес Картью.

Как-то вечером, когда мне надо было убить час перед деловым свиданием, я спустился в сад отеля, где играл оркестр. От электрических фонарей там было светло, как днем, и я легко узнал Бэллерса, который поодаль разговаривал с каким-то человеком, чье лицо показалось мне знакомым. Однако я никак не мог вспомнить, кто это такой и где я его видел. Тогда я обратился к швейцару, и тот рассеял мое недоумение. Он сказал, что этот господин служил на английском крейсере и в Гонолулу, где стоял его корабль, получил длительный отпуск по болезни. И действительно, только штатский костюм да болезненная худоба помешали мне сразу узнать моего друга, лейтенанта Сибрайта, любезно пригласившего меня на борт «Бури».

Встреча Сибрайта и Бэллерса, по моему мнению, ни к чему хорошему привести не могла, и я решил подойти к ним. Но, очевидно, Бэллерс уже успел узнать все, что ему было нужно,— он почти немедленно юркнул в толпу, оставив лейтенанта одного. Подойдя к тому, я сказал:

— Вы знаете, с кем сейчас разговаривали, мистер Сибрайт?

— Нет,— ответил он,— я в первый раз видел этого человека. А в чем дело?

— Это довольно темная личность,— объяснил я.— Он юрист, которого недавно за неблаговидные поступки исключили из адвокатского сословия. Жаль, что я не предупредил вас вовремя. Надеюсь, вы ему ничего не рассказали о Картью?

Он покраснел до корней волос.

— Чертовски жаль,— сказал он.— Этот господин был очень вежлив, а мне хотелось поскорее от него отделаться. Ведь он попросил только адрес.

— И вы ему его сказали?

— Мне чертовски жаль,— повторил Сибрайт,— но я дал ему адрес.

— Господи! Что вы наделали! — И с этими словами я повернулся к нему спиной.

Я понимал, что положение становилось критическим — Бэллерс раздобыл интересовавший его адрес, и в самом ближайшем времени Картью предстояла новая встреча с ним. Я настолько был в этом убежден, что на следующее утро отправился в контору бывшего юриста. Какая-то старуха мыла крыльцо, на столбике которого уже не было прежней вывески.

— Адвокат Бэллерс? — переспросила старуха.— Он сегодня утром уехал в Нью-Йорк. Обратитесь к адвокату Дину, он живет на соседней улице.

Я не стал беспокоить адвоката Дина и медленно побрел домой, раздумывая о случившемся. Образ старухи, отмывающей эти оскверненные ступеньки, поразил мое воображение: казалось, вся вода и все мыло города не могли их очистить — слишком долго тут был приют грязных тайн и темных дел. А теперь рачительная хозяйка в образе судьи смахнула паутину, и жирный паук отправился искать новые жертвы в другом месте. Как я уже говорил, последнее время я незаметно для себя проникся симпатией к Картью, а теперь, когда

ему грозила новая опасность, это чувство стало еще более горячим, и я начал искать способа помочь ему. Разыгрывался новый акт трагедии «Летящего по ветру». С самого начала история этого корабля была загадочна и необычна и обещала какую-то удивительную развязку, и я, заплатив так дорого за возможность ознакомиться с первой ее частью, имел все основания потратить еще немного, чтобы узнать, чем же она кончится. Почему бы не поехать вслед за Бэллерсом, чтобы держать его под наблюдением? Если мне не удастся его разыскать,— что же, я окажусь ближе к Парижу, только и всего. А если я сумею напасть на его след, то уж, наверное, смогу разрушить его планы, и, во всяком случае, мне удастся узнать много интересного.

Повинуясь этому настроению, я решил ехать в Нью-Йорк и таким образом снова стал участником истории Картью и «Летящего по ветру». В тот же вечер я написал прощальное письмо Джиму и еще одно — доктору Эркварту, умоляя его предупредить Картью, а через десять дней уже гулял по палубе «Города Денвера». К этому времени я успел опомниться и считал, что еду в Париж или Фонтенбло, чтобы снова заняться искусством, и, вспоминая о Картью и Бэллерсе, только посмеивался над собственной горячностью. Первому я ничем не мог помочь, даже если бы хотел, второго все равно не сумел бы отыскать, даже если бы мое присутствие и могло оказать на него какое-нибудь сдерживающее влияние.

Но, несмотря на все рассуждения, оказалось, что мне не удалось покончить с этой историей. В первый же вечер за ужином я очутился рядом с человеком, которого знавал в Сан-Франциско. Из нашего разговора выяснилось, что он приехал в Нью-Йорк за два дня до меня и что «Город Денвер» был первым пароходом, отплывшим оттуда в Европу с момента его приезда. Если он приехал на два дня раньше меня, значит, он на один день опередил Бэллерса, и, едва ужин кончился, как я уже сидел в каюте помощника капитана.

— Бэллерс? — повторил он.— Среди пассажиров первого класса его, во всяком случае, нет. Может быть, у него билет второго класса? Списки пассажиров еще не готовы, но... вы сказали «Гарри Д. Бэллерс»? Да, он на пароходе. Вот его фамилия.

А на следующее утро я увидел Бэллерса на носовой палубе. Он сидел в шезлонге с книгой в руках, кутаясь в старенький коврик из меха пумы. Постороннему наблюдателю он мог бы показаться обедневшим, но вполне почтенным человеком. Я продолжал исподтишка наблюдать за ним. Он довольно много читал, иногда вставал и подходил к борту полюбоваться морем, иногда обменивался несколькими словами со своими соседями. А один раз, когда какой-то ребенок упал и начал плакать, он помог ему встать и постарался его утешить. В душе я проклинал Бэллерса: книга, которую, по моему мнению, он вовсе не читал, море, к которому, я готов был поклясться, он испытывал полнейшее равнодушие, ребенок, которого, по моему глубокому убеждению, он предпочел бы просто выбросить за борт,— все это казалось мне аксессуарами театрального представления, и я не сомневался, что Бэллерс уже вынюхивает тайны своих соседей. Я не скрывал от себя, что чувствую к нему не только отвращение, но и презрение.

Он ни разу не посмотрел в мою сторону, и только вечером я узнал, что мое присутствие не осталось незамеченным.

Я стоял с сигарой у двери в машинное отделение (ночной воздух был очень прохладен), как вдруг в темноте рядом со мной кто-то сказал:

— Если не ошибаюсь, мистер Додд?

— Это вы, Бэллерс? — отозвался я.

— Разрешите задать вам один вопрос, сэр. Ваше присутствие на корабле никак не связано с нашей беседой? — сказал он.— Вы не собираетесь пересмотреть свое решение, мистер Додд?

— Нет,— ответил я и, заметив, что он медлит, добавил: — Спокойной ночи.

После чего он вздохнул и удалился.

На следующий день он снова сидел на палубе, закутавшись в коврик из меха пумы, читал свою книгу и с прежним постоянством глядел на море. Рядом не оказалось плачущих детей, но я заметил, что он то и дело оказывает мелкие услуги какой-то больной женщине. Ничто так не развивает подозрительности, как слежка: стоит человеку, за которым мы наблюдаем, высморкаться, как мы уже готовы обвинить его в черных замыслах. Я воспользовался первым удобным случаем, чтобы пройти на нос и поближе рассмотреть эту

больную. Она оказалась бедной, пожилой и очень некрасивой. Я почувствовал угрызения совести, и мне захотелось как-то загладить несправедливость, которую я допустил по отношению к Бэллерсу. Поэтому, заметив, что он опять стоит у перил и смотрит на море, я подошел к нему и окликнул его:

— Вы, кажется, любите море? — сказал я.

— Страстно, мистер Додд,— ответил он.— Я не устаю им любоваться, сэр. Я в первый раз пересекаю океан, и, мне кажется, в мире нет ничего великолепнее.— Тут он процитировал строфу из стихотворения Байрона

Хотя это самое стихотворение я учил в школе, но я родился слишком поздно (или слишком рано), чтобы любить Байрона, и звучные стихи, продекламированные с большим чувством, поразили меня.

— Так вы, значит, любите поэзию? — спросил я.

— Я обожаю чтение,— ответил он.— Одно время у меня была небольшая, но хорошо подобранная библиотека, хотя потом я лишился ее. Но все же мне удалось сохранить несколько томиков, которые были верными спутниками моих странствий.

— Это один из них? — спросил я, указывая на книгу, которую он держал.

— Нет, сэр,— ответил он, показывая мне перевод на английский язык «Страданий молодого Вертера».— Этот роман недавно попал мне в руки. Я получил от него большое удовольствие, хотя он и безнравствен.

— Как безнравствен?! — воскликнул я, по обыкновению негодуя на подобное смешение искусства и морали.

— Право же, сэр, вы не станете этого отрицать, если он вам знаком,— ответил Бэллерс.— В нем описывается преступная страсть, хотя изображена она весьма трогательно. Подобную книгу невозможно предложить порядочной женщине. О чем можно только пожалеть. Не знаю, как вы смотрите на это произведение, но на мой взгляд — я говорю об описании чувств — автор далеко превосходит даже таких знаменитых писателей, как Вальтер Скотт, Диккенс, Теккерей или Готторн, которые, по-моему, не описывали любовь столь возвышенно.

— Ваше мнение совпадает с общепринятым,— сказал я.

— Неужели, сэр? — воскликнул он с искренним волнением.— Значит, это известная книга? А кто такой Гете? Он был известным писателем? У него есть и другие произведения?

Таков был мой первый разговор с Бэллерсом, за которым последовало много других, и в каждом проявлялись все те же его симпатичные и антипатичные черты. Его любовь к литературе была глубокой и искренней, его чувствительность, хотя и казалась наивной и довольно смешной, отнюдь не была притворной. Я дивился моему собственному наивному удивлению. Я знал, что Гомер любил вздремнуть, что Цезарь составил сборник анекдотов, что Шелли делал бумажные кораблики, а Вордсворт носил зеленые очки,— так как же я мог ожидать, что характер Бэллерса окажется созданным из одного материала и что он во всем будет подлецом?

Поскольку я презирал его ремесло, я думал, что буду презирать и самого человека. И вдруг оказалось, что он мне нравится. Я искренне жалел его. Он был очень нервным, очень чувствительным, робким, но обладал по-своему поэтической натурой. Храбрости он был лишен вовсе, его наглость порождалась отчаянием, на подлости его толкала нужда. Он принадлежал к тем людям, которые готовы совершить убийство, лишь бы не признаться в краже почтовой марки. Я был уверен, что предстоящий разговор с Картью терзает его, как кошмар; мне казалось, что я замечаю, когда он думает об этом свидании,— тогда по его лицу пробегала мучительная судорога. И все же у него ни на секунду не появлялось желания отказаться от своего намерения — нужда гналась за ним по пятам, голод (его старый знакомый) держал его за горло. Иной раз я не мог решить, презираю я его или восхищаюсь этой робкой и героической готовностью совершить подлость. Образ, возникший у меня после того, как он ко мне приходил, был вполне справедлив. Меня действительно боднул ягненок. Человек, которого я сейчас изучал, больше всего заслуживал названия взбунтовавшейся овцы.

Надо сказать, он прожил тяжелую жизнь. Он родился в штате Нью-Йорк; его отец был фермером и, разорившись, отправился на Запад. Ростовщик-нотариус, который разорил этих бедняков, кажется, почувствовал в конце концов некоторое раскаяние: выгнав

отца на улицу, он предложил взять на воспитание одного из сыновей, и ему отдали Гарри, пятого ребенка в семье и к тому же очень болезненного. Мальчик начал помогать своему «благодетелю» в конторе, набрался кое-каких сведений, читал запоем, участвовал в собраниях Христианского союза молодых людей и в юности мог послужить образчиком для героя какого-нибудь нравоучительного рассказа.

Но, на беду, он влюбился в дочь своей квартирной хозяйки (он показал мне ее фотографию, судя по которой она была высока, довольно красива, вульгарна, глупа, зла и, как показали дальнейшие события, распутна). Когда ей нечего было делать, она кокетничала с болезненным и робким жильцом и всячески помыкала им, а он по уши влюбился в нее, мечтал о ней днем и видел ее во сне ночью. Он весь отдавался работе, желая стать достойным своей возлюбленной, и даже превзошел своего «благодетеля» в крючкотворстве. Он стал старшим клерком и в тот же вечер сделал предложение, но его только высмеяли. Однако не прошло и года, как «благодетель», чувствуя приближение старости, взял его в компаньоны. Он снова предложил своей красавице руку и сердце. На этот раз его предложение было принято. Но не прошло и двух лет, как жена сбежала от него со щеголем-коммивояжером, предоставив мужу расплачиваться с ее долгами. Судя по всему, именно долги, а вовсе не чары коммивояжера побудили ее бросить мужа, который к тому же ей надоел. Коммивояжер был для нее только средством. Бэллерс не выдержал такого удара. Его компаньон к тому времени уже умер, и он должен был один вести дело, а на это у него не было сил. Долги жены съели весь его капитал, он обанкротился и с тех пор переезжал из города в город, берясь за все более и более сомнительные дела. Следует помнить, что его учителем был ростовщик-нотариус в маленьком городке и что он привык смотреть на темные сделки как на основу всякой коммерции; не удивительно, что в омуте больших городов он окончательно пошел ко дну.

— Вам что-нибудь известно о дальнейшей судьбе вашей жены? — спросил я.

Он смутился.

— Боюсь, вы будете дурно обо мне думать,— сказал он.

— Вы помирились? — спросил я.

— Нет, сэр, настолько-то я себя уважаю,— ответил он.— И, во всяком случае, она сама этого не пожелала бы. Кажется, она питает ко мне глубокую неприязнь, хотя я всегда старался быть хорошим мужем.

— Так, значит, вы все-таки поддерживаете с ней какие-то отношения? — спросил я.

— Судите сами, мистер Додд,— ответил он,— в нашем мире жить нелегко, я это знаю по своему опыту, но насколько же труднее приходится женщине! Пусть она даже сама виновата в своей судьбе.

— Короче говоря, вы даете ей деньги? — спросил я.

— Не могу отрицать. Я помогаю ей по мере сил,— признался он.— Это камень на моей шее. Но я думаю, что она благодарна мне. Вот судите сами.

Он достал письмо, написанное корявым, малограмотным почерком, однако на прекрасной розовой бумаге с монограммой. Оно показалось мне глупым и, если не считать нескольких приторно-льстивых фраз, бессердечным и корыстным.

Жена Бэллерса писала, что долго болела (чему я не поверил); утверждала, что все присланные деньги пришлось уплатить по счету доктора (вместо «доктора» я взял на себя смелость подставить слова «портнихи» и «виноторговца»), и просила прибавки (которой я от всей души пожелал ей не получить).

— По-моему, она искренне мне благодарна? — спросил он с каким-то страхом, когда я вернул ему письмо.

— Да, кажется,— ответил я.— А вы обязаны ей помогать?

— О, нет, сэр, что вы! Я развелся с ней,— объяснил он.— В подобных вопросах я очень щепетилен и развелся с ней немедленно же.

— А какую жизнь она ведет сейчас? — осведомился я.

— Не стану вводить вас в заблуждение, мистер Додд, я не знаю. Я не желаю ничего знать. Так, по-моему, более достойно. Меня весьма сурово порицали,— закончил он со вздохом.

Как вы, вероятно, замечаете, у меня завязалась бесславная дружба с человеком, чьи планы я собирался разрушить. Меня по рукам и по ногам связали жалость к нему, восхищение, с которым он ко мне относился, и то искреннее удовольствие, которое доставляло ему мое общество. Честность заставляет меня признаться, что известную роль сыграл мой собственный, не всегда уместный интерес ко всем сторонам жизни и человеческого характера.

По правде говоря, мы проводили вместе чуть ли не целые дни, и я бывал на носовой палубе гораздо чаще, чем на прогулочной палубе первого класса. И в то же время я ни на минуту не забывал, что Бэллерс — бесчестный крючкотвор, собирающийся в недалеком будущем заняться грязным шантажом. Сперва я убеждал себя, что наше знакомство — это ловкий прием и что тем самым я помогаю Картью. Я убеждал себя, но не был так глуп, чтобы поверить своим доводам даже тогда. Эти обстоятельства позволили мне полностью проявить два главных моих качества — беспомощность и любовь ко всяческим промедлениям и отсрочкам. И в результате я предпринял ряд действий, настолько нелепых, что теперь краснею, вспоминая о них.

В Ливерпуль мы прибыли днем, когда проливной дождь хлестал по его грязным улицам. У меня не было никаких особых планов, но мне не хотелось дать ускользнуть моему мошеннику, и кончилось тем, что я поехал в ту же гостиницу, что и он, пообедал с ним, отправился с ним гулять под дождем и вместе с ним сидел на галерке, наслаждаясь весьма древней пьесой «Бывший каторжник».

Бэллерс был в театре чуть ли не в первый раз в жизни (он считал такие развлечения греховными), и его наивные замечания приводили меня в восторг.

Рассказывая о том, какое удовольствие извлекал я из общества бывшего адвоката, и, пожалуй, преувеличивая это удовольствие, я стараюсь как-то оправдать себя. А в оправданиях я нуждаюсь: ведь я лег спать, так ни разу и не поговорив с ним о Картью, хотя мы и условились отправиться на другой день в Честер.

В Честере мы осмотрели собор, прошлись по парапету старинных стен, поговорили о Шекспире — и условились назавтра отправиться куда-то еще. Я забыл (и, по правде говоря, рад этому), сколько времени продолжалась наша поездка. Во всяком случае, мы побывали в Стратфорде, Уорике, Ковентри, Глостере, Бристоле и Бате. Всюду мы вели беседы об исторических

событиях, связанных с этими местами, я делал наброски в своем альбоме, а Бэллерс цитировал стихи и списывал интересные эпитафии с могильных плит. Кто усомнился бы в том, что мы обыкновенные американцы, путешествующие с образовательными целями? Кто догадался бы, что один из нас — шантажист, робко подбирающийся к месту, где живет его жертва, а другой — беспомощный сыщик-любитель, ожидающий развития событий?

Пожалуй, бесполезно будет указывать, что я все еще не мог изыскать способа защитить Картью, и тщетно ждал какого-нибудь случая, который помог бы мне в этом. Но ничего не произошло, если не считать двух пустячных событий, которые помогли мне окончательно разобраться в характере Бэллерса. Первое из них случилось в Глостере, куда мы приехали в воскресенье. Я предложил Бэллерсу пойти в собор послушать службу, но, к моему удивлению, выяснилось, что он не то баптист, не то методист, и, оставив меня, он отправился искать молельню своих братьев по вере.

Когда мы встретились за обедом, я начал поддразнивать его, и он нахмурился.

— Можете не скрывать вашего мнения, мистер Додд,— сказал он вдруг.— Если не ошибаюсь, вы, к моему величайшему сожалению, считаете меня лицемером.

Этот неожиданный выпад несколько смутил меня.

— Вы знаете, что я думаю о вашем ремесле,— ответил я растерянно и поэтому грубо.

— Извините, если я позволю себе задать вам вопрос,— продолжал он,— но скажите: если вы считаете, что я веду жизнь неправильную, то, по-вашему, я не должен заботиться о спасении своей души? Раз вы думаете, что я заблуждаюсь в одном, вы хотели бы, чтобы я заблуждался во всем? А ведь вы знаете, сэр, что церковь — это прибежище грешника.

— И вы отправились просить благословения божьего для дела, которым теперь занимаетесь? — спросил я зло.

Он весь задергался, выражение его лица изменилось, глаза гневно засверкали.

— Я скажу вам, о чем я молился! — вскричал он.— Я молился о несчастном человеке и о бедной женщине, которой он старается помочь.

Признаюсь, я не нашелся, что ответить.

Второе из упомянутых происшествий случилось в Бристоле, где Бэллерс куда-то исчез на несколько часов. Когда мы снова с ним увиделись, язык у него заплетался, ноги не слушались, а спина была белая от штукатурки. Я давно уже подозревал его в склонности к крепким напиткам, и все же меня охватила глубокая жалость. На долю этого слабого человека выпало слишком много испытаний — несчастный брак, нервная болезнь, неприятная внешность, нищета и, наконец, скверная привычка, которая сделала его рабом алкоголя.

Не отрицаю, что наше длительное совместное путешествие объяснялось взаимной трусостью. Каждый из нас боялся расстаться с другим, каждый боялся начать откровенный разговор, да и не знал, что сказать. Если не считать моих запальчивых слов в Глостере, мы ни разу не касались темы, которая интересовала нас больше всего. В наших разговорах мы ни разу не упомянули Картью, Столлбридж-ле-Картью, Столлбридж-Минстер (эта станция, как мы узнали — каждый в отдельности,— была ближайшей от вышеупомянутого поместья) и даже названия графства Дорсетшир. Но все это время мы понемногу, кружным путем, приближались к месту нашего назначения, и наконец, уже не помню как, мы вышли из последнего вагона местного поезда на пустынную платформу Столлбридж-Минстера.

Это старинный, тесно застроенный город, где крытые черепицей домики и обнесенные высокими стенами сады кажутся совсем маленькими из-за соседства огромного собора. С любого места главной улицы, которая разделяет городок пополам, можно видеть поля и рощицы, лежащие за обоими ее концами, а боковые улочки, словно шлюзы, впускают в город потоки зеленой травы. Пчелы и птицы кажутся главными обитателями города, в каждом саду стоят ряды ульев, карнизы каждого дома облеплены ласточкиными гнездами, а над шпилями собора весь день кружат тучи птиц.

Городок был основан римлянами, и я, стоя в тот день у низенького окна гостиницы, совсем не был бы удивлен, если бы вдруг увидел на улице центуриона, шагающего во главе отряда усталых легионеров.

Короче говоря, Столлбридж-Минстер — один из тех городков, которые Англия, словно нарочно, сохраняет на радость и поучение американскому путешест-

веннику, а тот отыскивает их благодаря какому-то удивительному, прямо собачьему инстинкту и, восхитившись ими, покидает с не меньшей радостью.

Но у меня было совсем другое настроение. Я потратил зря несколько недель и ничего не добился, не сегодня-завтра предстояло решительное сражение, а у меня не было ни плана, ни союзников; я взял на себя роль непрошеного защитника и сыщика-любителя; я бросал деньги на ветер и вел себя позорно. Все это время я убеждал себя, что мне надо наконец объясниться с Бэллерсом, что мне давно уже следовало это сделать и, уж во всяком случае, теперь откладывать больше нельзя. Мне следовало поговорить с ним, когда он предложил поехать в Столлбридж-Минстер; мне следовало поговорить с ним в поезде; мне следовало поговорить с ним сейчас же, вот здесь, на ступеньках гостиницы, едва только отъехал извозчик. Тут я повернулся к Бэллерсу. Он как-то побледнел и весь съежился, слова замерли у меня на губах, и я вдруг предложил, чтобы мы пошли осмотреть собор.

Пока мы бродили по собору, полил дождь, напоминавший тропический ливень. Сверкали молнии, грохотал гром, из всех водосточных труб хлестали водопады, и когда мы наконец добрались до гостиницы, то были мокры насквозь. Потом мы долго сидели в общем зале, прислушиваясь к монотонному шуму дождя. В течение двух часов я говорил на самые разнообразные темы, лишь бы поддержать разговор. В течение двух часов я уговаривал себя исполнить свой долг — и откладывал его исполнение еще на одну минуту. Чтобы как-то подбодриться, я за обедом заказал шампанского. Оно оказалось отвратительным, так что я не допил даже и первого бокала, но Бэллерс, не отличавшийся большой разборчивостью и в этом отношении, с удовольствием докончил бутылку. Несомненно, вино ударило ему в голову. Несомненно, он заметил, что я весь день смущался и колебался. Несомненно, он сознавал, что наступает кризис и что в этот вечер, если я не захочу стать его союзником, я открыто объявлю себя его врагом. Но, как бы то ни было, после обеда он куда-то исчез. Произошло это так. Когда мы кончили есть, я, твердо решив приступить к решительному объяснению, поднялся к себе в номер за табаком (я надеялся, что трубка поможет мне успокоить нервы), а когда вернулся, Бэллерса в столовой уже не было. Официант сообщил мне, что он ушел из гостиницы.

Дождь по-прежнему лил как из ведра, улицы были совсем пустынными. Ночь выдалась темная, безветренная, и мокрые мостовые отражали огни фонарей и свет окон. Из трактира напротив доносились звуки арфы и унылый голос, распевавший популярные матросские песни. Куда мог деваться Бэллерс? Скорее всего он отправился в этот музыкальный трактир. Других развлечений Столлбридж-Минстер в дождливый вечер не предлагал: здесь было уныло, как в загоне для овец.

Снова я мысленно перебрал аргументы и доводы, которые собирался пустить в ход (во время нашей поездки я проделывал это каждый раз, когда оставался один), и снова они показывались мне неубедительными.

Затем я стал рассматривать гравюры, висевшие на стенах, затем начал листать железнодорожный справочник, но, узнав, с каким поездом я смогу быстрее всего покинуть Столлбридж и сколько времени мне понадобится для того, чтобы добраться до Парижа, лениво отложил его в сторону. Альбом, рекламирующий различные отели, окончательно вверг меня в уныние, а когда дело дошло до местной газеты, я чуть не расплакался.

И тут меня вдруг охватила тревога. А что, если Бэллерс обвел меня вокруг пальца? Что, если он катит теперь по дороге в Столлбридж-ле-Картью? А может быть уже добрался туда и как раз в эту минуту излагает свои требования бледному как смерть хозяину дома, подкрепляя их угрозами. Человек порывистый, вероятно, бросился бы за ним в погоню, но, каков бы я ни был, порывистым меня назвать нельзя. Я сразу нашел три серьезные причины, по которым мне не следовало этого делать. Во-первых, я не знал точно, куда отправился Бэллерс. Во-вторых, меня вовсе не привлекала перспектива ехать по темным дорогам в такой поздний час, да еще под проливным дождем. В-третьих, я не имел ни малейшего представления ни о том, как я смогу попасть к Картью, ни о том, что скажу ему, если он согласится меня принять. «Короче говоря,— сказал я себе,— более нелепое положение трудно придумать. Ты сам виноват, что очутился в таком месте, где ничего сделать не можешь. В Сан-Франциско ты мог бы оказаться куда полезнее. В Париже ты чувство-

вал бы себя заметно счастливее. Но раз уж по божьей немилости ты находишься в Столлбридж-Минстере, то ложись-ка ты спать, все равно ничего умнее не придумаешь».

Когда я поднимался в номер, меня вдруг осенило, что я давно мог бы уже кое-что предпринять и что теперь уже поздно: я мог бы написать Картью, изложив все факты, описав Бэллерса, и предоставить ему самому защищаться или бежать, пока еще было время. Моему самоуважению был нанесен последний удар, и я бросился на кровать, испытывая отчаянное недовольство собой.

Не знаю, который был час, когда меня разбудил Бэллерс, вошедший ко мне в номер со свечой. Я сразу увидел, что перед этим он, вероятно, сильно напился, потому что был с ног до головы облеплен грязью, но теперь он казался совсем трезвым и, как легко было заметить, с трудом сдерживал волнение. Он весь дрожал, и несколько раз в течение нашего разговора по его щекам начинали катиться слезы.

— Простите меня, сэр, за такое несвоевременное посещение,— сказал он.— Я не оправдываюсь. Мне нет оправдания. Я сам виноват и наказан за это. Я пришел к вам просить у вас помощи, а не то, боюсь, я сойду с ума.

— Да что случилось? — спросил я.

— Меня ограбили,— сказал он.— Но я сам виноват и поделом наказан.

— Господи! — воскликнул я.— Да кто же мог вас ограбить в таком городке?

— Не знаю,— ответил он,— не знаю. Я лежал без чувств в канаве. Это — унизительное признание, сэр. Могу только сказать в свое оправдание, что вы сами по доброте душевной могли отчасти стать этому причиной. Я не привык к шипучим винам.

— А что у вас были за деньги? Может быть, их удастся проследить? — спросил я.

— Это были английские соверены. Я очень выгодно обменял на них в Нью-Йорке свои доллары,— ответил он и вдруг застонал: — О господи, как мне пришлось трудиться, чтобы скопить их!

— Да, золотые монеты проследить трудно. Это не банкноты,— сказал я.— Надо, конечно, обратиться в полицию, но надежды мало.

— Никакой,— сказал Бэллерс.— Вся моя надежда только на вас, мистер Додд. Я мог бы просить вас дать мне взаймы на крайне выгодных для вас условиях, но я предпочитаю воззвать к вашей человечности. Мы познакомились с вами при необычных обстоятельствах. Но теперь между нами установились отношения, которые почти можно назвать дружескими. Побуждаемый искренней симпатией, я рассказал вам о себе то, мистер Додд, чего никому не рассказывал, и мне кажется... я надеюсь... я почти уверен, что вы слушали меня с сочувствием. Вот почему я пришел к вам так непозволительно поздно. Поставьте себя на мое место: могу ли я спать, могу ли я даже подумать о сне, когда меня терзает такое отчаяние? Но ведь со мной рядом друг—так я посмел подумать о вас. И я бросился к вам, как утопающий хватается за соломинку. Право, я не преувеличиваю. Наоборот. У меня нет слов, чтобы полностью описать, что я чувствую. И подумайте, сэр, как легко вам вернуть мне надежду, а может быть, и рассудок. Небольшой заем, который будет возвращен вам с превеликой благодарностью. Пятисот долларов мне хватит с избытком.— Он уставился на меня горящими глазами.— Хватит и четырехсот долларов. И, на худой конец, мистер Додд, я попробую обойтись двумястами.

— А потом вы расплатитесь со мной деньгами Картью? —заметил я.— Весьма обязан. Теперь выслушайте меня. Я готов отвезти вас в Ливерпуль, оплатить ваш проезд до Сан-Франциско и вручить капитану пятьдесят долларов для передачи вам в Нью-Йорке.

Он слушал меня как завороженный. Выражение его лица было напряженным и хитрым. Я не сомневался, что он думает только о том, как бы меня обмануть.

— Но что я буду делать во Фриско? — спросил он.— Я больше не юрист, я не знаю никакого ремесла. У меня нет сил выполнять черную работу. Я не могу просить милостыню... А ведь вы знаете, что я не один, что мне надо думать и о других.

— Я напишу Пинкертону,— ответил я.— Он, наверное, сумеет подыскать вам какую-нибудь подходящую работу, а пока, в течение первых трех месяцев со дня вашего приезда, он будет каждый месяц первого и пятнадцатого числа выплачивать вам лично двадцать пять долларов.

— Мистер Додд, я не могу поверить, что вы не шутите,— сказал он.— Неужели вы забыли, как обстоит дело? Ведь речь идет о здешних магнатах. Я слышал, как о них говорили сегодня в трактире. Одно их недвижимое имущество оценивается в несколько миллионов долларов. Их дом — местная достопримечательность. А вы хотите подкупить меня какими-то жалкими сотнями!

— Я не хочу вас подкупить, мистер Бэллерс. Я оказываю вам одолжение,— ответил я.— Я не собираюсь способствовать вашим отвратительным намерениям, но тем не менее я вовсе не хочу, чтобы вы умерли от голода.

— Ну, так дайте мне сто долларов, и покончим с этим.

— Либо вы примете мое предложение, либо нам больше говорить не о чем,— сказал я.

— Берегитесь! — воскликнул он.— Вы делаете глупость. Вы приобретаете врага без всякой для вас пользы...— Тут его тон снова изменился: — Семьдесят долларов... Только семьдесят, мистер Додд! Ну пожалейте меня, у вас же доброе сердце! Не отнимайте у меня последнюю надежду! Вспомните, в каком положении я, подумайте о моей несчастной жене!

— Вам самому следовало бы подумать о ней раньше,— ответил я.— Я сказал все и хочу спать.

— Это ваше последнее слово, сэр? Подумайте, прошу вас. Взвесьте все: мои несчастья, опасность, которая вам угрожает. Берегитесь... Пожалейте меня... Взвесьте все хорошенько, прежде чем вы дадите мне окончательный ответ! — И он полуумоляющим-полуугрожающим жестом протянул ко мне руки.

— Это мое последнее слово,— сказал я.

Он вдруг страшно изменился в лице. Его охватила ярость. Весь дергаясь, он заговорил, уже не сдерживая своего бешенства:

— Позвольте, я выскажу вам все, что о вас думаю,— начал он с притворным хладнокровием.— Когда я буду святым на небесах, вы будете вопить в аду, тоскуя о капле воды, и я не сжалюсь над вами. Ваше последнее слово! Вы знаете, кто вы? Вы шпион! Лицемерный друг! Самодовольный предатель!.. Я вас презираю и плюю на вас! Я сведу счеты и с ним и с вами. Я чую кровь и пойду по следу! На коленях поползу, с голоду

умру, но не сойду с него. Я вас затравлю, затравлю! Будь я силен, я сейчас же вырвал бы ваше сердце, вырвал бы... вырвал! Будьте прокляты! По-вашему, я слаб? Я искусаю вас, загрызу, покрою позором...

Тут в мой номер вбежали привлеченные шумом хозяин гостиницы и коридорные в халатах и ночных колпаках.

— Отведите его к нему в номер,— сказал я,— он просто пьян.

Но, говоря это, я не верил своим словам. Несколько минут назад я сделал еще одно открытие относительно характера мистера Бэллерса, который я изучал столько времени: я понял, что бедняга не в своем уме!

ГЛАВА XX

СТОЛЛБРИДЖ-ЛЕ-КАРТЬЮ

Когда я проснулся, оказалось, что Бэллерс скрылся из гостиницы, не заплатив по счету. Мне незачем было спрашивать, куда он отправился, я знал это слишком хорошо. Другого выхода не оставалось — я должен был последовать за ним. И вот часов в десять утра я нанял экипаж и поехал в Столлбридж-ле-Картью.

Долина реки скоро осталась позади, и мы поднялись на вершину меловой гряды, где паслись стада овец, а в небесах звенели бесчисленные жаворонки. Это был приятный, но не слишком интересный пейзаж, так что мои мысли вскоре обратились ко вчерашнему бурному разговору. Бэллерс рисовался мне теперь в другом облике. Я представил себе, как он неукротимо стремится к своей опасной цели, и ни страх, ни доводы рассудка не заставят его отступить ни на шаг. Прежде он мне казался хорьком, теперь я увидел в нем бешеного волка. Теперь он не станет подбираться к добыче, а кинется на нее. Кинется, рыча и брызгая ядовитой слюной. И если на его пути встанет даже Великая китайская стена, он попробует сокрушить ее голыми руками.

Но вот дорога спустилась с холмов в долину реки Столл, и мы поехали среди огороженных полей, в тени густых, росших по обочинам деревьев.

Возница сказал мне, что мы едем теперь по поместью Картью. Через некоторое время слева из-за де-

ревьев поднялась зубчатая стена, а затем я увидел и весь дом. Он стоял в небольшой лощине среди густого парка, и, должен признаться, мне не понравились огромные деревья и непроходимые заросли лавров и рододендронов, окружавшие его. Несмотря на то, что здание это было расположено в низине и окружено деревьями, оно казалось внушительным, как собор. Когда мы начали огибать ограду парка, я заметил позади господского дома многочисленные службы. Слева виднелось небольшое декоративное озеро, где плавали лебеди. Справа, словно цветной витраж, пестрел старомодный цветник.

На фасаде дома я насчитал более шестидесяти окон. Он был увенчан строгим фронтоном, а вдоль нижнего этажа тянулась большая терраса.

От массивных ворот к дому вела широкая подъездная аллея, частично вымощенная гравием, частично выложенная дерном. По бокам ее шли тройные пешеходные аллеи.

Нельзя было без удивления смотреть на это здание, возникшее благодаря труду стольких поколений, стоившее стольких тонн золота и содержавшееся в порядке целым отрядом ревностных слуг. И в то же время о присутствии этих слуг можно было догадаться только по совершенным плодам их работы. Все поместье производило впечатление такой же чистоты и аккуратности, как крохотный палисадник какого-нибудь городского садовода-любителя, но я нигде не заметил запоздавшего садовника, торопливо доканчивающего какую-нибудь клумбу, и не услышал никаких звуков, говоривших о труде. Тишину нарушали только звонкий птичий щебет да мычание коров, и даже деревушка, ютившаяся у ворот парка, казалось, почтительно затаила дыхание, словно шаловливый ребенок, вдруг попавший в приемную короля.

«Герб Картью», маленькая, очень уютная гостиница, показалась мне придатком и аванпостом поместья. Стены были украшены гравированными портретами давно скончавшихся Картью: Филдинг Картью, главный уголовный судья города Лондона; генерал-майор Джон Картью в мундире, завершающий какую-то военную операцию; достопочтенный Бейли Картью, член парламента от Столлбриджа, размахивающий, стоя у стола, каким-то документом; Синглтон Картью, эсквайр, изображенный на фоне коровьего стада (без сомнения, по желанию своих арендаторов, которые преподнесли ему это произведение искусства), и преподобный архидиакон Картью, доктор богословия, доктор прав, магистр искусств, чопорно и неловко гладящий по головке маленького ребенка. Если память мне не изменяет, в этом почтенном заведении других картин не было. Я без всякого удивления узнал, что хозяин гостиницы в свое время был дворецким в замке, а хозяйка — горничной миледи и что буфет гостиницы служит своеобразным клубом бывших слуг. То абсолютное влияние, которое семейство Картью распространяло на столь значительную область, произвело на меня угнетающее впечатление, но, когда из подписей к гравюрам мне стало ясно, что история этого рода более чем скромна, к неприязни, которую я чувствовал, примешалось некоторое недоумение.

«Главный уголовный судья» — должность, несомненно, значительная, но я подумал, что на протяжении стольких поколений кто-нибудь из Картью мог бы все-таки занять пост и более значительный. Военные в их роду не дослужились выше генерал-майора, священники ограничивались скромным архидиаконством, и, хотя достопочтенный Бейли, казалось, пробрался в Тайный совет, было неясно, отличился ли он там чем-нибудь. Такие огромные возможности, такой долгий срок — и такие скромные достижения! Я почувствовал глубокую уверенность, что род этот не блещет ни умом, ни энергией.

Я скоро понял, что приехать в деревушку и не посетить «замок» значило бы нанести кровную обиду всем ее обитателям. Всякий посетитель был обязан покормить лебедей, поглядеть павлинов и картины Рафаэля (эти заурядные люди владели, однако, двумя подлинными полотнами Рафаэля), рискуя жизнью, ознакомиться со знаменитой породой скота, носившей название «картьючилингам», и сходить на поклонение к отцу знаменитого Донибристла, который не раз выигрывал скачки.

Я был не настолько глуп, чтобы воспротивиться обычаю, а кроме того, я услышал две новости, после которых мое равнодушие сменилось горячим желанием осмотреть поместье.

Во-первых, оказалось, что мистер Норрис «уехал путешествовать», а во-вторых, я узнал, что незадолго до

меня какой-то посетитель уже осматривал местные достопримечательности. Догадываясь, кто это был, я решил разузнать, что он делал и что видел. Судьба мне благоприятствовала — меня поручили заботам того же помощника садовника, который водил по поместью моего предшественника.

— Да, сэр,— сказал он,— это действительно был американец. По виду персона не слишком важная, но очень вежливый.

Вежливость этого человека, казалось, действительно была незаурядной: он пришел в восторг от картьючилингамов, восхищенно ахал перед всем, что ему показывали, и чуть ли не пал ниц, узрев отца Донибристла.

— Он сказал мне, сэр,— продолжал польщенный помощник садовника,— что ему часто приходилось читать об английских замках, но наш был первый, который он увидел своими глазами. Когда он вышел на большую аллею, у него прямо дух захватило. «Поистине королевские владения!» — сказал он. Ну, и понятно, что поместье его интересовало,—ведь, по его словам, мистер Картью оказал ему в Штатах большую услугу. А он, кажется, человек обязательный и очень любит цветы.

Я выслушал этот рассказ с огромным изумлением. Сомневаться не приходилось — речь шла о Бэллерсе. А ведь всего несколько часов назад мне казалось, что передо мной сумасшедший, на которого следует надеть смирительную рубашку! Он остался без гроша в чужой стране, он ничего не ел со вчерашнего дня, отсутствие Норриса должно было привести его в отчаяние — и вдруг я слышу, что он ходил по поместью, восхищаясь видами, нюхая цветы и отпуская напыщенные фразы! Сила его характера поразила и испугала меня.

— Это очень странно,— сказал я своему проводнику.— Я сам имел удовольствие познакомиться с мистером Картью, и, насколько мне известно, никого из его друзей-американцев в Англии сейчас нет. Кто же это мог быть? Да неужели... Но нет, это невозможно! У него не хватило бы наглости. Скажите, его фамилия не Бэллерс?

— Его фамилии я не слышал, сэр. А вы знаете о нем что-нибудь скверное? — спросил помощник садовника.

— Да как сказать...—ответил я.— Во всяком случае, это не тот человек, которого Картью хотел бы видеть здесь в свое отсутствие.

— Господи боже ты мой! — воскликнул садовник.— А он так приятно разговаривал. Я еще подумал, что он, наверное, школьный учитель. Может, сэр, вы будете так любезны поговорить с мистером Денменом? Я ведь послал его к мистеру Денмену, когда он осмотрел поместье. Мистер Денмен — наш дворецкий, сэр,— пояснил он.

Это предложение меня тем более обрадовало, что давало возможность без всякого ущерба для моего достоинства побыстрее удалиться из общества картьючилингамов, и мы направились прямо через лужайку к заднему крыльцу замка.

Лужайка была окружена живой изгородью из тисов, за которой находился сад. Когда мы пересекали ее, мой проводник вдруг задержал меня.

— Высокородная леди Энн Картью,— торжественно прошептал он.

Поглядев через его плечо, я увидел старую даму, которая, опираясь на палку, довольно быстро ковыляла по садовой дорожке. В юности она, вероятно, была поразительной красавицей, и даже легкая хромота не нарушала впечатления почти грозного достоинства, которым дышал весь ее облик. Лицо ее было очень печально, а глаза, устремленные прямо вперед, казалось, созерцали грядущие несчастья.

— У нее очень грустный вид,— сказал я, когда она скрылась за поворотом и мы пошли дальше.

— Она все горюет, сэр,— ответил помощник садовника.— Мистер Картью... то есть, я хочу сказать, старый хозяин... умер всего год назад; лорд Тиллибоди, брат ее милости скончался два месяца спустя, а потом случилась эта беда с молодым джентльменом. Погиб на охоте, сэр. А он был любимцем ее милости. Мистера Норриса она куда меньше любила.

— Да, я слышал,— ответил я, как мне кажется, умело вызывая его на дальнейший рассказ и в то же время создавая впечатление, что я близкий друг семьи.— Очень, очень печально. А эта перемена — возвращение бедняги Картью и все остальное — не исправила дела?

— Ну нет, сэр! — ответил он.— Нам кажется, стало еще хуже.

— Очень, очень печально,— повторил я.

— Когда мистер Норрис приехал, она вроде бы обрадовалась ему, и мы все были очень довольны, ведь мы его все любим, сэр. Да только это скоро кончилось. В тот же самый вечер был у них какой-то разговор, и все стало как прежде, только еще хуже. И на следующее утро мистер Норрис снова уехал путешествовать. «Денмен,— сказал он мистеру Денмену,— Денмен, я сюда никогда не вернусь»,— и пожал ему руку. Конечно, человеку чужому я бы ничего этого рассказывать не стал, сэр,— добавил мой собеседник, очевидно, испугавшись, что наговорил лишнего.

И действительно, я узнал от него очень много — гораздо больше, чем было известно ему самому. В бурный вечер своего возвращения Картью рассказал о том, что с ним случилось, и старую даму мучило не только ее горе: среди картин, встававших перед ее мысленным взором, когда она шла мимо меня по тропинке, были и остров Мидуэй и бриг «Летящий по ветру».

Мистер Денмен кисло выслушал меня и сообщил мне, что Бэллерс уже ушел.

— Ушел? — воскликнул я.— Так зачем же он приходил? Уж, во всяком случае, не для того, чтобы осмотреть дом!

— Не вижу, что другое могло привести его сюда,— ответил дворецкий.

— Поверьте, вы ошибаетесь,— сказал я,— и он, очевидно, получил то, что ему было нужно. Кстати, а где сейчас мистер Картью? Мне очень жаль, что я не застал его тут.

— Он путешествует, сэр,— ответил дворецкий сухо.

— Браво! — вскричал я.— Ведь я расставил вам ловушку, мистер Денмен, но теперь вижу, что вы ничего не сказали этому наглому субъекту.

— Разумеется, сэр,— ответил дворецкий.

Я пожал ему руку — как и мистер Норрис,— однако без особого восторга: ведь мне не удалось узнать адрес, а раз Бэллерс покинул поместье, значит, он адрес узнал, иначе я застал бы его тут.

Я сумел избежать осмотра поместья и скотного двора, но осмотреть дом мне все-таки пришлось.

Старушка с серебряными волосами, с серебристым голосом и целым кладезем совершенно ненужных мне сведений долго водила меня по картинной галерее, концертному залу, парадной столовой, большой гостиной, индийской комнате, театру и всем остальным интересным уголкам этого громадного дома. Только одна комната оказалась для меня запретной — малая гостиная, куда удалилась леди Энн. Я на мгновение остановился около этой двери и улыбнулся про себя: ведь только она отделяла меня от тайны «Летящего по ветру»!

Но все время, пока я бродил по лабиринту комнат, я думал о Бэллерсе. Я не сомневался, что он раздобыл адрес, однако я твердо знал, что прямые расспросы ему не помогли. Следовательно, помогла какая-то хитрость, какая-то счастливая случайность. И, если мне не поможет такая же случайность или такая же хитрость, я ничего не смогу сделать; хорек выследит свою добычу, огромные дубы будут срублены, полотна Рафаэля пойдут с молотка, в доме поселится какой-нибудь разбогатевший биржевик, и от всего этого величия скоро останется только смутное воспоминание.

Как странно, что столь важные дела, столь древний замок и столь знатный и бесцветный род могли пойти прахом и дальнейшая их судьба зависела от находчивости, осторожности и хитрости бывшего студента Латинского квартала!

Чтобы помешать их гибели, я должен узнать адрес, как узнал его Бэллерс.

«Случайность или хитрость, хитрость или случайность»,— продолжал я твердить про себя, когда возвращался в деревушку по большой аллее, иногда оглядываясь на кирпичный фасад и озаренные солнцем окна дома. Но как подчинить себе случайность? Какую придумать хитрость?

Размышляя над этим, я незаметно дошел до дверей деревенской гостиницы и там, согласно моему обычаю со всеми поддерживать хорошие отношения, немедленно прогнал свою задумчивость и вежливо принял приглашение пообедать с хозяином в малом зале. Я был единственным постояльцем гостиницы. И вот я сел за стол с мистером Хиггсом, бывшим дворецким, миссис Хиггс, бывшей горничной, и мисс Агнес Хиггс, их лохматой маленькой дочкой, на которую не возлагал никаких надежд (но, как показали дальнейшие события, ошибся). Разговор шел только о господском доме и о господах.

Мы успели отведать ростбифа, йоркширского пудинга, сладкого пирога и сыра, а эта тема по-прежнему оставалась неиссякаемой. Я узнал множество сведений о четырех поколениях Картью, но ни одно из этих сведений меня не заинтересовало. И, только когда мистер Генри уже погиб во время охоты, когда я выслушал подробнейшее описание его смерти и торжественных похорон, на которых присутствовали чуть ли не все жители погруженного в скорбь графства, мне наконец удалось вывести на сцену моего близкого друга — мистера Норриса. При упоминании этого имени бывший дворецкий заговорил дипломатическим тоном, а бывшая горничная — нежным. Насколько я мог понять, мистер Норрис Картью был единственным представителем этого бесцветного рода, который совершал хоть какие-нибудь достойные упоминания поступки. Но, к сожалению, все они сводились к тому, что он вел беспутную жизнь, вызывавшую сожаление у тех, кто его любил. На свое несчастье, он был вылитым портретом достопочтенного Бейли, одного из светочей этого ничем не примечательного семейства, и поэтому чуть ли не с колыбели ему предсказывали блестящую карьеру. Однако едва он вышел из пеленок, как выяснилось, что он недостоин носить имя Картью: он выказывал несомненный вкус к низменным удовольствиям и скверному обществу — ему еще не было одиннадцати лет, когда он уже отправлялся собирать птичьи яйца вместе с младшим грумом, а когда ему исполнилось двадцать, то, не заботясь о достоинстве своей семьи, он начал все чаще отправляться в длинные пешие прогулки, делая зарисовки пейзажей и панибратствуя с завсегдатаями придорожных гостиниц.

Мне сообщили, что он начисто лишен гордости, что он готов сесть за стол с кем угодно — последнее было сказано таким тоном, который ясно давал мне понять, что своим знакомством с мистером Норрисом я был обязан именно этой его прискорбной неразборчивости.

К несчастью, мистер Норрис был не только эксцентричен, но и любил кутнуть. В университете он прославился своими долгами, а затем был исключен из него за какую-то весьма вольную проделку.

— Он всегда был большой шутник,— заметила миссис Хиггс.

— Да уж! — согласился ее супруг.

Однако настоящие неприятности начались после того, как он поступил на дипломатическую службу.

— Он просто как с цепи сорвался,— сказал бывший дворецкий, мрачно смакуя эту мысль.

— Он наделал бог знает каких долгов,— сказала бывшая горничная,— и при всем при том такого прекрасного молодого человека поискать.

— Когда мистер Картью узнал обо всем, началось бог весть что,— продолжал мистер Хиггс.— Я так все помню, словно это случилось вчера. Когда ее милость вышла из столовой, хозяин позвонил. Я пошел туда сам, думая, что надо подавать кофе, и вдруг вижу: мистер Картью стоит у стола. «Хиггс,— говорит он, тыкая тростью (у него как раз разыгралась подагра),— прикажите немедленно заложить двуколку для этого господина, который опозорил себя». А мистер Норрис ничего не сказал. Он сидел, опустив голову, будто рассматривал узор на тарелке. А я так удивился, что еле на ногах устоял,— закончил мистер Хиггс.

— Он совершил что-то очень скверное? — спросил я.

— Ничего подобного, мистер Додсли! — вскричала хозяйка (таков был ее вариант моей фамилии).— Бедняжка за всю свою жизнь ничего по-настоящему скверного не делал. С ним поступили несправедливо. Потому что он не был любимчиком.

— Миссис Хиггс, миссис Хиггс! — предостерегающе воскликнул дворецкий.

— Ну, и что тут такого? — возразила его супруга, встряхивая кудряшками.— Об этом всем в доме было известно, мистер Хиггс!

Выслушивая все эти факты и мнения, я отнюдь не забывал о семилетней дочери дома. Она была не очень привлекательна, но, к счастью, уже достигла корыстного семилетнего возраста, когда монета в полкроны кажется больше блюдечка и редкостнейшей диковинкой. Я быстро снискал ее благоволение, опустив в копилку шиллинг и подарив ей золотой американский доллар, который оказался у меня в кармане. Она объявила, что я очень хороший дяденька, и получила нагоняй от своего папеньки за то, что начала проводить сравнение между мной и своим родным дядей Уильямом, весьма для последнего нелестное.

Едва мы кончили обедать, как мисс Агнес вскарабкалась ко мне на колени вместе с альбомом марок — подарком дяди Уильяма. Надо сказать, я терпеть не могу старые марки, но, решив, что в этот день я, видимо, обречен любоваться всякими достопримечательностями, подавил зевок и принялся прилежно рассматривать предложенную моему вниманию коллекцию. Я думаю, что ее начал сам дядя Уильям, а потом ему надоело — альбом, к моему большому изумлению, был почти весь заполнен. Я уныло разглядывал английские марки, русские марки с красным сердцем, старинные неразборчивые Турн-и-Таксис, давно вышедшие из употребления треугольные марки мыса Доброй Надежды, марки Лебединой реки с лебедем и гвианские марки с парусным кораблем. Иногда я начинал клевать носом, и, вероятно, в одну из этих минут, задремав, уронил альбом на пол, и из него высыпалось довольно большое количество марок, предназначенных для обмена.

И тут, против всех ожиданий, мне на помощь пришла счастливая случайность, на которую я уже перестал надеяться. Собирая рассыпавшиеся марки, я с удивлением заметил среди них множество французских марок ценой в пять су. Значит, кто-то регулярно присылает марки в Столлбридж-ле-Картью, решил я. А вдруг это Норрис? На штампе одной из марок я разобрал букву «Ш», на второй к ней прибавилась «а». Остальная часть штампа была совершенно неразборчивой. Если вы вспомните, что названия четверти французских городов начинаются с «Шато», вы поймете, что толк от моего открытия был невелик, и я немедленно присвоил марку, на которой штамп был наиболее ясен, с тем чтобы показать ее на почте и уточнить название города. Однако негодная девчонка заметила мой маневр.

— Ты гадкий дяденька, ты уклал мою малку! — закричала она и, прежде чем я успел что-нибудь возразить, выхватила ее из моего кармана и зажала в кулачке.

Я оказался в чрезвычайно ложном положении, и, наверное, миссис Хиггс сжалилась надо мной, потому что она поспешила прийти мне на помощь. Если мистера Додсли интересуют марки, сказала она (скорее всего решив, что я помешан на них), ему надо бы посмотреть альбом мистера Денмена. Мистер Денмен собирает

марки уже сорок лет, и, говорят, его коллекция сто́ит больших денег.

— Агнес,— продолжала она,— будь хорошей девочкой, сбегай в замок, скажи мистеру Денмену, что у нас в гостях настоящий знаток, и попроси его прислать к нам с кем-нибудь свой альбом.

— И те марки, которые он хочет обменять,— добавил я, не растерявшись.— У меня в бумажнике, кажется, есть кое-какие интересные экземпляры, и, может быть, мы с ним поменяемся.

Полчаса спустя в гостиницу явился мистер Денмен собственной персоной, неся под мышкой толстенный альбом.

— Ах, сэр! — вскричал он.— Когда я услышал, что вы филателист, я бросил все дела! У меня есть поговорка, мистер Додсли: те, кто коллекционирует марки, всегда друзья.

Не знаю, насколько это наблюдение верно, но, во всяком случае, тот, кто пытается выдать себя за филателиста, не имея для этого никаких оснований, попадает в трудное положение.

— А-а! Второй выпуск,— говорил я, быстро прочитав надпись рядом с маркой.— Да, да, розовая... нет... я хотел сказать, палевая — самая интересная на этой странице. Хотя, как вы говорите, вот эта желтенькая — настоящая редкость.

Мой обман, конечно, был бы открыт, если бы я из чувства самозащиты не напоил мистера Денмена его любимым напитком — портвейном, настолько прекрасным, что он, несомненно, не мог дозреть в погребе «Герба Картью», а был перенесен туда под покровом ночи из подвалов господского дома. Каждый раз, когда мне грозило разоблачение и особенно когда он задавал какой-нибудь коварный вопрос, я торопился снова наполнить его стакан, и к тому времени, когда мы дошли до марок, предназначенных для обмена, почтенный мистер Денмен был в таком состоянии, которое обезвреживает даже самого рьяного филателиста. Нет, он совсем не был пьян — по-моему, для этого у него не хватало энергии и живости. Однако глаза его остекленели, и, хотя он продолжал разглагольствовать, ему было решительно все равно, слушаю я его или нет.

Среди марок мистера Денмена, предназначенных для обмена, как и среди марок маленькой Агнес, можно

было подметить ту же странность, а именно избыток заурядных французских марок ценой в пять су. Я осторожно разложил их перед собой и, подобрав все необходимые буквы, составил название города, которое меня так интересовало: Шайи-ан-Бьер, городок вблизи Барбизона, самое подходящее место для человека, который скрывается, самое подходящее место для мистера Норриса, который совершал длинные экскурсии, рисуя пейзажи, самое подходящее место для Годдедааля, который забыл на борту «Летящего по ветру» свой мастихин. Как странно, я кружил по Англии с Бэллерсом, а человек, которого мы искали, все это время жил там, куда влекли меня мои помыслы.

Я не знаю, показывал ли мистер Денмен свой альбом Бэллерсу и сумел ли Бэллерс по стертому штампу разобрать то, что его интересовало, но теперь это не имело значения. Я тоже узнал все, что мне было нужно.

Мой интерес к маркам испарился самым беззастенчивым образом, я немедленно распрощался с удивленным Денменом и, приказав закладывать лошадь, принялся изучать расписание поездов и пароходов.

ГЛАВА XXI

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Я добрался до Барбизона в два часа дня, когда улицы его кажутся вымершими: все прилежные труженики уже где-то пишут свои эскизы, все бездельники уже отправились гулять в лес или около реки. Гостиница тоже была пуста.

Однако я с большой радостью увидел в общем зале одного из моих прежних приятелей. Судя по его городскому костюму, он собирался уехать, и действительно рядом с ним на полу лежал портплед.

— Стеннис! — воскликнул я.— Вот уж с кем не ожидал здесь встретиться!

— Еще немного — и мы бы не встретились,— ответил он.— Мы уже слишком стары, и для нас в Барбизоне нет места. Я пробыл здесь неделю, и оказалось, что я никому не известен. Только Фараон узнал меня, ну и, конечно, супруги Сирон и бессмертный Бодмер.

— И никто не уцелел? — осведомился я.

— От нашей геологической эпохи? Никто,— ответил он.— Полное безлюдье, словно на развалинах древнего Вавилона.

— А какие кочевники разбивают теперь шатры среди руин? — спросил я.

— Молодежь, Додд, молодежь. Цветущая, самодовольная молодежь. Пакость невообразимая. И подумать, что мы сами были такими! И как это Сирон не выгонял нас с позором из своего заведения!

— Ну, может, мы были не так уж плохи,— попробовал я возразить.

— Не буду разбивать ваши иллюзии,— ответил Стеннис,— но должен сказать, что единственная терпимая личность здесь — это один англичанин.

Его последние слова напомнили мне о цели, ради которой я сюда приехал и о которой эта приятная встреча заставила меня забыть.

— А кто он? — спросил я.— Расскажите.

— Терпимая личность? — переспросил он.— Ну, очень приятный человек. Довольно замкнутый, скучноватый и вежливый, но очень-очень приятный. И к тому же он истый британец, простодушный британец. Боюсь, это будет действовать на ваши заатлантические нервы. Хотя, впрочем, вы должны отлично поладить. Он большой поклонник одной из (простите меня!) самых неприятных черт вашей великой республики. Он выписывает и внимательно прочитывает множество американских газет. Я же вас предупредил, что он человек простодушный.

— А какие именно газеты? — воскликнул я.

— Выходящие в Сан-Франциско,— ответил Стеннис.— Дважды в неделю он получает их целую кипу и прочитывает от первой до последней строчки. Это одна из его слабостей. А другой его недостаток — сказочное богатство. Он снял прежнюю мастерскую Массона — помните, на перекрестке? — обставил ее, не считаясь ни с какими расходами, и живет там, окруженный тонкими винами и предметами искусства. Когда современная молодежь отправляется в Пещеру Разбойников варить пунш — они ведь проделывают все, что проделывали мы, отвратительные обезьяны (я прежде никогда не замечал, до чего сильна в человеке склонность следовать установившимся традициям)...— так вот, когда

они отправляются в Пещеру Разбойников, этот Мэдден отправляется туда же с корзиной шампанского. Я попробовал объяснить ему, что он совершает ошибку и что пунш гораздо вкуснее, но он считает, что, с точки зрения этих молодчиков, шампанское куда шикарнее, и, наверное, так оно и есть. Он человек очень добрый, очень меланхоличный и довольно беспомощный. Ах да, у него есть еще третья слабость, о которой я чуть не забыл. Он малюет. Он никогда не учился живописи. Ему уже за тридцать лет, и все-таки он пишет картины.

— Ну и как? — спросил я.

— Весьма неплохо, мне кажется,— ответил Стеннис — Это-то и неприятно. Судите сами. Вот одна из них

Я оглянулся. Я хорошо помнил эту комнату еще с прежних времен: столы, расставленные в форме буквы «П», большой буфет, разбитый рояль и картины на стенах. Среди них были мои старые знакомые. «Ромео и Джульетта», «Вид Антверпена с реки», «Корабли в замерзшей гавани» и огромный охотник, трубящий в огромный рог,— но к ним прибавилось несколько новых — дары следовавших за нами поколений художников — совершенно такие же в смысле качества. На одну-то из этих последних и указывал Стеннис. Выполнена она была чрезвычайно неровно, некоторые места поражали удачным колоритом, другие были более чем посредственны. Однако мое внимание привлек сам пейзаж, а не искусство его воплощения. На первом плане тянулась полоса кустарника и песка, усеянного обломками. За ней простиралась многоцветная лагуна, окруженная белой стеной прибоя. Дальше виднелась синяя полоса океана. На небе не было ни облачка, и я словно услышал грохот валов, разбивающихся о риф, ибо передо мной был остров Мидуэй, изображенный с того самого места, где я в первый раз сошел на сушу с капитаном и где я побывал вторично в день нашего отплытия. Я несколько минут рассматривал картину, и вдруг мое внимание привлекло пятнышко на линии горизонта. Всмотревшись внимательнее, я понял, что это дымок парохода.

— Да,— заметил я, обращаясь к Стеннису,— в картине что-то есть. А какое место на ней изображено?

— Так, фантазия,— ответил он.— Вот это мне и нравится. У большинства современных художников фантазии не больше, чем у гусеницы.

— Вы говорите, его фамилия Мэдден? — продолжал я свои расспросы.

— Да,— ответил Стеннис.

— А он много путешествовал?

— Не имею ни малейшего представления. Я уже говорил, он человек замкнутый. Он чаще всего молчит, курит, посмеивается чужим шуткам, а иногда и сам пробует шутить. Но интересным собеседником его не назовешь. Нет,— добавил Стеннис,— он вам все-таки не понравится, Додд. Вы не любите скучных собутыльников.

— У него большие золотистые усы, похожие на слоновьи клыки? — спросил я, вспоминая фотографию Годдедааля.

— Конечно, нет. С чего вы это взяли?

— А он пишет много писем? — продолжал я.

— Не знаю,— ответил Стеннис.— Что это на вас нашло? Я прежде никогда не замечал в вас такого любопытства.

— Дело в том, что я, кажется, знаком с этим человеком,— ответил я.— Кажется, он именно тот, кого я ищу.

К гостинице подъехал экипаж, заказанный Стеннисом, и мы распрощались.

До обеда я бродил по полям. Мне никого не хотелось видеть, и я пытался разобраться во множестве одолевавших меня чувств. Очень скоро мне предстояла встреча с человеком, чей голос я когда-то слышал, кто в течение стольких дней наполнял мою жизнь интересом и тревогой, о ком я думал столько бессонных ночей. Еще немного — и я наконец узнаю тайну подмены корабельной команды.

Солнце начало клониться к западу, но с каждой минутой, которая приближала нашу встречу, я все больше терял мужество. Я шел так медленно, что, когда вошел в обеденный зал, все постояльцы уже сидели за столом и в комнате стоял оглушительный многоголосый говор. Я сел на свободное место и вскоре обнаружил, что напротив меня сидит Мэдден. Это был высокий, хорошо сложенный человек с серебряными нитями в темных во-

лосах. Карие глаза смотрели ласково, добродушная улыбка открывала превосходные зубы. Одежда, голос, манеры выдавали в нем англичанина, выделяя его среди всех, сидевших за этим столом. В то же время он, по-видимому, чувствовал себя здесь как дома и пользовался несомненной симпатией шумной молодежи, которая его окружала. У него был странный серебристый смешок, звучавший как-то нервно и плохо вязавшийся с его высокой фигурой и мужественным, грустным лицом. Весь обед этот смешок раздавался постоянно, точно звон треугольника в каком-нибудь произведении новейших французских композиторов; Мэдден, казалось, поддерживал общее веселье не столько шутками, сколько сочувственной манерой держаться. Казалось, он принимает участие в застольных развлечениях не потому, что у него хорошее настроение, а потому, что, по доброте душевной, не любит мешать удовольствию других. Такую же грустную улыбчивость и умение стушевываться я замечал у отставных военных.

Я боялся глядеть на него, так как мой взгляд мог выдать снедавшее меня волнение; однако судьба была на моей стороне, и не успели еще убрать со стола суп, как мы познакомились самым естественным образом. Я отхлебнул глоток местного вина, вкус которого давно уже успел забыть, и, не удержавшись, воскликнул:

— Фу, какая гадость!

— Не правда ли? — заметил Мэдден и добавил: — Разрешите налить вам моего вина. Здесь его называют «шамбертэн», хотя это вовсе не шамбертэн, но пить его можно, чего не скажешь обо всех остальных напитках, которые тут подаются.

Я принял его предложение — я был рад любому предлогу завязать с ним знакомство.

— Ваша фамилия, кажется, Мэдден? — сказал я.— Мне рассказывал о вас мой старый приятель Стеннис. Я еще застал его здесь сегодня утром.

— Очень жаль, что он уехал,— заметил он.— Среди этой молодежи я чувствую себя настоящим дедушкой.

— Моя фамилия Додд,— продолжал я.

— Я знаю,— ответил он,— мне сказала мадам Сирон.

— Я довольно долго жил в Сан-Франциско,— пояснил я.

— Компаньон фирмы «Пинкертон и Додд», если не ошибаюсь? — сказал он.

— Именно,— ответил я.

Мы не смотрели друг на друга, но я заметил, что он нервно катает хлебные шарики.

— Мне нравится эта ваша картина,— сказал я.— Передний план тяжеловат, зато лагуна сделана превосходно.

— Кому же это знать, как не вам,— сказал он.

— Да,— ответил я,— я могу судить достаточно точно об этой картине.

Наступило долгое молчание.

— Вы, кажется, знаете некоего Бэллерса? — начал он.

— Так, значит,— воскликнул я,— вы получили письмо от доктора Эркварта?

— Сегодня утром,— ответил он.

— Ну, Бэллерс может и подождать,— сказал я.— Это длинная история и довольно глупая, но, мне кажется, нам есть о чем поговорить друг с другом. Но не лучше ли отложить разговор, пока мы не останемся одни?

— Вы правы,— ответил он.—Конечно, этим юнцам не до нас, но нам будет удобнее у меня в мастерской. Ваше здоровье, Додд!

И мы чокнулись с ним через стол.

Вот так странно состоялось наше знакомство в компании тридцати с лишним художников и напудренных дам в халатах — великан Сирон передавал тарелки над нашими головами, а его шумные сыновья вбегали с новыми блюдами.

— Еще один вопрос,— сказал я.— Вы узнали мой голос?

— Ваш голос? — повторил он удивленно.— А как я мог его узнать? Я никогда его не слышал. Мы ведь с вами не встречались?

— И все же до этой нашей встречи мы с вами один раз разговаривали,— сказал я.— Я задал вам вопрос, на который вы не ответили и который я с тех пор по очень веским причинам неоднократно задавал сам себе.

— Так, значит, тогда звонили мне вы? — воскликнул он, вдруг бледнея.

Я кивнул.

— И вам,— продолжал он,— я обязан своими бессонными ночами? Эти раздавшиеся в трубке тихие слова с тех пор свистели у меня в ушах, как ветер в замочной скважине. Кто это мог быть? Что это могло означать? Мне кажется, они причинили мне больше терзаний, чем...— Он умолк и нахмурился.— Хотя терзаться я должен был бы совсем из-за другого,— добавил он и медленно допил свое вино.

— Видимо, мы оба были обречены судьбой сводить друг друга с ума загадками. Иной раз мне казалось, что у меня вот-вот голова расколется.

Картью испустил свой странный смешок.

— Однако есть люди, которым пришлось хуже, чем нам,— заметил он,— они и вовсе ничего не понимают.

— Кто это? — спросил я.

— Судовладельцы,— ответил он.

— Ну конечно же! — воскликнул я.— Мне это и в голову не приходило. Как же они это объяснили?

— Никак,— ответил Картью.— Случившееся объяснению не поддавалось. Они все были люди небогатые, организовавшие небольшой синдикат. Один из них теперь ездит в карете, и о нем говорят, что он превосходный делец и еще станет финансовым воротилой. Другой на полученную прибыль купил себе небольшую виллу. Но все они совсем сбиты с толку и, когда встречаются, боятся смотреть друг другу в глаза, как авгуры.

Как только обед кончился, Картью повел меня к себе. Старую мастерскую Массона совсем нельзя было узнать. На стенах висели гобелены, несколько хороших гравюр, а также изумительные картины, принадлежавшие кисти Руссо, Коро, Уистлера и даже Тициана. В комнате стояли удобные английские кресла, несколько американских качалок и дорогой письменный стол. На буфете выстроились бутылки и сифон с содовой водой, а в углу за портьерой я увидел раскладную кровать и большую ванну. Такая комната в Барбизоне поражала пришельца не меньше, чем чудеса пещеры графа Монте-Кристо.

— Ну,— сказал мой хозяин,— здесь нам никто не помешает. Садитесь и, если вам не трудно, расскажите мне всю вашу историю.

Я выполнил его просьбу, начав с того дня, когда Джим показал мне заметку в «Дейли Оксидентел»,

и закончив эпизодом с марками и почтовым штампом Шайи.

Мой рассказ занял много времени, а Картью к тому же перебивал меня, расспрашивая о подробностях. Словом, прежде чем я кончил, большие часы в углу комнаты уже успели пробить полночь.

— А теперь,— сказал мой хозяин,— пришла моя очередь рассказать вам свою историю, хотя мне это крайне тяжело, так как она отвратительна. Сам не знаю, как я еще могу спать. Я уже рассказывал ее однажды, мистер Додд.

— Леди Энн? — спросил я.

— Вы угадали,— ответил он.— И, по правде говоря, дал клятву никому ее больше не рассказывать. Но вам я не имею права отказать. Вы за нее дорого заплатили, и я могу только надеяться, что, добившись своего, вы не разочаруетесь!

С этими словами он начал свой рассказ, а когда он его закончил, на дворе уже был ясный день, в деревне пели петухи, и крестьяне направлялись в поля.

ГЛАВА XXII
ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ НА ПОСОБИЕ

Синглтон Картью, отец Норриса, был человек толстый, слабовольный, чувствительный, как музыкант, глупый, как баран, и добросовестный, как дрессированная собака. Он с большой серьезностью относился к своему положению: огромные комнаты и безмолвные слуги казались ему принадлежностью какого-то религиозного ритуала, в котором он занимал место смертного бога. Как все глупые люди, он не терпел глупости в других и, как все тщеславные, боялся, что его тщеславие может быть замечено. И в том и в другом отношении Норрис постоянно раздражал и оскорблял его. Он считал своего сына дураком и подозревал, что тот придерживается о нем такого же мнения. История их отношений очень проста: они встречались редко и ссорились часто. Для его матери, гордой и честолюбивой женщины, уже успевшей разочароваться в своем муже и старшем сыне, Норрис был только новым разочарованием.

Однако недостатки молодого Картью были не особенно серьезными. Он рос застенчивым, уступчивым, малоэнергичным.

Он совсем не был честолюбив, всякой деятельности предпочитал роль постороннего зрителя и скептически наблюдал, как его отец торжественно переливает из пустого в порожнее, мать самозабвенно гоняется за мотыльками, которые зовутся светскими успехами, а брат в поте лица занимается тем, что называют развлечениями. Картью пришел к убеждению, что его родные тратят свою жизнь на скучные пустяки. Он родился разочарованным, и карьера, открывавшаяся перед ним благодаря его происхождению, была ему совсем не по душе. Он любил жизнь на открытом воздухе, всему предпочитал одиночество и в то же время легко завязывал приятельские отношения со случайными встречными. Но больше всего его влекла живопись. С детства он не уставал любоваться прекрасными картинами в галерее Столлбриджа. Хотя, судя по этому собранию, его предки интересовались искусством, Норрис, пожалуй, был первым в роду, кто захотел сделать искусство своим призванием. Он с детства мечтал стать художником, но родители решительно воспротивились этому, и он уступил без всякой борьбы. Когда настало время поступать в Оксфорд, он попробовал спорить. Науки его не интересуют, объяснил он, ему хочется стать художником. Эти слова настолько потрясли его отца, что Норрис поспешил уступить. «Это ведь было не так уж важно,— сказал он,— а мне не хотелось дразнить старика».

И вот он покорно отправился в Оксфорд и скоро стал там центром небольшого кружка убежденных бездельников. Завистливые первокурсники пытались подражать полному отсутствию всякого старания и страха, которое у него было совершенно естественным. «Все пустяки» — было его девизом, и он следовал ему даже во время бесед с профессорами. Хотя он всегда был вежлив, это полное равнодушие производило впечатление беззастенчивой наглости, и в конце концов на втором году обучения он был исключен из университета.

Ни с кем из Картью еще никогда не случалось ничего подобного, и отец Норриса не собирался смотреть на это сквозь пальцы. Он давно уже имел привычку пророчить своему второму сыну бесславную и позорную жизнь. И теперь его прежние пророчества стали для

него источником утешения. Он то и дело повторял: «Я же говорил!» — и уже не сомневался, что его сын кончит виселицей или каторгой. Незначительные долги, которые Норрис сделал в университете, в глазах его отца превратились в неслыханное мотовство, грозившее семье чуть ли не полным разорением.

— По-моему, это несправедливо, сэр,— сказал Норрис.— Я жил в университете так, как вы мне советовали. Мне жаль, что меня исключили, и вы имеете право бранить меня за это, но вот попрекать меня долгами вы права не имеете.

Нетрудно представить, какое впечатление могли произвести эти слова на очень глупого человека, имевшего к тому же некоторые основания для своего гнева.

Выслушав несколько яростных тирад своего отца, Норрис наконец сказал:

— Знаете что, сэр? Из этого ничего не выйдет. Лучше позвольте мне заняться живописью. Это единственное, что меня хоть сколько-нибудь интересует. Ничем другим я все равно заниматься не буду.

— Вы явились ко мне опозоренным, сударь, и я думал, у вас хватит стыда не повторять больше эти глупости!

На этом разговор закончился, и Норрис вскоре был послан за границу изучать иностранные языки. Это обошлось его отцу недешево, потому что Норрис наделал новых долгов и не обратил никакого внимания на совершенно справедливое негодование отца, который их заплатил. В оксфордской истории с ним поступили несправедливо, и он со злопамятством и упрямством, удивительными в человеке, столь покладистом и слабовольном, не считал нужным ограничивать себя в расходах. Он швырял деньгами направо и налево, позволял своим слугам обкрадывать себя и, когда окончательно запутывался в долгах, извещал об этом отца с хладнокровием, которое приводило того в бешенство. Наконец ему выделили определенный капитал, устроили на дипломатическую службу и заявили, что на помощь отца он больше рассчитывать не должен.

Когда Норрису исполнилось двадцать пять лет, он уже истратил все свои деньги, наделал множество долгов и в конце концов, как многие слабовольные, меланхоличные люди, пристрастился к азартным играм. Австрийский полковник (тот самый, который впоследствии

повесился в Монте-Карло) преподал ему хороший урок — за двадцать два часа Норрис потерял все, что у него оставалось, и многое сверх того. Его отец опять спас честь своего рода — на этот раз действительно ценой значительной суммы, но теперь поставил Норрису гораздо более жесткие условия. Ему было предложено отправиться в Новый Южный Уэльс, где нотариусу в Сиднее поручалось раз в три месяца выплачивать ему семьдесят пять фунтов. Писать домой ему запрещалось. Если по той или иной причине он в день выплаты не явится к нотариусу, то будет сочтен мертвым, и высылка денег будет прекращена. Если он посмеет вернуться в Европу, во всех крупных газетах будет помещено заявление, что его семья от него отрекается.

Пожалуй, его отца больше всего раздражали неизменная вежливость и спокойствие, не покидавшие Норриса в самый разгар семейной бури. Он ждал неприятностей и, когда они наступили, встретил их равнодушно. Безмолвно выслушав все упреки, он взял деньги и в точности выполнил все, что от него требовалось: сел на корабль и отправился в Сидней. Есть люди, которые в двадцать пять лет остаются еще детьми. Таков был Норрис. Через восемнадцать дней после того, как он приехал в Австралию, он истратил все деньги, на которые ему предстояло жить три месяца, и с легкомысленной надеждой на возможности, которые открываются перед приезжими в молодой стране, начал ходить по конторам, предлагая свои услуги. Всюду его встречал отказ, и в конце концов его попросили освободить квартиру, которую он снимал. Он еще носил свой щегольской летний костюм, но оказался на улице без гроша в кармане, как самый последний бродяга.

Тогда он решил обратиться за помощью к нотариусу, который выплачивал ему деньги.

— Прошу вас запомнить, мистер Картью, что я не могу тратить мое время на пустяки,— сказал нотариус.— Можете не описывать мне своего положения. Люди, живущие на пособие своих родных, для меня не такая уж редкость. В подобных случаях я действую по определенной системе. Сейчас я вам дам фунт. Вот он. В любой день, когда вы решите зайти, мой клерк выдаст вам авансом шиллинг. По субботам, поскольку моя контора в воскресенье закрыта, он будет давать вам два шиллинга. Условия мои таковы: вы не будете

обращаться лично ко мне, а только к моему клерку, вы не будете являться сюда пьяным, и вы будете немедленно уходить, как только распишетесь в получении шиллинга. Всего хорошего.

— Вероятно, я должен вас поблагодарить,— сказал Картью.— Я в столь отчаянном положении, что не могу отказаться даже от такого нищенского пособия.

— Нищенского? — улыбнулся нотариус.— В нашем городе человек, у которого в кармане имеется шиллинг, не считается нищим. У меня на руках есть еще один молодой человек, который вот уже шесть лет беспробудно пьет на такое пособие.

И он занялся своими бумагами. В течение многих месяцев улыбающееся лицо нотариуса стояло перед глазами Картью. «Этот трехминутный разговор,— пояснил он,— научил меня большему, чем все мои прежние занятия. Это была сама жизнь. И я подумал: неужели я дошел до того, что завидую этому старому сухарю?»

В течение следующих трех недель Норрис, небритый и исхудавший, каждое утро появлялся в конторе нотариуса. Ночью он спал на скамье в парке, днем лежал там на траве в обществе других бездомных бродяг. Каждое утро его будили лучи солнца, встающего за маяком. Он поднимался на ноги и смотрел, как меняются краски в восточной части неба, смотрел на еще не проснувшийся город, смотрел на кишащий кораблями порт, где начиналась утренняя работа. Его собратья по ночлегу продолжали лежать на своих скамьях и на траве, стараясь урвать лишний часок сна, а Картью бродил по дорожкам парка, проклиная свою былую лень и глупость. Днем в парке появлялись няньки с детьми, а потом — нарядно одетая публика, а Картью и остальная «шваль» (это было его собственное горькое выражение), покусывая травинки, угрюмо поглядывали на проходящую мимо пеструю вереницу. Потом наступал вечер, потом ночь, и все начиналось сначала. Иногда ночью раздавались крики о помощи.

— Вы можете этому не поверить,— сказал Картью,— но я дошел до такого состояния, когда меня уже ничто не трогало. Как-то раз меня разбудил крик женщины. Она звала на помощь. А я только повернулся на другой бок и снова заснул... Да, странное место этот парк, где весь день гуляют нарядные дамы со своими детьми, а ночью грабят прохожих, хотя кругом го-

рят огни большого города и слышится шум экипажей, в которых гости возвращаются с губернаторского бала.

Единственным развлечением Норриса в те дни были разговоры с другими бродягами. Ему пришлось выслушать много скучных, много странных и много страшных историй.

Пошли дожди, и он был вынужден каждый день тратить четыре пенса за право переночевать в ночлежке, лишая себя завтрака. Как-то утром, голодный и мокрый, он сидел на скамье в парке, как вдруг услышал громкий собачий визг. Оглянувшись, он увидел, что неподалеку несколько хулиганов развлекаются, мучая какого-то пса. И Норрис, остававшийся равнодушным к крикам людей, попавших в беду, не выдержал страданий ни в чем не повинного животного. Он бросился на хулиганов, раскидал их во все стороны, схватил собаку и, прислонившись к дереву, приготовился отразить нападение. Их было шестеро, но, как это часто случается, жестокость в них сочеталась с трусостью, и они предпочли удалиться, осыпая его ругательствами. На соседней скамье сидел безработный приказчик, веселый рыжий человечек, по фамилии Хемстед. Сам он не рискнул вмешаться, однако поспешил принести Картью свои поздравления и предостеречь его, что в следующий раз подобное вмешательство может окончиться для него плохо.

— В этом парке попадаются такие субъекты, с которыми лучше не связываться,— сказал он.

— Ну, я и сам ничуть не лучше,— ответил Картью.

Хемстед рассмеялся и сказал, что человека из хорошей семьи сразу видно.

— Это не имеет никакого значения, я ведь безработный,— сказал Картью, усаживаясь на скамью рядом со своим новым знакомым.

— Я и сам давно без места,— сказал Хемстед.

— Все равно мне до вас далеко,— заметил Картью.— Моя беда в том, что у меня места никогда и не было.

— Значит, ремесла вы не знаете никакого? — спросил Хемстед.

— Я умею тратить деньги,— ответил Картью,— разбираюсь в лошадях и немножко в мореходстве. Но я не член профсоюза, а то, наверное, меня взяли бы на какой-нибудь корабль.

— Жалость-то какая! — сочувственно вздохнул его собеседник.— А в конную полицию пробовали устроиться?

— Пробовал, и мне указали на дверь — не подошел по здоровью.

— Ну, а как насчет железных дорог? — осведомился Хемстед.

— А вы-то их пробовали? — в свою очередь, спросил Картью.

— Нет, это не для меня. Я не собираюсь заниматься черной работой,— гордо ответил бывший приказчик.— Но, если не быть особенно разборчивым, там почти наверняка можно устроиться.

— Ну-ка, объясните мне, куда идти! — воскликнул Картью, вскакивая на ноги.

Дожди шли не переставая, реки выходили из берегов, и на железных дорогах требовались рабочие руки, но «безработные» предпочитали просить милостыню или грабить, так что землекоп, даже совсем неопытный, мог рассчитывать на хороший заработок. Поэтому в тот же вечер после скучной поездки, во время которой пришлось сделать пересадку, потому что дорогу размыло, Норрис оказался на грязном, поврежденном участке пути за Южным Клифтоном и впервые в жизни попробовал заняться физическим трудом.

Дождь не прекращался несколько недель. Начались оползни, и целый склон горы обрушился в море — лавина глины, камней и вырванных с корнем деревьев засыпала утесы, пляж и даже прибрежные рифы. Обвал уносил целые дома и разбивал их, как орехи. Из соседних домов, которым угрожала та же судьба, жильцы поспешно перебирались в другое место, и дома стояли запертые, покинутые. Днем и ночью в лагере землекопов горели костры, днем и ночью измученным землекопам работающей смены подавался горячий кофе, днем и ночью инженер участка совершал обход за обходом, ободряя своих рабочих, днем и ночью стучал телеграф, сообщая страшные новости и задавая тревожные вопросы. По размываемой линии редко-редко проходили поезда; они двигались медленно, поминутно давая гудки, и останавливались перед опасным местом, словно живые существа, чувствующие, что им грозит гибель. Начальник участка поспешно оглядывал линию и хриплым голосом кричал машинисту, что можно ехать. Землекопы,

затаив дыхание, следили за тем, как поезд медленно проползал мимо, а когда опасное место оставалось позади, коротко кричали «ура», глядя вслед набиравшему ход поезду.

Одну такую сцену Картью запомнил на всю жизнь. С моря дул сильный ветер. В пятистах футах под насыпью огромные валы долбили отвесное подножие горы. Неподалеку от берега маленькая шхуна подавала сигналы бедствия — там кто-то стрелял из дробовика,— словно в такое время можно было рассчитывать на помощь. Тут Картью отвернулся, потому что раздался пронзительный гудок и из-за дождевой завесы показался окутанный дымом паровоз. Сам инженер, побледнев, подал сигнал машинисту. Поезд полз черепашьим ходом, но вся гора содрогалась и, казалось, клонилась к морю: землекопы инстинктивно уцепились за деревья и кустарники — тщетная предосторожность, столь же тщетная, как выстрелы несчастных моряков внизу. Но и на этот раз их страхи оказались напрасными, поезд прошел благополучно, и Норрис, переведя дыхание, снова посмотрел на шхуну. Она уже скрылась в волнах.

Так в тяжелой и опасной работе проходили дни и ночи. Картью устал от бессонницы, ему смертельно надоел кофе, его руки, размягченные сыростью, были натерты до крови, и в то же время он чувствовал себя необыкновенно спокойным и здоровым. Жизнь на открытом воздухе, физический труд, необходимость зарабатывать на пропитание оказались чудесным лекарством от скептицизма, разъедавшего его душу. Он хорошо знал, какая перед ним стоит задача: требовалось сделать так, чтобы поезд прошел их участок благополучно, и не было времени спрашивать, нужно ли это. Картью — бездельник, мот, безвольный дилетант — заслужил всеобщие похвалы и получил повышение. Особенно его хвалил инженер и ставил в пример другим. Как-то раз Норрис услышал, что он сказал: «У меня есть новый рабочий, городской щеголь. Он один стоит двоих». Эти слова прозвучали в ушах Картью, как музыка, и с этой минуты тяжелая плебейская работа не просто интересовала его — он ею гордился.

Горячка еще продолжалась, когда подошел день выплаты пособия. Норрис был к этому времени произведен в старшие рабочие: он решал, когда останавливать и когда пропускать поезда на опасном откосе вблизи

Северного Клифтона. Эта ответственность одновременно пугала его и приводила в восторг. Мысль о семидесяти пяти фунтах, которые он вскоре должен будет получить в конторе нотариуса, и о том, что в этот день он обязан быть в Сиднее, смущала и тревожила его. Наконец он решился; выбрал свободную минуту, отправился в клифтонскую гостиницу, потребовал лист бумаги, перо и чернила и написал нотариусу, объясняя, что получил хорошее место, которое может потерять, если поедет в Сидней, и просил считать это письмо доказательством его присутствия в Новом Южном Уэльсе, с тем чтобы он мог получить причитающиеся ему деньги в день следующей выплаты.

Со следующей почтой пришел ответ. Нотариус не только согласился на его просьбу, но и был очень любезен. «Хотя ваша просьба и противоречит полученным мной инструкциям, я готов взять на себя всю ответственность и поступить согласно вашему желанию. Должен признаться, что ваше поведение меня приятно разочаровало. Мой опыт показывает, что от молодых людей в вашем положении редко можно ожидать чего-либо подобного».

Дожди кончились, и временные работники были уволены. Однако Норриса инженер оставил, приняв его на постоянную работу. Теперь он стал полноправным землекопом и жил в палатке среди скал, окруженный глухим лесом, вдалеке от всякого жилья. Когда он и его товарищи сидели у вечернего костра, тишина нарушалась только шумом проходящих мимо поездов да криками диких животных и птиц.

Чудесная погода, легкая, однообразная работа, долгие часы ленивой болтовни у лагерного костра, длинные бессонные ночи, когда, бродя по залитому лунным светом лесу, он вспоминал свою прежнюю глупую и бесполезную жизнь, полная оторванность от города, так что всякую случайно попавшую к ним газету прочитывали от первой до последней строчки, включая даже объявления,— таково было его новое существование, которое скоро ему надоело. Он с глубоким сожалением вспоминал усталость, яростную спешку, напряжение, костры, ночную кружку кофе— всю грубую, забрызганную грязью поэзию первых недель его работы на железной дороге. И вот примерно в середине октября он отказался от места и распрощался с палаточным лаге-

рем на отроге Лысой горы. В своем рабочем костюме, с узлом за спиной и накопившимся жалованьем в кармане он второй раз очутился в Сиднее и шел по улицам, испытывая удовольствие, смешанное с растерянностью, словно человек, вернувшийся из долгого путешествия. Он смотрел на прохожих, как завороженный, и, забыв про голод, забыв о том, что ему надо подыскать себе жилье, бродил среди толпы, точно щепка, уносимая течением. Наконец он пришел в парк и, прогуливаясь по дорожкам, стал вспоминать страдания и мучительный стыд, который испытывал здесь, и с жадным любопытством вглядывался в своих преемников. На одной из скамеек он заметил Хемстеда, все такого же веселого и бодрого, и заговорил с ним, как со старым другом.

— Вы дали мне хороший совет,— сказал он.— Эта железная дорога сделала из меня человека. Надеюсь, вам тоже повезло?

— Ну нет,— ответил бывший приказчик.— Сейчас в торговле затишье, и для человека, вроде меня, нет подходящего места.— Тут он показал Норрису свои рекомендации — от бакалейщика в Вуллумуллу, от владельца скобяной лавки и от хозяина бильярдной.

— Да,— объяснил он,— я хотел стать маркером. Но разочаровался: ночная работа губит здоровье. Нет уж, я ничьим рабом не буду! — заключил он.

Памятуя правило, что тот, кто слишком горд, чтобы быть рабом, обычно без смущения принимает доброхотные даяния, Картью протянул ему соверен, а сам, почувствовав острый голод, отправился по направлению к ресторану «Париж». Когда он добрался это этой части города, по улицам как раз расходились из суда адвокаты в париках и мантиях, и Картью, поправляя на плече узел, остановился, чтобы полюбоваться на них и вспомнить прошлое.

— Черт возьми,— раздался позади него голос,— да это мистер Картью!

Обернувшись, он увидел перед собой красивого загорелого, но, пожалуй, слишком полного юношу, одетого в щегольской костюм с бутоньеркой, которая стоила целый соверен. Это был Том Хэдден (весь Сидней называл его Томми), унаследовавший довольно большое состояние, но не имевший права им распоряжаться, так как его благоразумный отец назначил ему нескольких

опекунов. Норрис познакомился с ним в первые дни своего пребывания в Сиднее на его прощальном ужине и даже проводил Томми до кишевшей тараканами шхуны, на которой он должен был отправиться в шестимесячное плавание к островам Тихого океана. Дело в том, что ежегодного дохода мистеру Хэддену хватало на три месяца роскошной жизни в Сиднее, а остальные девять он вынужден был проводить в длительных вояжах.

Томми всего неделю назад вернулся в Сидней и уже успел обзавестись шестью новыми костюмами. Однако этот простодушный малый так радостно приветствовал одетого в рабочую блузу Картью, у которого за спиной болтался узелок, словно перед ним был герцог.

— Пойдемте выпьем вместе,— предложил он.

— По правде говоря, я собирался пообедать в «Париже»,— заметил Картью,— мне давно уже не приходилось есть как следует.

— Чудесный план! — воскликнул Хэдден.— Я позавтракал только полчаса назад, но мы возьмем отдельный кабинет, и я еще чего-нибудь погрызу. Вчера я здорово кутнул, а сегодня без конца встречаюсь с приятелями.

Вскоре они уже сидели за столиком в отдельном кабинете на втором этаже модного ресторана, отдавая должное искусству лучшего повара Сиднея.

Странное сходство их положения внушило им взаимную симпатию, и они принялись рассказывать друг другу о себе. Картью описал свои страдания в парке и работу на железной дороге. Хэдден поведал о том, как покупал копру в Южных Морях, юмористически обрисовав жизнь на коралловых островах. Насколько мог понять Картью, профессия землекопа была куда доходнее. Но, с другой стороны, груз шхуны Хэддена состоял в основном из пива и хереса для его личного потребления.

— У меня было и шампанское, но сначала я его хранил на случай болезни, а потом решил, что вряд ли заболею, и стал выпивать по бутылке каждое воскресенье. Спал все утро, потом завтракал с шампанским, ложился в гамак и читал «Средние века» Хэлема. Вы читали эту книгу? Я всегда беру с собой на острова что-нибудь солидное. По правде говоря, я не слишком стеснялся в расходах, но, если немножко экономить или если бы у меня нашелся компаньон, можно было бы

хорошо заработать. Я пользуюсь влиянием среди местных жителей. Я теперь считаюсь одним из вождей, и в хижине совета для меня отведено особое место. И моя партия очень сильна. Правда, мне приходится подкармливать моих сторонников консервированной лососиной, а это обходится дорого. Впрочем, при всяком удобном случае я стараюсь достать для них осьминога. Это их любимое блюдо, хотя я сам осьминогов не люблю. А вы как? То же самое и с акульим мясом. Я все пытаюсь им втолковать, что раз копра сейчас стоит дешево, они должны нести убытки наравне со мной. Я считаю своей святой обязанностью просвещать их, но вот политической экономии они никак не понимают

Тут Картью воспользовался случаем и задал вопрос, который давно вертелся у него на языке.

— Да, кстати, о политической экономии,— сказал он — Вы сказали, что если бы у вас был компаньон, то прибыль увеличилась бы. Каким это образом?

— Я сейчас вам докажу с помощью цифр! — воскликнул Хэдден и, вооружившись карандашом, стал творить чудеса на обороте меню.

Насколько я мог понять, Томми всегда носился со всевозможными проектами. Стоило ему услышать о какой-нибудь спекуляции, и он готов был исписывать цифрами целые страницы. Данные для своих расчетов он черпал из собственного воображения, полагаясь к тому же на довольно скверную память. Короче говоря, он казался карикатурой на Пинкертона. Если Джим был дельцом-романтиком, то Томми был дельцом-сказочником.

— Ну, и как по-вашему, во что это обойдется? — спросил он, например, о какой-то закупке.

— Не имею ни малейшего представления,— ответил Картью.

— Десяти фунтов хватит с избытком,— торжествующе заявил Томми.

— Ну, это чепуха,— сказал Картью,— не меньше пятидесяти.

— Да вы же сами мне только что сказали, что не имеете об этом ни малейшего представления! — возопил Томми.— Как я могу производить расчеты, когда вы говорите то одно, то другое? Будьте же серьезны.

Однако он согласился увеличить предполагаемую цифру до двадцати, но через несколько минут, когда выяснилось, что в подобном случае операция окажется убыточной, снова снизил ее уже до пяти фунтов, заявив:

— Я же говорил вам, что это чепуха. Уж если браться за дело, то браться как следует.

Хотя многое в рассуждениях Томми казалось Картью нелогичным и неясным, постепенно он увлекся. Перед его глазами вырастал великолепный дворец, правда, лишенный фундамента. Медведь еще гулял по лесу, но из шкуры его уже был изготовлен великолепный ковер. Картью через несколько дней получит в свое распоряжение полтораста фунтов. У Хеддена уже есть пятьсот. Так почему бы им не подобрать себе еще двух-трех компаньонов, не зафрахтовать какую-нибудь старую шхуну и не отправиться торговать на острова? Картью — опытный яхтсмен, а Хэдден, как он заявил, «умеет работать вполне прилично». Торговля в Южных Морях — дело, несомненно, выгодное, а то зачем бы столько шхун отправлялось туда из года в год? А раз у них будет собственная шхуна, значит, они получат еще большую прибыль.

— И, во всяком случае, своего мы не потеряем! — вскричал Хэдден.— Купите себе два-три костюма. С этого, конечно, надо начать. Потом возьмем извозчика и поедем в «Богатую невесту».

— Я обойдусь тем костюмом, который на мне,— сказал Норрис.

— Да неужто? — вскричал Хэдден.— Должен сказать, я вами восхищаюсь. Вы настоящий мудрец-философ.

— Просто мне надо экономить,— ответил Картью.— Если мы решили взяться за это дело, мне нужны будут все мои деньги, все до последнего гроша.

— Решили ли мы взяться за это дело? — просиял Томми.— Вот вы сами увидите. Только одно условие, Картью: контракты будем заключать на ваше имя. Ведь у меня есть капитал. А вам в случае неудачи терять все равно нечего.

— Но мне казалось, мы сейчас только установили, что это дело совсем безопасное,— заметил Картью.

— Ну, совсем безопасных дел не бывает,— ответил мудрый Томми.— Даже букмекеры и те разоряются.

Трактир с садом, носивший название «Богатая невеста», был куплен на деньги, которые его владелец, капитан Босток, накопил за время длинной, бурной и от-

части исторической карьеры среди островов. Всюду, от архипелага Тонго до островов Адмиралтейства, он знал всех влиятельных людей и умел врать на любом местном диалекте.

На его глазах сандаловое дерево и пальмовое масло уступили место копре, да и сам он стал пионером коммерции — первым торговцем, который привез человеческие зубы на острова Гилберта. Во времена сэра Артура Гордона его чуть было не приговорили к смерти на Фиджи, и если он имел привычку молиться, то, несомненно, не забывал поминать сэра Артура. На Новой Ирландии он был семь раз ранен копьями (его помощник был убит) во время знаменитой «резни на бриге «Веселый Роджер», однако коварные дикари ничего не добились своим предательством, и Босток заполучил на свой корабль семьдесят пять рабочих, из которых от ран и увечий скончалось не более десяти человек. Он также принимал участие в милой шутке, которая стоила жизни епископу Паттерсону,— когда самозваный епископ сходил на берег, молился и благословлял туземцев, Босток, наряженный в женскую ночную рубашку (среди их товаров были и рубашки), стоял справа от него и в нужную минуту басил «аминь!». В компании «надежных ребят» он больше всего любил рассказывать именно эту историю («двести рабочих за горстку аминей!»), а ее следствие — гибель настоящего епископа — казалось ему чрезвычайно смешным обстоятельством.

Все это Картью узнал, пока они ехали в извозчичьей карете.

— Зачем нам понадобилось ехать к этому старому негодяю? — спросил он в изумлении.

— Погодите судить, пока вы с ним не познакомитесь,— ответил Томми.— Этот человек знает всех и вся.

Когда они сошли с извозчика перед крыльцом «Богатой невесты», Хэдден вдруг с интересом уставился на своего возницу — коренастого, краснолицего, голубоглазого толстяка лет под сорок, который чем-то походил на моряка.

— Ваше лицо мне знакомо,— сказал он.— Я ездил с вами и прежде?

— Много раз, мистер Хэдден,— ответил извозчик.— Когда вы в прошлый раз вернулись с островов, я возил вас на ипподром.

— Вот и отлично! Слезайте с козел и пойдемте выпьем,— сказал Томми, направляясь к калитке, которая вела в сад при трактире.

Гостей встретил сам капитан Босток. Это был медлительный старик с кислым лицом и рыбьими глазами. Он небрежно поздоровался с Томми и (как они вскоре вспомнили) подмигнул извозчику, который подмигнул ему в ответ.

— Бутылку пива для извозчика на тот стол,— сказал Томми.— А вот на этот — что угодно, от виски до шампанского. И присоединяйтесь к нам. Разрешите познакомить вас с моим другом мистером Картью. Я пришел по делу, Билли. Я хочу посоветоваться с вами, как с другом. Я решил самостоятельно заняться торговлей на островах.

Несомненно, капитан был настоящим кладезем полезных сведений, но ему не удалось доказать это. Не успевал он открыть рот, как Хэдден обрушивался на него с возражениями и всяческими поправками. Он задавал вопрос необычайной длины, а едва капитан пытался ответить, тут же перебивал его, высмеивал его советы, а иногда разражался негодующими тирадами.

— Извините меня,— сказал он один раз,— я джентльмен, мистер Картью,— джентльмен, и мы не собираемся заниматься подобными делами. Разве вы не видите, с кем разговариваете? Так почему вы не скажете чего-нибудь дельного? Неужто вы не можете дать нам полезного указания, каким товаром лучше заниматься?

— Нет, не могу,— возразил капитан Босток.— Какие там указания, когда вы мне не даете говорить. Я торговал джином и ружьями.

— А, идите вы к черту со своим джином и ружьями! — вскричал Хэдден.— В ваше время это, конечно, было неплохо. Но теперь вы старик, и условия переменились. Вот я сейчас скажу вам, Билл Босток, чем выгодно заниматься теперь.— И он тараторил еще минут десять без передышки.

Картью не мог удержаться от улыбки. Он уже перестал относиться серьезно к их предприятию, так как Томми оказался малонадежным компаньоном. Но в то же время эта беседа ему очень нравилась, чего нельзя было сказать о капитане Бостоке.

— И чего вы только не знаете! — саркастически заметил старый капитан, когда Томми умолк, чтобы перевести дух.

— Уж во всяком случае побольше вас,— возразил Том.— Да и как может быть иначе? Вы не получили никакого образования. Вы всю жизнь торчали либо в море, либо на островах,— так какой же полезный совет вы можете дать человеку вроде меня?

— Ваше здоровье, Томми,— ответил Босток, поднимая свой стакан.— Из вас выйдет первоклассное жаркое на Новых Гебридах.

— Вот теперь вы говорите дело! — воскликнул Том, очевидно, не совсем уяснив сомнительную сущность этого комплимента.— Ну, слушайте внимательно. У нас есть деньги и предприимчивость. И я человек опытный. А нужна нам дешевая хорошая шхуна, хороший капитан и рекомендация какой-нибудь фирме, чтобы она открыла нам кредит.

— Вот что,— ответил капитан Босток.— Я видел, как людей вроде вас жарили и съедали, а потом отплевывались. Некоторые были жестковатыми, а некоторые — совсем безвкусными,— добавил он угрюмо.

— То есть что вы хотите этим сказать? — вскричал Том.

— А то, что не желаю с вами связываться,— ответил Босток,— мне это ни к чему. Ей-богу, мне жалко того людоеда, который сожрет ваши мозги! Рекомендую вам купить дешевый хороший гроб и нанять хорошего могильщика. А может, какая-нибудь фирма отпустит вам гроб в кредит. Посмотрите лучше на своего приятеля. У него вроде есть голова на плечах — он все время над вами смеется.

Весьма возможно, что мистер Босток говорил так не со зла и что все его замечания представлялись ему милыми шутками, но, как бы то ни было, Хэддену они пришлись не по вкусу. Он вскочил, и, вероятно, совещание пришло бы к концу, если бы в этот момент не раздался новый голос.

Извозчик все это время сидел к ним спиной, покуривая глиняную трубку и, очевидно, внимательно прислушиваясь к разглагольствованиям Томми, потому что он вдруг повернулся и произнес следующие странные слова:

— Извините меня, господа. Если вы купите шхуну, которая мне по вкусу, я раздобуду вам кредит.

Наступила долгая пауза.

— То есть как это? — еле выдохнул Томми.

— Ну-ка, Билли, скажи им, кто я такой,— обратился извозчик к капитану.

— А ты не боишься, Джо? — осведомился Босток.

— Ну, уж это мое дело,— возразил извозчик.

— Господа,— сказал Босток, торжественно поднимаясь на ноги.— Позвольте представить вам мистера Уикса, капитана «Милой Грейс».

— Да, господа, вот кто я такой,—сказал извозчик.— Вы знаете, что у меня были неприятности, и я не отрицаю, что нанес удар, да только где мне было взять свидетелей, что меня на это вынудили? Поэтому я сменил фамилию и стал извозчиком. И вот уже три года никто ни о чем не догадывается.

— Прошу прощения,— сказал Картью, чуть ли не в первый раз вступая в беседу,— я здесь человек новый. В чем вас обвиняли?

— В убийстве,— ответил капитан Уикс.— И я не отрицаю, что нанес удар, и не отрицаю, что боялся суда,—а то почему бы я был сейчас здесь? Он пробовал поднять мятеж. Вот вы Билли спросите, он знает, как все было.

Картью глубоко вздохнул. У него было странное, но приятное ощущение, что он все глубже погружается в поток жизни.

— Ну,— сказал он,— вы собирались предложить нам...

— Я собирался предложить вот что,— подхватил капитан.— Я слышал, что говорил мистер Хэдден. По-моему, он говорил дело. Некоторые его мысли мне очень понравились. Я думаю, мы с ним поладим. Кроме того, вы оба джентльмены, и мне это нравится. А потом, мне надоело возиться с лошадьми. Я хочу снова взяться за настоящую работу. Предлагаю я вам вот что: у меня есть кое-какие деньги, которые я могу вложить в дело,— фунтов сто. Кроме того, моя прежняя фирма даст мне кредит, да еще обрадуется. От меня они никогда убытков не терпели и знают, чего я стою как суперкарго. И, наконец, вам нужен хороший капитан, а я десять лет командовал шхунами. Спросите Билли, какой я капитан.

— Лучше не найти,— сказал Билли.

— Но послушайте,— вскричал Хэдден,— как вы все это устроите? Вы можете разъезжать на козлах, и никто вас ни о чем не спросит, но, если возьметесь командовать шхуной, вас тут же сцапают.

— Я постараюсь поменьше показываться на людях,— ответил Уикс,— и возьму другое имя.

— А как же судовые документы? Какое другое имя? — спросил Томми, совсем сбитый с толку.

— Пока еще не знаю,— ответил капитан ухмыляясь.— Посмотрю, какое имя будет в моем новом дипломе, то я и возьму. Ну, если мне не удастся купить диплом, чего, впрочем, никогда еще не бывало, то старик Керкап одолжит мне свой. Он сейчас уже не плавает, а завел себе ферму около Бонди.

— Мне казалось, что вы имеете в виду какую-то определенную шхуну,— сказал Картью.

— Так оно и есть,— ответил капитан Уикс.—Настоящая красавица. Шхуна «Мечта». В жизни не видел таких линий. А уж ход — просто обомлеешь! Как она меня обогнала около острова Четверга — делала по два узла на каждый мой один! А ведь «Милая Грейс» была кораблем, каким можно гордиться. Я просто волосы на себе рвал. И с тех пор «Мечта» стала моей мечтой. Тогда она была частной яхтой. Хозяином ее был Грант Сендерсон. Сумасшедший богач, который заболел в конце концов лихорадкой и умер. Капитан привез его тело в Сидней и уволился. Оказалось, что Грант Сендерсон оставил десятка два завещаний и десятка два вдовиц. Эти вдовицы подали друг на друга в суд, и, пока шло разбирательство, «Мечта» стояла на якоре у мыса Глиб и потихоньку гнила. Но теперь процесс закончился — судьи, наверное, в орлянку разыграли, какая вдова правильная,— и «Мечта» назначена к продаже. Ее можно купить по дешевке, потому что она долго стояла без дела и гнила.

— А какое у нее водоизмещение?

— Для нас в самый раз будет — сто девяносто, почти двести,— ответил капитан.— Нам втроем с ней не справиться. Придется взять здесь еще матроса, хоть и жаль тратить деньги. На островах туземцы служат чуть не даром. И еще нам будет нужен кок. С матросами-новичками я справлюсь, но нет ничего хуже пуститься в плавание с новичком-коком. У меня на примете есть один — гаваец, с которым я уже плавал. Зовут его Ама-

лу, стряпает — пальчики оближешь, а кроме того, всегда приятнее иметь дело с туземцами: командуй им как хочешь, а он даже и не знает, какие у него есть права.

С той секунды, когда в разговор вмешался капитан Уикс, Картью снова поверил, что их планы могут осуществиться. Какой бы проступок ни совершил этот человек в прошлом, он явно был добродушен и хорошо знал свое ремесло. Раз он одобрил их предприятие, вкладывал в него свои деньги, отдавал в их распоряжение весь свой опыт и обещал обеспечить им кредит, то Картью готов был продолжать начатое. Хэдден же был на седьмом небе. Они с Бостоком выпили шампанского и помирились. Тост следовал за тостом. Единодушно было решено после покупки переименовать шхуну в «Богатую невесту». И еще не совсем смерклось, как уже возникла новая «Компания островной торговли «Богатая невеста».

Три дня спустя Картью, все еще в рабочем костюме, отправился к нотариусу, получил свои полтораста фунтов и довольно робко попросил еще раз сделать ему снисхождение.

— У меня есть возможность,— сказал он,— заняться выгодным делом. Завтра к вечеру я, вероятно, стану собственником части корабля.

— Опасная собственность, мистер Картью,— заметил нотариус.

— Нет, если собственники сами будут плавать на ней и в случае крушения отправятся вместе с ней на дно,— был ответ.

— Пожалуй, вы действительно можете так кое-что заработать,— заметил нотариус.— Но разве вы моряк? Я думал, вы были на дипломатической службе.

— Я старый яхтсмен,— сказал Норрис,— и постараюсь еще чему-нибудь научиться. В Австралии на дипломатию не проживешь. Но я хотел предупредить вас вот о чем: в день следующей выплаты я не могу быть в Сиднее — мы отправляемся в шестимесячное плавание среди островов.

— Мне очень жаль, мистер Картью, но об этом не может быть и речи,— ответил нотариус.

— Но ведь в прошлый раз вы согласились,— сказал Картью.

— Тогда дело обстояло иначе,— возразил нотариус,— тогда я знал, что вы находитесь в Новом Южном Уэльсе, и все же я отступил от данных мне инструкций. На этот раз, по вашим собственным словам, вы собираетесь нарушить условие. Предупреждаю вас: если вы приведете свое намерение в исполнение и я получу тому доказательства (я считаю наш разговор конфиденциальным и выводов из него делать не буду), мне придется выполнить свой долг. Либо вы явитесь сюда в день выплаты, либо пособие вам будет прекращено.

— Это, по-моему, очень жестоко и довольно глупо,— заметил Картью.

— Я тут ни при чем, мне были даны определенные инструкции,— ответил нотариус.

— И вы так толкуете эти инструкции, что лишаете меня возможности честно зарабатывать на жизнь,— настаивал Картью.

— Будем откровенны,— сказал нотариус.— В данных мне инструкциях ничего не говорилось о том, как вы должны зарабатывать на жизнь. Насколько я могу судить, моим клиентам это совершенно безразлично. Насколько я могу судить, они хотят только одного: чтобы вы не покидали Нового Южного Уэльса. Из этого я делаю определенный вывод, мистер Картью... я делаю определенный вывод.

— Не понимаю,— пожал плечами Норрис.

— Я хочу сказать только, что, по моему мнению, основанному на веских фактах, ваши родные не желают больше вас видеть,— объяснил нотариус.— Весьма вероятно, что это очень несправедливо, но такое у меня создалось впечатление. За это, насколько я понимаю, мне и платят. И у меня нет иного выбора. Я обязан выполнить свой долг.

— Не хочу вас обманывать,— сказал Норрис, густо краснея,— ваша догадка совершенно правильна. Мои родные не желают меня больше видеть. Но ведь я еду не в Англию, я еду на острова Тихого океана.

— Да, но ведь я не знаю, куда вы едете,— возразил нотариус, не поднимая глаз и втыкая карандаш в промокашку.

— Прошу прощения, мне кажется, я имел удовольствие сообщить вам об этом.

— Боюсь, мистер Картью, что я не могу принять ваше сообщение к сведению,— последовал медленный ответ.

— Я не привык, чтобы в моем слове сомневались! — вскричал Норрис.

— Тише, тише, я не разрешаю повышать голос в моей конторе,— сказал нотариус,— но, если вы заговорили об этом,— а вы, кажется, неглупый молодой человек— подумайте, что мне о вас известно? Ваши родные отреклись от вас и платят деньги, чтобы держать вас подальше от себя. Что вы сделали? Не знаю. Но разве вы не понимаете, как глуп я был бы, если бы поставил свою репутацию в зависимость от слова джентльмена, о котором мне известно только то, что мне известно о вас? Наш разговор очень неприятен. Зачем же его затягивать? Напишите домой, добейтесь того, чтобы мне дали другие инструкции, и я буду поступать по-другому. Но только на этом условии.

— Мне очень пригодились бы триста фунтов в год,— сказал Норрис,— но я не могу платить требуемую цену. Боюсь, я больше не буду иметь удовольствия видеться с вами.

— Как угодно,—сказал нотариус.— Если в следующий день выплаты вас здесь не будет, вы больше ничего не получите. И я хочу вас предостеречь — из самых лучших побуждений,— что через шесть месяцев вы явитесь сюда просить о помощи, а я обязан буду указать вам на дверь.

— Всего хорошего,— сказал Норрис.

— Желаю вам того же, мистер Картью,— отозвался нотариус и, позвонив клерку, попросил его проводить молодого человека.

Вот почему Норрис до отплытия больше не виделся с нотариусом. Все это время он был поглощен деловыми хлопотами, и шхуна уже вышла в открытое море, когда Хэдден подошел к нему и показал объявление в газете, над которой дремал в тени камбуза.

«Мистера Норриса Картью,— гласило объявление,— просят незамедлительно зайти в контору мистера... где его ожидает важное известие».

— Этому известию придется подождать еще шесть месяцев,— сказал Норрис с притворным равнодушием. На самом же деле ему очень хотелось узнать, в чем здесь дело.

ГЛАВА XXIII
ПЛАВАНИЕ «БОГАТОЙ НЕВЕСТЫ»

Утром 26 ноября из Сиднейского порта вышла шхуна «Богатая невеста». Ее собственник Норрис Картью находился на борту в качестве помощника капитана, имя которого официально было Уильям Керкап. Коком был гаваец Джозеф Амалу. Команду составляли два матроса — Томас Хэдден и Ричард Хемстед (последний был взят на корабль отчасти из-за своего покладистого характера, а отчасти из-за того, что он обладал некоторыми познаниями в плотницком деле).

«Богатая невеста» шла к островам Южных Морей — сперва на остров Бутаритари в группе Гилберта. Однако в порту считали, что ее владелец путешествует ради удовольствия. Какой-нибудь приятель покойного Гранта Сендерсона узнал бы в этой шхуне преображенную «Мечту», утратившую теперь свое прежнее название. А агент Ллойда, будь он приглашен для ее осмотра, нашел бы много поводов для критических замечаний.

За три года бездействия «Мечта» сильно пострадала и поэтому была продана за гроши, но у трех ее новых хозяев не хватало денег на основательный ремонт. Правда, часть снастей была заменена новыми, а остальные починены. Используя все запасы, штопая и сшивая, шхуну удалось обеспечить достаточным количеством парусов. Старые мачты еще продолжали держаться, хотя сами, вероятно, немало этому дивились.

— У меня не хватает духу проверить их,— не раз замечал капитан Уикс, измеряя взглядом мачты или поглаживая их основания.

И «гнилой, как наш фок» стало любимой поговоркой команды.

Дальнейшие события показали, что шхуна была, вероятно, крепче, чем можно было подумать на первый взгляд, но тогда никто этого не знал наверное, так же как никто, за исключением капитана, не имел ясного представления об опасностях предстоящего плавания. Но капитан отдавал себе в них полный отчет и не скрывал своего мнения. И, хотя он был человек удивительной храбрости и не привык отступать перед опасностями, он потребовал, чтобы на шхуну был взят вельбот.

— Выбирайте,— сказал он,— либо новый рангоут, либо вельбот. А так я отказываюсь выйти в море.

Его компаньоны были вынуждены согласиться, после чего их маленький капитал разом уменьшился на тридцать шесть фунтов.

Все четверо трудились не покладая рук почти полтора месяца. О капитане Уиксе, разумеется, не было ни слуху ни духу, но им помогал какой-то человек с густой рыжей бородой, которую, спускаясь в трюм, он обычно снимал. Голосом и характером он удивительно напоминал капитана Уикса.

Что касается капитана Керкапа, он явился на шхуну в самую последнюю минуту и оказался мужественным морским волком с огромной седой бородой. Пока шхуна выходила из гавани, все зеваки на берегу могли любоваться, как эта белоснежная борода развевается по ветру. Но, едва «Богатая невеста» прошла последний маяк, капитан спустился к себе в каюту и через пять секунд уже вышел на палубу чисто выбритым. Вот какое количество хитроумных приемов и обманов понадобилось для того, чтобы в море мог выйти ветхий корабль под командой капитана, которого разыскивало правосудие. Возможно, даже эти уловки не помогли бы, если бы не репутация Хэддена: на это плавание смотрели снисходительно, как на очередную эксцентричную затею Томми. А кроме того, прежде шхуна была яхтой, и к ней по-прежнему относились как к яхте, которой положено пускаться в рискованные предприятия.

Странный вид имела эта шхуна: высокие мачты были обезображены залатанными парусами, обшитая красным деревом каюта превращена в склад, и вдоль всех ее стен тянулись грубо сколоченные полки. И жизнь, которую они вели на этом странном корабле, была не менее странной. Один Амалу помещался в кубрике, остальные расположились в каютах, спали на атласных диванах и усаживались в курительном салоне за скудную трапезу, состоящую из скверной солонины и не менее скверного картофеля. Хемстед ворчал. Томми иногда не выдерживал и разнообразил меню банкой наугад вскрытых консервов или бутылкой своего хереса. Однако Хемстед ворчал по привычке, Томми возмущался лишь на несколько минут, и за всем этим скрывалась общая готовность безропотно мириться с такого рода трудностями.

Ведь, кроме лука и картофеля, на «Богатой невесте» почти не было собственных запасов продовольствия. В ее трюме хранились полученные в кредит товары стоимостью в две тысячи фунтов — вся надежда ее команды, и, когда они ели что-нибудь, кроме картошки с луком, они поедали свою будущую прибыль.

Хотя на шхуне не соблюдалось никакой субординации, на отсутствие дисциплины пожаловаться было нельзя. Уикс был единственным моряком на борту и поэтому пользовался большим авторитетом, а кроме того, он оказался таким добродушным и веселым человеком, что его слушались просто из симпатии. Картью старался изо всех сил, отчасти потому, что ему нравились его обязанности, отчасти потому, что ему нравился его капитан. Амалу был трудолюбив и исполнителен, и даже Хемстед и Хэдден работали с охотой. Томми заведовал складом и целыми днями возился в трюме или в бывшей кают-компании, и, когда он появлялся на палубе, никто уже не мог бы узнать в нем сиднейского щеголя. Кончив работу, он зачерпывал ведро морской воды, переодевался и устраивался на палубе с большой кипой сиднейского «Геральда» или с томом «Истории цивилизации» Бокля — научным трудом, выбранным для этого плавания. Заметив, что он берет Бокля, его товарищи обменивались веселыми улыбками, ибо Бокль неизменно усыплял Тома, а когда он просыпался, его почти всегда охватывало желание выпить хересу. Эта зависимость была настолько четкой, что «стаканчик Бокля» или «бутылка цивилизации» стали ходячими выражениями на борту «Богатой невесты».

Хемстед производил необходимые починки, и дела у него хватало. На шхуне буквально не было живого места: лампы текли, обшивка текла; дверные ручки оставались в руках, панели отставали от стен, помпа не откачивала воду, а испорченная ванна в каюте чуть было не затопила весь корабль.

Уикс утверждал, что от гвоздей давно ничего не осталось и шхуна держится только на ржавчине. «Не смеши меня так, Томми,— любил он повторять,— а то как бы от моего хохота ахтерштевень не переломился!». И, когда Хемстед бродил по шхуне со своими инструментами, что-то подправляя, что-то подштопывая, Уикс непременно начинал над ним подшучивать: «Если бы ты занимался каким-нибудь полезным делом, я бы мог это

понять, но какой толк чинить снаружи, когда внутри все равно одна гниль?». И, несомненно, эти постоянные шутки успокаивали новоявленных моряков, которые невозмутимо занимались своими делами в обстоятельствах, напугавших бы даже адмирала Нельсона.

Погода с самого начала была великолепная, а ветер ровный и постоянный. Шхуна летела как на крыльях. «Наша «Богатая невеста» совсем старуха, а болезней у нее столько, что и подумать страшно,— говорил капитан, берясь за карту, на которой он откладывал пройденный путь,— но она уйдет от любой другой шхуны в этой части Тихого океана».

Они мыли палубы, сменяли друг друга у штурвала, выполняли остальные свои обязанности, а по вечерам, особенно если Томми решал достать «бутылку цивилизации», болтали и пели. Амалу прекрасно исполнял гавайские песни, а Хемстед недурно играл на банджо, напевая приятным дрожащим тенорком австралийские песни.

Я знаю, чем кончилось это плавание, и, наверное, поэтому, когда я думаю о нем, меня охватывает чувство глубокой жалости и ощущение таинственности. Построенная для удовлетворения прихоти богатого негодяя шхуна, где жалкие остатки былой роскоши странно сочетались с ее новым назначением, летящая по просторам океана в сменяющейся красоте восходов и закатов; ее команда, так странно подобранная, предпочитающая шутки и остроты серьезному разговору; Бокль Хэддена — единственная книга на борту, которую некому было читать и тем более понимать, а единственный признак каких-то духовных интересов — кисти и карандаш Картью, с помощью которых он коротал свободные часы... и все это время они мчались навстречу страшной трагедии.

Через двадцать восемь дней после выхода из Сиднея, в канун рождества, они подошли к острову Бутаритари и всю ночь крейсировали у входа в лагуну, определяя свое положение по рыбачьим кострам на рифе и силуэтам пальм на фоне затянутого облаками неба. Когда рассвело, они подняли было сигнал, требуя лоцмана, но, очевидно, рыбаки ночью заметили их огни, потому что к ним уже приближалась лодка. Она пронеслась по лагуне, кренясь при особенно сильных порывах ветра

так, что, казалось, должна была вот-вот опрокинуться, с блеском сделала поворот оверштаг, остановилась у самого их борта, и к ним на палубу поднялся изможденного вида человек в пижаме.

— Доброе утро, капитан! — сказал он.— Я было принял вас за крейсер — такие у вас высокие мачты и чистые палубы! Поздравляю вас и вашу команду с рождеством и желаю вам счастливого Нового года! — С этими словами он покачнулся и устоял на ногах только потому, что успел уцепиться за ванты.

— Да какой же вы лоцман! — воскликнул Уикс, меряя его неприязненным взглядом.— Ни за что не поверю, что вы проводили корабли через этот проход!

— А вот проводил,— возразил лоцман,— я капитан Доббс, и, когда я становлюсь к штурвалу, шкипер может отправляться в свою каюту и бриться.

— Но вы же пьяны! — воскликнул Уикс.

— Пьян? — повторил Доббс.— Мало же вы на своем веку повидали, если называете меня пьяным. Я еще только начал. Будь сейчас вечер, я бы ничего не сказал. Вечером я, точно, бываю под мухой, но пока трезвее меня не найдешь человека во всем этом океане.

— Ничего не выйдет,— сказал Уикс,— я не могу доверить вам свою шхуну.

— Ну и ладно,— ответил Доббс,— оставайтесь, где находитесь. А то попробуйте провести ее через проход сами, как капитан «Лесли». Пожалел заплатить мне двадцать долларов и утопил товару на двадцать тысяч вместе с новенькой шхуной: распорол ей все днище, так что она затонула в четыре минуты и лежит теперь на глубине в двадцать саженей со всем своим грузом.

— С каким еще грузом? — воскликнул Уикс.— И что это за «Лесли»?

— Шхуна Коуэна и Компания, из Фриско,— объяснил лоцман.— А ждали ее здесь — не могли дождаться. У нас там гамбургский барк грузится, вон его мачты, и еще два корабля должны прийти из Германии — один через месяц, а другой через три, и мистер Топлес, агент Коуэна и Компания, из-за всего этого свалился с желтухой. Да и то сказать — товаров нет, копру, того и гляди, перехватят, а ему надо подготовить ее тысячу двести тонн. Если у вас есть копра, капитан, можете сделать хорошее дело. Топлес заплатит наличными по

самой высокой цене. Вот что бывает, когда отказываются от лоцмана.

— Погодите минутку, капитан Доббс, мне надо поговорить со своим помощником,— сказал капитан, и глаза его заблестели.

— Сколько угодно,— ответил лоцман,— только угостили бы вы меня стаканчиком для поднятия бодрости. Всегда следует проявлять гостеприимство, а то у вашей шхуны будет скверная репутация.

— Поговорим об этом на досуге,— ответил Уикс и, отведя Картью в сторону, прошептал: — Тут дело пахнет большими деньгами. Мы можем двадцать лет проплавать, прежде чем нам выпадет второй такой случай. А вдруг сюда сегодня вечером придет еще один корабль и перебьет сделку? Все ведь возможно. Но, с другой стороны, можно ли довериться Доббсу? Он пьян как сапожник, а мы ведь даже не застрахованы.

— Ну, скажем, вы подниметесь с ним на мачту, и пусть он указывает фарватер,— предложил Картью.— Если он не будет слишком уклоняться от карты и не свалится в море, пожалуй, стоит рискнуть.

— В таких делах без риска не обойдешься,— ответил капитан.— Становитесь сами за штурвал и держите ухо востро. Если будут два разных распоряжения, слушайтесь меня, а не его. Кока пошлите на фок, а остальных двоих — на грот. И скажите, чтобы они не зевали.

Подозвав лоцмана, он поднялся с ним на рею, и вскоре послышалась желанная команда:

— Паруса спускать! Бросай якорь!

Таким образом, первый рейс «Богатой невесты» оказался необыкновенно удачным. Она доставила товаров на две тысячи фунтов именно туда, где они были нужнее всего, и капитан Уикс (вернее, капитан Керкап) доказал, что он умеет извлечь все выгоды из положения.

Почти два дня он сидел у Топлеса на веранде, почти два дня его компаньоны следили за ним из соседнего кабака, и еще не сгустились сумерки второго дня, как враг сдался. Уикс ввалился в «Сан-Суси» (так именовался кабак), лицо у него совсем почернело, налитые кровью глаза почти заплыли, но в них горел веселый огонек.

— Пошли ребята,— сказал он и, когда они углубились в пальмовую рощу, добавил голосом, который

трудно было узнать: — У меня на руках все двадцать четыре очка (очевидно, намекая на почтенную игру в криббедж).

— Это вы о чем? — спросил Томми.

— Я продал наш груз,— ответил Уикс.— Вернее, часть его, потому что я оставил нам всю консервированную говядину, а также половину муки и сухарей. Теперь у нас хватит запасов еще на четыре месяца.

— Ого! — воскликнул Хемстед.

— За сколько вы его продали? — еле выговорил Картью, заражаясь волнением капитана.

— Дайте мне рассказать по порядку! — воскликнул Уикс, расстегивая ворот рубашки.— Если я выложу все сразу, меня удар хватит. Я ж не только продал, а еще зафрахтовался сходить во Фриско и обратно. На собственных моих условиях! Я сперва ему наврал, что мне нужна копра. Я ведь знал, что это ему придется не по нутру. И чуть он начинал спорить, я опять заговаривал о копре, и он поджимал хвост... Так что мы все получили наличными, если не считать двух небольших чеков на Фриско. На чем мы покончили? Так вот, нам это плавание, включая две тысячи кредита, обошлось пока в две тысячи семьсот с лишком. Мы все это уже вернули. За тридцать дней плавания мы успели оплатить шхуну и груз! Неплохо, а? Но это не все. Мы можем поделить между собой тысячу триста фунтов чистой прибыли. Я нагрел его на четыре тысячи!

Несколько мгновений его компаньоны тупо глядели на капитана, испытывая только недоверчивое изумление. Первым понял, что произошло, Томми.

— Эй, вы,— сказал он жестким, деловым тоном,— пошли назад в «Сан-Суси», я должен напиться.

— Мальчики, я с вами не пойду,— серьезно ответил капитан,— мне сейчас пить нельзя. Если я выпью хоть одну кружку пива, боюсь, меня удар хватит. Я и так еле на ногах держусь.

— Ну, так троекратное «ура» в честь нашего капитана! — предложил Томми.

Однако Уикс предостерегающе поднял трясущуюся руку.

— Не надо, мальчики,— сказал он,— пожалейте Топлеса: если я в таком состоянии, то с ним-то сейчас что делается! Если он услышит, как мы здесь кричим, то может ноги протянуть.

Однако Топлес отнесся к своему поражению по-хорошему, зато матросы с потерпевшего крушение «Лесли» приняли все случившееся близко к сердцу. При встрече с членами команды «Богатой невесты» они зло на них поглядывали и выкрикивали ругательства. Раза два дело чуть было не дошло до драки.

Однако такие пустяки не могли уменьшить радость компаньонов от удачной сделки. Пять дней шхуна стояла в лагуне, пока туземные работники Топлеса разгружали ее и подвозили балласт. Кроме Томми и капитана, все были совершенно свободны, и время шло, как приятный сон. Вечерами они обсуждали свою удачу, а днем бродили по узкому острову, любуясь видами.

Первого января «Богатая невеста» подняла якорь и взяла курс на Сан-Франциско. Погода обещала быть все такой же хорошей. Благодаря попутному ветру ход шхуны превзошел самые смелые ожидания, а команда была тем более счастлива, что бремя и без того небольшой работы еще уменьшилось с появлением нового члена экипажа — боцмана с «Лесли». Он поссорился со своим капитаном, успел растратить жалованье в кабаках Бутаритари и, решив, что пора сменить обстановку, предложил свои услуги капитану «Богатой невесты». Это был уроженец северной Ирландии, человек грубоватый, громогласный, не лишенный чувства юмора, очень темпераментный и к тому же отличный моряк. Однако его настроение сильно отличалось от настроения его новых товарищей. Они заключили выгодную сделку, а он потерял место; кроме того, ему очень не нравилась провизия, а состояние шхуны приводило его в ужас. В первый день плавания заело дверь одной из кают, и Мак (как они его называли), нажав на нее плечом, к своему удивлению, сорвал ее с петель.

— Господи,— сказал он,— шхуна-то совсем гнилая!

— Что правда, то правда,— отозвался капитан Уикс.

На следующий день Уикс заметил, что новый матрос стоит, задрав голову.

— Не советую глядеть на мачты,— сказал капитан,— а то недолго хлопнуться без чувств и свалиться за борт.

Мак повернулся к капитану и бросил на него растерянный взгляд.

— Да вон там фок совсем прогнил. Если стукнуть как следует кулаком, то насквозь пройдет.

— Может быть, если стукнуть лбом, так и вся голова пролезет,— сказал Уикс.— Но какой смысл смотреть на то, чего нельзя исправить?

— И зачем меня только понесло сюда?..— задумчиво протянул Мак.

— Ну, ведь я никогда не говорил, что шхуна у нас крепкая,— ответил капитан,— я говорил только, что она кого хочешь обгонит. А кроме того, может, это место и не очень гнилое? Ну-ка, брось лот, это тебя утешит.

— Да, такого капитана, как вы, поискать,— заметил Мак.

И с этих пор он больше ничего не говорил о состоянии шхуны, за исключением тех случаев, когда Томми решал распить еще одну бутылку.

— За торговлю старьем! — говорил Мак, поднимая свой стакан.

Он часто упоминал о своей вспыльчивости. «Я человек вспыльчивый»,— говорил он не без гордости.

Однако проявилась эта вспыльчивость только один раз. Он вдруг набросился на Хемстеда, свалил его с ног ударом кулака, потом поднял его на ноги и еще раз ударил, прежде чем кто-нибудь успел вмешаться.

— А ну, брось его! — рявкнул Уикс, вскакивая на ноги.— Я драк не потерплю!

Мак вежливо повернулся к капитану.

— Я просто хотел научить его хорошему тону,— объяснил он.— Он обозвал меня ирландцем.

— Ах, так? — сказал Уикс.— Ну, тогда дело другое. А ты, дурак, думай, что говоришь! У тебя не хватает силенок, чтобы так обзывать человека.

— Я его не обзывал,— огрызнулся Хемстед, брызгая слюной и кровью,— только сказал, что он ирландец.

— Хватит об этом! — отрезал Уикс.

— Но ведь вы же ирландец? — спросил Картью у Мака несколько минут спустя.

— Ну и что же? — ответил тот.— Только я никому не позволю себя так обзывать. Да вот вы, например,— щеголь-чистоплюй. Разве нет? А попробуй я назови вас так — вы разделаетесь со мной по-свойски.

Двадцать восьмого января, когда шхуна находилась на 27° 20′ северной широты и 177° западной долготы, неожиданно с запада задул несильный, но порывистый ветер с дождем. Капитан, обрадованный возможностью идти прямо по ветру, поставил все паруса. У штурвала

стоял Томми, и, так как до смены оставалось полчаса (было половина восьмого утра), капитан решил, что сменять его не стоит.

Удары ветра были сильными, но слишком короткими, чтобы их можно было назвать шквалами. Кораблю не грозила никакая опасность, и даже за сомнительные мачты беспокоиться не приходилось. Вся команда была на палубе, ожидая завтрака. Над камбузом вился дымок, приятно пахло кофе, и у всех было хорошее настроение, потому что шхуна неслась прямо на восток со скоростью в девять узлов. И тут гнилой парус фок-мачты неожиданно лопнул вдоль и поперек. Могло показаться, что гневный архангел мечом начертал на нем изображение креста. Матросы кинулись к вантам, чтобы закрепить бьющиеся обрывки паруса, но этот внезапный шум и тревога заставили Томми Хэддена потерять голову. С тех пор он много раз объяснял, как это случилось, но о его объяснениях достаточно сказать, что все они были не похожи друг на друга и ни одно нельзя счесть удовлетворительным. Как бы то ни было, гик перелетел с одного борта на другой, оборвал ванты, переломил грот-мачту примерно в трех футах над палубой и сбросил ее за борт.

Почти минуту подгнившая фок-мачта мужественно сопротивлялась напору ветра, а затем тоже полетела за борт, и, когда матросы очистили палубу, оказалось, что от всего рангоута и такелажа, благодаря которым они так весело неслись по волнам, остались два торчащих обломка.

Лишиться мачт в этих пустынных просторах, где редко ходят корабли,— значит почти наверняка погибнуть. Уж лучше кораблю сразу перевернуться и пойти ко дну — по крайней мере мучения команды будут недолгими. Но что может быть страшнее бесконечных месяцев, когда люди, прикованные к беспомощному корпусу, тщетно всматриваются в пустынный горизонт и считают шаги невидимой смерти! Единственная надежда — шлюпки. Но какая это слабая надежда!

«Богатая невеста» осталась без мачт и парусов в тысяче миль от ближайшей суши — Гавайских островов. И людей, решивших добираться туда на шлюпке, ожидали всяческие невзгоды, а быть может, смерть или потеря рассудка...

Завтракать село очень унылое общество. Но капитан поспешил подбодрить всех улыбкой.

— Ну, вот что, ребята,— сказал он, допивая кружку горячего кофе.— На «Богатую невесту» нам больше рассчитывать нечего. Хорошо одно: мы успели выжать из нее все, что могли, и выжали немало. Теперь, если мы снова решим заняться торговлей, то сможем приискать хорошее суденышко. И еще одно: у нас есть прекрасный крепкий вельбот, и вы знаете, кому вы этим обязаны. Нам надо спасти шесть человек и неплохие деньжата. Вопрос в том, куда нам направиться.

— До Гаваев не меньше двух тысяч миль, по-моему,— заметил Мак.

— Пожалуй, будет поменьше,— возразил капитан.— Хотя... тоже немало — тысяча с лишком.

— Я знавал человека, который однажды проплыл полторы тысячи миль в шлюпке и был этим сыт по горло. Он добрался до Маркизских островов и с тех пор отказывался взойти на корабль или в лодку,— говорил, что скорее застрелится.

— Бывает,— отозвался Уикс.— Я слышал, как одна шлюпка доплыла до Гавайских островов примерно с того же места, где мы сейчас находимся. Когда они завидели сушу, то словно все с ума посходили. Там как раз рифы и такой прибой, что никакая шлюпка пройти не может. И канаки им кричали со своих рыбачьих лодок, что там не пройти, а они знай себе правят к берегу, в самую-то эту кашу. Ну, и все утонули, кроме одного. Нет уж, господь избавь от плавания на шлюпках! — угрюмо закончил капитан.

Этот тон был так не похож на его обычную бодрость, что Картью сказал:

— Знаете, капитан, вы что-то другое задумали. Ну-ка, выкладывайте.

— И то правда,— признался Уикс.— Понимаете, здесь повсюду разбросаны маленькие коралловые острова, вроде как оспины на карте. Ну, так я подчитал о них в справочнике, и вот что оказывается: мы сейчас в сорока милях от острова Мидуэй, или по-другому он называется «Брукс». А там расположена угольная станция Тихоокеанской почтовой компании.

— Ничего там такого нет,— сказал Мак.— Я ведь служил на почтовых пароходах.

— Ну ладно,— ответил Уикс,— вот тебе справочник. Прочти-ка, что говорит Хойт. Вслух читай, чтобы все слышали.

Как известно читателю, ложные сведения, приводимые Хойтом, звучали очень убедительно. Всякое недоверие рассеялось, и сердца команды преисполнились надежды. Все уже мысленно видели, как их вельбот подходит к красивому островку, где виднеется пристань, угольные склады, сады и белый домик смотрителя, над которым развевается американский флаг. Там они проведут несколько спокойных недель, а потом отправятся на родину на почтовом пароходе, романтично избежав гибели в морских волнах и в то же время сохранив все свои деньги, так что домой они поплывут в каютах первого класса. Завтрак, начавшийся столь уныло, закончился почти весело, и все немедленно принялись готовить вельбот.

Тали были снесены за борт вместе с мачтами, и спустить вельбот на воду оказалось делом нелегким. Сперва в него были сложены необходимые припасы, в частности деньги в металлическом сундучке, который был крепко привязан к задней скамье на случай, если вельбот перевернется. Затем они спилили кусок фальшборта до самой палубы, прикрепили вельбот к обломкам мачт и благополучно спустили его на воду. Чтобы оказаться в надежном убежище, предстояло проплыть сорок миль. Для этого не требовалось большого количества припасов и воды, но и того и другого они взяли в избытке. Амалу и Мак, старые моряки, захватили свои сундучки, в которых хранилось все нажитое ими имущество. Кроме того, в вельбот было спущено еще два сундучка с одеялами и плащами для остальных. Хэдден под взрыв рукоплесканий спустил туда последний ящик хереса, капитан взял корабельный журнал, инструменты и хронометр, а Хемстед не забыл захватить банджо и узелок с раковинами из Бутаритари.

Они отчалили примерно в три часа дня и, поскольку ветер все еще дул с запада, взялись за весла.

— Ну, мы тебя хорошо выпотрошили,— сказал капитан, кивая на прощание останкам «Богатой невесты», которые вскоре исчезли в синей дымке моря.

К вечеру пошел проливной дождь, и команде пришлось есть и спать под ревущими потоками воды.

Однако на другой день задул хороший, ровный пассат. Они поставили парус и в четыре часа уже подошли к внешней стороне рифа острова Мидуэй. Капитан стоял на носу и, держась за мачту, внимательно рассматривал остров в бинокль.

— Ну и где же ваша станция? — воскликнул Мак.

— Что-то я ее не вижу,— отозвался капитан.

— И не увидите,— отрезал Мак голосом, в котором торжество смешивалось с отчаянием.

Скоро ни у кого не осталось сомнений: в лагуне не было ни буев, ни маяков, ни сигнальных огней, ни угольных складов, ни домика смотрителя. На маленьком островке, к которому они пристали, единственными следами человека были обломки разбитых кораблей, а единственным звуком — неумолчный гул прибоя. Не было даже морских птиц, с которыми пришлось воевать команде «Норы Крейн»,— в это время года они носились над просторами океана, и только валявшиеся повсюду перья и скорлупа высиженных яиц говорили о том, что они здесь гнездятся.

Так вот ради чего они всю ночь не разгибаясь работали тяжелыми веслами, с каждым часом удаляясь от пути, который мог привести к спасению! Даже лишенная мачт шхуна была все-таки созданием человеческих рук, каким-то кусочком дома, а островок, на который они ее променяли, оказался бесплодной пустыней, где их ждала медленная голодная смерть. Весь день до сумерек они пролежали на песке, не разговаривая, даже забыв о еде,— лживая книга завлекла их в ловушку, лишила богатства и смысла жизни.

После первой катастрофы все были настолько великодушны, что ее виновнику, Хэддену, не пришлось выслушать ни одного упрека. Новый удар перенести оказалось труднее, и на капитана было брошено много злобных и сердитых взглядов.

Однако именно он пробудил их от этой апатии. Они угрюмо подчинились его команде, вытащили вельбот повыше на берег, куда не доставал прилив, и пошли вслед за капитаном на самую высокую точку жалкого островка, откуда был виден весь горизонт; небо на востоке было уже совсем черным, но на западе еще багровел последний отблеск заката.

Тут они из весел и паруса соорудили себе палатку, и Амалу, не дожидаясь распоряжений, развел костер и

приготовил ужин. Прежде чем он был готов, наступила ночь, и над их головами засверкали звезды и серебристый серп молодого месяца. Вокруг них простиралось холодное море, блики от огня ложились на их лица. Томми достал бутылку хереса, но прошло еще много времени, прежде чем завязался разговор.

— Так, значит, мы все-таки будем добираться до Гаваев? — неожиданно спросил Мак.

— С меня хватит,— заметил Томми,— давайте останемся тут.

— Я вам одно могу сказать,— продолжал Мак,— когда я служил на почтовом пароходе, мы как-то раз заходили на этот остров. Он лежит на пути кораблей, идущих из Китая в Гонолулу.

— Да неужто? — воскликнул Картью.— Значит, вопрос решен. Останемся на острове и будем жечь костер, благо обломков здесь много.

— Разве это поможет? — возразил Хемстед.— Такой костер издали не увидишь.

— Ну нет,— заметил Картью,— оглянитесь-ка.

Они послушались и увидели простиравшееся в ночном сумраке бесконечное водное пространство и звезды над головой. Людей охватило чувство бесконечного одиночества. Им начало казаться, что они видны из Китая с одной стороны и из Калифорнии — с другой.

— Вот жуть! — прошептал Хемстед.

— Ну все лучше, чем вельбот,— сказал Хэдден.— Я вельботом сыт по горло.

— А я просто подумать не могу о наших деньгах! — вдруг заговорил капитан.— Такое богатство — четыре тысячи фунтов — и досталось нам без всякого труда, а толку от него, как от прошлогоднего снега.

— Знаете что? — перебил Томми.— Надо бы перенести их сюда. Мне не нравится, что они так далеко от нас.

— Да кто их возьмет? — воскликнул Мак, холодно усмехнувшись.

Но компаньоны придерживались другого мнения и, отправившись к вельботу, скоро вернулись с драгоценным сундучком, подвешенным к двум веслам, и поставили его у костра.

— Вот он, красавчик мой! — воскликнул Уикс, наклоняя голову и устремляя на сундучок восторженный взгляд.— Это лучше всякого костра. В нем почти две

тысячи фунтов банкнотами, чуть ли не сорок фунтов чеканного золота и впятеро больше серебра. Да ведь к нам сюда скоро явится целый флот. Или, по-вашему, золото не окажет влияния на компас? Или, по-вашему, дозорный просто не учует его?

Мак, не имевший никакого отношения ни к банкнотам, ни к золоту, ни к серебру, нетерпеливо выслушал эту речь до конца и зло засмеялся.

— Погодите,— сказал он грубо.— Прежде чем нас заметит какой-нибудь корабль, вам еще придется бросить эти банкноты в огонь, когда кончится другое топливо! — С этими словами он отошел от костра и, повернувшись спиной к остальным, стал смотреть на море.

Компаньоны, настроение которых немножко улучшилось после обеда и возни с сундучком, теперь опять помрачнели. Воцарилось тяжелое молчание, и Хемстед, как обычно по вечерам, начал тихонько наигрывать на банджо сентиментальную песенку.

— «Будь он самый-самый скромный, лучше дома места нет...» — пел он.

Последняя нота еще не успела замереть у него на губах, как вдруг инструмент был вырван из его рук и брошен в костер. Вскрикнув, он повернулся и увидел перед собой искаженное яростью лицо Мака.

— Этого я не потерплю! — крикнул капитан, вскакивая на ноги.

— Я же вам говорил, что я человек вспыльчивый,— сказал Мак виноватым тоном, который как-то не вязался с его характером,— так почему он с этим не считается? Нам ведь и без того не сладко приходится!

Ко всеобщему изумлению и смущению, он вдруг всхлипнул.

— Я сам себе противен,— сказал затем Мак, немного успокоившись,— и прошу у вас всех прощения за мою вспыльчивость, а особенно у коротышки. И вот ему моя рука, если он согласится ее пожать.

После этой сцены, где ярость так странно сочеталась с сентиментальностью, у всех осталось странное и неприятное ощущение. Правда, все скорее обрадовались, когда оборвалась эта чересчур уж неуместная песня, а извинение Мака сильно подняло его в глазах остальных. Однако эта, пусть мимолетная, ссора на диком, пустын-

ном островке заставила всех с ужасом подумать о том, что может таить в себе будущее.

Было решено по очереди дежурить у костра, чтобы случайно не пропустить идущего мимо корабля, и Томми, которому в голову пришла одна мысль, предложил дежурить первым. Его товарищи забрались под натянутый на весла парус и скоро уже погрузились в сон, который успокаивает тревоги и ускоряет бег времени. Едва к шуму прибоя стал примешиваться многоголосый храп, как Томми тихонько ушел со своего поста, захватив ящик с хересом, и утопил его в тихой бухточке глубиной около сажени.

Однако бурная смена настроений Мака не имела никакого отношения к вину — просто таков уж был его характер. Никто не мог сказать заранее, на какой подвиг или на какое преступление окажется способным этот ирландец.

Около двух часов ночи звездное небо затянули тучи, и хлынул дождь, который лил не переставая три дня. Островок превратился в губку, его невольные обитатели промокли до костей, а все кругом затянулось сеткой дождя, настолько густой, что не было видно даже кольцевого рифа. Костер скоро погас; тщетно изведя две коробки спичек, они решили не разжигать его, пока не пройдет ненастье, и три дня питались всухомятку холодными консервами и черствым хлебом. Второго февраля на рассвете ветер разогнал тучи, засияло солнце, и потерпевшие крушение снова разожгли костер и принялись пить обжигающий кофе с животной жадностью людей, давно лишенных горячей пищи.

День за днем проходили в тягучем однообразии.

Они поддерживали костер днем и ночью — дежурный занимался им все время, а остальные около часа в день собирали топливо. Утром и вечером все купались в лагуне — это было их главное и почти единственное удовольствие. Часто они удили рыбу, и улов бывал неплохим. А все остальное время они бездельничали, бродили по островку, рассказывали разные истории и спорили.

Сначала они пытались установить расписание почтовых пароходов, заходящих в Гонолулу, но это было быстро оставлено. Хотя все безмолвно согласились не предпринимать рискованного плавания в вельботе и ждать здесь спасения или голодной смерти, ни у кого не хвата-

ло духу не только заговорить об этом вслух, но даже подумать. Однако тайный ужас ни на минуту не оставлял их, и в минуту молчания их взгляды то и дело обращались к горизонту. И тогда, стремясь как-то отвлечься, они спешили заговорить о чем-нибудь другом. А о чем было говорить на этом пустынном островке, кроме сундучка с их сокровищем?

Присутствие этого сундучка с банкнотами, золотом и серебром было главной особенностью их островной жизни — он господствовал над их мыслями, как собор над средневековым городом. А кроме того, нужно было точно установить долю каждого, и это помогало коротать часы безделья. Две тысячи надо было возвратить сиднейской фирме, предоставившей им кредит. Оставшиеся деньги надо было разделить на шесть частей, в зависимости от затраченных капиталов и суммы причитающегося жалованья. Каждый вложенный в дело фунт считался «паем». Таким образом, Томми имел пятьсот десять паев, Картью — сто семьдесят, Уикс — сто сорок, а Хемстед и Амалу — по десяти. Всего набиралось восемьсот сорок паев. Чего же стоил пай? После долгих споров и ошибочных вычислений его примерная стоимость была установлена в два фунта семь шиллингов и семь с четвертью пенсов. Эти цифры были явно неточны, так как общая сумма паев при такой оценке равнялась не двум тысячам фунтов, а тысяче девятистам девяноста шести фунтам шести шиллингам. Таким образом, три фунта четырнадцать шиллингов оказывались нераспределенными. Но точнее установить размер пая им никак не удавалось, и пока остановились на этом.

Уикс вложил сто фунтов и должен был получить капитанское жалованье за два месяца. Его доля равнялась тремстам тридцати трем фунтам трем шиллингам шести с тремя четвертями пенсам. Картью вложил сто пятьдесят фунтов. Ему предстояло получить четыреста один фунт восемнадцать шиллингов шесть с половиной пенсов. Пятьсот фунтов Томми превратились в тысячу двести тринадцать фунтов двенадцать шиллингов девять и три чертверти пенса. А Амалу и Хемстеду, имевшим право только на жалованье, причиталось по двадцать два фунта шестнадцать шиллингов и полпенса каждому.

После всех этих разговоров им, разумеется, захотелось открыть сундучок, чтобы посмотреть, как выглядит

доля каждого в звонкой монете. Но, когда началась настоящая дележка, выяснилось, что мелких денег у них почти нет. В конце концов они решили разделить только фунты, а шиллинги и пенсы сложить в общий фонд. Таким образом, вместе с неделящимися тремя фунтами четырнадцатью шиллингами образовался излишек в семь фунтов один шиллинг.

— Вот что,— сказал Уикс,— Картью, Томми и я возьмем по одному фунту, Хемстед и Амалу возьмут по два и разыграют оставшийся шиллинг в орлянку.

— Ерунда,— заметил Картью,— нам с Томми и так некуда девать деньги. Мы с ним возьмем по полфунта, а вы трое разделите между собой остальные сорок шиллингов.

— Ну что тут делить! — вмешался Мак.— У меня с собой есть карты. Возьмите да сыграйте на излишек.

Людям, томившимся от безделья, такое предложение понравилось. Маку, как собственнику карт, тоже была разрешена ставка, и после пяти партий в криббедж он выиграл весь излишек.

Быстро пообедав, они снова сели за карты, и игра, начавшаяся 9 февраля, почти не прерывалась до вечера 10-го. Они даже ели наспех. И только Томми однажды исчез довольно надолго, а потом вернулся весь мокрый, волоча по песку ящик с хересом. Наступила темнота, и они придвинулись ближе к костру. Часов около двух ночи Картью, который спасовал, поднял голову от карт и посмотрел по сторонам. Он увидел лунную дорожку на воде, деньги, сложенные и рассыпанные по песку, озабоченные лица игроков. Он ощутил в своем сердце знакомое волнение, ему показалось, что он слышит музыку, что луна сияет не над тем морем, что рядом светятся окна казино и деньги звенят на зеленом сукне. «Боже великий! — подумал он.— Я опять стал игроком!» Он с большим любопытством оглядел песчаный стол. Он и Мак играли рискованно и выигрывали — рядом с ними лежали кучки золота и серебра. Амалу и Хемстед тоже были в небольшом выигрыше, но Томми спустил значительную часть своего капитала, а у капитана оставалось не больше пятидесяти фунтов.

— Давайте бросим,— сказал Картью.

— Дайте-ка ему стаканчик Бокля,— отозвался кто-то.

Была откупорена новая бутылка, и игра неумолимо продолжалась.

Картью выиграл слишком много, чтобы бросить карты, и до конца ночи был вынужден принимать участие в общем безумии — он старался проиграть нарочно, но в результате только выигрывал больше, как это нередко бывает. На заре 11 февраля он почувствовал, что больше так продолжаться не может. Ставки все росли, и капитан уже поставил свои последние двенадцать фунтов. Картью был банкометом. Заглянув в свои карты, он увидел, что сдал себе беспроигрышную комбинацию.

— Вот что,— сказал он громко,— зря мы затеяли эту игру, и пора кончать.

С этими словами он показал им свои карты, потом разорвал их на мелкие клочья и встал на ноги. Остальные тоже вскочили, растерявшись от удивления. Но Мак благородно поддержал его.

— И правда, пора кончать,— заявил он.— Но, конечно, игра шла в шутку, и вот мои фишки. Возвращаем фишки, ребята.—И он начал укладывать выигранные деньги в сундучок, который стоял рядом с ним.

Картью горячо пожал ему руку.

— Я этого никогда не забуду! — сказал он.

— А что вы будете делать с гавайцем и коротышкой? — спросил Мак шепотом.— Они ведь тоже выиграли.

— Правильно! — сказал Картью громко.— Амалу и Хемстед, сосчитайте свой выигрыш. Заплатим мы с Томми.

Так и было сделано. Амалу и Хемстед были рады получить свой выигрыш — все равно от кого, Томми же, проигравший около пятисот фунтов, пришел в восторг от такого компромиссного решения.

— А как же Мак? — спросил Хемстед.— Он что же, ничего не получит из своего выигрыша?

— Вот что, коротышка, — сказал ирландец. — Я знаю, что ты говоришь от чистого сердца, но лучше держи язык за зубами, потому что я не такой человек. Играли мы в шутку — по крайней мере я так думал,— а подарков я ни от кого не беру. Так и запомни.

— Мак, вы благородный человек! — сказал Картью, помогая ему сложить его выигрыш назад в сундук.

— Еще чего, сэр! Просто пьяница матрос,— ответил Мак.

Капитан, который все это время сидел, опустив голову на руки, вдруг поднялся, пошатываясь, словно после

бессонной ночи. Но тут его лицо сразу изменилось, и он громовым голосом воскликнул:

— Корабль!

Все обернулись на его крик: озаренный лучами утреннего солнца к острову Мидуэй шел бриг «Летящий по ветру» из Гулля.

ГЛАВА XXIV
ЖЕСТКОЕ УСЛОВИЕ

Корабль, который увидела команда «Богатой невесты», был трампом, перевозившим случайные грузы из порта в порт. Он покинул Лондон два года назад, обогнул мыс Доброй Надежды, побывал в Индии и на Малайском архипелаге, а теперь направлялся в Сан-Франциско в надежде найти там подходящий фрахт и вернуться в Англию, обогнув мыс Горн. Капитаном его был некий Джейкоб Трент. Лет за пять до описываемых событий он решил оставить море, поселился в загородном коттедже, возделывал капустный огород, обзавелся бричкой и открыл, как он выражался, «банк». Однако название это не соответствовало сущности предприятия. Лица, желающие взять ссуду, должны были приобрести картину, статуэтку или какую-нибудь домашнюю утварь в лавочке и оставить в залог голову сахара или штуку сукна; а по субботам управляющий имел обыкновение объезжать в бричке своих клиентов и забирать у них проценты натурой, так как все это были мелочные торговцы. Такая деятельность отвечала вкусам человека, привыкшего к жизни на открытом воздухе и наделенного душою крысы. Однако неожиданные убытки, судебный процесс и неприятные замечания тупицы судьи в его адрес внушили капитану Тренту отвращение к его новому делу. Мне чрезвычайно повезло — в старой газете я наткнулся на отчет о судебном разбирательстве по иску Льялла против «Кардиффской банковской компании взаимного обеспечения». «Признаюсь, я не в состоянии понять, в чем заключалась деятельность этой компании»,— сказал судья, а потом, когда Трент кончил давать показания, добавил: «Они наименовали это банком, но, на мой взгляд, речь идет о тайной лавке закладчика». Заключил же он свою речь следующим грозным предо-

стережением: «Мистер Трент, я обязан вас предупредить: будьте очень осторожны, не то мы с вами вновь увидимся здесь». За одну неделю капитан покончил с банковскими делами, продал коттедж, огород и бричку и снова отправился в море на «Летящем по ветру». Плавание проходило удачно, судовладельцы были им довольны, однако капитана не покидала мысль о недавнем величии, и он любил повторять, что хоть он и простой моряк, но одно время был банкиром.

Старший помощник Элиас Годдедааль был великаном-викингом, сильным, исполнительным, сентиментальным, и страстно любил музыку. Он постоянно напевал шведские песни, почти всегда в минорном ключе. Он как-то заплатил девять долларов, чтобы послушать Патти, а чтобы услышать Нильсен, дезертировал с корабля, потеряв таким образом двухмесячное жалованье. Если предоставлялся случай попасть на хороший концерт, он готов был пройти ради этого десять миль и семь — ради хорошего спектакля. Даже на борту корабля он не расставался с тремя сокровищами: канарейкой, концертино и собранием сочинений Шекспира в одном томе. Он обладал присущим скандинавам даром заводить друзей с первого взгляда — врожденная наивность делала его очень симпатичным. Это был рыцарь без страха и упрека, без денег и надежды когда-нибудь ими обзавестись.

Вторым помощником был Холдорсен, который тоже помещался на корме, но ел обычно с командой.

Из матросов только об одном сохранились живые подробности — о Брауне, старшем матросе из Клайда. Это был невысокий, коренастый брюнет, чрезвычайно кроткий и безобидный; неизлечимая страсть к спиртным напиткам превратила его в морского бродягу. «Одна беда — не могу я не пить,— объяснил он впоследствии в разговоре с Картью — А я ведь из очень хорошей семьи». Письмо, которое, как, может быть, помнит читатель, столь сильно подействовало на Нейрса, было адресовано именно Брауну.

Такова была команда корабля, увидев который потерпевшие крушение обезумели от радости. При мысли о близком спасении они потеряли всякую власть над собой. Руки их тряслись, глаза сияли, они смеялись и кричали, как дети, собирая свои вещи. Однако Уикс немного охладил их восторг.

— Полегче, ребята,— сказал он.— Мы отправляемся на корабль, о котором ничего не знаем. У нас с собой сундучок с золотом, и этого никак не скроешь — слишком тяжел. А вдруг это какие-нибудь пираты вроде Забияки Хейса? Мой совет — проверить, в порядке ли наши пистолеты.

У всех них, кроме Хемстеда, были пистолеты и револьверы, которые они сейчас поспешили зарядить и положить в карманы. Сборы были закончены столь же радостно, и, спустив вельбот на воду, они начали изо всех сил грести к выходу из лагуны, к которому уже приближался бриг.

Дул свежий ветер, и за рифом было довольно сильное волнение. Брызги пены били в лица гребцов. Они увидели английский флаг, развевающийся по ветру, команду, столпившуюся у борта китайца-кока в дверях камбуза, а на юте — капитана в тропическом шлеме и с биноклем в руках. Каждый удар весла приближал их к прежней жизни, к надежному убежищу, и радость их не знала предела. Уикс первым поймал брошенный ему конец, и десяток дружеских рук помог ему взобраться на борт.

— Капитан, сэр, если не ошибаюсь? — сказал он, обращаясь к суровому старику в тропическом шлеме.

— Капитан Трент, сэр,— ответил тот.

— А я капитан Керкап. Мы с сиднейской шхуны «Богатая невеста», потерявшей мачты в открытом море двадцать восьмого января.

— Прекрасно,— сказал Трент.— Теперь вы можете ничего не опасаться. Вам повезло, что я увидел ваш сигнал. Я ведь даже не знал, что нахожусь так близко к этому мерзкому островку,— наверное, здесь есть юго-западное течение; когда я сегодня утром поднялся на палубу, мне было показалось, что за горизонтом горит корабль.

На вельботе было условлено, что Уикс поднимется первым и выяснит обстановку, а остальные займутся сундучком. Теперь им сбросили канат, к которому они крепко привязали свое сокровище и подали команду тянуть. Но неожиданная тяжесть оказалась не под силу одному человеку, и ему на подмогу бросились еще два матроса. Эта суматоха привлекла внимание Трента.

— Отставить подъем! — крикнул он резко и затем повернулся к Уиксу: — Что у вас там? Мне еще не приходилось видеть таких тяжелых сундучков.

— Это деньги,— сказал Уикс,— золотые монеты. Трент внимательно посмотрел на него.

— Спустите-ка этот сундучок назад в вельбот, мистер Годдедааль, и не поднимайте вельбота, а возьмите его на бакштов.

— Есть, сэр! —ответил Годдедааль.

— Что случилось? — спросил Уикс.

— Да ничего особенного,— ответил Трент,— только согласитесь сами, не так-то часто посреди океана попадаются лодки с сундуками, полными золота, и с вооруженной командой.— Тут он указал на оттопыренный карман Уикса.— Ваш вельбот постоит за кормой, а вы спуститесь со мной в каюту и все мне объясните.

— Ну, это легко,— ответил Уикс.— Мой журнал и документы в полном порядке.— И, крикнув своим товарищам, чтобы они спокойно ждали, он спустился вслед за капитаном Трентом в каюту.

— Сюда, капитан Керкап,— сказал тот,— и не обижайтесь за эти предосторожности — после этих китайских рек нервы всегда сдают. Я просто хочу убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете. Это моя обязанность, сэр, и вы сами на моем месте поступили бы точно так же. И, кроме того, я ведь не всегда был капитаном, я был банкиром, а это тоже приучает к осторожности.

Тут Трент с суховатым гостеприимством поставил на стол бутылку джина, и они выпили за здоровье друг друга. Затем Трент просмотрел корабельные документы и с большим интересом выслушал рассказ о Топлесе и утонувших товарах. Все его подозрения рассеялись. Но вскоре он погрузился в глубокую задумчивость и несколько минут просидел неподвижно, барабаня пальцами по столу.

— Что-нибудь еще? — спросил Уикс.

— Эта лагуна подходит для стоянки? — неожиданно спросил Трент, словно Уикс нажал на какую-то кнопку.

— Вполне,— ответил Уикс.— Есть несколько мелей, но ничего опасного.

— Я думаю зайти туда,— заметил Трент.— В Гонконге я поставил новый такелаж, и его надо подтянуть, а то я побаиваюсь за мачты. Я думаю, за один день

мы управимся. Вы, наверное, поможете нам привести его в порядок?

— Еще бы! — сказал Уикс.

— Значит, договорились,— закончил Трент.— Потрать минуту — сбережешь час.

Они вернулись на палубу. Уикс сообщил своим товарищам о намерении капитана Трента. На бриге был поднят форбрамсель, и «Летящий по ветру», ведя на буксире вельбот, быстро прошел по узкому проходу и еще до восьми часов бросил якорь у островка Мидл-Брукс. Команда «Богатой невесты» поднялась на борт, и, после того как они позавтракали, а их вещи были перенесены из вельбота и сложены на шкафуте, началась проверка такелажа. Работа продолжалась весь день, и команды обоих кораблей соревновались между собой в рвении и сноровке.

Обед был подан на палубе: офицерам — на корме, а матросам — на носу. Трент, казалось, был в превосходном настроении: он распорядился, чтобы команде выдали грогу, угостил офицеров вином и сообщил гостям множество подробностей о своей финансовой деятельности в Кардиффе. Он сорок лет провел на море, пять раз терпел крушение, девять месяцев просидел в темнице какого-то малайского раджи, не раз вступал в схватки с береговыми пиратами, но все это казалось ему скучным и неинтересным, и гордился он только одним: своей карьерой ростовщика в трущобах приморского города.

Это был тяжелый день для команды «Богатой невесты». Бессонные ночи и тревоги предыдущей недели совсем их измучили, и только нервное возбуждение давало им силы работать. Когда Трент наконец был удовлетворен состоянием своего такелажа, они с нетерпением стали ждать приказа выйти в море. Но капитан, казалось, не торопился. Некоторое время он прогуливался по палубе, погруженный в свои мысли, а затем спросил у Уикса:

— У вас ведь что-то вроде торговой компании, капитан Керкап?

— Да, у нас предприятие на паях,— ответил тот.

— Тогда, с вашего разрешения, я приглашу вас всех к себе в каюту выпить чаю,— сказал Трент.

Уикс удивился, но, разумеется, ничего не сказал, и вскоре шестеро потерпевших кораблекрушение уже сиде-

ли рядом с Трентом и Годдедаалем за столом, уставленным тарелками и банками с мармеладом, маслом, жареным хлебом, консервированным языком и чашками с горячим чаем. Еда была не особенно вкусная, и я не сомневаюсь, что Нейрс отозвался бы о ней очень язвительно, но изголодавшимся морякам с «Богатой невесты» она казалась вкуснее самых изысканных яств. Годдедааль усердно их потчевал, но Трент, как они впоследствии вспомнили, оказался совсем нелюбезным хозяином и, углубившись в какие-то мысли, словно забыл о присутствии своих гостей. Через некоторое время он приказал коку уйти и, обратившись к сидевшим за столом, сказал:

— Если не ошибаюсь, господа, у вас компания на паях, и вот почему я вас всех сюда пригласил. Мне надо кое-что вам объяснить. Вы сами видите, что мой бриг — корабль хороший и что матросов я кормлю хорошо.

Послышались одобрительные возгласы, но всем было интересно узнать, что последует дальше, и никто ничего внятного не сказал.

— Ну,— продолжал Трент, катая хлебные шарики и глядя в стол,— я, конечно, рад помочь вам добраться до Фриско. Моряк должен помогать моряку — вот мой девиз. Но уж так повелось в мире, что за все надо платить. Я не хочу из-за своей доброты терпеть убытки,— добавил он с невеселым смешком.

— Ну, конечно, капитан,— сказал Уикс.

— Мы, разумеется, заплатим сколько следует,— заметил Картью.

При этих словах Годдедааль тронул его за локоть, и оба помощника обменялись многозначительным взглядом. За этот короткий безмолвный миг характер капитана Трента был объяснен и понят.

— «Сколько следует»...— повторил капитан Трент. Я этого ждал. Но сколько и за что следует — здесь решаю я. Если вы собираетесь взять ссуду, вам придется выплатить...— Он быстро поправился: — Если вы хотите, чтобы я вас отвез во Фриско, вам надо будет уплатить мою цену. Так ведь делаются дела, не правда ли? Вы мне не нужны. Это я вам нужен.

— Ну хорошо, сэр,— заметил Картью,— так сколько же вы хотите?

Капитан продолжал катать хлебные шарики.

— Когда вы взяли за горло этого торговца на островах Гилберта,— сказал он,— вы использовали выгоды своего положения. А теперь моя очередь. Вы же не пожалели этого торговца! —воскликнул он с неожиданной злостью, но тут же опять холодно хихикнул.— Хотя я вас за это не виню: в любви и в делах все позволено.

— Итак, сэр? — спросил Картью мрачно.

— Это мой корабль, я думаю,— сказал тот резко.

— Я тоже так думаю,— вставил Мак.

— Я говорю, что это мой корабль, сэр! — рявкнул Трент, словно раззадоривая себя.—И, будь я похож на вас, я забрал бы все ваши деньги до последнего гроша. Но две тысячи фунтов из четырех принадлежат не вам, а я человек честный. Вы отдадите мне две тысячи, которые принадлежат вам, а я отвезу вас всех во Фриско и там выдам каждому пятнадцать фунтов на руки, а капитану — целых двадцать пять.

Годдедааль опустил голову на руки, словно ему было невыносимо стыдно.

— Вы шутите! — воскликнул Уикс, побагровев.

— Шучу? — переспросил Трент.— Как угодно. Вас никто не заставляет. Бриг принадлежит мне, но остров Брукс — нет. И ваше право — сидеть там до самой смерти. Мне это все равно.

— Да весь ваш проклятый бриг не стоит двух тысяч фунтов! — крикнул Уикс.

— Меньше я не возьму,— возразил Трент.

— И у вас хватит духу высадить нас на этот островок умирать голодной смертью? — воскликнул Томми.

Капитан рассмеялся в третий раз.

— Голодной смертью? — переспросил он.— Это опять как вам будет угодно. А я готов продать вам любую провизию. Только по своей цене.

— Прошу прощения, сэр,— перебил Мак,— но у меня положение особое. Я отрабатывал свой проезд и не имею доли в двух тысячах фунтов, а в кармане у меня нет ни гроша. Так что же вы мне скажете?

— Я человек добрый,— ответил Трент.— Какая мне разница? Я захвачу вас вместе с остальными, только, разумеется, пятнадцати фунтов вы не получите.

От такой наглости у всех даже дух захватило. Годдедааль поднял голову и с негодованием посмотрел на своего капитана, а Мак побелел как полотно.

— И вы еще себя называете моряком! — крикнул он.— Черт бы вас побрал!

— Еще одно слово — и я закую тебя в кандалы! — рявкнул Трент, обрадовавшись, что ему возражают.

— Так я и дался! — отрезал Мак.— А мы еще налаживали этот проклятый такелаж! Я сейчас научу тебя вежливости, старый боров.

Он произнес эту угрозу совсем тихо, и никто из присутствующих, в том числе и сам Трент, не ожидал того, что последовало... Ирландец выхватил руку из кармана, и в воздухе просвистел нож, угодивший Тренту, который повернулся было, чтобы встать из-за стола, прямо в сонную артерию. Капитан упал головой на стол, и по скатерти расползлось алое пятно.

Внезапность нападения и катастрофы, мгновенный переход от мира к войне и от жизни к смерти заставили всех окаменеть. Секунду они продолжали сидеть, не сводя взгляда с неподвижного тела и обагренного кровью стола. Затем Годдедааль вскочил на ноги, схватил свой табурет и поднял его над головой — он весь преобразился, и из его груди вырвался такой рев, что остальные были оглушены. Моряки с «Богатой невесты» и не думали сопротивляться, никто не выхватил оружия — съежившись, они беспомощно смотрели на обезумевшего шведа. Его первый удар свалил Мака на пол со сломанной рукой. Вторым он размозжил голову Хемстеда. Он переводил взгляд с одного на другого, угрожая, трубя, точно раненый слон, упиваясь своей яростью. Но этим боевым пылом не руководил рассудок, и, вместо того чтобы завершить свою победу, Годдедааль обрушил град ударов на труп Хемстеда, так что табурет разлетелся в щепы. Это надругательство над мертвым вывело Картью из оцепенения и предало его во власть инстинктов: он выхватил револьвер и выстрелил, еще не понимая, что делает. Вслед за грохотом выстрела раздался вопль боли, гигант покачнулся, зашатался и упал на тело своей жертвы.

Наступившую тишину нарушил топот ног на палубе — вот шаги прогремели по трапу, и в каюту заглянуло лицо Холдорсена. Картью разнес это лицо следующим же выстрелом: он был прекрасным стрелком.

— Вперед! — скомандовал он и ринулся вон из каюты, а за ним Уикс, Томми и Амалу. Наступая на труп

Холдорсена, они поднялись по трапу и выбрались на палубу, озаренную тусклым огнем кровавого заката. Они не превосходили противника численностью, но матросы «Летящего по ветру» не думали о сопротивлении и бросились к люку кубрика. Первым бежал Браун, он успел спрыгнуть вниз целым и невредимым; китаец последовал за ним головой вперед, получив пулю в бок, а остальные двое полезли на мачты.

Уиксом и Картью овладело свирепое хладнокровие, это второе дыхание боя. Поставив Томми у фока, а Амалу у грота следить за мачтами и парусами, сами они прошли на шкафут и, высыпав на палубу коробку патронов, принялись перезаряжать револьверы. Бедняги, цеплявшиеся за ванты, кричали, просили пощады. Но пощады быть уже не могло: пригубленную чашу предстояло осушить до дна. Убитых было слишком много, и убить предстояло всех. Смеркалось, дешевые револьверы давали осечки и били очень неточно, вопящие жертвы прижимались к мачтам и реям, прятались за парусами. Гнусная бойня продолжалась долго, но, наконец, все было кончено. Лондонец Харди был подстрелен на фор-бом-брам-рее, и его труп, покачиваясь, висел на гитовах. Второй матрос, Уоллен, прятался на салинге грот-мачты, и пуля раздробила ему челюсть; забыв об осторожности, он долго и надрывно кричал, пока вторая пуля не сбросила его на палубу.

Все это было достаточно страшно, но худшее предстояло впереди. Браун еще прятался в кубрике. Томми вдруг разразился рыданиями и начал просить, чтобы Брауна пощадили.

— Один человек не может нам повредить,— твердил он, всхлипывая.— Не надо больше! Я говорил с ним за обедом. Он хороший малый и совсем безобидный. Нельзя этого делать! У кого хватит духу спуститься туда и убить его? Это же зверство!

Возможно, его мольбы доносились и до бедняги в трюме.

— Если останется хоть один, мы все повиснем,— ответил Уикс.— Браун должен пойти той же дорогой.

Капитан был белее мела, он весь дрожал и, умолкнув, бросился к борту, где его стошнило.

— Если мы промедлим, то у нас не хватит духа,— сказал Картью.— Теперь или никогда.

И он направился к люку кубрика.

— Нет, нет, нет! — застонал Томми, хватая его за рукав.

Но Картью отшвырнул его и спустился по трапу, полный отвращения к себе и стыда. На полу лежал китаец и глухо стонал. Кругом стояла непроницаемая тьма.

— Браун! — крикнул Картью.— Браун, где вы?

Собственное бессердечное коварство поразило его, однако ответа не последовало.

Он пошарил по койкам, но они были пусты. Тогда он направился вперед, к форпику, загроможденному бухтами каната и другим запасным такелажем.

— Браун! — снова позвал он.

— Я здесь, сэр,— ответил дрожащий голос, и бедняга, оставаясь невидимым, назвал Картью по имени и принялся умолять о пощаде. Только ощущение опасности, риска могло заставить Картью спуститься в кубрик, а тут враг встретил его просьбами и слезами, как испуганный ребенок. Его покорное «я здесь, сэр», его бессвязные моления и всхлипывания превращали убийство в гнуснейшее злодеяние. Дважды Картью поднимал револьвер и один раз даже нажал на спуск (так, во всяком случае, ему показалось), но выстрела не последовало; его решимость окончательно иссякла, и, повернувшись, он бежал от своей жертвы.

Уикс сидел на световом люке и, повернув к Картью лицо семидесятилетнего старика, задал ему безмолвный вопрос. Картью покачал головой. И со спокойствием человека, поднимающегося на эшафот, Уикс встал, подошел к люку и спустился вниз. Браун думал, что это возвращается Картью, и с новыми мольбами наполовину выполз из своего убежища. Уикс несколько раз выстрелил на голос, который оборвался на тихом стоне и умолк. Наступила тишина, и убийца, как безумный, выскочил на палубу.

Остальные трое собрались теперь у светового люка, и Уикс присоединился к ним. Они прижались друг к другу, как дети в темноте, и дрожь одного передавалась всем другим.

Сумерки сгущались, и тишина прерывалась только шумом прибоя и глухими рыданиями Томми Хэддена.

— О господи, а вдруг к острову сейчас идет корабль! — неожиданно воскликнул Картью.

Уикс вздрогнул, взглянул на мачту, увидел висящий в снастях труп, и лицо его стало землистым.

— Если я попробую подняться на мачту, я упаду,— сказал он просто,— у меня больше нет сил.

Наконец Амалу вскарабкался на грот, внимательно оглядел горизонт и сообщил, что море пустынно.

— Все равно,— сказал Уикс,— нельзя сидеть сложа руки, надо скорее привести все в порядок. Только я не могу ничего делать, пока не хлебну джина, а джин в каюте. Кто за ним сходит?

— Я,— отозвался Картью,— если мне дадут спички. Амалу дал ему коробку, и, пройдя на корму, Картью спустился по трапу в каюту. Там, споткнувшись о труп, он зажег спичку, и его взгляд встретился со взглядом живого человека

— Ну? — спросил Мак, пришедший наконец в себя после удара.

— Все кончено, никого не осталось в живых,— ответил Картью.

— Господи! — прошептал ирландец, снова теряя сознание.

Джин нашелся в капитанской каюте, и, когда все выпили по стакану, началась уборка корабля. Уже совсем стемнело. Луна должна была взойти только через несколько часов, и поэтому на мачту повесили фонарь, чтобы посветить Амалу, который мыл палубу. А Уикс, Картью и Хэдден, взяв другой фонарь из камбуза, занялись похоронами. Холдорсен, Хемстед, Трент и Годдедааль отправились за борт, причем последний еще дышал. За ним последовал Уолен, а потом Уикс, подкрепившись джином, влез с багром на мачту и освободил труп Харди. Оставался китаец: он, по-видимому, бредил и что-то не переставая выкрикивал на незнакомом языке, пока они несли его из трюма; только когда его тело с всплеском погрузилось в воду, смолкли эти крики. Брауна, по общему согласию, решили пока не трогать. У человеческих сил есть предел.

Все это время они пили неразбавленный джин как воду; три откупоренные бутылки стояли в разных местах палубы, и, проходя мимо, каждый обязательно отпивал глоток. В конце концов Томми свалился у подножия грот-мачты и заснул, Уикс упал ничком у кормового трапа и больше не шевелился, а Амалу куда-то незаметно исчез. На ногах оставался один Картью. Он, по-

шатываясь, стоял на юте, и фонарь, который он еще держал в руке, плясал при каждом его движении. Голова его гудела, в ней теснились обрывки мыслей, воспоминания об ужасах этого дня вспыхивали и угасали, как огонек лампы на сильном ветру. И тут его осенило пьяное вдохновение.

— Надо это прекратить,— пробормотал он и, спотыкаясь, спустился по трапу в каюту.

Исчезновение трупа Холдорсена заставило его испуганно остановиться. Он тупо глядел на пустой пол, а потом вспомнил и улыбнулся. В капитанской каюте он взял вскрытый ящик с пятнадцатью бутылками джина, поставил фонарь внутрь ящика и побрел вон из каюты. Мак снова очнулся — на его искаженном болью, осунувшемся лице лихорадочно блестели глаза, и Картью вспомнил, что ирландцу так никто и не помог. Бедняге, искалеченному, может быть, умирающему, предстояло пролежать здесь всю ночь. Но теперь было уже поздно: рассудок покинул безмолвный корабль. Сам он мог только еле-еле выбраться на палубу. И, бросив на Мака полный жалости взгляд, он взобрался по трапу, столкнул ящик в море и остался лежать на палубе.

ГЛАВА XXV

СКВЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

С первыми лучами зари Картью проснулся. Некоторое время он недоумевающе смотрел на полосу утреннего тумана и обвисшие паруса брига, не понимая, где он и что с ним. У него было странное ощущение, что случилось какое-то большое несчастье, о котором он забыл; но тут, словно река, прорывающая плотину, на него нахлынули воспоминания о том, что произошло накануне: перед его глазами всплыли страшные образы, в его ушах прозвучали жалобные крики, которые ему не суждено было больше забыть. Вскочив на ноги, он на минуту застыл, прижав руку ко лбу, а потом стал шагать взад и вперед, ломая руки и машинально бормоча: «Господи... господи... господи...» Это могло продолжаться час, а может быть, несколько секунд.

Вдруг он почувствовал, что на него смотрят, и, обернувшись, увидел, что Уикс, прислонившись к борту, следит за ним мутными глазами, страдальчески наморщив

лоб. Каин увидел свой собственный лик. Еще секунда — и они виновато отвернулись друг от друга. Картью поспешил уйти подальше от своего сообщника и, облокотившись о борт, уставился невидящим взглядом на море.

Рассвет все разгорался. Через час взошло солнце и разогнало туман. Это был час невыносимых страданий для всех оставшихся в живых. Бессвязные мольбы Брауна, вопли матросов на вантах, обрывки песенок покойного Хемстеда звенели в ушах Картью невыносимой чередой. Он не оправдывал себя, не обвинял — он ни о чем не думал, он просто испытывал невыразимые муки. Глядя в синюю воду за бортом, он снова и снова видел искаженное яростью лицо Годдедааля, кровавый закат, который встретил их на палубе, лицо бредящего китайца, которого они сбросили за борт, и судорогу, пробежавшую по лицу Уикса, когда он очнулся от пьяного сна и вспомнил, что случилось. Время шло, солнце поднималось все выше и выше, но буря в душе Картью не стихала.

Затем, согласно многим поговоркам и изречениям, слабейший из них принес облегчение остальным — очнулся Амалу. Хотя он испытывал такие же душевные и телесные страдания, как и все остальные, привычка к работе взяла верх: отправившись в камбуз, он развел огонь в плите и принялся приготовлять завтрак. Звон посуды, потрескивание огня и струйка дыма, поднявшаяся к небесам, помогли разогнать овладевшее всеми тупое уныние. Жизнь как-то сразу вошла в обычную колею: капитан зачерпнул ведро воды и начал умываться, Томми некоторое время смотрел на него, а затем присоединился к нему. Картью же, вспомнив последнее, что он видел накануне, поспешно спустился в каюту. Мак не спал, вернее сказать — он не спал всю ночь. Над его головой щебетала в своей клетке канарейка Годдедааля.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Картью.

— У меня рука сломана,— сказал Мак,— но это еще ничего, а вот в каюте мне оставаться трудно. Я попробую выбраться на палубу.

— Лучше не надо,— сказал Картью.— Там очень жарко и стоит полное безветрие... Я смою эти...— Он не договорил и только молча указал на кровавые пятна.

— Спасибо,— ответил ирландец послушно и кротко, как больной ребенок.

Когда Картью, захватив ведро, швабру и губку, начал приводить в порядок поле боя, Мак то смотрел на него, то вздыхал и закрывал глаза, словно теряя сознание.

— Это я во всем виноват,— вдруг сказал он.— И совсем уж скверно, что, впутав вас всех в беду, сам я вам ничем не помог. Вы спасли мне жизнь, сэр, своим выстрелом. Вы стрелок что надо!

— Ради бога, замолчите! — воскликнул Картью.— Об этом нельзя говорить. Вы не знаете, как это было. Здесь, в каюте, они сопротивлялись, а на палубе...— И Картью, прижав к лицу окровавленную губку, еле справился с припадком истерики.

— Успокойтесь, мистер Картью, теперь ничего изменить нельзя,— сказал Мак.— Радуйтесь, что вы хоть остались целы, а не лежите вот так, как я, со сломанной рукой.

Больше они ни о чем не говорили, и, когда раздался удар гонга к завтраку, каюта была почти в полном порядке.

Томми тоже не терял времени даром. Он подтянул вельбот к самому борту и спустил в него уже вскрытый бочонок солонины, который нашел возле камбуза. Ясно было, что он думает только об одном: как можно скорее покинуть бриг.

— Мы можем набрать здесь сколько угодно провизии,— сказал он,— чего же нам ждать? Надо скорее плыть к Гавайям. Я уже начал приготовления.

— У Мака сломана рука,— сказал Картью,— как он перенесет дорогу?

— Сломана рука? — повторил капитан.— Только и всего? Я вправлю ее после завтрака. А я-то думал, что он убит. Этот сумасшедший бил, как...

Напоминание о трагедии вчерашнего вечера заставило его умолкнуть; остальные тоже ничего не сказали. После завтрака Хэдден, Уикс и Картью спустились в каюту.

— Сейчас я вправлю твою руку,— сказал Уикс.

— Извините, капитан,— перебил Мак,— но сперва надо вывести бриг в море, а моей рукой займемся потом.

— Торопиться некуда,— ответил Уикс.

— Когда к острову подойдет следующий корабль, вы запоете по-другому,— возразил Мак.

— Ну, на это шансов мало,— заметил Картью.

— Ох, не надейтесь,— ответил Мак.— Когда корабль нужен, его и за шесть лет не дождешься, а когда не нужен, сюда явится целый флот.

— Я же говорил! — воскликнул Томми.— Мак рассуждает здраво. Надо поскорее снарядить вельбот и убираться отсюда.

— А что думает о вельботе капитан Уикс? — спросил ирландец.

— Я о нем совсем не думаю,— сказал Уикс.—У нас есть приличный бриг, и других вельботов мне не надо.

— Простите! — воскликнул Томми.— Это глупость. Бриг-то у нас есть, да что толку? Ведь на нем нельзя войти ни в какой порт.

— Неважно,— ответил капитан.— Этот бриг утонет, и я скажу вам, где: в сорока милях от Гавайских островов, с подветренной стороны. А мы в вельботе подождем, пока он совсем не скроется под водой, и тогда больше не останется никаких следов «Летящего по ветру» и мы забудем, что видели его; на берег в вельботе выберется команда шхуны «Богатая невеста» и с первым же пароходом отправится в Сидней.

— Ну и умница же вы, капитан! — воскликнул Мак.— Не возитесь вы с моей рукой сейчас, а давайте поскорее выйдем в море.

— Мне и самому не терпится, Мак,— ответил Уикс.— Но только стоит полный штиль. Так что давай свою руку и хватит разговаривать.

Он вправил руку Мака, наложил лубки и забинтовал. Труп Брауна, холодный и окостеневший, был вытащен из трюма и сброшен в лагуну, и все опять занялись уборкой корабля. Работы хватило только до полудня, но шел уже четвертый час, когда по зеркалу лагуны, наконец, пробежала первая рябь, налетел сухой шквал, а затем задул ровный бриз. Все это время команда «Богатой невесты» не находила себе места от нетерпения, а ее капитан боролся с мучительной тревогой и неуверенностью. Дело в том, что, хотя он мог заставить любую шхуну проплясать джигу и справиться с ней при самых трудных обстоятельствах, его знание мореходного дела было ограниченным и неполным. На палубе шхуны он был Рембрандтом или, во всяком случае, Уистлером, но на мостике брига становился жалким мазилой. Все утро он мысленно репетировал те маневры, которые по-

могут ему вывести «Летящего по ветру» в океан, однако не чувствовал никакой уверенности в себе. Это были лишь догадки. Все зависело от случайности — бриг мог послушаться его, а мог и не послушаться. И тогда весь прежний опыт не подскажет ему, как поступить. Если бы его товарищи не были так измучены и если бы он не боялся заразить их своими сомнениями, можно было бы попробовать вывести бриг через проход на буксире. Но эти два обстоятельства делали подобный маневр невозможным, и Уиксу оставалось только принять все предосторожности, какие были ему доступны. Поэтому он отвел Картью на корму и, с большим тщанием объяснив ему, что надо будет делать, вместе с ним осмотрел все паруса и снасти.

— Постараюсь запомнить,— сказал Картью,— но все это ужасно сложно.

— Дурацкая оснастка! — вздохнул капитан.— Понавешали каких-то носовых платков! И у меня нет ни одного настоящего моряка. Эх, будь это просто бригантина! Хорошо еще, что проход очень легкий и маневрировать совсем не придется... Сначала мы пройдем фордевиндом, пока островок не останется у нас под ветром, потом ляжем как можно круче к ветру, пойдем левым галсом на юго-восток и выйдем в открытое море. Понятно?

— Понятно,— ответил Картью довольно уныло.

Оба они некоторое время молча рассматривали незнакомые снасти над головой.

Наконец настало время от теории перейти к практике. Паруса были спущены, и команда приготовилась к подъему якоря. Затем бакштов был обрублен и вельбот оставлен на милость волн. Были подняты брамсели и контрабизань, затем контрабизань была повернута к правому борту.

— Поднять якорь, мистер Картью!

— Якорь поднят, сэр!

— Поставить кливера!

Команда была выполнена, но бриг по-прежнему стоял неподвижно. Уикс, привыкший маневрировать на шхуне с помощью грота, возлагал все надежды на контрабизань. Сперва он приказал повернуть ее к ветру, потом — от ветра, но ни то, ни другое не дало никаких результатов.

— Возьмите эту дрянь на гитовы! — проревел он, побагровев.— От нее нет никакого толку!

Но тут сбитого с толку капитана ждал новый сюрприз: едва только контрабизань была взята на гитовы, как бриг пошел по ветру. Уиксу показалось, что законы природы отменены. Он перестал понимать, где причина и где следствие и каких результатов можно ждать от самого знакомого маневра. Однако больше всего он думал о том, как сохранить бодрость духа у своего неопытного экипажа. Лицо его пылало, как факел, но команду он отдавал уверенным голосом, тем более, что теперь, когда бриг пошел в нужном направлении, он решил, что главные трудности остались позади.

Были поставлены марсели, а также фок, грот и крюйс; бриг словно ожил и стал все быстрее набирать ход. Мало-помалу перед ними начал открываться проход и между двумя белыми бурунами засинели просторы океана. Контрабизань была снова повернута к корме, и бриг, легший круто к ветру, уже приближался к тому месту, откуда он мог сделать поворот оверштаг и выйти из лагуны, не лавируя.

Упоенный первыми успехами, Уикс сам стал за штурвал. Он держал бриг курсом галфинд, чтобы набрать ход, а затем начал выкрикивать команды:

— Товьсь!.. Лево руля!.. Грот к ветру!

Затем были произнесены роковые слова:

— Все на фок! Брасопить реи!

Поворот оверштаг на корабле с прямым вооружением требует большого опыта и умения быстро оценивать обстановку. Человек, привыкший к шхуне, в подобных случаях всегда торопится. Так случилось и теперь. Приказ был отдан слишком рано. Марсели легли на стеньги, и бриг сразу потерял ход. Даже теперь, если бы они повернули руль вправо, они могли бы еще закончить маневр удачно, но Уиксу, разумеется, это в голову не пришло — для шхуны такой поворот был бы гибельным. Вместо этого он попробовал положить корабль в дрейф, но ему не хватило места, и примерно без двадцати минут пять «Летящий по ветру» прочно сел на мель.

Уикс плохо знал корабли с прямым вооружением и доказал это на деле, но он был хорошим моряком и умел найти выход во всех затруднительных случаях, когда не требуется большого ума, а достаточно зоркого взгляда и мужественного сердца. Остальные еще не успели осознать, что случилось, а он уже выкрикивал новые

команды: паруса были взяты на гитовы, и матросы начали делать промеры вокруг брига.

— Все обойдется благополучно,— сказал он и приказал спускать шлюпку.

— Минутку! — воскликнул Томми.— Да вы, никак, собираетесь запрячь нас, чтобы мы стащили бриг с мели?

— Вот именно,— ответил Уикс.

— В такой глупости я участвовать не буду,— отрезал Томми,— я и так уже вымотался до смерти.

С упрямым видом он уселся на крышку светового люка и заявил:

— Вы нас посадили на мель, вы нас с нее и снимайте!

Картью и Уикс повернулись друг к другу.

— Мы же очень устали, поймите,— сказал Картью.

— Начинается прилив! — воскликнул капитан.— Вы что, хотите упустить прилив?

— А, ерунда! Приливы будут и завтра,— огрызнулся Томми.

— И вот что,— добавил Картью,— ветер спадает, а солнце скоро зайдет. В темноте мы можем устроить что-нибудь и похуже.

— Это правда,— ответил Уикс и некоторое время стоял задумавшись.— Только я одного не понимаю! — вдруг воскликнул он.— Я одного не понимаю: из чего вы сделаны! Я не могу оставаться здесь. Ведь солнце заходит. Я не могу оставаться здесь!

Остальные посмотрели на него с ужасом и удивлением. До сих пор он был их главной опорой, и теперь, когда этот практичный человек вдруг выдал терзавший его страх, они совсем растерялись. Но этим воспользовался Мак, который, никем не замеченный, выбрался по трапу на палубу, после того как бриг сел на мель.

— Капитан Уикс,— сказал он,— это я впутал вас всех в беду. И я хочу попросить у вас всех прощения. Если кто-нибудь скажет: «Я тебя прощаю»,— мне будет легче на душе.

Уикс изумленно посмотрел на него, а затем к нему вернулось самообладание.

— Мы все здесь в одинаковом положении,— сказал он,— нам незачем сводить счеты. Конечно, я тебя прощаю, да что толку?

Другие тоже поспешили успокоить Мака.

— Благодарю вас всех, вы настоящие джентльмены,— сказал Мак.— Только я подумал вот что: мы ведь тут все протестанты?

Да, это было так, хотя протестантская церковь вряд ли могла особенно гордиться такими сыновьями!

— Вот и хорошо,— продолжал Мак.— Ну так почему бы нам не прочесть «Отче наш»? Это же нам не повредит!

Он говорил все с той же кроткой, умоляющей интонацией ребенка, и все остальные, безмолвно согласившись на его просьбу, опустились на колени.

— Ну, а я постою,— сказал Мак и прикрыл глаза рукой.

И они прочитали молитву под аккомпанемент прибоя и крика чаек, а потом поднялись с облегченной душой. До сих пор каждый в одиночестве ощущал свою вину и упоминал о преступлении в пылу минуты, чтобы тут же умолкнуть. Теперь они разделили общее раскаяние, и худшее осталось позади. И более того: мольба «и отпусти нам грехи наши», произнесенная сразу же после того, как они простили непосредственного виновника их бед, прозвучала в их ушах как отпущение греха.

Когда зашло солнце, они поужинали, а затем пятеро потерпевших крушение (снова потерпевших крушение!) легли спать.

Утро выдалось жаркое и безветренное. Очнувшись после тяжелого сна, они чувствовали себя совсем разбитыми. Только Уикс, который хорошо помнил, какой тяжелый день им предстоит, проявил какую-то энергию. Он подошел к помпе и измерил уровень воды в трюме, затем нахмурился, повторил измерение и глубоко задумался. Остальные догадались, что он чем-то недоволен. Потом он разделся и, оставшись в одних трусах, влез на фальшборт, выпрямился и сложил руки над головой, собираясь нырнуть. Вдруг он словно окаменел, напряженно вглядываясь в горизонт.

— Дайте мне бинокль,— сказал он.

В одно мгновение все уже карабкались на мачту вслед за Уиксом, державшим бинокль. На севере, над горизонтом, подымался столбик серого дыма, похожий на восклицательный знак.

— Что это, по-вашему? — спросил кто-то Уикса.

— Пока трудно сказать,— ответил он.— Но, судя по дыму, этот пароход идет прямо сюда.

— Какой пароход?

— Может быть, почтовый,— ответил Уикс,— а может быть, какой-нибудь крейсер, который ищет потерпевших крушение. Ну-ка, ребята, за дело, нельзя терять ни минуты! Скорее на палубу!

Едва оказавшись там, он спустил флаг, потом снова поднял его, но уже перевернутым.

— Слушайте внимательно,— сказал он, поспешно одеваясь.— Если это крейсер, он зря здесь стоять не захочет. На кораблях, где дела не делают, а только деньги получают, всегда страшная спешка. Так что все еще может кончиться благополучно. Мы отправимся с ними, а они не станут тратить время на лишние осмотры и расспросы. Я капитан Трент; Картью, вы Годдедааль, Томми — Харди, Мак — Браун, Амалу... Постойте! Его за китайца нам никак не выдать!.. Ага, нашел: наш кок дезертировал, а Амалу ехал в трюме зайцем. Когда мы его отыскали, я сделал его коком, но не стал возиться с оформлением документов. Понятно? Ну, как вас зовут?

Его товарищи послушно повторили свои новые имена.

— А как звали остальных двух? Того, кого Картью застрелил в каюте, и того, кому я разбил челюсть на гроте? — спросил он.

— Холдорсен и Уоллен,— сказал кто-то.

— Ну, так они утонули,— продолжал Уикс,— когда пытались спустить шлюпку. Мы попали в шквал вчера и сели на мель.— Он быстро подбежал к компасу, взглянул на него и продолжал: — Шквал налетел с северо-запада, очень сильный, тали заело, и Холдорсен с Уолленом свалились за борт.— Уикс был в своей стихии и говорил с лихорадочным нетерпением, похожим на гнев.

— А это не рискованно? — спросил Томми.

— Рискованно? — рявкнул капитан.— Да на нас на всех уже петли надеты, идиот! Если этот корабль идет в Китай (на что, впрочем, не похоже), с нами будет все кончено в первом же порту, а если нет, то, значит, он идет из Китая. Так? Ну, а если хоть кто-нибудь из офицеров или экипажа видел Трента или кого-нибудь из его матросов, мы через два часа будем в наручниках... Но все равно у нас нет другого выхода, и это последний ничтожный шанс спастись от виселицы.

Это прозвучало так убедительно, что все похолодели от страха.

— А может быть, лучше остаться на бриге? — спросил Картью.— Они помогут нам сняться с мели.

— Да что вы тратите время на пустую болтовню! — рассердился Уикс.— Слушайте: когда я сейчас делал промер, оказалось, что в трюме два фута воды; а вчера было всего восемь дюймов. Что случилось, я не знаю. Может быть, ничего, а может быть, мы рассадили днище. Тогда нам придется проплыть две тысячи миль в шлюпке. Это вам больше по вкусу?

— Если в днище пробоина, их плотники помогут нам ее зачинить,— настаивал Картью.

— О господи! — воскликнул капитан.— Как бриг сел на мель? Носом! И сейчас кренится на нос. Если сюда явится плотник, куда он пойдет? Да в форпик же! И как мы объясним кровавые пятна на канатах и на полу? Да поймите же, наконец, что вы не члены парламента, а шайка убийц с петлей на шее! Еще какой-нибудь другой осел хочет задать вопрос, чтобы зря тратить время? Нет?.. Ну, слава богу! Теперь, матросы, слушайте: я иду вниз, а вы останьтесь на палубе. Снимите чехол вон с той шлюпки, потом откройте сундучок с деньгами, возьмите пять сундучков, разделите деньги на пять частей и положите их на дно в эти сундучки. Да поживей! Сверху прикройте их одеялами или какой-нибудь одеждой, чтобы они не звенели. Сундучки получатся тяжелые, но с этим уж ничего не поделаешь. Вы, Картью... А, черт... Вы, мистер Годдедааль, пойдете со мной. Нам надо заняться другим делом.— И, бросив последний взгляд на столб дыма, Уикс спустился по трапу в сопровождении Картью.

Корабельные журналы были найдены в кают-компании за клеткой с канарейкой. Их было два: один вел Трент, другой — Годдедааль. Уикс посмотрел на них и выпятил нижнюю губу.

— Вы умеете подделывать чужие почерки? — спросил он.

— Нет,— ответил Картью.

— И я тоже, как ни жаль,— буркнул капитан.— Но это еще не самое скверное: журнал Годдедааля в полном порядке. Он, наверное, заполнил его перед чаем. Вот, читайте: «Замечен дым костра. Капитан Керкап и пять членов команды шхуны «Богатая невеста»..» Впрочем, не все пропало,— добавил он, открывая другой журнал.— Трент уже две недели ничего в него не заносил.

Мы уничтожим ваш журнал, мистер Годдедааль, и займемся журналом Трента... То есть моим, я хотел сказать. Но по некоторым причинам писать буду не я, а вы. Берите перо, и я вам продиктую.

— Но как мы объясним, куда девался мой журнал? — спросил Картью.

— А вы его не вели,— ответил капитан.— Грубейшее нарушение служебного долга. Судовладельцы намылят вам за это голову.

— А как же перемена почерка? — продолжал Картью.— Журнал сначала вели вы. Почему вдруг стал писать я? И все равно вам придется расписываться.

— После несчастного случая я не могу писать,— ответил Уикс.

— Несчастного случая? — повторил Картью.— Это звучит как-то неубедительно. Какого несчастного случая?

Уикс положил руку на стол ладонью вверх и пробил ее ножом.

— Вот какого,— сказал он.— Из всякого затруднения есть выход, если у тебя голова на плечах.

Он начал бинтовать рану носовым платком, быстро просматривая журнал Годдедааля.

— Скверно,— сказал он.— Тут все так напутано, что для вас это не годится. Во-первых, они шли по какому-то совершенно дикому курсу и уклонились на тысячу миль от обычных корабельных путей, а во-вторых, оказывается, они приблизились к этому острову шестого числа, плавали пять дней вокруг да около и на рассвете одиннадцатого снова очутились здесь.

— Годдедааль говорил мне, что им страшно не везло,— заметил Картью.

— Во всяком случае, все это похоже на выдумки,— вздохнул Уикс.

— Но ведь так было на самом деле,— настаивал Картью.

— Ну и пусть. Нам-то ведь от этого не легче, раз это все равно похоже на выдумки! — воскликнул капитан.— Ну-ка, помогите мне перевязать руку. Кровь так и хлещет.

Пока Картью накладывал повязку, Уикс о чем-то глубоко задумался. Но едва был затянут последний узел, как он стремглав кинулся на палубу.

— Запомните, ребята! — крикнул он.— Мы пришли к этому острову не одиннадцатого, а вечером шестого, и нас здесь задержал штиль. Как только кончите возиться с сундучками, вытащите на палубу несколько бочонков с водой и солониной. Так оно будет естественней. Словно мы уже снаряжали шлюпку.

После этого он вернулся в каюту и продиктовал Картью записи в корабельный журнал. Затем они уничтожили журнал Годдедааля и принялись искать корабельные бумаги. Из всех пережитых за утро мучительных минут эти, пожалуй, были самыми мучительными. Они лихорадочно обшаривали все уголки, ругаясь, сталкиваясь, изнемогая от жары, леденея от ужаса. С палубы им то и дело кричали, что это действительно крейсер, что он уже совсем близко, что он уже спускает шлюпку. А документов нигде не было! Каким образом они не заметили сейфа с судовой кассой и расписками, трудно понять. Но тем не менее они его не заметили. Наконец самые важные документы были найдены в кармане парадного костюма Трента, где он их оставил после того, как последний раз сходил на берег.

— Как раз вовремя,— сказал Уикс, улыбаясь в первый раз за все утро.— Давайте их мне, а вот эти бумаги заберите себе. Боюсь, что я их перепутаю.

— Какие еще бумаги? — спросил Картью.

— Документы капитана Керкапа и шхуны «Богатая невеста»,— ответил Уикс.— Как знать, может быть, они нам еще понадобятся.

— Шлюпка вошла в лагуну, сэр! — крикнул Мак, который исполнял роль дозорного, пока остальные работали.

— Пора идти на палубу, мистер Годдедааль,— заметил Уикс.

Когда они направились к трапу, канарейка вдруг испустила звонкую трель.

— Нельзя бросать бедняжку на голодную смерть,— прошептал Картью.— Это птица несчастного Годдедааля.

— Так берите ее с собой,— сказал капитан.

И они поднялись на палубу.

За рифом виднелась безобразная туша современного военного корабля, который время от времени пенил воду своим винтом, а по проходу скользила большая белая шлюпка с флагом на корме.

— Еще одно,— сказал Уикс, быстро осматриваясь.— Мак, ты был в китайских портах? Отлично. А вас, остальных, все время, пока мы были в Гонконге, я не пускал на берег, надеясь, что вы дезертируете. Но вы меня надули и остались на бриге. Так вам будет легче врать.

Шлюпка была совсем уже близко. Единственным офицером в ней оказался рулевой, причем офицером не из лучших, так как матросы на веслах все время переговаривались.

— Слава богу, они послали какого-то желторотого птенца! — воскликнул Уикс.— Эй, Харди, убирайся на нос! Я не потерплю, чтобы матросы разгуливали у меня по юту!

Этот выговор подбодрил всех, как холодный душ.

Шлюпка лихо подошла к борту, и молоденький офицер поднялся на палубу брига, где с ним почтительно поздоровался Уикс.

— Вы капитан этого корабля? — спросил офицер.

— Да, сэр,— ответил Уикс.— Зовут меня Трент, а это бриг «Летящий по ветру» из Гулля.

— У вас, кажется, неприятности? — заметил офицер.

— Если вы будете так любезны пройти со мной на ют, я вам сейчас все расскажу,— ответил Уикс.

— Да вас бьет лихорадка! — воскликнул офицер.

— И не удивительно, после таких переживаний,— ответил Уикс и затем начал повесть об испортившейся воде, долгом затишье, внезапном шквале, утонувших матросах.

Он говорил без запинки и с большим жаром, как приговоренный к смерти, умоляющий о помиловании. Мне довелось выслушать эту историю из тех же уст в кафе в Сан-Франциско, и даже тогда манера рассказчика показалась мне подозрительной. Но офицер не отличался наблюдательностью.

— Наш капитан очень торопится,— заметил он,— однако я получил инструкцию оказать вам помощь, а в случае необходимости вызвать и вторую шлюпку. Чем могу вам помочь?

— Ну, мы вас не задержим,— ответил Уикс весело.— Мы уже совсем собрались. Все готово: и сундучки, и хронометр, и документы.

— Неужели вы хотите оставить бриг? — воскликнул офицер.— По-моему, его очень легко снять с мели. Мы вам окажем необходимую помощь.

— Легко-то легко, но далеко ли мы уплывем, другой вопрос. В носовой части большая пробоина,— ответил Уикс.

Молоденький офицер покраснел до ушей. Болезненно сознавая свою неопытность, он решил, что выдал себя, и побоялся снова попасть в глупое положение. Ему и в голову не приходило, что капитан может его обманывать. Раз капитан решил покинуть свой бриг, значит, у него для этого есть все основания.

— Отлично,— сказал он.— Так пусть ваши матросы грузят вещи в шлюпку.

— Мистер Годдедаль, пусть матросы грузят вещи в шлюпку! — скомандовал Уикс.

Четверо его товарищей ждали результатов этих переговоров как на иголках. Когда они услышали желанные слова, им показалось, что солнце озарило полночный мрак, а Хэдден громко зарыдал, и, пока он крутил лебедку, по его щекам текли слезы. Однако работа спорилась, и вскоре сундучки, узлы и потерпевшие кораблекрушение уже находились в шлюпке, которая, выйдя из длинной тени «Летящего по ветру», понеслась к выходу из лагуны.

Пока все складывалось удачно. Никто не заметил, что бриг цел и невредим, и с каждой минутой расстояние между ними и грозными уликами, скрывавшимися на его борту, увеличивалось и увеличивалось. Но, с другой стороны, они с каждой минутой приближались к военному кораблю, который еще мог оказаться для них тюрьмой и даже телегой палача, везущей их на виселицу. Ведь они еще не узнали, ни откуда пришел этот корабль, ни куда он направляется, и неизвестность давила их сердца свинцовой тяжестью.

Задать вопрос решился Уикс. Картью казалось, что голос его доносится откуда-то издалека, и в то же время каждое слово поражало, словно пуля.

— Как называется ваш корабль? — спросил Уикс.

— «Буря». А разве вы не знаете? — ответил офицер.

«Разве вы не знаете?» Что это означало? Может быть, ничего, а может быть, что крейсер и бриг уже встречались. Уикс собрался с духом и задал новый вопрос:

— Куда вы идете?

— Мы должны осмотреть все эти островки и островочки,— сказал офицер,— а потом пойдем в Сан-Франциско.

— Вы идете из Китая, как и мы? — продолжал Уикс свои расспросы.

— Из Гонконга,— ответил офицер, сплевывая за борт.

Из Гонконга. Так, значит, все кончено: как только они окажутся на крейсере, их арестуют; бриг будет осмотрен, будут найдены следы крови, возможно, лагуну протралят, и тела убитых расскажут свою страшную историю.

Картью неодолимо хотелось вскочить со скамьи, закричать и прыгнуть в море. Дальнейшее притворство казалось таким ненужным: еще несколько сот секунд напряженного ожидания — и неизбежное случится. А потом — позорная смерть. Но даже и теперь Уикс не сдался. Лицо его было искажено, голос стал неузнаваемым, и казалось, что самый ненаблюдательный и глупый человек должен был бы заметить эти роковые признаки. И все-таки он продолжал расспросы, стремясь узнать свою судьбу.

— Хороший город Гонконг. Как, по-вашему? — заметил он.

— Не могу сказать,— ответил офицер,— мы пробыли там только полтора дня. Зашли за инструкциями, и нас сразу отправили сюда. В жизни не слышал о такой подлости! — И он продолжал с грустью описывать невезение, которое преследовало «Бурю».

Но Уикс и Картью больше его не слушали, они глубоко дышали: тела их были скованы оцепенением, но в мозгу вихрем проносились мысли о страшной опасности, которой они избегли, о почти несомненной возможности спасения. Они испытывали глубокое облегчение и радость. Во время плавания на крейсере им ничто не грозит. Потом еще несколько трудных дней в Сан-Франциско, но немного энергии и присутствия духа, и страшное событие будет навеки погребено. Годдедаaль снова станет Картью, а Уикс — Керкапом, людьми, которых ни в чем нельзя заподозрить, людьми, которые никогда не слышали о «Летящем по ветру» и никогда не видели острова Мидуэй. Это радостное ощущение не

покидало их все время, пока шлюпка приближалась к борту «Бури», над которым торчали дула орудий и головы любопытных. Оно не покидало их, когда они в странном отупении поднялись на крейсер и невидящими глазами глядели на высокие мачты, белоснежные палубы и на толпящихся кругом моряков, чьи голоса доносились словно издалека, на чьи вопросы они отвечали невпопад.

И вдруг Картью почувствовал, что кто-то похлопывает его по плечу.

— Норри, старина! Откуда ты взялся? Тебя уже не знаю сколько времени все разыскивают. Ведь ты же теперь старший, унаследовал свое поместье!

Он обернулся, увидел лицо своего школьного товарища Сибрайта и потерял сознание. Его унесли в каюту Сибрайта, и доктор начал приводить его в чувство.

Когда Картью открыл глаза, он внимательно посмотрел на незнакомое лицо и сказал с суровой решимостью:

— Браун должен пойти по той же дороге. Теперь или никогда...

Через несколько секунд сознание его прояснилось, и он заговорил снова:

— Что я сказал? Где я? Кто вы?

— Я судовой врач «Бури»,— ответил доктор.— Вы находитесь в каюте лейтенанта Сибрайта, и вам следует забыть о всех тревогах. Ваши беды кончились, мистер Картью.

— Почему вы так меня называете? — спросил Картью.— Ах да, Сибрайт узнал меня.. — Он застонал и весь затрясся.— Пришлите ко мне Уикса; я должен немедленно поговорить с Уиксом! — воскликнул он и яростно сжал руку доктора.

— Хорошо,— ответил доктор,— но только с одним уговором: выпейте эту микстуру, а я схожу за Уиксом.

Он дал несчастному снотворное, и тот через несколько минут погрузился в глубокий сон, вероятно, спасший ему рассудок.

Затем доктор занялся Маком и, пока вправлял ему руку, под каким-то предлогом заставил ирландца назвать имена всех его товарищей.

Потом настал черед капитана, который к этому времени был уже совсем не похож на человека, придумавшего отчаянный план спасения в каюте «Летящего по

ветру»: чувство полной безопасности, плотный обед и большой стакан грога притупили его бдительность и погасили энергию.

— Когда вы были ранены? — спросил доктор, разбинтовав его руку.

— Неделю назад,— ответил Уикс, думая только о записях в корабельном журнале.

— Вот как! — воскликнул доктор и посмотрел ему прямо в глаза.

— Я точно не помню,— запинаясь, ответил Уикс.

После этой неуклюжей лжи подозрения доктора учетверились.

— Кстати, кого из вас зовут Уиксом? — спросил он как бы между прочем.

— Это еще что? — буркнул капитан, побелев, как бумага.

— Я спросил, кто из вас Уикс,— повторил доктор.— Мне кажется, мой вопрос совершенно ясен.

Уикс ничего не ответил.

— В таком случае, кто Браун? — настаивал доктор.

— О чем вы говорите? К чему вы клоните? — крикнул Уикс, отдергивая руку, так что кровь брызнула прямо в лицо врача.

Тот даже не стал стирать ее и, глядя прямо на свою жертву, задал новый вопрос:

— Почему Браун должен пойти по той же дороге?

Уикс, задрожав, опустился на табурет.

— Картью все вам рассказал,— прошептал он.

— Нет,— ответил доктор,— но его и ваше поведение заставило меня задуматься, и мне кажется, вы что-то скрываете.

— Дайте мне чего-нибудь выпить,— сказал Уикс,— лучше я вам все сам расскажу, и, черт возьми, мы совсем не так виноваты, как можно подумать.

И вот с помощью двух стаканов крепкого грога трагическая история «Летящего по ветру» была рассказана в первый раз. Им очень повезло, что выслушал ее именно доктор. Он сжалился над этими людьми, чье положение, на его взгляд, было гораздо хуже, чем они того заслуживали, и решил им помочь. Он вместе с Уиксом и Картью (как только тот пришел в себя) придумали план, как им вести себя в Сан-Франциско. Он выдал «Годдедаалю» справку, что тот тяжело болен, и под покровом ночи помог Картью съехать на берег. Он не давал заживать ране Уикса, чтобы тот продолжал подписываться левой рукой. Он пустил в ход свое влияние на корабле и уговорил молодых офицеров не выдавать настоящего имени Картью, боясь, как бы оно не попало в газеты. А кроме того, он оказал им услугу еще более важную. У него в Сан-Франциско был друг, миллионер. Доктор представил ему Картью, объяснив, что этот молодой человек недавно унаследовал большое состояние и хотел бы прежде, чем это станет известно, заплатить свои долги ростовщикам так, чтобы это не вызвало огласки. Миллионер с удовольствием согласился помочь молодому наследнику, и это на его деньги Бэллерс во время аукциона старался перекупить бриг у синдиката. Попробуйте догадаться, как звали этого миллионера. Его звали Дуглас Лонгхерст.

Пока самозваная команда «Летящего по ветру» могла исчезнуть без следа и снова стать командой «Богатой невесты», для них не имело особого значения, что бриг будет продан и на нем обнаружатся следы какого-то преступления. Но, как только Картью был узнан, положение изменилось. Малейший скандал — и противоречия в его истории сразу будут замечены и будет задан неизбежный вопрос: каким образом он, отплыв на шхуне из Сиднея, через такое короткое время вдруг оказался на бриге, идущем из Гонконга. А после этого легко могло выясниться все дело. Поэтому было решено предотвратить подобную опасность и самим купить бриг, благо Картью стал теперь миллионером. За исполнение этого нового плана они взялись с большой энергией и осторожностью. Картью под вымышленным именем снял комнату, подыскал поверенного (случайно это оказался Бэллерс) и поручил ему купить разбитый бриг.

— Какая ваша предельная сумма? — спросил Бэллерс.

— Мне нужен бриг,— ответил Картью,— а цена меня не интересует.

— Сказать «любая сумма» — значит ничего не сказать,— сказал Бэллерс.— Назовите ее точно.

— Ну пусть будет пятьдесят тысяч долларов, раз вы так настаиваете,— ответил Картью.

Все это время капитану приходилось ходить по городу, являться в консульство, отвечать на вопросы в агентстве Ллойда, сочинять историю о потерянных квитанциях, подписывать бумаги левой рукой и рассказывать о

своих вымышленных злоключениях всем морякам Сан-Франциско. И каждую минуту он ждал, что столкнется с каким-нибудь старым приятелем, который в присутствии посторонних назовет его Уиксом, а может быть, с каким-нибудь новым врагом, который сумеет доказать, что он вовсе не Трент.

Случилось второе, но благодаря своей находчивости Уикс не только избежал разоблачения, но даже укрепил свою позицию.

Когда он был в консульстве (самом неподходящем месте для того, что последовало), он вдруг услышал, что кто-то спрашивает капитана Трента. Он обернулся, как всегда, еле сдерживая дрожь.

— Да вы же не капитан Трент,— сказал незнакомец, отступая.— Что все это значит? Мне сказали, что вы называете себя капитаном Трентом... капитаном Джейкобом Трентом, которого я знаю с детства!

— А! Вы, наверное, имеете в виду моего дядю, который был банкиром в Кардиффе,— ответил Уикс с невозмутимостью отчаяния.

— В первый раз слышу, что у него есть племянник,— ответил незнакомец.

— Лучше поздно, чем никогда,— отрезал Уикс.

— А как старик себя чувствует? — спросил тот.

— Отлично,— ответил Уикс.

Но тут его, к счастью, позвал клерк.

Дальше все шло гладко, но утром в день аукциона после разговора с Джимом Уикс опять встревожился. На аукционе он не находил себе места, так как ему было известно только, что Картью попробует купить бриг через своего поверенного, но он не знал, ни кто этот поверенный, ни какие он получил инструкции. Я полагаю, что капитан Уикс обладает удивительно крепким здоровьем, хотя его внешность указывает на склонность к апоплексии, которой он, как известно, очень опасается. Однако он может быть спокоен,— она ему не грозит, раз уж удар не хватил его во время этого сумасшедшего аукциона, когда старый бриг вместе с довольно дешевым грузом был куплен на его глазах посторонним человеком за пятьдесят тысяч долларов.

С самого начала они уговорились, что он не будет встречаться с Картью, чтобы нельзя было установить связь между командой и неведомым покупателем. Но теперь было не до осторожности, и, вскочив на извозчика, он помчался на улицу Миссии.

В дверях пансиона он столкнулся с Картью.

— Скорее уйдем отсюда,— сказал тот.

И, когда они уже шли по улице, добавил:

— Все кончено!

— А, так, значит, вы знаете результат аукциона? — спросил Уикс.

— Аукциона? — воскликнул Картью.— Да я уже о нем забыл!

И он рассказал о телефонном звонке и голосе, который задал страшный вопрос: «Зачем вы хотите купить «Летящий по ветру»?»

Этот звонок, последовавший за совершенно невероятным исходом аукциона, мог свести с ума самого Иммануила Канта. Им казалось, что судьба против них, что все мальчишки на улицах и даже камни мостовой знают их ужасную тайну. Они думали только о бегстве. Разделив прибыль, которую им принесло единственное плавание «Богатой невесты», они спрятали деньги в потайные карманы, послали свои сундучки по вымышленному адресу в Британскую Колумбию и в тот же день уехали из Сан-Франциско в Лос-Анжелос.

На следующее утро Картью уже отбыл в Англию, а остальные трое отправились в Мексику.

ЭПИЛОГ
ПОСВЯЩАЕТСЯ УИЛЛУ ЛОУ

Дорогой Лоу!

Недавно на Манихики я имел удовольствие встретиться с Доддом. Мы просидели около двух часов в маленькой, похожей на игрушку церкви, уставленной скамьями на европейский манер и украшенной перламутровой мозаикой. Вокруг, улыбаясь нам, толпились местные жители — по-моему, самые красивые люди на всем земном шаре. И там я задал Додду вопросы, которые давно меня интересовали.

Сперва я спросил его, что случилось после той ночи в Барбизоне, когда Картью рассказал ему свою историю, и как им удалось отделаться от Бэллерса. Оказалось, что Додд сразу же напомнил своему новому другу об этом опасном преследователе, но Картью ответил небрежно: «Он беден, а я богат. Мне не страшны его угрозы. Я просто уеду куда-нибудь подальше, куда проезд стоит дорого. Например, в Персию. Это очень интересная страна. Хотите, поедем вместе?» И на другой день они уже отправились в Константинополь и дальше в Тегеран. О Бэллерсе известно только (из газетной заметки), что он каким-то образом вернулся в Сан-Франциско и умер в больнице.

— Еще один вопрос,— сказал я.— Вы уехали в Персию с миллионером, вы были сами богаты, так каким же образом вы очутились здесь, в Южных Морях, суперкарго на торговой шхуне?

Он с улыбкой ответил, что я еще не слышал о последнем банкротстве Джима.

— Я снова остался без гроша,— сказал он,— и тогда Картью построил эту шхуну и поручил ее мне. Яхта его, а торговлю веду я. А поскольку почти все расходы связаны с яхтой и командой, то я получаю неплохую прибыль. И у Джима опять все хорошо — он ведет удачную торговлю фруктами, кукурузой и земельными участками. К тому же он обзавелся отличным компаньоном. Это Нейрс. Нейрс сумеет обуздать ėго порывы, он человек деловой. Они купили две виллы рядом на побережье, и я гостил у них, когда в последний раз был в Сан-Франциско. Джим теперь владелец газеты (мне кажется, он подумывает о том, чтобы стать сенатором), и он хотел, чтобы я бросил шхуну и стал у него редактором. Они с Мэйми считают, что в конституцию штата необходимо внести много изменений.

— А что случилось с остальной командой «Богатой невесты»? — спросил я.

— Насколько мне известно, они несколько дней кутили в столице Мексики,— ответил Додд,— а потом Хэдден с ирландцем отправились на золотые прииски в Венесуэле, а Уикс уехал в Вальпарайсо. В чилийском флоте служит некий капитан Керкап — во время последней тамошней войны я видел эту фамилию в газетах. Хэддену скоро надоели прииски, и я недавно встретился с ним в Сиднее. Он сообщил мне, что Мака убили во время нападения на обоз с золотом. Значит, теперь их осталось трое — ведь Амалу не в счет. Он живет на своем родном острове Мауи. Канарейка Годдедааля по-прежнему у него, и, говорят, он бережет свои доллары, что среди гавайцев редкость. А получил он не только долю Хемстеда. Картью разделил причитавшиеся ему деньги поровну между ними всеми, считая и Мака.

— Ну, и сколько же все это составило? — не удержался я от вопроса, вспомнив бесконечные вычисления, которые он приводил в своем рассказе.

— Сто двадцать восемь фунтов девятнадцать шиллингов одиннадцать с половиной пенсов,— ответил Додд невозмутимо,— не считая той мелочи, которую он выиграл в карты на Мидуэе. Для гавайца это немало.

В эту минуту к нам подошел священник, и мы вынуждены были принять его приглашение выпить у него в доме кокосового молока. Моя шхуна должна была отплыть в тот же вечер, потому что Додд успел опередить нас и скупил все раковины на острове. Он уговаривал меня бросить мою шхуну и поехать с ним в Окленд, где его ждал Картью, но я отказался наотрез.

Дело в том, что с тех пор, как я вместе с Хэвенсом и Доддом занялся опубликованием истории жизни последнего, у меня нет ни малейшего желания встречаться с Картью. Разумеется, человек я современный и считаю вполне благородным сообщать всему миру о чьих-то частных делах — по стольку-то за строчку. Тем, о ком идет речь, это нравится, а если нет, то им же хуже. Но какой-то голос шепчет мне, что это не всегда им будет нравиться, не всегда они будут это терпеть, а Картью, как известно, «стрелок что надо», вот почему в ближайшие годы я не собираюсь покидать Самоа.

Итак, мы расстались с Доддом. Но он отвез меня на мою шхуну в своей собственной роскошной шлюпке и развлекал по дороге описанием своего последнего посещения Бутаритари, куда он отправился по поручению Картью посмотреть, как поживает Топлес, и в случае необходимости помочь ему. Однако оказалось, что дела Топлеса в цветущем состоянии. Он был очень любезен с Доддом и... ну... и обвел его вокруг пальца.

— Картью будет доволен,— сказал Додд,— ведь когда они плавали на «Богатой невесте», то ободрали Топлеса самым непозволительным образом. Теперь они квиты.

Вот, пожалуй, и все новости, которые я узнал от моего друга Лаудена, и я хочу надеяться, что не упустил ни одного вопроса, ответ на который вас интересовал. Но, я думаю, вам не терпится задать вопрос мне самому. А именно: с какой стати ваше имя появилось без всякого на то основания в заключении нашей повести. Ведь, если вы и не родились в Аркадии, ваши помыслы влекут вас к флейтам античного мира, к нарциссам и платанам, к бегущим нимфам — к изящному, трогательному и сухому искусству древности. Так почему же мы решили посвятить вам столь современное произведение, отражающее варварские нравы и сомнительную мораль, где все сводится к погоне за деньгами и чуть ли не на каждой странице звенят доллары; где нашла отражение беспокойная суета нашего века; где читатель переносится с континента на континент, с моря на море, так что эта книга не столько роман, сколько панорама, и где конец

обагрен кровью? Но ведь вас интересуют все проблемы искусства, даже самого вульгарного. Быть может, вам будет интересно услышать, как зародилась и как создавалась книга «Потерпевшие кораблекрушение». Как-то раз на борту шхуны «Экватор», неподалеку от островов Джонстона (если кому-нибудь известно, где они находятся), в лунную ночь, когда жизнь — это радость, будущих авторов этой книги развлекали рассказами о продаже судов, потерпевших крушение. Тема эта показалась им интересной, и они отошли в сторону, чтобы обсудить ее возможности.

— Какая была бы путаница,— сказал один,— если бы на борту такого корабля оказалась не та команда! Но каким образом это устроить?

— Нашел! — воскликнул другой.— История капитана имярек.

Дело в том, что незадолго до этого и неподалеку от того места, где мы находились, некий английский шкипер поставил потерпевшим крушение английским морякам примерно те же условия, что и капитан Трент. Когда мы отправились спать, сюжет уже был готов, но, как обычно, нам еще не было ясно, в какую форму он облечется. Надо сказать, что нас уже давно и привлекал и отталкивал современный жанр полицейского романа, когда рассказ начинается чем угодно, но только не началом, и кончается чем угодно, но только не концом. В этом жанре нас привлекала возможность заинтриговать читателя, а также те трудности, которые надо преодолеть, чтобы достичь этой цели. Отталкивала же нас неотъемлемая от него лживость и поверхностность. Потому что читатель, думая только о скрытых уликах, воспринимает жизнь в подобном произведении как сложный, но мертвый механизм, который заслоняет от него реальную действительность. Поэтому книги такого рода увлекательны, но не художественны и напоминают скорее шахматную задачу, а не произведение искусства. Нам казалось, что отчасти это объясняется отсутствием предыстории героев и событий и что, если развивать сюжет постепенно, вводя некоторых действующих лиц заранее, короче говоря, если начать эту книгу как роман нравов, то упомянутый недостаток смягчится и наша тайна станет жизненно правдоподобной. Основой нашей не слишком дорогой ткани мы решили сделать дух нашего века, его стремительность, смешение всех племен и

классов в погоне за деньгами, яростную и по-своему романтичную борьбу за существование, с вечной сменой профессий и стран, и особенно подробно обрисовать два типа: американского дельца и моряка американского торгового флота. Вот откуда появились отец Додда, и Пинкертон, и Нейрс, и пикники «Дромадер», и работа на железной дороге в Новом Южном Уэльсе (надо сказать, что наша повесть была уже наполовину написана, когда я увидел товарищей Картью, работающих под дождем на опасном участке железной дороги под Южным Клифтоном, и услышал от инженера о «городском щеголе»).

После того, как мы, затратив много времени и сил, придумали такой способ развития сюжета тайн, нам вдруг пришло в голову, что он был уже изобретен до нас: ведь к этому приему прибегал в своих поздних романах Чарльз Диккенс, хотя, конечно, результаты, которых он достигал с его помощью, увы, сильно отличаются от того, чего удалось добиться нам.

Я вижу ваш недоумевающий взгляд. Сколько теоретических рассуждений, скажете вы, ради полицейского романа, и при этом никакого ответа на ваш вопрос. Что поделаешь, некоторым из нас нравится теория. И после такого большого тома практики можно уделить несколько страничек и ей. А вот и ответ на ваш вопрос: мы решили, что ради контраста наш герой-рассказчик должен несколько отличаться от людей, которые его окружают, и не будет простым охотником за долларами. Так Лауден Додд стал скульптором, а наша повесть-путешественница навестила Париж и заглянула в Барбизон. И вот почему, мой дорогой Лоу, этот эпилог адресован вам.

Потому что вы, как никто другой, сумеете понять то, что таится между строк, вы и еще один наш общий друг. Ведь вам известно, что скрывается здесь за каждой маской; контракт на поставку статуй будет для вас воспоминанием далекого прошлого, и вам не в первый раз придется услышать, какую опасность таит в себе руссильонское вино. Пусть творцами этой книги станут для вас сухие листья Ва-Бро, отзвуки Лавеню и улицы Расина — все воспоминания о нашем общем прошлом.

И, если вам не понравится эта повесть, все-таки я думаю, вам будет приятно вдохнуть воздух нашей юности.

СОДЕРЖАНИЕ

Роберт Луис СТИВЕНСОН

Собрание сочинений
в пяти томах

Том III

Редактор тома
Е. А. Ромашкина

Оформление художника
Г. А. Раковского

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 14.11.80. Подписано к печати 02.03.81.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ л. 31,50. Уч-изд. л 33,09
Доп. тираж 28 000 экз Изд № 762. Заказ № 1040
Цена 3р. 10 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

Индекс 70681